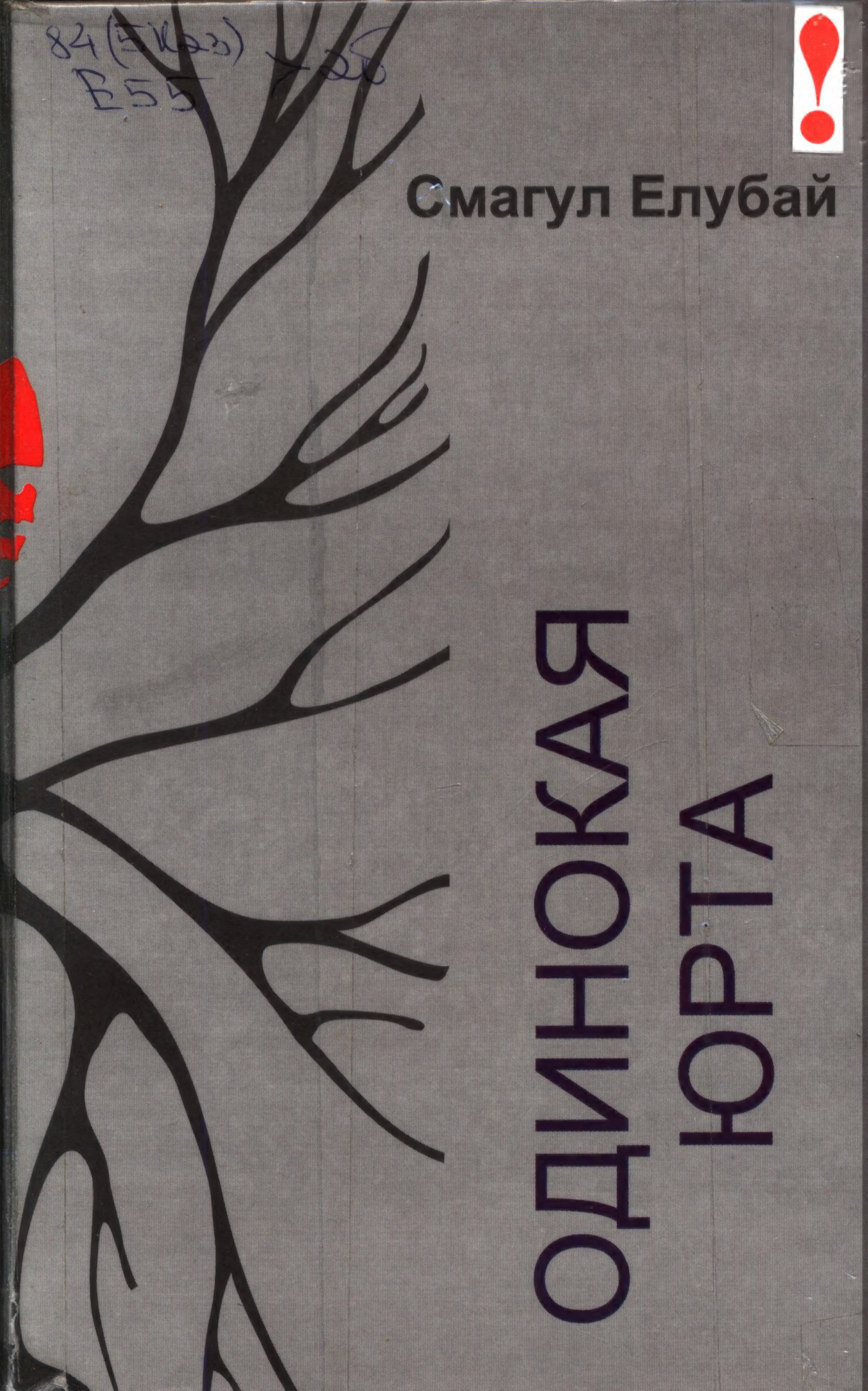
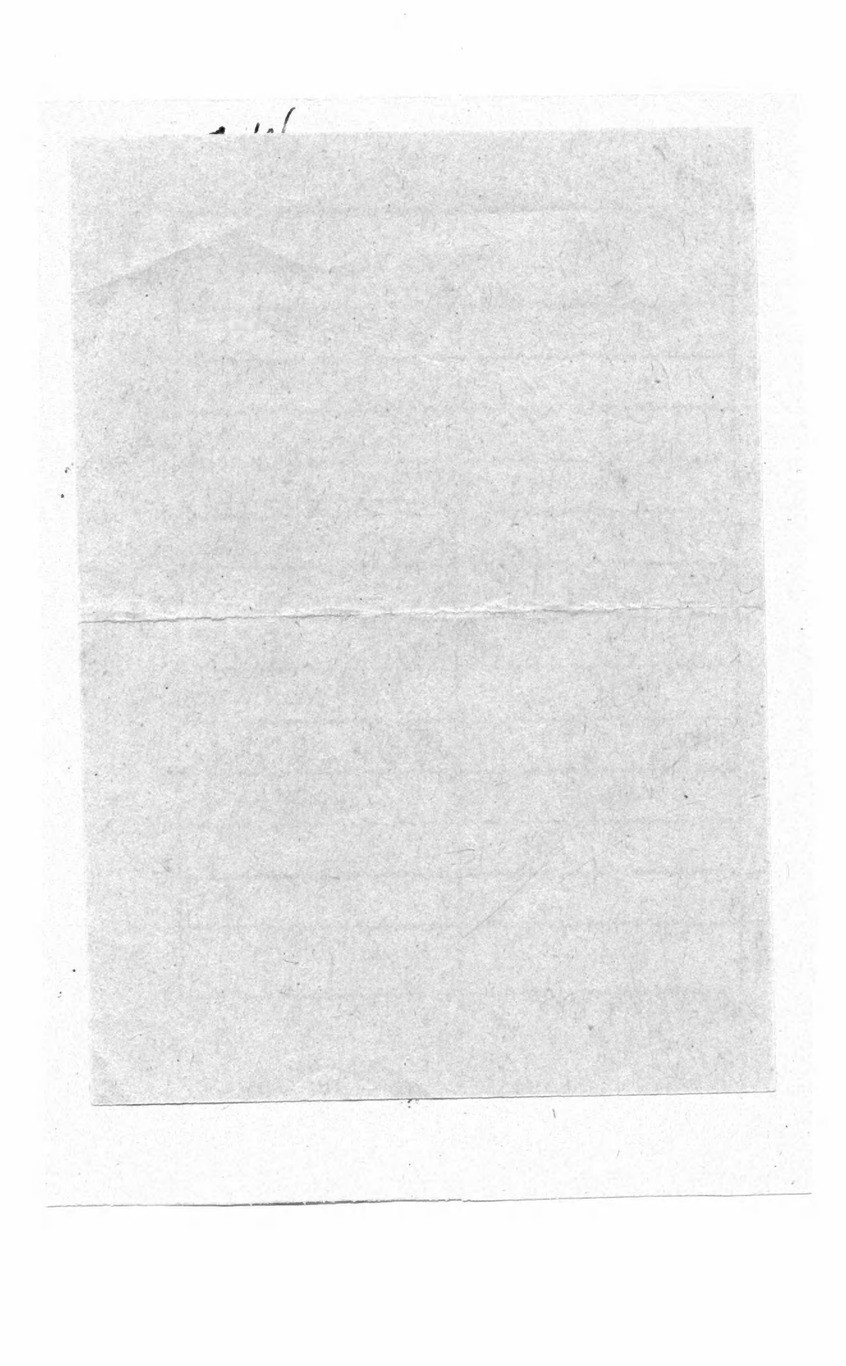

84(5Каз)
Е55
Смагул Елубай
ОДИНОКАЯ
ЮРТА

Эренбург И.Г.
Э 76 Люди, годы, жизнь. Воспоминания. В 3 т. Т. 1. Кн. 1–3 /Вступ. ст. Б.М.Сарнова. – Изд. испр. и доп. – М.: Сов. писатель, 1990. – 634 с.: ил., портр. – ИСБН 5-265-00669-9 (в пер.): 5 р., 100 000 экз.

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся своими мыслями о прошлом", – так определил И.Г.Эренбург (1891–1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х гг. Воспоминания выходят в трех томах. В первый том включены: первая, вторая и третья книги. Настоящее издание дополнено материалами, ранее не печатавшимися; богато иллюстрированно, многи[illegible] фотографии и рисунки публикуются впервые; снабжено Ко[illegible]

Гос. б-ка СССР им. В.И.[illegible] ББК 84Р7
Издател[illegible]
В[illegible]



Смагул Елубай

ОДИНОКАЯ ЮРТА

ТРИЛОГИЯ



"АУДАРМА" баспасы
АСТАНА - 2008

ББК 84(5 Қаз)-44
Е 46 Е55

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Елубай Смагул

Одинокая юрта. *Трилогия.* Перевод с казахского
Е 46 *Л.Космухамедовой, А.Жаксылыкова.* Астана:
Аударма, 2008. – 568 с.

ISBN 9965-18-244-2

Трилогия Смагула Елубая – знаковое произведение современной казахской литературы, проливающее свет на "белые пятна" прошлого непростого века в истории Казахстана. Первая книга – по сути первый роман казахской литературы, панорамно раскрывающий причину и процесс голодомора 30-х годов – сущего ада, унесшего жизни миллионов безвинных людей. Следующим кругом ада, как известно, были годы сталинской репрессии, чему посвящена "Молитва" – вторая книга. В заключительной части – "Бренный мир" – народ, перенесший голод, репрессии, Великую Отечественную войну, проходит через брежневские годы духовного застоя.

Все эти перипетии истории переданы художником занимательно, интересно, поучительно через судьбы прекрасной Хансулу и её семьи. Трилогия впервые выходит в полном переводе на русский язык. Писатель, сценарист Олег Осетинский отметил: "Роман Смагула Елубаева есть безусловный национальный шедевр, казахский "Тихий Дон".

Е $\frac{4702250000 - 246}{00(05) - 08}$ ББК 84(5 Қаз)-44

ISBN 9965-18-244-2

ОДИНОКАЯ ЮРТА

С Каратауских предгорий караван приходит,
Каждый раз верблюд один без седока приходит.
Тяжело терять, скажу я, родину и ближних...
Плачу я, и мое сердце горечью исходит...
Из народной песни "Елимай"

У КОЛОДЦА

1

Безлюдна, безмолвна бескрайность куда ни глянь. Вечерние сумерки густеют. Неясны, расплывчаты контуры редких кустарников. Пустынная ширь, все больше натягивая на себя черное покрывало, тихо отходит ко сну. Этот дремлющий покой, объявший округу, всколыхнул звон колокольцев. Он донесся приглушенно, откуда-то издалека. Слабый, захлебнулся, не в силах просочиться сквозь толщу ночи. Но вскоре колокольчики зазвенели вновь, они приближались. Показался идущий среди тьмы караван... верблюд за верблюдом... тяжело идущие атаны и нары[1]. Следующие с ними люди молчаливы. Медные колокольчики на шеях животных, мерно раскачиваясь в такт верблюжьему ходу, позванивают, издавая простенькую, как незатейливый степной кюй, мелодию. Она не нарушает покоя, растворенного в воздухе, созвучна ему.

[1] *Атан* – холощеный верблюд. *Нар* – одногорбый.

Вскоре караван сошел с дороги. Люди облюбовали песчаник. Верблюдов опустили на колени – одного за другим, по кругу – и сняли мешки и коржуны – переметные сумы. Вконец утомленные и обессиленные, путники – их семеро – завалились спать как были, в одежде, подложив под головы коржуны. Многие тут же захрапели, разбитые дорогой.

Лишь Азберген не сомкнул глаз. Азберген – младший брат Пахраддина, вон того, что лежит неподалеку, с головой закутавшись в чапан. Пахраддин – от байбише, первой жены отца, а он, Азберген, – от токал, второй жены. Не спится Азбергену после разговоров, которые он услышал вчера на ярмарке в городе Темире[1], – заходит, мол, солнышко для баев... А все Пахраддин... Глянул Азберген – нет братца на месте. Стоит себе под звездным небом спиной к нему, лишь силуэт вырисовывается отчетливо, на плечах – чапан. Вот и представился случай поговорить наедине. Встав, приблизился к брату. Сплюнул. Чуть отступил Пахраддин, глянул краешком глаза. И более – ничего. И Азберген некоторое время назло ему безмолвствовал. Тоже в ночную степь вгляделся, брови сошлись угрюмо на лбу. Знает, раскрой он рот – злость, что его душит, наружу хлынет.

Не выдержал, рыкнул, разъяренный:

– Ты... ты виноват! Давно следовало откочевать! Уходить надо было! А теперь вот...

Не красноречив Азберген, он больше человек действия. Смешался, поперхнулся на слове. Замолчал. Пахраддин покачался грузно на месте и так, ни слова не произнеся, направился к темнеющей на стоянке верблюжьей поклаже. Лег, чапаном накрылся.

Луна высветлила восточный край небосклона. Западную часть прочертила хвостатая звезда. В полыни трещали неумолчно сверчки.

Навзничь растянулся на песчанике и Азберген, предался думам, таким же бездонным, как ночное небо над ним. От вислогубого атана с подветренной стороны тянуло характерным духом, он напоминал запах соломы; связанные друг с другом дромадеры смачно перемалывали жвачку. Не понимает он брата, нет. Бий как-никак, все, считай, в рот ему заглядывают: что уважаемый судья

[1] Город в Актюбинской области.

скажет... Правда, у брата, как у Мажана – тоже вон спит, – нет тысячных стад и отар, но ведь не без скотины же! И у него состояние достаточное. А упомянет кто Советскую власть – поклоны ей башкой отбивает, точно мерин, от мух отмахивающийся. Может, думает, Советская власть облагодетельствует его за это? Чтоб ему, Азбергену, со свету сгинуть, если он что-либо понимает!.. А как Пахраддин перед Шарипом шапку ломает, перед грязным сапожником, который в прошлом году печать аулная[1] заполучил?!. Видя, как Пахраддин, некогда недоступный, как высоченная гора, оседает на глазах, приуныл Азберген, а бывало, спуску никому не давал – силу брата за спиной чувствовал. Но сдаваться не думал – придет, даст бог, его время, вернется оно к нему, отыграется тогда на Шарипе, на дурачке этом, возомнившем себя властью! И на Шеге отыграется, на дохлом щенке Шарипа, который тоже зубы начал показывать... Ох и нарезал бы плетей из кожи на его спине! Вскипел Азберген, как только подумал про него. Не вскипишь тут – не понимает, шельма, кто он и что, еще нагло на Хансулу рассчитывает! Вот распоясалось гнилье!

Хансулу – племянница Азбергена. Единственная дочь Пахраддина. Тростиночкой изгибается. Красавица, каких мало. Да пусть только прикоснется к ней этот выродок Шеге – он, Азберген, его в живых не оставит!..

Когда на рассвете все проснулись отдохнувшие, Азберген еле продрал глаза, опухший, хмурый от бессонницы. Поднялся мрачный, как туча, готовая разразиться грозой.

И снова караван размашисто ступающих дромадеров пустился в путь, позванивая колокольчиками. Где-то впереди аул, люди – родичи, жены, дети, которых караванщики не видели почти месяц.

А караван шел и шел..

2

Осеннее стойбище аула. Неприглядна здесь земля. Выгорела вся. Особенно удручающе выглядит пустырь у колодца, где и вовсе ни травинки, даже выгоревшей; над ним постоянно висит пыльное облако.

---

[1]*Аулнай* – председатель аулсовета.

На неказистом гнедом коне трусит к колодцу Шеге. Шум окрест: блеют овцы, стонут верблюжата – обычная картина из жизни вечернего аула, хлопотливая пора, когда все на виду, и люди, и животные. Но Шеге гама не слышит, он думает. И чем больше думает, тем тяжелее на душе. Забавный он. Нашел о ком думать – о Хансулу. Днем и ночью она ему грезится. Но разве на всех парней Хансулу хватит? Девушек в ауле много. Почему бы Шеге на какую-нибудь другую не поглядеть? Почему Хансулу? Зачем тянуться к звезде на небе, до которой все равно не дотянуться? Сам не знает, зачем. Чем он может прельстить пахраддиновскую баловницу? Ни состояния у него, ни славы, ни происхождения высокого – был бы он, скажем, отпрыском какого-нибудь знаменитого деда... И юрта вон... в сорока заплатах, скособоченная, на отшибе стоит. А отец... хромую овцу поймать не может, недотепа. Ничего-то его отцу Шарипу от семи ушедших в прошлое поколений не перепало, вот и занимается сапожничеством. Но если драную юрту и отца не брать в счет, то и у Шеге-то никаких достоинств, чтобы девушка на него внимание обратила: худ, смугл дочерна, узкоглаз. Не дал ему бог ничего, кроме роста: ни дара – на домбре бы, скажем, играл или пел, чтобы девушки с ума сходили; ни красноречия, чтоб искусством своим людей поражать; ни даже скакуна или гончей, как у Булыша, например... вон он... воду из колодца набирает... на самой кромке, отчаянный, стоит. У Шеге, несчастного, если уж начистоту, и одежки-то мало-мальски приличной нет на люди показаться, а ему уж шестнадцать...

Создатель, что и говорить, творец искусный, взял да и наградил Шеге при всех его недостатках горделивым сердцем. Не дает он себя в обиду. Нет подростка в ауле, которого не измолотил бы кулаками вздорный Азберген, один Шеге этого избежал. "Пусть только тронет!" – думал он в сердцах после очередной драки. Возможно, из-за гордости своей и потянулся к Хансулу: уж если любить, так лучшую из девушек!

– Тащи!

– Назад! Наз-за-а-ад!

Голоса у колодца отвлекли от дум. Шеге поднял голову. Солнце уже склонилось к горизонту. Косые длинные лучи окрасили в розовый цвет степь, перевалы, холмы. У колодца – он в низине между двумя аулами – скученно от согнанной туда скотины, черными тенями мелькают люди. Женщины доят верблюдиц, заворачивают разбредшихся по степи верблюжат. Их голоса тонут в блеянии овец, ржании лошадей. Косяки к водопою спускаются с пастбищ. Пыль, поднятая копытами животных, зависла над безветренной степью густой, розово отсвечивающей на солнце тучей.

Верблюды, утолившие жажду – у них даже бока раздались, – лениво взбираются вверх по склону, большая их часть – из аула бая Мажана; аул – во-он... на перевале, желтом от гармалы, пахучей степной травы. Мажан и возглавил ушедший в город Темир караван, в нем – мужчины из двух аулов, среди них Пахраддин, его имя второй аул носит; скотину погнали на городскую ярмарку.

Только приблизившись к колодцу, Шеге приметил в толпе своего приятеля Ждахая, поившего верблюда, и усмехнулся. Со Ждахаем они сверстники, с ним он может поделиться самым сокровенным. У обоих и печаль-то одна. Ждахай тоже влюблен. В молоденькую токал бая Мажана Балкию. Стоит друзьям сойтись, так одна у них песня – о Балкие да о Хансулу.

И Ждахай, завидев Шеге, расплылся в улыбке. Коренаст с виду, плотен, с оспинками на лице.

– Тащи-и! – заорал опять Булыш, крепкий, рослый детина, захвативший бадью.

Огромный черный нар, впряженный в шыгыр – специальное сооружение, приспособленное для водопоя, – подался было назад, но тут же всей своей массой снова двинулся вперед, таща сыромятый аркан, привязанный к седелке на его спине. Мальчонка, державший недоуздок, бросился наперерез.

– Наза-ад!

Шойынкара – так звали нара за его черноту и мощь – послушно отступил, подметая землю свисающей с ног длинной шерстью.

Булыш, раскорячившийся на каменной кромке колодца, потянул на себя полную бадью. В следующее мгновение исходящая ледяным паром вода гулко выплеснулась в глубокую деревянную поилку.

Верблюды приникли к поилке, жадно, взахлеб стали пить.

Ждахай толкнул Шеге в бок:

– Эй, гляди-ка! Да не туда, назад гляди!

Шеге обернулся – там, куда указывал Ждахай, огибая колодец, манерно рысила на своем Каракере Хансулу. Она в круглой бобровой шапочке, пух филина на макушке клонится из стороны в сторону на ветерке, красный шелковый камзол в талии туго охвачен изящной застежкой; серебряное седло под лучами заходящего солнца переливается всеми цветами радуги; трехлетка Каракер будто чувствует, какая красавица у него хозяйка: так и пританцовывает, легко выбрасывая тонкие ноги.

Шеге живо представил себе черные смородиновые глаза девушки, длинные, загибающиеся кверху ресницы, чуть вздернутую по-заячьи пухлую верхнюю губку. Вздохнул

– Не горюй! – тряхнул его за плечо Ждахай. – Пусть задирается! Но попомни мои слова – твоя она будет, ей-богу!

Шеге улыбнулся против воли. Ждахай подбавил жару:

– Отец твой – аулнай? Кого боишься? Напри – сосватай!

Пахраддин, ей-богу, слова не скажет! Отдаст дочку!

– Ай, понесло тебя! Нет закуна[1], который дочку у кого-то велит отбирать! – а глаза Шеге по-прежнему на Хансулу.

– Вот же, ей-богу, ну и пялься тогда! – насупился Ждахай, озлившись. – Пялься, пока кто-нибудь ее у тебя не перехватит, вот уж смерть!

– Тащи-и!

Могучий Шойынкара, все так же подметая землю шерстью, боком-боком, напрягшись, снова потянул бадью.

С западного крыла колодца, со стороны мажановского аула, показалась женщина. На плече у нее коромысло. Широкий подол белого платья вольно полощется при

[1] *Закун* – искаженное “закон”. Введение в казахскую речь русских слов – историческая примета времени.

ходьбе. Рядом – девочка. В женщине Шеге признал Балкию. Приспел момент расквитаться со Ждахаем!

– Ждеке-е... Погляди-ка ты теперь... вот сюда!

Как только Ждахай увидел идущую по тропе Балкию – пыль из-под ее ног серебрилась в закатных лучах, – преобразился, бедняга, на глазах. И без того щетинящиеся на голове жесткие волосы вздыбились, кажется, еще больше. Засуетился, не знает, куда руки девать. А Шеге давай хохотать! Ждахай раскраснелся, на кончике носа выступила испарина.

– Чудак, – говорит, – ты никому не болтай, но я тебе сегодня тако-ое покажу... – и перешел на шепот, чтобы, наверное, придать своим словам значительность, а заодно и отвлечь от себя внимание приятеля.

– А что там у тебя... тако-ое?

Ждахай приложил палец к губам, молчи, мол, и глазами повел в сторону Булыша, который опять захватил бадью. Балкия между тем подошла. Игрива молодая жена Мажана. Походка у нее – загляденье! Среднего роста, чуть коренаста, глаза, как у дикой кошки, светятся огоньками. С подойниками пришла, сбросила их на землю. Все ее внимание – на Булыше.

– Как здравствуем-поживаем, байбише? – полюбопытствовал тот, одаряя ее белозубой, ослепительной на загорелом дочерна лице улыбкой.

Балкия, подперши рукой бок, лениво качнула телом:

– Э, да уж какая я байбише? Мне до байбише еще – охо-хо!

Кокетливо вскинула голову, глянула свысока на джигита.

Шеге и Ждахая она не замечала.

Ждахай то краснел, то бледнел.

А Балкия знай себе перешучивается с Булышем. Конечно же, зачем Балкие Ждахай, когда рядом Булыш?! И холост, и стрелок отличный, и силач! Разве что беден, да что бедность для джигита, которому равного в округе нет!

Друзья отошли от колодца, и Ждахай не выдержал:

– Убила ведь, начисто убила... – и головой покачал с досады. – Хоть бы взглянула, а?

3

Отужинав, люди в ауле давно легли спать. Темно, хоть глаз выколи. Месяц еще не народился. Шеге, заинтригованный словами Ждахая, затаился с ним на пыльном верблюжьем пятачке в ауле Мажана. Приятели обосновались с подветренной стороны большого старого стога, за отау[1] Балкии наблюдают. Вон она темнеет впереди.

Долго Балкия крутилась по хозяйству – появлялась, исчезала, – это они по звону шолпы[2] угадывали. Наконец свет погас.

Ждахай толкнул Шеге вбок:

– Видал? Легла. Потому как одна. Теперь во все глаза гляди, тако-ое увидишь...

Прошло время. Ни души возле отау. Ни звука. Покойная тишь в ауле. Даже собаки брехастые приумолкли. Только в загоне возня слышится – возбуждены бараны после лета, бодаются спросонья по привычке. Кричит за аулом козодой, будто причитает. Не накликал бы беды. Скверная птица.

Хорошо, если друзьям повезет. Но Булыш-охотничек, который должен бы, по словам Ждахая, открыть дверь молодой токал, не появляется.

– Не задержится, придет. До луны еще явится, – шепотом обещает Ждахай.

– Рассказал бы пока, что видел. Что без толку сидеть-то? – попросил Шеге.

Ждахай живо повернулся:

– Хотел, чтобы сам ты... собственными глазами... а видишь, дурачит нас охотник, не идет. – Он досадливо повел плечами. – Старик-то ее... – Он кивнул в сторону юрты. – ...как в город с караваном, так я – к ней. Каждый вечер дверь ее сторожу.

– Ну?

– Муж – рухлядь старая. А она молоденькая, кровь с молоком! Когда, думаю, ей гулять, как не сейчас? Глаза, представляешь, закрою – ее, чертовку, вижу. Будто сидит

---

[1] *Отау* – юрта молодой семьи, в данном случае – жены-токал.

[2] *Шолпы* – металлические подвески-украшения в косах.

одна-одинешенька и меня ждет. Одурел совсем. Как солнце заходит – я сюда. От собак мажановских опасности для меня никакой – признают, да еще и до юрты провожают, хвостом виляют, вот, дескать, где твоя Балкия. Но такое вот дело, дойду до двери и – будто аллах разума лишает, дурак дураком стою. Коснуться двери не смею, конец света для меня наступает. Руки дрожат, не дышу, в ушах шумит, сердце стучит. Вот и вчера перед дверью ее обалдуй обалдуем торчу и вдруг – слышу, кто-то в потемках идет! Булыш! Испугался я, за дом забежал. Не дышу. В себя пришел – услышал голоса. Тихие голоса. "Сюда иди, сюда..." Балкии это голос. Кумган, говорит, там на полу, не споткнись. А он: ты одна? Чего же это я, она говорит, одна не буду, с хрычом, что ли, своим тебя дожидаться? А он: постой, я к тому, нет ли детей? Не бойся, Балкия говорит, нашел чего бояться... А потом, слышу, кровать скрипнула. Я – к самой стене ухом! Она его шепотом спрашивает, соскучился ли, а голос-то у чертовки сладенький, как мед. А потом плохо стало слышно, совсем тихо зашептались. Я так и этак к стене – ничего! Что-то, видать, они зачуяли, Балкия как закричит: пшла, пшла отсюда, скотина!.. Ну и пошел я...

– Зря шебуршился-то, – подосадовал Шеге, разочарованный тем, что рассказ прервался в самом интересном месте.

– Чудик ты, да Булыш узнал бы – пропал бы я! Он бы шею мне свернул!

Шеге вгляделся в темноту – кто-то присел на корточки у натянутого на колья аркана, к которому обычно привязывают молодняк во время дойки.

– Вон! – прошептал Шеге.

– Где? – не увидел Ждахай.

Они пригнулись. Человек, присевший на корточки, встал, пошел назад. В руке у него кумган для омовения.

– Ту-у, отца твоего!.. – разразился ругательством Ждахай. – Каукаш это. По нужде выходил. Чтоб его... – и вновь от души помянул нелестным словом мажановского пастуха. Левая часть небосклона посветлела.

– Луна уже выходит, – прошептал Ждахай. – Теперь Булыш сдохнет – не придет!

– Что ж, давай по домам, – с сожалением бросил Шеге.

– Зачем по домам? Два таких джигита... А там женщина... молоденькая... одна... – и голос Ждахая сорвался на сип.

– Ну так иди. Может, ждет она... тебя... – фыркнул Шеге.

– А что? Пойду! – Ждахай как бы подбодрял сам себя.

– Иди! Иди же!

– И пойду!

Шеге охватил смех. Трусоват Ждахай.

– Что смеешься? Убудет с меня, что ли?

– Ну так что стоишь?

Шеге и самому захотелось, чтобы Ждахай пошел.

– Ну, если что – дашь знать! – с этими словами Ждахай забежал за крайнего верблюда и, пригнувшись, припустил вперед. Оглянулся на ходу. Осторожен Ждахай, со стороны – будто мух ловит. Добежал. Перед самой дверью встал.

Шеге разволновался, сердце из груди рвется.

Ждахай, похоже, подал голос. Его не заставили ждать. Исчез в черном проеме.

– Чудеса! – произнес Шеге. Сам не понял, как ринулся с места.

Но, когда был почти у цели, послышался звук, будто палкой ударили по выделанной козлиной шкуре, а следом – грохот железа. Ждахай выметнулся из юрты. Помчался без остановки, как конь, куда глаза глядят.

И Шеге – ноги в руки! Что раздумывать? Бегут оба к оврагу. Топот такой подняли, что верблюды, напугавшись, повскакивали с мест. И собаки зашлись в лае.

Поравнявшись со Ждахаем, Шеге спросил, переводя дыхание:

– Что случилось-то?

– Убила начисто!

Еще сильней припустил Ждахай, аж голова назад запрокинулась. Так и добежали до оврага, на дно скатились. Аульные псы за ними увязались. Тем и спаслись, бедолаги, что оказались на дне оврага.

– Что было-то? – не унимался Шеге.

– Что было, то было... Убила, говорю, то и было, – Ждахай закатился смешком, руку Шеге приложил к своему виску – вспух висок.

– С наградой! Поздравляю! Ну... рассказывай...

– Открыла она дверь. Я – туда, – начал Ждахай, – в ночной рубашке Балкия, аромат от нее... Чего тебе, говорит, а голос... ну совсем не такой, как тогда, когда она с Булышем шепталась. Другой голос. Растерялся я, брякнул, поиграем, женеше[1]... и – на коленки, ножки ее обнимаю:разжалобится, думаю. А она, представляешь, чем-то тяжелым меня... прямо по макушке! Скалка, оказалось. Искры из глаз. Я – к двери. Таз, что ли, у порога зацепил, не знаю, в общем, на что-то наступил. Грохот... А она напоследок этой скалкой – промеж лопаток! Вот тебе игра, говорит. Я через порог да лбом о притолоку...

Шеге со смеху катается по земле, а сверху вдруг:

– Айт! Шайт!

Кто-то проверял на ночь овец. Пересчитывал. До того мажановские псы сидели на краю оврага смирно, не смея приблизиться, побрехивали только, а тут – расшумелись! Ждахай – на четвереньках к ним! Псы умчались, озадаченные, не поняли впотьмах, что за тварь на них накинулась.

– Мало мне, что ль, от этой досталось? – ворчал Ждахай, возвращаясь.

Край ночного полога на востоке подобрался, робко проглянул осколочек луны – как ломоть дыни. Темнота сразу рассеялась, под небом с редкими звездами проступили юрты – круглые, охваченные сном.

Юноши, не задерживаясь, разошлись по домам.

4

Наутро Шеге проснулся от пронзительных голосов. Как всегда, отец с матерью повздорили за утренним чаем. Не желая их слушать, Шеге с головой завернулся в одеяло. Перебранка не прекращалась. Напротив, набирала силу.

– Гульжа-ан! – вскричал вдруг отец. – Сходи-ка к Пахраддину, сахарку от них принеси. Скажи, вернутся люди с базара – отдадим.

Гульжан – младшая из пяти сестренок Шеге.

– Не пойдет! – заявила мать. – Девчонка, эй, не смей идти! Сапоги не шьешь, как аулнаем стал, стыдно, видите

---

[1] *Женгей (женеше)* – жена старшего родственника.

ли; вот и мне, жене аулная, попрошайничать стыдно! Не пойдет она.

– Ай, твердолобая, не тебя ведь, ребенка посылаю, – в голосе отца стали прорываться знакомые визгливые нотки.

– Не пойдет! – упорствовала мать. – Глотку каждый день дерешь: власть – бедняцкая, власть – бедняцкая, а сам – чуть свет к баю бежишь. Скажи, какой прок, что ты – власть?!

Мать у Шеге – ширококостная смуглая женщина с уравновешенным, спокойным характером. Не громко, низким голосом возражает она, но доводы ее убедительны.

Смеется про себя Шеге. Он ясно представляет сейчас отца, красного от злости и беспомощности, потому что не находится в ответ нужных слов, его вытаращенные глаза, его торчащий на самой макушке хохолок. За такую вот вспыльчивость и прозвали его в ауле Верещага Шарип.

– Безмозглая! Что ты мелешь? Просим потому, что бедные. Кто бы нас поддержал, если бы не бедные были?

– Поддержал... это ты про печать, что ли? Носишься с ней, как с дитем недоношенным! А что нам от печати той? Ты один и рад, что власть. Ремесло забросил. Детей вон куча, голодные, на одной воде сидим, рады-радешеньки, что у тебя печать! Вот и грызи эту печать заместо сахара!

Шеге фыркнул под одеялом.

– Прекрати, семя бесстыжего рода! Не смей печать трогать!

Девочки расплакались. Шеге соскочил с постели. Как и предполагал, отец с печатью в руке наступал на мать. Шеге встал между ними.

– Сколько тебе говорю, семя бесстыжего рода, не тронь печать! Пропадешь ведь с аулом, с детьми, знаешь ты про это?

– Знаю, садись. Чай вон остыл... – Мать, хмурясь, потянулась к сундучку, в котором хранились чайная посуда и редкие в доме сладости. Достала небольшой, с ноготок, кусочек сахара, бросила на дастархан.

– Ох-хо-хоу! – вздохнул отец, приходя в себя. – Бабы, и те на шею влезли. Печать им, видите ли, поперек горла! Нашли игрушку!..

Хрустко прикусив сахар, взял в руки перемотанную проволокой пиалу.

Шеге, зевнув, вышел на улицу. Дул холодный, пронизывающий ветер. Обычное промозглое осеннее утро. Небо на востоке обложено тучами. Из-за них и солнца не видать, хотя оно давно уже поднялось. Женщины, съежившись на ветру, гонят на пастбище верблюдов. Кто-то, бренча ведром, набирает воду в колодце. За колодцем на склоне хребта – одинокий всадник с гончей: Булыш на охоту отправился. Вспомнив про вчерашний рассказ Ждахая, Шеге рассмеялся. Пошел на край аула.

Булыш – известный в округе охотник. Джигит из джигитов. Тридцать лет ему уже. Кого же любить Балкие, как не его?! К тому же и холост Булыш, жена два года назад умерла. Бедняк, правда, и одиночество как будто предпочитает. Юрта вон – особняком в конце аула стоит, старая, прокопченная. Из родни у него только мать. Недолгое время они батрачили в Каракумах у туркменского бая, потом вернулись в аул. Собственно, возвращение от туркменского бая и прославило их, но это – отдельная история...

Вороной конь и белая гончая Булыша, перевалив через хребет на южную сторону, исчезли из виду.

Э-эх, почему бы Шеге не родиться таким вот джигитом, как Булыш? Посмотрел бы тогда, как Хансулу кичиться стала. Запахнув на груди поплотнее тесную уже безрукавку с шерстяной прокладкой, Шеге вздохнул. Вот эта неказистая юрта – его, Шеге, обиталище. А в центре аула, поражая людей своим великолепием, стоит другая юрта, белая как снег. Юрта Хансулу. Неподалеку на привязи жеребец-трехлетка Каракер. Чистых кровей. Другой такой лошади в округе нет. Знаменитый туркменский ахалтекинец, которого Пахраддин из Бескалы[1] привел специально для дочери. Когда Хансулу садится на этого коня – с шеей в полтора аршина длиной и ногами, прямыми как камышинки, не скачущего, а стелющегося по ветру, – Шеге не мыслит себя рядом с ней. Такой она и стала в последние годы. Раньше, бывало, играли вместе, Хансулу с успехом за аульного сорванца сходила. Теперь Хансулу – загадка.

---

[1] *Бескала* – букв. "Пять городов"; так казахи называли Каракалпакию по пяти ее городам: Ходжели, Коньırату, Коне-Ургенчу, Нукусу, Шимбаю - куда они ездила на ярмарку.

Одна по степи на ахалтекинце скачет. Или отсиживается дома, домбру до самого вечера мучает – опять же одна. Многие, вроде Ждахая морщатся, считая ее задавакой, зазналась, дескать, все к ней: Хансулу да Хансулу – как тут не зазнаешься? А другие называют гордячкой, тем кичится, говорят, что отец у нее Пахраддин, бий. Но Шеге – как бы ни чернили Хансулу – не может не любить ее. Его все сильнее влечет к “гордячке”, у которой такое нежное овальное личико, такие длинные, загибающиеся кверху ресницы, такая милая, чуть вздернутая по-заячьи и оттого особенно привлекательная верхняя губка...

– Едут! Едут! – раздалось со стороны пастбища. Смотрит, Козбагар кричит. Только что ведь за овцами на выгон поспешал. Полноватый, Козбагар бежит неуклюже, размахивая на радостях руками. “Кто едет?” – подумал было Шеге и тут увидел караван, огибавший северный склон сопки Караул. Издалека казалось – степь пересекает журавлиный клин. То был караван “горожан”, месяц назад отбывших на ярмарку в Темир.

– Хансулу! Хансулу! Эй! Отец твой с базара едет! Оте-ец!

Козбагар надрывался так, будто его собственный отец возвращался с ярмарки. Скотину Козбагар у Пахраддина пасет. Пастух, а тоже, несчастный, на Хансулу надежды питает...

Козбагара услышал весь аул, высыпал из юрт. Ребятишки подняли визг, бросились навстречу каравану. И Хансулу показалась. Наряд ее подчеркивал изящество девичьей фигурки: серые шаровары, красный плюшевый камзол, облегающий тонкий стан, сапожки на высоких каблучках, на голове – меховая шапочка с перьями филина на макушке, в руке – камча. На Козбагара, бросившегося к ней, она даже не взглянула, пошла к коню.

Шеге вспомнилось, как Кикымбай сказал про Хансулу: “Глядите, как эта девица держится – ну прям русский апицер!” Не сводя глаз с точеной фигурки, он вздохнул...

Хансулу легко вспрыгнула на жеребца, нетерпеливо переступавшего тонкими ногами в ожидании хозяйки, и помчалась вслед за мальчишками к сопке Караул. Чуть пригнулась к гриве. Ноги Каракера не касаются земли – летит конь. Студеный ветер бьет в красивое девичье лицо, вышибая слезы из прекрасных миндалевидных глаз.

Очень скоро скакун Хансулу оставил позади визжащих ребятишек и пересек путь усталому каравану, который длинной цепью растянулся по желтому плоскогорью. Среди путников, с пылью на лицах и одежде, изможденных, с красными воспаленными глазами, Хансулу, конечно же, искала отца Пахраддина, но не находила его. Впереди каравана – ее дядя Азберген. Богатырского сложения, он еще больше огрубел, мясистое лицо расплылось, стало круглым, на толстых щеках топорщилась многодневная щетина.

– А, Хансулу! Здоровы ли вы? – обронил он угрюмо.

– Здоровы. А где коке? – спросила Хансулу.

Глаза Азбергена с красными прожилками на белках глядели на девушку холодно, да и выражение лица далеко не ласковое.

– К Лабак-ахуну завернул только что.

Караван безучастно проследовал мимо.

Хансулу поворотила нетерпеливого коня к солнцу. Каракер полетел по полынной равнине. Только поднявшись на поперечный гребень, увидела она впереди двух путников, одного – на верблюде, второго – на коне. В человеке на вороном с белой отметиной на лбу жеребце она признала своего отца. Тот, что рядом, на белом верблюде, в белом чапане, в белой чалме, – Лабак-ахун. Он обучал грамоте всех детей этой округи. В Жылыбулаке содержит мечеть.

Пахраддин – красивый мужчина с только-только пробивающейся сединой в волосах, крупный, с широкими плечами, – склонившись с коня, чмокнул в щеку дочь, которая, прежде чем приблизиться к нему, спешилась и, соблюдая степной этикет, с почтением и нежностью подошла к отцу.

До Хансулу у Пахраддина были сыновья – Али и Кали. Оба умерли от оспы. Единственную Хансулу, народившуюся после них, он любил не меньше сыновей.

– Как вы здесь, Сулутай, живы-здоровы? – спросил он волнуясь, и голос его задрожал. Глаза, большие, открытые, увлажнились.

Хансулу обратила внимание на то, что большой с горбинкой нос отца припух и покраснел. И вид у него был простуженный.

– Вы не больны, коке? – осведомилась она, и тонкие девичьи брови дрогнули, как крылья ласточки перед полетом.

– Нет, Сулутай, – ответил отец.

Хансулу показалось, что отец что-то от нее скрывает.

Подстегнув коней, они нагнали вскоре худосочного, белого, как дух, ахуна, успевшего на своем белом верблюде уйти вперед. Не оборачиваясь, старик напевно заговорил:

– Уай, брат мой Пахраддин! Говорили мы с тобой в свое время, помнишь, наверное: баев станут унижать, батраков возвышать, а кто против слово скажет – коню под хвост кидать. Схватила, считай, власть за горло. То, что ты в Темире услышал, начало беды. Бог свидетель – наши страдания еще впереди.

Помолчав, ахун продолжал:

– Все, что на свете белом вершится со дня сотворения мира и до нынешних дней, дело рук божьих, все воле божьей подвластно...

Из их разговора Хансулу поняла – отец везет с ярмарки нехорошую весть. Снова начали теснить баев. Усиливая сомнения, ахун обронил:

– Шошу в Жайындах взяли. Бог знает, чей черед завтра...

5

В ауле весело, будто праздник пришел. За скотину, угнанную месяц назад на ярмарку в город Темир, мужчины привезли мануфактуру, одежду, сахар, чай. Как тут не радоваться?

Народ собрался в свободной гостевой юрте Пахраддина. С удовольствием внимают все напевному голосу Лабак-ахуна.

– Уай, какие слова! – восклицает Шарип, поддерживая сказителя.

Ахун на торе – почетном месте, он бел, как лебедь. Борода и усы – серебристо-белые, и одеяние на нем – белое; худой, аскетического сложения, он как олицетворение святого духа. Домбра неумолчно журчит под его рукой.

Слушает ахуна и Пахраддин, он низко опустил голову, тяжелые мысли мучают его.

– О, обманчивый, подлый мир, кого ты не пережил! – поет ахун.

Это припев. Ахун его то и дело повторяет.

– Сколько доблестных сынов, наидостойнейших в роду человеческом со дня сотворения мира, с того дня, как Адам ступил на землю, проводил ты в путь, откуда нет возврата! И царей, подобных сотрясателю вселенной незабвенному царю Сулеймену, и героев, подобных бесстрашному воину Ескендиру[1], и ученых, подобных светлоголовому Лукпану, и ханов, подобных несравненному Аз-Жанибеку, и скитальцев мудрых, подобных печальнику Асану, и биев, подобных справедливейшему Толе, Айтеке, Казыбеку и Срыму, и батыров, подобных отважному Бараку, спасшему казахов в калмыцкое нашествие, проводил ты... Никто, о, никто еще не обретал покоя в этом мире, никто не находил утешения. О, обманчивый, подлый мир, кого ты не пережил! Кому, скажи, удалось не покинуть тебя?!

– Ай, не скупись! Еще! – заверещал Шарип, подаваясь к ахуну так, как если бы сидел на коне. – Ох-хо-хоу, красотища-то какая в мудрых словах предков!

Набычившись, Азберген мрачно посмотрел на Шарипа. Лабак-ахун, вдохновленный бурной поддержкой, налег на домбру, слова терме обрушились на слушателей градом.

– Ах ты... ах ты... не жалей! – стонал Шарип, не в силах скрыть восхищение.

В центре юрты на чугунной сковороде – горящие угольки. Язычки пламени, отражаясь, играют в агатовых миндалевидных глазах Хансулу. Когда жыр[2] кончился и с вечерними сумерками в самый центр между гостями поставили огромное блюдо, полное мяса, Хансулу, улучив момент, выскочила из юрты. Прекрасная, отдающаяся в ушах ночь стояла в степи, дышалось хорошо. В темно-синем небе перемигивались бесчисленные звезды. Отовсюду – запах дыма, запах тлеющего кизяка. Наполняя хохотом безмятежный вечер, резвилась молодежь: играли в "слепого козла". В Хансулу проснулось детство, тоже захотелось поиграть, пошла на голоса.

---

[1] *Ескендир* – Александр Македонский.

[2] *Жыр* – песня-сказание.

– Хансулу? – удивился кто-то.

– Хансулу идет!

– О, Хансулу!

– Эге-е, пусть теперь Хансулу козой будет!

Рады были Хансулу, особенно девушки. Из юношей здесь – Шеге, Козбагар, Ждахай. Сестренка Шеге Балжан – они погодки – подлетела к Хансулу и завязала ей глаза. Платок черный, плотный – и впрямь "ослепла" Хансулу, ничего не видит. Балжан за руку вывела ее в круг, закружила на месте, а потом закричала:

– Слепая коза, бодника, ну! – и отскочила в сторону.

Хансулу, рассмеявшись, поймала руками воздух. Она бросалась на голоса и смешки и, ловя в очередной раз воздух, хохотала, обнажая ослепительно белые при свете звезд зубы. Все шумно уворачивались от ее вытянутых рук и тоже смеялись. Но громче всех веселился Козбагар – хоть уши затыкай. Легкая в движениях, Хансулу, сориентировавшись на его бас, сумела ухватить юношу за руку. Рванулся было Козбагар, оглушительно смеясь, но не отпустила его Хансулу.

– Все! Все!

– Попался! Козбагар, ты теперь слепой козел!

Козбагар, вытянув руки, пошел вперед. Ждахай пристроился сзади. Не дыша, повторял каждый шаг Козбагара, каждое его движение. Козбагар и не подозревал его уловок. Все давились от смеха.

Ждахаю наскучило изображать тень Козбагара, ущипнул того за жирный зад, отпрянул в сторону.

– Ойбай! – возмутился Козбагар. Развернулся, но поймал руками воздух.

– Сзади он! Сзади! – подсказал Шеге.

Один раз Козбагар попал впросак, так теперь поживее стал разворачиваться. Но не везет ему. Молодым что? Им бы только повеселиться. Козбагар устал. Топчется на месте, как медведь, хохочет. Кто-то все-таки попался. Ручка тоненькая, нежная да духами, что ли, еще попахивает. Девушка!..

– И-и-их! Их! – заржал он обрадовано, лапая жертву.

– Не теряйся? – подначивал Ждахай. – Что у неба просил, на земле нашел! Держи покрепче!

Девушка гибка, вырваться норовит. Кругом гвалт. Подружки молотят Козбагара по плечам:

– Отпусти!

А что ему их кулачки?

– Е-е-ех! Ех-ех! – ржет он. Лицом в девичью шею зарылся, не то целует, не то кусает ее, одурманенный духами.

– П-пусти! – вскрикнула пленница и влепила Козбагару затрещину.

Тогда он опомнился. Хансулу! Другая не посмела бы. Струхнул, разжал объятия.

– Молодец, батрак! – ликовал Ждахай. Он прыгал на месте от радости.

– Наглец! – бросила Хансулу в лицо Козбагару. Из глаз ее брызнули слезы.

И тут объявился Азберген. Как с небес сошел. Правой рукой схватил Козбагара, левой – Ждахая. Не успели те и глазом моргнуть, тряхнул обоих так, что парни на колени шмякнулись, а потом свел их и стукнул лбами, как самых обыкновенных козлов. Все, кто был рядом, струсив, убежали. Ждахаю каким-то образом удалось высвободиться из клещей Азбергена, тоже побежал. В ближних кустах столкнулся с Шеге.

– Ты что? – остановил его Шеге.

– Не видишь? Вон... Прибьет... – и ринулся было дальше, да Шеге не пустил.

– Выручать, – говорит, – пошли!

– Ты в уме?

И побежал. Понесся без оглядки, как бычок, покусанный оводом.

– Агата-ай[1], умираю! – надрывался между тем Козбагар.

– На тебе, "агатай"... Ишь, дерьмо, распустились... на тебе... на! – изощрялся Азберген.

Шеге, взяв разбег, ударил Азбергена головой в спину. Тот, не ожидавший нападения, не удержался на месте, пробежался вперед, едва устоял на ногах.

– Ах, чтоб ты сдох! Кто это, а? – прохрипел он, оборачиваясь, и бросился следом.

Быстроногий Шеге стал петлять как заяц. Не догнал его Азберген. В тот вечер не думал Шеге, что из этой невинной

---

[1] *Ага (агатай)* – старший брат; в данном случае – уважительное обращение к человеку, старшему по возрасту.

игры возгорится пожар. Знать бы ему, что гореть в том пожаре не кому-то, а ему – да еще и вдвоем с Хансулу...

В ауле поднялся крик. Пронзительный бабий крик. Он вспорол тишину. Это хромоножка Торка, мать Козбагара. Ее гнев почище самой страшной февральской пурги.

– Чтоб тебе пусто было, Азберген! Где ты, ойбай! – голосила она.

Торка – ведьма ведьмой. Старшей сестрой приходится Шарипу. Услышала про избиение сынка Азбергеном, тут же выскочила из дому с кочергой; переступая через порог, ушиблась лбом о косяк, жаулык[1] с головы слетел, но ничто ее не остановило. Муж ее, Уап, – известный в ауле кузнец, бирюковатый нравом; ему б с железом только возиться, все остальное нипочем. Потому и не он выскочил с кочергой на врага, а Торка. Увидев двоих, мелькнувших впереди в темноте, она расшумелась:

– Проклятие твоему роду, Азберген! Остановись! Ты кого унижаешь? На твоих руках помру, ойбай!

Никто ее, конечно, не слушал: ни Азберген, ни кто-то другой. Да и кто побежал-то – неизвестно. Но Торка не сомневалась: Азберген побежал, ее, Торки, испугался. Развопилась еще пуще:

– Погоди, вражина! Если правда, что Сабетски бласты[2] есть, я до тебя, бандита, доберусь!

Старуха обнаружила Козбагара на пыльном пустыре. Припадая на ногу от волнения, повела она сына домой, зареванного и тоже прихрамывающего – ему отбили бок. В крохотном жилище Торки тускло светит коптилка. Длинный Уап еще сидел в постели, вылезши наполовину из-под рваного одеяла, и кряхтел: усы его, тонкие и вислые, подрагивали концами, как и опущенные уголки рта, – признак того, что он сердится. Торка, не обращая на него внимания, подвела сына к огоньку, взглянула на его лицо и взвизгнула: нос у Козбагара разбит, брови – тоже, весь в синяках. Кровь из носа запачкала грудь. Она запричитала:

– Ах, язва бы тебя взяла со всем твоим родом, Азберген! Где ты, ойбай! – и устремилась к мотыге у порога, вдвое длиннее ее самой.

---

[1] *Жаулык* – женский головной убор.

[2] *Сабетски бласты* – искаж. от "Советская власть".

Уап, не выдержав, сполз с постели. Навис, длинный, над женой.

– Будет тебе, старуха, будет, кого думаешь там изничтожить?

Уголки его губ опять задергались. Он попытался преградить ей дорогу, но та отмахнулась:

– Сгинь с глаз!

Она направилась прямиком к Азбергену, таща сына за руку. Криками переполошила аул

В юрте Азбергена не было света – легли, видно.

– Проклятье твоему роду, Азберген, выходи, коли мужик ты! Покажу я тебе, как бить-то надо! Выходи! – с этими словами Торка стала дубасить мотыгой по двустворчатой двери, запертой изнутри на крючок. – Что ж ты не убил его, мальца-то?! На, окаянный, убей! – и толкнула сына. Тот ударился о дверь. Заскрипела притолока.

– Уважаемые, эй, нельзя ль убраться, а? Дом развалите! – прогудел из юрты бас Азбергена.

– Развалю?.. Да я разгромлю твою кибитку! – взвизгнула старуха и давай бесноваться. Прыгает возле юрты, как козленок, и мотыгой по ней молотит.

– Гляди-ка, разнесла уже! – бросили зло из юрты.

Это распалило Торку:

– Да кто она такая, пропади пропадом, ханская дочь, что ли, и поцеловать ее нельзя?! Поцеловал. Ну и что? Надо будет, похлеще что сделает! Мизинчика моего Козбагара не стоит сучка ваша, а туда же – цену ломают!.. Выходи, басмач, выходи сюда, чтоб твоему отцу в могиле выть! Руки-ноги свяжу – и пошел! Если правда, что бласты есть, так закуну, учти, нет, чтобы батрака бить! Ойба-ай! Где ты, Шарип?!

Вопли Торки давно подняли аул на ноги. У юрты Азбергена собралась толпа, пришли и стар и млад. Подогретая вниманием, Торка продолжала бесноваться, колотя по юрте мотыгой; насилу две женщины остановили ее, взяли под руки.

– Успокойтесь! Да успокойтесь же, мать! – корили они ее. – Глядите, люди кругом!

Незнающие любопытствовали:

– Что за скандал? Объясните!

Вездесущие ребятишки и доложили, как все было. Из их сбивчивого рассказа люди поняли: сын кузнеца Уапа, батрак бия Пахраддина Козбагар насильно поцеловал дочь бия Хансулу, когда они играли в "слепого козла"; оскорбленная девушка отвесила невоспитанному джигиту пощечину, а потом дядя девушки – Азберген – поколотил Козбагара, разукрасил его в кровь...

К принародно утиравшей слезы Торке подобрался, раздвигая плечами собравшийся люд, Пахраддин.

– Не сердитесь, женеше, – сказал он. – Видите, сколько нас? Как-нибудь найдем управу на одного буяна...

И тут же к юрте развернулся, прокричал:

– Эй, разбойник, что же ты лежишь, когда тут народ? Выйти бы надо, а?

– Дайте покой, уважаемые! Уходите! – последовало из юрты.

Женщины от возмущения защипали щеки – красноречивый жест: поведение Азбергена выходило за рамки приличий. С тех пор как существует аул, не было случая, чтобы кто-то возразил бию Пахраддину, да еще публично, не говоря уж о том, что он к тому же старший брат Азбергена.

Пахраддин разгневался и ушел. Не знали люди, что с ярмарки братья вернулись в ссоре.

Был в толпе и Шарип. Молчал, пощипывая кончик жидкой бородки. Люди переключились на него: что аулнай скажет, представитель власти? Но Шарип, обычно первым ввязывавшийся в скандалы, нынче был безгласен. Торка, притихшая было в руках женщин, опять начала биться – ее вывело из себя поведение Шарипа, брата, власти, наконец, которую он олицетворял.

– У тебя что, скулы свело, ойбай? Что мне от того, что ты аулнай, ойбай! Единственную сестру защитить не можешь, на поругание нечисти отдаешь, да зачем мне такая твоя бласты, ойбай! Пустите меня, помру я лучше скитаясь...

– Да будет тебе, старуха, пошли-ка лучше домой. – Длинный Уап навис над старухой, и усы его, тонкие и острые на концах, тоже повисли. Захватив жилистыми руками сухонькую Торку, он взвалил ее себе на плечо и

отправился домой. Она, дрыгая руками и ногами, замолотила по его плечу, закричала:

– Пусти-и, богом проклятый!.. Пусти!

6

Утром, удобно разлегшись на мягких подушках и одеялах, Азберген пил чай, когда в юрту ввалился дебелый милиционер с клинком на боку. Молодая жена Азбергена – Раш – испуганно вскочила с места, вскрикнув:

– Милиса[1]...

Азберген, еще удобнее подмяв под локоть пуховые подушки, пристально, в упор уставился на гостя. Не Базарбай – прежний волостной милиционер, которого он знал, но и этот наружностью знаком. Ба-а, насмешка судьбы... да он же на прислужника мажановского смахивает, того самого, что лошадей, помнится, привязывал, когда гости к баю наезжали.

– Эй, да ты, никак, Бухарбай?! – воскликнул сразу Азберген, будто родственника увидел, пряча страх под наигранной веселостью.

– Кончай, Азберген! Вставай! Одевайся! – приказал милиционер, узкоглазый черный крепыш с выдающимися скулами. Говорит – точно гром громыхает. Да и вид суровый.

Понял Азберген, что милиционера Шарип вызвал.

– Так чаю попьем, табарыш?[2] Садись! – предложил Азберген, указывая на место рядом.

– Кому сказал, вставай! Как раз туда пойдешь, где чаи гоняют! Такой порядок.

За плечом у милиционера винтовка, на поясе клинок, туго-натуго сыромятным ремнем подпоясан, пуговицы сверкают, даже в глазах стальной блеск. Помрачнел хозяин. С трудом, притопывая задниками, просунул ноги в сапоги. Встал. Милиционер будто ждал этого, завернул ему руки назад, сыромятным ремнем перетянул. Азберген не сопротивлялся. А вышел – перед домом Шарипа увидел толпу. Все заинтересованно к нему повернулись. К шариповской юрте и погнал его милиционер. Азберген

---

[1] *Милиса* – искаж. от “милиция”.

[2] *Табарыш* – искаж. от “товарищ”.

клокотал от ярости. Вся аульная шваль да бабы собрались, чтобы над ним покуражиться. О, позор! Не он ли, Азберген, весь этот сброд, как скотину, некогда хворостиной погонял?!

Солидные мужи аула, аксакалы, восседали в юрте Шарипа. Когда Азберген с закрученными назад руками, согнувшись в три погибели, переступил порог, первым, на кого он обратил внимание, был хозяин дома – Шарип...

Верещага Шарип с немигающими от важности момента круглыми совиными глазами. Довольно смехотворно выглядел он на торе в собственном доме – как прыщ на горе, можно и не заметить; по правую сторону от него – Пахраддин, сияющий ясным, открытым лбом; по левую – белый, как дух, Лабак-ахун, расчесывающий пальцами бороду. Среди женщин, расположившихся ближе к порогу, Азберген приметил Торку.

– А-а, головорез, явился? – оживился Шарип, смеясь. – Пусть-ка там и присаживается... на порожке... хе-хе...

Реплика Шарипа Азбергену – как удар хлыста по лбу. Но что он скажет? Униженный, обессиленный от унижения, он лишь прикусил губу. Все глаза – на нем. Милиционер ткнул его в спину. Еще больше помрачнев, отчего его мясистое лицо вспухло, Азберген опустился тяжело на колено. Глянул было на брата – тот, по-видимому, чувствовал себя не лучше, не поднимал от пола глаз.

– Пиши! – произнес Шарип торжественно и заерзал на месте. Приятная минута настала для него.

Кинул Азберген быстрый взгляд на аулная, а тот бумаги, которые перед ним лежали, передвинул к сыну – Шеге. Тот сидел уже наготове с ручкой. В рот, считай, заглядывает отцу, от напряжения губы облизывает. “Ах, не попался ты мне ночью, жаль!” – думал Азберген, задыхаясь от злости.

– Пиши! Пртокол[1]... Написал?

– Написал!

Народ притих. Снаружи громко галдели. Торка закричала:

– Эй, заткнитесь там, язва вас возьми!

[1]*Пртокол* – искаж. от “Протокол”.

Сразу стало тихо, будто аулчан окатили ледяной водой. Только чий на стенках юрт шелестел от ветра.

– Причина написания пртокола следующая: классовое столкновение, напиши, было вчера в ауле Пахраддина. Байский отпрыск Азберген Мусаулы при всем честном народе избил батрака Козбагара Уап-улы... да, пиши... Козбагара Уап-улы избил. А повод к избиению такой: батрак Козбагар, влюбленный в племянницу байского отпрыска Азбергена Хансулу, имел вчера неосторожность эту свою любовь показать...

Шеге усмехнулся.

– Пиши! Это не единственный случай, когда Азберген над бедняками измывается. С приходом Сабетски бласты он спеси, правда, поубавил. А то ведь самый что ни на есть головорез был, ты ему – а, он тебе – на! Весь аул сыт проделками наглеца. Кто на годовых поминках по Ибраю велел выволочь меня из юрты, где сидели аксакалы? И ведь из-за того, что мне, сапожнику, место, видите ли, у очага, рядом с бабами. И еще поколотил меня. Он, этот Азберген, самая что ни на есть контра...

– Шарип! – заговорил Пахраддин, распрямляя грудь. – Ровесники мы с тобой, можем поговорить без обиняков. Дело это прошлое, да и не советом ли тех же аксакалов решилось? Зачем ворошить то, что забылось?

– Хорошо. Пусть так. Пошли дальше. Пиши. Бласты – бедняцкая. Кто бедняк? Бедняк – Козбагар. Раз Азберген поднял руку на Козбагара, он, значит, поднял руку на бласты! Пиши!

Тут многие забеспокоились, стали перешептываться.

– Пиши! Нет закуна, чтобы батрака били! Времена Мекалая[1], когда такой закун был, прошли, и не вернутся больше!

Люди расшумелись, разгалделись, как пчелиный рой.

– Пиши! Пусть Азбергена как бая за избиение батрака судят. Пусть туда его гонят, где на собаках ездят!

У Пахраддина глаза расширились от неожиданности, он поглядел на ахуна, сидящего рядом, который, захватив бороду в горсть, кажется, подремывал. Но нет – почувствовал, видно, святой человек пахраддиновский взгляд, молящий о помощи. Поднял голову. Расчесал пальцами бороду.

---

[1]*Мекалай* – искаж. от “Николай”.

– Шарип, одумайся! – проговорил он жестко.

Но Шарип был на коне, не мог он прислушаться ни к чьим мольбам, даже к ахуновским; он и в лице-то потемнел от решимости, ровно пожар где тушил. Застыл на месте непоколебимо, как столб, врытый в землю. Жайбаскан, его жену, задела несговорчивость, мужа:

– Зачем туда, где на собаках ездят? Других мест, что ли, нету?

– Конечно! Тащи печать, Шеге! – вскричал Шарип, зверея. – Пусть, – говорит, – топает головорез! Нашел с кем связываться!

Собаки, доконали Азбергена. Он поднял голову, оглядел всех, будто спрашивал: "Взаправду ли вы это, люди, или так... припугнуть хотите?"

Торка не преминула вставить:

– Пусть на псах поездит, туда ему и дорога, богом проклятому!

Круглая, со ступню верблюжонка печать – в руке Шарипа. Послышались испуганные женские возгласы. Пахраддин, качнувшись грузным телом, подал голос:

– Подумать надо сначала, а?

Глух Шарип. "Пртокол" перед собой разложил, печать ко рту поднес, начал на нее дуть. Затаился народ, со страхом наблюдает за ним. А Шарип не смотрит ни на кого, руку назад отвел и – с размаху – печать в бумагу и всадил! Люди вздрогнули, а некоторые женщины, не выдержав, вскрикнули:

– Ай!..

– О, бог-создатель!

Протягивая милиционеру бумагу с печатью, Шарип сказал:

– На, держи! Отдашь Дуке!

Дука аулчане знали, – Дукенбай Исмаилов, председатель волостного совета. Милиционер Бухарбай неторопливо свернул документ и так же неторопливо сунул в нагрудный карман, а карман застегнул на пуговицу. Набычившись, посмотрел на Азбергена, приказал по-русски:

– Марш! – а по-казахски добавил: – Ступай!

Азберген неуклюже поднялся. Его мясистое лицо стало багровым. Направляясь к выходу, бросил взгляд на Пахраддина. Старший брат сидел, вперив глаза в землю.

Народ хлынул наружу, чтобы проводить "арыстыбай" Азбергена – так в местном произношении звучало русское "арестованный".

– Эй, люди! Куда вы? Не расходитесь. А долг хозяина? А угощение? – разверещался Шарип. – Эй, Шеге, вставай! Разделай поскорее ягненочка!

– Сыты по горло, ровесничек, куда уж больше! – выдавил из себя Пахраддин, не скрывая обиды. Он тяжело поднимался с места, собираясь уходить.

– А ты на меня не серчай, сам говоришь – ровесники мы. Стало быть, понимать меня должен. Государственное дело – одно, а наши с тобой отношения – другое. Разве не так, ахун-ага? Пригласишь – не придете ведь, именитые больно, а раз под крышей моего дома оказались, так не брезгуйте, отведайте положенное!..

Шарип просил искренне. Пахраддин и Лабак-ахун переглянулись. Их взгляды говорили – надо принимать приглашение, ведь Шарип и в самом деле хозяин положения.

Был полдень. И стар и млад глядели на единственный в округе пыльный большак на востоке, взбиравшийся на перевал. По нему конник подгонял пешего. Подгонял безжалостно. Пыль высоко вздымалась из-под ног. Пешим был "арыстыбай" Азберген.

Солнце обложили тучи. И ветер, подувший с севера, набрал силу. Взяв в одну руку кумган для омовения, а другой захватив край чапана, степенно удалялись к зарослям полыни дородный Пахраддин и длинный и сухой, как шест, Лабак-ахун. Оба невеселы.

Пахраддин, прокашлявшись, спросил:

– Как вы думаете, ахун-ага, чем это закончится?

– Аллах знает, он всему очевидец... уж больно скоро времена меняются, брат мой. Если кто не напакостит вдогонку, если злоумыслия не будет – допросят-допросят, да и отпустят его.

– Ой ли? Как в воду вы глядели. Баев будут унижать, а рабов, напротив, возвышать... Сейчас несчастного в волостную управу доставят, а попал туда, считай, тюрьма...

– Время! Время! Холодным от тебя веет, времечко, – чуть ли не со стоном выдохнул Лабак-ахун. Пахраддин опять прокашлялся, прочищая горло.

И Верещага, чувствуется, знает обо всем доподлинно и потому делает как надо. Знает – время нынче такое, что из мухи слона раздуть можно, вот и пользуется. Что делать, ахун-ага? Азберген – пес порядочный, но брат он мне, родная кровиночка, опора моя. Время, сами видите, такое, миром можно было решить скандал, не вынося сор из аула... С детской игры, как говорится, пожар...

– С детской игры... Н-да... с детской игры. Бог свидетель...

Лабак-ахун, поставив кумган на землю, долго расчесывал руками длинную серебристую бороду.

– Бог свидетель, девочка – невеста, а парень – жених, а? – сказал он потом.

– Так-то оно так, – отозвался Пахраддин, вздохнув. Он выглядел подавленным.

– Гм-м, – промычал ахун и задумчиво поглядел на посеревшее небо.

Когда они вернулись в юрту, белый, как лебедь, Лабак-ахун, прошествовав на торь, обратился к хозяину:

– Уай, Шарип!

– Вечно к вашим услугам! – с готовностью откликнулся Шарип.

– Преклони колени! Торка-келин[1], и ты присядь! Уап, и ты послушай! Бог свидетель, всем известен скандал, случившийся в ауле. Чем он закончился, тоже знаете, своими глазами видели. Бог свидетель, между людьми одного аула произошла ссора. Вчера эти дела решались старейшинами, не оглашались. Ни в прежние, ни в нынешние времена не было в аулах случая, чтобы мы своего человека на осуждение злу отдавали. Другой стал аул, оскудел аул. О люди! Не могут родичи не пожалеть друг друга, если даже один из них в кровавой рубахе. Шарип! Пахраддин! Слушайте, Торка-келин, Уап-браток! Предназначение всякой тяжбы – соглашение, предназначение всякой дороги – отдохновение, предназначение всякой девушки – к своему гнездышку устремление. Если вы прислушиваетесь ко мне как к старшему, хочу я к согласию вас привесть, хочу породнить. У Торки-келин

[1] *Келин* – невестка; обращение к младшей по возрасту замужней женщине.

сын подрос, у тебя, Пахраддин, дочь расцвела. Посватайтесь! Верните человека! Если вы согласны, благословим их союз! – и Лабак-ахун первым совершил ритуальный жест – молитвенно раскинул ладони.

Исход оказался неожиданным для обеих сторон – как гром на голову. Все молчали. Пахраддин, качнувшись грузным телом, уставился в землю, не проронив ни слова. Шарип, прочищая запершившее вдруг горло, закашлялся, поглядел растерянно на Пахраддина, на ахуна, заерзал на месте, как будто под ним вода проступила. Старая Торка, вскинувшаяся было в самом начале разговора, теперь тоже умолкла, даже не дышала – выжидала, видно, чем закончится сделка. У Уапа вытянулось лицо, задвигались уголки рта. Шеге, который у порога обрабатывал шкуру прирезанного ягненка, посыпая на нее соль, посерел, услышав сказанное, метнул в сидящих настороженный взгляд.

Шарип в конце концов нашелся. Его круглые совиные глаза залучились искорками, он деланно рассмеялся, воскликнул:

– Уай, святой отец! Прекрасное решение! Какой тут разговор?! Уай, да быть мне жертвой в пользу благого дела, что значит мудрый человек! Вот так совет! Торка! Ты не лопнула еще от такой радости? Счастливчик твой сопляк! Давай благословение, чего ты?! – и возбужденно раскинул руки.

Торка, фыркнув, подтолкнула в бок своего старика и быстро раскрыла ладони. Пахраддин с ответом медлил. Старый ахун повернулся к нему:

– Ну, браток Пахраддин, благословляй! Освящу ваш союз! – и, вскинув серповидный нос, глядя куда-то вдаль поверх голов, выбросил вперед сухую костистую руку. Пахраддин, тяжело качнувшись, исполнил желание ахуна. Последним исполнил Шеге выбежал за порог.

– Уай, дикарь! – бросил ему вслед Шарип.

Прочувствованным голосом Лабак-ахун стал читать торжественные слова освящения:

– Агуз-зи бил-лахи...

Народ в юрте почтительно притих.

7

Весть о том, что Пахраддин отдает дочь за Козбагара и тем спасает Азбергена, мигом облетела аул. Перед большой белой юртой Хансулу подбрасывала дровишек в топку желтого никелированного самовара, когда от пробегающих мимо ребятишек услышала о новости в доме Шарипа. Путаясь в длинном подоле платья, вбежала в дом:

– Апа![1]

Мать взбивала кумыс в сабе – кожаном бурдюке. О происшедшем узнала из выкриков тех же мальчишек да так и застыла на месте, побледнев, с мешалкой в руке. Обняла прибежавшую со двора дочь:

– О создатель, не посоветовался... Что с ним? Пойдем, пойдем, доченька, к твоему сумасшедшему отцу!

– Не пойду! – отрезала Хансулу. Глаза ее зло полыхнули.

Мать поняла, что уговаривать дочь бесполезно.

– Хорошо, сама пойду, – сказала она.

Поправила на голове жаулык – и пошла. Неторопливо. Мягко ступая. Как всегда. Такая уж мать у Хансулу – мир кругом гореть-полыхать будет, а она себе не изменит: такой же степенной останется...

Хансулу знала, что если уж отец что решит, так то наверняка и будет. Будто небо на нее обрушилось, будто все вокруг – сгорело.

Камча висела за кереге – деревянными решетчатыми переплетениями юрты; выхватив ее, Хансулу побежала к Каракеру и, уже садясь, ухватилась за мысль, которая пришла вдруг: повернула коня к дому Козбагара.

Козбагар, не оправившийся еще от побоев Азбергена, был в постели. Синяки не сошли ни с тела, ни с лица. Только что его навестил Шеге, страху нагнал, дурень. Ни за что ни про что за шею его да с постели! Зачем, говорит, тебе, собачий сын, Хансулу – и давай душить. А сам... чуть не плачет. Испугался Козбагар, ой, Шеге, говорит, ты чего? А тот – ну прямо свихнулся – швырнул его снова на

---

[1] *Апа* – обращение к матери.

постель и был таков. Уж так топал, когда бежал, что можно было подумать, Азраил, ангел смерти, за ним гонится... Пока Козбагар, потрясенный, приходил в себя, с криками мимо дома пробежала ребятня. Понял Козбагар, почему Шеге сходит с ума. А что ему оставалось? Немыслимо! Хансулу – жена Козбагара?! Чудно! И тут с треском распахнулась дверь, и вошла... Хансулу! И впрямь, как у офицера русского, выправка у нее! В смородиновых глазах – блеск. О, как она прекрасна! Камчу в ее руке он заметил потом.

Юркнул под одеяло. С макушкой. Но девушка сорвала с него одеяло.

– Это ты-то меня берешь? – спросила она.

– Не я, ойбай, не я! – завопил Козбагар, не сводя глаз с занесенной над ним камчи. Но Хансулу полоснула хлестко по правому боку. – Ойбай-ай-й-й!..

Неприступная, несгибаемая, вышла девушка, громко хлопнув за собой дверью. А за домом Шарипа в это время встретились Пахраддин и его байбише.

– Что же это ты, мой сокол? – спросила она, не называя по степному этикету мужа по имени. – Что с тобой? Ты думаешь, что делаешь?

Ветер шевелил тронутые сединой усы, бороду Пахраддина, на красивом мужественном лице яснее проступали морщины, осунулся он. Долго молчал, нахмурившись.

– Пойми... – сказал он тихо жене. – Сегодня на мир с раскрытыми глазами глядеть надо. Нынче батрак грошовый заткнет за пояс бая и мырзу. Это надо видеть, надо чувствовать... Вот я и подумал – у твоей дочери должно быть будущее... Это надо понять, байбише...

Эхо этого события, случившегося поздней осенью 1927 года у Таскудыка, отдалось по всем аулам в Ушоймауте и Доныztау по южную сторону реки Жем. Не богатством славился Пахраддин, люди ценили его как бия за ум, красноречие, и весть о том, что такой почитаемый в народе человек по своей воле отдает единственную дочь за батрака, обивающего его порог, показалась несколько странной и неожиданной.

КОЧЕВЬЕ НА УСТЮРТЕ

1

Всю ночь сыплет снег. Люди в ауле, намеревавшиеся отправиться к теплому зимовью в далеком отсюда Саме через неделю, а может, и через две, встревожились. Рано выпавший снег осложнил откочевку.

Хансулу не может уснуть. Собравшись в комочек на теплой постели, зовет к себе сон, но – тщетно; от мыслей, преследующих ее, ворочается и ворочается с боку на бок. Будто одна она на всем свете – лицом к лицу с непогодой и ночью. Кажется, что и ночь, окутавшая вселенную, тоже не рассеется никогда.

Только перед рассветом и уснула утомленная Хансулу.

Проснулась от тепла очага, жарко полыхавшего в самом центре юрты. Через откинутый тундик[1] виднелось светлеющее небо. Мать с женщинами, помогавшими ей, увязывала в тюки постель, одежду, ковры и другую домашнюю утварь.

– Сулутай, вставай! Аул откочевывает, – сказала она.

Сами женщины уже одеты, туго-туго подпоясаны кушаками. Хансулу вышла из юрты и зажмурилась – даль ослепительно бела. Вокруг, насколько хватает глаз, снег. Перед столовой юртой – мужчины, среди них ее отец Пахраддин, дядя Азберген, Булыш, Верещага Шарип, свежуют только что заколотую ими жирную кобылицу. От туши идет пар.

– Ойхой, жирна-а лошадка! Жир-то в пять пальцев, с ладонь! Ох-хо-хой! – верещит Шарип.

Азберген с засученными рукавами разделывает мясо топором и частями кидает его на подставляемые подносы.

– Берите! – приговаривает Пахраддин звонким на утреннем воздухе голосом. – Берите! Угощайтесь на здоровье! Пусть наша дорога будет удачной!

В столовой юрте на треноге – огромный казан. Под ним – буйно пылающий огонь. Всю оставшуюся конину отец велел заложить в этот казан. А до тех пор, пока будет вариться мясо, мужчины разберут юрты. Вещи укладываются в тюки, тюки перетягиваются канатами – все для

[1] *Тундик* – квадратная кошма, покрывающая верхний, сквозной круг юрты.

того, чтобы сподручнее было погружать домашний скарб на верблюдов.

Булыш и Козбагар связывают в кучу оставшееся в сараях топливо: жерди, обрезки досок и бревен, сами бревна. Возле них толпятся любопытные.

– Аркан тащите! – велит Пахраддин. Арканы принесли, толстые, витые из конопли.

– Нара давай, Булыш!

Связанные древесные обрезки и бревна образовали кучу внушительных размеров, напоминающую гигантский сундук.

– Обвяжите!

Булыш привел размеренно вышагивающего Шойынкару. Огромный черный нар, шумно дыша, свысока оглядел людей. Под волосатыми веками верблюда поблескивают серые глаза. Булыш направил его к куче, заставил опуститься на колени. Верблюд повиновался, заскрипел зубами. На спину животному положили седелку, двое джигитов с двух сторон подтянули подпруги. Два конца арканов с кучи крепко-накрепко привязали к двум сторонам седелки.

– Ну-ка, подыми его теперь! Чу, животина! Шойынкара, раскорячившись, встал. Булыш взял его за повод. Снег верблюду по колено. Разве что крупной скотине – верблюдам да лошадям – под силу переход по глубокому, не слежавшемуся еще снегу, а овцы и козы, к примеру, не сделают по нему и шага.

– Гони-ка! Поглядим!

Шойынкара сорвал кучу с места. Она поплыла, вспахивая пушистый снег. Позади открылся путь шириной в размах вытянутых в стороны рук. Шарип, не сдержавшись, заклекотал по обыкновению:

– Ойхой! Умереть за тебя не жаль, животина! Люди, с рассвета готовившиеся к откочевке, успели и упаковаться, и верблюдов перед дальней дорогой размять. Не разобранной оставалась лишь столовая юрта Пахраддина. Аулчане собрались в ней. Принесли первое блюдо с мясом, поставили в центр. Жирное мясо яловой кобылицы исходит паром. До самого Масаты – а до него день пути, да и то, если двинуться засветло, – остановок не предвидится.

Люди об этом знают, и потому от гор мяса на нескольких блюдах, водруженных на дастархан вслед за первым, вскоре не осталось ни кусочка. Вкусное мясо запили чашкой горячего наваристого бульона. Джигиты – а от сытости у них на лбу капельки пота проступили, на щеках румянец, – покинули гостеприимную юрту. Теперь им нипочем и студеный ветер, и крепкий мороз. Веселые, захватывали они пригоршнями снег и растирали им руки.

Плотный завтрак прибавил сил, люди взялись за верблюдов, подгоняя их, ревущих, к поклаже – надо поскорее загружать увязанный в тюки домашний скарб, разбросанные на части юрты: уыки, кереге, кошмы. Вот где испытываются женская сноровка и мужская сила! Кто не сумеет быстро и аккуратно навьючить животных, тот осрамится. У нерасторопных поклажа до первого привала расползается.

Тонкий визгливый голос Шарипа пробивает общий шум. Паникует бедняга. Больше крику, чем дела. С утра Шарип кидается на Шеге. Правая рука отца, всегда такой безотказный, исполнительный, сын сегодня и пальцем не пошевелил – более того, и не намерен был, как видно, что-либо делать. Охрип Шарип, дозываясь его. Невезучий он на детей: все недотепы. Вон девчонки, большие уже. И что же? В золе копаются на месте старого очага. Старшей четырнадцать, а туда же. Что поделаешь, ребенок все же.

– Эй, Балжан! Наржан! Калжан! Айжан! Гульжан! Уай, черт бы побрал ваши "жан"[1]. Что там застряли, когда народ, понимаешь, колготится... у, твердолобые!

Молодой верблюд, такой же крикун, как он сам, опустившийся было на колени, взял да и вскочил на ноги, заслышав вопль.

– Уай, чтоб тебе околеть! На колени! На колени, говорю! – напустился теперь на верблюда Шарип. Бедное животное закружилось на месте, а вместе с ним забегал, пытаясь ухватить его за узду, Шарип.

– О-о, сатана! О, искуситель, дьявола-соблазнителя порождение! Ты кого это искушаешь?

– Шеге, где ты, ойбай! Вяжи заднюю ногу!

Пока подоспел сильный Булыш и помог справиться с диким животным, пока Шарип нагружал барахло на двух

---

[1] *Здесь*: игра слов.

верблюдов и лошадь, аул, вытянувшись цепочкой, ждал их на дороге.

– Ой, свинячье отродье! – ворчал Шарип.

Время полуденное. День пасмурный. Тусклое сероватое небо сливается с равнодушной, покрытой снегом степью. Посередине белого безмолвия – пестрое, застывшее на месте в своих извивах кочевье. Не может оно двинуться. Не может, потому что Шойынкара, который с дровяной кучей должен был идти впереди, не стал слушаться повода. Булыш, злой, даже камчой его стеганул, но тот лишь головой помотал.

– Не бей! – заступился за верблюда Пахраддин, подъезжая на коне.

– Презрели, их высочество нас... – проговорил Булыш в характерной для него манере изъясняться вычурно, когда ему не по себе.

Шойынкара, который должен торить путь, не перестал упрямиться. Иногда делал шаг-другой вперед, а затем, скрежеща зубами, оборачивался назад и – застывал на месте. Люди растерялись. Старики на верблюдах – их головы рядом с горбами темнеют – и дети поносят почем зря Шойынкару. И без того их нынешняя ранняя зима напугала: трава на выгоне, которой еще мог бы питаться скот, осталась под снегом; если не уйти поскорее в теплые пески, пропадут животные.

– Ах ты, напасть! – послышался голос Пахраддина. Веселый голос. – Понял я, что хрычу-то моему надо! – Пахраддин смеется, аж плечи трясутся. – Уай, джигиты! Табун вперед, выводите! Вон тот... все дело в нем...

Джигиты быстро вывели вперед табунок, который был в хвосте кочевья. Шойынкара, обросший шерстью так, что она свисала и с морды, тотчас ощетинился, пристально, в упор разглядывая замелькавших перед глазами тонконогих верблюдиц, одногорбых и двугорбых, молодых и не совсем молодых. Это и было его стадо, над которым все лето он был единоличным хозяином. Ноздри уловили мягкий, знакомый запах аруаны[1]. В одном из потаенных закоулков верблюжьей души поднялся зов, могучий, неподвластный. Заскрежетал Шойынкара зубами. Из глаз, злых, зорких,

---

[1]*Аруана* – одногорбая верблюдица.

как у беркута, посыпались искорки, захлестал себя хвостом по мощному бедру. Тотчас рванулся он вслед за табуном. Дровяную гору, которая по размерам не уступала, пожалуй, ему самому, волок с места без особого напряжения. Пушистый снег разверзся и стал укладываться волнами по обе стороны торной дороги. Кочевью открылся столбовой путь.

Расшумелись, разгалделись люди, смеяться стали, посыпались шутки:

– Разрази тебя гром, Шойынкара! Ну и хоро-ош!

– Вы только подумайте, каков пес!

– Постыдился бы на старости-то, а?

Последнюю реплику бросила женщина и провела пальцем по щеке, выражая тем свое возмущение.

Кочевье, выровнявшись, двинулось по следу Шойынкары. За кочевьем косяками пошли лошади, отарами шумно блеющие овцы, ведомые лунорогими козлами с колокольчиками на шеях. Так начал свой полумесячный переход к дальним благодатным, щедрым на тепло и саксаул пескам в Великом Саме аул, за которым шумно подтягивалась на ходу вся его многочисленная живность.

2

Группа всадников с притороченными к лукам седел мотыгами, лопатами, кетменями еще в полдень ушла вперед, оставив далеко позади караван. Наступило послеобеденное время. Конники торопились, запалили лошадей. Куцый гнедой Шеге едва успевал за всадниками, да Шеге не очень-то его и подгонял – не до веселья ему, хотя охочие до пересудов спутники закатываются от смеха. Не то у него настроение. Хмур Шеге. И голоса не подает.

...Пятнадцать джигитов отобрал Пахраддин вместе с Булышем и Азбергеном и отправил их вперед, чтобы они приготовили аулу место для привала: расчистили снег, чтобы было где крышу возвести и скот разместить. Пока Пахраддин отдавал распоряжения, из кочевья Мажана прискакал запыхавшийся Ждахай. Сразу – к Шеге.

– Это правда, парень? – спросил он напрямик и подбородком показал на Козбагара.

– Правда, – ответил Шеге и отвернулся. Он не хотел говорить на эту тему.

– Вот так убил! – Ждахай сочувственно посмотрел на товарища.

А тот, поддав коню в бока, ускакал прочь. Ждахай прокричал вслед:

– Беги с ней, слышишь, отца ее в душу... помогу-у!

"Беги с ней..." Легко сказать. Та ли это девушка?!

Среди рысящих всадников и Козбагар. Под ним – пахраддиновский рыжий скакун. Вчера был ему прислужник, сегодня – зять. Человек! Свадьбы, правда, не было, но будет она, будет!..

Пронизывающий студеный ветер путается в конских ногах, сбивает с хода. Тех, кто отстает, он еще пуще треплет, умудряется даже за пазуху пролезть. У Шеге начали мерзнуть руки и ноги. Злой на гнедого, подстегивает его камчой. Но конь, взмахнув хвостом, лишь на короткое время пускается галопом, а потом опять сбивается на свою обычную собачью трусцу.

Назначенного места джигиты достигли до заката. Южная, защищенная от ветра сторона круглого, заметного посреди равнинной местности холма испокон веку служила надежной стоянкой для кочующих аулов. Джигиты не мешкая принялись за дело. Самая тяжелая работа – расчищать место для юрт и для крупной скотины. За нее взялись физически крепкие, опытные джигиты, подобные Булышу и Азбергену, а Шеге, Козбагар и другие, что помоложе, стали разгребать снег для овец. До самого заката звенели ломы, посверкивали на солнце лопаты. А как солнце зашло, на северном горизонте показалось позванивающее колокольцами кочевье. Впереди – Шойынкара, его черная холка видна и на расстоянии.

Скованная холодом глушь разом ожила. В самом центре расчищенного пространства, исходя паром, возвышался Шойынкара. Джигиты спешно освобождали его от арканов. Широко расставив ноги, он шумно дышал, с высоты своего роста обозревая округу, с груди и паха животного клочьями свисала пена, по длинным волосам на шее и на ногах стекал пот.

Пахраддин, не сходя с вороного с белой отметиной во лбу жеребца, отдал распоряжение:

– Кошмой его накройте, кошмой! Не давайте стоять! Прогуливайте, прогуливайте!

Люди, стараясь с толком использовать последний солнечный свет, спешно возвели шалаши на освобожденных от снега участках. Скотину привязали, подоили. Разожгли захваченный в дорогу кизяк – он запылал в очагах; над огнем повесили казаны. В шалашах из стенок юрт, не сетуя на тесноту, поужинали. Шарип, повеселевший после чая, умудрился даже растянуться на спине и посадить себе на грудь маленькую Гульжан, от удовольствия он и мурлыкнул что-то. А потом его взгляд упал на Шеге, ко всему безразличного, и он поднял голову. Жидкие рыжие усы встопорщились.

– Эй! – окликнул он сына. – Эй, бородатый пес! Глянька сюда! Я тебе говорю!

Пять дочерей Шарипа рассыпались звонким переливчатым смехом. Шеге повернулся к отцу. Молчит. В небольших острых глазах – неприязнь.

– Ты, собачий сын! Чего это как в воду опущенный ходишь? Что случилось? Говори!

– Ничего не случилось, – отделался Шеге.

– Ой, болван! Нас, что ли, обмануть хочешь? Говори! Послушаем.

– Лежал бы уж! Дался тебе мальчишка, что пристал? – вмешалась Жайбаскан. Она возилась с казаном у очага.

– Пристал – стало быть, надо! Люди-то что? Джигит Шеге, говорят. Так вот, послушаем джигита, пусть выскажется. Почему он такой смурной?

С ответом нашлась маленькая Гульжан.

– Плохой ты! – заявила она, тыча указательным пальчиком в отца. – Зачем Хансулу Козбагару отдаешь? Шеге-ага Хансулу любит... Понял?

– Замолчи! – рявкнул на сестренку Шеге.

Гульжан крохотной ладошкой послушно прикрыла рот.

Жайбаскан от неожиданности выронила скребок. Балжан, разливавшая чай, испуганно замерла. Совиные глаза Шарипа стали и вовсе круглые. Теребя жидкую бородку, посмотрел на жену и закивал головой, как будто говорил: “Видала?..”

Некоторое время спустя, повернувшись к Шеге, сказал:

– Вот те на-а! Узнали, значит, отчего ты смурной, – и снова закивал-закивал.

– Что ты узнал? Что ты узнал? – взвился Шеге, вскакивая с места. – Ничего не узнал? Сводничаешь, преступление против закуна делаешь, вот что!

– Эй, собачье отродье, свиньей вскормленное? Ты сядь, ты не ори! – рассердился, Шарип. Но он не такой грозный, как обычно. Весть, видать, для него неожиданная.

Шеге посмотрел ему в глаза. А ведь он и впрямь джигит, подумалось Шарипу...

– Сядь! – тихо попросил он.

– Не сяду! Уйду! Не нужна мне т... – и, захлебнувшись словами, Шеге ринулся было к двери, да мать преградила дорогу:

– Сядь! Раскипятился. Отца впервой видишь?!

– Закун, говорит, нарушаешь. Ну, изничтожь! Ну, убей! Ой, пе-ес! Тогда что – ты поболее меня закуны знаешь, а? Ой-хой, срамное время, сын отца вразумляет, ой-хой, – Шарип, зажмурившись, закачал головой.

Поскрипывая схваченным морозцем снегом, движется кочевье. Тяжело навьюченным могучим нарам, всякие зимние неприятности вроде стужи и свистящего ветра нипочем. Они ступают размашисто. В кошемной загороди на их спинах белеют жаулыки старых матерей, что тихо покачиваются из стороны в сторону под ритмичный верблюжий шаг. А там, где на резвых конях гарцуют тепло одетые джигиты и молодые женщины, – шутки и пересмешки, весёлый гвалт.

Впереди кочевья рысит верблюжий табун. За ним громадный Шойынкара волоком тащит по снежному простору не менее громадную деревянную кучу. Снег слежался, по плотности не уступает, пожалуй, и насту, и все же Шойынкара вспарывает его, как и прежде, легко прокладывая путь кочевью; отваливающиеся в обе стороны снежные глыбы – как льдины на реке в ледоход. Серебристая снежная пыль, взметываясь из-под ног, облепляет ему брюхо. Джигиты по пути находят под снегом баялыш и полынь, срезают траву и скармливают ее на ходу нару. Голодный, он охотно все уплетает.

Еще через три ночевки, на четвертый день, кочевье через Кольтабан взошло на Устюрт. Слабые овцы и козы,

подохшие с голоду, остались на дороге. Двигаясь безостановочно по гладкой равнине плато, кочевье через неделю спустилось к водяному озеру Оким-Киык, а к концу следующей достигло песков Сама. Снег в песках лежал тонким слоем, трава в изобилии. Скотина, оголодавшая за длительный переход, с волчьей жадностью накинулась на все, что темнело на снегу, даже на голые сухие кустарники. Аул вклинился в густую саксаульную чащу, люди обосновались на теплом кыстау-зимовье, на привычном становище, куда они возвращались каждую зиму.

3

Для Хансулу начались безрадостные серые дни зимы. Изнеженная родительскими ласками девушка, за всю свою жизнь не слышавшая ни окрика, ни грубого слова, стойко, без жалоб и сетований, переносила выпавшее на ее долю испытание. Отцу она слова не проронила, зачем, мол, вот так, за нелюбимого отдаешь, но и обращаться к нему, как прежде, с нежным "коке" перестала. Пахраддина, правда, в ту пору ее состояние не очень-то и занимало – не до нее. Как вечер, сходились они с Азбергеном и спорили, спорили... Афганистан и Иран часто поминали...

И сегодня зимний вечер опустился рано. Не зажгли еще лампу в доме. Полумрак. На железной треноге в самом центре юрты булькает казан. Аромат варящегося мяса заполнил помещение. Жарко вспыхивают под казаном горящие угольки. Не отрывая глаз от огня, Хансулу негромко перебирает струны домбры; она – единственная сострадалица больной девичьей души; стонет, вздыхает домбра.

Сырга-байбише дала наконец покой швейной машинке, тихо поднялась, зажгла лампу, висевшую над порогом. Ладная, незлобивая нравом, она бесшумно, как тень, передвигается по юрте. Не хочется ей беспокоить дочь. Но – и домбра умолкла вскоре.

Тишина в юрте. Тяжелая тишина. Она как будто и аул придавила. Не вернулась еще скотина с пастбища. Потому в ауле тихо. Чей-то крик. Сырга-байбише вздрогнула, Хансулу выскочила за дверь.

В самом центре аула, с подветренной стороны большой снежной горы, пылает костер; тающий снег собирают в

подготовленную посуду – так здесь добывают воду. Но не в костре дело – обычная для зимовья картина. Неподалеку от огня на стригуне бесновался Ждахай, он кружил вокруг аулная, который бежал в сторону выгона. Шарип и кричал. Люди, что были у костра, метнулись за Шарипом. Хансулу – тоже. Сначала они увидели бегущую от зимовья Мажана женщину, ее преследовал, стегая камчой, бегущий по пятам мужчина в лисьем малахае. В бегущей признали Балкию, а в преследователе – Мажана. Так вот почему Шарип кричал!

У бедняжки Балкии волосы рассыпались по спине и плечам, полы полушубка разлетелись по ветру, руками она заслоняла голову от ударов. А Мажан машет камчой, машет...

Люди расшумелись:

– Он же убьет ее!

– Сдурел, что ли, старина?

– Нечего было молоденькую брать, коли так, ишь!

Лошадь Мажана сбила женщину с ног, упала она. К ней на выручку кинулся на своем стригунке Ждахай, за ним пешим – Булыш. Мажан и на Булыша замахнулся, который, добежав, помог Балкие подняться.

– Бросьте! Хватануули! – взревел почерневший Булыш и, вырвав из рук старика камчу, сломал пополам рукоять и отшвырнул прочь.

У Мажана от неожиданности встопорщился единственный волосок на черном родимом пятне на щеке. Напустился на жену:

– Иди жалуйся теперь своей власти! У-ух, околела-бы ты, распутница!

Развернув светлорыжего иноходца, погнал его обратно. Низина между двумя аулами запестрела от возвращавшейся с пастбища скотины. Пастухи и табунщики поспешили к месту происшествия. Балкию, едва переступающую ногами, всхлипывающую, вели под руки Булыш и Хансулу. Шарип не кричал, расчесывая руками козлиную бородку, стоял неподалеку и о чем-то сосредоточенно размышлял. Ждахай подоспел к нему на своем стригунке.

– Шарип-ага! – вскричал он. – Что же вы стоите? Покажите этому баю власть, если вы власть, отца его в душу!..

Шарип, все так же поглаживая козлиную бородку, стал размышлять вслух, чтобы все слышали:

– Ау, я власть... власть, это верно... но кто же, скажите, не бьет жену?! Надо подумать...

Камча в двух местах оставила след на прекрасном, бледном лице Балкии. Опустив голову, она беззвучно плакала. Красавица Балкия представлялась Хансулу женщиной гордой, свободной, но вот сейчас она эту Балкию видит униженной, посрамленной. Ах, как же ей, наверное, тяжело!.. От жалости прослезилась и Хансулу.

Дом Булыша был уже близко, когда послышался ясный, сильный голос Дау-апы:

– Сынок, ты меня слышишь? Мне и своих-то несчастий хватает. А власть – так она вон, за тобой, – и показала на Шарипа, – она и решает споры. Вот туда ее и веди, слышишь?

Сухощавая черная старуха с палкой в руке стояла перед зимовкой Булыша, возвышаясь во весь рост. Оттого и звали ее Дау, что означает Большая.

– Апа-ау, – запротестовал Булыш, но старуха замахнулась на него палкой.

– Кончай прекословить! Делай что говорят!

– Булыш! – подала голос Балкия, собралась, видно, с духом. – Ни власти твоей, ни чего другого не надо. Найди лучше, на чем мне до аула добраться...

– Но ведь ночь... Балым! – взмолился черный, как уголь, Булыш, беспомощно озираясь по сторонам.

В эту минуту Хансулу пожалела Булыша. Покойная его жена была в дальнем родстве с Пахраддином, он ее сестрой называл, так что Хансулу обращалась к Булышу традиционно, как к зятю: “жезде”. Подобное обращение несколько упрощало их отношения, жезде, как водится, снисходителен к просьбам, вот она и решилась:

– Пусть, – сказала, – Балкия к нам пойдет, у нас переночует.

Мгла сгустилась, стало темно, в ауле суета: хозяева овец в кошарах запирают, верблюдов на ночь к арканам привязывают – время позднее. Да и Пахраддина, как оказалось, дома не было – уехал на могилу святого Барака, память предка почтить да долг сыновний исполнить.

Булыш Балкию до самого жилища Пахраддина и довел, что-то шепнул ей у порога. Та молча кивнула. Не услышала

Хансулу, о чем они перемолвились. А потом Булыш и ушел. Стреножив коня, пустил пастись за аулом и затем переступил порог собственной юрты. В дыму тускло коптит над порогам керосинка. Дым свет забивает, и без того слабый. Рослая мать, склонившись к очагу, дует на угольки, жаулык неясно белеет на голове. Но не горит саксаул. Чадит. Дым ест глаза.

– Пропади все пропадом – бросила она, заметив сына. – Взяла у Сырги, дай ей бог здоровья, угольков, а они, вишь, подзатухли, пока мы с этой... с токал... канителились.

– Отойди-ка! – попросил Булыш и, пригнувшись к очагу, подул на угольки.

Легкие у Булыша посильнее кузнечных мехов. Очаг озарился пламенем.

– Ай, апа, огня развести не можешь, а невестку которая сама к нам шла, с порога развернула, а? – пошутил Булыш.

– Не надо, брось! – не приняла шутки мать. – Не неси вздора! Девчонку вон за тебя отдают, свеженькую как молозиво, что тебе чья-то баба?! Уймись!

– Ой, апа-а! – простонал Булыш, опускаясь на выделанную козлиную шкуру на полу.

–Дочку жаулыбаевскую приводи, слышишь? Цветок нераспустившийся. Ребенок еще!

– 0-ой, апа, оставь!..

Чай они пили в молчании.

Не замедлив, из-за барханов и луна показалась. Задул, подвывая, северный ветер, закачал верхушки саксаула. Лохматые псы, стражи кочевников, бдительно подававшие голос, разбрелись по теплым, защищенным от ветра уголкам. Заснул аул.

Саксауловая чаща перед зимовьем густа, верблюда туда загони – не найдешь. У входа в этот девственный экзотический лес, в потайном укрытии между стволами деревьев схоронился Булыш. И вот приоткрылась дверь большой белой юрты в центре аула, и от нее отдалилась тень, заскользила в сторону чащи. У Булыша замерло дыхание. Маленький женский силуэт неспешно приближался. Поверх плеч на женщине – полушубок, на голове – белый шелковый полушалок с кистями. Балкия...

Булыш, вышел из-за укрытия. Балкия приближалась к нему по белой, снежной, освещенной луной полосе.

Улыбалась. Знакомая ему улыбка – легкая, лучезарная. Он неловко обнял бросившуюся к нему на грудь женщину, приник жадно к тяжелому прохладному полушалку на ее голове, поцеловал в висок.

– Уйдем подальше!.. – прошептала она.

Кругом – саксаул. Надежнейшее укрытие для влюбленных. Под стволами густо скопившиеся тени. Множество маленьких полянок, на которые луна изливает свет. На одной из них крохотной, с ладошку, со всех сторон загороженной саксаулом, они и остановились.

– Ну-ка, покажи? – попросил Булыш, поворачивая к луне лицо женщины. Вгляделся в него.

Балкия зажмурилась, покорно подставила луне свое омытое слезами круглое личико. След от камчи шел наискосок через белый открытый лоб, захватывая левую часть лица, а второй, придясь на красивый, чуть коротковатый нос, тянулся к правому уголку маленького, с наперсток, рта.

– Хоть не до крови... Ничего... Пройдет, – Булыш страстно, нетерпеливо стал осыпать поцелуями глаза и лицо молодой женщины, особенно те места, которых коснулась камча.

Балкия, так и не открывая глаз, прильнула к нему, прижалась намертво.

– Супруг мой... – шептала она, и ее горячее дыхание опаляло ему лицо.

Их объятия встретились; слившись воедино, стояли они под луной. Морозец крепкий. Снег скрипучий под ногами. Но не ощущается холод влюбленными, для них зима как жаркое лето.

– Чем же он попрекнул, узнать можно? Зачем побил?

– Ой, не надо... не вспоминай про него! – взмолилась Балкия.

– Может, отпустит тебя старый черт?

– А тебе что? Женишься? Через порог провести не можешь...

Смешался Булыш, поверженный.

– Балым, – сказал он. – Не суди строго. Что бы ни было, молись, чтобы другие тебя не кинули... С тобой я...

– Не надо, чтобы вот так... со мной! – Балкия отбросила руку, обнимающую ее.

– Что прикажешь делать? Мать ты видела. Сказать что против – бога боюсь. Двух сыновей похоронила. Сиротство видела. Вдовство. Нет, наверное, никого, кто бы мучился больше. И кое-кого при этом в люди за макушку вытянула...

– Упрямая старуха, – Балкия смахнула слезы. – Я-то при чем?

– Самое верное в таких случаях... ну погляди на меня, Балкия... психанули мы и – успокоились. Понимаешь?

– Т-ты... ты успокоишься, а я... я на весь аул.. – Балкия разрыдалась. Она упала бы, ноги подкосились, если бы сильные руки Булыша не подхватили вовремя. Держа ее на весу, снова стал целовать большие, полные слез прекрасные глаза.

– Булыш-ш мой! – выдохнула она в какой-то момент сквозь всхлипывания и, с безумным отчаянием повиснув у него на шее, опрокинулась навзничь. Оба повалились на снег. Как два пала, столкнувшись друг с другом при встречном движении, сошлись они, опаляя своим дыханием холодный мир...

Хансулу вздремнула. Проснулась, почувствовав холод в боку, и обнаружила, что Балкии, которая была рядом, нет. Пусто ее место. Разошелся сон, сердце в груди расстучалось. Вспомнилось, как Булыш обмолвился о чем-то с Балкией, уходя... Просторный мир в ее глазах разом сузился, стал с горсточку. Хансулу чтила Булыша как святого. Не раз длинные языки связывали воедино Балкию и ее жезде, много досужих вымыслов распространялось – никому ведь рта не закроешь. Хансулу после каждой такой сплетни несколько охладевала к жезде. Но проходило время и, видя потом Булыша, как ни в чем не бывало отправляющегося на охоту в сопровождении неизменной гончей, она успокаивалась, забывая про услышанное, и опять откровенно любовалась его богатырским обликом. Такой уж Булыш. Им нельзя не залюбоваться. Он ей представлялся легендарным батыром Камбаром...

Дверь бесшумно приотворилась, и вошла Балкия. Шолпы звякнули в ее косах и смолкли, тихо ступая, прокралась к постели. В темноте слышалось ее дыхание, она раздевалась. Хансулу осталась недвижна, притворяясь, что спит. Вместе с Балкией под теплое одеяло прополз

холод. Запах снежной ночи, запах саксаульной коры, запах, наконец, Булыша уловила Хансулу, в дыхании женщины. Только коснулась Балкия подушки головой, как тут же уснула. Спала она глубоко, покойно...

Не успели утром в доме Булыша собрать дастархан, как объявился человек, кругленький и подвижный. Сладко с самого порога улыбнулся. Голос у гостя вкрадчивый. Курен это, от Мажана он пришел. Булыш, вскочив, руку, как положено, протянул – постарше гость. Курен, как положено гостю, на торь прошествовал.

Курен – дальний родственник Мажану. И еще – его правая рука. Понемногу в грамоте разумеет, понемногу город знает, свой взгляд на жизнь имеет, потому он баю – первый советчик. Торговые дела Мажана в городе опять же он ведет, Курен. Понятно, что и живет безбедно. Со всеми в обращении одинаков – и с друзьями, и с недругами; одинаково сладко всем улыбается, потому и прозвище у него – Лис Курен.

– Итак, женешетай, – начал гость, глянув на Дау-апу, – аулы наши, считай, рядом, а видимся раз в месяц, а то и в год. Как живете благоденствуете? Как скотина? Как люди?

– Да слава богу, – бросила мать небрежно, взбалтывая поварешкой закипающее в казане молоко.

Она не явила особой расположенности к гостю, и тот, так же притворно улыбаясь, повернулся к Булышу:

– Ну, Булышжан, удачлив ли ты на охоте? Нынче, говорят, сайгаков в песках полно. Слышали мы, метко стреляешь, а то и так – с коня камчой бьешь.

Булыш не ахти какой собеседник, а с Куреном-то и уметь еще надо вести разговор. Каждое слово тот произносит медленно, как бы смакуя, как бы прощупывая им человека, а Булыша подобная манера разговора раздражает; теряется он, не находится с ответом. Вот и сейчас заерзал, явно не зная, куда свои огромные ручищи девать. Дау-апа почувствовала состояние сына, с ходу отрубила:

– Ты, Лис, не виляй, выкладывай, зачем пожаловал.

– О-ой, женеше, а ведь обидеться можно, а?.. Итак, по такому я к вам делу. Вчера моя капризная женге из дома Мажана изволила, говорят, в вашем ауле остановиться.

– И что, по-твоему? Мой дом – пристанище для сумасбродных баб, которые от мужей бегают, а?

– Ойбай, женеше, кончил. Кончил я...

Вчера в ауле Мажана был совет, на котором солидные мужи во главе с Лисом Куреном имели с баем крутой, обстоятельный разговор: зачем, дескать, на молоденькой женился – у тебя вон и дети постарше, – если чьих-то дурных наветов простить ей не можешь?! Старик расчувствовался, не хотел он расставаться с Балкией. Только из-за детей, ими подстрекаемый, прогнал он красивую токал со двора, но сам-то переживал случившееся мучительно. Сказать, верните токал, он не мог, самолюбие не позволяло. Потому-то он, в общем, обрадовался, когда Лис Курен предложил ему свои услуги, беру, мол, на себя возвращение красавицы. Токал-то нравом крутовата, вот и подумал старик: если что и разжалобит ее, так только сладкая речь Курена...

Мажан как в воду глядел: где-то к полудню Лис Курен, ведя Балкию, уже спускался к его юрте с песчаного кургана между двумя аулами.

4

Родители Хансулу вплотную занялись приготовлениями к свадьбе: мать была поглощена приданым, день-деньской строчила на машинке; отец во второй половине зимы намеревался поехать на базар в Бескалу – по полкосяка жеребцов и верблюдов сбывал он там, чтобы на вырученные деньги приобрести у каракалпаков все необходимое для свадьбы, в том числе и юрту-отау для молодых.

...Зимнее утро выдалось трескучее. Пахраддину сегодня в дорогу. С ним едут крепкие джигиты аула – Азберген и Булыш. Хансулу, тепло одетая, крутится возле матери, помогая ей заталкивать в коржуны дорожную провизию. Крик раздался неожиданно – с тыльной стороны аула. Пронзительный, леденящий душу крик.

– Что это?

– О алла?

Пахраддин и его джигиты выскочили из юрты.

– Ойбай! Умира-аю! – ревел кто-то не хуже горного барана. Голос доносился с выгона.

В следующее мгновение из юрт высыпали все, кто был на ногах. Шарип и одеться не успел, в подштанниках выскочил.

– Ой, это Козбагар!

– Точно! Его голос! Ойбай, да кто же это за ним? Братцы, да верблюд никак! Шойынкара!

– Шойынкара?! – взвизгнул Шарип. – Ау, будь проклят, Шойынкара! Куруки, палки берите, что стоите? – Сам в дом обратно нырнул. Видно, одеться.

Торка с дубиной, вдвое большей ее самой, уже ковыляла к выгону.

– Убил ведь единственного! Убил, вражина! Уап, где ты, ойбай?! – верещала она на ходу.

– Умира-аю! – раздалось вновь, и на подъем, нахлестывая коня, выметнулся обезумевший Козбагар. Одежда разметалась по ветру. Головного убора нет. А следом, точно дьявол, – Шойынкара! Остановился на подъеме, ногами затопотал, вздымая вокруг себя снежную пыль. Головой туда-сюда мотает.

– Айт! Кайт!

Верблюд увидел группу воинственно настроенных людей с палками и дубинами – они подступались к нему. Он пришел в еще большее неистовство, стал бить себя по бедрам хвостом и прыгать – ни дать ни взять бахсы[1] в обличье верблюда. Страшен сатана, очень страшен. "Вояки" с палками и дубинами перепугались, отхлынули назад. Даже Торка отступила, крича на ходу:

– Ой, разрази тебя гром!

И оружие свое где-то выронила, бедняжка. Шарип улепетывал первый, только у порога своего и опомнился, обернувшись, погрозил кулаком верблюду, который, теперь был далеко. Самец в ответ, широко расставив задние ноги, раскрыл пасть, да так, что красная глотка обнажилась, и низко, утробно изрыгнул из себя:

– Локк-лок!

– Понятно, – заговорили люди, – табун приревновал.

5

По возвращении мужчин из Бескалы в ауле произошла еще одна история. С рассветом Верещага Шарип вышел с кумганом в руке, как обычно, из дому по нужде. Смотрит, а на месте Азбергенова дома, который стоял впритык к

---

[1] *Бахсы* – знахарь, колдун.

столовой юрте Пахраддина, пусто. От юрты только круг остался. Вчера, значит, юрта была, а сегодня утром ее нет. Исчезла. Съехал, подлец. Убежал. Шарип, отвечающий перед властями за аул, застыл на месте, не веря глазам. Только тогда и опомнился, когда кумган, полный воды, уронил. Вздрогнул.

– Ах, головорез! Ах, контра! Ну, погоди? – заверещал он и помчался что есть силы в сторону выгона. По сторонам заозирался. В предутренних потемках саксауловые кусты там и тут представлялись ему кочевьем Азбергена.

Весь аул поднял Шарип на ноги, а потом, вскочив на лошадь, куда-то поскакал. Второпях сел на лошадь без седла, а потому, не доехав еще и до перевала, боль в заду почувствовал, поскольку худой был. Вернулся, держа коня в поводу. Растолкал спящего Шеге, отправил в волостную контору в Коксенгире. После обеда оттуда явился толстый Бухарбай, милиционер с клинком. Тоже аул обскакал, по окрестностям пошарил, а потом сказал:

– В тот раз следовало его шлепнуть, а теперь ушел, бандит!

Туча тучей стоял милиционер. Все ему в рот смотрели, что он дальше скажет, а он возьми да к Пахраддину прицепись: это ты, мол, брата сплавил, ты ему помог; в угол, можно сказать, бия загнал, да хорошо – Шарип вмешался, не дал Пахраддину ни за что ни про что пострадать...

Несколько дней прошло – и задул с севера теплый ветер, солнышко пригрело землю, снег местами прорвался, стал таять.

После майской прохлады начался окот. Для скотоводческого аула появление молодняка – самая суетная пора, когда, считай, все на ногах, только успевай принимать новорожденных! Как только овцы разрешились от бремени и поднялись ягнятки, народ, перезимовавший в Саме, стал потихоньку сниматься с мест, держа курс к летним пастбищам на далеких берегах реки Жем. Другое теперь кочевье, не такое, как в начале зимы; не друг за другом, не длинной унылой вереницей тянулись люди; свободное кочевье, широко раскинувшее крыла по степи. И не спешили, как зимой. Неторопливо перемещалось кочевье,

разумно используя на пути естественные угодья, давая возможность овцам с ягнятами и лошадям да верблюдам полакомиться свежей зеленью.

Этого лета, первого в ее жизни лета, которое для нее тягостно, не ждет Хансулу. Всякий раз, слыша хохот придурковатого Козбагара, ежится она. Хансулу умереть зареклась, чтобы только за Козбагара замуж не выходить. Вот только кто помог бы ей в этом...

Через неделю кочевье спустилось в долину Балга. С утра без перерыва моросил белесый дождик. Полынная степь, омытая дождем, очистилась, стала похожа на пышный зеленый ковер. И караван оживился, пестрый, разноголосый: овцы и козы разблеялись, ягнята и козлята разверещались, верблюжата разыгрались, позванивая колокольцами, наслаждаясь привольем. Этой красоты не замечала еще одна невеселая душа – Шеге. В самом хвосте гонят они с отцом живность в сорок голов.

Идет кочевье, позванивая колокольцами, делая ночами привалы, а днем давая возможность скотине попастись. Такая она, кочевая жизнь, всего в ней вперемешку – и радостей, и горестей.

...Через две недели кочевье остановилось на летнем джайляу на южном берегу озера Тугискен.

Озеро – в центре равнины, его южный берег – густой зеленый луг с полынью, изенью, зверобоем. Аул и обосновывается на этом месте. После обеда разгрузили люди поклажу да остовы юрт возвели, а к вечеру, когда солнце в своем гнезде за далекой сопкой Ханторткил скрылось, вырос на лугу аул, рядом выстроились юрты. В центре – большая, белая, она как перевернутая пиала, юрта Пахраддина; по правую сторону от нее – белая юрта-отау Хансулу, та самая, которую отец для дочери привез из Бескалы.

Перед юртами – очаги, в них уже весело потрескивает огонь.

...Был полдень. Ждахай и Шеге, вспугнув на озере птиц, отстреливали уток в тамарисковых зарослях. Это их первая уединенная встреча с тех пор, как аул осел на джайляу. Шеге испугался, когда увидел шишку на правом виске Ждахая.

– Век бы их не видал, дурней мажановских, – объяснил Ждахай. – Из-за Балкии. Этот, как его, Шотан-сатана, знает, что неравнодушен, повод искал, как бы придраться. На пастбище вчера и сцепились. Хорошо бы, один был, разве бы я ему дался? А то еще и Мотан как с неба свалился. Вот и побили вдвоем… Скажи, Шеге, это верно, что район приезжает? Баев, говорят, с корнем изничтожать будут.

– Не приезжает, а создается район, – исправил Ждахая Шеге. – Вместо уезда он. Уезд, говорят, ничего с баями поделать не может вот его и – тю-тю! Заместо него – район. А с районом, я слышал, не шути; возьмутся теперь за баев, хватит, мол, катались как сыр в масле десять лет, а теперь сверкайте пятками отседова!

– Давно бы так! А то: новая жизнь, новая жизнь... А где она, эта новая жизнь? Сдохнешь, пока эта новая жизнь придет.

– Это у нас только. А у других, говорят, давно новая жизнь, – заверил Шеге с видом сведущего человека. Ждахай оживился:

– Послушай, отец у тебя – власть. Может, знаешь, когда к нам айырпланы и машены[1] придут?

Шеге усмехнулся:

– Скажешь тоже! Айырплан... чего захотел. Нам бы шайтан-арбу[2] сначала увидать...

– Эх, если б я был власть! – мечтательно вздохнул Ждахай и повалился спиной на траву.

Шеге рассмеялся:

– И что б ты сделал, если б стал властью?

– Чудик, без шуток я. То бы и сделал – я бы этих баев тырс-тырс из ружья! Я бы не допустил, чтобы они до самого до района вот так расхаживали!..

И про уток приятели забыли, так увлеклись разговором. Даже Хансулу не заметили, которая приблизилась к ним на своем Каракере. В уголках миндалевидных девичьих глаз застыли слезы. Только что к Пахраддину пожаловали

---

[1] *Айырплан, машена* – искаж. от “аэроплан” и “машина”.

[2] *Шайтан-арба* - велосипед.

уважаемые люди аула. Среди них – Верещага Шарип, длинный Уап, Дау-апа, Булыш. И Лабак-ахун примчался из Жылыбулака на белом верблюде. Гостевая юрта Пахраддина заполнилась.

Мать знаком подозвала Хансулу.

– Сулутай, – сказала она, – ты бы проветрилась... Печальна мать, девичье сердце почуяло недоброе. Каракер, как всегда, нетерпеливо ждал ее; взлетев на него, она безоглядно поскакала. А следом и мальчишка на рыжем жеребце из аула вернулся. Как вихрь мимо озера пронесся.

– Чудак божий, эй, постой! – заорал Ждахай ему вслед, все также валяясь на земле. – Давай сюда!

Мальчишке больших трудов стоило остановить разгорячившегося коня.

– Чего вам? – спросил он недовольно. Рыжий жеребец шумно дышал.

– Куда, мой свет, скачешь? Про это и скажи.

– На свадьбу звать! В следующую среду свадьба! Пахраддин дочку замуж выдает! – прокричал мальчик и хлестнул лошадь.

– Вот, ей-богу, подарочек! – воскликнул Ждахай. Глаза его разгорелись как угольки. Смотрит то на Хансулу – она Каракера в озере поила, то на Шеге, посеревшего разом. В землю уставился приятель. – Что молчишь, чудак? Да неужели Хансулу Козбагару достанется? Давай выкрадем ее! Согласится она, а? Любит она тебя? – Ждахай, бедняга, в возбуждении вскочил с места.

Шеге молчал. Сжал зубы. По-прежнему не отрывал глаз от земли. В них – слезы.

Вестник на рыжем жеребце мчался между тем, пыля, по ковыльной равнине, и бег его коня был как полет звезды, прочерчивающей небосвод...

НЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО

1

До свадьбы оставались считанные дни, когда начался мусульманский праздник курбан-айт, отмечаемый в степи очень пышно. Люди встали спозаранок, привязали каждый в своем дворе приготовленную в жертву всевышнему живность. С восходом солнца задымились очаги, стал

забиваться скот. Женщины утонули в хлопотах, выдраивая до блеска казаны, опаливая на очаге бараньи головы и ножки. Дети шумно делили между собой асыки. Собаки в стороне грызлись из-за требухи.

Раз в году приходит курбан айт, и скотоводческий люд, с трудом выбирающийся из зимы, встречает его с большой радостью.

– Пусть айт будет в радость! – поздравляют люди друг друга, и в ответ традиционно слышится:

– Да сбудутся ваши слова!

Во всех домах двери – настежь, в юртах – богато накрытые дастарханы, они не будут убираться три дня. И три дня – нескончаемый поток поздравляющих с праздником. Кто войдет в дверь – тот и гость. Люди обряжаются во все лучшее. Раскрывают сундуки и тюки, их содержимое – запасное убранство юрт, одежда, ювелирные изделия – развешивается на аркане, натягиваемом поперек юрты. Все напоказ, даже то, что годами про черный день хранится. Таков праздник. Каждый чист перед богом, перед соседями.

Сплошь веселье. Особенно у молодежи, да и родители радуются, не мешают обходить дома, аулы, водить затейливые игры; им приятно наблюдать за ними, ведь получается, их юность продолжают молодые: будь то ночь или день, не сходят юноши и девушки с коней, поют песни, устраивают айтысы, скачки, далеко окрест разносятся их звонкие голоса. Сноровистый джигит и счастье в такие праздники пытает – пробует платком любимой заручиться. Тот, кто обзаводится им, может считать, что его звезда зажглась.

И так – каждый год.

Нынешний год в ауле Пахраддина стал особенным. К полудню заклубилась пыль у речки Жем – и показался всадник. Посыльный от председателя волсовета. Конь в белой пене остановился перед юртой Шарипа. Аул мгновенно наполнился слухами: “Представитель едет... Начальник района едет...”

Не успел посыльный ускакать, Шарип забегал из юрты в юрту, маленький, на подгибающихся ножках, передавая приказ волостного управителя:

– Наведите в домах порядок, уважаемые! Голова района едет! – Слово “секретарь” он забыл начисто. – С жизнью нашей познакомиться хочет. Готовьтесь, милые мои...

– Да что готовиться? Или не айт у нас, а? – разворчалась Торка. – Как лето, так прут всякие, ровно сурки из нор!

– Эй! Не сметь такое говорить! – оборвал ее Шарип. – Не всякие это!

– Ой, ведь куда хоть зайдет новый начальник, любую дверь откроет. Слышите вы меня, эй?

Всех всполошил Шарип, у Пахраддина задержался:

– Сват, ты готовься! Кто знает, может у тебя остановиться... Другой приличной юрты, сам знаешь, в ауле нет.

Хансулу дома не было. Ускакала с молодежью к Колкудыку – айт.

Гости, которых ждали, спешились на краю аула в самый полдень, двое милиционеров с винтовками наперевес сопровождали их. Ранее людей поспели к ним разлаявшиеся собаки, но Шарип вовремя разогнал палкой безмозглых. Подкатился, семеня, к высокому русскому начальнику в кожаной кепке и сером кителе, очень уж устало и прохладно обозревавшему аул, и протянул для приветствия руку.

– Здрасти!

– Здравствуйте! – густым баритоном откликнулся русский, опять же довольно прохладно.

Шарип слышал, что начальник приезжает молодой и не из здешних мест. Шарипа он, естественно, не знал и посмотрел на пожилого худого Апанаса в очках, будто спрашивал у него: “Кто это?” Афанасия Васильевича Гринина, или Апанаса, как звали его по-свойски казахи, еще со времен царя Николая сослали сюда, в казахскую степь; в Темире до Советской власти он преподавал в школе, а потом перешел на службу в уезд; в прошлом году стал заведовать губоно, а сейчас – председатель районного исполнительного комитета. По-казахски Апанас как на своем говорит. Похлопав Шарипа по спине, не замедлил представить его начальнику:

– Это и есть товарищ Каспаков, а если по-казахски, Шарип-ага!

– Да, Каспаков, Каспаков, – подобострастно заулыбался Шарип, кивая.

Хмурое лицо начальника потеплело, он тоже кивнул. Апанас по-казахски поздравил Шарипа:

– С новосельем, Шарип-ага! – Он, конечно же, имел в виду прибытие аула на джайляу. – Пусть полнится радостью айт!

– Да сбудутся твои слова, Апанас! – растрогался Шарип.

С гостями – председатель волсовета Дукенбай Исмаилов, член волсовета Асан Айтжанов (это он некогда способствовал выдвижению Шарипа на должность аулная) и два милиционера; один из них – громила Бухарбай, тот самый, который Азбергена под конвоем угонял, а второй – незнакомый Шарипу, худой, с серым оттенком лица джигит.

– Жекей, – представил его Апанас.

В это время подоспели к гостям и люди аула во главе с Пахраддином. Апанас продолжил знакомство:

– Семен Харитонович, вот этот человек, – сказал он, указывая на Пахраддина, – всеми уважаемый Пахраддин мырза, о котором я вам по дороге рассказывал. Аксакал этого аула. Помощь Советской власти оказал и оказывает неоценимую... А это... – он обратил теперь внимание собравшихся на главного гостя: – Это – первый секретарь создаваемого районного комитета партии товарищ Калашников Семен Харитонович. Прошу любить и жаловать, как говорится. Вот – по аулам ездим. Семен Харитонович желает с жизнью края познакомиться, с деятельностью Советов на местах, в частности в аулах. Впервые он на казахской земле...

– О, добро пожаловать! Знакомьтесь! Будьте гостем! – ответствовал Пахраддин по-русски.

Калашников не без любопытства посмотрел на него, мырза производил впечатление: крупен, пропорционально сложен, широкоплеч, высокий лоб с одного боку закрывает дорогая, тонкой работы тюбетейка, красивая ухоженная борода и усы тронуты проседью, внимательные глубокие глаза смотрят открыто. Еще более удивляло то, что бай говорит по-русски.

– Пахраддин-мырза, вы владеете русским? – спросил Калашников, усмехаясь.

– Хлеба по-русски попросить можем, товарищ секретарь, – сказал Пахраддин, покручивая ус.

– Дастархан Пахраддина-мырзы ждет вас, – счел нужным вставить Шарип.

Афанасий Васильевич перевел предложение Шарипа Калашникову, но тот пожелал поначалу обойти аул. В какой бы дом ни заглядывал секретарь, повсюду его ждали выставленные напоказ по случаю праздника оригинальные изделия прикладного искусства, тонко выделанные овечьи, волчьи, лисьи шкурки, женские украшения. На полу он видел узорчатые войлочные текеметы. Сияли всеми цветами радуги ковры. Возвышались лари из кости, по лицевой части украшенные резьбой. Ковровые ленты свисали с потолка. Шелковые занавеси на шнурах скрывали часть юрт. Гостей встречали молодые женщины и девушки в красочных платьях, в расписных полушалках и платках – как степные цветы; женские руки, пальцы, уши унизаны браслетами, кольцами, серьгами...

На накрытых дастарханах – баурсаки, курт, иримшик, жент и другие яства национальной кухни...

– А покажите-ка мне дом бедняка, – попросил Калашников.

– Но вы только что были в доме бедняка! – ответствовал Шарип. Они как раз выходили из дома Булыша.

– Сколько же у него скотины?

– Ойбай, бедняк он, голый бедняк! Двадцать коз, три верблюда, если верблюжонка считать, одна лошадь.

– А сколько скота у мырзы?

– О, мырза когда-то состоятельный был! Сейчас скота поменьше. Государству на мясо сдал. Короче, сейчас, считай, ничего.

– Хорошо. Сколько осталось?

– Овец около двухсот, лошадей – голов пятьдесят да верблюдов с десяток.

Усмехнулся гость. Холодная была усмешка.

Пахраддин сам распахнул дверцы своей юрты, приглашая гостей пройти. Бухарбай-милиционер остался снаружи. Калашников, пройдя на торь, был поражен увиденным и не скрывал этого. "Богатство" недавних юрт, в которых он побывал, померкло рядом с великолепием, которое открылось ему в доме мырзы. Изумляла не столько роскошь, сколько вкус, угадывавшийся, во всем, что его

окружало, вкус тонкий, непритязательный и вместе с тем изысканный. “Откуда эта красота здесь, в глухомани?” – подумалось ему. Вспомнились напутственные слова Филиппа Исаевича, Голощекина, первого секретаря Казкрайкома: “Район, куда вы направляетесь, – самый отсталый в Степи. Глушь, куда Советская власть еще не добралась. С нуля начинать надо...”

Сырга-байбише налила из большой черной сабы гостям душистый, отливающий желтым кумыс. Круглый низенький столик в центре мгновенно заполнился несколькими большими чашами с ароматным напитком. Пахраддин в довершение ко всему водрузил на стол две “четушки” водки.

Восседая на мягком персидском ковре, гости смаковали кумыс.

– Чудесно! – произнес Калашников и качнул головой. На лбу у него выступили капельки пота. Кумыс он пробовал впервые. Пошутил, захмелев: – Всего у вас, Пахраддин-мырза, много – и достатка, и угощения, но женщин почему-то маловато, а? Почему?

Афанасий Васильевич перевел. Шарип, ухаживающий за гостем – он передавал тостаганы с кумысом, – не выдержал, раскатился в мелком заливистом смехе:

– Так зря его, что ли, “примерным мырзой” зовем? Это что-о!.. – Шарипа прорвало, не остановить: – Он дочь, свою собственную дочь, за прислужника своего выдает, свадьба скоро. Мало того, без калыма отдает. Такой вот человек. Справедливый.

– В самом деле? Ваша дочь? – уставился на него Калашников.

– Да, моя дочь. Единственная, – Пахраддин опустил заслезившиеся глаза.

– Занятно, – удивился Калашников. Покачал головой.

Сырга-байбише, молча хлопотавшая по хозяйству, опустилась на колено по правую сторону от кипящего самовара; так, с колена, как это делают новоиспеченные невестки, достала она из сундука новехонький фарфоровый сервиз, обтерла его шелковым китайским полотенцем, поставила на стол. И скоро гости пили ароматный индийский чай, наливаемый в расписные фарфоровые чашки.

Прозорливый гость за всем наблюдал.

Пахраддин в какой-то момент поглядел на него, а затем сказал:

– Наслышаны мы тут про политику правительства. Все понимаем. Лишний скот, лишнее добро правительство забирает. Всё – на общий круг. Пусть, положим, так будет. У меня лично возражений нет. Пусть берут. Но вот одно я до сих пор недопонимаю, сколько ни думаю. Какая такая вина за баями, что можно вот так все у них отбирать подчистую: и добро, и скотину… а самих, случается, и к черту на кулички гнать?

Калашников, отодвинув к стене подушку, задумался и поднял голову.

– Знал я, что будет такой вопрос, – сказал он. – Не вы один, многие представители господствующего класса про это спрашивают. Скотина, говорят, тому принадлежит, кто ее пасет, а мир тому – кто его находит; это вашего народа пословица. Мудрые слова. Сегодняшняя политика партии на то и направлена, чтобы народ эту мечту в жизнь претворял. Издревле батрак пасет байский скот. Партия считает, что батрак сам и должен быть хозяином той скотины, которую он пасет. Верно, Советская власть не погладит по головушке бая за то, что он батраков содержит. Потому как и бай не гладил по головке батрака, которого содержал, хотя тот и пас его скотину. Власть – бедняцкая.

Пахраддин чувствовал, что потерпел поражение:

– Но я это к чему, товарищ… Я вовсе не против политики правительства. Наоборот, я присоединяюсь к ней, раз веление времени таково. Сам, по своей воле, если власть сочтет это необходимым, готов отдать лишнее. Берите. Пожалуйста… Но меня и другое интересует. Положим, возьмут у нас что причитается, а что потом? Как некоторых, по миру пустят, как кур общипанных? Вот мне про что хотелось бы узнать.

– Да не-е… – вмешался утешающе Афанасий Васильевич. – Справедливо все будет. По закону. У тебя же другое дело, Пахраддин-мырза. Твои заслуги перед властью учтутся.

– Би-ага! – успокоил и Дукенбай. – Вы ведь и не считаетесь крупным баем. Вам ли бояться слухов?

– За хлеб-соль спасибо! – поблагодарил Калашников, кланяясь Сырге-байбише, и быстро, по-военному, поднялся с места.

Остальные – тоже.

Серолицый милиционер Жекей вышел первым. Глядит, Бухарбая нет. Непорядок! Зыркнув туда-сюда глазами, пошел было в дом, а там Бухарбай с двумя молодыми людьми о чем-то спорит. Один из молодых людей, тот, что коренаст и плотен, порывается к юрте, а Бухарбай своим мощным телом ему дорогу преграждает. Жекей незамедлительно оказался рядом.

– В чем дело? – спросил он, еще больше посерев.

– Ребята вот знакомые, – начал объяснять Бухарбай.

– Пристали, байскую дочь выручать надо, с начальством дай потолковать. Я им – нельзя, а они, видишь...

– Табарыш милиса! – не выдержал Ждахай, обращаясь теперь к Жекею. Глаза, считай, из орбит выкатятся. – Мы же за справедливость! У нас заявление к начальнику!

– Какой это начальник, болван! Секретарь района! – посуровел Жекей. – А ну исчезайте! – и по-русски добавил: – Марш!

– Но у нас заявление! – взмолился и Шеге.

– Какое заявление?

– Пахраддин свою дочь замуж отдает... насильно.

– А вы кто такие?

– Бедняки.

– Вот и исчезайте! Насильно если, пусть девица сама и жалуется! Марш! – Жекей просто-напросто оттолкнул их.

– И побороться за справедливость нельзя! А где же Сабетски бласты?

– Марш! – гаркнул вне себя Жекей, и лицо его стало пепельно-серым.

Ждахай и Шеге невольно попятились.

Гости тем временем, сев на лошадей, успели отъехать. Путь их лежал теперь в аул Мажана. Калашников, когда аул Пахраддина остался позади, сказал сам себе:

– И в самом деле, здесь ничего как будто не произошло. Будто революция этот край обошла... Эх, сколько же дел впереди!.. Много дел… Сказал он и, вздохнув, покачал головой.

2

Много свадеб видела Хансулу. Но на такой безрадостной присутствовала впервые. Это была ее собственная свадьба. Все состояние, можно сказать, положил отец на торжество, был не в меру расточителен. Более сотни юрт поставил по оба крыла от аула, около сотни овец прирезал; жырши, который спел “Той-бастар” (“Зачин для тоя”) и тем возвестил о начале свадебной церемонии, скакуна подарил; около двухсот лошадей участвовали в байге, где главным призом стали два породистых верблюда-нара; богатыри, состязавшиеся в силе, каждый получил по кобыле; не остались без даров и акыны – и те, что стали победителями, и те, что познали поражение. Не без удовлетворения народ отмечал, что подобного празднества не было со времен годовых поминок по баю Коспану; судя по рассказам, ас Коспана вылился в грандиознейший пир. Ничего Хансулу не трогало. Сидела за шелковым занавесом в юрте, отведенной для невесты, в окружении подружек и наблюдала за весельем, затопившим аул, через решетки кереге; грустные у нее глаза, полны слез. Ни с кем и словом не обмолвится. Будто и языка, и разума лишилась.

Привлекли ее внимание сказители. Акыны собрались на ближнем от нее холме, так что волей-неволей пришлось стать участницей событий. К вечеру холм был устлан коврами, дорожками, текеметами. С появлением луны стал стекаться отовсюду народ. А через некоторое время, как живой дух, предстал перед слушателями высокий, высохший, как саксаул, старец в белом чапане и белой чалме; борода и усы – тоже белые, в руках – домбра. Его сопровождали трое мужчин. Старик прошел на вершину холма, покрытую ковром и мягкими одеялами. Луна поливала холм молочным светом. Народ еще подходил. Все были, тут, даже малыши, облепившие склоны. Все взоры – на старого жырау, белый-белый он, как лебедь на глади озера. Когда народ разместился и не стало слышно шагов, ахун взял в руки домбру. Тысячеустая толпа смолкла.

Долго настраивал ахун инструмент, срывающиеся из-под его пальцев низкие, гулкие звуки таяли в воздухе,

наполненном ожиданием. Подружки Хансулу давно уже сбежали от нее, чтобы получше расслышать жырау. Одна Балжан оказалась рядом...

Ахун повел плечами, подался вперед, будто собрался лететь, это движение только подчеркнуло его сходство с лебедем. Миг – и полился голос, задушевный, доверительный, будто не пел ахун, а говорил. О сокровен-ном говорил. Со всеми. Разом. Размеренный напев – словно течение реки Жем, тихое, неторопкое, слабо подкипающее с глубины. И голос ахуна точно из древности идет, будто не ахун это поет, а далекий-далекий предок, оживший и вышедший к народу, чтобы с ним поговорить о накипев-шем за годы. Полный боли речитатив. Никто и шелохнуть-ся не смеет. Полный силы и вдохновенья речитатив, способный пробудить степь; она и в самом деле проснулась – задышала прохладой с предгорий. Голос старца слился с дыханием степи. Звуками домбры, голосом сказителя изливалась долгая, нескончаемая летопись того, что было и что свершилось сегодня, ибо для всех, кто населял Устюрт, Лабак-ахун один и был историей, тем живительным источником, из которого каждый при необходимости черпал знания.

Основы наук Лабак-ахун усвоил в медресе в Бухаре, свободно читал на арабском и фарси, прочитанное перелагал в доступные для степняков жыры и дастаны, преподнося их потом на подобных торжествах как дар, как откровение души; такое общение с людьми стало для него потребностью. Рассказывали, что, если бы Лабак-ахун и надумал, к примеру, покинуть свою мечеть, книги, которые ему пришлось бы взять с собой, составили увесистую поклажу для верблюда-нара. Люди поклонялись его дару сказителя.

– Ойхой! Ай да слова! – восторгается Шарип. – Э-эх, не жалей...

– Золотые слова!

– Мудрое слово что бальзам...

– И помирать-то не страшно, когда услышишь такое...

Старец между тем перешел к перечислению дастанов.

Много их, очень много! Называй полюбившийся!

– ...Дастан “Рустем” – сказ героический о батыре, храбростью необыкновенной прославившемся. “Коблан-

ды", "Алпамыс", "Ер Таргын", "Едиге", "Салсал"... Слушайте, люди, вникайте! Деяниям предков именитых внимайте! Ближе присаживайтесь, люди, ближе! Не грешно про события лет минувших узнать!.. "Ер Косай" и "Кубыгул", "Козы и Баян"... каждая из этих судеб – жизни нашей откровение, нельзя слушать его без волнения. Выбирайте сказ! "Айман и Шолпан", "Сорок батыров Кырыма", "Сорок девушек-каракалпачек"... не выдержит всякий – заплачет... Незабвенная "Кыз Жибек", легендарный батыр "Бозжигит"... Голос мой, пой, томит он меня, томит... "Шакир и Шакират", "Асан и Усен", "Калкаман и Мамыр", "Суфи Алла-яр", "Юсуф и Злиха", "Война Азирет-али"... Слушайте, люди, Лабак-ахуна, слушайте, слушайте... "Батыр Барак" – наидостойнейший в роду человеческом... и о нем рассказать могу, о грозе вражьей... Ахун нынче в раже. Называйте сказ!

Замолчал ахун, прислушиваясь к людскому гулу, отпил чаю из пиалы перед собой. Гул не прекращался. Каждый выкрикивал свое, остановились в конце концов на дастане о сорока девушках-каракалпачках. Мало кто в степи его знал.

Застонала, запричитала вместе с домброй Лабак-ахуна степная ширь, облитая мягким лунным светом. Побежала-покатилась волна по верхушкам ковыля, ясенца, полыни... еще волна накатилась, еще... заволновалось море пахучих степных трав, зашелестел чий на крышах. Весь подлунный мир пришел в движение, тронутый голосом сказителя. Голос шел из глуби веков... когда-то под такой же луной, на такой же земной бескрайности вершился суд. Несправедливый суд. Сильный давил слабого... кричали дети, рыдали женщины, оплакивали безвременно поверженных...

Луна в небе содрогнулась, услышав про такую несправедливость, поближе к аулу продвинулась. Яснее Млечный Путь прочертился, за ним – туманный след. Заворочалась, завздыхала степь – она-то все помнит... Задул ветер, его вой – как плач осиротевшего верблюжонка...

Не усидели Хансулу с Балжан, примостились вскоре тихонько с краю холма на травке. Много схожего уловила Хансулу в собственной судьбе и судьбе прекрасной

представительницы сорока девушек – бесстрашной Гулайым. Снова смятение в душе. И вновь слеза сорвалась с ресниц...

Луна переместилась на западную часть неба.

Страсти накалялись: Гулайым отважилась на поединок с Суртайшой. Чем он для нее обернется?.. Преобразился Лабак-ахун, бьет по струнам, не щадит их... На холме, видать, и тесно ему – не в состоянии он усидеть на месте, будто ему сейчас в бой, а не Гулайым. Глаза, хоть и старые, искры мечут; вся сила в пальцах сосредоточилась, как неистовый исторгающих, весь жар большого сердца – в словах, пламенных, зажигающих кровь...

Жыр закончился, когда забрезжил рассвет.

Наступал второй день свадебного торжества – "Той таркар" ("Конец свадьбы"). К полудню тартыс намечался, своеобразное состязание, когда джигиты двух родов силою мерялись: невесту из дому выносили, и каждая сторона должна была тянуть ковер к себе; кто перетянет – тому и обряд "побега невесты из отчего дома" исполнять...

В обед молодежь, собравшись в юрте Хансулу, исполнила "Жар-жар" – свадебное напутствие невесте, а потом все высыпали "провожать" Хансулу. По этому обычаю девушка прощалась с родителями, с родичами, с подружками. Невеста должна была плакать, прощаясь. Женщины, среди них и мать Хансулу, обнимались, причитали в голос. У всех на глазах слезы.

Позже молодые женщины и девушки, взяв Хансулу под руки, повели ее в дом на другой половине аула, в дом Козбагара, через порог которого она теперь переступила супругой. На полпути к новому пристанищу невесту встретили Торка и Жайбаскан, осыпали дорожку, по которой она шла, сладостями. На голову Хансулу надели белый жаулык, убор замужней женщины, а лицо покрыли белой накидкой.

Белая юрта-отау Хансулу стояла рядом с юртой Козбагара, туда и провели ее за белый шелковый занавес. Началось новое торжество – по случаю "прибытия невесты", которое завершилось лишь вечером следующего дня. Перед концом празднества жырши по имени Агдос

спел традиционную "Беташар", представляя новоиспеченную невестку родичам жениха, и снял с лица ее накидку.

Вечером того же дня, когда свадьба закончилась и люди разошлись, был совершен обряд бракосочетания. Кайып-мулла "освятил" молитвой воду в чаше, которую жених и невеста, находившиеся в разных юртах, должны были испить, выражая тем согласие на брак.

Хансулу положенного глотка не сделала, лишь прикоснулась губами к чаше, пробормотала про себя: "Ни на этом, ни на том свете на брак не согласна... не согласна..." С тем и вернула чашу. Наивная девушка полагала, что достаточно не выпить "освященной" воды, чтобы считать себя свободной от нежелательного союза: кто-то когда-то говорил ей про это.

Ближе к ночи стали исчезать одна за другой женщины и девушки, четыре дня неотступно находившиеся при Хансулу; ушла и Балжан, самая близкая из подружек. Свадьба отшумела, будто ее и не было. У супружеской постели за белым шелковым занавесом Хансулу осталась одна. Явь это или сон? Как ни странно, случившееся Хансулу воспринимала как шутку, злую шутку, которую сыграли с ней помешавшиеся рассудком люди во главе с ее отцом, – злосчастное стечение обстоятельств. И вот свадьба... Муж. С самого начала все было нелепостью, с того злополучного дня, когда свершился сговор. Пока готовились к свадьбе, даже тогда, когда она уже шла, Хансулу не покидало ощущение, что явится благоразумный человек и положит конец безобразному галдежу, скажет: "Прекратите! Расходитесь! А ты, Хансулу, идем со мной, я тебя к настоящему суженому отведу..." Свадьба гудела-шумела, а сердце отказывалось верить происходящему, сердце верило в мечту, в сердце жила надежда на чудодейственную силу, которая ее спасет. Она ждала избавителя. Она жила этим ожиданием. И что же? Избавитель не пришел. На голове – белый жаулык. Она жена. Кому? Козбагару! Мужу, нареченному богом. И сидит она в темной юрте в ожидании его же, мужа...

Ждать, впрочем, не пришлось. Зашептались перед дверью – давящиеся от смеха женские голоса, услышала:

– Ну что ты, дурень, стоишь?

– Входи!

Кого-то втолкнули. Этот “кто-то” застыл у самого порога. Как столб стоит. Темно. Силуэт едва различим. Хансулу знает, кто пришел. Козбагар. Каков аппетит, а? Это же надо – ровня ей сыскалась?! Ровня?! Он-то?! А все, считай, из-за него! Точно. Не возомни он себя женихом, та игра в “козла” так и осталась бы игрой. Игрой – и только.

– Кто тебя звал? – спросила она, кипя от негодования.

Вместо ответа, Козбагар толкнулся было в дверь, да та не поддалась – тетушки дружно подпирали ее, засмеялись, зашептали:

– К-куда, дурень? Твой это дом, слышь? Ни шагу теперь отсюда!

Беспомощность здоровяка – грудь-то вон с дверь – взбесила Хансулу.

– Что женился-то, раз бежишь? – бросила она издевательски.

Козбагар стал переминаться с ноги на ногу, прокашлялся. Прильнув к двери, взмолился:

– Да уйдите же... ради бога!

Женщины разом смолкли, а потом, посмеявшись, ушли.

– Хансулу! – Козбагар едва ворочал языком от робости. – Что мне делать?.. Ну что? Ну сказали, женись... ну так что теперь?..

Хансулу фыркнула, отвернулась к стене. Жени-их!..

Полог у стены вздернут, все вокруг хорошо просматривается. Поблескивает озеро, урчат лягушки. В тамарисковых зарослях на берегу плеснулась вода – лошадь, видно, забрела. Выпорхнули из кустов птицы, слышно, как они хлопают крыльями. Повеяло прохладой – тоже с озера. Понесло запахом влажного прибрежного песка.

–Хансулу!

Девушка вздрогнула. Забыла, бедная, что тут Козбагар.

– Ух, что еще?

– Хансулу... я... ей-богу... не хотел тебя обидеть...

– Еще что?

– ...Л-люблю...

– Не любил бы! Зато я тебя не люблю!

Козбагар засопел:

– Ну в чем я-то виноват перед тобой, Хансулу, а? – Помолчав, он разрыдался: – Знал я, что так вот будет. Давно знал. Но... все орали. Что теперь?..

И давай выть Козбагар – удержу нет! Широченные плечи сотрясаются от всхлипываний.

К этому времени вышла луна, заглянула в юрту через открытые решетки кереге, стало светлее. Хансулу поднялась, зазвенела серьгами и шолпами. На ней – длинное белое шелковое платье. Обрадовался Козбагар, зашмыгал носом. Мать Торка, помнится, смягчалась, когда он плакал, подходила к нему, гладила по голове, приговаривала ласково: "Ну что фырчишь-то?" Вот и подумалось ему, что и Хансулу подойдет, по голове, может быть, погладит. Но не подошла Хансулу. Не погладила по голове. Только шолпы ее звенели, звенели. Она ему одеяло и подушку на порог кинула.

– Постель тебе!

Жестковат тон, но для Козбагара он слаще меда. Не ждал он от Хансулу этого.

Постелил у порога и лег. Не положила Хансулу рядом – да ничего, пусть обвыкнется сначала. Зато на подушке и одеяле – запах ее духов... В конце концов, ее рука касалась и этой подушки, и этого одеяла... Сердце стучало – бедный Козбагар в эту минуту готов был умереть за Хансулу...

А она, его высокородная раскрасавица жена, позванивая шолпами, скрылась за занавесом, колыхавшимся от прохладного ветерка. Рядом была с ним, в одной юрте, и Козбагар ей за это благодарен. Не будь он в данную ночь женихом, ей-богу, побежал бы без оглядки к озеру вот так – босой, раздетый; ох и посмеялся бы там, покричал! Всему миру прокричал бы о своем счастье!..

Луна тихо зашла за облака. Аул в безмятежном сне. На пыльном пустыре пережевывают жвачку возвышающиеся горами верблюды. Собаки давно уж угомонились. Только у озера жизнь еще заявляет о себе: стрекочут кузнечики, урчат лягушки, сонно вскрикивают птицы, всплескивается рыба. Но кто-то еще хоронится там, держа под уздцы оседланных лошадей; одна из лошадей –Азбергена... Когда аул заснул, он вышел из своего укрытия и стал тихо продвигаться к высокой белой юрте Пахраддина.

Огромные, с ишака, псы у входа проснулись было, но, признав Азбергена, завиляли хвостами.

– Кто там? – спросил Пахраддин, услышав скребок в дверь.

– Я, – сдержанно громыхнул басом Азберген. Пахраддин, набросив на себя чапан, открыл дверь. Сыргабайбише проснулась, хотела зажечь лампу – Азберген запретил.

– Что за явление? – спросил Пахраддин, стараясь рассмотреть присевшего на край кошмы брата.

– На свадьбу, брат, спешил, на свадьбу, хоть ты и не приглашал. С Сабетами сосватался, поздравляю! За тем и пришел, чтобы поздравить!..

– Что несешь, полоумный? – рассердился Пахраддин. – В тюрьме бы давно сгнил, коли не сосватался...

– Спасибо. Но только полоумный не я, брат, а ты! Дочь Сабетам отдал, скотину одну за другой – им же. Один ты пока в этой округе такой, с ума свихнувшийся. А вот нормальные борются. Ты же, угодничая, подохнешь, знаешь ты это? Посмотрим, как завтра эти Сабеты тебя отблагодарят...

– Довольно! Старая песенка. Слышал. Где ты?

– Тебе еще не сказал, где я. Вести, брат, такие: Сабетам не быть! Англичане с одной стороны прут, с другой – китайцы. Лошадей мне надо.

– Э-э, заблуждаешься, брат. И крепко. Так что лошадей не будет.

– Не из одного чрева мы, но – братья. А то пулей бы одной уложил! – Азберген вскочил, метнулся к двери. Переступая порог, приостановился, хотел, видно, что-то сказать, да, раздумав, стукнул дверью и ушел.

...Крепко спал Козбагар. Не почувствовал ничего: ни того, как в дверь постучали, ни того, как Хансулу петлю откинула, ни того, как вошел в юрту Азберген. Только когда кто-то, больно уж тяжелый, взгромоздился на него и схватил за глотку, он проснулся, очумело захлопал глазами. Дернулся было, да куда? Не шелохнуться. "Оборотень", – подумал спросонья. Полутемки в юрте, ничего не разглядишь. Но очень скоро, к великому своему ужасу, начал он в "оборотне" признавать Азбергена. Еще он заметил – в глубине юрты металась Хансулу, что-то собирая в узел.

– Узнал? – рыкнул Азберген, заросший черной бородой. – Пикнешь – вот нож, прирежу на месте, щенок!.. Где лошади Пахраддина? – Он сжал глотку Козбагару так, что тот захрипел. Отпустил немного: – Ну!

– В Тугискене... с восточной стороны... – пролепетал Козбагар.

– Не врешь? – Азберген опять сжал горло. Круглая, как чаша, физиономия Козбагара побагровела. Закашлявшись, замотал головой.

– Слушай, щенок! Пока я жив, Хансулу для тебя – нет! Видал?

Азберген опять покрутил ножом перед его носом. Острое лезвие ослепило Козбагара.

– Азеке, не убивайте! Все исполню... что велите!

– Дай Хансулу талак!

– Что-что? – не понял сразу Козбагар, что речь идет о разводе.

– Талак, скажи, отца твоего...

Козбагар залился слезами:

– Но как же, я только женился... я даже...

– Говори, щенок, а не то...

– Талак, ойбай, талак! – зачастил Козбагар, глотая слезы.

– Вот и добренько! Теперь она тебе не жена. Ты ее отпустил. Понял? – С этими словами Азберген засунул ему в рот полотенце, связал руки и ноги. Напоследок пнул от души в зад.

Пока Козбагар, опрокинувшийся к ним спиной, лил беззвучно слезы, Азберген с Хансулу перевернули все в доме, возясь с узлами. Потом они ушли. Козбагар боялся и пошевелиться. Так и пролежал до рассвета.

Утром повыскакивал из юрт народ – стали тундики открывать. А у молодоженов – тихо. Торка приковыляла невестку будить: как же, заспалась, не положено.

– Келин, а келин! – позвала она сноху.

Ответа не последовало. Тогда старуха заглянула внутрь. Сын, посиневший, с кляпом во рту, связанный по рукам и ногам, валялся на полу у порога, а за занавесом – о боже! – супружеская постель молодых пуста. Не было келин!

– Ойбай! – вскричала она, поворачивая обратно. – Украли! Украли! – и понеслась куда глаза глядят.

– Что там еще спозаранок? – всполошились люди.

– Ойбай! Украли! Убейте меня, украли! Враг напал, ойбай!

– Какой враг, мать, ты в уме?

– Ойбай, мальчик там связанный! Ойбай, живой или мертвый, не знаю! Ойбай, келин нету! Это что – не враг, по-вашему?

Все в испуге бросились к юрте. Первым вошел Шеге. Занавес был откинут. Постель разобрана. Хансулу нет. На полу – связанный Козбагар. Стонет. Живой, стало быть.

Как только Козбагара развязали, он, захлебываясь слезами, ночную историю и пересказал. Торка, не выдержав, обняла его:

– Не плачь. Пропади все... И баба эта пропади! Сам зато живой! – а потом запричитала: – Проклятие твоему роду, бандит! Радовались мы, что пропал ты с глаз, вражина! А ты, выходит, рыскаешь тут рядом волком голодным. У-у, отродье!..

Шарипа в ауле не было. Уехал вчера на собрание в новый район. Булыш мог бы погоню устроить, он один в ауле на это способен. Но и его нет. На охоте. Потолкались люди у юрты, да так и разошлись, ничего не предприняв.

– Свой, выходит, дядя и украл, – утешили они Торку. – Не горюй. Побушует – отойдет. Привезет племянницу. Что ему с ней делать?!

3

Лето нынче выдалось жаркое. Стоит солнцу выглянуть, горизонт маревом окутывается. Завихриваясь, смерчи окрест пробегают. Степь с выгоревшей повсюду травой вот-вот, кажется, займется пламенем. Зной обжигает лицо. Скотина день-деньской на озере – иного избавления от пекла нет. Псы, разморенные жарой, бродят по аулу в поисках тени. Аул, считай, до полудня и живет – люди с утра чиевые плетения собирают, стригут верблюдов, вьют арканы, зерно на ручных жерновах перемалывают, а затем, как припечет, валяются бездыханно в юртах.

В один из таких дней в самый полдень со стороны речки Жем Шарип на своем куцехвостом гнедом показался. Одинодинешенек. Под головным убором – огромный белый

платок. Едва видать-то его в седле – как сова на суку. Лошадка под ним кое-как ноги передвигает.

– Алакай, коке! Коке! – распищались пять девчонок Шарипа, завидев отца, и побежали навстречу.

Из-под пологов юрт высыпали соседи. Шарип – неизвестно почему – молчалив. Взял на лошадь младшенькую дочь, ласково принюхался к нежненькому личику. Что-то дал ей. Конфет, наверное.

Пахраддин, наблюдавший за ним из собственной юрты, отметил: "Что-то, видно, случилось".

Шарип завалился спать. Домашним сказал, голова болит. К чаю только и встал.

– Сношенька-то наша, Хансулу, сбежала, – поспешила объявить Жайбаскан, приступая к аульным новостям.

Шарип чашку пригубил – замер, уставился круглыми глазами на жену:

– Как сбежала?

– Ну как? Азберген выкрал.

– Поделом! – выдохнул Шарип, и его рыжие усы встопорщились.

После двух-трех глотков чая у Шарипа, полулежавшего на подушках, мелкими капельками проступил на лбу пот. Соскучился, значит, по домашнему чаю. Голос старухи Торки раздался неожиданно, она бушевала, как обычно, на ходу:

– Погоди, бандит, богом проклятый! Уж я-то позабочусь, чтоб тебя упекли! Пусть иначе имя мое сгинет!

Прихрамывая, переступила порог. Некстати посещение старшей сестры, не по душе оно Шарипу.

– Эй, – накинулась она на него, даже не поздоровавшись. – Этот бандит доконал! Если правда, что ты бласты, доставь его, бандита, ко мне, по рукам и ногам связанного! – с этими словами она замолотила костлявыми кулачками по шкуре, на которую опустилась.

Шарип, не отрывая глаз от кулачков, молотивших шкуру, продолжал прихлебывать чай так, будто оглох. С явным удовольствием пил. Раскраснелся. Когда Торка успокоилась, по карманам стал шарить. Обе женщины уставились на него немигающими глазами. Через некоторое время он достал донельзя мятую тряпку, бросил ее сестре. Это оказался мешочек, в котором он хранил печать, ту самую, круглую, со стопу верблюжонка.

– Ойбай! – испугалась Торка.

– А где печать?

– И верно, где печать? – переспросил Шарип издевательски.

– Э, если ты не знаешь, где она, нам почем знать? – подала голос Жайбаскан.

– Надо знать. Плохо, что не знаете, – и Шарип, прикусив сахар, шумно потянул чай. Всем видом он давал понять, что разговор окончен.

– Э, вдарил, значит, боженька, прямо по макушке, – заключила Торка. Ни злости, ни осуждения в ее голосе не было.

Тяжело поднявшись, побрела она к порогу, еще сильнее припадая на ногу. Молча скрылась за дверью.

4

Сбылось предположение Пахраддина – случилось то, чего Шарип боялся: освободили его от должности председателя аулсовета. Поставили в вину, что с баем якшается, в родственную связь с ним вступил, и что, будучи аулнаем, дал ход беспорядкам в ауле – позволил порезать много скотины для свадьбы. Пахраддин совершал утренний намаз, когда рядом с юртой, почти у самых стен, простучали конские копыта. Он повел глазами в сторону шума: кто это, дескать, проявляет неуважение, у самой юрты на коне резвится?

Сырга тихо выскользнула из юрты.

– Би-ага мне нужен! – крикнули снаружи. – Прказ из района!

Пахраддин, собрав жайнамаз – молитвенный коврик, встал, раздраженный. Привычный ритуал нарушился.

– Тебя просят, – сказала Сырга, появившись. – Старший сын Лиса Курена. Ждахай.

– Что ж он в дом-то не пройдет, как люди?

– Занятый человек. Сумка на шее...

Накинув чапан на плечи, Пахраддин вышел, а там на рыжем жеребце – полноватый малый с круглыми совиными глазами. Пожирает, можно сказать, бия начальственным взглядом.

– Ассалаумалейкум, би-ага! Прказ из района! С вас налог!

– Говори!

– Сто двадцать килограммов шерсти, шестьдесят – сливочного масла, восемьдесят бараньих шкур. Срок... – Слово "срок" Ждахай произнес по-русски. – Одна неделя.

– Кто будешь-то теперь?

– Агент по сбору налогов! – Юноша приосанился. – Вместо Килыбая. В положенное время не сдадите – запомните, в КПУ ваше дело рассматриваться будет!

Пахраддину не понравилась нахрапистость юноши.

– Сын Лиса, эй, ты давай не кричи! – осадил он его. – Не глухие мы. Слышали. Не КПУ, а ГПУ говорить надо. Сумку, гляди, не потеряй!

– А вы зря сердитесь, би-ага! – понеслось ему вслед. – Ваши дела рядом с Жарасбаем, Улманом, Мажаном – раз плюнуть! Уж кто загинается, так они! Ха-ха-ха!..

Ждахай вспугнул всех аульных собак.

5

Пахраддин еще выплачивал налог, когда объявилась Красная юрта. Она встала в ауле Мажана, и с того дня, считай, не прекращалось там веселье: каждый день музыка, молодежные гулянья. Алтыбакан[1] между двумя аулами соорудили, патефон рядом надрывался, кружа голову молодым. И – что ни день – собрания, собрания, собрания... Рассказывали, что на собраниях обо всех новостях в мире сообщают, журналы читают, концерты показывают. Раньше-то концерты разве что в городах увидеть можно было – на ярмарках, к примеру, а теперь – пожалуйста, в ауле смотри! Говорили, в Красной юрте есть "догдыр", который от всех болезней лечит... На собрания звали бедняков. Баи, муллы и влиятельные аксакалы не допускались.

Хозяином юрты был Асан Айтжанов, большевик, который некогда ставил Шарипа аулнаем. Он и тогда, в свой первый приезд, игнорируя Пахраддина и Мажана, только по беднякам и ходил, демонстрируя лишний раз аулчанам, какой он убежденный большевик. И сейчас

[1] *Алтыбакан* качели на шести столбах-опорах.

такую свою политику он продолжал. На первом же собрании заявил, говорят, что первой задачей Советов на пути к новой жизни является “избавление аулов от баев и мулл”, которые, дескать, противники нового. Кто-то, говорят, из собравшихся полюбопытствовал тогда:

– Баев и мулл уничтожим, хорошо, а дальше что?

–Дальше? Конфискованное байское имущество и скотину между бедняками поделим. В товарищества объединимся. Одной семьей заживем. Землю вспашем, сеять будем. Домов понастроим, потому как на земле осядем, кочевать не будем. Учиться начнем, знаний набираться. Большие города возведем. Новая жизнь, новая культура... Эх, товарищи, грандиозные планы у нас впереди!..

Райское существование на словах обещал Асан Айтжанов. Молодые захлопали, довольные, – очень уж красивая картина перед ними вырисовывалась, а вот кузнец – длинный Уап, пастух Каукаш и табунщик Жанбырбай этими обещаниями почему-то не удовлетворились.

– Послушай, браток, – сказали они, вставая втроем. – Зачем мы тебе, старые? Нам ли в земле ковыряться, когда и до могилы недолго? Мы уж как-нибудь дедовским ремеслом прокормимся, скотину попасем, покочуем малость. Город твой не для нас. Мы вот в плохонькой юрте родились, дай нам там и помереть. Не тащи нас в город...

Ждахай, говорят, выкрикнул:

– Кто хочет, пусть подыхает в юрте, а мы в городах жить будем!

И молодые, говорят, его бурно поддержали. Асан Айтжанов сделал старикам замечание:

– Бросьте, аксакалы, назад пятиться!

А потом, говорят, такие стихи в толпу бросил – вроде как лозунг:

Бедняки и батраки,
Вперед идите!
Мулл и баев, как овец,
Камчой гоните!

Эти стихи молодые в тот же миг наизусть выучили. И пошло с того дня: каждый сопляк их в ауле долдонит, в кости дети играют или еще во что – на устах у них эти строчки. До утра, считай, с куплетом этим носятся.

В окрестных аулах про песенку прознали. Пастухи и батраки и даже бабы-доярки – дома они или в поле – мычат теперь:

Бедняки и батраки,
Вперед идите...

Многое слышит и о многом размышляет Пахраддин. Сам с собой. Наедине. Ни с кем не общается. Избегают его люди. В немилости бий у власти...

Давно, ох как давно предполагал он такой оборот событий! В восемнадцатом году, помнится, первых крупных казахских баев взяли. Тогда еще он беду чуял.

И вот – та беда подступила вновь.

...Бедняки и батраки, Вперед идите! Мулл и баев, как овец, камчой гоните!

Полог юрты откинут, из-за решеток кереге Пахраддин глядит на степь, простершуюся далеко-далеко, унылую, бескровную; слезы в зрачках застыли, давно он так сидит. Взвихрившийся смерч метнулся в одну сторону, в другую, потом понесся к горизонту, туманному, плавящемуся от марева. Откуда он, этот вихрь? Куда несется? Не он ли, Пахраддин, этот вихрь, гонимый ветром? Что с землёй, на которой некогда он чувствовал себя хозяином? Что с людьми, на которых некогда он мог положиться? Одному богу известно, что с ним сделает буря, поднявшаяся в степи...

– Сокол мой, – тихо произнесла Сырга прямо за спиной.

– Ау! – откликнулся он. Голос дрогнул. Не обернулся. Постеснялся слез.

Всю жизнь Сырга, верная супруга, угадывала его состояние по одному, как говорится, движению бровей, и сейчас свою чуткость проявила – неназойливо, деликатно. “Сокол мой...” Только он, Пахраддин, мог понять такое ее

обращение – она изливала к нему свою любовь как к главе семьи, доброту собственного сердца, болевшего за него как за ребёнка, большого ребенка. Понимала Сырга, каково Пахраддину сейчас, одинокому среди людей. Бесценная подруга Сырга! Отрада жизни – Сырга! Старшие братья – ушли. Младший брат – ушел. Дочь – ушла. Не ушла его единственная любовь – Сырга... Сырга присела рядом:

– И я, глядя на тебя, расстроилась. Не надо, не изводи себя. Переживем как-нибудь что судьбой назначено, – она припала лбом к его широкой спине. – Э-эх...

Пахраддин вырвался из плена одиночества к той, чьего доброго участия он жаждал более всего; его объятия встретились с объятиями любимой; душа, истосковавшаяся по теплу любви, растаяла в супружеских ласках. Прижавшись лицом к омытому слезами красивому овальному личику жены, он не сдержал рыданий, не сумел сдержать.

– Да что ты? – испугалась Сырга.

Пахраддин никогда не показывал своей слабости. Могучие плечи дрожали, как осока на озере под волной. Молчалива Сырга, но уж если заговорит – заворожит серебряным голоском; столько в нем сердечного расположения. Сердобольностью она и покоряла. И сейчас – покорила. Ее милое, покойное лицо светилось от нежности, такая же нежность была в словах. Улыбнулся Пахраддин, будто про что-то вспомнил.

– А ведь народ – дурак, – говорит. – Скотину у Пахраддина пересчитывает – бай он... не бай. Вот же непонятливые! Того ведь не уразумеют, что все его состояние – дома, его байбише, а?

Черные, как ночь, глаза байбише лукаво блеснули, обнажились в улыбке белые, как снег, зубы, ударила в щеки кровь, они залились маковым цветом. Она склонилась над мужем, рассмеялась, точно колокольчик малиновым звоном рассыпался.

– Гляди, – сказала, – услышит кто – конфискуют твою байбише...

6

Нынешнее лето было особенным. Не такое оно, к какому народ привык. Когда-то лето было долгим, не виделось ему конца. А теперь только рассветет, глядишь – и вечер.

Разговоров много нынче, шуму, за ними не замечаешь, как день пролетает. Всюду активисты пылят, молодые да отчаянные, некоторых из них комсомольцами кличут. Народ-то не знает, что это такое, смотрит на них более настороженно, чем на активистов, – государственные люди, думает. Для народа все, кто на коне, – государственные люди. Уж кого в последнее время много, так это государственных людей. Попробуй упомни, кто есть кто.

Шеге, Ждахай, Козбагар, Балжан и другие молодые, те, что ни одного вечера в Красной юрте не пропускают, те, что всегда с большевиком Асаном Айтжановым тоже в один прекрасный день стали комсомольцами. Торка по случаю того, что ее Козбагар – "комсомол", все юрты в ауле обошла, сообщая новость. При этом она неизменно приговаривала:

– Вот вам! Не шути с батраками!

Молодые люди обрели вес. Идет, скажем, тот же Козбагар, теперь уже не батрак, а "комсомол", так "осколки старого мира", наподобие Пахраддина, дорогу ему уступают. И поют-то что комсомольцы:

Ты, батрак, был бос и сир,
А сегодня, твой он, мир.
Если вспашешь землю, знай,
Заживешь, как тот же бай...

"О, бог-искуситель! – удивленно поцокивают языками старушки. – Довелось нам и новую молитву услышать..."

Заведующий Красной юртой большевик Асан Айтжанов сошелся с молодыми так, что те теперь жизни без него не мыслят. Все-то он, Асан Айтжанов, знает, все перевидел: в шестнадцатом году окопы рыл, в русско-германской войне участвовал, в неслыханных городах был – Москве, Петрограде; в двадцатые годы в Хорезме с басмачами хана Жонейта сражался; встречался, если это было правдой, с Кировым, Калининым и нынешним заместителем Сталина Тураром Рыскуловым; до прибытия сюда в столице

Казахстана Кзыл-Орде с революционером Сакеном Сейфуллиным познакомился. Такая биография и такие знакомства возвышали Асана в глазах молодых, он для них что пришелец с Луны. Личность для аула необыкновенная, и рассказы его столь же необыкновенны. Под влиянием Асана и Шеге как-то выступил на собрании. Впервые. Вот как он начал свою речь:

– Настало время, когда старое под корень надо рубить! Без этого мы и шагу вперед, к новой жизни, не сделаем! Прошлое опутало нас по ногам!

– Ойбай! – не выдержала языкастая молодуха. – Глядите-ка, еще один Асан выискался!

Насмехалась она над парнем. И в самом деле, сказанное Шеге проповедовалось каждый день Асаном. Смешался юноша, а потом и добавил – от себя:

– Вот равенство женщин. Где оно? У женщины, говорим, все права, а сами Хансулу всем миром замуж выдали за человека, которого она не любит. Какое после этого равенство, а?

– Милый ты мой, да кто же на ней женился-то, да еще по старинке? Не комсомол ли твой? – дала подножку та же молодуха, выразительно скашивая глаза на Козбагара в президиуме. Тот стал пунцовый, обеспокоенно зачесал затылок.

– Товарищи! – поправился тогда Шеге. – Козбагар дал слово на прошлом собрании, что не будет больше по старинке жениться по наущению аксакалов...

Хохоту было! А потом подремывавший на собрании милиционер Бухарбай поднялся, спросонья зачитал список “табарышей”, у которых имелись ружья; всех перечислил, никого не забыл. Раз уж речь о ружьях зашла, люди перестали смеяться, начали переглядываться, а Бухарбай – уже без бумажки – пояснил:

– Приказ из центра – ружья сдать! Такой порядок!

Строгость на себя напустил – проспался, видно. Сообщение, что надо сдавать ружья, ни у кого энтузиазма не вызвало. Встал кузнец Уап. Уголки его губ, как всегда, когда он волновался, подрагивали.

– Что я хочу сказать? – начал он. – Власти спасибо. Поддерживает она нас. Хорошо это. Но ведь, ружье положено в доме иметь, разве нет? Скотину от зверя

защищать... басмачи, говорят, в Каракумах. А если прискачут? Палкой, что ли, отбиваться? – Уголки его губ задергались еще сильнее.

– Верно Уап говорит! – поддержали его.

– Кто мы без ружья?

– Не дадим!

Бухарбай не дрогнул, глаза его обрели осмысленное выражение.

– Граждане, перечисленные в списках, – он сделал ударение на слове "списки", – после собрания сдадите ружья! Такой порядок!

В тот день народ, решив "не ссориться с начальством из-за ружья", понес имевшееся оружие в Красную юрту. Ослушались "прказа" трое сыновей Мажана и Булыш из аула Пахраддина.

– Не можем отдать оружие, – буркнул Булыш Бухарбаю, когда тот явился к нему домой.

Шкуру попавшего вчера в капкан молодого волка обминал охотник, большая была шкура, в полтора обхвата.

– Булыш-ага, порядок требует, – начал было объяснять Бухарбай, но Булыш, темнея лицом, перебил его:

– Ничего против порядка не имею. Но все знают, что я – охотник. Ружье, которое меня кормит, я, повторяю, никому не отдам. Так же, как и коня под собой и гончую, которая помогает в охоте.

– Но, Булыш-ага, порядок требует...

– Эй, сын Игенсарта, – забасила из юрты Дау-апа. – Чтоб ты провалился со своим порядком. Какой это порядок, когда у охотника ружье дозволено отбирать?! Не будет тебе ружья! Так и скажи где надо – Дау-апа не дает. Пусть голову мне срубят, коли могут, а ружья им не видать!

На том и закончился разговор. Бухарбай, не проронив более ни слова, молча сел на коня и поехал со двора. Не один Бухарбай, вся округа знала, что значит иметь дело с матерью Булыша – Дау-апой. Рассказывали, в молодости она наравне с мужчинами участвовала в походах. Запрячет косы под шапку – и в бой! Из воинственного подрода кунанорыс в роду адай происходила она. За отца Булыша – охотника Аршу – вышла против воли братьев, сбежала с ним. В 1916 году взяли его в солдаты, а потом он пропал

без вести. На долю молодой матери с малолетними детьми выпал голодный 1921 год. Двое сыновей – тринадцати и двенадцати лет – погибли в тот год от оспы. Оставшаяся без крова, без хозяйства, Дау-апа отправилась вместе со старшим сыном Булышем в поисках ремесла в Ой[1]. По пути пристала к торговому каравану. На базаре в Конырате повстречалась с туркменским баем и нанялась к нему в погонщики верблюдов. Звали бая Пиримкул. Обещал он Дау-апе за работу по верблюду в год. Два года мать с сыном пасли байских верблюдов, а потом решили вернуться на родину и попросили у бая расчет. Тот выбрал им в табуне паршивого годовалого верблюжонка и старую облезлую верблюдицу. Не вдове же и мальчику несовершеннолетнему оспаривать оплату? Погрузили они свой немудреный скарб на верблюжонка, а сами на верблюдицу взобрались и отправились восвояси, проклиная скаредного бая. После дня пути поднялись на Устюрт. За Устюртом – безграничная казахская степь. Остановилась тут Дау-апа, что-то, видать, задумала. Опустила верблюдов на колени, велела сыну сгружать поклажу. Булыш удивился – что, дескать, мать на голом каменистом плато нашла? А она ему и говорит:

– Не сдвинусь с места, пока не посчитаюсь со скупердяем! Лучше подохнуть тут, чем на паршивом верблюде возвращаться! Ступай и возверни проклятому Пиримкулу то, что он нам дал. Отберешь двух хороших наров в табуне и пригонишь сюда, если ты мне сын!

Булыш, не сказав ни слова, взял ружье и потрусил назад на паршивом верблюжонке. После полуночи, как велела мать, пригнал он двух здоровенных наров с горбами в сундук. Тогда, говорят, и сказала Дау-апа, повеселев:

– Вот теперь, сынок, можно ехать!

Эта история как свидетельство одного из многих подвигов отважной Дау-апы переросла в легенду. Знал эту легенду и милиционер Бухарбай, потому не стал вступать в пререкания с Дау-апой, резонно посчитав это занятие напрасным. Но в самом центре списка граждан, уклонившихся от сдачи оружия государству, согласно решению Ханторткилского аулсовета, крупными буквами значилась теперь фамилия Булыша – Аршаулы.

---

[1] *Ой* – нынешний Каракалпакстан.

7

Начало осени ознаменовалось еще одним великим потрясением, имя которому – "конфискация", а на языке степняков – "кампеске". Шла она с Басоймаута, Ортаоймаута, Сарыбая, Донызтау и скоро, говорили, придет в Ханторткил и Тугискен. Слухи опережали один другой – того "конфисковали", этого... Подробности, сопровождавшие слухи, были ужасающими: рассказывали, что солдаты отнимают все, вплоть до последней нитки, и баев арестовывают и ссылают в Темир. И еще много чего рассказывали – дескать, конфискация и бедняков коснется и что у них все отберут, паршивого козленка на дворе не оставят; что все станет общим – и добро, и хозяйство; что все под одним одеялом спать будут, из одного казана кормиться и что бабы общими станут, по принципу: "Мая-тыбая, тыбая-мая..."[1]. Эти слухи распространялись со скоростью степного пожара, аулами овладел страх. Многие аулы обратились в бегство.

В один из таких дней в закатный час, когда на землю легли длинные тени, люди в ауле Пахраддина, попрятавшиеся в своих домах в ожидании тревожных вестей – это в последнее время вошло у них в привычку, – услышали конский топот. Чутко прислушивающиеся к каждому шороху извне, люди хлынули наружу. Из аула Мажана мчался всадник. Что-то он им несет? Конник ворвался в аул возбужденный, им оказался Ждахай.

– Эге-ей, люди, слушайте меня! – прокричал он с ходу. – Все как один туда давайте! – и рукой в сторону мажановского аула махнул. – Кампеске будет! Мажан кампеске будет! Кам-пес-ке-е! Все на митинг!

Такое это слово было – "кампеске", что люди потихоньку в аул Мажана потянулись, интересно же посмотреть, как это все происходит. Кто на коне, кто пешком, даже дети и старики не удержались; первой среди любопытствующих, припадая на ногу, ковыляла Торка. И Пахраддин на своем вороном со звездочкой во лбу жеребце поехал. Последним поехал.

---

[1] "Мая – тыбая, тыбая – мая" – искаж. от "Моя – твоя, твоя – моя".

Аул виднелся с подъема. Оживление чувствовалось издалека. У Красной юрты с красным флагом – тьма народу. Вереницей выстроились подводы с впряженными в них лошадьми. Детей – как муравьев в муравейнике. Перед аулом – множество скотины; пыль зависла над отарами овец, косяками лошадей и верблюдов. Беда, которой страшились люди, пришла. Содрогнулся Пахраддин. Слышал он, что крутые меры, принимаемые Советской властью, касаются лишь тех баев, у которых количество крупного рогатого скота превышает цифру 300. У него на дворе с десяток верблюдов да овец с сотню, с таким поголовьем он еще мог избежать конфискации.

Когда народ подошел, на одну из телег забрался большевик Асан Айтжанов. Он зачитал декрет КазЦИКа о конфискации байского имущества. Пока Асан читал декрет, люди поднялись на телегу. Среди них новый председатель аулсовета Лис Курен. Конечно, он не Шарип, он соответствует должности аулная – и речь у него складная, и голос мягкий.

– Товарищи! – сказал он. – Мы сегодня предоставим слово товарищу Кошекбаеву Каукашу, батраку, который всю жизнь свою провел на пороге бая Мажана Утешева, нашего классового врага!

– Табарыш Кошекбаев? Кто это? – не поняли сначала в толпе.

Кто-то хохотнул:

– Каукаш?!

И тут же посыпалось:

– Ау, табарыш Кошекбаев, где ты?

– Эй, да что копаешься, выходи!

– Говори, раз просят! И твой час пришел!

Неказистый маленький человечек в толпе передал повод верблюда соседу и засеменил к арбе. На ходу старую шапчонку к голове прижимает, из нее клочьями лезет вата. Смешки не утихали. Подойдя к арбе, Каукаш остановился, повернулся к народу.

– Товарищ, на арбу, на арбу! Пусть народ вас видит! – предложили ему.

Долго карабкался Каукаш, не мог залезть, и Асан ему помог, поддержав под мышки. Очутившись на одной высоте с начальством, Каукаш оробел и съежился, как

старая высохшая шкура, глянув на толпу, замершую выжидательно, осклабился. Остряки не унимались:

– Ойхо-ой, Каукаш выступает...

– О-о, с Каукашем не шутите!..

Асан участливо глянул на молчавшего оратора:

– Ну, товарищ! Твое слово – слово народа. Как ты смотришь на декрет КазЦИКа? Про это и скажи.

– Кха-кха! – прокашлялся Каукаш. – Сказали, выступать будешь... кха-кха... хотел шапку вчера залатать... кха... пошел к байбише Мажана...

– Ай, чтоб пронесло тебя, Каукаш! При чем тут шапка?

– ...пошел, а Жамал-байбише... кха-кха... в сундуке роется. Сказал, зачем ниток мне надо... кха-кха...

– Говори-говори, товарищ Кошекбаев! – кивнул Асан Айтжанов, подбадривая.

– Попросил я, значит, ниток, а байбише – дай, говорит, шапку. Дал я. А она взяла да и швырнула шапку через порог.

– Пропала бы и шапка твоя, и ты вместе с ней! – вскипел Шарип. – Ты давай про кампеске говори, на кой твоя шапка! Согласен ты с политикой правительства или не согласен, вот про это и скажи!

– Согласен... что там говорить... Только... только... кха-кха... завтра бай Мажан вернуться ведь может... кха-кха... Как бы он потом... Ой, пропади она, байская скотина, намаялся я с ней. Мне бы теперь с десяток овечек... своих... кха-кха!

– Товарищ Кошекбаев, минуточку! – оборвал батрака Айтжанов. – Ты напрасно боишься. Не надо народ стращать. Решит собрание, что надо бая со всем его семейством гнать отсюда в три шеи – прогоним! И назад ему возврата нету! Ты, товарищ Кошекбаев, конкретно изъясняйся. Подлежит бай Мажан конфискации и изгнанию или не подлежит?

Мажан с байбише сидели на видном месте, перед арбой. Тоже ждали, что он скажет, прямо-таки в рот ему заглядывали.

– Говори же! – подтолкнул его сзади Лис Курен.

– Э... пусть ссылают... – обронил Каукаш. – Власти правы. Власти, наверное... кхм... ничего зря не делают...

Зашумел народ. Кто-то Каукаша поддержал, кто-то обругал последними словами.

Жамал-байбише горько запричитала. Полная, как надутый бурдюк, с трудом поднялась и, подперев бока руками, повернулась к Каукашу:

– Пусть тебе аукнется мой хлеб, Каукаш!.. Пусть аукнется!.. Чем я провинилась-то, ойбо-ой!..

Каукаш обратился в жалкий бессловесный комочек плоти, не ожидал он подобного от байбише. Глянул со страхом на начальство.

– Молодцом! – ободряюще улыбнулся худой Асан, еще и по спине похлопал.

Только тогда Каукаш и успокоился.

Лис Курен между тем спрашивал, вглядываясь в толпу:

– Кто еще желает сказать?

– Я желаю сказать! – откликнулся Ждахай, энергично пробираясь сквозь ряды. – Я скажу!

– Хорошо. Слово желает сказать Ждахай. С малых лет ягнят пас у нашего классового врага бая Мажана. То есть, я хотел сказать, бывший батрак. Член комиссии по конфискации.

Плотный, коренастый Ждахай легко, с расстояния вспрыгнул на арбу, как барс. Глаза сияют, волосы на макушке ежиком встали. Кулаки сжаты. Взял с места в карьер:

– Да здрабстбит реболюсия! – прокричал он по-русски, воздевая кверху обе руки. – Да здрабстбит реболюсия, – повторил он и продолжил по-казахски, – мстящая баям за нас, батраков... за таких вот, как Каукаш!

Те, что на арбе, захлопали. А в толпе стали приглядываться – озадачены люди выпадом молодого оратора. Один Шеге в задних рядах подхватил:

– Да здрабстбит реболюсия!

Какой-то старик вполголоса выдохнул:

– О создатель, сохрани!

Другой пробормотал:

– Дай, господи, чтобы все добром кончилось!

Ждахай между тем не умолкал:

– Мало это – добра их лишать! И ссылать только – тоже. Они и там устроятся. Прав Каукаш – оставь их в живых, так они, ей-богу, припрутся и с нами, несчастными,

посчитаются. Нет, вы не смейтесь! Посчитаются. Это уж точно. Так что этих людей жалеть не надо. Руки-ноги связать и на веки вечные – в железную клетку! Вот так!

– Ой, чтоб рту твоему поганому на затылке оказаться!..

– завелась байбише Мажана. – Чтоб ты околел, чтоб тебе потомства не видать, выродок! – Женщина в отчаянии замолотила по земле руками.

– Прекратите шум! Постановление читаться будет! – объявил тут Лис Курен, усмехаясь, и углубился в большой лист перед собой.

– Читай-читай! Слушаем! – раздалось в толпе.

Лис Курен стал читать:

– Общее собрание аула бедняков и батраков № 5 при Ханторткилском аулсовете постановляет... Первое. Мы на своем собрании рассмотрели дело крупного бая в нашем ауле, нашего классового врага Мажана Утешева. Бай из баев Мажан. Потомственный эксплуататор, как и все семь поколений его предков, сосал кровь трудового народа. По этой причине все его имущество и скотина конфискуются, а сам он с семьей высылается, с условием, что в бытность живым сюда обратно не вернется. Второе. Под началом местного аулсовета живет еще один наш классовый враг. Это – Пахраддин-бай, отец которого в царское время был баем. Нынешнее количество наличного скота не позволяет его считать баем, потому его следует причислить к кулакам. Скотина и имущество у него тоже конфискуются. Но, учитывая то, что он по своей воле помогал Советской власти лошадьми и мясом, то есть был кулаком безвредным, то его от ссылки в чужие края надо освободить. Такое вот постановление, товарищи! – заключил Лис Курен, поднимая голову от бумаги. – Да, товарищи, еще внимание! Среди нас есть человек, который и не бай, и не кулак, и не бедняк, как это Советская власть понимает. Этот человек – прихвостень. А кого мы, товарищи, называем прихвостнями? Тех некоторых, что до сих пор нашим классовым врагам прислуживают...

– Кто это? Называй-ка, не жалей! Ну! – разверещался, как всегда, любопытный Шарип.

– А вот ты и есть прихвостень! Ты, Шарип! Не ты ли в сваты к Пахраддину набивался, вот ты и прихвостень!

– Что-что? Эй! – не разобрался сразу что к чему Шарип. – Повтори-ка!

Толпа, разгудевшаяся было как пчелиный рой, притихла, почувствовав, что назревает скандал. Лис Курен, приторно улыбаясь, сказал:

– А что, неправда, что ты в сватах у Пахраддина был, лизался с ним, на чапан зарабатывая? А после этого в грудь себя бьешь, что голяк ты...

– Эй, эй, Лис! Ты... ты чего мелешь?! – сорвался на визг Шарип. Выбежав вперед, он, по обыкновению аульных ораторов, сорвал с головы шапку и швырнул ее оземь. Пыль взметнулась облаком.

Лис Курен вздрогнул. Люди затаили дыхание.

– Я, стало быть, прихвостень?! Да я всем дедам твоим каражановским косточки пересчитаю, оборотень! Не ты ли все дела мажановские на базарах обстряпывал, людей дурил, бая своего ублажая? Оттого ты и Лис. Ты-то чего от голяков заговорил, душа твоя продажная, торгаш копеечный?! Да, был я в сватах у Пахраддина. Верно. Но не бай он, середняк. Почему ты это утаиваешь, сучья лапа?!

– Спокойно, спокойно, Шарип-ага! – призвал к порядку бывшего аулная Айтжанов.

Лис Курен невозмутимо заметил:

– Вот, скажи людям правду – не угодишь.

Два милиционера, Бухарбай и Жекей, взяв Шарипа подмышки, куда-то поволокли.

– Пустите, – рвался Шарип. – Вдарю я ему, твердолобому, по роже его наглой! П-пустите!

– Табарыш, не мешайте собранию!

Проворный Шарип, несмотря на то, что его волокли, сумел стащить с ноги сапог и метнуть его через голову милиционера в Курена:

– Вот тебе за “прихвостня”!

Толстая подошва утяжелила полет сапога; описав внушительную дугу в воздухе, он, как ворон, пронесся мимо виска Курена, чуть задев его. Эффект превзошел все ожидания: Курен и Асан упали – один налево, другой направо. Поднялся веселый шум, Шарипа заперли в Красной юрте. Вопли его не утихали, последними словами честил он Лиса Курена.

Солнце склонилось к закату. Алое-алое оно, и весь аул отливал алым цветом. Митингующие переместились к юрте Мажана. Внушительных размеров, объемная, высокая, она привлекала всеобщий интерес. Конные подводы потянулись туда же. На открытой площадке, где только что проходило собрание, не осталось никого, кроме байбише Мажана, которая, распустив волосы, сидела лицом к закату и плакала.

Ранее других к юрте поспел Ждахай; что-то азартно выкрикивая, он на полном скаку промчался мимо, успев перерезать завязки кошм, сорвать сами кошмы. Оголились гнутые уыки, желтые, не тронутые солнцем и ветром, они – как ребра живого существа. Шеге, скакавший следом, отогнул кошмы шире. Теперь обнажилось целое крыло юрты. Спрыгнув с коня, Ждахай скользнул внутрь. В углу, спиной к нему, бай Мажан рассовывал что-то лихорадочно по карманам; Ждахай, точно барс, кинулся к нему и схватил за руку.

– Ах тварь неблагодарная! – вскричал Мажан, от неожиданности неосторожно двинул локтем, и ассигнации рассыпались. Упал и платок, куда он их заворачивал. Сплошь красные тридцатирублевки.

– Видите, саботаж! – провозгласил Ждахай, произнеся слово "саботаж" по-русски. Это он взывал к собравшемуся народу, опять же, как тогда, на арбе, вскидывая кверху обе руки. Подпрыгнул на месте, довольный тем, что уличил бая. – Видите, какая зараза?! Как он добро-то прячет! На тебе деньги, на! – с этими словами он, захватив горсть ассигнаций, подбросил их кверху под шанырак и сам же их ловил, дурачась.

– Пусть бог накажет тебя, клятвопреступник! – огрызнулся бай, присев на корточки и собирая деньги.

Тут и милиционеры подоспели, схватили бая под руки, подвели к арбе. Мажан с трудом забрался, плача, почти вдвое согнулся. К этой арбе вели и его байбише. Молодые джигиты, которым некуда было девать избыток сил, дали себе волю: стали выволакивать как попало наружу содержимое юрты – сундуки и лари, тюки и узлы. Вещи кидались без разбору, ковры они срывали с петель, ничуть не заботясь, что можно было бы те же самые петли не рвать, а просто-напросто развязать; ковры тоже летели в

общую кучу. В мгновение ока большая байская юрта опустела. Вдоль стен побежали мыши, напуганные обилием света.

– А с домом что делать? Его тоже кампеске? – под общий смех полюбопытствовал Ждахай. Его возбуждение не улеглось. Да и остальные участники кампании взбудоражены не меньше. Кто-то запел:

Бедняки и батраки,
Вперед идите!
Мулл и баев, как овец,
Камчой гоните...

Под эту песню молодые дружно смели в одну кучу уыки – и шанырак качнулся, верхний, считающийся священным, купол юрты; его не успели подпереть столбом, и он с грохотом обрушился вниз. От перекрестных реечек в потолочном кругу юрты и следа не осталось – они раскрошились.

– Пусть бог отвернется от вас! Пусть отольются вам мои слезы!.. – разрыдалась в полный голос байбише.

Вид шанырака, некогда украшавшего юрту, служившего в определенной степени фетишем рода, а теперь разлетевшегося вдребезги, раздробившегося на множество бесформенных осколков, произвел удручающее впечатление.

– Вот она, беда, – вздохнул кто-то.

А какая-то старуха в непомерно большом жаулыке заторопила домой внука:

– Пойдем, маленький, пойдем. К чему нам грех на душу?..

У Пахраддина волосы на голове встали дыбом, когда он увидел, как падает шанырак. Случившееся он воспринял как крушение собственного очага, собственного благополучия. Все было мерзко – и то, как Мажан рассовывал по карманам деньги в тот миг, когда решалась его судьба, и то, как зеленый юнец Ждахай поймал его за руку, осквернив тем самым священные традиции предков: не дозволялось младшему хватать за руку старшего, тем паче годящегося в отцы, это считалось кощунственным. Издревле почитается в народе человеческий возраст, тот жизненный багаж, который накапливается старшим

поколением и служит впоследствии ориентиром для молодых. Не в силах выносить тягостной картины, он кивнул на прощание Мажану, поехал к себе в аул.

Асан Айтжанов, увидев разбитый шанырак, обругал Ждахая. Тот возмутился:

– Асан-ага! А поглядите, что сделали они? – и, задрав рубаху, показал исполосованную камчой спину. – Еще и ребро сломали.

– Прекращай бузотерство!

Худосочен на вид Асан, а в гневе – вулкан.

– Все! Все! Не буду! – покаянно рассыпался Ждахай. Полумрак сгущался. Комиссия во главе с Лисом Куреном, распределив часть байской скотины между батраками, направилась к байской юрте, где и сосредоточился народ. Здесь кипели страсти – шум-гам. Впервые изгонялся из аула человек, которого все знали, с которым много лет жили рядом. Уходил он в неведомое далеко, уходил безвозвратно. Никто в потемках не обращал внимания еще на одного очевидца этого события – конника, тихо застывшего в седле. Это был Булыш, вернувшийся с охоты с гончей, за плечом – ружье. Еще издали он заслышал долгий, надрывный вопль мажановской байбише и поспешил сюда. Пока Ждахай, Козбагар, Шеге управлялись с байским скарбом, укладывая его на подводы, донеслись крики и из второй мажановской юрты, где жила молодая токал.

– Вон из дому! Во-он! – кричала Балкия. В двери мелькнул подол ее белого платья.

Простоволосая, растрепанная, она решительно выволокла из юрты какого-то здоровяка, намертво в нее вцепившегося. Тот ухватился за стан молодки – не оторвется; безрукавка на высокой груди женщины расстегнута. В здоровяке признали Бухарбая.

– П-пусти! – вырвалась Балкия.

– Ты что, ты против кампеске? – гундосил черный, заплывший жиром Бухарбай, по-прежнему не выпуская из рук женского стана. Он куражился: –Ишь, золотом обвешалась, подстилка байская! Снимай!

Взметнулась высоко белая, усыпанная браслетами и кольцами рука Балкии. Взметнулась и – опустилась на лицо Бухарбая. Отягощенная золотом рука красавицы нанесла

удар точно. Милиционер, охнув, пригнулся, зажал руками нос.

– Так-то, ухажер! – вскинула голову Балкия и поправила волосы, рассыпавшиеся по плечам. Застегнула безрукавку.

Народ хлынул к юрте токал, заинтересованный.

– Что здесь происходит? – начальственно спросил подоспевший Жекей. За неизменно серый цвет лица его уже прозвали Сур Жекей.

– Да стерва эта мажановская... имущество ее хотел кампеске, а она – драться полезла! Саботаж! – хуже прежнего загундосил Бухарбай, объясняя положение и нажимая на русское "саботаж".

– Кампеске, гляди-ка! А кто разорался, не успев войти: а ну, раздевайся, табарыш!

– Э, а что я скажу? Раздевайся. Правильно. Вот, понацепляла, контра! Это ж денег стоит! Кампеске подлежит. Порядок такой.

– Правильно Бухарбай говорит! – поддержал соратника Сур Жекей. – Ну-ка, милочка, ты давай сама вещички эти. Иначе, силой можем, право у нас такое.

– Скотины байской мало, что ли? Что вам за дело до моих браслетов? – не сдавалась Балкия. Разглядела она в толпе, в самом конце, Булыша, сокрытого ночью, осмелела. Ждахай, давно неравнодушный к Балкие, весь извелся, не зная, как ей помочь. Видя, что дело обретает серьезный оборот, помчался в Красную юрту – к Асану Айтжанову:

– Асан-ага! Асан-ага!

А тот и сам навстречу вышел.

– Асан-ага! Там Бухарбай токал мажановскую... ну... как сказать... Асан-ага! Непорядок там!

Когда они добрались, непорядок у белой юрты Балкии действительно был налицо. Мелькало белое женское платье, слышалось сдавленное мужское дыхание – схватка, похоже, завязалась нешуточная.

– Псы чертовы! Кто там? Пре-кра-тить! – возмутился Асан, устремляясь к дерущимся.

– Ойбай! – вскрикнули испуганно женщины.

– Срам какой!

– Безобразие!

Шеге, не выдержав, подскочил к Сур Жекею, готовый ухватить его за глотку:

– Жеке, что вы себе позволяете?!

– Каншай саботаж! – по-русски выкрикнул Сур Жекей, расстегивая кобуру.

– Зве-ерь! – вскричала тут Балкия и расплакалась.

Бухарбай, оказывается, подмял ее под колено, белое женское бедро обнажилось. Срывал он с нее все: бусы, ожерелье, браслеты.

Шум поднялся невообразимый.

Ребятишки толкались тут же, захваченные зрелищем.

– Ойбай! – завопила какая-то баба, отскакивая в сторону.

В круг событий вынесся конник с камчой, которая в мгновение ока прошлась по жирной спине Бухарбая – он по-прежнему обминал под собой женщину. Булыш. Вскочил Бухарбай, но за ворот его ухватили цепкие железные пальцы и, не дав опомниться, поволокли как кокпар[1].

– Ойбай, не трогайте его! – закричал Шеге вслед Булышу. – Не оберетесь неприятностей!

Многие побежали вслед за Булышем. Кто-то позади завопил:

– Саботаж! Саботаж! – и тут же грохнул винтовочный выстрел.

Пуля пролетела над самой головой Булыша. Но он не отпустил Бухарбая. Псы еще увязались, и конь, вспугнутый ими, ушел далеко от аула. Бухарбай хрипел, корчился в железных тисках охотника; только теперь он понял, в чьем он плену, жалобно взмолился:

– Чем я провинился, Булыш-ага?.. – и залился слезами.

– Чем провинился? Ты из здешних сопляков, щенок! Забыл про это? Глаза зажирели, так я жир-то тебе убавлю, а?

– Бу-бу... Булыш-ага... Б-байская токал... что же было делать?

– Прирежу сейчас, засранец, как козла! Прирежу, сын дерьмовый.

Когда аул остался позади, Булыш придержал коня и так же, за ворот, перевалил Бухарбая вперед: до сих пор бедняга, как тот же кокпар, мотался на боку лошади.

---

[1] *Кокпар* – туша козла, используемая конниками в одноименной национальной игре.

Его и без того широкое плоское лицо разбухло, побагровело.

– Кыр... кыр... – хрипел он беспомощно.

– Сучий сын, слышишь? Если хоть пальцем коснешься Балкии, своими руками прирежу! Понял?

Бухарбай закивал головой:

– Кырр... кырр...

– Если понял, не забывай!

Бухарбай терял силы, лицо его стало синим. Булыш, разжав пальцы, брезгливо отшвырнул его прочь из седла. Тот шмякнулся на землю как мешок. А в ауле суматошились люди. Приближались голоса. Булыш растворился в ночи.

Конфискация в ауле Мажана завершилась. В ту же ночь Мажана и его байбише отвезли в Темир. Куда их должны были этапировать оттуда, один бог знал. Балкия с помощью Асана Айтжанова получила свободу, потому за баем не последовала. Сур Жекей и Асан крепко повздорили по этому поводу в ту ночь: Асан обвинил Сур Жекея в левачестве, а Сур Жекей Асана – в байстве. Поголовье Мажана угнали в район.

На следующий день комиссия, возглавляемая Асаном Айтжановым, на нескольких арбах спозаранок выехала в аул Пахраддина.

Пахраддин и Сырга-байбише не спали в ту ночь – выносили за порог добро. Пахраддин, вернувшись вчера из аула Мажана, сказал жене:

– Все, кроме постели и посуды, выноси! Пока не разнесли шанырак, отдадим добро сами, пропади оно пропадом!

Сырга-байбише сочла предложение мужа разумным:

– Пропади оно, ты прав. Главное, сами живы-здоровы...

Комиссия, явившаяся в аул на рассвете – еще и скотина-то не ушла на пастбище, – была изумлена картиной, представшей глазам: перед домом Пахраддина аккуратно уложенными лежали ковры, кипы тканей, дорогие шубы и меха, драгоценности. Пахраддин у порога встречал комиссию.

– Вот, джигиты, – сказал он, – здесь все, кроме смены белья и одежды, а также постельных принадлежностей и необходимой домашней утвари, которую мы себе

оставили. Можете войти, поглядеть, – и жестом пригласил Айтжанова войти.

За Айтжановым последовали члены комиссии: Лис Курен, Шеге, Ждахай, Козбагар. Комиссию сопровождали двое милиционеров. Сырга-байбише, несколько напуганная суровым видом вошедших, предусмотрительно отошла к порогу, члены комиссии почтительно с ней поздоровались. Затем они осмотрели юрту. Ничего, действительно, лишнего. Комиссию это поразило. Лишь конское снаряжение с серебряным седлом висело у порога, так его прибрал Бухарбай.

– Ты хочешь, чтобы наш уважаемый хозяин ходил пешком? – упрекнул его Айтжанов.

– Нешауа, – по-русски вместо Бухарбая отозвался Сур Жекей. – Пешком походит.

– Да пусть берет! – не стал спорить Пахраддин.

Небольшой черный ларь стоял под одеялами. Один-единственный. Туда Сырга-байбише сложила оставшуюся одежду. В ларь не стали заглядывать. Вещи, которые были сложены у порога, сначала подробно переписали, затем сложили на подводы. В полдень комиссия покинула аул.

Так аул и пережил долго ожидавшуюся кампанию "кампеске".

АУЛ БЕЖЕНЦЕВ

1

В густом саксаульнике, со всех сторон окруженном барханами, притаился аул. Неприметные юрты, их около шестидесяти. В них нашли укрытие беженцы, скрывающиеся от конфискации, из разных мест. Поселение далеко от человеческого жилья, в песках; сюда, до этой безводной пустыни, и птице с Устюрта не долететь, так что и "государственным табарышам", как полагают люди, нелегко будет добраться.

Судьба пригнала к беженцам и Хансулу. Уже год, как она в ауле.

Хансулу на своем Каракере взбирается на очередную ковыльную гряду. На ней – черный плюшевый камзол,

схваченный в талии красным пояском, на голове – расшитая позументом тюбетейка с пухом филина, пух клонится по ветру; загоревшее на солнце и ветру личико серьезно, на чуть вздернутой по-заячьи и оттого непередаваемо милой верхней губке, на длинных ресницах – пыль. Печальными глазами смотрит она на пыльный, серый горизонт. Кого, чего ждет – не знает, но ждет. В ту ночь, когда бежала с дядей Азбергеном, так удачно освободившим ее из пут родного аула, она была счастлива; сердце, казалось, разорвется от радости. Она была свободна! Но эта радость длилась недолго. Очутилась среди людей, придавленных страхом, загнанных судьбой в пески, в глазах которых она всегда читала один-единственный вопрос: "А что с нами будет завтра?" Такой это был аул, что и собаки в нем остерегались залаять. И дети шумных игр не водили. Когда очагов в ауле стало больше сорока, вздумалось людям выбирать старшего. Каждый день спорили, орали во все горло. В центре спорящих восседал Азберген, до того мрачный, что его густые мохнатые брови сходились на переносице в одну сплошную линию. Поглаживая бритую, в сизых складках голову – чем-то она Хансулу напоминала тыкву, – он внимательно слушал аксакалов и тех, кто помоложе. Споры заканчивались тем, что многие сходились на одном: нужен им вожак, мудрый человек, который может в трудную минуту помочь советом, нужен батыр, который может в худую минуту защитить аул от врага; в конце концов уговорили Азбергена пойти к Лабак-ахуну. С ним поехали четверо – представители аула, жившего обособленно. Нелегко будет говорить со старцем, ведь он разве что к мнению одного Пахраддина прислушивается, но что делать? Прибыли они к ахуну, а тот, как живой дух, стоит на холме с посохом в руке. Белый-белый. Не дал путникам и слова молвить, сам заговорил:

– Ау, правоверные, добрались-таки... А мне мой далекий предок во сне подсказал, что вы ко мне наведаетесь, божье благодаренье вам! Вот я и жду.

Азберген и сопровождающие его джигиты поразились провидению ахуна; спешившись, наперебой

приветствовали его. А на того, как видно, сошло высшее благоволение, говорит:

– Вы, люди, слов зря не тратьте. Если хотите, чтобы я к вам перебрался, вы, божье вам благодарение, к потомку нашего знаменитого предка Барака ступайте; вот его, Булыша, и уговорите! Если есть в этой округе батыр, способный отбить вражескую пулю, так это Булыш!

Отправились люди Азбергена на берега озера Шошки, где, как они слышали, скрывается от властей Булыш. Он и в самом деле жил на безлюдном озере. Сур Жекей, говорят, несколько раз выходил на его след, но изловить батыра ему не удалось. Еще рассказывали, что Булыш похитил Балкию вместе с ее юртой. С тех пор и жили они на безлюдье. Хорошо охотник знал окрестность и не без оснований, видно, выбрал для убежища поросшие дремучими зарослями берега озера Шошки. Группа Азбергена прочесала их основательно, но найти Булыша не сумела. В полдень, когда люди присели передохнуть в тени тамариска, к ним из камышей, нацелив ружье, вышел сам Булыш.

– Кто вы такие? – рявкнул он.

Те от радости и расшумелись – как же, нашелся тот, кого они столько искали! Булыш их к себе в юрту привел, она стояла в потайном месте. Красавица Балкия, полыхая румянцем на щеках, расстелила перед гостями дастархан. Гости передали Булышу пожелание ахуна: не должен, дескать, джигит в обнимку с бабой в камышах укрываться, когда над народом нависла беда; джигит должен бы сесть на коня и народ от беды охранить. Уставился в землю Булыш, ему не оставалось ничего, как принять их предложение.

Прибытие в аул Лабак-ахуна и Булыша приободрило беглецов. Даже женщины и дети повеселели. Как же – могущественный ахун к ним пожаловал, ученый человек; с ним – Булыш, знаменитый охотник, ни одна пуля которого не пропадает зря. И народу отовсюду прибавлялось – из Адая, Табына, Алима и других родов. Было им к кому прислушаться, теперь среди них – Лабак-ахун, белый-белый, как дух. Не знал старец усталости, постоянно с народом – лились, как и раньше, с его уст

терме-назидания, слова-иносказания; аул благоговейно внимал его напевному голосу. По его, мудреца, велению избрал аул Булыша своим вожаком. На месте вечного успокоения Барак-аты, защитившего некогда казахов от калмыцкого ига, пожелали мужчины принести клятву верности. В ауле остались женщины да дети.

С самого утра было ветрено. Хансулу, которую Каракер вынес на ковыльную гряду, зажмурилась – ветер швырнул ей в лицо горсть острых песчинок. Безрадостна степь, пыльные завихрения прокатываются по ней, и кажется – бродит она, как прокисшее молоко; по гребням вдалеке пробегают шары перекати-поля. Вздохнула Хансулу – ветер, кидающийся песком, и Устюрт припорошил пылью; некогда многоцветный от ярких трав и цветов, он был теперь однообразно сер. Пыль, вздымаемая там и тут, встает столбом; за одним из таких столбов Хансулу вдруг высмотрела кочевье. "Не привиделось ли?" – усомнилась она. Дав коню шенкеля, поскакала поближе, рассмотрела видение. Нет, не привиделось, в самом деле кочевье, из нескольких верблюдов и лошадей, нещадно погоняемых ветром. За плечами у конников – винтовки. Похолодело сердечко Хансулу. Людей со штыками в ауле ждали меньше всего, боялись аскеров-красноармейцев.

Хансулу поворотила коня к аулу, хлестнула его камчой. Аул – в низине, кругом саксаул, не видать из-за него ничего; многие женщины и дети во дворах были, когда прискакала Хансулу, и Раш, жена Азбергена, – тоже.

– Женеше! – вскричала Хансулу, завидев ее.

– Что, милая?

– Женеше... Едут там... с винтовками. Аскеры...

– Да ты что?..

– Что, что такое? – сбежались и остальные женщины. В ауле поднялась паника. Дети побежали было на склон, да матери остановили их:

– Куда? Вернитесь! Отцы, что ли, ваши едут, дурни?!

Едва загнали ребятишек в дом, кочевье объявилось – пять груженых верблюдов и пять красноармейцев на конях.

– Ойбай!

– Пропали!

Женщины с воплями разбегались, прятались по юртам. В суматохе многие оказались в юрте Азбергена. Омер-

твели, бедные, со страху. Старухи, прижимая к себе внуков, рыдали. Балкия и Хансулу тоже были здесь.

Послышался голос снаружи:

–Эй, люди! Почему убежали? Мы не враги. Мы – государственные люди. Выходите! Поговорим.

Женщины задрожали.

– Это ж Асан! – прошептала Балкия, проводя, по обыкновению аульных женщин, пальцем по щеке.

– Кто? – переспросила старуха, притулившаяся у стены.

Ей объяснили:

– Асан-балшебек[1], кто еще!

– Его голос. Точно, – опять зашептала Балкия.

– Так выходите! Божьи гости мы, нехорошо встречаете!

Та старуха, что у стены притулилась, пристала к Балкие:

– Вышла бы, а? Знаешь его... Покажись.

– Да, сделай милость, – присоединились к ней хором и остальные.

– Э, а что? И покажусь! – захорохорилась Балкия. – Асана, что ли, я не видела? – и, поправив на голове жаулык, пошла; высокая грудь заколыхалась на ходу. Женщины притихли, пораженные ее смелостью.

Когда из юрты в самом центре аула выпорхнула женщина в белом платье, ладно скроенная, ослепляющая белозубой улыбкой, конники – а это были Шеге, Ждахай, милиционеры Сур Жекей и Бухарбай, возглавляемые Асаном, – оцепенели, вытаращили глаза.

– Нашлась пропажа, – заулыбался Асан, худой, черный, в русской кожаной кепке. От улыбки его лицо собралось складками.

– Одна нашлась. Верно. Но нам-то вторая нужна... Ч-черт, – заметил Сур Жекей, рыская взглядом по сторонам.

– Вторая тоже не задержится, скоро будет. Малость обождите! – парировала Балкия, догадавшись, о ком идет речь.

– Ну, а где мужчины, Балкия?

– Я сказала, будут.

– Но-о, куда ж они ушли все?

– А про это вы у них спросите, когда вернутся. Проходите в дом!

---

[1] *Балшабек* – искаж. от “большевик”.

Асан и Сур Жекей переглянулись. “Что будем делать?” – говорили их взгляды. Решение принял Асан.

– Пройдем, сейчас пройдем, – сказал он, кивая Балкие.

Как только женщина скрылась в юрте, Асан и Сур Жекей начали совещаться.

– Не зря зазывает бабенка. Ловушка тут, – сказал Сур Жекей. – Может, где прячутся – накроют враз, как войдем.

Шеге и Ждахаю они поручили осмотреть окрестность. Бухарбай остался с лошадьми, а оставшиеся вошли в юрту. Сплошь женщины; старые и молодые, поднявшись, отступили назад, давая возможность гостям занять место на торе. Балкия повесила на треногу чайник.

– Что вы испугались? Или человека в кепке не видели? – пошутил Асан, опускаясь на одеяло на полу. Берданку он прислонил к стене.

Сур Жекей, присаживавшийся рядом, приметил у порога высокую, облаченную в шаровары, Хансулу и указал на нее подбородком:

– Еще одна пропажа!

Асан задержал внимание на красавице, очень напоминавшей ему глазами, поблескивавшими в полутьме, козленка косули. Так вон она какая, та строптивая девчонка, история с замужеством которой завязла у всех на зубах! Хансулу попятилась, сбитая с толку пристальным вниманием человека в кепке.

Женщины, что постарше, стали присаживаться. Асан, пробежав глазами по их испуганным лицам, сказал:

– Не бойтесь. Зла мы никому не причиним... Все наше зло, если хотите, назад вас вернуть. Только и всего.

Старухи тревожно переглянулись. Чайник на треноге свистел, закипая. Ветер выл снаружи, хлопал завязками тундика. Топот конских копыт раздался неожиданно.

– Асан-ага! – послышался отчаянный крик Шеге.

Первым из юрты выметнулся Сур Жекей. Следом – Асан.

Женщины расшумелись, но ни одна не покинула юрты – боялись. Только Хансулу ожила, заслышав голос Шеге. “Он ли?..”

Старухи запричитали, взывая к духам предков:

– О повелитель, сохрани!

– О Барак-ата! О Бекет-ата!

Хансулу, прижавшись к косяку, внимательно всмотрелась. Увидела сначала тех, кто был в юрте, – они бежали

к лошадям, а потом разглядела и Шеге на рыжем жеребце, дико выплясывавшем под ним. Куда-то на восток показывал джигит камчой. И у него на голове торчала русская кожаная кепка, как и на Асане, но был он не в красноармейской форме, а в чапане, подпоясанном ремнем, за плечом – винтовка. Не тот это Шеге, не тот босоногий сорванец, который, бывало, из-за кости дрался. Шеге – джигит. Лицо – незнакомое; больно строгое, взрослое, да и взгляд... Холодный взгляд. А вон и Ждахай-баламут скачет к Асану. Не слыхать, что говорит. Обрывками доносилось:

– Много... Асан-ага... Це... войско...

– Наши, кажется, возвращаются, – сказала Хансулу громко, чтобы все услышали.

– О, сохрани! О духи предков, помогите! – расшумелись старухи.

В густом саксаульнике возникли всадники – мужчины аула. Среди них на белом верблюде – ахун. Кто-то из конников в передних рядах заметил, видно, красноармейцев – вскрикнув, повернул лошадь назад. Мужчины, сбавив ход, приостановились, взяли в руки оружие. Ахун продолжил путь.

– Аскеры в ауле! – предостерегли его, но ахун, что-то мыча под нос, к кучке аскеров и направил верблюда.

Асан шагнул навстречу старцу:

– Ассалаумагалейкум!

– Уагалейкумассалам, сынок! Удачи тебе!

– Да сбудутся ваши слова! Вот, за единением к вам, как говорится...

– Единения, сынок, не с оружием ищут.

– Верно. Вот и давайте по-мирному поговорим.

Задумался старик на верблюде, стал пальцем бороду цедить. Наконец развернул ахун верблюда, помахал рукой своим, сбившимся в кучу в отдалении. Замешкались те, не поняли, чего ахун хочет.

– Идите же, трусы! – позвал ахун и покачал головой. – Пятьдесят, а пятерых боятся...

Стали выбираться из юрт и женщины. Мужчины, послушные воле ахуна, пошли к нему нехотя – среди гостей они видели милиционеров Сур Жекея и Бухарбая.

Впереди аулчан – Булыш. Напряжен батыр: зубы сжаты, скулы резко обозначились. Рядом с Лабак-ахуном и Асаном остановился. Его спутники застыли поодаль.

– Ассалаумагалейкум, Асеке! – произнес Булыш, делая вид, что не замечает Сур Жекея и Бухарбая.

– Как здравствуем-поживаем, граждане? – бодро откликнулся Асан, обращаясь одновременно и к Булышу, и к его спутникам.

– Да слава богу! – бросил кто-то из джигитов, а второй не без едкости добавил:

– Власть жива-здорова будет – куда мы денемся?

Раздались смешки.

– Ну, джигиты! Не с войной мы к вам, согласия искать приехали. Есть что вам сказать. Кто главный-то у вас?

– Булыш главный! А наставником – ахун! – выкрикнул из гущи конников молодой скуластый джигит в красной шапке.

– Уай, Асан-сынок, разве же не в доме ведут беседу? – тихо обронил с верблюда Лабак-ахун.

– Хотелось, чтобы все слышали!

– Тогда бог в помощь, пусть по-твоему будет, сынок! Уай, собирайтесь все! Ближе, ближе!

Лабак-ахун, вытянув длинную шею, посмотрел по сторонам. Подходил народ. Азберген упрямо поддал в бока коню, подъехал вплотную к Булышу.

– Отойдем-ка! – пробасил он. Оба – на конях – удалились в пыльную степь.

– Слушаю тебя! – сказал Булыш, недовольный поведением Азбергена. Не лежала у него душа к этому человеку. Не любил он упрямого чурбана за его лютую ненависть к простому люду.

Азберген начал с попрека:

– Старик, допустим, из ума выжил, а ты что? Тоже будешь крещеного комониста слушать? Известна его песенка. Какие еще с ним разговоры? Голову долой – и все разговоры!..

Булыш поглядел в упор на громилу Азбергена. Вместо лица – черная, заросшая бородой непроницаемая маска.

– Что ты плетешь! – вспыхнул он. – Хочешь нас бандой выставить?

– А-а, понятно, жалко тебе комониста, – волосатое лицо Азбергена налилось кровью. Лошадь, подстегнутая ударом в бок, закружилась волчком на месте. – Попомни мое слово – завтра он тебе башку снесет!

– Не драться – говорить они приехали!

– Нет крещеным доверия! – рявкнул Азберген – теперь и глаза у него стали красные.

Булыша его вид встревожил.

– Допустим. Доверия нет, – сказал он, сбавляя тон. – Но что они сделают впятером?

– Пускай не болтают! Здесь еще болтать будут! Сматываются пусть, пока голова на плечах!

– Азберген, погоди! – Булыш едва сдерживался, чтобы не раскричаться. – Не кажется ли тебе, что мы по горячке кое-что и перегнули, а? Ты погляди – вон бабы, вон ребята. Что с ними-то будет?..

Сказав это, Булыш развернул коня. Азберген проводил его бешеными глазами. Три сына бая Мажана – Мотан, Шотан и Капан – окружили его.

Асан выехал на середину круга. Притих народ – что скажет главный аскер?

– Ау, люди! Вопрос у меня к вам, – заговорил Асан.

– Слушаем!

– Люди! Вот вы из аулов сбежали, от властей сбежали. И куда вы? Может, еще революцию готовите, а?

Многие голоса раздались разом.

– Погодите, по одному! – попросил Асан.

Все взоры обратились к белому, как лебедь, ахуну.

– Сынок, – начал он, – предки наши говорили: да погибнет тулпар, от косяка отбившийся, да пропадет сокол, хозяина позабывший. Не смеем мы утверждать, что, идя наперекор предопределению, найдем удачу. Но, если предопределение таково, что в скором времени лишимся мы скота на дворе, молитвы на устах, свободы передвижения по путям привычных кочевий, скажи, есть ли для казаха смерть хуже этой?.. Поэтому мы покинули родину. Что нас ждет впереди? Это сокрыто мраком.

– Верно говорит ахун!

– Ахун-ага! – поспешил перекричать возгласы Асан. – Три обиды услышал я к правительству. Давайте проясним, уместны ли они. Внимание! Прошу внимания! Скотину, говорите, отобрали? Верно. Отобрали у вас скотину. Но ведь у баев только. Отобрали и бедным отдали. Часть.

Остальное государственным достоянием стало, то есть, другими словами, тоже народным. Это одно. Молитвы, говорите, лишились? Я лично такого закона не видел,

который запрещал бы народу молиться. Это два. Третье. Кочевой мы народ, говорите, свободы лишились? Я на это имею возражение. Да, мы – кочевой народ. Время-то другое пришло. Арба огненная, аэропланы, а кочевник по-прежнему за конскую гриву держится. Вас же на то недостает, чтобы о судьбе своих малышей задуматься...

И тут на разгоряченном коне, пробивая себе дорогу, вырвался вперед Азберген и стегнул на ходу камчой Асана по голове. Со лба засочилась кровь. Все разом смешалось. Пешие бросились врассыпную. Конники – спешились. Затрещали винтовочные выстрелы. Хансулу увидела, как кто-то, как будто Шотан, стащил с лошади Шеге. Повалили с лошадей и Сур Жекея с Бухарбаем, отобрали у них оружие, а руки за спиной связали. Кто-то в стороне пинал оравшего от боли Ждахая, рот бедняги весь в песке. Азберген, изловчившись, хотел было вырвать из седла Асана, чтобы потаскать его всласть по полю, как кокпар, но сзади насел Булыш. Верблюд Лабак-ахуна, напуганный происходящим, унес хозяина в степь. Женщины сбились в жалкую кучу, как овцы.

Асан, Шеге, Ждахай, милиционеры Сур Жекей и Бухарбай валялись, связанные, на земле, в грязи, в крови. Схватка теперь шла между своими – Азбергеном и Булышем. Пешие схватились. Кто кого поддерживает, кто прав, кто виноват – не разберешь. Тем и занимателен поединок, что Азберген и по росту, и по комплекции превосходит Булыша. Победа не склоняется ни в ту, ни в другую сторону. Жестокий поединок. Поединок двух зверей, издавна не переносивших один другого и столкнувшихся на узкой тропе, – ни один не мог рассчитывать на поражение без погибели. Да, пожалуй, и судьба вожака аула решалась. Одежда на обоих изодрана в клочья. Гибкий, с хваткой леопарда Булыш зажал вскоре массивного, малоповоротливого Азбергена в свои тиски так, что тому и не вздохнуть, а мгновение спустя шмякнул оземь перед зеваками как дуб, вывернутый с корнем. Булыш чуть ли не к самым лопаткам завернул противнику руки, взгромоздился ему на спину и прохрипел:

– Веревку давайте!

Кто-то кинул ему конский повод. Связав Азбергена, Булыш волоком подтащил его к тем пятерым, рядом с Асаном бросил.

– Благослови тебя бог! – удовлетворенно воскликнул вернувшийся Лабак-ахун.

– Развяжите! – приказал Булыш, показывая на красноармейцев. А сам стал освобождать руку Асану.

– Зачем? – запротестовали Мотан, Шотан, Капан.

– К конскому хвосту их!

– Уничтожить!

– Бей врага!

Другие поддержали Булыша:

– Отпустить их!

– Зачем нам с властями ссориться? Мы не банда.

– Покой дороже!

Лабак-ахун, жмурясь и почесывая бороду, заключил: – Резонно то, что по уму делается, Булыш прав. Старец пришел в себя после недавнего потрясения, выражение лица, как всегда, благостное. Свободным от пут представителям власти, бледным после пережитого, подвели их коней.

– И оружие верните! – велел Булыш, грозно подымая глаза на сыновей Мажана. Те без слов отдали отобранные ими пятизарядки и наганы: не столько, наверное, Булыша испугались, сколько собравшегося народа, который был солидарен с вожаком.

Ни Асан, ни Сур Жекей, ни Бухарбай, ни Шеге, ни Ждахай не проронили ни слова. Взяли оружие, привели себя в порядок, сели на лошадей. Ветер по-прежнему посвистывал пронзительно. Сел на своего вороного аргамака и Булыш.

– Асеке, – сказал он, глядя на Асана. – Один овечий катыш, говорят, бурдюк сливочного масла портит. Вроде как у нас сегодня. Дурак – один, а все мы вот из-за одного осрамились. Дорожки наши, выходит, разминулись...

– Что верно, то верно, – Асан старательно стирал с лица кровь. – Нам уж теперь в обратную путь-дорожку! – и поддал пятками в бока лошади.

Пятеро конников молча отделились от толпы, в которой стояла и Хансулу. Она не отрывала глаз от Шеге на рыжем жеребце, гриву и хвост его лошади трепал ветер; она не отрывала глаз от Шеге, который уезжал. Неожиданно он обернулся. Резко. Глаза его упали на Хансулу. Девушка не отвела взгляда...

Конники – вместе с ними Шеге – поскакали.

2

Как только “люди власти” скрылись из виду, аулчане стали спешно разбирать жилища. Поднялась суматоха: расплакались дети, разлаялись собаки, раскричались верблюды. Старейшины аула, возглавляемые ахуном, решили судьбу Азбергена. Развязали ему руки, позвали Шотана, Мотана, Капана; Лабак-ахун многозначительно изрек:

– Сын мой Азберген, мы выбрали главой аула Булыша, поклялись ему повиноваться. Ты эту клятву нарушил. Начал смуту. Наше тебе слово: живи как все, а нет – ступай на все четыре стороны! Таково общее повеление.

Азберген молчал, насупленный, а потом сказал:

– Вина – наша, простите.

Простили большинством Азбергена, а заодно с ним Шотана, Мотана, Капана.

Аул собрался быстро – времени прошло как раз чаю вскипеть; весь груз уже был на верблюдах.

Лабак-ахун благословил в дорогу:

– Оу, повелитель вселенной, защити! Оу, Кадыр-ата, будь заступником в пути неведомом! – и, обращаясь к Булышу, заключил: – Трогаемся, сынок!

Булыш пустил галопом вороного жеребца. За ним неторопливо двинулось и кочевье. Мела пыльная поземка. Дорога шла через саксауловую рощу, изредка ее прорезали песчаные холмы. Старались продвигаться так, чтобы солнце по правую сторону кочевья держалось. К закату очутились у старого кладбища – сплошь четырехугольные могильные сооружения из глины и камня. Начиная с низины, они захватили всю небольшую сопку.

– Могила Барак-аты, – прошелестело по кочевью.

Она ближе всех к вершине, старое саксауловое дерево – в изголовье; пониже, на склоне, захоронение сына Барака – Асау.

Мужчины, следуя примеру Лабак-ахуна, спешились.

Люди, вернувшись к месту вечного успокоения благословенных предков, опустились на колени, преклонили головы. Лабак-ахун нараспев читал Коран, ветер играл его белой бородой. Что-то новое было в том, как пел ахун. Он не жалел голоса. В плавной тягучей мелодии угадывался плач, так стенает верблюдица, разлучаемая с

родными местами. Не дочитал Корана ахун – сорвал голос. Он вытер платком глаза. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчины и женщины прослезились.

– Прощай, отец! Прощай... – произнес ахун через силу, заканчивая молитву.

Народ, расстроенный, придавленный плачем, не шелохнулся; долго еще все оставались на месте, недвижимы. Так, со слезами на глазах, простились люди с могилой незабвенного предка на земле, которая была и их землей, их отчизной...

Кочевье продолжало путь, ориентиром ему служило заходящее солнце. Женщины поголосили, не в силах сдержать рыданий, и их можно было понять: дальняя дорога, чем-то она закончится?.. Впереди – туманное будущее, но вскоре и эти голоса стихли; мало-помалу плач сменился вздохами, тяжкими, долгими. Женщины успокоились, успокоились мужчины – и старые, и молодые, смирились со своей участью; впереди, они знали, еще много испытаний, следовало беречь силы. Медленный однообразный верблюжий шаг укачивал путников...

На ночь аул укрылся в густом саксаульнике, а как забрезжил рассвет, опять пустился в путь. С восходом солнца остались позади барханы Сама, и кочевье вышло на гладкое, точно вылизанное временем плато Устюрт. Ветер, утомивший всех, утихомирился, и сразу очистился горизонт.

Аул шел без остановок, лишь в обеденные и вечерние часы делались короткие привалы, да и то большей частью для того, чтобы дать передохнуть животным. Опасность еще не миновала. Опасались погони. На третий день пути беда их все-таки настигла, но не сзади, откуда они ее ждали и что вынуждало постоянно оглядываться, а спереди. Беда шла навстречу. Кончилась гладь Устюрта, начались пески, и растительность другая – крупнее, гуще, кустарниковая: зверобой, тмин, ковыль. Люди достигли старого караванного пути. Солнце, алое-алое, опустилось на далекий бархан. Мужчины ехали впереди каравана, собираясь обогнуть гряду, которая им преградила дорогу, и еще смеялись – очертаниями гряда напоминала осевшего на колени верблюда. И тут из-за нее вывернули всадники. Туркмены в папахах с винтовками за плечами.

Дрогнуло сердце Хансулу. “От власти бежали, к басмачам прикочевали, – подумалось ей. – Сейчас начнется пальба, крики, побоище...”

– О, Барак-ата! Бекет-ата!.. – пронеслось по кочевью.

И Хансулу стала молить всех святых, чтобы оберегли.

Туркмены, завидев караван, придержали лошадей. И кочевье остановилось. Впервые Хансулу видела знаменитых басмачей, которые, как рассказывали, безжалостно грабят путников, похищают девушек. Но туркмены, сойдя с дороги, мирно продолжали путь, о чем-то переговариваясь.

Мужчины в караване – и Булыш с ними – молчали. Выжидали, что предпримет противная сторона. А туркмены знай себе едут пообочь на красавцах-аргамаках с лебедиными шеями, кони вытанцовывают под ними. Джигиты в шекпенах, перетянутых в несколько рядов туго-натуго кушаками, к лукам седел приторочены коржуны. Едут и глазом на кочевье косят. Тишина. Лишь верблюды шлепают губами да пофыркивают. Даже женщины прикусили языки. Впереди на гнедом с черно-белыми ногами жеребце следует маленький, с широкой окладистой бородой мужчина; папаха на голове, пожалуй, больше его самого. Гордая осанка без слов говорит – он в группе старший.

“Неужели так, без единого выстрела, проедут?” – подумала Хансулу, расслабляя ладонь с зажатыми в ней поводьями, огляделась. Люди омертвели от страха. Всколыхнулось опять кочевье. Широкобородый, пропустив нукеров вперед, встал поперек пути. Машет рукой, кричит что-то. Булыш не медля пустил коня иноходью к нему. Один подъехал.

– Ойбо-ой, что будет!.. – зашептала какая-то женщина.

Булыш не задержался. Переговоры оказались короткими. Широкобородый поскакал вслед за товари-щами, а Булыш повернул назад. Общее внимание, в том числе и внимание Лабак-ахуна, приковано к черному, как чугун, Булышу, поспешавшему к ним на вороном аргамаке. Жестким было выражение его лица. Еще издали махнул камчой, прокричал:

– Трогайтесь!

Это прозвучало как приказ. Женская часть каравана, мимо которой проследовал Булыш, осталась в неведении

относительно переговоров. Булыш только мужчинам поведал, а потом и до женщин дошло. Вот какой получился у них разговор:

– Откуда и куда идет караван? – спросил широкобородый.

– От правительства нынешнего в Афганистан уходим... – ответил Булыш.

– Не драпать надо, а драться! – упрекнул туркмен.

– Нет сил с ними тягаться!

– У вас нет, так у меня есть. К колодцу Шыгыл поворачивай кочевье!

– Не командуй, путник! Мы пока что свободный аул!

– Эй, казах! Если от власти сбежал, то не думай, что от хана Жонейта сбежишь!..

Весь и разговор. Что-то за ним крылось. Прибавилось страхов. А караван углублялся в пески. На многие километры вокруг простирались барханы, они накатывались один на другой как волны. Чистый сыпучий песок расстилался по обе стороны пути. Островками встречался ковыль; он сгорел на солнце, его метелки, жалко поникшие, золотисто-желты. Из растительности – столетник, верблюжья колючка, агава; забавна агава – устремила ввысь вибрирующие, как проволока, и острые, как клинки, листья. И снова – пески, пески... Безлюдная, безводная пустыня. Солнце жарит. И пески лицо жаром опаляют. Во рту пересохло. Хочется пить. Теперь ночами, когда аул спит, выставляется караул. Два колодца на пути встретились, но воды в них оказалось мало, на всех не хватило, зато на третий, более щедрый, повезло. И верблюжьей колючки вокруг этого колодца росло много. Поснимали люди поклажу с верблюдов, напоили их, пустили пастись. У колодца и решили они провести ночь.

3

Вооруженный отряд из ста пятидесяти человек – среди них добровольцы и представители народной милиции – преследовал старым караванным путем бежавший аул; вели его Афанасий Васильевич Гринин и Асан Айтжанов. К вечеру третьего дня, когда отряд углубился в Каракумы, острый глаз Асана приметил среди барханов мелькнувшую

верблюжью голову. Люди как раз выбирались из лощины, отступили по знаку Асана назад.

– Раз скотина обнаружилась, значит, и аул тут, – сказал он Афанасию Васильевичу, прилаживавшему к глазам бинокль.

– Верно, – сказал тот, – верблюды пасутся. Я даже мальчонку рядом с ними рассмотрел.

По приказу командира Гринина отряд остановился в лощине. Зашло солнце, сгустилась темнота.

– Взгляните-ка на сопку! – попросил Асан. Сам тоже припал к земле. – Похоже, стоит кто-то, а? Человек?

– Верно, – подтвердил Афанасий Васильевич. – Стоит... На бархане караул.

Большую часть отряда составляла казахская молодежь. Командир вызвал к себе Ждахая и Шеге.

– Во-он на сопке караульный, видите? Один-одинешенек, – сказал он им. – Вы самые, так сказать, сознательные ребята в отряде. Приказываю от имени революции снять часового, но без шума. Ясно? И по возможности, живым постарайтесь взять. С аулом разберемся после, перед рассветом, когда он спать еще будет. А то, сами понимаете, пальба, кровь... Зачем? Вы меня поняли?

– Поняли, товарищ командир! – наперебой ответствовали сияющие Шеге и Ждахай, вытягиваясь по-военному.

– Это ваше первое боевое задание, ребятки. Верю, что справитесь. Возьмете караульного – дадите знать. Рукой помашете.

Шеге и Ждахай оврагами и ложбинами пробирались к бархану. Темень. Каждый куст впереди – как затаившийся враг. Сердца у парней стучат-стучат. Оба не сводят глаз с часового, одинокий силуэт которого темнеет на треугольной, напоминающей горб верблюда вершине, которая вонзилась в звездное небо. У обоих по ножу, по берданке. Пригнувшись перемещаются, больше бегом. Единственное, что успели, пока не вышла луна, добраться до подножия бархана. Затаились в сухом столетнике. Ничком залегли, не дышат.

Караульный – все на том же месте, за плечом – ружье. То и дело разворачивается, оглядывается вокруг.

– Отца его в душу, – бурчит Ждахай, – если он и дальше такой бдительный будет, нам к нему не подступиться.

– Подождем, до утра далеко, – прошептал Шеге.

Впереди стал светлеть уголочек кромешной тьмы, и вскоре показалась луна, вернее, ее половина, румяная, как лепешка-кулше, которую казашки выпекают в очаге, обкладывая сковороды сверху и снизу угольками. Ждахай толкнул Шеге в бок, кивнул на вершину. Шеге осторожно высунулся из-за сухих веток и увидел, что караульный сел, поджав под себя ноги, винтовку держит в руках.

– Дал бог, – шепнул Ждахай, – устал чудак. Хорошо, что присел, быстрей уснет.

Шеге перевел глаза на небо, на луну, переместившуюся к центру небесного купола, вся округа освещена ею. Влекут к себе покатые белые плечи бархана. Побежать бы босиком по этим осыпающимся под ногами склонам! А почему бы и в самом деле не пробежаться? Да еще бы с Хансулу... Почему бы по этим самым пескам им не уйти вдвоем? Шеге вздохнул. Ждахай толкнул его в бок: что ты, мол. Промолчал Шеге.

Когда Афанасий Васильевич послал их на опасное задание, он, Шеге, признаться, обрадовался. Во-первых, раньше других поспевал он к Хансулу, во-вторых... во-вторых, это был случай, когда он мог отличиться, подвиг, скажем, совершить неслыханный и тем возвыситься в глазах гордой девчонки...

Глядя на Шеге, размечтался и Ждахай. Своя у него боль. Балкия. Красавица Балкия с глазами дикой кошки. Эх, разнесут они в пух и прах их мужчин-защитников... Что потом будет? Да то будет, что женщин они погонят обратно. Как овечек. И Балкия у кого-то станет искать защиты – жить-то всем хочется. И у кого она эту защиту найдет? У Ждахая. Разве не так?

– Ждахай! – шепнул Шеге.

Ждахай вздохнул. Размечтался.

– Клюет никак, гляди...

Около полуночи, луна в зените. Откуда-то поддувает прохладный ветерок, шевелит головки ковыля. Долго они разглядывали караульного, свесил, бедняга, голову. Дремлет, похоже. Друзья стали обходить сопку. Хорошо, что с вершины не просматривается ее подошва. Поднимались с подветренной стороны, со стороны караульного. Как ящерицы ползли. Со склона и аул виден, луна его

освещает. Юрт нет, вместо них – шатры и шалаши из решеток кереге. Стоят оседланные лошади.

Выбрались на осыпающуюся под руками и ногами вершину. Условились, что, если часовой проснется раньше времени, Ждахай метнет нож. Стрелять не будут. Караульный, похоже, молодой. Спит, лбом к винтовке прислонился. Ждахай потянулся к уху Шеге:

– Это Рысбек, провалиться мне!

– Брось ты! – испугался Шеге.

Зажмурившись, Ждахай закивал, подтверждая. Оба некоторое время смотрели в спину часового. Перед глазами Шеге – курносый рыжий пастушонок Мажана Рысбек, некогда пасший байские табуны. Телом крепок, но тихоня и трус.

– Живым берем бедолагу, слышишь? – сказал Шеге, не отрывая глаз от часового.

– Ясное дело, если получится, – отозвался Ждахай.

Ползли почти не дыша. Расстояние между ними и спящим Рысбеком сократилось, он совсем близко. Рысбек всхрапнул. Переглянувшись, друзья покачали головами. Руки и колени мягко входят в сыпучий песок. Они подступили к караульному вплотную. И тут произошло то, чего не ожидали. После этого и сами они уже не знали, что делали. Что-то затрещало в ковыле, и отчаянный заячий вопль вспорол ночь:

– Бик! Бик!

– А?.. А?.. – замахал руками Рысбек и вскочил. Но опасности со спины не увидел.

Именно в этот миг и кинулись к нему Ждахай и Шеге. Горбатый нос и рот Рысбека оказались под ладонью Шеге, он это ощутил. Парень забарахтался, желая вырваться, и хотел крикнуть, да не смог: двое, что были на нем, подмяли его под себя – не дыхнуть.

Ждахай, прыгнув, повис на поясе длинного Рысбека, тот отчаянно вырывался, и нож в руке парня, так уж получилось, вошел в живот Рысбека.

– Ой, – вскрикнул Шеге. Сипло вскрикнул – перехватило горло.

Рысбек корчился под обоими, то сжимаясь, то вытягиваясь во весь свой длинный рост. Не уходила душа из тела...

Шеге отдернул руку, отошел в сторону. Опять развизжались зайцы, теперь их “бик-бик” донеслось

откуда-то издалека. Шеге не хотелось попадаться на глаза умирающему Рысбеку. Случившееся ошеломило. Ужас происшедшего был в том, что невозможно поправить содеянное.

– Кончился, – сказал через некоторое время Ждахай, подходя к нему и опускаясь на колени. Со вздохом сказал.

– Зачем ты? – спросил Шеге тихо, не глядя на него. Он был зол на приятеля.

– Сам не знаю...

Шеге встал, пошатываясь. Во всех суставах дрожь. Поглядел на труп. Рысбек опрокинулся навзничь, головой к востоку. Шапки на нем не было. Она скатилась. Темнела внизу точкой. Ждахай, вытащив из нагрудного кармана платок, помахал им в предрассветном воздухе.

4

Аул спал безмятежно, только Лабак-ахун бодрствовал под лунным небом, белый чапан и белая чалма излучали сияние. Временами он умолкал, тогда пальцы перебирали четки. Закрыты глаза ахуна – он в том мире, куда не каждый смертный может заглянуть. Не знал, сколько просидел; только когда очнулся, рассеялась густота короткой летней ночи. Встал, похрустывая суставами, собрал жайнамаз. Поворачивая назад, глянул на вершину, где должен был стоять часовой, – и обмер. Пуста вершина. Он сначала не поверил глазам. Всмотрелся внимательнее. Нет, не подвели его глаза. На вершине и в самом деле никого не было.

– Булыш! Ай, Булыш! – заголосил он потерянно. Вопль старика всколыхнул тишину. Мужчины, спавшие в одежде, подложив оружие под голову, мигом выскочили из шалашей.

– Атта-ан! – издал традиционный боевой клич Булыш, вспрыгивая на своего аргамака. – По кооням!

За ним в предрассветную тишь двинулись и остальные, оглашая окрестность дробным перестуком копыт. Впереди щелкнул выстрел. Всадники остановились. Поняли, что напоролись на засаду.

– Остановитесь! Бросьте оружие, если не хотите крови! Бросайте оружие!

Предупреждение услышали и старые уши Лабак-ахуна; он бежал к тем, что стреляли, полы чапана

разлетались по ветру. Женщины в суматохе спешно нагружали верблюдов.

– О Бекет-ата! – рыдал на ходу ахун.

– О Барак-ата! – вторили ему жалобные голоса женщин. Мороз пробегал по коже от их причитаний.

С той стороны прокричали властно:

– Кто сдастся добровольно, будет прощен!

– Нашли дураков! – ответили отсюда.

– В укрытие! – приказал Булыш.

Мужчины покатились с лошадей, улеглись за круглой песчаной грядой, заросшей ковылем. Послышались ответные выстрелы.

– Булыш! Ай, Булыш? Я – Апанас? – раздалось в тишине. – Послушай меня. Опомнись! Не губи зря людей. Сдавайтесь! Добровольно сдавайтесь Клянусь – никого наказывать не будем! На родину вернем – все и наказание.

Три винтовочных выстрела прозвучали в ответ на предложение Афанасия Васильевича.

– Бросайте оружие! Сдавайтесь!

Где-то причитал ахун:

– Ай, дети мои... ой, детки мои...

Но его никто не слушал.

Снова прокричали.

– Вы окружены! По обе стороны от вас – пулеметы!

И в самом деле, голоса доносились и справа, и слева.

– Бросайте оружие!

Подал голос и Шеге:

– Булыш-ага, не сопротивляйтесь! Булыш-ага, зря людей погубите! Зря!

– По коням! По коням! – прохрипел Булыш. Он не думал легко сдаваться.

Но и с тыла возникли красноармейцы. Булыш, не целясь, нажал на курок. Первый красноармеец, вскинувшись, как выброшенная на берег щука, растянулся плашмя. Второй тоже упал, его кто-то из джигитов Булыша подстрелил.

– Огонь! – раздалась тут команда.

Заговорили пулеметы. Четверых мигом сорвало с лошадей. Кони, раненные, заржали, вздыбились свечой; их, терявших своих седоков, становилось все больше. Пулеметы продолжали отбивать дробь. Градом сыпались

8-1928

пули, кто устоит? Стали отступать в пески джигиты Булыша. Туда же уходило и кочевье.

На гряде, на которой только что укрывались джигиты Булыша, остался ахун, его обливало утреннее зарево. В руке – посох, белый чапан развевается как белый флаг. Уста что-то шепчут. Да, собственными глазами он увидел сегодня, как гибнут молодые, он слышал, как выли пули, уносившие молодые жизни. Лучше б не видел и не слышал он этого!..

Старик просил у бога смерти:

– Пошли пулю погибели! Пошли ее старому, выжившему из ума дуралею! Пусть я сгину! Почему я до сих пор – живой?! – Слезы омыли его лицо, бороду.

Вылетела из песков сотня конников и ударила следом за бегущим кочевьем. Никто не смотрел на голосившего на гряде ахуна, на него не обращали внимания. Всадники с гиканьем пронеслись мимо. А когда старец пришел в себя и огляделся, то увидел, что около колодца ни души. На конские трупы уже садились прожорливые вороны. Невдалеке бродили оставшиеся без хозяев лошади, они пощипывали траву.

Чуткое стариковское ухо уловило чей-то протяжный стон. Вгляделся в овраг. Там – о создатель! – он увидел двоих, склонившихся над трупом; они зачем-то поддерживали трупу голову. Выходит, не все тут мертвецы, есть среди них и живые, раненые. Старец стал спускаться к ним широкими шагами. Один из двоих оказался пожилым русским, второй – молодой казах – забинтовывал раненому грудь.

– А, аксакал, салам! – поздоровался русский, завидев ахуна.

Ахун кивнул. Признал он раненого. Большевик Асан! Тяжело, видно, ранен. Стонет.

– Воды... воды... – просил он.

Молодой джигит, помогавший русскому, покапал в рот раненому воды из брезентового бурдюка. Глаза Асана, блуждая, остановились на ахуне. Старик покачал головой. Асан не сказал ничего. Не смог. Не в силах глядеть на умирающего, ахун качал и качал головой.

– Ах, сынок... ах, сынок... – бормотал он.

Пошел, ничего не видя перед собой. Странствовать будет теперь, вот так, пока не скроется из глаз мир сей, его непонятная жизнь...

– О создатель! О создатель! – причитал он.

Ахун уходил бродяжничать. Что ему, старому болвану, осталось? Бродяжничать. И умрет он – бродягой. Кара по заслугам...

А с запада, из-за бархана, показалось кочевье. Длинное кочевье. Нескладное кочевье. Слышатся плачущие женские голоса. Ахун, так уж получилось, вышел навстречу каравану...

По приказу Афанасия Васильевича кочевье задержалось у колодца до вечера. Среди погибших кто-то находил сына, кто-то – отца, кто-то – брата; и без того израненный, аул наполнился протяжными причитаниями и горючими слезами. Для отряда этот день так же печален: предали земле погибших, в том числе и большевика Асана Айтжанова. Троекратно дали залп из винтовок... Когда спал зной, кочевье вышло в дорогу. Оно возвращалось по своим следам. Большую часть кочевья составляли женщины, дети, старики. Были и сдавшиеся добровольно мужчины – они сопровождали семьи без оружия.

...В тот час, когда люди, напуганные пулеметными очередями, рассыпались в песках, стан поспешно покинула одинокая юрта. Таясь, ложбинами и низовьями, уходила она все дальше и дальше. Кочевала Балкия. Мужественная женщина, наученная горьким опытом былых погонь, сообразила, что в случае, если Булыш уйдет от красноармейцев, он ее непременно разыщет, потому и решилась уйти.

Джигиты Булыша, отвлекая внимание отряда от бегущего аула, пустились в бегство, на ходу отбиваясь от противника. Но отряд оказался хитрее. Основные-то силы он бросил на воинов Булыша, а оставшуюся часть – на аул. Ясное дело, что очень скоро беженцы были в руках преследователей, что, собственно, им и требовалось, а потому основные силы стрельбу прекратили.

Джигиты Булыша поняли, что сопротивление бесполезно – красноармейцы превосходили их числом и оружием; среди них началась смута – крики, споры, стычки. Если бы не Булыш, возможно, и перебили бы они

друг друга по горячности. Сам Булыш давно пришел к решению, о котором пока что не догадывался никто. Теперь, когда возникли распри, самое время объявить о нем.

– Послушайте меня! – попросил он.

Джигиты, прекратив шум, обратились в слух.

– Грех я взял на душу, посылая вас на врага, который был сильнее. Если и дальше будем сопротивляться, нашим женам и детям придется и нас оплакивать. Не хочу, чтобы ваши жены оставались вдовами, а дети – сиротами. Возвращайтесь! Такое к вам мое слово. Дальше я пойду один. Такой уж мне выпал жребий.

Булыш говорил с седла. Почернел совсем, глаза налились кровью. Берданка лежит поперек седла. Джигиты всего ждали от Булыша, всего – но только не этого. Жестокое решение.

– Мне дорога назад заказана. А вам мой приказ – ступайте к детям! Считайте, что это благословение вам. В того, кто пойдет за мной, буду стрелять. Смекнули? – С этими словами он стал разворачивать коня.

– Вот-те на! – вырвалось у кого-то.

– А мы-то теперь с кем же... Булыш-ага?

– С Апанасом! Он русский ничего. Честный. На слове постоит. Простит.

И помчался в направлении, в котором исчезла юрта Балкии.

Джигиты молчали, ошарашенные. А потом заспорили. Снова. Половина решила вернуться с кочевьем, другая половина ждала, что скажет Азберген. Мужчины разбились на два лагеря. Обособившимися от всех стали Булыш и Балкия. Многие потерянно смотрели вслед Булышу до тех пор, пока он не исчез за дальним холмом. Что задумал, куда держит путь – никто не знал.

5

Отряд, сопровождавший кочевье, и на второй день не сумел выбраться из песков. Путники опять заночевали в пустыне. Осенняя ночь. Свежо. Люди попрятались под сухими кустарниками карликовой акации, залегли спать.

Отряд выставил караульных. Среди них – Шеге. Стоит ему хотя бы на миг закрыть глаза, возникает Рысбек. Не может Шеге забыть о случившемся на бархане. Осунулся, бедный, от бессонницы. С той злосчастной ночи и Ждахая

не может видеть, настораживается в его присутствии, как кот при виде собаки. Вспоминает и о погибшем Асане. Наверное, впервые в жизни задумался юноша о жизни и смерти. Ему было одиноко. Показалось, нет никого на свете, с кем можно было бы разделить душевную тоску, нет, нет никого... Но почему нет? Хансулу!.. Его мечта Хансулу, она ведь рядом. Надо встретиться наедине. И случай приспел. За ужином, когда за хлопотами никому ни до кого не было дела, он оказался рядом с девушкой и шепнул ей:

– Я сегодня в карауле. Ждать буду.

Луна уже скоро, вон как вокруг посветлело. Все спят. Но Хансулу еще нет...

Последние дни раскрыли ему глаза на людей. Он, к примеру, открыл для себя Афанасия Васильевича. Умом, необыкновенной чуткостью к людям поразил его этот человек. Стоит, скажем, Лабак-ахуну остановить верблюда и расстелить жайнамаз, а делал он это по утрам и вечерам, совершая молитву, как Афанасий Васильевич давал знак остановиться и кочевью, и отряду. Все, кроме тех, что молились вместе с ахуном, ждали, когда старец соберет жайнамаз. Таков был порядок, установленный командиром отряда. Изменилось и отношение аулчан к Афанасию Васильевичу. "Добрый человек", "С совестью, хоть и не мусульманин", – высказывались они. Ждахай, однако, ворчал, недоумевая, чего, дескать, командир с муллой лялькается, а Сур Жекей спросил напрямик: "Зачем такой почет бандиту, Афанасий Васильевич?" А у командира один ответ: "Всякий народ и обычаи его уважать надобно". Вот какую речь держал он сегодня перед тем, как Лабак-ахуну с терме выступить: "Напрасно вы, люди, новой власти боитесь. Советская власть – это наша власть, власть униженных и угнетенных. Человек из народа, такой же как и вы, Казахскую республику возглавляет, Елтай Ерназаров". Роста Афанасий Васильевич невысокого, и на вид худосочен, а голос – что труба. И говорит-то – по-казахски, все понятно. "Пусть сбудутся твои слова, Апанас!" – благодарили его люди за речь.

Шеге вздохнул. В темноте послышался шорох. Обозначился силуэт. Тонкий силуэт. Хансулу! Она... У Шеге пересохло во рту. Что он делать-то будет?

Мягкие шаги затихли. О боже, она! Стройная. Милая. Желанная.

Берданка за плечом стала вдруг необыкновенно тяжелой. Как же он носил-то винтовку до сих пор?! Неловко сделал шаг навстречу. Отметил подсознательно, что над ним – звездное небо, под ногами – песок; что вся эта беспредельная обитель сейчас как во сне...

– Хансулу! – произнес он срывающимся голосом.

Но Хансулу услышала.

– Я, – откликнулась она.

Мягкий у нее голос. Ласковый. Шеге подошел к ней. Остановился. На девичьих плечах – тонкий чапан. Смотрит на него из-под длинных, загибающихся кверху ресниц. Руку протяни – и вот она! Хансулу! Как утренняя звезда вспыхнула перед ним. Красивые девичьи губы, дрогнув, разошлись в улыбке. И понял Шеге, как долго, как неприлично долго он молчит. Борясь с собой – сильно стучало сердце, предложил:

–Пошли на бархан!.. П-прогуляемся...

Улыбка не сошла с девичьих губ. Понял он – предложение понравилось. Пошла с ним. Стучит сердце Шеге, стучит, тесно ему в груди. Хрустит под ногами сухая осенняя трава.

Звездное небо над головой... Пылит Млечный Путь. Тишина. Что он скажет той, которую любит, которую столько ждет?! Что ответит, если спросит: “Зачем звал?”

Хансулу ступает тихо. Будто нехотя. На бархане опять молчали, не в силах выйти из неловкого состояния, которое испытывали. Кругом пески. Царство песков. Отсюда, с барханов, оно хорошо просматривается.

– Сядем! – предложил Шеге и, вздохнув, первым опустился на песок, снял с плеча и положил рядом берданку.

Небо на востоке заметно посветлело. Лицом к востоку и пристроилась Хансулу.

– Луна нарождается, – сказала она. Тихо и грустно сказала.

– А красиво в песках, когда луна, да? – подхватил Шеге.

– Ты бродила когда-нибудь по пескам под луной?

Хансулу прицокнула языком, что, по-видимому, означало – нет.

– Жаль, а то, знаешь, красиво... В наших краях ночь одна, а здесь – другая...

Девушка сидела бок о бок, что-то чертила на песке и то и дело поглядывала с улыбкой на джигита: насколько необычный он сейчас – в глазах угольки, и даже, кажется, похорошел.

– Шеге, – повернулась она к нему, – ты лучше скажи, что будет с нами, когда вернемся?..

– Разве Апанас не сказал? Ничего не будет. В артель войдете, по-новому жить станете...

– Всего-то? Что-то не верится. Если все, что сказал Апанас, правда...

– Апанас – настоящий ребелсенер![1] Настоящий комонист! – пылко заверил Шеге, как бы демонстрируя девушке, насколько он политически грамотен. – Что Апанас скажет, то и будет.

– А ты тоже... ребелсенер?

– Все, кто за Советски бласты борется, ребелсенеры! – воскликнул Шеге. И – стушевался. О чем это он? Скверно-то как на душе! Просит чего-то душа. Но не разговора о революции. Нет. Откровения душа просит. Но как откроешься?

Хансулу, скосив глаза, посмотрела на него. Луна освещала его простодушное, полудетское лицо, тонкие усы. Шеге вздохнул, повернул к ней голову. Их глаза, его и ее, встретились. Он отвел взгляд. Впервые в жизни он увидел, что Хансулу смотрит на него так – тепло, доверительно... Млечный Путь пылил над головой, под ногами как волна взметнулся бархан. Подумалось ему, сидят они с Хансулу вдвоем в самом центре вселенной, обливаемые серебристым светом луны. Ему показалось: измученное сердце уже не болит, возможно, от счастья, которое чудодейственными каплями вливалось в его сердце. Шеге не шевелился, боялся спугнуть доверие девушки. Не хотел мешать рассвету, занимавшемуся в нем. Светло в голове, светло в груди. И дышать-то легче стало, и сердце забилось-заколотилось с новой силой.

– Сулу! – позвал он ласково.

---

[1] *Ребелсенер* – искаж. от "революционер".

Девушка перевела глаза на песчаные гряды, которые и в самом деле были восхитительны под луной – переливались всеми цветами радуги, как в сказке. Шеге протянул к ней руку. Немой жест, он как бы молил: "Не оставь..."

Рука тронула девичью косу. Сердце и вовсе стало рваться из груди... Нежный, едва уловимый аромат духов шел от ее волос. Его бы, Шеге, воля – до утра вдыхал бы он это благоухание, такое желанное, такое родное... Оба молчали.

Шеге взял Хансулу за руку. И сам поразился своей смелости. Тонкие пальцы – о чудо! – оказались в его ладони. Но Хансулу, дрогнув, отстранилась. Глядя на него своими чудесными агатовыми глазами, тихо высвободила пальцы. Тепло ее руки осталось в его руке. Он это тепло ощущал. Он был счастлив.

– Пошла я, – сказала она и запахнула чапан.

– Посиди, – попросил Шеге, хотя и чувствовал, что она уйдет. Счастье закружило его.

– Нет, – ответила она, улыбаясь и качая головой.

Шеге боготворил ее в эту минуту – так мило она улыбалась и качала головой. Встал Шеге, ноги его едва держали. Высокая девушка в легком чапане внакидку уходила в ночь как тень. Если бы не этот исчезающий в ночи силуэт, Шеге подумал бы, возможно, что все случившееся ему приснилось.

Ночь, в небе – луна. На бархане – Шеге. Ошалевший от счастья Шеге...

НОВАЯ ЖИЗНЬ

1

Начались людские поселения, и Хансулу что ни день удивлялась. За год ее скитаний по пескам жизнь народа изменилась. Меньше стало старых небольших аулов из пяти-десяти дворов, что обычно кучились возле сопок, как бобы под рукой гадальщика. Теперь поселения сосредоточились вокруг колодцев да родников; и домов в них стало больше, и народу. Строились люди, отливали кирпичи, поднимали стены; на некоторых строениях красный флаг развевался. Похоже, из тех эти аулы, что ускоренно идут к "новой жизни", о которой Хансулу и ее

спутники так много наслышаны. По всему пути от Доныстау до Оймаута кочевье беженцев по воле Афанасия Васильевича по немногу редело, оставляя в том или ином товариществе по две-три семьи. На местах оседали женщины и дети. Мужчин, поговаривали, доставят в районный центр Наркамыс, где и решат доподлинно, насколько они, "обратившиеся в бандитов", грешны.

Хансулу не только удивлялась. Откровенно враждебные взгляды тех, кто строил новую жизнь, кто вчера от них, беглецов, ничем не отличался, ее возмущали; коробили шепотки – бандиты, дескать, идут, будьте осторожны. Когда услышала в первый раз, плохо ей стало. За последний год, богатый лишениями и гонениями, она, еще юная, не склонная, казалось бы, к размышлениям, – о многом передумала, но никогда не являлась к ней мысль, что караван, с которым она идет, бандитский. А между тем стоит посмотреть на себя со стороны, вспомнить все, что было: бегство из родных мест, сопротивление властям со стрельбой – так получается, что люди, в общем-то, правы. Чем больше она в этой мысли укреплялась, тем неувереннее себя чувствовала.

По словам Шеге, их аул осел у родника Жылыбулак, теперь это товарищество. "Жанажол"[1] называется. Жылыбулак памятен Хансулу с тех пор, как она себя помнит. Прозрачный, как слеза, теплый ключ, отсюда и название – Жылыбулак. Он выбивается из основания каменистой сопки. У подножья этой сопки – мечеть, Лабак-ахуна мечеть...

С рассвета пошли близкие сердцу белесые гребни Оймаута: широкие перевалы с высохшей на них желтой травой, белые гладкие солончаки. Осеннее небо ясно, покойно. Легкий ветерок несмело касается лица. Вот и аул Хансулу и Раш невольно подались вперед, радостно забились их сердца. Трусовата Раш, всю дорогу, бедняжка, гадала, что с ними, беглыми, сделают. И теперь, когда впереди знакомая до боли каменистая сопка с желтыми склонами выросла, только и молвила:

– Э, алла...

Побледнела, бедняжка...

---

[1] *"Жана жол"* - "Новый путь".

Хансулу в первую минуту показалось, что у основания каменистой сопки раскинулся город. Оживленно выглядела желтая равнина: народу, как на празднике. Надо же, как изменился мир за один-единственный год! Все обновилось. Только их кочевье – старое, из прошлого... Голодных, истощенных людей с помутневшими от усталости глазами качает из стороны в сторону, как рыбу, оглушенную ледоходом. Да-а, изобретателен бог на сюрпризы! Как тут не удивишься?..

Хансулу очень хочется поскорее увидеть мать и отца. Ей, их дочери, волей судьбы обращенной в беженку, не терпится узнать, что с ними. Все ее внимание – на белой юрте, которая стоит в некотором удалении от аула. Хансулу узнала свою юрту. Она не столь величественна, как прежде, не белая лебедушка на водной глади, обыденная даже. Перед домом – мать. Руку приложила ко лбу козырьком, смотрит на дорогу. Бедная мать!.. Несчастная мать!..

Слезы брызнули из глаз Хансулу.

– Ах ты, зараза, вон какой каллектеп![1] – ликует Ждахай. – Нет, ты погляди, Шеге, – школа! И какая!.. Молодец Козбагар!

От восторга Ждахай чуть не слетел с коня. Вспомнила тут Хансулу, что ей рассказывал Шеге. Председателем-то в новом ауле – Козбагар! Аулом, получается, Козбагар теперь заправляет, недотепа Козбагар, от которого она бежала. Попробуй поверь всему этому!..

Около пятидесяти домов тянутся цепью от ключа. Мечеть в стороне осталась. Школа, которой так восхищается Ждахай, еще строится. Все люди – на стройке. Мужчины, задрав штаны, месят глину, женщины носят воду. На фронтоне школы – красный флаг. В ложбине рядом собралась ключевая вода; верблюды лежат, отдыхая, и лошади скучились косяком, отбиваются от мух и оводов; пасутся козы и овцы.

Лохматые горластые псы, завидев кочевье, бросились навстречу с громким лаем. Люди приостановили работу, смотрят на караван, который растревожил аульных собак. Какая-то баба давай тут подначивать Торку, глазастая оказалась.

---

[1] *Каллектеп* – искаж. от "коллектив".

– Мать ты наша, – говорит, – да погляди, кто идет! Сношенька ваша беглая возвращается, вот радость-то! – нарочито громко кричит она во всеуслышанье.

Торка не задержалась с ответом:

– Да пропади она пропадом, сношенька! Нужна моему сыну кулацкая дочь, да еще из банды! О боже, огради сыночка от ведьмы!

Кочевье остановилось на краю аула. Дети по обыкновению побежали к нему, но взрослые встречать не спешили. Шеге, увидев Козбагара, нарочно громко спросил:

– А председатель-то где? Где председатель?

Козбагар работал – долбил ломом землю. Услышав Шеге, выпрямился.

Не по себе Козбагару, но к кочевью подошел – председатель он, а не кто-нибудь.

– Назад! – вскрикнула Торка. – Какой бы женолюб ни был – назад!

– Апа-а, мой долг...

– Да чтоб он провалился, твой долг! Кому говорю, назад! Наза-ад!

– Дело государственное, апа...

– Пусть оно сто раз государственное будет, а ты идти не смей! Ойбай-ай, сгорел бы ты совсем, коли так! Самолюбия в тебе нету, что ли? Ойбай-ау, пусть глаза мои вытекут, если видела где такого слюнтяя!

В праведном гневе Торка плюхнулась на землю и заколотила по сухому песку костлявыми кулачками. Беженцы между тем занялись верблюдами, сгружая с них поклажу; другие уже возводили юрты.

Шеге, склонившись к самому уху взбалмошной старухи, тихо сказал:

– Апа, поосторожнее со словами “банда”, “кулак”. Эти люди к нам по приказу ГПУ пришли. Разве можно разбрасываться недозволенными словами, тем более что вы мать нашего председателя?!

– Э, а что я сказала?! Кулак... так это Пахраддин...

– Политика это, апа, политика!

– Какая еще политика?! – воззрилась на него Торка. Правда, сказала уже потише. Испугалась.

– Сам табарыш Сталин прказыбат астанабит откошёбки! – по-русски произнес Шеге. – Такая вот политика!

– Ойбу-уй! – вытаращилась на него Торка и, не говоря ни слова, понеслась к верблюдам. Доконал ее Шеге своим русским. – Ойбу-уй, верблюжонок-то уже сосет, а я и не подоила... Аи! Чу! Чу!..

Все потонуло в хохоте. Крохотная, с пальчик, старушка, а голосок за версту слыхать. И Хансулу рассмеялась. Ей понравилась находчивость Шеге: одной-единственной репликой сумел он обратить в бегство несговорчивую старуху. Она задержала на юноше благодарный взгляд, будто впервые его увидела...

2

Маленькое кочевье из одной юрты долго петляло по пескам. Сначала, опасаясь погони, оно уходило без определенного плана – лишь бы подальше. Погони не было. И тогда беглецы решили двигаться на восток – опять же спешно, невзирая ни на день, ни на ночь. Не кончались барханы. Лишь на третий день пути открылся лог, заросший верблюжьей колючкой и вьюном. Там и остановились. Выгрузили поклажу. Двух верблюдов и одного верблюжонка, спутав им ноги, пустили пастись. Расседлали двух лошадей – людей-то, сопровождавших кочевье, тоже двое. Мужчина и женщина. Пока мужчина управлялся с животными, женщина развела костер, вскипятила воду. Оба безмолвны. Из двух стенок юрты быстренько соорудили шалаш. В нем, разместившись как смогли, попили чай. Горячий чай вышиб пот, путники устали после долгой дороги.

Первым заговорил мужчина:

– Шанырак юрты подниму я, а ты – все остальное. Тут еще с колодцем возни. Смекнула? – Он подмигнул женщине.

Та выдохнула блаженно:

– Уф, благодать! И чаю глотнуть довелось без посторонних глаз...

Потягиваясь, как кошка, она повалилась на расстеленное одеяло. Чай разморил ее, она то открывала, то закрывала большие красивые глаза, а в них отражался свет. Это была Балкия. А мужчина, не отрывающий от нее влюбленного взгляда, – Булыш, ее Булыш, которого сумела-таки она "зацепить" со скандалом. С того самого

дня как Балкия избавилась от старика Мажана и сошлась с Булышем, ее дни проходят, считай, в седле. Местечка во всем Донызтау и у берегов Шошкаколя не осталось, куда бы они не заглядывали, спасаясь от милиции. Наскоро сооружаемое жилище – надежная им защита от нежеланных глаз, хотя очень скоро и приходится его разбирать – походная жизнь требует. Но Балкия не проявляет недовольства. Напротив, расцвела от такой жизни. Будто заново родилась. От счастья голова кружится. Перед глазами – во сне и наяву – Булыш. Черный, как чугун, Булыш. Насколько груб он внешне, настолько нежен душой. Булыш, ее Булыш, отвергший все радости мира ради нее одной, единственной на этом свете избранницы. Да и Балкие-то, собственно, иной жизни и не надо. Только бы он, Булыш, был рядом, только бы он, Булыш, был жив и невредим.

– Пошевеливайся, милая, не время отлеживаться, вон лошади пить хотят... Вставай-ка, – сказал Булыш повелительно, хотя и приятно было ему глядеть на нее, сладко потягивающуюся.

Балкия, смежившая было веки, улыбнулась, открыла глаза. Глаза как у дикой кошки. Сердце его застучало. Взгляд скользнул по округлому женскому бедру, потом – по необозримому песчаному миру, открывающемуся из шалаша. Желтые гряды – как свежеиспеченные краюхи хлеба, чуть выше – гладь неба, неоглядная, неохватная. Бездонное чистое небо. Тишь, не тревожимая ничем. Приятная сердцу тишь. Давно они не испытывали подобного покоя. Откуда-то доносился стрекот кузнечиков. Фыркали лошади. Немой, глухой ко всему мир и единственная в нем спутница – вот эта женщина, ясноокая, как солнышко в добрый день, женщина, готовая пойти с ним и в огонь и в воду, женщина, отвергшая радости мира ради него одного, единственного на этом свете избранника, женщина, без оглядки за ним последовавшая. Веселая, шумливая красавица Балкия. Об одном сожалеет Булыш: о том, что, поддавшись уговорам, бросил тогда уединенное безопасное местечко на берегу озера Шошки и пошел за беженцами. Это было ошибкой. Хотел людям в беде помочь, да их же и подвел, многие пали зря. Напрасно он принял тогда предложение аульных посланников. Жил бы

сам по себе, голову собственную берег. Ни за кого, как говорится, не в ответе. И греха на душе не было бы. А теперь – грех на грехе. С оружием против власти пошел, стрелял.. Дал зарок – ни к кому отныне не присоединяться. Ни к бандитам, ни к Советам, собственным домом будет держаться – до тех пор, пока времена не переменятся, пока люди не утихомирятся. Не пропадет. Поживет с любимой в уединении, в песках, промышляя дедовским ремеслом – охотой...

Балкия, зевнув, потянулась. Она лежала босая. Подол вышитого по краю белого платья задрался, обнажая белые тугие икры... На шее под нежным подбородком едва заметно пульсировала жилка... Булыш забыл обо всем. Подался было к ней, да и она сама устремилась навстречу. Крепкие объятия Балкии как тиски, Булыш в них едва не задохнулся...

После полудня Булыш и Балкия принялись хозяйствовать. Балкия поднимала юрту, а Булыш рыл колодец. Вода появилась лишь к вечеру на глубине трех саженей. Сначала холодный, отдающий стужей суглинок, затем – глина, и наконец – вода, желтая-прежелтая от мути. Верблюды, почувствовав воду, затоптались у колодца. Но настоящая вода, ледяная, чуть замутненная илом, показалась позже – семи потов стоила она Булышу. Зато и венец усилий приятный. Набрав два ведра, поставил их перед животными – те жадно приникли к воде.

На следующий день Булыш нарубил акации и огородил ею колодец. Когда с хозяйственными делами было покончено, он, взяв капкан и ружье, отправился на привычный с детских лет промысел – охоту.

3

В аулах кутерьма. Прежнего привольного времяпрепровождения, когда можно было вдосталь поспать и день-деньской от души есть мясо, запивая его хмельным, бьющим в голову кумысом, нет и в помине. Теперь, в какой аул ни загляни, кто-нибудь да суматошится:

– Ойбай, план!..

– План, ойбай!..

Каждый вечер – собрание. Каждый вечер – перебранка до хрипоты. Мордуют один другого за то, что кто-то “ку-

лак", кто-то "прихвостень", кто-то "голяк". Уполномоченные всех рангов прочесывают аулы вдоль и поперек. Безграмотный люд взирает на них с разинутым ртом, ибо не знает, кого слушать.

Последний уполномоченный, которого аул у Жылыбулака имел честь лицезреть в отсутствие Шеге – он тогда в операции по поимке беженцев участвовал, – милиционер Бухарбай. Сейчас его все кличут уважительно – Буха. Он оставил милицейскую службу – уполномоченным стал, тем официальным лицом, который народу путь в будущее показать может...

День был обычный. Как всегда, кипела работа, народ отливал кирпичи – так-тук... так-тук... Время вечерней молитвы, неурочное как будто, но со стороны сопки Хан-торткил показался одинокий всадник. Кто-то из уполномоченных. Обычно люди подобного ранга мчатся сломя голову, только пыль из-под копыт летит. Этот, судя по всему, не спешил, он даже, кажется, подремывал в седле.

– Ну, малец, беги! Встречай! Буха! – велел Козбагару Шарип, посмотрев на дорогу, и от волнения смял в руке козлиную бородку.

Козбагар побледнел. Ох уж эти встречи! Но некуда деваться. Спотыкаясь, потрусил к всаднику. На старом рыжем мерине с прогнувшимся хребтом и в самом деле ехал Бухарбай, ныне безобразно раздавшийся, похожий на бурдюк, который вот-вот лопнет: жирный кабаний загривок – в складках, узенькие глазки заплыли, не разберешь, закрыты они у него или открыты. Не ответил уполномоченный на приветствие запыхавшегося Козбагара, но ничего, гость большой, от такого все стерпишь. Председатель запутался в поводьях, перехватить хотел, чтобы гость не утруждал себя, да, слава богу, тот сам бросил их ему.

Бухарбай потянулся в седле, протяжно зевнул. С большим трудом стаскивая с коня жирный зад, молвил:

– Собрание бы надо, с ходу.

"С ходу" уполномоченный произнес по-русски, что для Козбагара подчеркнуло лишь важность момента – закивал в угодническом раже головой.

– Хорошо, Буха, я сейчас...

Понесся Козбагар собирать народ...

– Так, табарыши! – начал уполномоченный, когда народ собрался. – На повестке дня у нас – частный собственник. Наш кровный враг сегодня – частный собственник, табарыши! У кого частной собственности много, тот бай, кулак! У кого частной собственности поменьше – тот середняк! Ну а у кого вовсе собственности нет тот – батрак... что ни на есть. От так! Кто сатсилизм строит? Батрак строит. Поняли? От так! Такой порядок.

–Ай, золотые слова!

Это Шарип. Он сидит в первом ряду.

– Та-ак, – продолжил Бухарбай, вдохновленный. – Если мы, едриттимат, частного собственника не уничтожим, в корне не уничтожим... мы вперед не пойдем. Не сможем. От так! Калашников так сказал. Долой частную собственность! Долой тыбая-мая! Да здравствует каллектеп! – и захлопал.

Его поддержали, захлопали. Бухарбай перевел дыхание, вытер огромным носовым платком потный загривок. Наклонился к уху Козбагара, шепнул: “Где бы чайку попить, а?..” Понял Козбагар – надо закругляться. Встав, пожал руку уполномоченного, от имени аула “Жанажол”, взявшего курс к новой жизни, поблагодарил за содержательное выступление и заверил в заключение, что члены его “кал-лектепа” с честью исполнят мудрые призывы руководства.

Когда же они остались одни, Бухарбай сказал:

– Веди-ка меня теперь за хороший дастархан!

Козбагар задумался.

– И чтоб девка в доме была, слышишь! На выданье девка...

Двойной подбородок Бухарбая заколыхался в похотливом смешке. Козбагар почесал затылок. Уполномоченный усложнил дело.

– Идемте, Буха...

Был в ауле середняк по имени Жумаш. И девка у него как раз на выданье – Наркыз[1], крупная, рослая, под стать прозвищу. Как же удачно Козбагар про Жумаша вспомнил!

Высокий худой хозяин, завидев гостей, торопливо поднялся с голопузым мальцом под мышкой. Наркыз, как

[1]*Наркыз* – девушка с верблюда.

положено, постелила им на гостевом месте одеяло. Кирпичи во дворе отливала, к их приходу была в рабочей одежде. Сапоги и шаровары не красили ее. Напротив, огрубляли и без того крупную фигуру. Государственный муж разочарованно глянул на председателя: другого, дескать, дома не нашел? Затоптался Козбагар на месте, озадаченный, что не сумел услужить высокому гостю. Наркыз тем временем, унеся самовар, вернулась. Теперь на ней красное ситцевое платье, темно-коричневый плюшевый камзол, на шее бусы, на руке браслеты. Помылась, естественно, причесалась. Девушка как девушка. Уполномоченный сразу на ней сосредоточил внимание. Двойной подбородок отвис. Как есть Буха![1]

Козбагар успокоился.

А еще через некоторое время они простились, условившись, что Бухарбай заночует у хозяев, а Козбагар зайдет за ним утречком, чтобы проводить.

Хозяин Жумаш оказался не в меру многословным человеком, весь вечер на неурядицы хозяйственные сетовал, окончательно утомил Бухарбая. Он – гость, что же ему остается? Слушает хозяина, хотя тот его раздражает. Время нынче такое – все жалуются. Не найдешь дома, где бы хозяин не плакался; всех доконали налоги. Бухарбай привык к подобным излияниям. Мало того, жалобщики и возмущают его порой. Собственные заботы, понимаешь, у них на уме, о себе, сволочи, думают. Нет бы вот так о "сатсилизме" подумать. Куда-а... Частнособственническая психология корни пустила, люди с такой психологией за пять-шесть коз продадут общество. Продадут.

Когда Наркыз, позванивая шолпами в косах, принялась разбирать постель, Бухарбай обрадовался. Гостю положено прогуляться, пока хозяева готовят постель. Очутившись во дворе, он с удовольствием перевел дух, жадно поглощая легкими влажный свежий воздух. Ночь была темная, в тучах. Не веря тому, что избавился наконец от болтливого хозяина с его слезливыми причитаниями о жизни – послушать его, так всемирный потоп скоро будет, – он с наслаждением разминал затекшие ноги и плечи. Перед глазами стояла девушка в приталенном камзоле,

---

[1] *Здесь игра слов: "Буха"* – уваж. От Бухарбай и "бука" – бык-производитсль.

чуть, может быть, великоватая для него, но юная, ладная. И главное – воспитанная! Слова за вечер не проронила!

Лампу погасили, тьма кромешная. Наркыз куда-то вышла, да вскоре вернулась. Заперла дверь. Позванивая шолпами, прошла к постели в правой части дома. С братишкой, похоже, ляжет. Родители – на левой половине дома. Бухарбай – в центре, на почетном месте. Темно – хоть глаз выколи. Но Бухарбай различает силуэт девушки, раздевающейся у постели. Тесно сердцу в груди от запаха духов, который он улавливает, кружится голова. Девушка быстро скользнула под одеяло. Ни звука, ни движения, даже дыхания не слышно.

Лаяли снаружи собаки – глотки бы им кто песком позасыпал! Но затихли и они. Засопели хозяева. Девушка как умерла. Не иначе его, Бухарбая, ждет. Умница! Два-три последующих часа ползли как годы.

Что-то бормотали родители девушки во сне. Крепко, стало быть, спят. Самая пора действовать! Через дыру в кошме виднеется кусочек неба; тучи, надо полагать, рассеялись. Небо настроило Бухарбая на лирическую волну: если сейчас – непременно сейчас! – он не окажется рядом с ней, жизнь для него потеряет смысл! Скатившись с постели, подался к девушке. Она лежала на спине, лицом к нему. Коса свесилась с подушки. Левая рука – в браслетах и кольцах – поверх одеяла, на чуть вздымающейся и опадающей девичьей груди. На карачках и застыл Бухарбай у девичьего ложа. Он не знал, что делать, Наркыз, к его огорчению, спала, не дождалась. Подумав, взял ее за руку. Горячая рука. Чуть сжал ее, чтобы проснулась. Девушка пробудилась, подняла голову. Убрала руку. Испугалась, что ли? Вот дикарка!..

– Что нужно? – спросила она. Жестковато спросила.

Бухарбай опешил. Как это – что нужно?!

– Вы не пугайтесь, – пояснил он, дрожа. Срам! Он, Бухарбай, представитель власти, дрожит?! – Это я...

– Ну и что же, что вы? Ступайте на место!

– Наркыз! Слово у меня к вам. Не видел вас до сих пор. А увидел.. Поймите, не шучу я... серьезно. Если вы не против, я бы хотел, чтобы вы стали мне же...

– А когда это вам пришло в голову?

– Когда? Ну как... А сегодня вот, увидел, решил..

– Не спешите. Как бы не пожалели потом.

В ее голосе ирония, а Бухарбай подумал – потеплела она к нему, раз жениться пообещал. Теперь это обещание следовало подкрепить объятиями или хотя бы поцелуем.

– Я, милая, серьезно, – зашептал он, удовлетворенный. – Уж одну-то девушку я сумею сделать счастливой. Только вы мне не отказывайте...

– Ну и что, по-вашему, делать надо, не отказывая?

– Да ничего. Ровным счетом ничего, – с этими словами он ее облапал.

Девушка завертела головой, пытаясь вырваться из объятий.

– Голубушка моя, любовь моя, душа моя... – твердил Бухарбай, прижимая ее к себе и осыпая лицо поцелуями. Во рту у бедняги пересохло, как от великой жажды.

– П-пустите, – шипела она.

Это еще больше распалило Бухарбая.

– Ты не бойся, я женюсь, – захлебывался он от нетерпения, наваливаясь на нее грузным телом.

Что удивляло – она не кричала. Сопротивлялась молча. Наркыз – так Наркыз! Крепкие у нее ручищи. Правой Бухарбаю в подбородок уперлась, голову ему в сторону отворачивает. Это лишает его возможности ощутить тепло ее высоких грудей...

Мало-помалу Наркыз начала высвобождаться. Самолюбие в нем взыграло. Это что же? На соплюху его не хватает?! Резко мотнул головой – девичья рука соскользнула с подбородка, но к этому времени и девушки-то на постели не было – скатиться успела. Он зацепил ее за рубашку, потянул к себе, да ногой – будь она неладна! – куда-то угодил. Заверещал ребенок, братишка Наркыз, Бухарбай тянул девушку в постель – не отступать же? – но его чем-то стукнули по лбу, и он ретировался – нырнул к себе под одеяло.

Мальчишка воплями поднял всех на ноги.

Наркыз успокаивала брата.

– Что случилось, Наркыз? – спрашивала мать.

– Ничего, – коротко ответила дочь.

...Козбагар, бедняга, до утра не сомкнул глаз, боясь проспать рассвет. С предутренними потемками, не

вытерпев, он вышел во двор, посмотрел на жумашевский дом. Рыжий, с прогнувшимся хребтом мерин Бухарбая был вчера привязан за юртой. Он исчез. Козбагар перепугался. "Пропал! – подумал. – Проспал". Побежал было к дому Жумаша, да заметил вовремя – кто-то крадучись выезжал из аула, нахлестывая лошадь. Уполномоченный... Жумаш в тот день сказал Козбагару:

– Я против гостей ничего не имею, браток, но... но... вот таких бычков, как вчерашний, ты больше не води!

Козбагар со стыда чуть сквозь землю не провалился.

...Товарищество "Жанажол" между тем приступило к исполнению указаний уполномоченного из района. Под руководством председателя Козбагара активисты из бедняков взялись за немедленную ликвидацию лиха, именуемого "частнособственничеством".

– Если вся беда в частнособственничестве, если частнособственничество ставит нам подножку – крушить его! – решили они.

И Шарип кинул клич:

– Слово уполномоченного – слово Сабетски бласты. Выполнять его надо!

А кто-то добавил:

– Ни копыта единоличнику! Не сметь против Голощекина переть!

И пошло-поехало. За какие-то два-три часа активисты во главе с Козбагаром-председателем перевернули аул. С полсотни очагов в нем, так они скотину у всех позабирали и заперли в общественный сарай. Орудия труда – кетмени, лопаты, топоры, молоты – тоже изъяли, в коллективный склад покидали, который теперь был в мечети. До вечера – в течение одного дня – с частнособственничеством в товариществе "Жанажол" было покончено, даже про личное имущество не забыли – все в домах подобрали, будто корова языком слизала. Зато какой шум был! Женщины поднялись вечером: какая же хозяйка смирится с пустотой в доме и на дворе?! Вот уж где активисты схватились за голову! Кто куда побежал, приговаривая, баб, дескать, в первую очередь в коллективный сарай заталкивать надо было...

Такую катавасию пережил аул, пока отсутствовал Шеге.

4

Ох и дебаты были, когда вернулся Шеге и члены правления оказались в сборе! Козбагар помалкивал. Потерянный у него был вид.

– Принудительная запись в каллектеп, насильственное обобществление имущества и скота... это... это ведь, табарыши, политике партии противоречит! – зло выговаривал Шеге. – Партия подобные действия “палачеством” называет, партия это критикует!

Имущество и скотину решили людям вернуть. Поднялся Козбагар, все такой же потерянный.

– Уважаемые... ых, – начал он, – табарыши... – и замолчал, то закатывая, то опуская глаза. – Освободите вы меня, а?

– Как освободить?

– Не могу я... Ей-богу! Правда, не могу!

– Вот чудак! – расфыркался Ждахай. – Тебе что, государственная служба – игрушка? Устал, так и бросить можно?

– Грамотешки нет... ых.

– Так кто с тебя, зараза, грамотешку спрашивает? Вон Ерназаров, грамотный, что ль? А ничего. Казахстан возглавляет...

Козбагар почесал затылок.

...Назавтра все до единого в ауле вышли на сенокос. Люди с кетменями, косами, серпами разбрелись по лощинам и оврагам. Шеге, Ждахай, Хансулу, Раш, Балжан облюбовали овраг Есеколген.

Ждахай заговорил с Раш и Балжан, те за ним увязались. Хансулу и Шеге остались вдвоем.

Хансулу давно хотела уединиться с парнем. Плохо ей в ауле, из которого она некогда бежала. Торка с Козбагаром – одно дело, ясно, какие у нее с ними отношения. Их бы воля – они бы на бедняжку небо обрушили, чтобы она им глаза не мозолила. Но еще тяжелее ей в собственном доме. Хансулу своим побегом, оказывается, осложнила и без того трудное положение отца. Сур Жекей несколько раз вызывал Пахраддина в район, устраивал допросы: не зря, дескать, ты дочь и брата к бандитам сплавил. Несколько дней отец отсидел в тюрьме. Из скотины во дворе – вороной жеребец,

несколько дойных верблюдиц да Шойынкара; последнего зачастую используют на стороне, не интересуясь, нужен ли нар хозяину. Раньше интересовались... Темен завтрашний день Пахраддина. От всего его отлучили. В кооператив не берут, хотя и просился. Бродит теперь деньденьской по степи, один-одинешенек, за скотиной присматривает, а вечерами тетрадки листает, им же скрупулезно заполняемые, – родословная казахов, своеобразная летопись кочевой жизни народа. Весь свой век, считай, отдал отец любимому увлечению. Или читает. В этом его существование. Обида на дочь, которая не стала жить с тем, за кого он ее выдал, устроив пышную свадьбу, понятная, конечно, обида. Мечтает Хансулу уйти из родительской юрты. В мечтах неизменно обращается к Шеге. Он, как ей кажется, единственный спаситель. Знала – неравнодушен он к ней, давно, с тех пор, как и другие парни на девушек заглядываться стали. Не было в округе джигита, который не слал бы ей любовных посланий. Шеге – один из них. Думает она о нем, много думает, особенно с тех пор, как судьба повязала ее с Козбагаром. Перед свадьбой, помнится, недоумевала по поводу отцовского выбора: уж если решил за голяка отдать, так почему – Козбагар? Почему не Шеге?.. Тогда, в песках, они поговорили впервые. С того дня не может она его забыть. Душой тянется к нему, сердцем. Другой теперь Шеге, не такой, как в ту первую встречу. Теперь он – говорит. Много говорит. Не молчит.

И сегодня говорил. Хансулу его слушала, слушала. Но слов, которых она ожидала, он не произнес. Главных слов Шеге не сказал.

5

Последние дни Шеге стал запаздывать домой. Темно, лампу давно потушили. Шарип лежал у стены, засыпал, когда его пробудило чье-то бормотание. Жайбаскан, оказывается, бодрствовала.

– Ты о чем думаешь? – спросила она. – Сын-то у тебя – жених.

Сна как не бывало. Шарип схватился за жиденькую бородку, поглядел на звездное небо сквозь дыру в кошме.

– Э, он же комсомол нынче, почем мне знать... Сам подумать должен...

– Сам, – Жайбаскан вздохнула. – То-то, что сам. Все испортит, коли сам...

Шарип резко поднялся, уставился на жену. А та ему:

– Путается он с сучкой этой. Торка сегодня прибегала, опять пыль до потолка подняла.

– От безмозглый! От головорез! – вскипел Шарип и покачал головой. – То-то удивлялся я, что, думаю, головорез тихий такой ходит, а он что надумал!.. Где он? Ах головорез!..

– Нету его. Времени, знаешь, сколь? А его нет.

Нет? Ну нет, так нет. Но вот я тебя спрашиваю: родители у него в этом доме есть? С родителями в этом доме кто-нибудь считается?.. Ишь, об кого трется, погань! Нет, байбише, спутать его надо. Ну-ка, говори, кто есть на примете? У кого дочка на выданье?

– У Сагидоллы в Копе дочка подросла. Видела ее. Ничего.

– Тьфу, баба! Один раз с кулаком роднилась, мало? Еще захотела?

– Ойбай, и Сагидолла – кулак? Кто знал, ойбай! А Изтилеу в Шоме? Не кулак?

– Изтилеу? Нет, середняк. А что, дочка у него?

– С лица не очень, а так ничего. Работящая.

– От такую и надо! На кой красота-то? Сватать будем. Человека посылать надо. Прям завтра.

– Так что говорят-то? Бабье равенство какое-то... Молодые, говорят, сами теперь решают. Сын-то, хорошо, согласится, а если...

– А куды он пойдет – не согласится?! Пусть попробует! – затряссся от злости Шарип. – Отца не послушает, мать не послушает – на кой нам такой сын! Пусть проваливает с глаз!..

– Ладно-ладно, успокойся, – заволновалась Жайбаскан.

– А что – не так говорю?

– Так, так...

Шарип еле утихомирился. Дверь открылась, кто-то выскользнул из юрты.

– Кто там? Эй!

– Дочка. Выйти, что ль, нельзя?

Оба в неведении относительно того, куда это их дочь в такой поздний час отправилась, а пошла она к Шеге – сообщить услышанную новость...

Когда Хансулу, простившись с Шеге, открыла дверь юрты на окраине аула, Раш не спала.

–Ты что, женеше? – удивилась девушка.

В голосе Хансулу Раш уловила радость, он звенел как веселая песня. Счастливая Хансулу, потому Раш не стала ее расстраивать, но, когда Хансулу коснулась головой подушки, не утерпела, рассказала, что сегодня услышала от Торки. Не все, правда, передала, да и не так грубо, как услышала, однако суть донесла. Раш ожидала, что Хансулу испугается, расплачется, но та залилась счастливым смехом:

– Ой-ой, женеше, и это ты хотела сказать? Нашла кого бояться – Торку! Трусиха ты у меня, женеше!

Только они перемолвились, за юртой протопали конские копыта. Кто-то спрыгнул с седла. Раш и Хансулу замерли.

– Хансулу! – позвал мужской голос. Темно. Обе испугались, узнав голос Шеге, перевели дыхание.

– Ау! – откликнулась девушка.

– Выйди!

Хансулу, накинув чапан, вышла, о чем-то переговорила с джигитом и возвратилась. Раш, что-то почувствовав сердцем, привстала в постели, одеяло сползло с нее.

– Женеше, я ухожу! – возбужденно сообщила Хансулу.

– Как это – ухожу? Куда?

– Не знаю... Зажги лампу, женеше!..

Из юрты Хансулу вышла с туго утрамбованным коржуном: одежда, постель. Раш суетилась, вытирая заплаканные глаза. Шеге приторочил коржун к седлу.

– Но куда же вы? – полюбопытствовала Раш.

– Пожелайте нам счастливого пути, женеше! А где мы окажемся, узнаете после.

Раш обняла Шеге, поцеловала в лоб. Расплакалась.

– Айналайн!.. Доброго вам пути! – проговорила она, заливаясь слезами. Опять она осталась одна – ни Азбергена, ни Хансулу. Она стояла за юртой и вытирала глаза кончиком жаулыка, одна-одинешенька прощаясь с двумя конниками, удалявшимися на север.

Аул спал. Собаки на своих не лаяли. Никто не нарушил тишины. Редкие звезды на небе ежились от холода.

...Двое всадников безостановочно продвигаются по безлюдной равнине. Держат путь по Полярной звезде. Оба безмолвны. В жизни Хансулу не совершала подобного приятного путешествия. Чувство, которое она испытывает, чисто, как рассвет, который проступает. Жадно обозревает она пробуждающуюся ото сна степь. До чего широк, до чего великолепен мир! Косули, завидев их, срываются с такыров. Вспархивают из-под ног лошадей рябчики.

С восходом солнца иней, покрывавший траву, растаял, смочил конские копыта. К полудню Хансулу, утомленную степным однообразием, стало клонить в сон.

– Передохнем, если тебе спать хочется, – предложил Шеге. – И лошади передохнут.

Хансулу согласилась. Остановились у южной стороны скалы. Лошадей пустили пастись в логу, где была трава, спутали им ноги. А сами как были, в одежде, прилегли под караганником, под голову подложили коржун. Но сон ушел, будто и не зевалось им только что. Шеге обнял невесту. Не приняла она объятий джигита. Отодвинулась. Дрогнули длинные ресницы, недовольно сошлись брови.

– Сулу! – засмеялся Шеге. – Сулу!

Сулу промолчала. Посмотрела на него в упор.

– Мы теперь с тобой – супруги.

– Кто тебе сказал? – В голосе девушки – едва уловимый страх.

– Я сказал.

– Супругами только после обряда становятся. Есть такой обряд, – выпалила она.

Шеге мысленно усмехнулся. Отметил про себя находчивость девушки. Спать по-прежнему не хотелось, и оба снова сели на лошадей.

6

Весть, что Шеге, в глазах аульных активистов "растущий", "пользующийся авторитетом", сбежал с дочкой кулака Пахраддина, всколыхнула мужчин и женщин.

– Жаль, далеко б пошел. Сам себе жизнь испортил, – сокрушались одни.

Другие усмехались:

– Не мог, что ли, другой найти – с менее шумной славой?..

Не сходит усмешка и с губ Лиса Курена. Мягкий в обращении и со стариками, и с молодыми, он никогда никому не перечит. Благодаря своей покладистости, он и до революции, и после нее жил неплохо. Сызмальства, помнится, как только научился соображать, кормился за счет бая Мажана. Острый у Курена глаз, вот и брал бай его с собой в город. Сноровистый молодой человек стал мало-помалу вести его торговые дела, сделался при нем своего рода приказчиком. На базарах в Конырате и Ходжели был на короткой ноге с торговыми людьми из каракалпаков, узбеков, туркмен, а на ярмарках в Каркаралинске и Темире – с купцами из русских. Скотина, которой располагал Мажан – ей и степь-то была тесна, – позволяла Курену делать широкие жесты, он распоряжался байской живностью направо и налево. В пору новой экономической политики камень Курена опять, как говорится, покатился в гору. Но и при том даже, что дела его шли хорошо, был Курен осторожнее сороки. Скотину не наживал, налегал на золото и деньги. Тише воды и ниже травы держался. Когда в степи поднялась смута, сгустились тучи над головой бая Мажана, полетел с аулнаев горластый Шарип – подходящим на его место оказался Курен: и к делам-то, получалось, он способный, и "глаза у него открыты", то есть в грамоте разумеет. Что, как говорится, просил у неба, на земле нашел.

В последние годы Курен уяснил себе одно: чем больше на собраниях поддержишь власть, чем больше будешь кричать, тем больше шансов обретешь в глазах уполномоченных. В тот день, когда зашло солнце для бая Мажана, он, не долго думая, от него отрекся. На собрании, приторно улыбаясь, заговорил от имени бедняков. Такая речь завораживает слушателей. Очаровав людей улыбкой и словом, предложил конфисковать скотину и имущество бая Мажана. Чтобы выглядеть справедливым в глазах начальства, он и наказание для бая от имени народа определил. Одну лишь досадную промашку допустил он на этом митинге: зря тронул Шарипа. Но опять же ради того он это сделал, чтобы уполномоченный увидел, какой в Ханторткиле добросовестный председатель аулсовета:

все-то он доподлинно знает, даже то, что Шарип, бывший аулнай, прихвостень у Пахраддина. Шарип в ответ запустил в него сапогом – ничего, Курен перетерпел. Больно от другого, от того, что Шарип прокричал всенародно: "Не ты ли все дела Мажана на базарах обстряпывал... оттого ты и Лис..." Хорошо, начальство, наслышанное про вспыльчивый нрав Шарипа, не придало выкрику значения. Но с тех пор Шарип – ему враг, ведь в точку попал, каналья!

Внешне все пристойно: "Шаке! Ах, Шаке!" – восклицает он при встречах и хлопает бывшего аулная по спине, а бывает, что и похвалит: "Вот уж кто активист, так это наш Шаке!" Да Шарип-то, бог с ним! Кто теперь Шарип? Опаснее его щенок Шеге, вот у кого клыки отрастают. Боялся Курен, что власть в ауле к нему перейти может. И вот – надо же! – щенок сам полез на обрыв, с которого непременно сорвется. Как же ему, Курену, не радоваться судьбе? "Пусть! – размышлял он. – Пусть срывается! Поделом сопляку!"

Увидел Козбагара. Увалень выглядел неважно. В глаза не смотрит. Фыркнув, Курен подсыпал на рану соли:

– Э, браток, свои же родичи тебя и уважили, а? Поздравляю.

Козбагар не смог скрыть боли. Но и отвечать не стал.

...Верещага Шарип после освобождения от аулнайства вновь собрал в сундучок нехитрые сапожные инструменты, которые за ненадобностью, став игрушками для детей, давно валялись по всему дому. К старому ремеслу вернулся. Наутро после той ночи, когда Шеге выкрал Хансулу, в неведении о случившемся, работал – прибивал к сапогу подошву, постукивая молоточком по коже, натянутой на железную лапу. Обрезки кожи, сыромятины вокруг... Пришла Жайбаскан. Держит в руках горячую, исходящую паром лепешку.

– Вестей от пса нет? – спросил Шарип, вгоняя гвоздочки в подошву.

Пес – это Шеге.

– С сучкой сбежал! Вот тебе и весть! – выдала Жайбаскан.

– А?.. – Шарип ударил по пальцу молотком. – Ых... – Сунул палец в рот, зажмурился. – Ах ты, собачий

выкормыш! – вскричал. Глаза, считай, сошлись на переносице, рыжие усы встопорщились. Бросился к камче на стене, а с ней – к двери. – Ах головорез! Ах щенок!..

– Кого ты бить собрался? Сбежал, говорю. Еще в ночь ускакал. На твоем гнедом.

Шарип молча вытаращился на жену.

– Что выпялился-то? Пешком, что ли, девушку уводят?

– Ах сын собачий, ах осрамил!.. Сгореть бы лучше! – загнусавил слезливо.

– И всё из-за тебя! – накинулась на него жена. – Твое воспитание! К начальству примазывался – активист я, бедняк я. Людей за бороду хватал, чтобы начальству угодить. Что, вру, скажешь? А что молодым-то после тебя делать?

– Вот и тебя теперь твой сын за бороду. Что? Подыхай, коли правда глаза колет!

– Замолчи-и! Замолчи, безмозглая! Не трогай начальство! Не тронь! – разверещался Шарип, подскакивая к жене. Красный стал от натуги. В руке – камча.

– Бей! Бей! – Жайбаскан не шелохнулась. – Бей, если что поправится!

Шарип хотел было ударить, да не посмел.

–Ах ты пес! Ах собачье отродье! Ну погоди!.. Попадешься мне! – бормотал он, дрожа от обиды.

Весть об исчезновении Шеге и Хансулу дошла тем же утром и до Сырги, когда она доила верблюдицу. Не знала, радоваться ей или печалиться. Как еще хозяин очага воспримет? Что скажет? Ведь радоваться или не радоваться Сырге опять же с тем связано, что скажет он, Пахраддин. Он не спеша наматывал на ногу портянку, чтобы надеть сапог. Вошла Сырга, поставила у порога подойник с молоком, сказала:

– Сбежала твоя дочка...

Пахраддин, натянув сапог, поднял на нее глаза. В них – страх.

– С Шеге убежала, – добавила Сырга, помешивая кочергой угли в очаге.

Пахраддин встал, притопнул сапогом. Вышел, не проронив ни слова. Тяжелыми были его шаги. Приостановился у дома. Прошелся взглядом по осенним выцветшим долам. Обдумывал услышанное. Знал он, что

судьба его дочери этим и закончится. Пожалел Хансулу. Что ей, бедняжке, делать, на кого рассчитывать, как не на комсомол? Разве время и будущее не за ними, комсомольцами? За Шеге... за Ждахаем... за Козбагаром... Что ж, честь и хвала дочери, разбираться, значит, стала, что к чему. На родителей нет надежды. Пахраддин, некогда почитаемый, кто он сегодня? Живой дух. Время, ненадежное, меняющееся, отсчитывают ныне другие, такие, как Шеге. В подручных у них Сур Жекей, Лис Курен – серые лошадки. Куда им велят, туда и скачут. Время – за ними, за молодыми, резвыми, не знающими узды, как стригунки.

Стоит Пахраддин потрясенный, беспомощный, как щепка, которую бурный поток вынес на берег. Плачет, душой плачет. Сердце кровью исходит – кто с людьми останется?

Взгляд Пахраддина остановился на человеке, рысящем на верблюде к обрыву. Верблюда Пахраддин узнал сразу. Шойынкара! Несчастный Шойынкара! Ждахай, похоже, на нем. Нет у стервеца соображения, что с верблюдом, да с таким, как Шойынкара, поаккуратнее обходиться надо, не гнать как жеребца. Шойынкара достоин человеческого обхождения, благородная скотина. А Ждахай, как ни увидишь, нахлестывает животное почем зря. Что ему коллективную скотину жалеть? Да, коллективной скотиной стал Шойынкара. Пахраддин сам его отдал. Уж коли хозяина в кооператив не берут, так пусть хоть верблюд послужит во благо кооперативу. Исхудал Шойынкара. А ведь лучшим считался среди верблюдов. Нар из наров!..

Пахраддин вздохнул. Тяжкий был вздох.

7

Нависли первые тучи над одинокой юртой в отдаленных песках. Недолго тянулись безмятежные дни. Сначала чай кончился, потом – сахар. Пошли на убыль и другие продукты. Не переводились лишь верблюжье молоко да вяленое мясо. Вчера вечером Булыш, нахохленный, сказал:

– На базар мне надо, Балым. Иначе – никак.

– Какой базар? Ты в уме?! В бегах ведь...

– К каракалпакам съезжу. В Бескалу. Кто, думаешь, узнает?.. Отсюда до Конырата двое с половиной суток езды. Будет все хорошо, так за недельку обернусь... если, конечно, ты тут одна не забоишься.

– А если и забоюсь, что это меняет?..

Булыш отмолчался. Яловую кобылицу он решил продать, а на вырученные деньги довольствия на зиму закупить. Опасная выпадала дорожка.

С рассветом стал он собираться в дорогу. Балкия с мокрыми от слез глазами заталкивала что-то в коржун. Две берданки у Булыша после той перестрелки в песках. Одну оставил Балкие.

– Не высовывайся днем, – советовал он. – Басмачи могут налететь. И скотину никуда не пускай. Огня не жги!

Сказал и поехал. Ружье – на плече, коржун – в руке.

– А заявится кто... Что делать? – спросила напоследок Балкия, вытирая слезы.

– Одному богу вверяю тебя, Балым!

Уехал Булыш с верблюдом в поводу, ориентиром ему было солнце.

В Конырат он въехал ночью. На узких извилистых каракалпакских улочках с глиняными дувалами, тянущимися бесконечной стеной, с дымом от тандырных печей, степной казах с верблюдом в поводу выглядел непривычно. Дождавшись, когда собаки перестанут лаять, коровы мычать, Булыш потихоньку приблизился к воротам каракалпакского торговца Шамурата, приятеля Пахраддина. Тугобрюхий торговец встретил Булыша как долгожданного гостя. Поделился с ним своими соображениями относительно Советов. Как утверждал торговый человек, Советами недовольны не только в аулах, но и в городах: готовится выступление англичан и хана Жонейта. Наслышанный о том, что Булыш с оружием в руках выступал против Советской власти, он исполнил все, что тот просил. Цена лошади на базаре не превышала восьмидесяти-девяноста рублей. Кобылицу, на которой приехал Булыш, он оценил в девяносто рублей и из этого расчета выдал ему из своих запасов две торбы кукурузы, сахар, чай, мыло и прочие необходимые тому товары.

Булыш той же ночью уехал. Путь он держал по созвездию Семи Разбойников[1]. Встречный студеный ветер пронизывал насквозь. Думая о Балкие, ожидавшей его далеко в песках, торопил нара. С зарей пошла знакомая степь с пучками полыни и баялыша. Некоторое время спустя, мучимый предвестием недоброго, обернулся и обмер: группа всадников, пыля, нагоняла его под утренним солнцем.

Булыш приостановил верблюда, огляделся. Кругом равнина, гладкая, как подбородок безбородого. Погнал животное. Взял несчастного верблюда под камчу. Впереди ущелье, оно спускалось из Нарымбета в Ой. Схорониться там – никто не подступится. Но преследователи на хороших конях шли резво. Нагоняли Булыша. Молясь аллаху, он опустил верблюда на колени и крепко перевязал ему передние ноги. Укрывшись животным, взял в руки берданку. Стал поджидать конников.

Разношерстная группа – и туркмены в ней в поярковых папахах, и казахи в круглых, отороченных мехом бориках. Ясно, не красноармейский отряд. Басмачи. С удачей, похоже, возвращаются. В поводу – около десятка жирных лошадей, их крупы поблескивают на солнце. И пленник вон позади, с заломленными назад руками.

На расстоянии выстрела группа остановилась.

– Кто таков? Что делаешь? – спросили его.

– Путник я! – отозвался из-за верблюда Булыш.

– Почему хоронишься, если путник? Правду говори!

– Езжайте своей дорогой, люди. От меня вам беды нет.

Переговариваются басмачи. Сделав крюк в сторону, стали его объезжать. Булыш не показывается из-за укрытия – знает, получит пулю. Группу туркмен возглавляет тот самый, который когда-то встречался ему дорогой. Та же папаха на голове – больше его самого. На том же красавце ахалтекинце... Ого! Среди басмачей разглядел и трех волков Мажана – Мотана, Капана, Шотана... С ними и Азберген. "О боже, не дай попасть им в руки!" – взмолился он.

Басмачи, проехав, остановились, сбились в кучу. Азберген что-то говорит туркмену в папахе, показывая в

[1] *Семь Разбойников* – казахское название Большой Медведицы.

сторону Булыша. Потом сволокли на землю пленника в светлой рубашке и галифе. Молоденький джигит. Не различит Булыш, кто он по национальности – казах, туркмен, каракалпак. Тонкий точеный нос у юноши, красив, ростом и худобой смахивает на Шеге.

Кто-то из басмачей крикнул:

–Эй! Гляди и запоминай! Такова отныне участь всех комонистов!

Один из басмачей вытолкал джигита на середину круга. Другой, который шел сзади, замахнулся саблей – сверкнуло лезвие. Голова джигита свесилась на грудь. Удар пришелся по затылку.

Не смог Булыш смотреть, отвел глаза. А когда поднял голову, группа была в движении: уезжать, по-видимому, собирались. Мертвое тело лежало на земле. Те двое, что убили парня, что-то развешивали прутиками по кустам. Вскоре и они сели на лошадей и поскакали.

Булыш изумлен. Неужели в самом деле уехали? Правда, велели ему не двигаться с места, пока с глаз не скроются. Что ж, он подождет. Далеко отъехали басмачи и вновь предприняли нечто загадочное. Переменили курс – повернули к западу. Булыш решил: не будут к Ою спускаться, осторожничают. Когда басмачи скрылись, Булыш зашевелился, сел на верблюда. Проехал мимо погибшего джигита. Только сейчас разглядел, что те двое прутиками развешивали. Кишки. Длинные, они опутали сухие, похожие на мотки черной проволоки кусты баялыша.

Близился полдень. По широкой, необозримой пустыне ехал Булыш, торопил он нара. Скорей бы добраться до ущелья, а там и лог, которым он выйдет в сыпучие пески. Вот и ущелье. С обеих сторон отвесные скалы. Между ними тропа идет вниз. Вокруг ни души. Верблюд спускался осторожно, лишь иногда оскальзывался задними ногами. Отвесы по обеим сторонам тропы высоки, скрывают верблюда; только они кончились, с коротким “ап!” насели на Булыша несколько человек. Верблюд рванул в сторону. В мгновение ока Булыш оказался на земле, ружье отлетело. Посыпались удары, пинки.

– Руки ему вяжите! – проорал кто-то.

Завернули руки. Рассекли левую бровь – кровь заструилась по лицу. Над ним склонился Азберген, глаза – бешеные.

– Отцу твоему в могиле выть, сволочь... Попался, – зашипел он, хрястнув по лицу тяжеленным кулаком. Оно вздулось.

– Сучка где? – вскричал Мотан, с оттяжкой от души пнув его в бок.

Булыш сжал зубы. Молчит.

Басмачи окружили его, кто на коне, кто пеший.

"Э-эх! – ругал себя Булыш. – Как же я обманулся?" Провели его бандиты, ничего не скажешь. Вот почему они повернули на запад! Спустились пониже – и обратно, его дождались...

Пинки градом сыпались на него, Булыш потерял сознание. Помнит, к верблюду его привязали, поперек седла, но что дальше – потемки. А когда очнулся, стояла ночь, темная-темная. Они ехали по пескам. Конники впереди. Его верблюд шел последним. Руки-ноги свободны. "Кто это? – подумал он. – Сам развязался, или кто-то другой подсобил?" Как бы там ни было, аркан его не держал, один конец по земле волочился. Кто-то из нукеров, видно, перерезал – посочувствовал.

Басмачи следовали молча. Поддувал ветерок, раскачивая головки столетника и ковыля. Когда верблюд стал огибать песчаный гребень, Булыш тихо с него сполз. Затаился там, где упал, а как только ни о чем не ведающий караван удалился, побежал в ночь, хотя избитое тело мучила боль. Нигде не останавливался, боясь погони, двигался по звездам. Двое суток бродил Булыш по пескам, пока не добрался до Балкии.

8

Холодная осень с моросью легла на огромные просторы Устюрта между Атырау и Аралом. Ветер растрепал, растормошил степь как мог; темными точками в небе отпечатались птицы, взявшие курс на юг. К теплым зимовьям подались и косяки сайгаков.

По мнению Шеге, поворот к новой жизни – объединение единоличников в артели и товарищества, отчуждение баев

и кулаков как класса – здесь, среди жатаков, населяющих берега Жем, шел куда напористее, чем в кочевых аулах в степи. И перемен больше, они бросаются в глаза, особенно в районном центре – Наркамысе. Не считая лозунгов, плакатов, алеющих на фасадах учреждений, больших и малых, здесь что ни день рождаются новые слова, такие, как "клуб", "спектакль", "радио", "телефон". День, когда Шеге увидел первую в своей жизни автомашину, запомнился на всю жизнь.

Они с Хансулу поселились к тому времени в доме одинокой старушки на берегу реки. Днем Шеге пас лошадей из учреждений. Вечерами вдвоем с Хансулу посещали ликбез. В тот день Шеге, выгнав по обыкновению скотину на луг у реки, смотрел на поселок, где громко говорило радио, а он его слушал. И вдруг за сопкой показалось нечто такое, что двигалось само по себе.

– Гур-р... гур-р... – доносилось его рычание.

– Машина! – догадался Шеге и помчался в поселок.

– Что такое? – выбежала из дома Хансулу.

– Машина! Вон! – закричал Шеге, указывая камчой в сторону дороги. Возвращавшиеся с пастбища верблюды, напуганные автомобилем, ринулись, задрав морды, кто куда. И верблюжата сорвались с привязи, бросились за ними. Выскочили возбужденные дети. Машина тем временем выехала на главную улицу, мотор шумит – как гром грохочет, земля сотрясается под ногами. Дети, собаки понеслись следом. Хансулу выскочила налегке, только длинный камзол на плечи накинула; застыла поначалу на месте, пораженная устремленными на нее "глазами" машины. Ей даже в какой-то миг показалось, что дьявольская махина на нее и катит, вот-вот сомнет. От страха и ноги подогнулись, тем и спаслась, что опрометью бросилась в дом. А машина понеслась дальше. Хансулу, зажав уши, присела у порога.

Шеге два дня потом над ней потешался. Жили они в комнатушке, разделенной пополам ситцевым занавесом. Каракера продали, на вырученные деньги приобрели необходимое для жизни. Молодые не горевали. Хозяйке, для которой одиночество не было сладким, появление молодой пары оказалось кстати. Но был в Наркамысе человек, которого Шеге боялся: Нурилы, дочерна смуглой молодой девушки, секретаря райкома комсомола.

В конторе Нуриля заявила безаппеляционно:

– Объявляю выговор! Девушку выкрал – ладно, с этим, положим, согласиться можно, но как понять, что ты кулацкую дочь взял? Товарищ комсомолец, где твой классовый взгляд?

Только он от Нурилы вышел, как услышал сзади:

– Э-э-э...

Глянул, а это Сур Жекей. Шинель внакидку на плечах. На поясе – наган. Серый в лице и губы трубочкой. Шеге подбежал к начальнику-милиционеру, поздоровался:

– Ассалаумагалейкум! – и протянул руку. Сур Жекей ответил нехотя, через силу. Еще больше посерел.

– Ты, – говорит, – смотри, малыш! – и указательным пальцем завертел перед глазами. – Своевольничаешь. Подумаешь, активист! Ну и что? Знаем мы и таких активистов, что под байскую дудку пляшут. Смотри!...

Русское "смотри" он произнес внушительно. Шеге струхнул, аж ладони повлажнели. А Сур Жекей, шевеля тараканьими усами, отвернулся от него, цигарку скручивает, всем своим видом говоря: разговор окончен, но – смотри!..

Шеге после этих встреч счел нужным зайти к Афанасию Васильевичу Гринину. Контора райпарткома и РИКа – в новом большом доме с синей крышей в центре поселка. Афанасий Васильевич оказался на месте.

– Голубчик мой, все хорошо! Рыцарский поступок! Замечательный! Не каждый способен на такое, а? Мой тебе совет: здесь вечерняя школа. Учитесь! Вместе учитесь! Сейчас грамотные молодые люди во как нужны! Оч-чень нужны.

В последнее время авторитет Афанасия Васильевича Гринина в народе заметно вырос, "справедливым Апанасом" звали его теперь казахи. Подобную славу сослужил ему последний поход, когда отряд, им ведомый, вернул бежавших людей. Аксакалы, конечно, отдавали ему должное за привалы, которые он устраивал в пути, когда те молились. Мужчин, "соучастников бандитов", его отряд тогда пригнал в Наркамыс. Была ночь. Человек пятьдесят Сур Жекей запер в конюшне, которая в последнее время служила местной тюрьмой, сказал еще, что продержит их тут до суда.

Афанасий Васильевич считал происходящее последствиями перегибов, которые допускали многие горе-активисты, “проводя в жизнь политику партии в области культурной революции”. Он попросил секретаря райкома немедленно освободить всех заключенных, и в первую очередь Лабак-ахуна, но Калашников его просьбе не внял. У секретаря райкома партии свои представления о кочевом ауле. Он даже рассердился на предрика, застучал кулаком по столу: “Как? Вы бандитам амнистию обещали? Никакой амнистии! Я, к вашему сведению, до сих пор ни одного пролетария в этом краю не видел. У каждого в хозяйстве по четыре-пять голов крупного рогатого скота да по тридцать-сорок голов мелкого! Если хотите, степь кишит кулаками, а что для кулака дороже всего? Скотина”.

В ту ночь случилось непредвиденное: исчез из запертой конюшни Лабак-ахун. Когда это произошло, все спали. По рассказам, Лабак-ахун, обиженный на правительство, просто-напросто “заговорил” милиционера, который был в карауле, и ушел.

9

Супружеская жизнь Шеге и Хансулу началась счастливо. Их любовь теперь, когда они были вместе, вспыхнула с новой силой. Оба умирали от тоски, если не видели друг друга хотя бы полдня. Хансулу каждый день открывала для себя Шеге. Все мужские достоинства находила она в нем одном.

А о Шеге и говорить нечего. Если был на земле удачливый человек, так это, конечно, он, Шеге! Самая яркая из звезд на небе – с ним, с Шеге! Подумать только, Хансулу, красота которой стала притчей во языцех, – его жена! Но, стоит ему подумать о том, что нет у него собственного дома, собственного очага, достойной службы, начинал беспокоиться. Боялся, как бы не приметил Хансулу какой-нибудь ловкач – с домом, со службой, умеющий по-городскому зачесывать волосы назад. Угонит Шеге лошадей на пастбище, а сам только и мечтает, как бы поскорей домой вернуться да увидеть свою ненаглядную.

Сегодня он вышел к поселку со стороны реки. Небо в тучах, вечер опустился рано. Скотина с выгона возвращалась, во дворах суета. Хансулу перед порогом он не увидел. Заперев лошадей в конюшне, пошел домой. Сапоги на ногах тяжеленные, да и телогрейка ватная не легче. Обветренное, загорелое лицо хмуро. Сам не знает Шеге, почему он хмурый. Вот сарай. Прошел мимо сарая. За ним – дом. За домом – улица. На улице увидел он машину, вернее, ее капот. И Хансулу увидел, она склонилась к дверце той машины. Шеге остановился. Не может прийти в себя, а из машины высунулась мужская голова, какой-то наглец тянет Хансулу за руку в машину!.. Застыл Шеге там, где стоял. Будто оглох. Щеки горят. Дикое, незнакомое доселе чувство распирает его, жжет нутро, отравляет голову ядом ревности. А машина тем временем тронулась. Гур-р – и нет ее. И Хансулу нет.

О-о, самой глупой, самой легкомысленной на свете женщиной показалась ему в тот миг Хансулу! И, выходит, сам он дурак, если на ней женился! Небо полетело вниз, земля уходила из-под ног... Как полусонный прошел в кухонку, потом в свою комнатку... Остановился у печи. Почему-то сейчас ощутил свой рост, представил, каким нескладным выглядит он со стороны. Поглядел на ситцевый в полоску занавес, он отделял их угол.. Все за ним было раем. Там супружеское ложе, на котором соединялись они в объятиях, шептали сладкие слова... голова кружилась от счастья. Сгорело ложе. Он обманут... Жестоко обманут.

Застонал Шеге, больно ему стало. Рухнул как подкошенный на половик. Снова застонал, зло, протяжно, как раненый зверь. И тут кто-то стремительно влетел в чулан. Следом распахнулась дверь. Появилась Хансулу – сияющая, с пылающими щеками.

– Шеге! – воскликнула она обрадованно. – Ты пришел?

Веселая Хансулу. Конечно, поухаживали, да и кто – ученый джигит! Как ей не быть веселой?.. Молчит Шеге. Надулся, от злости лопнуть готов.

– Шеге! Так интересно! Я прокатилась на машине! – объявила, смеясь, Хансулу.

В комнате темно. Хансулу не заметила состояния Шеге.

– Тронулась она, а я со страху за железку какую-то хвать! Ибрагим кричит, не тро-онь! А то, оказывается, та

самая железка, через которую машина с места трогается. Откуда мне знать? Ибрагим так смеялся, так смеялся...

Ибрагим – молодой татарин, личный шофер Калашникова, по городской моде волосы зачесывает. Все знает, все умеет, на все руки мастер. С таким не соскучишься. Понятно, отчего такая веселая жена. Ей, наверное, и машина приглянулась, и Ибрагим. Что Шеге? Лошадям хвосты крутит.

– Шеге? Что с тобой? Ну что ты молчишь? – спросила Хансулу и, сев перед ним на корточки, заглянула в лицо. Смеется.

Над кем она смеется?!

Пощечина получилась увесистая. Крепкая у Шеге рука. Хансулу, откинувшись назад, упала на ковер. Темно, но Шеге увидел, как блеснули ее глаза. Согнулась, схватилась за щеку.

– За что-о?! – вскричала она, пылая от негодования. Горящими глазами вот-вот сожжет Шеге.

– А ты не знаешь?! – вскричал и Шеге.

– Не знаю! Не знаю!

Захлебнувшись слезами, Хансулу бросилась из комнаты. С порога крикнула:

– Балда!

И хлопнула дверью. Возвратилась старушка, они с Хансулу в тесном чулане столкнулись.

– Что такое? – всполошилась хозяйка, приостанавливаясь у порога.

Хансулу умчалась, ничего не сказав. Старушка прошла в дом. Темно. Тихо.

– Ойбай! Бог в помощь! Что это вы? И лампу не зажгли...

Ответа не последовало.

– Сынок, что случилось?

Старушка завозилась у печки – спички искала, что ли.

Шеге молчал. Темная комната показалась ему ловушкой. В ней стало душно. Ринулся на свежий воздух. В поселке темно. Ночь обещала быть беспокойной. Час поздний, люди, заперев скотину в сараи, собираются вокруг очагов – в тепле, при свете. Один Шеге без тепла, без света. Пестрый щенок, словно сочувствуя, стал ласкаться к нему, завилял хвостом, в глаза заглядывает. За тамарисковым забором, которым обнесен дом, никого нет. Он искал

Хансулу. Но она пропала. Мир, трещавший по швам, рушился на глазах...

Мысли завихрились в голове, ни на одной из них не мог сосредоточиться. Сам не знает, как, обогнув забор, пошел к реке. Понурый пошел, с опущенными плечами. Пестрый щенок от жалости повизгивал рядом. Вихрь в голове мало-помалу стал стихать, попробовал восстановить в памяти случившееся. "Кто я? – спросил он себя. – Никто. Не революционер. Не комсомолец. Со старым боролся, это верно... почему ударил сейчас Хансулу?" Она-то ему доверилась – как комсомольцу, активисту, сознательному человеку, наконец, за ним пошла, а он...

Раскаяние обожгло его.

– Хансулу! – позвал он.

И побежал. Никого. Может, зашла к кому из знакомых женщин? Она с десяток дней работала на складе, в сменной бригаде. Ай, вряд ли. Горда Хансулу, не станет она на людях разливаться.

Шеге вернулся, опять обошел сарай, дом, оглядел забор.

– Хансулу!

Не нашел он ее возле дома, снова потрусил к реке. Щенок, разлаявшись, не отставал от него. Шеге дошел до самого берега. Всякие мысли возникали. Кто знает, что может вытворить сумасбродная дочь Пахраддина, которую в жизни пальцем никто не трогал! А вдруг в реку бросилась?

Вгляделся в воду. Гладь. Тишь.

– Хансулу!

Глухая ночь. Глухая река. Глухая темь. Будто поглотили они Хансулу. А может, она речку перешла и прямиком домой потянула?..

Щенок, крутившийся рядом, исчез. Не стало слышно его повизгивания. Потом Шеге услышал его лай в верхнем течении реки. Вскоре щенок и сам объявился, язык от возбуждения вывалился из пасти. Стал путаться у Шеге в ногах, хвостом по земле стучит, тянет его куда-то. Шеге – за ним. На песчанике, в самом центре, еще издали он различил человеческий силуэт. Подошел ближе, спиной к нему в белом платье сидит Хансулу. Забавно сидит. Ноги под себя поджала. Как мулла, который молится.

Обрадовался Шеге, что нашел жену. Тихо опустился рядом. Шлепалась о берег волна Жем. Оба молчали. Только щенок подавал голос, поглядывая на них:

– Ауф! Ауф!

– Сулу! – позвал он.

Хансулу не шелохнулась. Смотрела в ночь, будто и не было рядом Шеге.

– Ладно, виноват я...

Хансулу глуха.

– Пошли домой. Замерзла же...

К Хансулу вернулся дар речи.

– Можешь не жалеть! – отрезала она.

– Сидеть, что ли, вот так будем?

– Уйду я!.. Не буду с тобой жить!

– Ночью?.. Давай уж завтра, с солнышком.

Хансулу надулась.

– Села в чью-то машину... Как это понимать?

Хансулу прорвало:

– Сам же кричал: мужчины и женщины равны!.. А если бы я тебя ударила?

Шеге смешался. Права Хансулу. Да, кричал он про равенство, но думал ли тогда, что равенство, которое он так горячо отстаивает, когда-нибудь ему самому выйдет боком! Да-а, задала ему задачку Хансулу, не знает, что и ответить. Злиться начал.

–Что молчишь? – наседала Хансулу.

Шеге взорвался:

– А ты, ты... ты чья жена? Моя или... или...

– Твоя, конечно, – растерялась Хансулу.

– Вот и прекращай бузить!

Хансулу молчит. Долго они сидели еще в полнейшей тишине. Щенок разлегся перед ними, мордочку на песок положил, глядит на них выжидательно, будто спрашивает, когда домой пойдете?..

От дома послышалось старушечье:

– Хансулу! Шеге!

Нехотя поднялись. Молча побрели назад. Щенок, обрадованный, помчался к дому.

...Через две недели после ссоры приехал Шарип. Искал он их. Ночь была такой же ветреной. Моросил холодный дождь. На улицах грязно. Шеге и Хансулу вышли из школы, побежали к дому у реки, дрожа под каплями дождя. Темно, под ногами ничего не видно.

– Ну и дождь! – в сердцах сказала Хансулу.

– Как бы снег не пошел! Вот дела будут!..

– "Жанажол" нас забыл.

– Погоди, не забыл, – сказал вдруг Шеге, приостанавливаясь у дома. – Кто-то из наших, гляди!

– Где?

– А вон... Не наш ли крикун?

Верблюд, лежавший с подветренной стороны забора, услышав его, подал голос:

– Бак!

– Отец никак?..

Шеге посмотрел на жену – что делать будем, дескать? Та, в свою очередь, на него глянула. В окне с натянутым на него бычьим пузырем виднелся свет, слышались голоса.

– Пойдем, чего уж... Семь бед – один ответ! – сказал Шеге.

В тесном чулане Шеге перешагнул через щенка, растянувшегося перед порогом, рванул на себя обшитую драной кошмой дверь. В лицо пахнуло жарким дымом. Отец, развалясь, лежал на гостевом месте; под локтем – подушка, на голове – черная тюбетейка.

– Ойбай! – испугалась старушка, снимавшая пену с бульона на печи. – Вот и пришли детки-то. Давай приступай! – и рассмеялась, открывая беззубый рот.

Шарип от неожиданности дернул головой, а потом уставился немигающим взглядом на сына, облаченного в длинный камзол. За ним, прикрывая лицо, таилась молоденькая женщина в красном платке и красном платье.

– Ассаламагалейкум! – произнес Шеге, широко улыбаясь.

Шарип, покачиваясь на ослабевших вдруг ногах, поднялся. "Похудел Шеге, что ли?" – подумалось ему. Невестка, чуть преклонив колено, отдала свекру традиционное приветствие.

– Долгих тебе лет! – растроганно произнес Шарип в ответ. Его глаза увлажнились.

Потянулся потом к руке Шеге, поцеловал длинные худые пальцы. Слезы покатились из глаз, стал вытирать их платком.

– Как ты здесь, вороненок мой?

Голос его задрожал.

– И это все, что ты ему показал? – обронила старуха и беззубо заулыбалась.

СМУТА

1

Сильный, с посвистом ветер преследует по пятам, гонит и гонит вперед, заставляя ежиться от холода. Путники – кто на конях, кто на верблюдах – трясутся по дороге из Наркомыса в Ханторткил. Они продвигаются к югу. Последним на игреневом пятилетке рысит Лис Курен. Чуть впереди на крикливом верблюде – Шарип, ветер треплет его треух. Хохочет, бедолага; его тонкий, визгливый смех слыхать далеко. Что ему так весело, думается Курену. Не менее веселым был Шарип и на конференции бедняков, которая только что закончилась. Как всегда, драл глотку: "Ойхой! Ай да речь!" Лис Курен подбирался всякий раз, когда тот кричал. Что так надрываться, думалось ему, глядишь, выступать полезет. Ох, не лежит у него душа к Шарипу, не лежит! Ровно пигалица, охраняющая болото, верещит, когда речь заходит о политике, слова ведь никому не даст. Будто другие – пасынки у новой власти, а он один ей – родной. Лис Курен давно уже аулнай, а Шарип перед ним не гнется, не хочет гнуться, в грудь себя бьет, активист я, активист. Жаль, что на таких и время сейчас работает...

И конференция сегодняшняя не понравилась Лису Курену. Калашников встал и заявил:

– Кулаков как класс уничтожим!

Будто мало до сего времени уничтожали. А какой лозунг кинул:

– За неделю кочевые аулы на оседлость переведем! Полная и всеобщая коллективизация, товарищи! Единоличникам среди нас нет места! Пусть мы и кочевой район, а закончим эту кампанию раньше оседлых центральных районов России!

Некто Суранышев вскочил с места и во весь голос завопил:

– Семен Харитонович, вы правы! Мы обгоним в коллективизации центральные районы России!

Горе-активисты, вроде Шарипа, давай хлопать и орать:

– Верно! Золотые слова!

– Ускорить надо коллективизацию!

– Что ее на три года размазывать?!

Лис Курен сидел себе и усмехался. Вот народ! Языком что серпом работает. С местными условиями и обстоятельствами не считается, в рот Калашникову заглядывает, что-де начальник скажет, того не разумея, что начальник-то пришлый и ему на местные условия и обстоятельства – наплевать: все равно, отсидев положенное в начальническом кресле, улетит отсюда. Потому он, Лис Курен, всю эту конференцию промолчал. Только усмехался. Желчно усмехался, делайте, мол, что знаете...

Недотепу Козбагара на конференции отстранили от должности председателя артели, направили на учебу. Лису Курену захотелось посадить на место Козбагара своего сына Ждахая. Комсомолец. С бандитами сражался. Из молодых-то и нет, считай, никого более подходящего. Шеге с дочкой Пахраддина спутался, куда ему! Принялся за дело Лис Курен прямо на конференции, стал знакомых по рядам обходить, сторонников сыну набирать, да, увидев рядом с председателем райисполкома Шеге, насторожился. Подозрения его оправдались: конференция заканчивалась, кода Афанасий Васильевич объявил, что председателем в артель "Жанажол" направляется член комсомола Шеге Каспаков. Это что-о! "Сбившийся с пути" Каспаков в довершение ко всему и заявление о приеме в партию написал – на глазах у людей... Понял тогда Лис Курен, что все это с ведома председателя РИКа делается. Злой он на него, а кому пожалуешься? Калашникову? Напрасный труд. Он брыкается, как дикий конь. Какая поступь – как говорится, головы ведь ни к кому не повернет! – такой и нрав.

Воротник кителя – торчком, и волосы, коротко стриженные, – торчком. Под характер. Не станет он на него, казаха-степняка, время свое тратить, нет! С начальником милиции Сур Жекеем довольно сносные у него отношения, вот и шепнул он ему: как же, мол, так, в председателях – зять кулака теперь? Сур Жекей задвигал жидкими тараканьими усами, протянул длинно: "Да-а..." По-русски протянул, стал потом махорку скручивать, вытянул губы трубочкой. Попробуй пойми, что этим "да-а" хотел сказать!.. Ничего больше так и не услышал от него Лис Курен, но задуматься, кажется, заставил.

Свистящий ветер подгоняет в спину. Тучи закрыли небо. На крикуне-верблюде – горячий, возбужденный Шарип, ветер треплет концы его треуха. Что-то напевает. Слыша его голос, Лис Курен подбирается, на губах у него, как всегда, – тихая, язвительная усмешка.

2

Сегодня у Хансулу торжественный день. Сегодня их с Шеге свадьба. Не такая пышная, как прошлым летом, но она для нее – праздник. Весь аул около юрты Шарипа. На очагах бурно кипят казаны. Рядами дымят самовары. У самоваров – смешливые молодые женщины и девушки.

Среди них и Хансулу. И Шеге испытывает то же. Он, в окружении товарищей, родичей, старых и молодых, беседует с ними и не упускает из поля зрения Хансулу, ослепительнейшую из звезд. Он, если и не смотрит на нее, чувствует, где она, что делает.

Не успел и день пройти после свадьбы Хансулу и Шеге, как в ауле началась горячка. Опять приехали уполномоченные. Нашлась работа и подручным активистам, и они сели на коней. У всех на устах одно, точно сговорились:

– Бой кулакам!

– Даешь стопроцентную коллективизацию!

– Срок – неделя! Таков план!

– Кто с нами – тот свой! Кто не с нами – того заставим быть с нами!

Народ затаился. Кому охота в кулаках оказаться? Старики молились:

– О аллах, пронеси! О аллах, спаси!

С сумерками, ближе к ночи, в "Жанажол" прибыл на саврасом жеребце грузный черный мужчина с заплывшими глазами. Хмур, точно зимняя вьюга. Лис Курен забегал у стремян его лошади, хотел помочь гостю спешиться. Уполномоченный – Бухарбай. Вечно, бывало, подремывал в седле, а тут – ни дать ни взять новый человек! Непривычно деловой. Энергичный. И в лице уж больно черный, точно пожар где тушил, но это оттого, наверное, что сердит был.

– Давай, табарыш аулнай, собирай народ! С ходу! Быстренько-быстренько! – проговорил он, мешая по

обыкновению русские и казахские слова, что лишний раз говорило о значительности его визита.

– Оу, Буха, сначала бы, как говорится, в дом, перекусили бы, – аулнай, как всегда, завлекал к себе высокого гостя.

– Чаи гонять?! Ты что, табарыш?! Время, время, – уполномоченный сверкнул глазами. – Некогда мне с вами тут шалтай-болтай!

Курен испугался, залебезил:

– О, Буха, вы правы, правы. Я сейчас, – и побежал к своему дому, крича на ходу: – Ждаха-ай! Выходи!

Люди потянулись к кирпичному зданию с вывеской: "Школа имени Асана Айтжанова". За столом, покрытым красным сукном, восседал нахохлившийся Бухарбай. Мрачно смотрел он на народ, вливающийся в помещение. Не в себе был уполномоченный; сказано – собраться, стало быть, собраться надо, а эти – тянутся, тянутся... Усталый был Бухарбай. Двое суток, почитай, не касался головой подушки. Понимают это люди? Эх... Будут ли они утруждать себя пониманием? Им бы бумагу портить. Все сейчас горазды катать. И чего ведь не придумают! Водку пил, к дочери чьей-то лез – ну и наро-од! Что ж ему в седле-то трястись, если и стаканчик нельзя нигде пропустить? Угощают. Как откажешь? А что к дочке чьей-то лез... Ну так кто ж до девушек не охоч? В седле казах, и молодой. Так думает Бухарбай. Лопается от дум голова.

Школа заполнилась до отказа. В рядах глаза Бухарбая выхватили красавицу, совсем юную. Румянец на щеках, длинные ресницы, поднимет их – так глаза блеснут, точно звезды в ночи. Кто она?..

И Наркыз он увидел. Стоит про ту кошмарную ночку вспомнить, скверно он себя чувствует, готов сквозь землю провалиться – не от стыда, нет, от досады.

– Открывай, открывай! – затормошил он Лиса Курена. Пятнами изошел от злости.

Кулачок у этой Наркыз что у мужчины, а отец-то, отец... Жумаш преподобный, весь вечер мозги ему парил, на жизнь жаловался, а тоже потом, за дочку вступился. Нет, Бухарбай Игенсартов подобного – умрет не забудет!..

– Товарищи! Успокойтесь! – засуетился Курен улыбаясь. – Сами себя задерживаете. Итак, общее собрание

аула "Жана жол" предлагаю открыть. Надо, товарищи, избрать председателя собрания.

– Есть предложение! – сорвался с места Ждахай, он сидел в первом ряду.

– Говори!

– Предлагаю избрать председателем собрания аулная, а в помощники ему – председателя нашего товарищества Каспакова Шеге и активиста Каукаша!

Уполномоченный, вновь остановив взгляд на красавице с длинными ресницами, буркнул:

– Из женщин бы кого... Женщину в прездем![1]

– Товарищи! – поспешил исправить оплошность аулнай. – Есть предложение. Забываем о существенном вопросе. О женском. Пусть-ка Шеге обождет. Предлагайте-ка вместо него женщину, ну!

– Хансулу! – опять сорвался с места Ждахай.

– Э, что ж! Пусть Хансулу, – согласился аулнай.

– Молода еще, – заметила какая-то старуха.

– Молодых и надо! – оборвал ее Бухарбай. – Такая политика.

Лис Курен не замедлил спросить:

– Кто за то, чтобы названные товарищи были избраны? Поднимите руки!

Подняли руки. Одна Торка не подняла. Бухарбай указал на нее подбородком:

– Вон там не поднимают...

– Женеше, а вы что же против течения? Объясните, – распелся Лис Курен, очень, видно, довольный тем, что Торка оказалась против.

Торка, припав на хромую ногу, встала. Люди, шумевшие было, притихли, повернулись к ней.

– Чтоб ей пропасть! Против я! Вот так! – сказала она и махнула рукой.

– Ойбай, женеше, – залился мелким смехом Лис Курен, – а понятнее нельзя?

– А куда понятнее? Это она, Хансулу, там сидеть будет?

– Что вы имеете против?

Торка блеснула глазами, поправила платок. Подбоченилась.

---

[1] Прездем – искаж. от "президиум".

– Сабетски бласты в этом ауле есть или нет?

– Ойбай, есть, женеше, бог с вами! Кто это сказал, что нет?

– А ты не веселись! Если Сабетски бласты есть, откуда, скажите, закун, чтобы кулацкая дочь, как это... в прездеме сидела? Вот ты, Курен, и объясни, не улыбайся...

Бухарбай поднял голову.

– Кто это – табарыш Хансулу? Покажитесь, – попросил он гнусаво, делая вид, что не знает, о ком идет речь.

Люди оглянулись. На задних рядах сосредоточились женщины. Верещага Шарип не выдержал, заерзал на месте.

– Поднимись, келин, покажись, – попросил он.

Хансулу стыдливо поднялась. Щеки ее горели – от смущения и от обиды на Торку. Бухарбай, оглядев ее, склонился к уху Курена. Тот незамедлительно встал.

– Названных товарищей прошу пройти! И ты, милая, проходи, проходи! – сказал он, обращаясь к Хансулу. – Мы с мнением большинства, а не отдельных товарищей считаемся. Такой порядок.

Хансулу была рада, что Торке дали по рукам, но и идти в президиум не решалась. Робела. Поглядывала на свекра со свекровью в передних рядах, будто разрешения у них спрашивала. Шарип, встрепенувшись, закивал:

– Иди, детка, иди. Большинство желает.

И Жайбаскан закивала.

Хансулу пошла. Зазвенели шолпы на ходу. Идет и чувствует взгляд жирного уполномоченного. Это ее возмущает. Хотела сесть подальше, но Лис Курен, холуйствуя, рядом с ним и пристроил ее. Обомлел Бухарбай, завидев в соседках красавицу: райская птичка, считай, на ладонь к нему опустилась. Аромат духов опьянил его. Забыл он на миг и про народ, и про собрание, которое затеял, всеми его помыслами завладела Хансулу...

– Слово предоставляется товарищу Игенсартову! – Бухарбай вздрогнул, будто его окатили ледяной водой.

Встал. Холодно поглядел на людей, двойной подбородок отвис.

– Так-так, – начал он и замешкался. Постучал пальцами по столу. – Все вы, конечно, о последних новостях в районе наслышаны. Рассказали, я думаю, табарыш аулнай и новый председатель товарищества Каспаков Шеге.

Так вот – распространяться не буду. Главное скажу. Та-ак. Кампания по ликвидации кулаков – серьезная кампания. – И не слово, а фразу уже присовокупил по-русски: – Ошен сыльный палитишески знашени имеет. – Сделав паузу, оглядел зал, перешел на родной казахский вперемешку с отдельными русскими словами: – Сегодня мы боржоев, которые как пиявки кровь трудового народа сосут, под корень рубим. Навсегда кулаков и прочую контру уничтожаем! Мы им так и должны заявить: убирайтесь, любезные, подобру-поздорову, такой порядок. Верно я говорю? Вот так мы себя от контры освободим. Понятно?

Все знают, что значит русское "боржой". Никому неохота в буржуях оказаться.

– А кто боржой-то? – спрашивают.

От-от! – вскинулся Бухарбай. Ждал он, видно, такого вопроса. – От где проблема! Кто боржой, спрашиваете? Вот именно, кто боржой? – и вытаращился на всех так, что люди отвели глаза. – Мы с вами и должны найти, кто боржой. Найти – и срубить под корень! От так! Для этого мы и собрались. Такой порядок.

– Спаси аллах! – зашептались старики. – Кого еще искать?

– Сохрани, о создатель!

Голоса множились. Шум... гу-гу...

– Мы разве в прошлом году не сдали... боржоя?

Это с места спросил Уап.

– Кто это? Стоя прошу! – сделал замечание председательствующий Лис Курен.

Уап встал.

– Я не у тебя, а вот у табарыша хотел спросить, он кивнул на уполномоченного. – Кампеске в прошлом году была, так мы Мажана сдали. Бая. Тогда нам сказали, боржоя больше нету, с боржоями покончено. А что получается? Опять кого-то уничтожать? Боржой, они что, каждый год нарождаются?

– Кто это? – спросил Бухарбай.

– Ты что мелешь? – вспылил Курен. – Ты давай что надо говори!

– А я что надо и говорю! – вскричал и Уап, тоже выкатывая глаза – они у него как у козла. – Что, и спросить

теперь нельзя? А если узнать хочу? Зачем район людей посылает? Затем, чтобы они нам, людям простым, разъясняли, разве не так?

Курен в президиуме выразительно вращал глазами. Понял его Уап.

– Ну, если надо, чтобы я молчал, пожалста, я кончил..

– Как фамилия табарыша? – полюбопытствовал уполномоченный.

–Жартыбасов.

– Табарыш Жартыбасов! Та-ак. Сколько в ауле очагов?

– Да больше сорока.

– Сколько еще не в артели?

– Да с пяток наберется.

– Так-та-ак, табарыш Жартыбасов! – уполномоченный вытянул в его сторону палец. – Хозяин одного такого очага, который еще не в артели, – Пахраддин. Так, табарыш?

Пахраддин, сидевший в задних рядах, поднял голову. К нему обернулись.

Уполномоченный продолжил:

– Пахраддин во времена царя Мекалая бием был – раз! Пусть не такой крупный, как Мажан, но тоже бай был – два! Батраков держал – три! Нет, скажете?

Никто на вопрос не ответил.

– Если бы Пахраддин был за Собетски бласты, он бы давно записался в артель. Так или не так?

– Товарищ уполномоченный! – не выдержал Пахраддин. – Я вас попрошу не извращать политику партии. Совсем она не такая, политика партии!

– Та-ак. Объясните, в таком случае, – Бухарбай устремил на него застывшие глаза; такие глаза у кабана, попавшего в западню.

– В коллективе не состою, верно. Но – не по своей охоте. Не берете. Все это знают. Но и газеты я читаю, господин уполномоченный. Сам Сталин сказал, что вхождение в коллективы – дело добровольное. Так что вины за мной за то, что не в коллективе я, похоже, нет.

– Законоучитель, гляди-ка, – буркнул под нос Бухарбай, озлившись. – Хорошо, табарыш Пахраддин, допустим, ты не бинауат[1], что не в каллектепе, – он перешел на "ты". –

---

[1] *Бинауат* – искаж. от "виноват".

А вот до кампеске у тебя более трехсот голов мелкого и более сотни голов крупного скота было, неправда это? И батраков держал. Тоже неправда?

– Под батраком, надо полагать, пастух разумеется. А под пастухом – Козбагар. Ночь, люди мои, на дворе, лгать грешно; но – не просил я его быть пастухом. И тем более – не заставлял. Родители его тут, Уап и Торка, пусть скажут, если неправда. В двадцать первом, сами знаете, голод был. Никому, помнится, пропасть не дали, кому – коня, кому – еду, ни один очаг в ауле не погас. Козбагар в пастухи пошел. Как я мог отказать? Семья их нищенствовала, как и другие...

– Верно говорит Пахраддин! – поддержали его.

– Правду би-ага сказал!

Пахраддин продолжил:

– Года три пас скотину Козбагар. Так за то, наверное, что кормился, одевался. И я теперь – виновный?! Уважаемые, пусть бог свидетель будет, что вы от меня худого видели, скажите? Справедливость, полагаю, еще есть.

– Ойхой, вот слова! – не удержался Шарип.

– Верно!

Соскользнула с места Торка:

– Пусть ему от бога воздается за доброту! Я к нему лично ничего не имею. В трудную минуту помог. Не оставил. Ну а если что не то по его адресу говорила, так то же не о нем, о молодых, черт бы их побрал!

– Тихо! Не шумите! – призывал к порядку председательствующий Лис Курен.

Уполномоченный ему что-то выговаривал. Он почернел. Зверем смотрит на Пахраддина.

– Ты, табарыш Пахраддин, погоди минуточку, – скажу я. Уполномоченный в конце концов встал. – Ты понимаешь, что ты делаешь, табарыш Пахраддин? – Указательный палец представителя района повис в воздухе. – Ты мешаешь работать! Ты срываешь собрание! Это – саботаж! Это как раз по-боржойски. Ты дезорганизуешь работу. От так! Главное в нашей кампании – вовремя вот таких боржоев выявлять. Они-то и мешают нам строить

новую жизнь. Потому мы от них должны избавляться. Долой их! От так!

Люди притихли, стали переглядываться.

– От так! – захлебывался между тем в краснобайстве Бухарбай, вскидывая вверх руку. – Район, возглавляемый табарышем Калашниковым, взял повышенные обязательства. Хоть у нас и отсталый район, поскольку отдаленный, – это Калашников сказал – мы работу по очищению нашей среды от кулаков закончим за неделю, а всеобщую коллективизацию – за три месяца. Не за три года, как сказано в плане, а за три, повторяю, месяца! Это, табарыши, большой переворот! За три месяца на оседлый образ жизни перейдем, будем один каллектеп! Вот так мы срубим под корень старую жизнь. От так, табарыши!

Ждахай, возбужденный, вскочил, захлопал. Обернувшись к залу, завращал круглыми глазами, хлопайте, мол, тоже. Но его поддержали лишь несколько человек, в том числе и Шарип.

– Ай да слова! Жми! Не жалей! – вопил он фальцетом.

– Сатсилизм, табарыши, на огненной арбе летит вперед к счастливой жизни! Поспешать нам надо, на верблюдах не угнаться нам за огненной арбой!

– Не угнаться! – подхватил Ждахай, потрясая кулаком.

– Я кончил, – сказал, садясь, Бухарбай. Поглядел на Курена: – Дайте теперь табарышам беднякам слово!

Ждахай выступил. Пламенно. Как всегда.

– Верно табарыш уполномоченный тут говорит. Двенадцать лет уже, как пал царь и Сабетски бласты установилась. Все кругом меняется. Города, железные дороги строятся. А у нас почему, зараза, ничего не меняется? Школу построили. Хе! И довольны. Провались всё к черту, не в три года, а в три месяца у нас каллектеп будет! А что? Кто не захочет, силком толкнем!

– Табарыш, погоди! – Бухарбай полез в карман. – Та-ак. Вопрос у меня. Список кулаков. Сам составил. По вашему старому списку, между прочим. Та-ак. Пахраддин первый, потом – Кулатай, в Ханторткиле он, потом – Жумаш.

Жумаш взвился с места:

– Что-что?! Жумаш – кулак?! Я не ослышался?

– Бестереков? – уточнил Бухарбай, подумав про себя злорадно: это тебе за “зверя”.

– Бестереков, ну и что? Клевета, браток, клевета. Не веришь, скотину посчитай в сарае. Какой я кулак?

– Та-ак. У тебя в сарае тридцать овец, шесть коз, три верблюда, если, конечно, верблюжонка считать, одна лошадь, так? – Бухарбай вперил в Жумаша глаза-щелки.

– Да съели уже одну козу. Пять осталось, – защищался Жумаш.

– Погоди. У сестры в Донызтау – верблюдица с верблюжонком. Так? Скрыл от людей, якобы не твои они.

– Да не скрывал я! Сам отдал. Без молока они.

– Этому мы не верим, табарыш! Так что не обессудь, ты, так сказать, на уровне кулака, если все сложить.

– Несправедливо! Ложь! Зря верблюдицу на меня записали. Обман! Клевета! У всех тогда считайте. И которая скотина в сарае, и которая у родичей!

– Жумаш, все-то при чем? – толкнул его кто-то.

– Других-то не пристегивай.

– Да вы что, я теперь – кулак?!

Жумаш, бедный, обмяк в мгновение ока. Дочь Наркыз, сидевшая рядом, побледнела – проклинала она на чем свет стоит уполномоченного и ту злосчастную ночку, когда он к ней приставал. А Бухарбай как ни в чем не бывало повернулся к Ждахаю – тот стоял на трибуне.

– Та-ак... Что ты, табарыш, насчет кулаков скажешь?

– Что скажу? Кулак есть кулак. Пусть получает положенное.

– От слово настоящего батрака! – торжественно провозгласил Бухарбай. – Кто еще желает сказать?

Никто больше не желал. Лис Курен, чтобы слышали все, пропел на ухо уполномоченному:

– А среди нас – Шеге, свеженький председатель артели. Почему он молчит? Вопрос злободневный, горячий. Или он не председатель?

– Э, верно, пусть выступит. Послушаем, – согласился Бухарбай.

Большинство выразило желание послушать председателя.

Улыбка, застывшая на губах Лиса Курена, взъярила Шарипа. Уж он-то понимал смысл этой улыбки. Под меня, гад, копаешь, ах ты лис, встал же я тебе поперек горла?..

Когда Шеге поднялся, в зале стихло. Хансулу разволновалась. Что-то сейчас произойдет, показалось ей.

Стало страшно. Хотелось убежать отсюда, от всех этих людей, грызших друг друга. Вон отец, потерянный, убитый сидит. Вон Шеге меж двух огней. Шеге, милый Шеге, не молчи! Единственная вера, единственная опора, Шеге, говори же!

– Кампания горячая предстоит, – сказал Шеге. – Товарищ уполномоченный прав, ее политическое значение велико. Поддерживаю и я как председатель политику уничтожения кулаков как класса.

Лис Курен расплылся в улыбке.

– Ты мне скажи, Шеге, – попросил он, подаваясь вперед. – Ты скажи, Шеге, Пахраддин – кулак или не кулак?

Довольный, откинулся аулнай к спинке стула. Глаза Шеге вспыхнули.

– Кулак! – выкрикнул он зло. – Кулак! Это вы хотели от меня услышать?

Всё! Вот она, катастрофа! Этого и боялась Хансулу. Будто ветер раскачал собрание – такие разыгрались страсти. Кто-то уже и кидался на кого-то. Хансулу зажмурилась.

Потом она услышала голос свекра:

– Ты... лис чертов! Ты что смуту разводишь?..

Хансулу открыла глаза, а Шарип расталкивая людей, пробирается к столу. Кому-то отдавил по пути ногу, у кого-то шапку с головы смахнул. Вырвался к президиуму, треух здоровенный с головы стянул и кинул на пол. Пыль взметнулась до потолка. Уполномоченный вздрогнул. Лис Курен почернел. Шарипу того и надо:

– Ты тут всё злодейство заворачиваешь... Ты – предатель! Кампанией, понимаешь, прикрываешься, чтобы народ сосать! Что, неправда? Середняка кулаком заделал. А я сейчас твое классовое лицо открою! Ты, ты – лис мажановский, ты, торгаш, все его байские дела на базарах обстряпывал. Говорил и буду говорить про твои дела! От так! Он тебя кормил, а ты Лис, его сожрал! Вот тебе и вся правда!

– Верно! Верно говорит! – закричали тут.

– Чистая правда!

– Несправедлив аулнай!

– Каспаков, прекрати! – вскипел Бухарбай. – Это саботаж! Прямой саботаж! Ты ответишь за это перед законом!

– Я?! Как бы не так! – Шарип подскочил к столу и, подступившись чуть ли не к самому подбородку уполномоченного, заверещал: – Ты, сын Игенсарта, ты кого из себя корчишь? Да знаю я и тебя, и твоего дерьмового отца! Что ты тут трясешься, кого закуном пугаешь? Не тебе меня стращать. Что мы – слепые? Только и знаешь что по бабам шастать да водку хлестать. Гляди, возьмемся за тебя скопом! Думаешь, управы на тебя не найдется? Знай, как Шарипа трогать!

– О, Шаке!

– Да здравствует голытьба!

– Вот так активист. Сказану-ул..

– Держись бедняк!

Шарип поднял с пола треух, вытряс его, нахлобучил на голову. С чувством исполненного долга пошел, не оборачиваясь, к дверям.

– Ох, Шаке! Куда вы? Собрание еще не кончилось, посидите, – заискивающе заговорил вслед Лис Курен, будто и не было неприятного для него инцидента.

Тот лишь рукой махнул. Громко хлопнул дверью.

– От так! – констатировал кто-то.

– Что ему собрание? Человек на съезде был..

После ухода Шарипа собрание не затянулось. Оставив Пахраддина и Кулатая в кулаках, а Жумаша в середняках, люди разошлись.

3

Снаружи темно. Ночь ветреная. Хансулу видела, как ушел с собрания отец, и теперь спешила, спотыкаясь на бегу, к юрте на окраине аула. Ее мысли – об отце. Ей хочется поскорее добраться до него, посрамленного, униженного в глазах большинства. Каково ему? Подвывающий морозный ветер обжигает лицо, норовит вытолкать в студеную степь. В ушах звучит: "Кулак! Кулак!" И кто ведь это сказал? Шеге. Ее вера, ее опора – Шеге... Это он так сказал! Чего, спрашивается, ждать от других? Одна надежда была у Хансулу и ее отца – Шеге. Погасла эта надежда. Одна опора – Шеге. Эта опора треснула. Обрушилось на голову небо. Пошатнулась под ногами земля. Что происходит с миром, что?..

Побрехивали собаки, гудел заунывно ветер. Не слышала Хансулу ни псов, ни ветра. Она слышала лишь собственный голос, повторявший смятенно: “Кончено все... Все погибло”.

Из тундика одинокой юрты на окраине аула вылетали искорки огня. Хансулу, борясь с ветром, отбрасывающим ее назад, ощупью набрела на дверь. Дома было светло. Жарко горел очаг в самом центре. Отец сидел согбенный, лицом к огню. Справа от него – мать. Обо всем, похоже, переговорили. Молчат. Вздрогнули, когда появилась дочь. Воззрились на нее, удивленные неурочным приходом.

Белая шаль сползла на шею Хансулу, стоит простоволосая. В глазах – страх. То на мать смотрит, то на отца. Пламя гудит-шумит в очаге. Ветер воет снаружи, рвет кошму на юрте. А здесь – тишина; трое взрослых людей слушают ветер и – молчат. Притихшие, как дети после страшной сказки. Мать, взяв кочергу, стала шуровать ею в очаге, разгребая угли. Пламя занялось жарче.

– Проходи, Сулужан, – сказала она.

Отец безучастно глянул на дочь. Хансулу, бросившись к матери, обняла ее. Обняла и – разрыдалась. Пахраддин посмурнел. Но не шелохнулся. Орудуя кочергой, которая была в левой руке, байбише правой погладила дочь по голове. Ни отец, ни мать не проронили ни слова, пока Хансулу плакала. Кто-то заскребся в дверь снаружи. Судя по тому, что Кутжол не залаял, свой человек. Кто-то вошел. Шеге. Застыл у порога, смотрит на Хансулу. У нее вспухли глаза. Сердитая. Вот-вот вспыхнет. Не зная, что сказать, Шеге затоптался на пороге.

– Я тебя искал, – пробормотал он.

– Не искал бы! – отрезала Хансулу, обжегши его взглядом.

Не посмев поднять глаз, Шеге прогундосил что-то под нос и бросился к выходу. Широко распахнул тяжелую дверь, исчез.

Опять нависла тягостная тишина. Пахраддин все глядел на огонь, горькие мысли ворочались в отяжелевшей голове. О чем-то думая, помалкивала и байбише, вскидывая свои красивые тонкие брови. Хансулу посмотрела вслед ушедшему Шеге... Гудел-потрескивал огонь в очаге. Выл

снаружи ветер, рвал кошму. Его вой – как предвестие надвигающейся беды. Жутко от этого воя, неспокойно на душе.

– Сулужан! – спохватилась мать, вставая. – Иди домой!

Начала стелить.

– Не пойду! Не хочу, – ответила Хансулу.

Пахраддин, зажмурившийся было, открыл глаза, вздохнул. Неодобрительно глянул на дочь. Но сдержался, не сказал ничего, хотя глаза говорили многое. Хансулу смешалась от его взгляда, боязливо поежилась.

– Не надо так, дочка, – урезонила мать. – Силком вас никто не женил. Из-за нас не ссорьтесь. Что Шеге? Все – от бога. Такая уж, видно, судьба наша. Ступай, будь умницей!

Хансулу, сверля взглядом пол, продолжала сидеть. Мудрая, много повидавшая на своем веку Сырга-байбише подошла к дочери, приласкала ее. Руки матери нежно касались волос, шеи, спины. Они снимали боль с души. Хансулу оттаивала. Потом встала и пошла.

Мать проводила ее.

...Шеге лежал отвернувшись лицом к стене. Кизяк в очаге угасал; пробежит по головешке слабое, едва тлеющее пламя – и пропадет. Лечь отдельно – другой постели в доме нет. Пришлось пристроиться рядом, лицом к очагу. Шеге не спал, вздыхал. И Хансулу не спала. Она думала. Опять собрание перед глазами. Все можно простить, но как простишь такое?.. Бросить в лицо отцу: "Кулак!" Ластится к ней, когда одни, люблю-горю, говорит, а до дела дошло... Э-эх! Слова не мог сказать в защиту, комсомольцем, глядите-ка, заделался неподкупным! Ни слова, ни слова не мог сказать, мало того, что не защитил, еще ведь и прокричал публично: "Кулак!" Это ее-то отец – кулак?! Никогда. Хансулу не думала о Шеге так плохо, как в этот час. Он был для нее хуже врага...

Шеге, вздохнув, перевернулся на спину. Открыл глаза. Угольки в очаге погасли. Темно. Ветер. Все тот же ветер. Не уймется. И у него в голове – ветер, холодный, вышибающий слезу из глаз. Грудь жжет злость, необъяснимая, непонятная ему самому. На ком ее сорвешь? Не на ком. Но почему, почему за то, что он сказал правду, а ведь он сказал правду, он же и виноват?! Может он в

том виноват, что дочь кулака взял в жены? А может, и не он виноват, а Лис Курен, потому что спровоцировал его на такое выступление? Или Пахраддин, потому что некогда был состоятельный. Или Хансулу, потому что не за правду встала, а за отца? Кто виноват во всем, что происходит? Кто виноват в смуте, которой нет объяснения? Кто, кто виноват?!

4

Всю неделю аулы на плато Устюрт бурлили. Днем и ночью собрания. От уполномоченных на взмыленных конях нет спасения. Мнения среди населения относительно кулаков самые разные. Кто-то высказывается за политику партии, чтобы кулаков как класс ликвидировать, а другие, наоборот, против; народ темный, к тому же не оставляющий мысли о кочевничестве, волновался, не зная доподлинно, чего держаться; каждое новое собрание обрастало слухами, причем таких фантастических размеров, что казалось, под угрозой – благополучие каждого. Из-за излишнего усердия некоторых гореактивистов в самых разных местах целыми аулами сбегали из артелей. Активисты их, конечно, преследовали, такая у них была работа, и, если преследование заканчивалось удачно, степняков снова заталкивали в коллективы; аксакалов, старых и средних лет, милиционеры как подстрекателей гнали в район. Те же из мужчин, что помоложе и посмелее были, что не желали привычной воли менять на узду, подались в степь. Прозвались басмачами. Промышляли они на дорогах. Стали убивать уполномоченных. Советская власть, объявившая им борьбу, опиралась на голытьбу, которую так и прозвали: "красная палка Советов". Эта палка ощутимо прошлась по спинам баев и кулаков – многих в ту пору согнали с родных земель, много скрипучих арб потащились к станциям. Аулы утонули в прощальных слезах и причитаниях.

По единственной тропе, идущей из "Жанажола" в Наркамыс, трусит Пахраддин. Тропа, поднявшись на перевал, спустилась затем по склону на желтое плоскогорье. За Пахраддином на коне рысит Сур Жекей. День ясный, полдень, ни малейшего дуновения ветерка. Степь

просматривается отчетливо, как на ладони. Вон вдалеке, справа, – Акшокы, а слева – Ханторткил Знакомый глазам край в ореоле желтых и черных теней. Знакомые глазам кусты баялыша по низинам; изень, полынь, пырей – по песчаным гребням; будто замерли растения, затаились, глядя вслед Пахраддину, уж его-то они знают. Так, во всяком случае, Пахраддину кажется, будто кустарники его – провожают. А что? Эта земля – с ее оврагами и лощинами, с ее многочисленными тропами и тропками, заросшими пообочь устели-полем, зверобоем, ковылем, покрытыми белесым слоем дорожной пыли, – близка ему; она – очевидец его жизни, начиная с самых ранних, детских и юношеских, лет... Все-все вспоминается теперь, все оживает перед глазами. Чем больше он думает о прожитом, тем очевиднее встает вопрос, ранящий душу: "За что? За что-о?.." За срок, отпущенный ему на земле, люди узнали его как бия. С малых лет он отличался тягой к справедливости, что потом стало для него жизненным правилом. Участвовал в тяжбах. Сначала выделялся среди ровесников. Что обыкновенно решал Пахраддин, с тем соглашались и спорящие. Возмужали ровесники, стали взрослыми, обзавелись семьями; вырос, обзавелся семьей и Пахраддин. Жизнь не стоит на месте. А там, где жизнь, там житейские заботы, склоки, ссоры. Жизнь не обходится без тяжб, они сопутствуют ей. Степному люду, слыхом не слыхивавшему о суде и тюрьмах, истина необходима как воздух. Вот и шли они к Пахраддину как к объективному началу, мерилу справедливости, шли, короче, к тому, кого знали. Верил народ Пахраддину. Через них, через людей, и заслужил Пахраддин славу бия, они сами возвели его в судьи. За мудрость, за объективность ценили его, уважали.

Баев, положим, было за что хватать: за скотину, от которой ломились дворы, за золото в сундуках, которое они утаивали. А середнякам, подобным Пахраддину, за что ответ держать?! Но такая сегодня политика, к сожалению, – ветру она уподобилась, который сотни раз за день меняет направление. В результате такой политики, точнее, в результате одного собрания и он, Пахраддин, –

нынче кулак. А кулаков как класс Сталин велит уничтожать. Сам про это в газетах читал..

Нынешний утренний час подходил к концу, когда объявился Сур Жекей. Похоже, из райцентра, из самого Наркамыса. Лицо, всегда смуглое, черно, будто пожар где тушил. Ни приветствия, ничего.

– В район пойдешь! – говорит.

Сырга перепугалась. А он смотрит на милиционера, не поймет, зачем ему в район, а тот его поторапливает: скоренько, скоренько, говорит.

– Нельзя ли узнать, браток, зачем? – спрашивает он.

А милиционер:

– Пойдешь – узнаешь. Давай-давай!

Такой вот разговор. Пахраддин поднялся, накинул на ходу чапан, молча пошел. Сырга что-то сказала. Не услышал Пахраддин.

– За конем я, – говорит.

Милиционер вне себя:

– Не надо коня! Пехом... пехом просвежишься!

С той минуты и трусит. Только замедлит бег, слышит свирепое:

– Марш!

Сур Жекей командует по-русски. Надо полагать, для устрашения. В руке – камча. А что? Ударить он может. С него, милиционера, станется. В восемнадцатом году, говорят, он каких-то баев из Оя в степи расстрелял – без суда и следствия... Пот крупными каплями катит с Пахраддина. На плече – коржун. Он не тяжел. Бедняжка Сырга заталкивала туда что-то обернутое в полотенце, не то хлеб, не то смену белья. Грузен Пахраддин, вот и трудно ему бежать, задыхается, постанывает на ходу.

Сур Жекей молчит. Видит он, каково Пахраддину, но не сочувствует ему. Напротив, чем больше тот стонет, тем большее удовольствие испытывает. Пыхти-пыхти, думает, тебе на пользу, когда-то и я, будучи сиротой, пыхтел, когда овец у бая Есенкула пас. Босиком бегал, а вы, сволочи, на конях разъезжали. Плевать вам было на мальчугана у отары, размазывающего слезы по лицу. Вы разве считали его за человека?! Нет! Побегайте вот теперь, потрясите брюхом перед вчерашним сиротой Жекеем! У него такая рана на душе – врагу не пожелаешь. Вечна эта

рана, не зажить ей, разве что боль иногда снимешь слезами вот таких, что в шелковых чапанах перед ним трусят. Есенкула он тоже по этой дорожке гнал. Пешочком. Руки ему за спину скрутил – и вперед! Как последнюю скотину гнал. Не хотел, толстозадый, пешочком, а он его камчой – поперек лба! Всю ненависть в удар вложил – за унижения, за слезы детских лет. О, если бы видел кто, как затрепетал Есенкул, когда он, Сур Жекей, наган из кобуры вытащил! Как вспомнит Сур Жекей, тепло у него по телу разливается, так ему хорошо и благостно делается. Вытащил он наган и говорит, сейчас я с тобой, сын собачий, за все посчитаюсь... Одной-единственной свинцовой пулькой. И наган, значит, ко лбу. Есенкул – на колени, рыдает; голубчик, говорит, да я ли тебя не кормил, да я ли тебя грамоте не учил? Не стал стрелять Сур Жекей. Положил наган обратно. Ему то и надо, чтобы Есенкул перед ним на коленях повалялся. А рыдал-то как, пес!.. Сейчас бай в тюрьме, а перед Жекеем теперь Пахраддин трусит. Пот у бедняги пятнами по спине пошел – прямо через одежду. Не бай и не бедняк Пахраддин, образованный человек, бий, уважаемый в народе. Заговорит – так все, считай, в рот ему смотрят, такой он краснослов. И стар и млад с почтением к нему относятся, как к справедливейшему в округе человеку. Что бы, спрашивается, его гнать? Да в том-то и дело, что Сур Жекею не Пахраддин нужен, а его братец Азберген. Тот, стервец, почувствовал, что несдобровать ему, улизнул из рук. Ах как он нужен Жекею!.. Азберген!.. Вот кого бы заставить посопеть пешочком да в тюрьму. Но Азбергена нет. Зато есть Пахраддин. Чист перед народом, перед богом, но тому злодею – брат...

Глядя на широкую, во влажных пятнах спину Пахраддина, Сур Жекей почему-то взъярился. Поддал коню в бока. Жеребец всхрапнул, скакнул вперед. Сшиб грудью Пахраддина, тот упал. Сур Жекей натянул поводья, останавливая разгорячившегося жеребца. Развернул его, поглядел на Пахраддина. Тот, опершись на руки, сплевывал песок, набившийся в рот, вытирая рукавом мокрое лицо, стал подниматься.

Сур Жекей терпеливо ждал, пока он поднимется. Лошадь поставил поперек тропы, преграждая дорогу. Весь

внимание и слух. Ждет, что скажет Пахраддин. Тот поднялся. Снял с плеча коржун, бросил на землю. Отряхнулся, не смотрит на Сур Жекея. Милиционер в ожидании того, что он скажет, стал пепельно-серым, молчит, ест глазами.

Пахраддин заговорил, когда привел себя немного в порядок.

– Браток, – начал он, – зачем, я думаю, тебе меня мучить? Смерть, считай, одна. Чем вот так унижаться, а потом в вонючей тюрьме кончаться, давай-ка я, браток, здесь, в степи привольной, останусь. Пристрели и оставь, вот и просьба, родной!

Сур Жекей не издал ни звука. Молча сошел с коня. Спутал тому ноги. Взял в руки наган, оттянул курок.

– Вот так, сделай милость, уважь старшего брата, – повторил Пахраддин и отошел шагов на шесть назад, облюбовав себе крохотную, с густой жухлой травой лужайку. Встал боком. Не хочет видеть Жекея.

У милиционера вислые губы собрались, в трубочку, зашевелились тараканьи усы. Поднял вытянутую руку с наганом, в висок прицелился.

Стало тихо. На миг установилась великая тишина. Даже конь милицейский замер, выжидательно уставившись на людей.

В сердце Пахраддина не было страха. Как говорил Абай, "к чему мытарства в жизни и униженье, когда в могиле отдохнуть возможно?". Он и решил – отдохнуть. Устал, жить устал. Невысокий хребет вдалеке пересекал степь. За ним – аул, в ауле – Сырга, Хансулу. Бедняжка Сырга, ее жаль больше всех. Он даже и голос причитающий услышал. Его суженая... Его единственная любовь... Вот уж кто хлебнет горюшка без него! Он-то что? Он – ничего. Умрет и уйдет. Был он – и нет его. Где-то в вышине запел жаворонок. В полыни под ногами застрекотали кузнечики. А Пахраддин стоял и ждал звука, одного-единственного, который все, что он сейчас слышит, оборвет – раз и навсегда. Отойдет Пахраддин в небытие. Там он ничего не услышит... Но выстрела, как ни странно, не последовало, и Пахраддин повернулся к врагу.

Сур Жекей, так же вытянув губы трубочкой, вкручивал цигарку из махорки. Наган – в кобуре. Будто забыл про

Пахраддина. Вот тогда и почувствовал Пахраддин, как стучит его сердце, как пронзительно звенит в ушах. Одрябло тело, так расслабляется, раскручиваясь, нить в мотке; Пахраддин рухнул на землю как мешок. Опустился рядом с муравейником. Снующие туда-сюда мураши, о создатель, продолжали свое нескончаемое действо, как будто ничего, ничегошеньки не произошло. Их суетное движение, получается, продолжалось бы, как вчера, позавчера, как всегда – и несколькими минутами назад, когда его, Пахраддина, не стало бы?! О, подлый мир, как ты коварен!..

5

Пахраддину повезло: на одной из улиц Наркамыса он случайно попал на глаза председателю райисполкома, а то бы, как знать, пропадать ему в неизвестности, как многие тогда пропадали. Афанасий Васильевич проезжал на коне, когда среди арестованных, месивших глину на улице, он увидел Пахраддина. Срочно вызвал к себе в кабинет Сур Жекея, велел после обеда доставить Пахраддина в РИК.

За два дня пребывания в тюрьме Пахраддин сильно сдал. Когда его, грязного, испачканного глиной, милиционер повел в РИК, он не мог понять, кому он понадобился и зачем. И только когда в распахнувшуюся дверь он увидел склонившегося над столом Афанасия Васильевича, глаза его озарились светом. Худой пожилой русский был ему сейчас ближе брата. Они обнялись. На глаза Пахраддина навернулись слезы. Он был рад неожиданному вмешательству Апанаса в ход событий, решавших его судьбу: теперь он чувствовал, его дела поправятся, должны, во всяком случае, поправиться.

Когда они остались наедине, Пахраддин без обиняков выложил Апанасу все, что у него накопилось на душе. Не скрыл и своей обиды на Советскую власть, сконцентрировав внимание на таких ее "деятелях", как Лис Курен, Бухарбай, Сур Жекей, которые, по его мнению, дискредитируют власть в глазах народа. Их действия, подчеркнул он, противоречат указаниям Ленина в проведении кооперирования на национальных окраинах.

Афанасий Васильевич задумался, крепко задумался. На лице обозначились морщины, следствие его трудной жизни. Все-то этот чуткий человек принимает близко к сердцу. Зашагал он взад-вперед по кабинету. Долго покряхтывал, поглядывая на невольного посетителя.

– Э-э, друг мой Пахраддин, – сказал он. – Если бы дело было в Бухарбае и Сур Жекее, это, скажи, полбеды бы. Дело ведь не в них, милейший...

Пахраддин, развернувшись на стуле, вопросительно уставился на предрайисполкома.

– Не в них дело, голубчик ты мой, – повторил он.

– Не в них. Пойми, кругом враги. У государства нет сил. Чтобы они были, силы-то, заводы нужны, техника нужна. А чтобы построить заводы, хлеб нужен, мясо рабочему человеку, который их строить будет. Хлеб и мясо – у кулака. Купить – денег у государства нет. Что делать? Ликвидировать кулака как класс и все у него изъять: продукты, скотину. Ты вот не кулак. Середняк.

– Кулак я, кулак, Апанас. Собрание решило.

– Ах так даже? Плохи твои дела раз кулак. Раскулачивать будут, изымать скотину и зерно.

– Ну а что же кулаку тогда? С голоду помирать, все государству отдав?

– Во-о... Советская власть тоже помирать не хочет. Никто с голоду помирать не хочет. Ты меня понял?

Подобное Пахраддин слышал впервые. Переменился в лице.

Афанасий Васильевич прохаживается по кабинету.

– Хоть и горькая, но такая вот истина, друг мой Пахраддин. Государству зерно требуется, мясо требуется. Не могу сказать, что ситуация в скором времени изменится. Слыхал? "Не сметь против Голощекина переть! Никому – ни жита, ни копыта!" А ведь не зря, скажи?.. Все лишнее – государству. Так что сложно сейчас тому, у кого какая-никакая скотинка водится, будут тучки над головой...

Предисполкома задумался.

– Я ведь с Калашниковым, бывает, до белого каления, а откуда оно, брат, все идет? Оттуда, – и Ананас показал на потолок. – Сам с некоторых пор дошел, понимаешь?

Пахраддин ошалело вылупился на потолок.

– Что я для тебя могу сделать, так дам-ка письменное разрешение на выезд в любом направлении, по твоему выбору. Это, к сожалению, все, что в моих силах...

Так заключил Афанасий Васильевич и вздохнул.

С этим документом Пахраддин вернулся, опустошенный, в “Жана жол”. Лис Курен, увидев подпись предрайисполкома, почесал затылок. Тем не менее Шойынкару, по его же воле ставшего коллективным достоянием, он не вернул. Вместо него двух других верблюдов из общественного стада выделил – с виду смирных, покорных. Не желая унижаться перед врагом, Пахраддин не стал настаивать на любимце-наре. Так поздней осенью 1929 года куцее, похожее на вдовье кочевье Пахраддина двинулось из аула. Вместе с Пахраддином покинула аул и мать Булыша – Дау-апа.

– У вас нет разрешения на выезд, – попробовал опротестовать ее желание Лис Курен. – Бумага, Дау-апа, нужна, вот как у Пахраддина.

Старуха ему и отрезала как всегда:

– Бумага тебе, может, и нужна, а мне ее не надо! Жила до сих пор без нее, без бумаги, а теперь жить осталось сколько козе, бог и без нее меня приберет. Вот так!

Громко говорит Дау-апа, все ее услышали, а Лис Курен знал, что мужеподобная старуха так ему и ответит, потому и пугал “бумажкой”, чтобы она при всех высказалась: тем он себя избавлял от последствий, которые мог иметь как аулнай за ее исчезновение.

Многие аулчане пришли проводить Пахраддина. Когда груженные поклажей верблюды поднялись на ноги, женщины расплакались. Старухи по очереди обнимали Дау-апу.

– Может, не свидимся, – говорили они. – Так пусть тебя бог хранит...

И Торка приковыляла. Утирая жаулыком глаза, припала к Пахраддину, запричитала:

– Не раз за твоим дастарханом сиживала. Прости, если что не так тогда сказала...

Другие старухи еще больше разревелись:

— Ойхо-ой! Сколько жили вместе, как родные уж...

Кочевью пора было трогаться.

Туманное зимнее небо. Недвижная снежная степь. Равнодушна она к людским причитаниям.

– Апа! Апа! – заливалась слезами Хансулу, не в силах оторваться от матери.

Плакала, сотрясаясь плечами, и Сырга-байбише... беззвучно плакала.

Пахраддин в дорогу оделся тепло. Безмолвствует. Впереди дальняя дорога, чужие люди. Что ж, он готов схватиться с жестокосердною судьбой, с неизвестностью. Аллах свидетель, он не хотел покидать аула, не хотел..

С того самого мгновения, как понял он, что покинуть аул придется, что это для него – неизбежность, проснулась в нем старая боль. Два дня саднит рана. Пахраддин подумал о своем одиночестве. Горько ему, что в трудный для него час нет рядом сына, готового последовать за ним, готового поддержать в дороге. Были бы живы Али и Кали, слов нет, не испытывал бы он скорби, не терзался бы... И кочевье было бы полным. Безжалостна ты, судьба, ох-как безжалостна!..

Хансулу подбежала, обняла:

– Коке!

Дрогнули плечи Пахраддина. Хорошо, Шарип вовремя вмешался:

– Что это вы все расхлюпались! – говорит. – Кончайте! Вот же соседи наши – каракалпаки. Рукой подать. Ай-ай! Свидимся еще, даст бог. Ох, бабы, им бы только поскулить...

Так простился "Жанажол" с кочевьем Пахраддина.

...Тянулась белая гладь, унылая, удручающая. Длинные, тоже белые, но с темными склонами гребни перечеркивали ее поперек. Из-за горизонта, далекого-далекого, выкатывалось солнце – холодное, без тепла. Туда, в сторону солнца, и двинулось кочевье. Медленно, но верно оно погружалось в горизонт.

6

Сколько времени не сходит с головы Шойынкары недоуздок, а со спины жазы – опора для вьюка?! Вот и сейчас, навьюченный, с косяками собратьев и лошадей, с отарой овец тащится он к зимовью в Саме. Старое зимовье,

теплое зимовье в песках посреди саксауловых деревьев. Знакомо оно Шойынкаре. Истосковался он по нему. Но необычное нынче кочевье: мало, очень мало следует с ним людей. Потому мало, что "Жанажол" остался зимовать в Ханторткиле, в пески с семьями лишь пастухи подались – Каукаш и Серикбай, а с ними Ждахай и Шеге. Всю аульную скотину они гонят, исключая ту, что на забой отобрана. Шеге, как только определит на месте пастухов, вернется, а Ждахай останется в Саме на всю зиму как бригадир. Новое назначение позволило Ждахаю заявить единоличные права на Шойынкару. Возликовал он, когда знаменитый в округе нар с его высоченным горбом и валкой, удобной для седока поступью, остался за ним – да ведь не на день, не на два, навсегда, считай; не скоро он, Ждахай, с бригадиров-то уйдет...

– Сечешь, чудак? – хохотал он, занося камчу над наром. Он обращался к Шеге. – Что значит новая жизнь, а? Ты на дочку Пахраддина залез, а я на его верблюда, ха-ха! Чу-у, зараза! Шевелись!

Шеге не слышит Ждахая. Не до Ждахая ему.

В океане дум Шеге. Не выплыть ему никак – не видать берега. А думает об одном: о собрании том злополучном, об отъезде Пахраддина, об их с Хансулу отношениях, которые далеко уже не прежние. Разобиделась на него Хансулу. Позовет он ее: "Сулу!", а она: "Чего?" И тигрицей смотрит. "Что теперь? И поговорить нам с тобой нельзя?" – "Нельзя, – отвечает Хансулу. – Я – кулацкая дочь". В постели ложится к нему спиной. Обнимает, а она его руку сбрасывает: не тронь, говорит, кулацкую дочь, нельзя, говорит, тебе, председателю, с кулацкой дочерью якшаться. Из-за чего, спрашивается, она так? А из-за того, что он отца ее, видите ли, не защитил. Вся и обида. Но как, как мог защитить Пахраддина он, если и Апанас – уж какой влиятельный человек! – и тот не защитил? Тысячу раз объяснял он ей это, а она – дуется. Кто – прав? Кто – не прав? Об этом и думает Шеге. Но ответа на этот вопрос не находит.

К могиле батыра Барака к заходу солнца ранее других поспели трое: Ждахай, Раш и Серикбай. Они ехали налегке. Без скотины. Шеге остался с погонщиками. Задача троих – подготовить для всей группы удобное для ночлега место.

Квадратное сооружение с четырьмя ушками по углам на заросшем ковылем кургане – могила батыра. Чуть ниже – кладбище, на котором в разное время были погребены другие видные люди округи. Склон пестрит захоронениями. На песчанике в изголовье могилы Барака древний, высохший на солнце и ветру саксаул со множеством разноцветных лоскутов на сучьях. Казахи называют его священным. В лучах заходящего солнца дерево отсвечивает алым, будто горит; кажется, самой судьбой оно вознесено, над степью, чтобы хранить покой уснувших тут сыновей степи.

– Уа, дед святой, лежишь? – еще издали прокричал Ждахай, явно рисуясь перед спутниками "новизной" своего отношения к усопшим.

– Сдурел, что ли? – возмутился Серикбай, оборачиваясь.

– Ты, ты кому – "сдурел"? – Глаза Ждахая вытаращились как у дикого козла.

– Святое же место, вы что? – укорила их Раш.

Ждахая и вовсе прорвало:

– Ты это кому "сдурел", а? – заорал он, подгоняя верблюда к Серикбаю. – Ты давай пасть поменьше открывай, а то мне раз плюнуть – на сторону ее свернуть! Кто здесь бргад[1] – ты или я?.. Вот-вот, осмотрись маленько!

– Да что это с вами, в самом деле! В таком месте... Грех-то какой! – Раш опасливо покосилась на вершину кургана.

Серикбай промолчал. Он переварил то, что сказал Ждахай: бригадир-то и правда не он, что на скандал нарываться?.. Ждахай, лупцуя Шойынкару, погнал его мимо могилы.

– Что он делает?! – вырвалось у Раш. – Помолиться ведь надо, с коней сойти... – Она придержала свою лошадь.

– Ну и молитесь на здоровье! А я вам не мулла! – бросил им Ждахай не оборачиваясь.

Раш и Серикбай остановились. Ждахай, проехав чуть вперед, оглянулся. Его спутники, сойдя с коней, о чем-то переговаривались: они стояли близко, почти соприкасаясь головами. Ясное дело, его обсуждают. Ну, востроглазый, погоди! И ты, плутовка, вижу не прочь его приголубить.

[1] *Бргад* – искаж. от "бригадир".

Злой, опустил Шойынкару на колени неподалеку от ковыльного кургана, с подветренной его стороны. Снял поклажу. В коржуне – две бутылки водки, он вынес их тайком из дома родителей; одну еще в дороге раскупорил, прикидывался, что замерзал. И сейчас вот глотнул – раз, другой. Сразу стало тепло. Серикбай и Раш, обсуждая его "дурость", возились где-то там, где он их оставил, ему и голоса их почудились, и даже смех. Вон как! Да кто здесь, в конце концов, бригадир? Кто начальник?!

Вновь взлетел он на освободившегося от груза Шойынкару. Наученный горьким опытом общения с этим человеком, верблюд вскочил, не дожидаясь камчи. "Молящиеся" шли навстречу, лошади, как и положено в святом месте, в поводу следовали за ними.

– Это что за гулянки? – напустился на них Ждахай. – Чем огонь разводить? Где шалаш? Я вас спрашиваю, это что за беспечность?

Начальник есть начальник. Он волен распекать.

– Ты! – Ждахай повернулся к Серикбаю. – За топкой, живо! Не подыхать же тут с холоду!

Серикбай исчез, захватив топор.

Ждахай и Раш принялись за шалаш. Работают молча. Но и ей, улучив момент, выдал:

– Еще раз увижу, что с ним, с востроглазым, балакаешь, – прирежу! Ей-богу!

Раш только рассмеялась.

– Ты про это Наркыз скажи! – говорит.

Серикбай притащился с охапкой сухостоя.

– В могилу бы тебя, к дедам, зараза! – обругал его Ждахай. – Ну кто в холод сушняком греется?! Он же сгорает быстро! Саксаул где?!

– А нет его, где взять? Могилы там, как возьму-то?

– Что-о? Загнуться теперь, раз могилы?!

– Боже сохрани! – простонал Серикбай, вскидывая на него глаза, полные ужаса.

– Не смейте трогать священные деревья! – встрепенулась и Раш.

"Заступница", – подумал Ждахай злорадно.

Заткнул топор за пояс и вскочил на спину лежавшему Шойынкаре. Шойынкара бежал во весь опор, далеко

вперед выбрасывая голенастые ноги. Ноздри у него – что мехи, на всю степь шумят. Очень скоро они были у захоронения святого человека. Ждахай не впервые на могилах. Случалось, и ночью забредал. Ничего пока с ним не произошло. Чего бояться? Всякая могила – лишь горка земли. Ждахай оглянулся: Раш и Серикбай забрались на холм, за ним наблюдают. Солнце уже зашло, потемки сгущаются, а у них – ни-че-го! Вот так подготовили место!..

Ждахай остановился у священного дерева, у того, которое в лоскутьях. Рубить – так его! На мазар деда Барака – квадратный, с четырьмя ушками по углам и месяцем при входе – он глянул лишь краешком глаза. Прямо посмотреть не посмел. Дерево трепетало на ветру своими разноцветными лоскутами; в разное время оставлялись они на нем путниками в дань памяти тем, кто здесь успокоился, оттого дерево и священно.

Ждахай опустил Шойынкару на колени. Что-то, кажется, закричали там, сзади. Пусть повизжат. Саксаул высокий, разлапистый. Обошел он его с крепким конопляным арканом в руках. У корня ствол толщиной с верблюжье бедро. Топором, считай, до утра махать придется, пока перерубишь. Потому, пока не стемнело, он этим труливым зайцам покажет, какое у него, Ждахая, железное сердце. Одним концом аркана он обвил дерево у основания, а второй привязал к поясу Шойынкары. Вот так-то!

Глядите теперь! Смачно, с размаху оттянул камчой по боку верблюда. Вскочил бедный Шойынкара как ошпаренный. Не ждал, видно, удара. Бросился вперед – аркан впился ему в грудь.

– Ынк! – вырвалось у животного непроизвольно.

Саксаул не дрогнул.

– О-ой, предков твоих в душу!.. Ты что-о?! – возмутился Ждахай, замахиваясь камчой.

Ох как приелась Шойынкаре камча! Всю дикую силу свою вложил он в рывок. Саксаул качнулся. Но по-прежнему остался на месте.

Ждахай был близок к умопомешательству.

– У а, деда твоего... чу-у! – взревел он. – С корнем справиться не можешь, какой же ты после этого на-ар?! – и давай лупцевать несчастное животное – ни дать ни взять бахсы, обезумевший от своего бессилия.

Шойынкара и голову к нему повернул, будто что-то хотел сказать – не переносил он камчи, он и без камчи был исполнителен, – да кончик камчи, отяжеленный свинчаткой, как раз в это время угодил в глаз. Темно стало в нем – верблюд замотал головой.

– Мало тебе? Так вот – получай еще! На, кулацкая скотина, на!..

Разошелся Ждахай – бьет без разбору. После каждого удара рассекается кожа. Кровь из разбитого надбровья потекла в изувеченный глаз. В нем все еще темно.

Если Шойынкара и испытывал когда-то унижение, так только от людей, когда они его били. Но и, претерпевая это поганое для себя состояние, он – хотя бы приблизительно – предполагал, за что получает наказание. Сейчас Шойынкара не понимал, за что истязает его идиот-хозяин. Хорошо бы камча касалась бока или спины, это для него значило бы: "Тащи!", "Круши!", "Вали!" или еще что-нибудь в этом роде; все зависело от того, какой работой предстояло заняться. Но почему били по голове?.. Для него это ново. Саднил глаз, тело горело, как на пожаре; злоба, негодование, протест закипали в нем. Сила, дикая, неистовая, готовая все под себя подмять, распирала грудь. Застонал он, черный, грозный, как туча, которая вот-вот низвергнется ливнем. Глухо, утробно рыкая, покачиваясь на ходу, он обошел ствол. Последними матерными словами поносил его хозяин. Что бы другое, может, нар и не понял бы, но матерщину, которой одарял его постоянно этот двуногий, он различал, она-то и сопровождалась побоями. От ярости он заскрежетал зубами.

– А-а, зараза! Сдохни, раз тебя на саксаул гнилой не хватает! Сдохни! Что зубами-то скрипишь?

Камча прошлась по мощному бедру. Это было уже понятнее, это значило – тащи! Шойынкара собрался. Подсознательно, чутьем одуревшего от боли животного чувствовал он – последний будет рывок. Или он сломает дерево – или дерево его. Чудовищная, невероятная в своем

напоре сила всколыхнула его, и он кинулся очертя голову вперед.

– А-а-ап! – подсобил ему криком Ждахай, хлопая себя по ляжкам.

Никогда Шойынкара, с тех пор как он Шойынкара, не выкладывался так, как в этом последнем, отчаянном усилии выиграть поединок. И стороннему глазу ясно: выстоит кто-то один. Или дерево, или животное. Лишь бы земля давление опорных ступней Шойынкары выдержала. Но – не выдержала земля, провалилась куда-то, и задняя нога нара по щиколотку ушла в пустоту. Влекомый великой силой инерции, Шойынкара упал.

Что-то треснуло.

Ждахай подумал, вывернулся саксаул, но нет – цело и невредимо стояло дерево. Обошел Ждахай Шойынкару, дрожащего, мокрого, и увидел: кость из земли торчала, белая-белая.

Присел было Ждахай, чтобы получше осмотреть перелом, но раздалось злобное: "Аф!" – что-то в ту же секунду хватануло его с неимоверной силой за плечо, отшвырнуло прочь. Ждахай покатился со склона вниз, аж земля в рот набилась. На миг, на короткий миг успел он увидеть холодные, сверкающие глаза Шойынкары. "Все, – подумалось ему. – Все! Он меня загрызет!"

– Ойбай! – возопил он, вскакивая на ноги, и – побежал.

Но не преследовал его Шойынкара, не до Ждахая ему было. Он и с места-то не сдвинулся. Лежал, возвышаясь горой. Только отбежав, Ждахай ощупал плечо – оно было целым. Зубы нара кусок рукава у телогрейки отхватили, вместо него зияла дыра. Ждахаю стало страшно, затрясся телом. Вокруг темно. Погонщики уже подходили, он даже верблюдов впереди увидел. Заметался: что скажет Шеге? Тьфу! Какой конфуз!

По склону карабкался Серикбай. В темноте белеют зубы, кажется, что скалится он, издевательски скалится. Подает руку Раш, она сзади. Ишь, торопятся, друг друга волокут, рады над ним посмеяться. Сгорел Ждахай от невезения.

– Что случилось? – спросили оба, Раш и Серикбай, когда взобрались. Запыхались.

– Нар убился. То и случилось, – бросил Ждахай.

Шойынкара лежал, чуть скошенный набок, его большая голова сиротливо торчала над землей, он постанывал. Весь в крови. Правый глаз закрылся.

– Шойынкара, бедненький...

– Грех-то какой...

Раш и Серикбай обошли нара. Увидели сломанную голень. Покачали головами:

– Конец ему теперь...

– Конец так конец! – прорвало Ждахая. – Сопли, понимаешь, распустили. А топка где? Топка где, говорю? Времени нет над верблюдом плакаться!

– А твоя топка эта, что ли? – не остался в долгу Серикбай, показывая на верблюда.

– Что ты сказал, эй! – взвизгнул Ждахай, не знавший, к кому придраться.

– А что слышал. Вот это, что ли, говорю, твое топливо? – и опять показал на верблюда. – Нара убил... Нара из наров... эх!

Ждахай кинулся на Серикбая. В мгновение ока Серикбай, длинный, худой, оказался под ним. Лупит его Ждахай – по голове.

– Ойбай! – кричит Раш. – Прекратите! Прекратите!

Схватила Ждахая за руку. Ждахай и ее не пожалел – стукнул по лбу. Отлетев, женщина растянулась навзничь.

7

Полуденное время. Небо с утра обложено тучами. Повалил снег. Хлопьями повалил. Первый снег. Поздно он нынче выпал. До зимовья в Саме недалеко, и погонщики решили пообедать в юрте. Только к столу блюдо с мясом прирезанного вчера Шойынкары подали – аппетитно подрагивали на пару жирные оранжевые ломти горба, – расшумелся снаружи Борибасар. Сотрапезники переглянулись – кто там мог быть?

Простучали конские копыта, кто-то спешился, и дверь широко распахнулась. Гость шагнул через порог, уж очень большой, едва помещается в юрте. В руках – ружье. Ушанка надвинута низко на заросшее бородой лицо. Шуба старая, кустарно выкрашенная. На носках больших сапог-саптама со вдетыми в них войлочными голенищами лежит снег.

– Не двигаться! – басом прогремел человек, направив на хозяев ружье. Тон резкий. Ослушаетесь – пристрелю, так, видно, следовало такой тон понимать.

Никто не двинулся с места. Глаза незнакомца остановились на старой винтовке, она висела на стене.

– Подай-ка, – велел он Раш.

Голос знакомый. Шеге, мучительно размышлявший, кто бы это мог быть, вдруг воскликнул:

– Булыш-ага!

И вскочил, порываясь к нему навстречу. И остальные повскакивали:

– Булыш?!

– Ойбай, Булыш?!

– Ассалаумагалейкум, Булыш ага!

Но радостные возгласы не смягчили выражения лица гостя.

– Давай сюда! – прикрикнул он на Раш, замешкавшуюся с винтовкой. Взял, рассмотрел. – Чья винтовка?

Все посмотрели на Каукаша.

– Скотину охранять дали, государственная винтовка, – ответил тот.

– Где патроны?

Все в недоумении. Человек у порога – Булыш, но по тому, что делает, – не Булыш. Чужой, незнакомый им головорез, такой никого не пожалеет.

Каукаш, засуетившись, вытащил узелок, который завалялся между двумя большими тюками, отдал Булышу. Тот сунул узелок за пазуху. Затем, указывая на Шеге и Ждахая, сказал:

– Вы двое, вынесите-ка один из этих мешков.

– Голодом, браток, уморить хочешь? – не удержалась жена Каукаша.

– Ты! – зыркнул на нее глазами Каукаш.

Глаза Булыша впились в жену Каукаша.

– Правительство вас не заморит. Оставшегося мешка мало, что ль? Хватанули, – с этими словами Булыш покинул дом.

Снег по-прежнему валил хлопьями, вокруг белым-бело. Шкура освежеванного верблюда лежала перед порогом.

– Шойынкару, что ли, прирезали? – спросил Булыш.

– Да, – ответил Шеге.

– Другой скотины не нашлось?

– Убился. Вот и прирезали.

— Давайте! – Булыш кивнул на мешок с просом.

Шеге и Ждахай, подняв мешок, положили его перед Булышем, поперек седла.

– Как моя старушка? – полюбопытствовал Булыш у Шеге. Смотрит на него испытующе.

– С Пахраддином к каракалпакам откочевала.

– Меня не ищите, не советую, – предупредил Булыш на прощание. – Чу!

Шеге и Ждахай уставились ему вслед. Одинокий всадник, растворившийся в снежной метели, был как волк, средь бела дня забравшийся в овчарню.

– Вот смерть, убил! – произнес Ждахай. За это время он и слова не сказал. Не посмел. Только-только в себя, бедняга, пришел. Булыш – единственный на свете человек, которого он боится. Он даже следов его боится.

ЛИХОЛЕТЬЕ

1

В последнее время Шарип испытывает огромное удовлетворение жизнью. Всему он радуется. И как ему не радоваться? Никто за полы не тянет, не срамит, дескать, грязный сапожник ты. И сапожники, получается, "сатсилизму" нужны. Был один враг – Лис Курен, да и тот поумнел как будто, первый к нему пришел. Авторитет Шарипа в ауле еще больше вырос. Разве это не радость?

Еще радость – Шеге. Сын. Тьфу-тьфу!.. Его отпрыск у людей на виду. Сохрани, господь, мальчика, от сглазу! Когда он услышал, что Шеге стал баскармой-председателем, он сперва не поверил: какой, дескать, из Шеге председатель, зеленый еще! А вышло-то по-иному – сумел мальчик повести хозяйство. Возмужал. Особенно когда "комонистом" стал. В словах и делах доверие внушает. Тьфу-тьфу, в кого он только, в самом деле, уродился?! А что задумал-то? Тентексай, говорит, перегородим, воду в долину Сарыжазык пустим, сеять будем. Из района сам предисполкома Апанас и еще какой-то "табарыш" из земотдела приезжали, окрестности "Жанажола" осматривали. И Тентексай тоже. Короче, с того дня расшумелась молодежь – Тентексай с весной оседлаем!

Люди, пошумев, разбились на две бригады. Одну Лис Курен возглавил, вторую – Шеге.

Люди встали по обе стороны промоины. Замелькали кетмени. Прекратились смешки и разговоры. Начался поединок людей с тем, что сотворила природа – с огромным песчаным гребнем. Кетмени с хрустом вонзаются в грунт.

Шарип отдыхает. Оперся на кетмень. Вытер пот со лба.

И тут к ним побежала девочка в красном платьице, подол на ветру бьется.

Люди продолжали работу. Шарип не выдержал, кинув под язык щепотку насыбая, засеменил навстречу дочери.

– Ай, ай, что там?

– Милиса приехала! Двое их! За агой, – закричала еще издали Гульжан. Косички на спине прыгают.

– Милиса? – переспросил Шарип.

– Милиса! Двое их! – повторила девочка. – Один – Козбагар-ага, у него клинок. Просят, чтобы ага скорее шел.

– Схожу-ка я, пожалуй, – сказал Шеге.

Шарип почти вплотную подошел к сыну, спросил раздумчиво, смяв в ладони жидкую козлиную бородку:

– Зачем ты им понадобился, бог мой?..

– Не знаю.

Тотчас же их окружили Хансулу, Балжан, Маржан, Айжан. Все смотрят на Шеге.

– Ладно, работайте! – велел им Шеге и пошел к аулу, отряхиваясь находу.

Боязливо открыл собственную дверь. Взгляд сразу же упал на начальника райотдела милиции Сур Жекея – он лежал на гостевом месте, подложив под локоть подушку. Из расписного тостагана начальник неторопливо цедил айран, явно его смакуя. Увидел, конечно, Шеге, но позы не переменил. Здесь же сидел кругленький Козбагар. Только нынешней зимой на курсы уехал, закончил, видать. Милицейская форма не шла ему.

– Ассалаумагалейкум! – поздоровался Шеге.

Козбагар, вскочив, подал ему руку. Жайбаскан, разливавшая шубат, робко глянула на обоих. Сур Жекей протянул Шеге кончики пальцев. Ледяные. Серое лицо зловеще, от него веет холодом, как и от винтовок и сабель у стены.

Шеге опустился рядом с Козбагаром. Тишина. Нарушить ее мог лишь Жекей. Все и ждали, что он скажет. А тот, нарочно усугубляя ситуацию молчанием, тянул с айраном, пока не допил его и не поставил тостаган на дастархан. Вытер полотенцем губы.

– Товарищ Каспаков! – только теперь он взглянул на Шеге. – Поедешь в район. Собирайся!

Ещё переступая порог, Шеге чувствовал, что этим примерно и закончится их разговор, но на всякий случай переспросил:

– В район?

Сур Жекей повернулся к Козбагару. Тот затрепыхался-задвигался, как зайчонок, завороженный змеей. То смотрит на начальника, то на Шеге. На висках засеребрились бусинки пота.

– Шеге, – заговорил он упавшим голосом, – дело вот в чем...

Жайбаскан и Шеге напряженно замерли в ожидании нехорошей вести.

– Дело в том... Факт такой есть. В вашем доме золото и серебро Пахраддина хранится. Заявление пришло, что у вас он свое добро оставил, поскольку ты зять. Вот и пришли... проверить.

– Какое золото и серебро, бог мой?! – изумилась Жайбаскан.

– Ну так проверяйте, проверяйте! – произнес Шеге, побледнев.

– Апа, раскройте в таком случае сундук, развяжите тюки! – попросил Козбагар, почесывая затылок.

– О боже! – проворчала Жайбаксан, сбрасывая на пол одеяла с сундуков и тюков.

Первым она открыла большой ларь. Ничего, кроме тканевых отрезов и одежды, в нем не нашлось. Развязала тюк. Ковер да текемет – приданое для Балжан, сама Жайбаскан его собирала. Золота и серебра, потребного милиционерам, не оказалось и там. Нераскрытым остался железный сундучок, убранный белой кошмой.

– А этот сундук почему не открываете? – спросил Сур Жекей, шевельнув тараканьими усами и вытягивая трубочкой губы.

– Ой, это невесткин сундук, ключа у меня нет! – сказала Жайбаскан.

– Невестка где?

– На работе. Тентексай перегораживают.

– Давай ее сюда! – велел Сур Жекей Козбагару.

Козбагар ринулся к порогу, да тут дверь открылась, и показалась заметно отяжелевшая Хансулу. Она задержалась на пороге, пораженная беспорядком в доме.

– Вот и сама пришла! – взволнованно проговорила Жайбаскан. – Открой-ка, милая, сундук! Вот, домогаются!

Хансулу, сделав два шага, остановилась. Не поймет еще ничего.

– Ключ дай от сундука! – рассердился Шеге.

Только тогда Хансулу пришла в себя. Перекинув движением плеча одну косу на грудь, потянулась к шолпам на ее конце, отвязала ключ, дала свекрови. Та никак не могла попасть ключом в замочную скважину.

– Да чтоб тебя пес съел! – ворчала она и стучала по сундуку кулаком. – Смотрите, коли надо вам! – бросила она, отходя.

– Давай смотри! – приказал Сур Жекей Козбагару, который, чувствуется, не очень хотел этим заниматься.

Покраснел бедняга, неловко ему копаться в женских вещах. Но приказ есть приказ. Начал кидать на кошму летние наряды Хансулу, платья, бешметы, камзолы, следом и нижнее белье пошло. Сур Жекей, дымя махоркой, сидел на тюке, не сводил глаз с сундука. Последним Козбагар извлек со дна небольшой позолоченный ларец.

– Не тронь! – вскрикнула Хансулу.

Тут-то и встал, вытянувшись во весь свой рост, Сур Жекей. Самокрутка – в углу рта.

– Давай сюда! – велел он. Взял ларец. Попробовал на вес.

– Хм... Где ключ? – спросил он, и тараканьи усы его дрогнули.

– Нету ключа от него! Зачем он вам? – вскричала Хансулу.

Сур Жекей поднес ларец к уху, потряс им. В чем-то, видать, убедился, подняв ларец над головой, бросил его с силой оземь.

– Ах! – вскрикнула Хансулу, закрывая лицо.

Мать Сырга при откочевке оставила ей ларец, наказав: “Сохрани. Неизвестно, что впереди будет. Пригодится, если тяжело придется. Никому не показывай”. Она и не показывала никому, даже Шеге. А хранились в том ларце драгоценные камни, ювелирные украшения из золота и серебра.

Сундучок разлетелся вдребезги. Рассыпались по кошме ожерелья и колье с дорогими каменьями, золотые и серебряные браслеты, кольца, бусы, перстни, серебряные монеты с изображением царя Николая II. Сур Жекей, попыхивая самокруткой, присел. Поднял тяжелый золотой браслет, взвесил на ладони. Покачал головой.

– Коммунист еще, – фыркнул он.

– Он не виноват, ага! – вскричала в отчаянии Хансулу и, присев, закрыла лицо ладонями. – Он не знал. Я... Я...

Козбагар по распоряжению начальника собрал в кожаную сумку валявшиеся на кошме драгоценности. Шеге будто языка лишился. Лица на нем нет.

– Каспаков! Пошли!.. – сказал Сур Жекей, все еще дымя махоркой.

Шеге сменил рубашку. Надел драповый пиджак, который купил, когда стал председателем. Мать засуетилась, айрану, дескать, попей, но не до айрана ему. Положил документы в карман и пошел из дому. Не проронив ни слова, сел, угрюмый, в бричку к милиционерам.

Мать выскочила следом, сунула ему за пазуху что-то обернутое в полотенце: хлеб.

– Чу! – тронул вожжи Козбагар.

Жеребцы, нетерпеливо грызшие удила, сорвались с места. Старики и дети “Жанажола” наблюдали за тем, что происходит. Даже там, на Тентексае, приостановили работу. К аулу бежал бедняга Шарип, что-то крича на ходу. Одна Жайбаскан и слышала, что он кричал. А милиционеров, которых уносили резвые кони, это не интересовало. Как вихрь мчались кони.

– О боже! Что мы тебе сделали? – запричитала Жайбаскан. Не знала женщина, что за золото, обнару-

живаемое в тайниках, многие тогда поплатились головой. Такое было время...

Так нежданно-негаданно занялся пламенем семейный очаг Шарипа.

2

Шеге и милиционеры достигли районного центра в послеобеденное время. Предрайисполкома Гринин дождался Шеге в своем кабинете.

– Ну, как это понимать? – спросил Афанасий Васильевич сразу, кладя перед ним на стол лист бумаги, исписанный латинскими буквами.

Шеге взял лист. "Заявление", – значилось на нем. Письмо адресовалось Калашникову.

– Читай! Читай! – сказал Афанасий Васильевич, вставая. Принялся скручивать цигарку.

Кто бы ни писал заявление, но Шеге он знал хорошо. Писака заходил издалека, аж с момента его женитьбы на Хансулу. Из-за неопределенности классового мировоззрения, из-за мягкотелости, писалось в заявлении, женился он, то есть Шеге, на дочери кулака Пахраддина, прямого врага Советской власти; так стал родичем "боржою", так стал родичем Булышу, раскрывшему в последнее время свое классовое лицо. Все знают, что он бандит, убедились при конфискации имущества бая Мажана. Намекалось также на родственные связи Булыша с Пахраддином. Первая, покойная, жена Булыша и в самом деле приходилась дальней родственницей Пахраддину. Далее говорилось: "Волк Шеге, обрядившийся в овечью шкуру, и нынче зимой позволил бандиту Булышу ограбить скотоводов на зимовье. Сам, своими руками положил на седло бандита мешок зерна... В 1928 году во время конфискации Пахраддин не сдал государству имеющееся у него золото и серебро. Ходят слухи, что он отдал драгоценности на хранение Шеге, своему зятю. Товарищ районный секретарь! Наступило время, когда вот таких леваков типа Каспакова, которые, как было указано выше, лизались с нашими классовыми врагами и свернули с пути партии на путь Троцского[1], следует изобличать!" Подпись: "Группа активистов из бедняков".

---

[1] *Тротский* – искаж от "Троцкий".

Шеге, прочитав письмо, поднял голову. Посмотрел на Афанасия Васильевича.

– Кто это написал? – спросил тот, оборачиваясь к нему.

– Курен... Курен, возможно, – сказал Шеге.

– И я так думаю.

– Но почерк не его, Афанасий Васильевич!

Тот только рукой махнул.

– Писаки найдутся! Ты лучше подумай, какой ответ будешь держать на бюро. Один из рассматриваемых вопросов – твой. Подумай, хорошо? – С этими словами он ушел с заявлением.

Шеге уставился в спину согбенному худому Апанасу. Не понимал ничего, так был ошарашен.

– Я вернусь. Я только к Семену Харитоновичу загляну! – сказал тот, приостанавливаясь на пороге.

В голову ничего не шло. Одно знает – честен он, чист. "Левак", "боржойские наклонности"... Клевета.

– Пошли! – сказал через некоторое время Афанасий Васильевич, открывая дверь. – Говори обоснованно, слышишь! Соберись с мыслями!

Перед кабинетом Калашникова Шеге опередили несколько человек. Из его знакомых – секретарь райкома комсомола, тощая смуглая Нуриля, районный прокурор Суранышев и Сур Жекей. Остальных он не знал. Дверь закрылась перед самым его носом.

Сур Жекей, высунувшись, позвал:

– Проходи!

Люди за длинным столом заинтересованно оглядели его. Были и откровенно враждебные взгляды. Калашников, восседавший под портретом Сталина, задержал на Шеге усталый взгляд. Ручкой показал на стул у стены: "Присаживайся!"

Шеге сел. Смял на коленях шапку.

– Читайте! – попросил Калашников Нурилю, передавая ей заявление.

Нуриля, вскочив, звонко зачитала его. "Наступило время, когда леваков типа Каспакова следует изобличать!" – закончила она.

В просторном кабинете повисла тяжелая тишина. Калашников кивнул Сур Жекею:

– Ну-ка!

Сур Жекей положил на стол газетный сверток, развернул его. Щеки Шеге вспыхнули. Золотые и серебряные украшения ослепили всех.

– Это анонимка, – сказал Калашников, показывая письмо, – а это факт!

Шеге, слабый в русском, не все понимал из того, что говорил Калашников. Но тон и жестикуляция секретаря подсказывали: не щадит он его. Глаза Калашникова под густыми бровями впились в Шеге. Он похолодел, сжался от страха.

– Встань, – сказала Нуриля, переводя слова секретаря.

Шеге встал.

– Семен Харитонович спрашивает, что ты думаешь по поводу этого заявления?

Шеге не ожидал, что ему так быстро дадут слово. Посмотрел в окно. Туманный день был за окном. Близился вечер. Хансулу, поди, вот так же в окошко смотрит, поджидая его...

– Все в письме ложь! – сказал он. – И написали его не активисты-бедняки. Его написал человек, прикрывающийся именем активистов. Булыша, говорят, защищал. Если я его защищал, так тогда, когда он не был бандитом, не хотел я, чтобы он вставал на ошибочный путь. Ну а про мешок зерна, который я ему якобы отдал, – это верно. Но на деле все было иначе. Я в свое время докладывал об этом Афанасию Васильевичу.

– Да-да, докладывал! – подтвердил предрайисполкома.

Шеге продолжил:

– Булыш с ружьем пришел, а до этого нашу единственную винтовку, которая на стене висела, забрал. Как противиться вооруженному человеку? Вот и вынуждены были отдать мешок.

– А что свояк ты Булышу – это неправда? – спросил Суранышев. У него тонкий бабий голос.

– Был бы свояк, если бы та его жена не умерла... Давно, еще до того, как я женился, – сказал Шеге, внимательно вглядываясь в красный затылок отвернувшегося от него Суранышева. “Ах ты, собачий сын, дать бы тебе по затылку!” – подумал он зло.

– И что кулацкую дочь в жены взял – тоже неправда? – как комар прозвенел Суранышев, все так же демонстрируя ему свой красный затылок.

– Правда, – буркнул Шеге.

Нуриля слово в слово переводила диалог Суранышева и Шеге.

– Что же это тогда, как не лизание с нашим классовым врагом?

– Извините! – прервал Суранышева Афанасий Васильевич. – Разрешите? – он поглядел на Калашникова.

Тот жестом попросил его помолчать.

– Я никому ничего не лизал! – вскричал Шеге. – Взял кулацкую дочь. Верно. Но с кулаком из-за этого не лизался. Не клевещите!

– Эй, а что ты кричишь? Ты на кого голос поднимаешь? Ты на кого голос поднимаешь, кого хочешь одурачить? – взвизгнул Суранышев, наконец-то поворачиваясь к нему. – А это золото и серебро в твоем доме ведь нашли! Или, скажешь, и это неправда?

– Вот-вот, – подхватил Калашников, заскрипев стулом.

– Что скажешь? Это уже факт, товарищ Каспаков!

Здесь Шеге и потерялся. Он решил, что теперь-то уж никто ему не поверит, что он ни скажи. Тихо, едва слышно, он пробормотал:

– Про все эти вещи я, ей-богу, ничего не знал. И не видел даже. Сегодня только увидел.. вместе с милицией. Жена, оказывается, скрывала...

Суранышев усмехнулся, покачал головой. Калашников посмотрел на предисполкома Гринина:

– Пожалуйста!

Афанасий Васильевич с готовностью встал.

– Семен Харитонович! Дорогие товарищи! – начал он, сочувственно поглядывая на Шеге. Он говорил по-русски.

Шеге, хоть и не все понимал, но предполагал, о чем может вести речь Апанас. Да, знаю Шеге, говорит, в прошлом году в стычке с бандитами как настоящий воин себя проявил, бесстрашный, находчивый, предан Советской власти...

– Афанасий Васильевич! – это опять Калашников. – Мы про это знаем. Вы лучше скажите...

И – непонятно опять, о чем Калашников говорит. Нуриля, будь она неладна, тоже умолкла, не переводит. Но Шеге чувствует напор Калашникова. Гринин сбился с первоначального тона. Смотрит на дорогие украшения на

столе и не знает, по-видимому, что по их поводу сказать. Обидно Шеге за доброго Апанаса, ринувшегося ради него в бой, но терпящего – опять же из-за него! – поражение. Обидно и за себя, что не понимает более половины произносимых здесь слов.

Калашников остановил Апанаса:

– Я вас понимаю. Это ваш кадр. Это вы дали ему рекомендацию в партию. Вы обязаны его защищать. Но, товарищи! – и секретарь встал.

Он высокий. Говорит горячо, темпераментно. Перечеркивает, похоже, что тут до него говорили. Даже Апанас, олицетворение могущества в глазах Шеге, поблек рядом с секретарем. Все, разинув рот, слушают Калашникова, глотают каждое его слово, согласно кивают.

– Где наша партийная принципиальность, товарищи?! – взревел в какой-то момент Калашников, потрясая кулаком и останавливаясь рядом с Афанасием Васильевичем.

Тот зашевелился, прокашливаясь, но Калашников поднял руку: помолчи, мол. Потоптавшись на месте, Семен Харитонович так же азартно продолжал:

– Товарищи! Вы прекрасно знаете, что по всей стране идет чистка партии от таких вот сорняков, – показал рукой на Шеге. – Хорошо, что он у нас пока кандидат. Иначе бы, дорогой Афанасий Васильевич... – и снова поток слов, недоступных Шеге.

Слово "опозорил" Шеге услышал. Не по себе ему стало. Заговорил Суранышев. Частит на ломаном русском:

– ...совершенно согласен с вами, Семен Харитонович! У нас пережитки много. Много вот таких! – показал на Шеге.

– Когда он был комсомольца... на кулацкую дочь женился! Активист называется. Какая он активист? Гнать надо таких политишески неграмотных из наших рядов!

– Ваше предложение?

– Исключить из кандидатов в партию! От работы освободить!

– А вы что скажете? – Калашников повернулся к Нуриле.

– Согласна! Исключить! – заявила она, вставая. – Он не оправдал нашего доверия!

До Шеге наконец-то дошло, что решается вопрос о возможности его пребывания в партии. Все, кто выступали, предлагали исключить его из кандидатов в партию.

– Тогда, товарищи, – сказал Калашников, – переходим к голосованию. Большинство членов бюро вносят предложение исключить товарища Каспакова из кандидатов в члены партии. Кто за это предложение? Прошу поднять руки! – и сам первым проголосовал.

Его примеру последовали и остальные, кроме Афанасия Васильевича Гринина.

– Предложение принято. Товарищ Каспаков, вы свободны. Вашим делом теперь следственные органы займутся.

Шеге, услышав свою фамилию, встал. Не понял последних слов Калашникова. Сухая Нуриля с готовностью объяснила:

– Из партии тебя исключили, от работы освободили. Теперь твое дело в следственные органы передают, там и решат, какой ты перед законом чистый...

Во весь рост возвышался Шеге перед ними и мял в руках шапку, пот катился с обветренных загорелых висков.

– Пошли! – буркнул с порога Сур Жекей.

Его голос вернул Шеге к действительности. Пошел по коридору впереди милиционера. Бухает в тяжеленных сапогах. Вот что значит "арыстыбай". Арестовали, получается, Шеге, как когда-то Азбергена. Когда того вот так уводили, они всем аулом глядели вслед...

На улице Шеге молил судьбу, чтобы не встретился никто из знакомых. Сур Жекей знай распоряжения отдает – туда... сюда... Они идут по единственной улице поселка. Отделение милиции, или "милисахана", как его здесь называли, – на краю улицы; туда, видно, и вели его. В воздухе пахнет ранней весной, склоны оврагов и холмов потемнели, а на берегу Жема пробилась зелень. Откуда-то наплывает ласковый ветерок. Солнце, багряно-красное, скрывается впереди за отвесом – закатный час.

Вот и старухин дом, тот самый, где они с Хансулу, квартировали в прошлом году. Знакомый сарай. Осевшая глинобитная мазанка. Защемило сердце. Что ни говори, прекрасные были дни! День ссорились, день мирились – это тоже оказывается, прекрасно!..

"Милисахана" представляла из себя длинный, с жестяной крышей барак. Там Сур Жекей сдал "арыстыбая" Козбагару. Тот, бедняга, не отводит глаз от Шеге, чувствует себя крайне неуютно. Со связкой ключей пошел вдоль барака, велел Шеге следовать за ним.

– До суда тут подержат, – сказал он, давая понять что ему не совсем приятно выступать в такой роли.

С детства они росли вместе – Козбагар и Шеге. Козбагар и сейчас недотепа. Хоть и милиционер. Не изменился ничуть. Не смеет поднять на Шеге глаз. Как и в детстве. Что уж об остальном говорить, если Козбагар остался Козбагаром даже тогда, когда от него невеста Хансулу сбежала и стала женой Шеге?! Так уж получилось, с малых лет Козбагар любил Шеге, ценя в нем прямоту, честность, смелость. И Шеге знал, что Козбагар незлобив и простодушен. Потому понимал его смущение сейчас, когда тому приходилось обращаться с ним как с "арыстыбаем".

– Следователь – знакомый парень... Попробую поговорить, – пообещал Козбагар.

Шеге ничего не сказал. Но почувствовал в ту секунду, насколько он жалок в своем положении, если уж даже Козбагар ему сочувствует. Тяжелые железные двери на другом конце барака Козбагар открыл двумя ключами. В нос ударило холодом. Полутемки, сено на полу. Силуэты лежавших вповалку людей.

– Вот здесь и побудешь, – сказал Козбагар стесненно.

– Да ладно, – бросил Шеге и шагнул через порог.

Справа – единственное окошко. И то зарешеченное. Козбагар закрыл за ним поскрипывающие железные двери. Будто в подземелье очутился Шеге. Глухая тишина придавила его.

В углу начали подниматься какие-то типы, видать, спали. Разглядывают без стеснения. Жутко Шеге. Стал высматривать себе местечко на ковыльной перине. Перед окошком нашел – плюхнулся обессиленно, успокоился. Пускай теперь смотрят, ему все равно. Надо отдохнуть, с духом собраться. Откинулся спиной к стенке, вздохнул, закрыл глаза.

Соломенный настил хрустнул.

– Ой! – вскрикнул некто широколицый и черный, опускаясь перед ним на корточки. Смеется, глазки при этом закрылись. Бухарбай! Бывший милиционер, потом уполномоченный. Хлопнул его по плечу широченной ладонью.

– Шеге! Табарыш Каспаков! Какими судьбами, а?

Шеге усмехнулся:

– А какими судьбами тут объявляются?

– Перегиб?

– Нет. Лизание.

– А-а, кулацкую дочь взял и прочее-прочее...

– Да-да. Угадал.

Бухарбай опять его по плечу шарахнул, расхохотался, явно чем-то удовлетворенный, жирное тело затряслось всеми складками. Стеганка на голое тело надета, вислое брюхо виднеется.

– Не робей, – произнес он, переставая смеяться. – Все джигит испытать должен. Будь они прокляты, и меня три дня назад сюда упрятали. Перегиб, говорят... Пустомели, я тебе скажу, наше начальство. Сами не ведают, что творят. То план давай – сто прасент. Сам Калашников глотку драл. Поскакали мы. Приказ есть приказ. Дали план. Потом, говорят, каллектеп – сто прасент. Народ что? Политику понимает? Нужен ему каллектеп! Побежал. Кто в Иран, кто в Ауганистан, кто к каракалпакам. Кто потом бинауат? Бухарбай опять бинауат. От кебенемат!

Бухарбай от злости разворошил под собой солому, не сидится ему на месте.

– Жаловаться буду! Туда жаловаться буду! – вскочив, ткнул пальцем вверх.

Слышал Шеге про одну историю с Бухарбаем, которая с ним в одном из аулов в Доныztaу случилась, осрамился, говорят, он там. Напившись, полез средь бела дня к чьей-то молоденькой жене. А в ауле этом из рода адай разве пожалеют развратника? Избили, испинали, говорят, до полусмерти и, задом наперед на конский круп посадив, восвояси отправили. По степным канонам возвращаться на конском крупе да еще задом наперед – позорнейший для джигита удел. Аул, говорят, после таких нечистоплотных притязаний "государственного человека" с места в один день снялся, исчез в туркменских песках...

Что-то еще говорил Бухарбай, а потом умолк и сделал знак Шеге, кивнув на окошко:

– Отец твой!

Шеге повернулся к окну, а там и впрямь – отец. Малахай как попало нахлобучен на голову. Всматривается в барачную темноту. Пока Шеге встал, убежал куда-то.

Козбагар открыл дверь. Вывел Шеге на свидание с отцом. Вечерняя мгла сгустилась, но Шарип увидел, как осунулся за день сын. Бросился к нему, прижал к себе, сердце в груди таяло от жалости к родному чаду. Крупные капли сорвались с ресниц. Не смог он сразу ничего сказать. Отвернулся.

– Пошли! – молвил он и потащил сына в уединенный угол. – Слышал я все от Апанаса...

– Следствие будет. Суд решит, – пояснил Шеге.

Отец долго молчал, уставившись в землю. Потом поднял голову, смял в руках козлиную бородку.

– Ым-м... – замычал он. – Деньги, деньги нужны. Следователь, говоришь, судья, говоришь, они – люди... с потрохами... со всем. Глотку им надо залить.

Шарип не стал медлить, сел на крикуна-верблюда и понесся вперед не оглядываясь.

3

Началось расследование по делу Шеге. Следователь дважды побывал в "Жанажоле", записал все, что узнал, что услышал. И Шарип не сидел сложа руки. Последние два месяца проводил время в дороге между "Жана жолом" и Наркамысом. Всю скотину, считай, на дворе, за исключением крикуна-верблюда, продал. Каждого, кто называл себя начальником и мало-мальски тепло его принимал, он, на худой конец, одаряя барашком, приговаривая: "Вот вам, милые, от меня, не сидите без мяса. Пусть господь бог облегчит участь моего сына". Даже Сур Жекею, который не был к нему расположен, в его отсутствие завез домой две части конины, остаток от зимнего забоя. Вислогубый Жекей стал его замечать и здороваться за руку.

Помогал и Козбагар. Небольшая, может быть, услуга с его стороны, но все же... Как бы ни любил он Хансулу, никогда не допускал и мысли, что ровня ей.

Своенравная Хансулу – это уж точно! – в ишака бы его превратила и всю жизнь каблучками по бокам подгоняла бы. Как подумает про это, так тысячу раз готов благодарить судьбу за то, что уберегла она его от красавицы. Но сердце, что с ним поделаешь, разве оно понимает? Каждый раз, как видит он гнущуюся тростиночкой Хансулу у порога Шеге, воет, воет оно, как пес, которого покинули на становище.

Сур Жекей, вытянув губы трубочкой, сказал ему на днях: "Не знаю, кто тебе Шеге, брат или приятель, но предупреди! Пусть куда хочет свою красотку девает, но чтобы ноги ее тут не было, пока суд да дело, понял?" Сур Жекей никогда зря ничего не скажет.

И без того худой Шеге совсем отощал, считай, остались живые мощи. Сообщение Козбагара он выслушал молча, потом нахмурился:

– Знал я, что так будет, – и, подумав, добавил: – Отец должен быть...

Отец приехал до захода солнца. Верблюд ревел, мотал головой, пока Шарип привязывал его к стволу торангыла. Последнее время он его оставлял у глухой старухи, у которой Шеге и Хансулу квартировали, а сам отправлялся к бараку пешком. Сегодня, похоже, его приезд вызван чрезвычайными обстоятельствами. Шарип даже старуху миновал. Шеге сгорал от нетерпения. Он слышал голос отца: они шли с Козбагаром. Широко раскрылась тяжеленная дверь. Видит Шеге: рыжие отцовские усы лихо расправлены, в глазах – радость. Шеге шагнул к нему через порог. Тот, не в меру суетясь, взял его руку, поднес к губам, поцеловал.

– Сюинши! – смеясь, потребовал он подарка за радостную весть. – Родила сношенька. Тугелбек на свет появился, черт его побери, вот какое у нас прибавленьице! Вчера родила...

Кровь ударила в щеки Шеге, ясная улыбка озарила лицо.

– В честь того, чтобы все мы снова были вместе... все... Тугелбеком назвали. Нравом в материн, что ли, род пошел, не знаю, но уж больно из себя тако-ой, – и Шарип, изобразив руками нечто неопределенное, опять рассмеялся.

Пришлось Шеге, несмотря на радость, рассказать про то, что услышал угрозы в адрес Хансулу. Веселье Шарипа как рукой сняло. Смял в руке козлиную бородку, задумался.

– Коке! – обратился Шеге решительно. – Отвези Хансулу к родителям. Другого выхода нет.

– Но ведь суд завтра... что же я...

– Нет, коке, – возразил Шеге, – возвращайся! А здесь... что будет, то будет...

И Шарип нехотя поскакал обратно в аул.

...Наступило время суток, когда ночная тьма рассеивается и становится мало-мальски видимой окрестность. Обозначился степной горизонт, он зовет в путь. Старая караванная дорога. На западе подергивающегося желтизной неба сияет утренняя звезда. Трое путников – двое на верблюде, другой на коне – едут по степи, держась курса так, чтобы звезда была им по правое плечо. На верблюде – Хансулу. Прижав к груди запеленатое дитя, покачивается она в такт валкой верблюжьей поступи. Всматривается мерцающими в полутьме глазами в окружающий ее мир, только пробуждающийся ото сна.

Впереди – дорога. Долгая дорога через великий Устюрт, которая потом выведет ее в Бескалу, к землям каракалпаков и туркмен. Так началось длинное, полное неожиданностей странствие оставшейся без Шеге, с ребенком на руках, Хансулу по тем шатким годам.

В ПЕСКАХ

1

Луна изливается молочным светом. Спит схоронившийся в песках небольшой аул, его-то и ласкает ночное светило. Горами возвышаются на привязи верблюды. У стенов юрт разноцветными пятнами пестреют овцы и козы, они пофыркивают, покашливают. Вокруг беспорядочные нашлепки барханов, между ними редкие островки белесого ковыля.

На всю эту удивительную по красоте и шири землю взирает с песчаного гребня человек, бодрствующий в ночи. Стоит он, возвышаясь на холме, как страж аула, захваченного сном, как страж бескрайней вселенной,

погруженной в дрему. Этот человек, набросивший на могучие плечи шелковый чапан, – Пахраддин. Много дорог он прошел, перемещаясь ближе к каракалпакам. Тот, кто обжегся чаем, потом всегда дует на него, так и Пахраддин, обходя теперь города, подыскивал для пристанища укромный, скрытый от властей уголок.

Здешняя земля во многом отлична от равнинной казахской степи. Пески поросли тугаями, камышом, тамариском, джидой, встречаются и белесые солончаки. Попадаются барханы, как в Айту. Тугаи кишат дичью – кабанами, джейранами, шакалами. Подобно диким зверям, и людское отребье шастает – воры, бандиты, басмачи. На базар – Конырат рядом, полдня езды. Устюрт? На северо-запад иди – на плато и выйдешь. С юга – великие туркменские пески; какая беда – беги, растворяйся в них, не найти тебя там никому.

Кочевники, истосковавшиеся по прежней степной воле и надеявшиеся обрести ее на каракалпакской земле, и здесь, однако, столкнулись с настоятельными призывами вступать в колхозы.

Нашедшие укрытие в песках Айту степняки, а их тут около пятидесяти семей, встревожились: что же теперь делать? А весной из Конырата нагрянула группа активистов, один представился агентом по заготовке, второй – членом аулсовета, третий – "милиса". Снова забрали "излишки" скота, заплатив за него по государственной цене. Операция называлась "Мясо".

Не успели люди опомниться, приехал кто-то и всех внес в список, сказав, что в скором времени аул будет преобразован в артель. Пока аксакалы аула обдумывали положение, примчался на белом верблюде Лабак-ахун, объехавший в поисках земли для аула всю Амударью. Не встретив подходящей для скотоводов земли ни в Хорезме, ни у таджиков и туркмен, он в конце концов оказался в туркменских поселениях у афганской границы – и сюда люди после революции бежали.

Обыкновенные это были аулы: по-прежнему пасли скотину, вели нехитрое степное хозяйство. Ни афганскому правителю до поселенцев, ни переселенцам до правительства нет дела. Соседствовали они с кочевым афганским племенем пушту – скромный народ, чем-то напоминал тех же кочевых казахов и туркмен, мусульмане.

Коран у них на устах, молятся исправно. Ахуна там приняли радушно... Когда старец рассказал про них землякам – а говорил он, как всегда, красиво, демонстрируя свой звонкий, напевный голос, – то у всех, кто его слушал, слюнки потекли. Каждый представил себе обетованный край, тихий, мирный, очаги во дворах, скотина на пастбище, о чем еще мечтать? Как сказочная страна Жер Уюк, которую легендарный Асан Кайгы весь свой век проискал. Многие поднялись воодушевленно: "Трогаемся! Откочевываем!" Но старики призадумались. Иным и до могилы недалеко, не могут они решиться уйти в край, далекий и чужой. Пахраддин – умный, образованный человек, бий в прошлом, у него открытые глаза, чуткое сердце, к нему обратили взоры люди – что скажет? Но и Пахраддин ничего не мог сказать, он сам слушал народ. Последние годы он занимался родословной кочевников, вот и ушел в свои записи слухом и зрением. Не до речей ему было. Из оставшегося далеко позади Оймаута заявились Хансулу с Шарипом, полмесяца в пути пробыли. О том, что Шеге арестован, Пахраддин слышал через степной узункулак, а вот о том, что у него появился внук, не знал. Не ведал ничего и о том, что Шеге на два года заключен в тюрьму. Но самой тяжелой новостью для него стало положение его дочери. Обласканная солнцем и ветром Хансулу, его дочь, которую он растил как сына, в гордости и любви к себе, изменилась – сломила, укротила ее жизнь. Бедное дитя!

И все же Пахраддин воспрянул духом – жива Хансулу, его родная кровиночка! Тетради с родословной закинул в сундук, собрал на холме мужчин аула, позвал и Лабак-ахуна. Аул как-никак сборный, и народ в нем разномастный; люди, понятно, отовсюду, кто знает, как поведут себя завтра в случае, если придется с бедой встретиться? Вот и решил он их послушать, чтобы завтра уже никто, как говорится, за ворот не хватал. Из трех родов здесь люди – из алима, адая, табына. Всех он слушал с вниманием, никому не возражал, лишь кивал, кивал. После долгих разговоров большинство склонилось к мысли об откочевке; вел кочевье ахун, причем не по Амударье, а через туркменские пески напрямик, как раз к Афганистану и выводил такой маршрут.

Булыш вскрикнул:

– Пусть би-ага теперь выскажется!

– Послушаем би-ага!

Булыш с Балкией пришли в этот сборный аул в конце зимы. Здесь Булыш и встретился с матерью – Дау-апой.

Пахраддин не задержался с ответом.

– Что ж, – сказал он, обозревая собравшихся на холме мужчин, – принесем, как уж принято, на рассвете в жертву пути господнему бело-рыжую овцу!

– Ауминь! – благословил решение белобородый Лабак-ахун и провел ладонями по щекам.

– Ауминь! – гулко отозвалось по рядам. Люди так же прочертили ладонями лица.

Многодневные сборы наконец-то разрешились соглашением, устраивавшем всех, – наутро аул трогался с места. С тем люди и разошлись...

Пахраддин задержался на холме. Его бы воля, шагу бы не ступил он из родного края. Азберген Ираном соблазнял, Ермагамбет – Турцией, но Пахраддин не двинулся с места, а теперь сам в Афганистан задумал. Вот она, жизнь! Жестокий удел! Судьба-плутовка! И сегодняшнюю ночь Пахраддин и Сырга не сомкнули глаз.

– Уж если на дочь замахнулось правительство, считай, и нас не оставят в покое, – говорил Пахраддин. – И нам курук[1] на шею накинут.

– Откочуем, все не тюрьма. Разве что люди чужие, – согласилась с ним Сырга.

Расплакался ребенок. Хансулу проснулась. Склонилась над колыбелью, стала кормить сына.

– Сулужан! – подала голос Сырга, отгибая угол занавеса.

– Ау, апа!

– Ты слышала, откочевываем мы.

– В Афганистан? – вырвалось у Хансулу. – А я? Я как же? – В ее голосе отчаяние.

Отчего-то стало душно, точно пожар охватил дом.

– Успокойся, доченька! – откликнулась Сырга дрожащим от волнения голосом, соскользнула с постели.

---

[1] *Курук* – шест с петлей для отлова лошадей в табуне.

Хансулу успела расплакаться, прислонившись головой к колыбели. Вскоре к ней присоединился и малыш:

– Нга-нга...

Тишины в юрте как не было.

– О создатель, – пробормотал Пахраддин, выходя из юрты.

Луна перекатилась на западную часть неба, светила меньше. Восток побледнел, чувствовалось приближение рассвета. Редкие старики с кумганами в руках сходят за аул и возвращаются. Кто-то стоял на холме. Лабак-ахун! В белой чалме. Рассвет, видно, встречает.

Послышался голос Сырги:

– Ну что теперь прикажешь делать? Что-о?.. – В ее голосе боль.

Пахраддин не выдержал. Подошел поближе, прокашлялся, прочищая горло.

– Эй!

"Эй!" относилось к жене.

– Как это – что прикажешь делать? Откочевывать надо! Откочевывать! Весь и сказ. Выждать надо, чем тут все закончится. Афганистан, конечно, не рай земной. Но улягутся времена – вернемся, даст бог. Уж в крайнем случае ее вернем!

Кто не прислушается к отцовскому слову? Женщины, кажется, успокоились, притихли.

Звонкий напевный голос Лабак-ахуна вознесся в высоту:

– Аш-шадан, ла, иллахул, ил-алла!.. Аш-шадан, ла-иллахул, ил-ал-ла-ау!..

Протяжный напев далеко разносится в чистом прозрачном воздухе. Когда на горизонт выкатилось солнце, кочевье, позванивая колокольцами, выползло из пади. Держа солнце по левую сторону пути, оно двинулось на юг. Впереди – мужчины, возглавляемые Лабак-ахуном и Пахраддином. На случай встречи с незнакомцами люди сговорились объяснять свой поход поиском пастбищ для скотины.

На спинах важно выступающих верблюдов белеют жаулыки старух. К бабушкам, как птенчики в гнезде, приткнулись дети, виднеются их головки. На первом верблюде-наре, вислогубом, с большой головой, едет

Сырга-байбише, туго-натуго подпоясалась красным кушаком. То и дело она склоняется к колыбели, в ней – малыш Хансулу. На следующем – Дау-апа, мать Булыша; и перед ней детская головка – это Едыге, внук от Балкии.

Балкия, подогнав коня, поравнялась с ней, озорно блеснула большущими глазами, зашептала таинственно:

– Не тот возвращается, кто в саване, а тот, кто в мирском одеянии, понятно? Так что робеть не надо, и надежды не теряй. Если такой день наступит, учти, в родные края тебя Булыш доставит. Ради вас с Шеге он на все готов, ей-богу!

Сказанное Балкией обрадовало Хансулу. Ожила надежда, что увидит она Шеге, встретится с ним.

Навьюченные верблюды-нары передвигаются привычным размеренным шагом.

На третий день пути люди заночевали в густо заросшей тысячелистником, верблюжьей колючкой и хмелем лощине. Разгрузили верблюдов, тюки бросили как попало – утомились; после легкого ужина заснули кто где. Верблюды сосредоточились кучкой в отдалении от спящего аула, жуют. В логу, там, где ковыль и ран, пофыркивают спутанные лошади. От долгого пути и собаки приустали, звука не подают, развалились на сыпучем песке. Лишь Булыш бодрствует. Под головой у него тюк. Не имел Булыш привычки просыпаться среди ночи, а вот пробудился. Сильно стучало сердце. Он и этому удивился. Осторожно приподнял голову, вдохнув раз-другой полной грудью.

Чуток сон у Балкии.

– Ты что? – спросила она, тоже поднимая голову.

– Ничего, – успокоил он ее.

Балкия положила широченную ладонь мужа себе на лицо и снова заснула.

Кого с кем ветер времени не разлучает?! Не по собственной охоте они с Балкией в песках мотались, как только выжили на безлюдье! И голод пережили, и холод. “Чем в одиночку дорогу искать, блуждай с аулом”, – гласит пословица. Следуя ей, пришли они с Балкией в аул в песках Айту, про который были наслышаны. Здесь встретились с мудрым Пахраддином, с Дау-апой, не чаявшей уже их увидеть. Устроилась жизнь у Булыша, на четыре опоры встала. Поклялся он: что бы судьба ни сулила, не уйдет

впредь ни от Пахраддина, мужа из мужей, ни от Лабак-ахуна, мудреца из мудрецов, много на веку повидавших аксакалов. Одобрил он и намерение идти в Афганистан, которое приняли старцы.

В думах и задремал он после полуночи. Лай собак вскоре разбудил его. Вскочил как и лежал – в одежде. Выхватил из-под изголовья пятизарядку. Густой предутренний мрак. Мало что в нем различишь. К лаю собак прибавились полные ужаса женские вопли:

– Ойбай, беда!

– Ойбай, напали!

Трое чужих угоняли верблюдов, тех, что лежали поодаль.

– По коням! – прокричал Пахраддин.

И тут с барханов раздались выстрелы.

– Ойбай! – взвизгнули женщины, подаваясь назад.

– Ойбай! Ойба-ай!..

– К оврагу! В овраг! – коротко распорядился Пахраддин.

– Буллы-ыш! – послышался пронзительный вопль Балкии.

Недосуг Булышу оглядываться. Повалившись в темень, нырнул под корявый куст, начал стрелять. Одного из тройки, угонявшей верблюдов, снял с лошади. Шум, крики, неразбериха...

Стреляли из-за ковыльного бугра напротив: тарс-тарс, тарс-тарс...

Прибежал Пахраддин.

– Булыш, назад! К оврагу! – прокричал он. – Все там. Мы с тобой одни!

– Лошади где, Би-ага? К лошадям бегите! Лошади нужны! – Булыш целился во второго угонщика.

Грохнул выстрел. Пахраддин, устремившийся к оврагу, обернулся и увидел, что и второй конник упал на конскую гриву.

– О алла! – произнес он благодарно. – О создатель!

На пути, как живой дух, возник Лабак-ахун. Громко, во весь голос он взывал к духам предков:

– О, Барак! О, Барак!

Белый чапан на плечах, белая чалма на голове, белый посох в руке, заклинания на устах. Старец – как белый флаг посреди пуль. Трусоватые мужчины, скатившиеся в

овраг, возвращались. Залегли, открыли встречный огонь, запахло порохом. Мир с ног встал на голову. Скулили собаки, кричали овцы, козы.

– В овраг! В овраг! – кричал Пахраддин старцу.

Тот лишь коротко взмахнул, посохом. Это, видать, значило – отступай! Когда Пахраддин скатился в овраг, первым, кого он там увидел, был Кикымбай, продиравшийся к нему сквозь людскую толчею.

– Лошадей нет! Ойбай, нет лошадей! – орал он. – Биага, увели лошадей-то, ойбай!

– Вот напасть! Вот напасть! За что, господи?! – застонал Пахраддин, обычно невозмутимый. Изменила ему выдержка. Что делать? И ружья-то у него нет. Да и было бы, какой из Пахраддина стрелок?..

Вспомнив о Булыше, он бросился назад – один он там, бедняга. Мысль, что могут убить и его, не приходила в голову. Булыш не видел гиганта, пробравшегося к нему с тыла под прикрытием кустарников, он еще в кого-то целился с колена. Пуля просвистела над самым его ухом и – тут же! – он ощутил страшенный удар в правое плечо. Отлетела берданка. Булыш бросился за стреляющим, пригнулся и увидел Азбергена.

–У-ух, отца твоего в... – прорычал тот, замахиваясь на него прикладом.

Булыш успел отклонить голову – тяжелый удар прикладом пришелся по левому плечу. Булыш отпрянул назад. Откуда ни возьмись мажановский Мотан перед ним вырос. Сверкнул клинок. Булыш увернулся, да поздно: сабля ударила по затылку. Перед глазами полыхнул неведомый огонь. Мир разом рухнул в пучину.

Пахраддин, увидев, как сгрудились вокруг лежащего Булыша враги, встал. Понял: Булыш попался. Пахраддин присел за кустом – жить-то хочется.

И тут вспорол воздух потрясающий, душу женский голос:

– Булыш! Булыш!

Смотрит Булыш, а из оврага, разрывая напрочь синий дым, летит Балкия. Босая, волосы стелются по ветру, быстрая, только пятки сверкают. Жаулык – в руке.

– Ушел враг! Побежа-ал! – раскричались выскочившие из оврага мужчины с винтовками.

Предутренняя мгла рассеялась, восток посветлел, стала просматриваться песчаная степь. Человек тридцать конников уходили от них, петляя между барханами; за перевалом они скрылись – пулей не достанешь. Балкия птицей пролетела мимо Пахраддина.

– Булыш! Ойбай, Булыш!..

Пахраддин поднялся, испытывая дрожь в суставах, потрусил за Балкией, приговаривая:

– Пропали мы! Ой пропали!..

Добежав до Булыша, Балкия пронзительно вскрикнула:

– Ойбай! Ойба-ай!..

Закрылись глаза Пахраддина, из них брызнули слезы. Задрожали, расслабились ноги. Попробуй добеги быстро!

– О-о, Булыш! О-ой, мой Булыш! – рыдал он.

Утро содрогнулось от отчаянных "ойбай" Балкии. Из оврага бежала и Дау-апа. И она голосила.

К месту, где лежал ничком, обняв землю, Булыш, подоспел и задохнувшийся от бега Пахраддин. Первое, что он увидел: вокруг джигита расплылась обильная лужа крови. Пахраддин вгляделся в раны поверженного: пробит затылок, срублено левое плечо, правая лопатка разнесена пулей, но на лице батыра застыла неустрашимость.

– О-о, Булыш мой... Булыш! О-о, мой батыр!.. – вновь зарыдал Пахраддин.

Перевернув Булыша на спину, накрыл чапаном. Добралась до сына и Дау-апа, воет-причитает. И другие женщины шумят. Весь аул собрался у трупа.

Балкия неожиданно для аулчан кинулась куда-то в расветную синь. Рыдает тонко, пронзительно, как жеребенок, которого ненароком ранили. Безоглядно бежит женщина – босоногая, простоволосая...

– Жеребеночек ты мо-ой! Ой-бо-ой! На кого ты меня оставил? – причитает Дау-апа.

Хансулу ни жива ни мертва. Бледная, дрожащая, с ужасом озирает она разгромленное кочевье. Было – и нет его. Шумели-галдели люди. По становищу, лишь ночью служившему ночлегом, беспорядочно метались ягнята, козлята, овцы, козы – вся оставшаяся живность ограбленного аула. Скулили растревоженные псы.

Верблюдов-наров, грозы и красы аула, нет. И лошади исчезли. Обеднел аул, нищета заглядывала людям в глаза.

Бандиты потеряли двоих. Один – Капан, сын Мажана, пуля зацепила его у подножия бархана; второй – молодой туркмен в папахе.

Булыша погребли на следующий день после обеда на холме, заросшем столетником. Его гибель потрясла весь аул, опечалила и молодых, и старых. Не было человека, не пролившего по нему слез.

Бедняжка Балкия часто теряла сознание. Дау-апа, подперев бока руками, раскачивалась из стороны в сторону и – голосила-голосила; в один день поседела, согнулась мать.

У аула, подвергшегося неожиданному разгрому, лишившегося скотины, вынужденно изменились планы на будущее. Пока одни рыли могилу для Булыша, другие стали копать колодец на дне оврага. И ребенку ясно, что откочевка в Афганистан пока откладывается. Походный порядок жизни диктовал: "Мертвому – могилу, живому – жизнь". После похорон Булыша стали ставить юрты. Аул оседал. Уменьшились плач и стенания.

Балкия так и не приходила в себя. Лежала под пышной кроной карликовой акации и звала в бреду:

– Булыш! Булыш!

Хансулу поддерживала ей голову, поила водой.

Дау-апа, почерневшая от горя, тоже взялась за плохонькую свою юрту. Соседи и родичи помогли – подняли шанырак, связали уыки.

К вечеру в тени белой юрты Пахраддина расстелили большой войлочный текемет, и аульные аксакалы устроили совет. Единодушно решили, что пережитое ими бандитское нападение не иначе как божье знамение: не хочет бог народ на ту сторону отпускать. Некоторые предлагали сложить оставшиеся на руках деньги, золото, серебро и, обменяв их на базаре на скотину, продолжить путь в Афганистан, на что другие возразили, как, дескать, без штанов в страну обетованную подаваться, ведь там, на стороне, и отношение к ним, к голодранцам, будет плевое.

Лабак-ахун сидел с закрытыми глазами и что-то тихо бормотал, перебирая четки, вид у него был отрешенный.

С восходом луны совет закончился. Пять человек с Пахраддином на следующий день отправились в туркменский город Коне-Ургенч, который был ближе к аулу, чем Конырат.

2

Мужчины аула стали возить саксаул в Коне-Ургенч по договору. Горожанам требовалось топливо. Все, кто в силах, рубили деревья, чтобы заработать на хлеб. Много саксаула в песках. Пока мужчины на пятнадцати казенных верблюдах сбывали саксаул в далеком отсюда городе – туда два дня пути, – женщины заготавливали дрова впрок. Все им помогали: и подростки, и старики. И Хансулу, надев шаровары и стеганку, подпоясавшись ремнем, не отставала от соседей.

С утра до вечера мелькали в воздухе топоры, непрерывный стук оглашал некогда тихую песчаную округу.

Дау-апа, по-мужски замахиваясь топором, ловко срубала сук, приговаривая:

– О бог! Окаянный бог! Чем это я тебе не угодила, за что мстишь?! – и темнела лицом.

Прошел полдень. Жара спала, удлинились тени. С восточной стороны аула зеленела густая тамарисковая роща, за ней виднелась заросшая ковылем песчаная гряда. На ней-то и показались возвращающиеся "горожане", увидев которых, женщины, занятые на саксауле, тотчас бросились в аул. Ребятня, визжа, понеслась навстречу отцам – с базара они! Какой-никакой, а праздник для аула возвращение "горожан".

Из последних сил держатся на верблюдах всадники. Вымотала их дорога, измучила жажда. Под тюбетейками и шапками большущие полотенца.

– Гляньте-ка, а там кто? Не Верещага ли? – воскликнул кто-то.

– Горлодер ведь под ним?

– О создатель! Неужто Шарип?

Хансулу не поверила своим глазам. Последним, замыкая вереницу "горожан", и в самом деле ехал ее свекор –

маленький, сухонький Шарип. Не видать-то его из-за верблюжьего горба.

Караванщиков, осаживающих верблюдов, тесным кольцом окружили женщины, дети, старики. Лабак-ахун привел Шарипа в дом Дау-апы. Та долго причитала. Старики пропели Коран, провели традиционно ладонями по лицам. Балкии дома не было. Женщины пояснили – пошла за кизяком. Хансулу поставила самовар; кидая в его топку щепки, прислушивалась к разговорам в юрте, а старики знай о житье-бытье толкуют, каждый о своем Шарипа расспрашивает. Мать Сырга наконец догадалась:

– А от Шеге что, сват?

Хансулу приникла к юрте. А свекор и сам позвал:

– Келин, ау келин, ты где?

Хансулу, стесняясь, протиснулась бочком в набитую народом юрту. Свекор на почетном месте, подобрав под себя ноги, жадно принюхивается к макушке сидящего на коленях его Тугелбека – соскучился.

– Присаживайся, милая. Как ты тут?

Дрогнул голос Шарипа, не смог он скрыть волнения, рукавом вытер глаза.

– Жив-здоров Шеге... Письмо вот пришло. Город Орыск[1], вот он где, Шеге...

И протянул Хансулу замызганный смятый конверт. Дальше говорить не смог, слезы закапали на голову внуку. Глядя на него, и Хансулу расчувствовалась.

За чаем неугомонный Кикымбай спросил у Шарипа:

– А как там ваш каллектеп поживает, гудулдугутпан?

"Гудулдугутпан" – любимое присловье Кикымбая, смысла которого не знает и он сам, но которое непременно вворачивается в речь, когда вопрос у него каверзный. Разомлевший от чая Шарип резко вскинул голову. Знает, чесотка на языке у проклятого Кикымбая.

– Что спрашиваешь? Доконал каллектеп!

– Доконал? Как? Нету, что ли, теперь "Жанажола"? Распустили?

– А какая разница – распустили, нет, раз каллектеп не каллектеп уже?.. Скотину государство отобрало. Лис каждый день новые налоги придумывает. Скотину позабирал – так, за шкуры взялся, за шерсть, а на днях

[1] *Орыск* – искаж. от "Орск".

копыта велел сдавать, вот так. Дашь – ничего. Не дашь – нету никого тебя хуже. И враг ты, и контр ты. Чуть что, в тюрьму грозится упечь. Шестнадцать дворов осталось от "Жанажола". Бегут люди из каллектепа.

– Ойбо-ой!

– Спаси, аллах!

– Крикуна моего видали? Ну вот, один у меня из всей скотины. Как его приберут, считай, семье моей крышка.

– Ау, Шаке, – оживился Кикымбай, – вы, гудулдугутпан, не кто-нибудь, активист. Пошли к власти, шум подняли!

Шарип, когда злился, не находил слов, начинал заикаться:

– П-пропади оно все пропадом! Если б от шума того что было... – поперхнулся чаем. – К-калашников с нами не говорит, темными считает. Лиса слушает, он, скотина, по-русски трекает, то-от еще лизун! Лизуны в почете нынче. В любую дырку, говорят, лизуны пролезут, любую дверь откроют. И Советскую власть, я думаю, лизоблюды к рукам приберут.

– А где Апанас? Уж кто народ понимал, так он, Апанас!

– Э, заткнул его Калашников. С работы скинул – спорил с ним...

– Э-э-э...

Люди погрустнели.

Измотанный дальней дорогой и жаждой, Шарип налег на чай. Установилась тишина. Лишь посуда позвякивает.

– Э, Шаке, наш разговор ближний. А я вот ждал, что вы чего-нибудь издалека завернете.

Не понял Шарип Кикымбая, вытаращился.

– Я вам, Шаке, вот какую забавную штуку скажу. Послушайте. Рассказывают, Голощекин к Сталину ездил, жаловался, гудулдугутпан: не могу, говорит, кочевой народ в каллектеп загнать, по степи, говорит, разбежался...

– Ай, Кикымбай! – оборвал его Шарип. – Слышали мы про это от такого же пустомели, как ты. Да только Сталина-то сюда не приплетай! Давай-ка мы лучше вот за сопляками своими присмотрим... Что нам с тобой, если кто-то куда-то ездит?

– В книге священной записано, – заговорил Лабак-ахун, – конец света приблизится, так на земле копыта не останется...

Люди повернулись к Лабак-ахуну.

– Все живое забвению будет предано – и птица летающая, и зверь рыскающий, и рыба плавающая. Сын мусульманина, клок шерсти на суку завидев, подберет его и, сжегши, запахом, им источаемым, наслаждаться будет.

Лабак-ахун стал описывать подробности Великого конца столь красочно, будто был очевидцем.

Дау-апа подала к дастархану мясо. Сотрапезники запили его верблюжьим шубатом и к ночи, когда показались звезды, разошлись.

Пахраддин не принимал участия в разговоре. Ночью, когда они с Шарипом вышли прогуляться по свежему воздуху, он, покручивая усы, поделился со сватом тем, что накипело на сердце, что его угнетало.

– Будущее аула меня заботит, – сказал он.

Ничего более не обронил Пахраддин. Назавтра спозаранок Шарип взобрался на своего горлодера и тронулся в обратный путь.

3

Мужчины аула, промышлявшие солью на Карымбете и сбывавшие ее потом в Конырате на базаре, месяцами не видятся с детьми, женами. На прошлой неделе Пахраддин и Кикымбай приезжали. Услышав вести о мужьях, получив от них гостинцы – сахар, чай, пшеницу, просо, женщины в ауле приободрились. Но Хансулу встревожил вид отца: насупленный, плечи опустились. Не похож он на себя прежнего, не та поступь, в облике нет былой величавости. Будто сломался человек... И за дастарханом молчал, упершись взглядом в землю, ко всему безразлично-равнодушный, будто сонный. Что-то мучило его. Причину она потом от матери услышала: цены на продукты небывало выросли на базаре. Боялся отец, что соль, которую они с превеликими трудностями доставляют, в скором времени обесценится настолько, что выручки от нее не будет хватать на хлеб. Еще он сказал, что на берегу Аральского моря создается колхоз под названием "Кзыл кайыр", и рыба там, естественно, главный промысел; он с

Лабак-ахуном советовался, не пойти ли им теперь в рыболовецкую артель, так старец, оказывается, возмутился: не хочу, дескать, жить по бумажке, не хочу с Кораном разлучаться. “Вот твой отец и думает, как ему быть…” – заключила мать.

4

Еще два дня прошли. Первыми, как оказалось, покидают голодающий аул собаки. В пустыню они убежали, охоту за мышами предпочли. Женщины, ведомые Дау-апой, к Лабак-ахуну приплелись; он с утра на свежем воздухе молился, голова у старца скорбно склонена книзу. Как живой труп ахун. Проведя ладонями по лицу, обратился он к женщинам в ожидании, что те скажут. Дау-апа, не снимая со спины заснувшего внука, так, в согбенном положении, и заговорила первой:

– Что вы нам предложите, святой человек? Что-то ведь надо предпринимать. Без худа, говорят, нет добра. Даже если и не вернутся мужики, что-то делать надо. Не умирать же с голоду.

– Потерпи еще ночь! Иншалла, может, будет весть, – проронил ахун, цедя пальцами бородку.

Ночь была с ветром. Без луны. Не видно ни зги. Заснул аул

Неугомонный ветер треплет кошму на юртах. Временами порывы его таковы, что скрипят шаныраки, уыки, и кажется, вот-вот какая-нибудь юрта не выдержит напора непогоды – рухнет. Страшно Хансулу. Укутывая спящего Тугелбека, прислушивается она к внешнему миру – гудящему, свистящему, стонущему, будто чудовища неведомые рыскают по беспомощному, беспризорному аулу вместе с беснующимся ветром. Будто собираются они кучками и к каждой юрте принюхиваются, мертвечину выискивают, чтобы за ноги ее наружу выволочь да полакомиться. Будто они и к Тугелбеку ее крохотному приглядываются. Спит малыш, а они, поди, воображают, что не спит...

Ушел сон от Хансулу, кошмарные видения не оставляют ее. Что-то зашумело у стены.

– Апа! – вскричала она, вскакивая.

– Бисмилля! Бисмилля! Что такое? – подняла голову Сырга.

– У стены кто-то...

– Да мыши, господи, кто же еще?

Мать зажгла керосинку, оглядела стену.

– Мыши, спи, – сказала она, зевая.

Глаза Хансулу задержались на сыне, и сердце ее растаяло. Надо же малышу уродиться таким: нос, брови, лоб – о господи! – отцовы! Это умиляло ее, она, склонившись, поцеловала пальчики выпроставшихся из-под одеяла маленьких ножек, шевелил малыш ими во сне.

Ветер воет беспрестанно, трещат завязки туырлыка. Но, успокоенная, Хансулу заснула. И пробудилась вскоре от шума. Смотрит, мать керосинку разжигает.

– Ты что, апа?

– Отец твой приехал! – объявила та и открыла дверь.

Вошел отец. Под шапкой платком обвязался так, будто зубы у него болят. Лицо почернело, опухло. Сапоги в пыли.

– Добрались, сокол мой? – засуетилась мать, принимая из его рук коржун.

– Добрались, – неохотно ответил отец, едва языком ворочая.

– Задержались что-то...

Отец поморщился. Сырга, присев, начала стягивать с него сапоги. А он, хмурясь, коротко изложил все, что с ними было:

– Соль не брали, а если брали, так за бесценок, вот и закрутились. Что пшеница?.. Кукурузу и ту на базаре не купишь. Кило – два рубля... Не вышло ничего из соли, так я тот слиточек золотой – одному узбеку за три кило кукурузы. Там, в коржуне, она, – у него задрожал голос.

Мать принялась массировать ему голову.

– Степняки в города бегут... Голод, мор, мрет народ...

Хансулу начала было заливать чайник, но отец от чая отказался, пожелал лечь. Сырга постелила. Стягивая с себя верхнюю одежду, Пахраддин сказал:

– С рассветом, похоже, тронемся к побережью. Плохи наши дела.

Сырга помогла лечь. Погасила лампу.

– Отдохни... спи... – укрыла заботливо одеялом.

Хансулу удивило отцовское “тронемся”. Если б в ауле хоть на расплод верблюд остался – как это они трогаться

будут? Ишаки, правда, есть, да и то не у всех. Как же они тронутся?

Утром отец велел развести очаг, а сам, завернувшись в шубу, сел подле, лицом к огню, и долго, до седьмого пота, пил чай. Пришёл Лабак-ахун. На гостевом месте скоренько благословение какое-то пробормотал и, закрыв глаза, ладонями по лицу провел. Посидел некоторое время молча, пальцами белую бороду теребя. Мысленно, похоже, все мироздание обозрел, такой у него отрешенный был вид. Пахраддин безмолвствовал. Завернувшись в шубу, тянул и тянул наливаемый женой крутой кипяток-чай.

– Э-э, – протянул ахун, – другого выхода, кроме того как возвращаться, не осталось?

– Не осталось, – ответил Пахраддин.

– Э-э, – запел опять протяжно ахун и закивал головой. Долго кивал. Затем как пришел, так и ушел – прямой, несгибаемый, непроницаемый, в белом, стелющемся полами по земле чапане, в белой чалме, с белым посохом в руке.

К этому времени и соседи, похоже, встали. Слышались визгливые вскрики женщин, плачущие детские голоса.

– И день-то божий не прояснится, – с этими словами Сырга поглядела через тундик юрты на небо – оно было в подтеках.

Пахраддин, опрокинув пиалу кверху дном, вытерся полотенцем, сказал:

– Необходимое только берите. Постель, посуду, одежду. Что ишак поднимет, – и попросил дочь, показывая на кереге: – Подай-ка...

Черная плюшевая торба висела на решетке. В ней – старые тетради, те, что с родословной казахов, которой многие годы посвятил. Об этом даже близкие Пахраддину люди не знали. Если кто-то и любопытствовал, он отделывался коротко: история, мол..

Хансулу подала торбу отцу. Пахраддин листал пожелтевшие страницы не спеша, молча листал, долго. Переглядываются дочь с матерью, что, дескать, с отцом? Нашел время для чтения...

А он знай перебирает желтые страницы, вглядывается в красиво выведенный арабскими буквами текст.

И – неожиданно разорвал одну тетрадку пополам. Еще на части разодрал и клочки швырнул в огонь. Вспыхнула бумага.

Хансулу и Сырга оцепенели на месте. Пахраддин, похоже, избавиться хочет от торбы.

Пахраддин покинул юрту. Холодный ветер не стихал, гнал по аулу поземку, вздымал песок из-под юрт, делая еще более неприглядной и без того печальную картину происходящего. Мечутся бестолково женщины, дети. Суета с узлами, с прочим домашним хламом, вволакиваемым из юрт. Другая откочевка, не та, что прежние. Эта откочевка – не откочевка, бродяжничанье скорее; что, как говорится, унесешь, а что не унесешь – бросишь, оставишь. Мужчины аула, вернувшиеся с Пахраддином из города, рассказали своим отчаявшимся в ожидании семьям, что за поход им предстоит. На берега Амударьи, как услышали они в Конырате, пожаловали представители из Казахстана. Задача их – собрать воедино рассеявшиеся по пескам аулы, бежавшие в пустыню из-за нежелания идти в коллективы и теперь нищенствующие. Сбор намечается на берегу Амударьи, по которой беженцев судном должны доставить на родину. И еще они услышали, что Сталин якобы из-за того, что кочевой народ бежал, покритиковал жестоко Голощекина, обвинив его в перегибах и в извращении партийной политики на местах относительно коллективов; после этого якобы и поскакали гонцы от республики в разные концы, и к соседям, разумеется, – к русским, узбекам, киргизам, туркменам, каракалпакам, на земли которых и хлынули поначалу перепуганные казахи, чтобы оттуда выбраться уже в Китай, Иран, Афганистан. Когда же наступил момент оставить на безлюдье юрту и вместе с ней то, что наживалось годами, возник бунт. Бабий бунт.

– До чего бестолковые у нас мужики! – начала Катира, жена Кикымбая, злая от того, что узлы, которые она накладывала на ишака, не могли уместиться на его спине. – Знали, что назад попрем, какого лешего из каллектепа уходили?

– Замолчи, треклятая, заткнись! – орет на нее Кикымбай.

Вопли Катиры Пахраддин воспринимал как проклятие ему одному. Точно стрелы вонзаются они в душу,

пронимают до костей. Шумит, взрывается аул то вскриками, то звоном бьющейся посуды, но Пахраддин ничего не слышит, вернее, перестал слышать. Горит со стыда лицо, жжет душу выпад вздорной Катиры, слова пакостной женщины бьют как камча...

Сырга и Хансулу выволокли из дома два мешка с постелью, грузили их на ишака. И коржун с посудой и довольствием на ишака положили. Навьючен ишак – дальше некуда. Видят жена и дочь, но суматошатся. Их бы воля, ничего бы не оставили. Желчь поднялась в Пахраддине. Не поймет, на кого злится: на судьбу-лиходейку ли, сыгравшую с ним жестокую шутку, на себя ли, оказавшегося в нелепейшем положении, на Катиру ли и ей подобных, привыкших все беды мирские валить на других... Но злоба была. От бессилия злоба. Побледнел Пахраддин.

А тут еще Сырга-байбише:

– Ой-бу-уй, сокол ты мой! Про казан-то мы забыли! – и к черному котлу на очаге кинулась. Большой он. Дочь подбежала, за второе ушко ухватилась. Еле волокут вдвоем. Сказать – бросьте, язык у Пахраддина не поворачивается.

Сколько лет кормил их старый прокопченный казан, а взять – ишака жалко, не утащит.

– Не поместится, – обронил он по обыкновению деликатно, но жена и дочь не услышали. Пыхтят-сопят, тащут казан. Тут-то Пахраддин и взвился:

– Не поместится! Ну куда вы его?! Куда?!

Впервые, наверное, поднял он голос на жену и дочь. Те, испугавшись, уронили казан. Лица на обеих нет. Почернел Пахраддин, отвернулся от них. "О бог-искуситель! Вот что ты приготовил мне напоследок, вот что...", – пробормотал он, глядя на грязный горизонт. Рыдания подкатили к горлу, глаза были сухи, без слез. На душе пустота – как и вокруг. В ушах – свистящий ветер.

– Кончайте, – кинул он устало.

Многие, подгоняя ишаков, в путь тронулись. Дау-апа будто привязана к юрте, не может ее оставить. Слышит Пахраддин, честит она кого-то последними словами. И ишака-то у старушки нет.

– Принеси ее вещи! – велел он Хансулу.

Два узла у Дау-апы, их водрузили на ишака. Пора бы трогаться. Дау-апа со слезами на глазах обратилась к Пахраддину:

– Что мне делать, скажи? Не хочет моя помешанная невестка идти. Объясняю – не понимает. Кричу – плачет. Что мне делать?!

Пахраддин к Хансулу и Сырге повернулся:

– Выведите ее как-нибудь!

Балкия с распущенными волосами сидела спиной к порогу, крепко уцепившись за решетки кереге. Еще больше подобралась, когда увидела Хансулу и Сыргу. Старое платье на ней с рваным плечом.

– Дайте я сама! – попросила Хансулу, выпроваживая Дау-апу и мать. – Балкия!

Вздрогнула женщина, обернулась к ней. Глаза у нее безумные.

– Я же Хансулу!

Хансулу достала зеркальце и гребешок, положила перед ней. Испытанный ход. И раньше вот так удавалось поухаживать за женщиной: мыла ей голову, расчесывала волосы.

– Ну-ка, причешу я тебя! – предложила Хансулу и сейчас, чувствуя, что Балкия начинает к ней прислушиваться.

Скоро Хансулу вывела ее за руку из юрты. К этому времени в ауле ни души не осталось, пустой он стоял, будто выпотрошенный. Пыльный суховей шнырял между покинутыми домами, вздымая мусор.

Аулчане тащились пешком, замыкали беспорядочную толпу Пахраддин, Дау-апа, Сырга, Балкия, Хансулу. Между теми, кто уходит, снуют и брошенные собаки, те самые, что подались в пустыню охотиться на мышей, а теперь почему-то вернулись. Им невдомек, куда это отправляются люди, все до одного. Трусят псы некоторое время за уходящими, а потом останавливаются и воют.

Пахраддин старается идти боком к ветру. К голосу великого суховея, раскачивающего кустарники, примешивается некий гул, будто мир вокруг тяжело вздыхает. Будто страшная беда, способная сокрушить вселенную,

поднимает голову. Пыльный занавес заслонил солнце и, казалось, весь белый свет. Небо красноватой мглой затянулось. Невмочь Пахраддину оглянуться на остающиеся пустые дома, на остающийся аул, беспризорный, осиротевший. Теперь, что бы ни случилось, надо идти только вперед...

В том месте, где дорога, поднявшись на бархан, спускалась вниз, Пахраддин остановился, вытер пот со лба – подъем ему дался тяжело, грузен он. Но оборачиваться опять же не стал. Не захотел. Зато жена, дочь, дети, Дауапа обернулись.

В самом центре величественного царства песков, на крохотной равнинной площадке притулился боязливо аул.

Серые, милые сердцу юрты с закрытыми наглухо дверями и тундиками, нежданно-негаданно опустевшие дома. Пыльная буря покрыла аул.

Женщины, кроме Балкии, начали всхлипывать. Сыргабайбише до боли в глазах всматривалась в белую крутобокую юрту, перед порогом которой чернел казан, ею брошенный. Слезы побежали-покатились по лицу; захватила зубами край жаулыка, беззвучно расплакалась.

Вой ветра – он теребит беспрестанно головки столетника и караганника – представился вдруг Пахраддину женским плачем, повисшим между небом и землей. Содрогнулся он, не смея глядеть на женщин, обливающихся слезами. Полоснул тамарисковой веткой по крупу большого серого ишака, который, воспользовавшись остановкой, дремал, развесив длинные уши.

– Чу-у, – подогнал его хозяин.

АПОКАЛИПСИС

1

Будто солнечное затмение. Будто светопреставление, то самое, которое Лабак-ахун пророчил..

Хансулу, подавленная, со слезами на глазах бредет по мягкой, осыпающейся под ногами тропе. За спиной – ребенок. Позади, за перевалом, аул, покинутый, неприютный, как кладбище. Оттуда доносится печальный вой оставшихся собак. Тоскливо они воют, как бы предвещая

недоброе. Не решается Хансулу оглянуться, не смеет почему-то. Впереди – затянутый пылью, неведомо чего сулящий серый горизонт. Неизвестная судьба впереди.

Там и тут по обеим сторонам пути завихряется пыль. Кустарники, раскачиваясь на ветру; ведут свою протяжную песню. В глаза бьют крупицы песка. Мир, обыкновенно широкий, сузился, в горсточку стал. Что-то все-таки зачинается необычайное – Хансулу страшно.

Тропа между барханами змеится. Чей-то деревянный сундук на краю тамарисковой рощицы остался, распахнутая крышка – как зев дьявола. Хансулу, приблизившись, узнала его: Кулзипы сундук, ее гордость; она всегда его на видном месте в юрте ставила. Все, конечно, его увидели, черный, инкрустированный костью, но прошли молча. Ни отец, ни мать, ни Дау-апа и словом не обмолвились. Лишь Тугелбек на ее спине вытянул указательный пальчик в сторону сундука:

– Ап! Ап!

– Отцу Кулзипы – старому, беззубому, с провалившимся ртом – плохо, оказывается, стало в дороге, не смог идти, вот Кулзипа и бросила сундук, а на ишака отца посадила.

К полудню народ сделал привал в тамарисковой роще. Сбросили люди с себя груз, хворосту насобирали, костерки там и тут запылали, чайники с водой над ними повисли.

Подоспела к привалу и замыкавшая шествие семья Хансулу. Поклажу под кустом расположили, там, где нет ветра, настил над головой натянули как тент. Каждый кустарник, считай, пристанище для семьи. Отобедать люди собрались, по привычке старой. Хансулу, когда они еще в песках Айту жили, видела цыганский табор. Так вот народ, под кустами сейчас рассыпавшийся, ей тот табор и напоминал.

Много костров вокруг, кипят чайники, но не слышно запаха мяса, аромата свежего наваристого бульона. Потому громче обычного покрикивают на ребятишек женщины, их раздраженные голоса режут уши. Более всех Катира изощряется:

– Куды прешь, рожа ненасытная! В огонь, гляди, бестолочь, залезет!

Это она собственных детей бранит, которые к костру тянутся.

Какая-то женщина всевышнего проклинает:

– Ни дна тебе ни покрышки, скаредный бог!

За дастарханом Хансулу – две семьи, на дастархане – жареная кукуруза, немного хлеба, кипяток. Только они к трапезе приступили, Дау-апа воскликнула:

– Ойбу-уй, что с ним делать будешь?

Мальчишка с деревянным тостаганом в руке обходил людей за дастарханами. Был в ауле один – Майлибай. Тихоня-тихоней, соломинки, как говорится, у овцы не отнимет, а детей – куча, не то девять, не то десять. Кончились, видать, у бедняги припасы, мальчишка попрошайничать пошел. Отщипывали ему люди от своих запасов, клали в тостаган. Кто-то, видать, неодобрительно его встречал, потому у некоторых дастарханов мальчик не задерживался. Тостаган в его руке – битый-перебитый, мальчишка бос, штаны неопределенного цвета, лет ему примерно десять-одиннадцать. В глаза никому не смотрит, голову, как опустил, так и не поднимает.

– Ау, поближе подойти не можешь? – сказал Пахраддин, протягивая ему с дастархана горсть жареных кукурузных зерен.

Тот, несмело ступая, приблизился. Пахраддин заглянул в тостаган. Хансулу – тоже. Проса и кукурузы со всех дастарханов и горсти не набралось.

– Это ты насобирал?! – спросил Пахраддин, засопев от удивления. Он не верил глазам.

Мальчик кивнул. Из тряпичного мешочка, который лежал под коленом Сырги, Пахраддин отсыпал ему еще горсть. Мальчик тут же, точно боялся, что его остановят, побежал восвояси. Сырга, подняв на мужа усталые глаза, вскинула брови. Пахраддин понял байбише. Понял и протянул растерянно:

– Э-э! Э-э!

Нехорошо ему почему-то стало. Сырга куда-то в сторону показала:

– Вон... еще идет... все раздай, что осталось...

Тихо она это сказала, но – с горечью. Поднял Пахраддин голову. И в самом деле, со всех сторон шли оборванцы.

– Милые вы мои, да куда вы? – громыхнула басом Дау-апа.

Дети боязливо приостановились.

– Идите! Идите! – позвал их Пахраддин. Тон у него жесткий.

– Сокол, – начала было Сырга, но он ее оборвал:

– Прекрати! Умрем, так вместе!

На том разговор и закончился. В каждую протянутую ладонь отсыпал Пахраддин по горсточке зерна.

Отец Кулзипы скончался. Без плача и лишних слов похоронили его люди. Никто и слезы не проронил. Одна Кулзипа всплакнула...

После обеда шествие продолжилось.

За кого Хансулу боялась в дороге, так за Балкию. Убежит – ищи-свищи потом! Но никуда Балкия не убегала пока. Шла послушная, как верблюжонок в поводу. За весь долгий день не заметили за ней ничего подозрительного ни Дау-апа, ни Сырга, и вскоре они оставили ее в покое, прекратили слежку. Но с наступлением темноты показала Балкия, на что способна...

За послеобеденное время путники одолели еще три больших подъема. С вечером для ночлега они заросший ковылем бархан облюбовали. Ишаков, спутав, отпустили на пастьбу, а сами сушняк насобирали, из вьюков укрытие от ветра соорудили. В безлунную густую ночь бархан светился кострами. Между ними сновали человеческие силуэты, со стороны бархан, похоже, напоминал дьявольский шабаш.

– Ойбуй! – воскликнула Дау-апа, безмятежно пригревшаяся у костерка. – Келин где, о господи! – Про сноху Дау-апа вспомнила. – Балкия! – позвала она. – Балкия-а-а!

Все вскочили. И Пахраддин. Отойдя от огня, дружно кричали в ночь:

– Балкия! Балкия!

Тьма непроглядная. Хансулу, присев, вгляделась в ночь. Звонкий женский хохот раздался неожиданно. Хансулу задрожала.

– Там она! – вскричал отец и потопал неуклюже в темноту.

Хансулу побоялась удаляться от стана. За Пахраддином кинулись в ночь и другие мужчины. Голоса, звавшие Балкию, удалялись и скоро совсем заглохли. Хансулу и Сырга постояли некоторое время на краю бархана и вернулись.

Так и не нашлась Балкия в эту ночь.

С утренними потемками Пахраддин сел на ишака и отправился на ее поиски. Лабак-ахуну он поручил продолжать путь, люди, дескать, изголодались, и не стоит их задерживать. Дау-апа, Хансулу, Сырга-байбише остались на бархане дожидаться Пахраддина.

...Не стал Пахраддин утруждать себя поисками следов Балкии. Сразу на тропу вышел, по которой они вчера двигались, взял курс к прежнему становищу. Посветлело, взошло солнце. Перед рассветом дождик проморосил, потому запах влажного песка и молодой травы, только-только прорастающей, бил в нос. Жадно вдыхал Пахраддин земные ароматы. Очень скоро на тропе и след Балкии обнаружился. Босые ступни четко отпечатались на песке. Нигде, получается, и не передохнула бедняжка. Прямиком бежала. Не жалел теперь ишака Пахраддин. Гнал его и гнал. Только во второй половине дня и добрался он до перевала, на котором вчера отдыхал.

Ишачок старательно карабкается на осыпающийся под копытцами подъем. Вот-вот и аул предстанет глазам. Но не хочется Пахраддину, как и вчера, видеть его, не хочется возвращаться на становище, где и его дом среди прочих, свой собственный, теперь покинутый.

Странное состояние. Необъяснимое. Ишак, он на то и ишак – как увидел аул, так и давай орать:

– Иа! Иа!

Того животное не уразумеет, что аул – мертвый.

Пахраддин повернул ишака к могиле Булыша, одиноко темневшей на невысоком холме. Не огорожена могилка, только прутик кто-то воткнул в изголовье; горка земли вместо Булыша. Незабвенный Булыш!..

– О-о, Булыш... родной мой Булыш! – проговорил Пахраддин, слезая с ишака. – Ты здесь, мой Булыш? Как тебе лежится, родной?

Присев на корточки рядом с могилой, стал читать поминальный аят. Ишак прядал длинными висячими ушами, невдомек ему, что хозяин на пустой вершине потерял.

Еще через какое-то время поднялся Пахраддин, вытер глаза, песчинки с колен стряхнул. Смотрит, вокруг могилы

– следы босых ног Балкии. "Вот же горемычная!" Огляделся, увидел ее наконец. Из-за столетника она за ним подсматривала. Отпрянула, как только он ее заметил, в сторону бросилась.

– Балкия! Эй! Постой! – устремился за ней Пахраддин.

Не бежит, летит Балкия по чистому песку, только пятки сверкают; волосы по спине рассыпались, от полных белых икр, мелькающих впереди, рябит в глазах.

– Да погоди ты! Погоди ж, говорю! Ай! Хай! – не поспевает за беглянкой Пахраддин.

А Балкия назад глянет – и дай бог ноги!

– Балкия! Погоди! Балкия! – кричит Пахраддин.

Не слышит его сумасшедшая, она за перевалом скрылась. Одышка у Пахраддина, вот и встал, чтобы передохнуть. Затем на перевал поднялся. Заставил себя подняться. Балкии и след простыл, не видать ее.

– Ну и хлопот с несчастной! – выдохнул он в сердцах, обозревая бескрайний песчаный мир перед собой. Куда ни глянь – валы барханов. – Куда ж она запропала?

Ишак вдруг разревелся. Обернулся Пахраддин, а ишак, им спутанный, удаляется нелепыми прыжками. Тени за ним метнулись, не то собаки, не то волки. Пока соображал Пахраддин, что происходит, ишак, взбрыкнув задом, исчез в низине.

Пахраддин застыл, ошеломленный. "Волки!" Похолодел тотчас от страха. "Откуда?" Вспомнил, как орал на перевале ишак, когда аул увидел: сам, получается, беду накликал. Тьфу!.. Вот же наказание – волков только ему недоставало! Балкия, считай, пропала – как растворилась в песках. Волки, поди, рвут на части серого ишака. Разделаются с ним, к нему, кровожадные, помчатся, что он будет делать? Потрусил Пахраддин к аулу. Сам не знает, как два подъема одолел. Запарился от бега. Боится – не добежать ему. И в глазах темнеет от того, возможно, что не ел давно. И ноги тяжелые, не слушаются.

Вот и падь. К крайней кикымбаевской юрте он приблизился, отдуваясь на ходу, когда от ее стены отделилось нечто размером с ягненка и понеслось с воплями прочь. Тьфу, божье создание, крыса! Никогда Пахраддин так не пугался. Мурашки по спине пробежали, так ему жутко стало. Еще две крысы умчались, вереща. Свело от ужаса ноги. Юрта, которой завладели крысы, показалась ему пострашней волков. Обливаясь потом,

качаясь на ходу – кружилась голова, – направился к юрте Дау-апы, да по пути, оступившись, ногой в очаг угодил, упал, ушибся. Встал кое-как, подумал: "Здесь мне, однако, и конец..." Стряхнув со штанин золу, выпрямился, пошел. За юртой Дау-апы, кстати, его собственная. Дверь и тундик закрыты наглухо, большой черный казан перед порогом лежит опрокинутый, земля изрыта мышами. Нет, к себе он не войдет даже под страхом смерти!

Юрта Дау-апы оказалась незапертой, дверь просто прихлопнули. Но вот открыть ее, войти опять стоило усилий; казалось, она набита крысами. Мерзкие, гнусные твари!.. Выбора не было, сунулся в юрту. Полутемно.. Поежился, ощущение – будто он, живой, в могиле очутился. Да-а, какое тепло в доме, из которого ушел человек?! Пустота... Старенький, залатанный половичок лежал на гостевом месте. Открыв скрипучую дверь, вытряс его, разостлал снова, закрыл дверь на петлю. Сел на половичок. Уставшее, ослабевшее тело молило об отдыхе. Он и подумал: "Пересплю, солнце заходит, а обратно с рассветом двинусь".

Прислушиваясь к звукам окрест, не заметил, как сомкнулись веки. Проснулся ночью, продрог. Через дыру в тундике виднелись яркие звезды. Сердце по непонятной причине отстукивало тревожно: "Дурс-дурс..." Что за страх? Старится он никак – всего боится, не думал никогда, что такой трус. Глаза на двери остановились, подозрительные тени под ней скопились. Кто-то как будто затаился там, за ним наблюдая. Пахраддин даже дыхание чье-то услышал. Стал шарить вокруг себя. Сапог подвернулся, который он снял ночью. В щель двери – о боже! – на него глядел чей-то глаз, он ясно его различил.

– А-ай! – вскричал он очумело и метнул сапог. Дверь загрохотала.

Тот, кто за ним наблюдал – дьявол ли, человек ли, – бросился наутек.

– Айт! – заорал Пахраддин, вскакивая с места. Шорох ног неведомого существа затих вдали.

– О, духи мои! – Пахраддин стал читать молитвенные аяты. Один за другим. Какой уж теперь сон? До рассвета взад-вперед по тесной юрте проходил.

Синие сумерки были вокруг, когда он, взяв палку в руки, пошел из беспризорного аула.

2

Хансулу, Дау-апа, Сырга-байбише не спали две ночи, ожидая Пахраддина. Костер развели на бархане. Кричали, полагая, что Пахраддин заблудился.

– Все из-за сучки этой, запропала б она совсем! Что ее искать-то было? Околеет пусть, – громко выговаривала Дау-апа, искренне огорченная.

Сырга безмолвствовала. Накроется безрукавником, к костру подсядет и на огонь все смотрит, смотрит. С того дня, как, оставив дом, аул, пустились они в путь, отрешилась она от всего, в меланхолическое состояние впала. И раньше немногословная, совсем говорить перестала, как тень передвигается.

С восходом солнца Хансулу ближние барханы обошла, дикой моркови накопала, луку нарвала. Без этих кореньев, которые хоть как-то перебивали голод, они бы за день остаток зерна в торбе прикончили. Одну луковицу Хансулу положила в рот. Как-никак пища для ослабленного организма, хоть что-то да пожуешь. Ну а морковь, морковь уже еда самая что ни есть. В поисках моркови и удалилась она незаметно от стана. Крик Дау-апы раздался откуда-то снизу. С предрассветными сумерками старуха в брошенный аул отправилась. Вернулась, что ли? Побежала Хансулу, путаясь в длинном подоле, на стан. Увидела с вершины – Дау-апа жаулыком машет. У самого основания бархана стоит. Зовет ее.

Хансулу туда. У подножия бархана, вытянувшись во весь рост, лежал человек. Дау-апа сидела рядом. По чапану – темно-серому – признала Хансулу отца. Занедужил он, с хрипом, надрывно кашлял, слезились глаза. Хорошо, что доплелся до бархана.

Общими усилиями, поддерживая с двух сторон, Дау-апа и Хансулу затащили его на вершину.

– Огня! Огня! – потребовал он.

Развели костер, вскипятили воду, дорожку натянули как укрытие от ветра, дастархан накрыли. Потрескались губы у Пахраддина. Глотнул кипятка, солью сдобренного. От хлеба кукурузного немного отщипнул, жареной пшеницы и кукурузы попробовал.

– Уф! – произносил он всякий раз, как отпивал глоток.

– О алла! О Барак-ата! О Бекет-ата! – громко взывала к духам предков Дау-апа.

Молчал Пахраддин. Теплым одеялом по горло укутался и тянет, тянет взахлеб кипяток. Пропотеть хочет – недуг из себя выгнать.

К полудню стало припекать. Высоко-высоко в небе запел жаворонок, жужжит-звенит мошкара. В песках зелень с первым теплом прорастает. Куда ни глянешь – любимый скотиной ран, верблюжья колючка, солодка, лопух, ковыль, акшатау – вид пустынной полыни. В ближних и дальних падях, промеж холмов прозрачный голубой воздух струится. Цветет-хорошеет пустынная даль. Загляделась на пышное разнотравье Хансулу, перехватило дыхание от красоты, вздохнула.

Долго еще сидел у дастархана Пахраддин, похрустывая жареной пшеницей, запивая ее кипятком, обливаясь потом, затем лег. Сырга-байбише одеяло ему со всех сторон подоткнула.

– Ау! – позвал он через некоторое время.

– Что? – встрепенулась Сырга.

– Что у нас пожевать-то осталось?

Не ответила Сырга. Маленькую черную торбу из коржуна вытащила, бросила перед ним. Упрек своего рода мужу за неурочную хлебосольность.

– И все? – спросил он.

Не ответила Сырга. Отвернулась.

– Ым-м, – замычал Пахраддин. Закрыл глаза. Женщины притихли в ожидании, что он, хранитель очага, скажет еще.

– Воды сколько?

– Полбурдюка.

– Дау-апа! – Пахраддин еще плотнее запахнулся в одеяло.

– Я слушаю, – откликнулась Дау-апа.

– Дау-апа, я сегодня, похоже, пойти не смогу. Ну а вы с Хансулу идите, нельзя вам задерживаться. Сырга со мной останется... Будем живы – догоним. Воду поделите. Кукурузы... горсточки две... оставьте. Остальное забирайте, и постель... Сколько унесете. Собирайтесь!

– Коке, может, не надо? – подала голос Хансулу. – Может...

– Довольно! – отрезал Пахраддин. – Шевелитесь!

Сырга-байбише, безмолвствовавшая, смахнула украдкой слезы.

– Дело человек говорит, – заключила Дау-апа и вздохнула. Резко обозначились морщины на ее лице. – Не одни мы, дети с нами.

Так Хансулу и Дау-апа с малышами двинулись в путь. У Дау-апы на плече коржун, у Хансулу в руках торсык[1] с водой, узел с одеждой.

Безлюдная даль. Уходит Хансулу, оглядываясь на ковыльный бархан, на котором отец и мать остались. Мир будто растворился в ее горючих слезах, туманный, серый, он плавился, как свинец. Все под небом и на земле будто замерло, лицезрея ее, готовую умереть от собственной беспомощности: ничем, абсолютно ничем не могла она помочь дорогим ей людям.

Долго не просыхали глаза ни у нее, ни у ребенка.

Дау-апа шла впереди с длинной палкой в руке, с тяжелым коржуном на спине. Чуть пригнулась под его тяжестью. Помалкивает. Только когда Хансулу успокоилась, произнесла сочувственно:

– Э-э, доченька моя, крепись. Жизнь... она такая. Лишь бы аллах, скажи, без помощи не оставил. Я старше тебя, э-э, чего только не видела, скажи...

Мягко, очень мягко звучит грубый голос старухи.

Тропа между барханами вьется, а то по гладкому солончаку тянется. Чем дальше они уходят, тем чаще попадаются верблюжья колючка, тысячелистник, тамариск, чий. И торангыл пошел – высокий, крепкий, густым частоколом в высоту тянущийся. Все эти приметы напоминают, что пустыня, это, казалось бы, нескончаемое песчаное царство, остается позади.

К вечеру дети запросили хлеба. Дорога по солончаку шла пообочь рощицы тамариска – ажырыка, степного камыша с утолщением у основания. Тамариск с человеческий рост, под ним и передохнуть можно. Да и ветра нет. Сбросив с плеча коржун, Дау-апа распрямилась, разминая затекшую поясницу.

– Ну-ка, доченька, что там у тебя, развязывай-ка узелок! – повелела она.

Мать Сырга и воду, и еду поделила. В узелке поллепешки кукурузной и с горсточки две жареной пшеницы.

---

[1] *Торсык* – сосуд из козлиной шкуры.

Весь провиант. Хансулу и передала его старухе. Дети, завидев хлеб, потянулись, было к нему, но Дау-апа на них прикрикнула:

– Терпение! Терпение!

Она бережно расправила платок с провиантом, руки у нее темные, ссохшиеся, пальцы корявые, в узлах.

– Потерпите чуток, ребятки!

Пшеницу она сначала на четыре, потом на восемь, а потом на двенадцать частей поделила. Поглядеть со стороны, так будто на бобах старуха гадает. Ни Хансулу, ни дети не понимают, зачем она это делает – запас-то скромный, надолго его не хватит.

– До Коньрата, самое большее, еще две ночевки, гм-м, – рассуждала сама с собой старуха, не обращая внимания на спутников. – Та-ак, – разломила пополам и хлеб.

Запах лепешки защекотал нос. У Хансулу слюнки потекли. Две половинки лепешки Дау-апа еще на две половинки разделила. Детям в конечном счете по крохотному, с их ладошку, кусочку досталось.

– Дорога длинная, милые мои, потерпите. Придем и будем кормиться, – сказала она.

Хансулу положила в рот щепотку пшеницы. Будто не зерна, твердые, хрусткие, а кусочки сливочного масла – тают они во рту. Только сейчас почувствовала, как голодна. О-о, как пахнет хлебушек-то!.. Не оторвать от него глаз.

Дау-апа собрала платок в узел. Все глаза по-прежнему на нем. Дау-апа его в коржун втиснула. Потом они встали.

Тамарисковая рощица вскоре осталась позади. Снова тропа пошла, она теперь огибала редкие песчаные подъемы со столетником и караганником.

3

Пахраддину привиделся сон.

Будто прежние это дни, когда не было смуты в народе. Сплошь белые юрты на берегу озера. Тьма народу в ауле. Празднество какое-то, радостный день. Все ждут, что скажет Пахраддин. Ему одному всеобщий почет и уважение. Как бий решение свое сказать он должен. Речь, похоже, держать будет. Особенная речь его, из самой дали, из глубины веков начнет он разговор: откуда кочевой народ идет, кто его прямые предки, ибо тот безроден, кто

своего происхождения не знает. Не для сегодняшней ли речи пыль веков ворошил, по памяти, по крупицам историю народа восстанавливая? Давно чувствует: тяжко ему одному с тем, что накопилось за годы изнурительной работы, душа, знаниями просветленная, откровения требовала. Этот час настал. Раскрой он рот – слова потекут сами. Прокашлявшись, повернулся к народу, небывалое воодушевление он испытывал. Только начал говорить, как... проснулся.

Пахраддин лежал на спине. Приподняв голову, оглядел округу. Странное состояние им владело, не знал он, верить или не верить тому, что он, Пахраддин, здесь, в пустыне, под открытым небом. Верь не верь, но под боком земля, а над головой небо, черно-синее, с начинающими проступать на нем звездами; оно летит к нему, вот-вот накроет с головой. Зажмурился Пахраддин. Жаль, жаль, что все оказалось сном. Не желал он мириться с тем, что несла реальность.

– Уф! – выдохнул он, опуская голову на подушку.

Сна как не было. Зато другое ожило, начиная с того дня, как они, побросав родные дома, аул, ушли в поисках спасения к городу, и кончая тем, что с ними за этот долгий, тяжкий переход стало. Злую шутку сыграла с ним судьба, вынуждая мотаться по безлюдью, в конце концов на этот песчаный гребень в Каракумах забросила. О всевышний! Не сколько-нибудь, а шесть десятков лет длилось его существование в этом мире, так неужто безвестный бархан и есть завершение жизненного пути?! Почему он здесь? Почему лежит? Да и пойдет-то куда, если встанет? Где его пристанище? В каких горах, в каких долах его ждут?!

Он смотрит на черно-синее необозримое небо с редкими звездами, они светят слабо, словно свечи. То же это небо – высокое, бездонное, знакомое ему исстари; те же, знакомые ему, звезды. Такие они были, когда он, Пахраддин, мальчишкой бегал, и сейчас они те же. Не изменились. Какая ширь! Безмолвная ширь! О всевышний! Жизнь-то человеческая, получается, на то и уходит, чтобы всякие узлы распутать, дать тропкам возможность нужное направление обрести. Сколько светлых голов за такими потугами сохнет, сколько волос седеет! Ненасытен человек в мечтах, неймется ему в широкой вселенной, мнится ему,

что на нем одном мир держится, что вечно ему по бренной земле шагать. В какие тяжкие он ни пускается, чтобы свою ненасытность удовлетворить! Лжет, льстит, пресмыкается, угодничает. О сострадании молит, сам порой сострадания не зная...

Так думал Пахраддин, глядя в тишине на звездное черносинее небо. Шорох отвлек его. Забыл, бедняга, что он не один. Что рядом душа живая. На шорох повернулся. Кто-то к нему шел, шаркая кожаными кебисами.

– Сырга? Ты? – спросил он. Дрожь просквозила в голосе.

– Я, – отозвалась Сырга чуть слышно. Ослабела она за последние дни.

– Где ты ходишь, душа моя? – Он с трудом проглотил горячий ком, подкативший к горлу.

– Луку нарвала. Хотела, чтобы поспал ты.

Нежность захлестнула Пахраддина. Задержался глазами на байбише. Долго на нее глядел. Жаулык Сырга под подбородком повязала. Холщовую торбу, в которой был лук, сняла с плеча, на землю опустила. Молчит, неслышно двигается, точно тень. Захолонуло сердце Пахраддина, перевернулась душа. О, время, время, вспять повернувшееся, разве не та это Сырга, что некогда выступала павой?! О, время, время, все довелось увидеть, и то даже, о чем никогда не помышлялось! Милая, дорогая сердцу Сырга! Несравненная среди женщин, Сырга! В юности тебя с райским цветком сравнивали, с небес, говорили, сошла. Тот, кто твою красоту видел, слышал твой мелодичный смех, не мог тебя забыть, готовый с той минуты всем ради тебя пожертвовать. Заполучить тебя – значило звезду с неба сорвать. Он, Пахраддин, сорвал, единственным счастливцем на земле считал он себя. С тех пор много светлых лет они прожили вместе, светлых потому, что Сырга, как солнышко, освещала его жизнь даже тогда, когда складывалась она не столь удачно. Добрая, незабвенная Сырга! Чуткая, как лань, Сырга! Уж лучше бы вытечь глазам Пахраддина, чем видеть эту холщовую торбу на твоем плече!..

Застонал Пахраддин, как раненый лев, вздохнул обреченно.

– Сокол мой, ты что? – Сырга присела рядом.

Как неотрывно она смотрит, какая преданность в глазах! Сама как тень, ослабла, а застонал он – в мгновение ока его, Пахраддина, пожалела. Его жалеет. Не себя. О Сырга, бесценная спутница жизни. Сырга! Прости. Чем тебя твой суженый удостоил, которого ты как бога чтила?! Холщовым мешком, в который ты, как бродяжка, лук собираешь?!

– Уф! – выдохнул Пахраддин, длинно выдохнул, будто дух испускал.

Испугалась Сырга.

– Бисмилля! Бисмилля! – зашептала она, склоняясь над ним. – Что с тобой?

– Уф, алла! Чем же я прогневил тебя? Уф! – заворочался тяжело Пахраддин, оторвал голову от подушки. Плечи ходуном ходят, дрожь во всем теле. Из глаз градинками слезы катятся. – Чем я не угодил тебе, аллах? Что я во зло человеку сделал? В чем моя вина, скажи!

– Бисмилля! Бисмилля! – шептала Сырга. Тоже расплакалась, обняла мужа. – Успокойся, сокол мой, успокойся!

Широкая грудь Пахраддина обнажилась – так он метался. Сырга заботливо прикрыла ее. Схватил Пахраддин жену в объятия, посадил перед собой.

– Почему, почему не проклинаешь меня?! Грешен ведь я, грешен!.. Перед людьми, которые из-за меня бродягами стали, перед тобой, перед детьми. Тебя погубил, людей...

– Не надо, мой сокол. Божье это дело...

Тихий голос Сырги действует утешающе. Примолк Пахраддин. Прижалась к нему Сырга, крепко прижалась.

– Разве ж плохое ты задумал? Ну с места снял, так ради них же, ради людей ты это сделал! Те, что не пошли, тоже ведь известно, как живут...

– Не знаю, уф! Беда зацепит – не отпустит, говорят. Вот и нас с тобой зацепило, конца нет. А теперь ровно нищие...

Оба потом, скрытые ночью, погрузились в думы. Долгие это были думы.

– Люди, говоришь... Где они, эти люди? Почему не поищут сейчас, когда ты здесь, без сил? Хватился бы кто, пришел. Нету ведь.

Ясно произнесла это Сырга, с горечью в голосе. Изумился Пахраддин. Немногословная Сырга, зря голоса

не подаст, а вот – выдала. От обиды, выходит, великой. Впервые Пахраддин видел ее такой. Верно она сказала про людей-то. Но, подобно ей, помощи от тех, что ушли, а может, и дошли уже до Амударьи, он не ждал. Какая от них помощь? Им, несчастным, самим бы уцелеть, да до родины добраться. Там, глядишь, и власть их приголубит, избегут, бог даст, голодной смерти.

– Байбише! – позвал он.

– Ау? – откликнулась Сырга.

– Тронемся?

– А ты что... можешь? – Сырга не скрыла радости.

4

Если человек голоден, без сил, каждый лишний шаг ему в тягость. К обеду следующего дня Хансулу почувствовала, что близка к умопомешательству. Как ни рассчитывали они с Дау-апой, а хлеб кончился. Когда сын, прося хлеба, зашелся в плаче, она подумала, что не выдержит этого, лишится рассудка. Потом понемногу привыкла, стала терпима к детскому плачу. Да и мальчики, слава богу, притихли постепенно – все равно им ничего не давали, сколько ни хныч. Сына она то на себе несла, взвалив на спину, то вела за руку. По дороге подкармливала временами, кладя ему в ротик по зернышку пшеницы, так курочка за цыпленком ходит. Ребенок, удовлетворяясь зернышком, засыпал на спине. У самой от голода темно в глазах, едва плетется, из последних сил идет. Впереди, постукивая палкой, чуть пригнувшись, Дау-апа ковыляет. Дау-апа... удивительной воли человек! У Хансулу от изнеможения колени подгибаются, присесть хочется. И присела бы, да не делает этого – не смеет при Дау-апе, стесняется. Сурова Дау-апа, не улыбнется. Идет... идет... Хочет дойти, вот и идет. Потому Хансулу и заикнуться не смеет, что устала. А что? Возьмет да и одернет Дау-апа: молодая, скажет, а раскисла похуже старух, а ну-ка, пошевеливайся! Никогда на Хансулу никто не кричал, вот и идет, подстегиваемая собственным самолюбием, не хочется ей выглядеть слабее семидесятилетней женщины. А с другой стороны, как подумает о малыше, к ее спине прилепившемся, сама понимает, что не может она не идти.

Не имеет права. И Шеге в письме, которое тогда свекор привез, наказал: “Обо мне не думай. Сына береги”.

Дау-апа справляется временами:

– Устала, детка?

А у Хансулу и сил-то ответить нет. Молчит. Дау-апа ответа не дожидается:

– Потерпи, милая, – говорит. – Скоро отдохнем! Скоро!

Хансулу она подбадривает.

К обеду они до вытянутой в длину лощины дошли, она сплошь заросла тамариском, торангылом, тальником, тут и остановились. Одеяльце расстелили, детей на него усадили. На платочке перед ними – пшеница. Самая малость. До чего же ароматна жареная пшеница! Тают зернышки во рту, как мед. Все подобрали.

Детям еще хочется, у бедняжек глаза горят. Но Дау-апа объявила:

– Хватит! Перекусили!

И собрала платок. Будто и не было его. Облизываются детишки. Переглядываются. Не в силах Хансулу их голодных, вопрошающих глаз вынести – отвернулась, прослезившись.

Пустыню знойную разглядывает. Чисто небо, ясно. Солнце тепла не жалеет, льет его щедро на холмы, овраги, лога. Земля в травах, в цветах, даль зыбким маревом затянута.

Тяжесть на Хансулу навалилась необыкновенная, прилегла она, коржун под голову положила. Тотчас провалилась в сон, ни о чем подумать-то не успела, только выдохнула:

– Уф!

5

За несколько часов Пахраддин с Сыргой прошли немало. Небо закрыли тучи, дорога под ногами угадывается с трудом. К полуночи уперлись в такыр, и тропа исчезла, будто ее и не было. Сбились, видно. Останавливаться не стали, продолжали путь в направлении, в каком шли. Когда забрезжило, впереди миниатюрный лужок открылся, густо поросший полукустарниками с мелкими узкими листьями, на кончиках они закручивались в

колечки. Расстелив одеяльце, передохнули на лужайке, а когда солнце поднялось над землей на длину лошадиных пут, перебросив через плечо коржун, двинулись дальше.

К полудню на невысокий бархан с караганником и столетником набрели. Между кустарниками Пахраддин ростки дикого лука увидел. Замаявшись, приостановился.

– Что, мой сокол? – спросила выбившаяся из сил Сырга.

Пахраддин смотрел на далекий, окутывавшийся дымкой горизонт.

– Ух! – выдохнула Сырга, валясь на мелкий песок.

– Гм-м, – Пахраддин погладил ладонью усы, – Есек-олген мы прошли. От него до оврага Жидели рукой подать. Но где овраг? А почему бархан? Откуда тут бархан?..

Сырга, не в силах говорить, головой к коржуну прислонилась, смежила веки. Пахраддин, не веря себе, на бугор повыше взобрался, оглядел округу, уже потонувшую в мареве. Досада какая! Напрасно они ночью двигались. Днем разве бы сошел Пахраддин с тропы? По бездорожью и то мудрено вот так в сторону уклониться. Что с ним? Он заплутал? Может, когда вздремнули перед рассветом, он, не совсем проснувшись, в другом направлении пошел? Не поймет ничего Пахраддин. Что он Сырге-то скажет? Какими глазами на нее посмотрит, когда открыться придется, что они плутают? Этого им только не хватало...

6

Хансулу начала уже сомневаться в том, что они когда-нибудь набредут на жилье – не кончалась дорога. Вымотала она ее.

– Детка, ты идешь? – спросила Дау-апа.

Впереди она, как всегда. Солнце на второй половине неба, повсюду частоколы тальника, тамариска, чия. Между ними и петляла тропа.

– Детка, ты видишь, а? А мы вроде уже недалеко от людей.

Перевела дух Хансулу. Впереди, по правую сторону от дороги, далеко-далеко дом стоял, его стены наполовину обрушились. И в стороне – стены обвалившиеся.

– Прислушайся-ка!

Прислушалась Хансулу. Где-то далеко-далеко кричал ишак. Дивной мелодией почудился ей этот крик.

Город возник, когда солнце склонилось к закату, расстояние до него – в один перегон молодняка. Дымки из труб струились. Это был Конырат. Они смотрели на него с высокого, окруженного тамариском бугра. Обессиленной голодом и дорогой Хансулу раскинувшийся там, вдали, Конырат показался невообразимо большим. Один дом на другом, да как их много! Пестрота в глазах от необыкновенного скопления крыш. Для Хансулу, которая видит город впервые, Конырат – чужой, неведомый ей мир.

– Город городом, детка, но только нас там никто не ждет, – сказала Дау-апа трезво и начала зачем-то спящего на спине Едиге укачивать.

"Ну вот... – подумала Хансулу. – Пусть не ждут. Но зачем мы так спешили в незнакомый город?"

Желудок сводило от голода.

– Не будем, детка, ночью шарашиться там, где нас не ждут. Воров, я слышала, много нынче, да и голодных, таких как мы, хватает, говорят. Во-о-он, – она показала куда-то на запад, – мазар, видишь? Даут-ата там покоится. Там и переночуем.

Кладбище на одном из ближних мысов Устюрта. Масса квадратных сооружений с ушками по углам в багровых закатных лучах купаются.

– Слышала ль ты, детка, не знаю, но склеп, к которому мы идем, тоже нашему знаменитому предку принадлежит, – сказала по дороге Дау-апа. – Бараку. От Барака – Асау, от Асау – Даут. Поняла? Дух батыра Барака в сына Асау вселился, а потом во внука Даута. Вот и помолимся духам предков. Помогут, может...

Молиться так молиться. Уж если есть духи, готовые выслушать Хансулу, так она обо всем им расскажет, много горечи скопилось в сердце...

На плоском отлогом кургане склеп. С вечерними сумерками и подошли они к нему. Много могил квадратных с четырьмя ушками по углам, огромными валунами огороженных, с различными узорами и росписями. Тишина на кладбище, оно незримо растворяется во мгле.

На западном склоне кургана – глинобитный домик с дерновым покрытием вместо крыши. Правду сказала Дау-апа, дом пустой, заночевать в нем можно. Дверь снаружи лопатой подперта. Для прихожан, видно, дом, для тех, кто духу предков приходит поклониться.

Ребятишек на землю спустили, освободились от поклажи. Дети с интересом осматривали незнакомое место. Дау-апа заметно оживилась.

– Ну вот, мальчишечки, – говорит, – и домой пришли!

Она взялась за лопату, подпиравшую дверь, да тут что-то захлопало-затрещало по крыше, над самой притолокой двери. Птица, шелестя крыльями, нырнула в тень, пропала.

– Тьфу! Тьфу! Тварь божья! Сплюньте, милые, если напугались, с глаз долой и из сердца.

Дверь со скрипом и визгом распахнулась, открылся зияющий черный проем, туда и Дау-апа не решилась шагнуть.

– Э, да уж быть мне жертвой! – проговорила она. – Священные птицы, сказывали, в таких местах обитают. Эта, поди, из них. Бисмилля! – и шагнула через порог.

Отважная женщина Дау-апа! Хансулу в стороне стояла, крепко за руки детишек ухватила, страх и надежда боролись в ней. Ветер поднимался, небо тучи заволакивают, как бы дождь не пошел...

Дау-апа искрой из кресала осветила на миг помещение и воскликнула:

– Э, слава тебе, господи, так и есть, так и есть! Живем! Хансулу! Иди, детка, сюда!

Затрепетало сердечко у Хансулу. Голос у Дау-апы такой, будто она дастархан, полный яств, обнаружила. Устремилась Хансулу на зов, волоком детей за собой потащила. Но, кроме Дау-апы, зажегшей керосинку у порога, ничего, что порадовало бы глаз, не увидела в полутемном доме. Дастархан Хансулу искала, хлеб.

– Видела? – ликовала между тем Дау-апа, кивая на керосинку.

На полу – старая камышовая подстилка, поближе к двери – казан, кумган.

– Бисмилля! – произнесла Дау-апа и подняла крышку казана. Вгляделась. – Э, вон и вода, детка! – обрадовалась она.

Но Хансулу другого ждала. Хлеба. Есть ли в этом доме хлеб? Вот что ей хотелось узнать. Хлеба и только хлеба искала она. Одно-единственное чудесное слово хотелось бы ей услышать: "Нан"[1]...

Понимала Дау-апа, чего хотелось Хансулу, блуждавшей глазами по комнате, малышам, не сводившим с нее голодных взглядов. Вблизи от жилья, от людей голод еще острее, еще нестерпимее. Понимала это старая женщина и потому все углы обшарила – на всякий случай; вместе с ней от стены к стене двигалась ее огромная тень.

Дети потеряли терпение.

– Что ты ищешь, аже? Нан? – спросил Едыге.

– Терпение, терпение, детки! – ответствовала Дау-апа. – Сейчас разведем огонь... Ой-хой! Чаю вскипятим, ой-хой! Чаю горячего попьем!

Вышла с кумганом в руке. Платок с жареной пшеницей при ней. Не говорила она никогда, сколько ее там. Рачительна Дау-апа, но, по предположениям Хансулу, как раз сегодня и должна была она кончиться. С чем они будут пить чай? Загадка. Но своим видом Дау-апа вселяла надежду. Словно колдует у очага, непременно к ужину что-то будет. Расфыркался на огне кумган.

– Кипит! – подалась к старухе Хансулу.

– Кипит! – подтвердила Дау-апа. – Унеси-ка его, детка!

Хансулу тряпкой подхватила кумган, унесла. Но не кумган был потребен Хансулу. Чем Дау-апа ребятишек потчевать собралась? Вот что ей хочется узнать. Унося исходящий паром кумган, она все оборачивалась, но по лицу Дау-апы, непроницаемому, точно маска, разве догадаешься, что их ждет?

– Нан!

–Нан! – разверещались мальчишки, завидев ее с кумганом.

– Терпение! Терпение! – тоном Дау-апы оборвала их Хансулу и на очаг поглядела. Если Дау-апа не сотворит сейчас чего-нибудь спасительного, они, сорванцы, по частям ее разнесут, с потрохами съедят. Чтобы как-то их занять, она достала пиалу, поставила на дастархан, другую достала, третью. Бросила в кумган щепотку соли. Удары послышались снаружи:

– Дурс-дурс...

---

[1]*Нан* – хлеб.

Мальчишки, заинтересованные, посмотрели на дверь. Кроме пиал, нечего ставить на дастархан. Хансулу смешалась, не в силах глядеть на голодных детей, отвернулась от них.

Ветер перед самым порогом закружил. И следом Дау-апа в топорщащемся на ее голове грязном жаулыке показалась. Узелок в руке. Не тот, к которому они привыкли, другой. "О алла!" – пронеслось в голове Хансулу, и она закрыла в изнеможении глаза, земля, показалось, качнулась под ней.

– Бисмилля! Ну вот... – сказала Дау-апа, присаживаясь у края дастархана, и развернула платок. Курт белый-белый, раздробленный на кусочки. – Пососите, лучше всякой еды. Только не спешите.

И всем по кусочку с ноготок раздала. Накинулись дети на курт. "Чаем" не забывают его запивать. Нет-нет да и поперхнутся.

– Кому сказала – не спешите! Сосите!

Сдобренный солью кипяток давал особый привкус тающему на языке лакомству. Хансулу показалось, что она молоко пьет. Да ведь и курт-то – производное от молока. Горячее молоко растекалось по жилам, согревая тело, душу. Испарина на лбу проступила. И глаза лучше видеть стали, и в голове какое-то просветление наступило.

Усталость почувствовалась после ужина: набрякли веки, отяжелели руки и ноги. Дау-апа встала и прикрыла дверь.

Хансулу, обняв сосавшего пальчик малыша, упала на камышовую подстилку где сидела. Веки сомкнулись сами собой. Медленно погружалась она в состояние, когда соразмерить что-либо нет уже никаких сил, тем более – думать, откуда идешь, где находишься, куда направишь стопы свои завтра...

7

Открыла Хансулу глаза и видит: лежит она в старой, заброшенной хибаре с насквозь прокопченными стенами и потолком. От утренней свежести в доме прохладно. Съежился во сне Тугелбек, одежда на нем немыслимого цвета, до того грязная. К нему Едиге приткнулся, тоже чумазый. Больно на ребятишек таких неухоженных глядеть. Дау-апы на месте нет.

Вышла Хансулу, а Дау-апа на коленях перед мазаром Даут-батыра сидит, Коран читает. Хансулу присела рядом. Обе, глядя на восток, в сторону проступающего утра, обет поклонения духам предков исполнили. Проведя руками по лицам, встали. На Конырат посмотрели, который отсюда, с кургана, как на ладони виднеется. Не пробудился еще город, но везде уже кричат петухи. Видимо-невидимо подпирающих одно-другое глинобитных строений, островками между ними – тутовые деревья.

Местность до города равнинная, множество тропинок ее пересекают. Белыми пятнами лежат такыры.

– Ну, дочка, одному богу вверяемся. Трогаемся! – сказала Дау-апа, не отрывая глаз от предутреннего города. – Пока дойдем, и рассветет, и солнышко встанет...

Взвалив на спину полусонных ребятишек, подобрав узлы, двинулись женщины по утренней зорьке к городу. Пока добрались, из-за горизонта солнце выплыло, щедрое оно народилось, лучистое. Там и сям люди на улицах показались, первые пешеходы, город свою суетную жизнь начинал. Лают собаки, мычат коровы, ревут ишаки. Тощий старичонка на скрипучей арбе везет сено; ишак, впряженный в арбу, такой же дохлый, как и его хозяин. Шумливые молодые женщины в каракалпакских платках-орипеках за город уходят, кетмени у них на плечах.

– Ну, детки, вот мы и в Конырате! – проговорила Дау-апа. – Сейчас на базар пойдем. Ну-ка, сами теперь давайте ножонками! – С этими словами она опустила на землю Едыге, а Хансулу – Тугелбека.

На узкую улочку вышли, с двух сторон ее узкие глинобитные дувалы теснят. Для Хансулу открылся некий сказочный мир. Все дома здесь за глинобитными стенами. Вьются из очагов дымы. "Вот он каков, город!" – думает она, боязливо озираясь по сторонам. Дау-апа, как выяснилось, была на базаре в Конырате, давно, правда, говорит, и всего раз. У Хансулу вскоре закружилась голова. Если бы не Дау-апа, пропала б она тут! Сколько народу! Вон те женщины в орипеках – каракалпачки, а эти, накрытые чапаном так, что лица не видать, узбечки, должно быть.

Так и шли они, все примечая по сторонам, когда вдруг в нос нежданно-негаданно запах печеного хлеба ударил. О создатель!.. Запах настоящего хлеба, только из печки!

– Нан?!

– Апа, нан? – расшумелись наперебой ребятишки. В той стороне, откуда шел запах, валил из-за дувала дым. Обезумели мальчишки. К дувалу помчались – так овцы, за зиму отощавшие, к сену несутся. Не поспела Дау-апа за парнишками, отстала.

Первым Едыге до ворот добежал. В щелку заглянул. И Хансулу заглянула. Не ошиблись они. Молодая каракалпачка, орипеком покрытая, вынимала из круглой тандырной печи румяную лепешку, которую на деревянное блюдо опустила.

– Нан!

– Апа, нан! – распищались опять дети.

Дау-апа подоспела.

– Отойдите! – потребовала она и застучала в калитку кулаком. – Здесь, что ли, пекут?

– Здесь, здесь, – отозвалась Хансулу.

– Во-он, – показал пальчиком в дырку Едыге.

Калитка открылась. Высокая смуглая каракалпачка, наполовину просунувшись в дверцу, поглядела на них настороженно.

– Доченька, мусульманской ты крови, гляжу, уважь... Продай хлеба! – сказала Дау-апа и сунула ей в руки мятую, измусоленную вконец денежную бумажку.

Замешкались женщина от неожиданности, глядя то на деньги, то на детей, хлопавших глазенками.

– Бога ради, доченька! Продай хлеба! – взмолилась Дау-апа.

– Яхшы! – бросила женщина по-своему, что значило: "Хорошо". Сняла полотенце с блюда, отдала им лепешку.

– Ну, детки, пошли! В сторонку отойдем! – объявила Дау-апа.

Под дувалом устроились. Дау-апа лепешку на две, потом на четыре части разделила.

– Мне!

– Мне! – визжат мальчишки. Им дела нет до людей, проходящих мимо. Они уминают за обе щеки мягкий, еще горячий душистый хлеб.

Не думала в ту минуту Хансулу, что вкус горячего хлеба, который она ела на улице под чужим забором, запомнится ей навеки. Не пробовала она, кажется, ничего вкуснее. Мягкий, податливый хлеб таял во рту. Удивлялась

Хансулу, что не уяснила для себя одной-единственной великой истины: уж коли лежит на твоем дастархане вот такая румяная лепешка, то все превратности судьбы ничего не стоят! О создатель!

Не насытились дети кусочком, который получили, заканючили. Хансулу и Дау-апа, переглянувшись, отдали им то, что сами не доели.

– Давайте, детки, трогаться! – со вздохом сказала Дау-апа.

Отряхнув вещи от пыли, женщины нагрузились ими, пошли той же улицей дальше. Спрашивали у встречных, где базар. Улочка – извилистая, тесная. Народу много, на ишаках большей частью едут. Всем на базар надо: кто барана гонит, кто козу. Чем глубже в город, тем больше запахов...

Стали и казахи попадаться, такие же худосочные, как и они; иные взрослые на земле сидят, прислонившись спиной к дувалам, а их дети милостыню у прохожих выпрашивают. Встречались и такие, что бездыханными валялись. Дау-апа шептала что-то набожно.

Вот и базар. Шум, гвалт, разговоры, суды-пересуды, кто-то продает, кто-то покупает. Крепко ухватили женщины малышей за руки, в самой толчее пробираются. Разноголосые выкрики кругом:

– Берите! Тушпара! Горячая тушпара! Берите!

– Айран! Кому айран! Подходите!

– Горячая самса! Горячая самса!

– Хлеб кукурузный! Кукурузный хлеб! Налетай!

Едыге и Тугелбек возле женщины застряли, которая самсой торговала. Не утянуть их.

– Аже, нан! – твердят они.

– Ну, вот что, миленькие, – заявила тогда Дау-апа, – денег у меня больше нет. Понятно? Кончились. Только если...

Поняла Хансулу, на что Дау-апа намекает – выкладывай, дескать, и ты денежки, самое время, но не было у Хансулу ничего, кроме золотых серег в ушах да широкого серебряного браслета на руке. Отвела она старуху в сторону, сняла серьги, в ладонь ей вложила.

– Продайте, апа! Сгодится на хлеб, на другое.

– Денег нет, что ли? – Дау-апа озабоченно смотрела на серьги в своей широченной ладони. – Ну, пошли! Цену сначала узнаем...

К вещевому ряду направились.

– Повезло нам – базарный день, – сказала Дау-апа. – По сторонам гляди, может, кто знакомый встретится.

Казах в верблюжьем чекмене и мерлушковой шапке, торговавший дровами, не был им знаком. Рядом верблюды лежали. Дау-апа спросила его о том о сем, тот, дьявол, насыбай под языком держал – зашепелявил:

– О-о, башмачи... О-о, голодали, говорите... О-о, не приведи бог! Ты, мать, на берег штупай, Ашылбеков там, из Кажахштана...

– А как пройти туда, на берег?

– О-о, так вот он, вот! Прямо-прямо...

Вопль тут чей-то раздался:

– Милиса-а! Милиса-а! Вай-вай!

– Милиса! Милиса!

Весь базар многоголосым "милиса" разразился.

Хансулу, засмотревшись на степняка-казаха, не заметила, как ускользнул Едиге – только ведь, шельмец, рядом торчал. Увидела мальчугана там, откуда вопли неслись, его за руку женщина держала, та, что самсой торговала. Вскрикнула Дау-апа:

– Ойбай-ай, да ведь это мой!

Хансулу за ней устремилась. Торговка крепко держала Едыге. Народ уже возле нее собрался.

– Сдать его надо!

– В милису шпану! – раздавалось на местном наречии.

– Много их нынче развелось! – орал пухлый торгаш, махая руками.

Едиге верещал как зайчонок.

Дау-апа, растолкав всех, подалась к торговке:

– Пошла ты прахом, стерва, отпусти мальчонку!

Толстопузый пухляк с торчащими в разные стороны ушами преградил ей дорогу, крича:

– В милису таких, в милису!

– Да пропади ты, пошел с дороги!

– Нет! Нельзя! Милиса! – продолжал вопить толстопузый и толкнул старуху изо всей силы.

Этого было достаточно, чтобы Дау-апа врезала ему своим кулачищем по уху – торчащему, красному:

– На тебе милису!

Скрючился лопоухий на земле. Чалма с головы полетела. Все, кто за этим наблюдал, покатились со смеху. Торговка, испугавшись старухи, тотчас отпустила Едыге. Тот,

разревевшись в голос, в широких бабушкиных объятиях спрятался.

– Не надо, родненький, не надо! – успокаивала она его, прижимая к груди. – Не реви! Наревешься еще!

Поднялся поверженный на землю торгаш. Чалму отряхнул.

– Вай, убьет ведь этак, а? – произнес он красный от стыда.

– Вай, где милиса? – подхватила в тон ему торговка.

– Здесь милиса! Считайте, что я – милиса! – послышался тут чей-то голос, и из толпы выступил среднего роста мужчина, с выбивавшимися из-под черной кожаной кепки каштановыми волосами. Черный кожаный плащ на нем. Увидев идущего к ней солидного человека, торговка растерялась.

– Сколько он у вас съел пирожков? – спросил он и полез в карман.

– Да маленький съел. Маленький совсем, – затараторила та испуганно.

– Вот деньги. И все оставшиеся давайте.

Женщина, заполучив деньги, засуетилась, стараясь угодить необычному покупателю. Его два красноармейца сопровождали, она и это увидела. Мужчина все оставшиеся пирожки в газетный кулек сложил и отдал их мальчишке, сидевшему на руках бабушки, все еще всхлипывающему.

Изумились зеваки. Не меньше были изумлены и Дау-апа с Хансулу.

– Пойдемте со мной, апа! – позвал человек в кожаной кепке и плаще и сам первым пошел с базара.

Два красноармейца взяли вещи у Дау-апы и Хансулу.

– Откуда вы, апа? – спросил мужчина в плаще.

– Э, сынок, трудно сказать, откуда мы, – разговорилась та. – Из каллектепа сбежали. Потом басмачи ограбили. Бродяжки мы, сынок, бродяжки...

– Так мы и полагали, апа. Эти джигиты доставят вас сейчас на берег. Там еда и кров. Не возражаете?

– Да что ты, голубчик, зачем же возражать? Если еда, если дом, зачем возражать?

Две упряжки стояли на улице. В одну женщин с детьми посадили, на облучок молоденький красноармеец

взобрался, усики у него только-только пробиваются. Оказавшись в арбе, женщины не хуже мальчишек на кулек набросились. Слова не проронили, пока ели. Только когда кулек опустел, Дау-апа и спросила у красноармейца:

– Сынок, как этого господина зовут?

Джигит усмехнулся:

– Этот "господин" – Абдолла Асылбеков. Секретарь КазЦИКа. Из Алма-Аты.

Арба на солончак уже выбиралась в северной части города.

– Кто бы ни был, – заключила Дау-апа, – добрый он человек, сердечный человек. Дай ему бог здоровья...

Джигит пояснил:

– Многие с казахской земли бежали, вот как вы. Асылбеков и приехал специально, на родину хочет вас отправить.

– Э-э, доброму человеку – добрые дела, – закивала головой Дау-апа.

Хансулу уже просветленно глядит на мир, залитый солнечным светом: на тамарисковые рощицы, гладь полей, глинобитные домики посреди тутовых деревьев. А только что на базаре, когда беда с Едыге случилась, другое у нее состояние было: будто стена впереди выросла, которую им не перепрыгнуть, и будто удел у них теперь сиротский, потому как нищие они. И вдруг могущественная рука взяла да и перенесла их через эту стену, вырвала из бездны, в которую они падали... вытащила на белый свет, на солнце. Их спасителем стал человек в кожаном плаще и этот аскер на облучке, совсем еще юный, почти мальчик.

Дау-апа, по обыкновению старых людей, начала было расспрашивать возчика про людей на берегу, чьи-то имена называла, не встречал ли их тот, но красноармеец только усмехался и головой качал:

– Там столько народу...

Впереди завиднелась серая, сливающаяся с горизонтом водная гладь.

– Это и есть благословенная Амударья? – спросила Дау-апа. И она, и Хансулу видели реку впервые.

– Что это? – заволновались дети.

Хансулу пояснила:

– Река, – и сама удивилась: – Что она такая серая?

Поразила их река своим суровым ликом. Мутные пенистые волны накатывались одна на другую, тесно им в глинистых берегах; они, кажется, и вздыхают по этому поводу, как живые. Обилие воды страшило, и глядеть-то на нее боязно.

– Апа, – сказала Хансулу, поежившись, – там на базаре, когда эта история произошла, человека я одного увидела в толпе...

Дау-апа устремила на нее глаза.

– Лабак-ахуна я увидела с посохом в руке, ну прям как дервиш с виду.

– Э, детка, не удивляйся. Если ворон сейчас сокол, то ахун дервиш... Чему удивляться-то? – Дау-апа вздохнула. Морщины на лице углубились. – На базаре, о господи, двое, он и она, дочь свою юную продавали. Казахи, э-э, как мы...

Замолчала Дау-апа. И Хансулу примолкла, точно язык проглотила.

На берегу – огромное людское поселение, стан за станом, костры. Женщины в белых жаулыках мелькают, дети босоногие носятся. Их арба на равнинном участке побережья остановилась, здесь густо произрастали каратал, шигилдик, дикий лен. Здесь уже три юрты стояли драные, правда, и с десяток брезентовых палаток. Чайники, ведра над костром, еду люди готовят – время обеденное; женщины что-то режут, крошат, мужчины дрова рубят.

Первыми их детишки окружили. Потом, побросав дела, женщины примчались. Возгласы посыпались:

– Ойбай, Дау-апа?!

– Как добрались-то?

Дау-апа, сойдя с телеги, степенно поинтересовалась:

– Сами-то живы-здоровы?

Потихоньку и мужчины подошли, в глаза не смотрят, отводят взгляды. Женщины знай стрекочут.

– Ойбай, а где же бий? – спохватилась одна из них. Бий – это Пахраддин.

– А Балкия нашлась?

– Э, дорогие мои, что спрашивать? – тяжко вздохнула Дау-апа, расправляя поясницу. Насупилась. – До семидесяти дожила, а того, чего не видела, много еще,

получается, на белом свете? Уф?.. Сучку мою Пахраддин искал да занедужил... Там, на дороге, остался. Живой он или как – не знаю. Сырга с ним. Вот с этими двумя, – на ребятишек показала, – дотащились мы. Бог подсобил, с государственными людьми свел...

Хансулу отвернулась, пряча повлажневшие глаза.

Дорожки, сырмаки, кошмы расстелили. Дау-апа и Хансулу как почетные гости во главе дастархана устроились. Рядом по кругу старики разместились. Проворные женщины дастарханом занялись. Кулзипа чашку жареной пшеницы на него высыпала. Катира расторопно сахару наколола. По пути сюда, как услышала Хансулу, скончались от голода старая мать Катиры, четверо малышей, среди них – трое сыновей Майлибая...

Те, что оказались здесь раньше, уже и сил набрались. И разговоры у них другие. Про судно какое-то толкуют, паромом называют – вот-вот придет. Сегодня его ждали. Представители из Казахстана на этом пароме до станции их доставят, чтобы потом на поезде до Аулие-Аты[1] довезти. В Аулие-Ате их по окрестным колхозам должны развезти. Такие вот были новости.

– Э, лишь бы не голодовать, пусть распределяют, – кряхтели старики.

После обеда Дау-апа прилегла отдохнуть. Хансулу с ребятишками пошла к реке. Берег обрывистый, высокий, с человеческий рост. Вода внизу звучно шлепается об обрыв. Течение стремительное, вблизи жутко на него глядеть, голова кругом идет. Вода ошеломляет, в редких местах она закручивается воронками. Щепки, которыми кидаются мальчишки, кружатся, кружатся на месте и ныряют в пучину. Удивляется Хансулу, откуда столько воды? Далеко-далеко, где-то у противоположного берега, лодка. Глядя на лодку и на этих двоих, расплакалась Хансулу. Про отца и мать вспомнила. Что с ними? Живы ли? А может, давно уже где-нибудь под каким-нибудь кустом добычей для воронья стали?! О боже, сохрани, спаси их! О боже, грешна она, Хансулу... Не пришли ей раньше мысли о родителях, только сейчас вспомнила, когда насытилась, когда набила утробу... О-о, жизнь, жестока ты!.. Да, а что в самом деле задумала? Куда это

---

[1] *Аулие-Ата* – Джамбул (ныне Тараз).

собралась, оставляя безвестно отца и мать?! Как она в эту Аулие-Ату поедет, не узнав, что с ними?!

– Апа, что делать-то? – нетерпеливо проговорила Хансулу.

– Спокойствие, детка, спокойствие. – Дау-апа сощурилась. На солнце она смотрела. К горизонту оно клонилось.

Дети на берегу расшумелись:

– Паром! Паром!

– Алакай[1], паром!

Как бы в ответ на радостные детские возгласы паром издали дал гудок. Мальчишки разгалделись, довольные.

Судно поднималось с нижнего течения реки, вырастало громадой, клубы дыма окутывали его. Видела ли до сих пор паром Дау-апа, неизвестно, но Хансулу с ним столкнулась впервые, не отрывала она глаз от судна. Против течения шел паром. Хансулу показалось, что если она уедет, то больше никогда, никогда не увидит ни своих родителей, ни Шеге. Показалось, будто плавучий дом ее на край света увезет. Аулие-Ата и край света разве не одно и то же?

– Апа, не поеду я никуда! – заявила она.

– Ой, милочка ты моя, так и я же о том думаю! – воскликнула Дау-апа.

8

В сумерках началась посадка. Паром тихо покачивался на волнах. Большой он, аулом загружается, да еще не одним, да еще и со скотиной – места хватит. Сначала на него красноармейцы Асылбекова взошли. Люд на берегу с тюками и узлами стоял наготове, приказа ждал. Дау-апа и Хансулу тоже упаковались, якобы в дорогу собрались. На деле они только момента выжидали, чтобы, воспользовавшись суматохой, уйти. Момент выдался. Как гром, покрывая людской шум, прогремел приказ:

– Начинай посадку!

Что было-то! Народ к сходням кинулся, напролом люди лезут, один другого теснит, никто никому дороги не дает.

---

[1] *Алакай* – воклицание, обычно выражающее радость.

Что-то красноармеец на дороге кричал, но кто его в такой толчее послушает? На помощь солдату еще трое подбежали, дорогу народу преграждают, а он точно стадо неразумное прет.

– Порядок, порядок соблюдайте! – едва слышится сквозь неумолчный гомон.

Причиной беспорядка стал, как выяснилось, слух, будто тех, кому на этом судне не достанется места, увезут в холодные края. Кому на холод охота? Вот и ломится народ.

– Детка, удобнее момента не будет! – пробасила Дау-апа.

Обе, пятясь, стали отступать, пока разом в густые кусты не вошли. Белые жаулыки они еще до посадки в коржун попрятали, чтобы внимания не привлекали. Дети – на спине, узлы – в руке. Прямиком через камыш и лен на запад заторопились. Погоня со страху чудилась, потому по бездорожью пробирались. Едыге сначала расхныкался было: "Аже, а почему не на паром?", так бабушка прикрикнула на него: "Заткнись!" – и больно еще по заду хлопнула.

Тяжело с детьми да с узлами бежать. Вскоре выдохлись, но остановились тогда только, когда себя в относительной безопасности почувствовали.

– Уф! – выдохнула Дау-апа.

Лен, высотой в человеческий рост, укрыл их. Оглянулись, но что можно увидеть сквозь дремучие заросли? Вспыхнула зарница.

– На тебе! – всполошилась Дау-апа. – Как бы дождь не пошел, чтоб он пропал, окаянный!

Как бы в ответ загудел северный ветер, пробежался по верхушкам льна. Хансулу отдышаться не может. Сердцу тесно в груди, бьется оно, бьется, пот заливает глаза. Она вытирает и вытирает лицо. Гладит по головке Тугелбека. Смешной он, стоит перед ней, ножки широко расставил. Нет у малыша забот, когда рядом мама. Знать бы Шеге, что сейчас его Хансулу и Тугелбек в кустах, горемыки, отсиживаются, как бродяжки. Не знает этого Шеге. Не знает, что его жену, сына как перекати-поле по жизни носит... Шеге! Где ты? Далеко, наверное. Примчался бы, коли мог. Хорошо, если им суждено еще встретиться. А если не суждено? Если эта разлука так и останется

разлукой: он – в одном конце мира, она – в другом?.. Эта мысль ужаснула ее своей обыденностью. Ведь так может быть.

Теперешней задачей Хансулу и Дау-апы было добраться до Коньрата и найти каракалпака по имени Шамурат, приятеля Пахраддина.

Мгла сгустилась до полной темени. Они едва различали землю под ногами, ветер подталкивал в спину. За горизонтом давно уже погромыхивает гром. Похоже, дождь будет. И вдруг – будто раскололось небо. Ох и перетрусили они! Такой ударил гром.

– Бисмилля!

– Бисмилля!

– Жалко, до города не дошли, а уже дождь, – проговорила Хансулу, еще более согнувшись под тяжестью мешка.

– Э, не растаем небось. Дождик-то весенний.

На солончаке, по которому они идут, мелкий тростник пробивается. Шурша, он бьется под ногами, мешает идти.

– Детка, глаза у тебя молодые, погляди-ка, что впереди темнеет? – спросила Дау-апа, вглядываясь в горизонт.

Дождь начался. Опустила Хансулу мешочек, присела, всматриваясь в то, на что Дау-апа показала.

– Дерево и что-то рядом, не то стена обвалившаяся, не то...

– Все равно, – подхватила обрадованно Дау-апа. – Там и укроемся. А то детишек еще застудим.

Пошли к дереву. Дау-апа, чтобы сократить дорогу, о себе начала рассказывать, про свою одинокую жизнь, в которой всего было много: и дождей вот таких, и снега, и другого ненастья...

– И в степи безлюдной одной ночевать приходилось! – заключила она.

Пока Дау-апа говорила, к дереву подошли. Тутовником оно оказалось. Рядом – обвалившиеся стены глинобитного домика. Только они под дерево залезли, дождь изо всей силы захлестал. Накрылись одеялами, а детей, в телогрейки обернув, к себе прижали. Гром еще несколько раз сотряс округу и стих. Какой потом ливень обрушился на них! Все пришло в движение: зашелестели, зашептались листья тутовника, запрыгали в лужах дождевые пузыри. Понесло

удивительным ароматом свежести. Стихия явила себя в полном могуществе. Ливень не переставал. Дети расхныкались, прося есть. Так и поужинали они – под одеялами, уминая куски вкусного пшеничного хлеба. Насытившись, малыши начали подремывать. Как ни густа крона тутовника, дождевые капли их достали. Одеяла стали намокать. Хансулу еще теснее прижала к себе ребенка.

– Как ты там? – спросила Дау-апа.

Спиной к Хансулу она лежит. Едыге, надежно защищенный ее большим телом, и не слышит, наверное, непогоды.

– Капает, – ответила Хансулу.

– Потерпи, милая, что делать?.. Пусть рассветет. До тех пор, может, и распогодится. Постарайся уснуть.

Измученная долгим переходом, Хансулу не заметила, как уснула. Пробудилась от ледяной воды, попавшей за шиворот. Вскочила, вытрясла волглое одеяло. Подол, правое плечо и правая лопатка промокли насквозь. Дождь стих. Укутав поплотнее сына, как курочка оберегает от непогоды цыпленка, она вновь прилегла, что же делать... Не спалось. Влага, просочившаяся сквозь одежду, холодила тело; дрожала Хансулу. Дау-апа, коротко всхлипнув во сне, пробормотала:

– Жеребенок мой!.. Уф!..

Тяжелый выдох. Милая Дау-апа! Все свои печали, получается, ты носишь в себе... Булыша вспомнила, жеребеночка своего. Бедная мать!..

Тихо лежит Хансулу, пусть-ка Дау-апа поспит. Но нет – поднимается уже Дау-апа. И дождь, оказывается, прекратился. Прокашлялась Дау-апа, позвала:

– Хансулу!

– Ау! – откликнулась та, поднимая голову.

– Спала ты, детка, не будила. Идти надо. Рассвело.

Связав узлы, полусонные, взвалив на спину детей, пошли они. Грязь на земле, трава мокрая, идти трудно. С восходом солнца, путь им преградил овраг. За ним и город видно.

– Пропади он пропадом! Ты глянь, вода по дну! – Дау-апа остановилась.

Воды на дне оврага и в самом деле хоть отбавляй, будто маленькая речка несется.

– Гм, вброд придется переправляться!

Что Хансулу скажет? Не жаловаться ведь, что у нее жар и голова болит. Дойдя до грязной, мутной воды, они сложили вещи на кусты ажырыка, разулись, сняли сапоги. Пробудившиеся мальчишки с любопытством озирали овраг. Дау-апа ступила в воду первая, внук – на спине, коржун и сапоги – в руке.

– Бисмилля!

Ширина потока – пятнадцать шагов. И Хансулу, держа сапоги в одной руке, бочком-бочком вошла в муть. Ледяная вода до костей пронизывает. Галька на дне больно в ноги вонзается. Хансулу свои беды стоически переносит. Сжала зубы и идет. Вот и кончается поток. Ноги, когда она выбралась на землю, не чувствовали ничего, стужей их свело. Сев на коржун, Хансулу насухо вытерла ноги и, обернув портянками, сунула в сапоги. Только тогда они ожили.

По эту сторону потока грязи еще больше. Попробуй из нее выберись – с детьми да с грузом! Дау-апа ругается, но упрямо пробирается вперед, плевать ей на грязь. Всякий раз, оскальзываясь, она опирается рукой о землю и встает. И всякий раз ворчит:

– О, чтоб ты провалилась!

Грязь, она, конечно, бранит.

Хансулу, наглядевшись на ее мучения, решила поискать другую дорожку. Вдоль потока узкая промоина тянулась, которая потом косо вверх по склону поднималась. Вот по ней она и пошла. И тут, видать, вода гуляла, да сошла. Хансулу старалась ступать на траву. Дау-апа уже выбралась, спрашивала сверху:

– Детка, ты где?

Хансулу, бедняжка, к самой земле пригнулась: ноги, скользя по глинистому дну, ползли назад, и все же она карабкалась упрямо вверх. Где-то и на четвереньках приходилось выбираться. Пот заливал глаза, едва дорогу различала.

– Апа! Погляди! – воскликнул сидевший на спине Тугелбек.

– Что, сынок? – Хансулу вытерла рукавом мокрое лицо. Покачивается на ногах, обессиленная.

– Вон! Вон! Гляди!

Посмотрела Хансулу туда, куда сын показывал, – и похолодела: из-под глинистого бугорка, кое-как наваленного, торчали ноги, и не одни. Оцепенела Хансулу. Ночной ливень смыл землю, вот и обнажились ноги. Босые ступни, детские рядком и женские с ними; у женщины ноги по икры открылись.

– Умерли они, – заключил Тугелбек.

Тогда и очнулась Хансулу. Задрожала, ноги отяжелели – не ступить. Поползла на четвереньках. Ни жива ни мертва выбралась из оврага. Стучало в висках. Душа, считай, на кончике носа, вот-вот измученную плоть покинет...

Перед городом посреди тутовника домик виднелся. Старик в поярковой папахе ягнят и козлят выгонял пастись, туркмен, по-видимому, – на нем еще и бурка.

– Апа, голова разламывается, – не выдержала Хансулу.

Дау-апа пощупала лоб.

– Ойбу-уй, да ты горишь!..

Оставив ее с детьми и вещами, понеслась, бедная, к тому старику в папахе и бурке; он, опершись на палку, застыл на лугу как изваяние возле своей живности. Еще через некоторое время, взяв в руки их поклажу, повел женщин с детьми к дому.

Еще домик во дворе – поменьше. Летняя кухня. Туда и повел их старик. Циновка на земляном полу, поверх нее дорожка положена. Старуха в красном платке дверь распахнула.

– Печку, может, растопить? – предложила Дау-апа.

– Конечно, конечно, растопить надо, – поддержал на своем наречии старик. – Эй, мать!..

Растопили печь, тепло стало. Налила Дау-апа в таз нагретой воды, поставила его перед Хансулу.

– Ставь ноги! – говорит.

Окунула Хансулу ноги в горячую воду, закрыла глаза. Все, что происходит, – как сон. Тепло от ног тихо разлилось по телу. Одно она слышала, другое – нет. Хозяйка растопленного бараньего сала принесла. Дау-апа этим салом ноги Хансулу растерла до колен. Огултеч-аже,

так хозяйку звали, еще и горячим молоком с маслом попоила.

– Ложись и не двигайся! – велела Дау-апа, укрывая ее сверху теплым одеялом. Поверх и одежду навалила. – Полежи пока что. А я Шамурата поищу.

Хансулу кивнула. Вещи Дау-апа оставила, а детей забрала с собой. У печи Хансулу лежит. Крохотная, как курятник, комнатушка с низким потолком аккуратно глиной обмазана. Жарко в ней скоро стало. Хансулу пропотела насквозь. Огултеч-аже, появляясь, осведомлялась:

– Как себя чувствуешь, доченька?

И Какабай-ата ее состоянием интересовался. Не все она понимала в туркменском произношении, но этого и не требовалось – все восполняла доброта стариков. Не только молоко, не только печь помогли ей. Не менее целебным оказалось и сострадание двух незнакомых людей, их милосердие.

Дау-апа вернулась лишь к вечеру.

– Э, детка, повезло нам! – забасила она с порога. Мужеподобной старухе пришлось сложиться вдвое, чтобы пройти в дверь. – Нашла я Шамурата. Базарные торгаши его знают, и дом где, и работа. Прямо с ребятишками и явилась к нему. Застала, слава те, господи!.. Ты-то как тут?

Хансулу про куриный бульон сказала, которым ее старики потчевали, про их добрые сердца. Дау-апа, удовлетворенная, продолжала:

– Шамурат-то ловкий малый оказался. Расторопный. Сразу меня в енкебе[1]. Всех записали – и Пахраддина, и Сыргу, и Балкию, имя, возраст. Сообщат, сказали, коли найдут. Так, благодаря Шамурату, мы с этим делом, скажи, развязались. Потом Шамурат, представляешь, меня взялся пристраивать. В интырнат свой привел. Забхоз он там, говорят. Сироты в том интырнате живут. Посудомойкой предложил в столовой ихней быть, при еде, говорит, будешь. Он нам с внучком и угол в дровяном складе нашел, спасибо ему. Пусть, говорю, счастье тебе будет через деток твоих, пусть, говорю, добро, которое ты мне сделал, от бога тебе возвернется... Вот так, детка,

---

[1] *Енкебе* – искаж. от “НКВД”.

и прокрутилась я до вечера, зато сколько дел! Повезло еще нам. Мертвецов в городе – не приведи господь! На улицах впрямь трупы...

– Мои не добрались, выходит, – Хансулу уставилась на глиняный потолок дома.

– Э, что мы можем?..

Тягостная тишина нависла в тесном доме. Пригорюнились женщины. Снаружи раскудахтались куры. Мальчишки, видно, резвились на дворе.

9

Немощное, съежившееся тело лежало неподвижно под столетником; открыла Сырга глаза, а перед ней – Пахраддин. Шевельнулась Сырга, застонала. Тоненькими, как спичинки, пальчиками, вся дрожа, стала что-то нашаривать в воздухе. Что-то съедобное ищет. Сколько уж дней ни крошки хлеба во рту... Сколько – Сырга не знает, давно уже сбилась со счету. Знает – дни и ночи сложились в такой временной отрезок, который, как она думала, измерить уже невозможно; этот отрезок тянулся, как смола, и полон мук. Все ее надежды на Пахраддина. Не должна б она так страдать, когда рядом Пахраддин. Но что-то, видно, приключилось и с ним, раз он, ее благодетель, хозяин, всегда все знавший, всегда все умевший, вдруг сбился с пути и, не в состоянии его найти, все кружит и кружит возле бархана... Если он тот Пахраддин, которого знает Сырга, не мог он ошибиться, не мог допустить, чтобы они тут, в песках, пропали. Разве он – не тот Пахраддин, которому люди поклонялись, которого люди чтили?! Что, что случилось? Почему он не может выбраться из тупика?

Сырга поглядела на широкие лопатки мужа, спиной он к ней сидел – поникший, в сорочке белой, некогда белой, в черной тюбетейке. В волосах, бороде прибавилось седин.

– Сокол мой...

Пахраддин не откликнулся. Его волосы и бороду треплет ветер, сорочка пузырится на спине. Тихо, мошкару только слышно. Полдень, зной, от него дыхание перехватывает. Вдалеке по пустыне прокатываются смерчи.

Потянулась Сырга худой, обессиленной рукой к спине мужа, коснулась ее.

– Заблудились... Да?

Не ответил Пахраддин. На далекий горизонт смотрит. С их бархана полмира видать. Полмира – это жаркая пустыня, маревом обволакиваемая, и ни души, будто все кругом вымерло.

– Небо сегодня ясное, к ночи по звездам пойдем, – сказал он через некоторое время, не оборачиваясь, желая утешить жену.

По звездам – так по звездам. Голос мужа внушает надежду. Не было еще случая, чтобы Сырга усомнилась в его словах. Сказал Пахраддин, пойдем по звездам, значит, пойдут по звездам. Может, и дойдут. Может, не все еще потеряно...

А Пахраддин не отводил глаз от смерча, завихрившегося свечой в самом центре пустыни; вот он уже и в сторону отклоняется. Ой-хо-ой, тяжко вздыхает Пахраддин, так и жизнь, как этот смерч, покружит-покружит – и уйдет. Обманчивый, призрачный мир. И он в этом мире был когда-то. Да, была жизнь вчера. Как день пролетела. Мальчишкой на стригунка сел необъезженного впервые. Джигитом коня норовистого оседлал, аулы ночами объезжал, где девушки. Вроде бы вчера. Потом, потом повзрослел, ума набрался, о нуждах людских стал думать. О справедливости. В тяжбах стал участвовать, бием прозвали за мудрость. Не славы, не чинов он искал. Единения искал – для народа. Э-э, было все. Была жизнь, кочевая жизнь степняка с ее неизменной войлочной юртой; эта жизнь ушла. Мелькнула как сон и ушла бесследно. Полагал ли Пахраддин, что в возрасте пророка, когда голова сединой убелится, кончится он от голода?.. Думал ли когда, что останется непогребенным в пустыне, станет добычей зверья и птицы? О создатель, чем провинился твой раб, что ты его на столь бесславный, собачий конец обрекаешь?! Почему бы ему не узнать про эту вину перед смертью?! За что, за какой такой проступок ты его караешь? За что-о?!

Горькие мысли терзали Пахраддина, пребывавшего на грани жизни и смерти. Временами он поднимал голову, усталым взглядом обозревал округу. Путника он искал,

живую душу, но не находил. Глаза с частокола агавы на полынь переходили – зеленую-зеленую; вдалеке барханы выплывали с ковылем – белым-белым; пологий холм, утопающий в мареве, – как голубое озерцо. И вдруг на этом холме, о всевышний, – верить или не верить глазам? – он увидел юрту. Обыкновенную казахскую юрту, круглую, с куполом. Марево скрывало ее наполовину, но она, юрта, большая, белая, с куполом, была! Напряг Пахраддин зрение. Нет! Никакой ошибки! Стоит юрта. Белая. С белым куполом.

Забило-зачастило сердце.

– Байбише! – позвал он, не в силах скрыть радости.

– Ау! – откликнулась Сырга, не открывая глаз.

– Байбише, юрта вон!

– Что? – Сырга открыла глаза. Насилу открыла.

– Вон юрта! Наша юрта!

Сырга тихо повернула голову.

Пахраддин и на ноги уже поднялся, стоит-покачивается на месте. Тянет, как безумный, руку вперед, глаз от горизонта не отрывает.

Шаг сделал, другой. Приостановился.

– Вон, на гребне, видишь? Наша юрта...

– Где?

Сырга, поднеся ладонь к глазам, вгляделась. Не увидела ничего. Весь мир в голубом мареве струится. Горизонт плавится, тает. Одно мельтешение в глазах.

Выпрямившись, Пахраддин закачался на месте. Попробовал еще сделать шаг. Как ватные ноги, не живые.

– Где юрта? – прошептала Сырга. Не услышал ее Пахраддин. Ветер пузырил на его спине рубаху. Он двигался, вытянув вперед руки, как слепой, будто за воздух хватается, и шаг у него неверный. Сырге в эту минуту он показался большим ребенком, который только-только по земле пошел.

– Бог мой, упадет ведь...

Боится за него Сырга. Но не падал Пахраддин. Молил духов предков:

– О Барак-ата! О Бекет-ата! Помогите... Поддержите...

Все оставшиеся силы собрал Пахраддин, чтобы спуститься с песчаного склона. В коленях, проклятых, нет сил. Вес собственного тела вынуждает его склоняться то

вправо, то влево. Но, пока жив, не намерен он сдаваться. Хоть и упадет – не отступится.

Он должен дойти до юрты, последней его надежды, последнего света в этом мире. Дойдет и скажет, что там, на бархане, Сырга, что надо ей помочь. Скажет и умрет.

Спасет Сыргу – и умрет.

Падь, в которую он спустился, изобиловала растительностью – степной акацией, столетником, ковылем. На глади песка – вязь, оставленная жуками и ящерицами, там же и отпечатки босых ног Пахраддина. Тягостную, веками настоянную тишину пустыни нарушает лишь биение сердца Пахраддина и его запаленное дыхание. Пот заливает глаза, и тогда вселенная темнеет. Под ложечкой сосет, хочется есть. От голода темнеет в глазах, а не от пота. И в голове туман, будто все во сне происходит. Во рту сухо, язык распух. Но неведомая сила влечет вперед, заставляя забывать и про зной, и про голод, и про жажду. У края пади он опустился на колени и на четвереньках вскарабкался-таки на гребень. Выпрямившись, вытер рукой лившийся в глаза пот, взгляд лихорадочно ищет скрытую маревом белую юрту. Марево, голубое-голубое, как озерцо, неведомо откуда в пустыне объявившееся, было, а юрты... юрты не было. Пропала бесследно. Будто земля ее проглотила. Привиделась, что ли?..

Не-е-ет! Не верит глазам Пахраддин. Еще шаг... Другой... на ногах еле держится... На бугор поднялся, вгляделся.

О создатель! Неужто он разума лишился в ясный день? Где юрта? Где эта белая юрта?! Жаркая сушь лежала безмолвная, как и судьба. Жестокая судьба. Обманулся, выходит, Пахраддин. Марево подвело. Сам обманулся и Сыргу, бедняжку, в заблуждение ввел. О безумец!..

Обернулся Пахраддин, поглядел назад. Жены на бархане под кустом столетника он не увидел. А ведь, кажется, смотрела ему вслед. Черно стало в глазах, закружилась голова, покачнулся Пахраддин. Что было дальше, он не помнил, и сколько времени пролетело, не знал.

Очнувшись, открыл глаза, отметил, что зной спал, удлинились тени от кустарников. Лицо горело. На

муравейник, оказывается, упал, искусали, твари, не пожалели. Губы вспухли. Собрался с мыслями, сел. Нутро горело не меньше, чем лицо, хотелось пить. Жажда мучила сильнее, чем голод. Глаза на зелени сосредоточились. За кустами агавы, посреди рана и солодки он лук увидел. Росточек дикого лука. Один-единственный. Подняться бы да сорвать, но куда уж ему? И пытаться не стал. Пополз к тому единственному росточку на четвереньках. Глаз от него не отрывает. Боится, как бы и он не привиделся. Нет, не был росточек видением, коснулся он его рукой. Не вытерпел, пока сорвет, – упал на него, сжевал на корню. Ползет Пахраддин дальше, жадно траву обозревает. Еще, еще ему хочется луку. Голодные глаза его ищут. Так, на четвереньках, он и до акации дополз, щедро рассыпавшейся сережками. Под ней на площади, равной той, что занимает обычно юрта, он – о боже, велико же твое могущество! – обнаружил вместе с зарослями рана и ростки лука. Много его тут было – глаза разбежались. Щедр создатель, если захочет воздать! Приложился к краю Пахраддин, не оторвать. На четвереньках передвигается, зубами зелень состригает, жует. Обо всем забыл. Одного жаждет – лука, терпкого, исходящего соком. Рвать его, грызть, глотать еще и еще... То и сделал Пахраддин. "Скосил", считай, весь луг.

Когда пришел в себя, увидел, что ел-то он не лук, а ран, траву, которую скотина ест. Выходит, пасся он, как последнее животное...

Рот кисловатой травы полон, сплюнул. Уронил голову, слезы крупными каплями на песок покатились. Чем он прогневил бога, что жалко тому для него достойной человека смерти? Чем? Че-ем?! Почему он, именно он, как последний пес, должен издыхать на радость ползающим червям и муравьям?!

– О мир! Ты нем! Ты жесток! Ты предательски изменчив, мир! То ликом оборачиваешься, то задом. Почетные куски с дастархана жизни ты псам бросил, подобным Бухарбаю и Курену... Мало того, им же на растерзание народ отдал. Этого ты хотел?! Э-эх, натравил заевшихся кобелей. Разогнали псы народ, по белу свету он разбрелся... Обнищал, себя потерял. Этого ты хотел, лицемерный мир?! Что ж ты молчишь? Насытился твой зоб? Сыт? О время,

бесово время! За все еще с тебя спросят, за капельку воды, зря пролитую, спросят! Кровь людская тебя не отпустит! Слезы малых детей не отпустят! Понесешь еще ответ! Ни одно твое преступление не останется без спроса, ни одно, ты слышишь? За все будет спрос! За все-е! За все!!! – прохрипел Пахраддин и упал. Ничком, лицом в землю уткнулся.

Долго он провалялся без сознания, а потом, когда очнулся, стал мало-помалу приходить в себя. Запах молодой травы почувствовал сперва. Хотел открыть глаза, да понял – вниз лицом лежит. Жажда мучила, нутро горело, язык будто приклеился к небу. Сорвал зубами травинку.

Будто бы слышит голос Лабак-ахуна.

Сощурился ахун, не на Пахраддина смотрит, а на далекий горизонт.

– Горы с горами столкнутся, моря из берегов выйдут, огни займутся, один на Западе, другой – на Востоке. Иса с небес спустится. Злой дух из-под земли выползет. Миг высшего откровения наступит... лик божий народ лицезреть будет. Суд великий над человеком свершится в присутствии господнем... Говорил я про это, брат мой? Говорил? Так вот, этот день настал. Дожили мы до него. Наше желание удовлетворено. Своими глазами Конец увидели... Но тебе, я вижу, жаль с грешным миром расставаться. Сено жуешь. Жить хочешь. Одумайся, прекрати желать того, что не достойно желания. Скоро, очень скоро сомкнешь ты глаза, перед тобой ворота иного мира распахнутся. Вознесешься над бренной, пропитанной ложью землей в вечность... Потому я спешил к тебе. Я-то сам давно существование на этом свете отверг. И ты себя не мучь, укороти язык. Пожелай душе благоденствия в будущем. Попроси у господа бога прощения за слабость...

Пахраддин, шевеля губами, стал читать молитву. Подумал – зря вспылил, зря всевышнего за грехи людские корил. Теперь он молил создателя о прощении.

Заворочался Пахраддин. Болела грудь, болели плечи. Собрав последние силы, сел. Голова кругом пошла. Небо к земле клонилось. Земля под ногами покачивалась.

Прослезился Пахраддин. Сердце нежностью к старцу преисполнилось, не оставил он его в смертный час.

– С нашими что там?

– Э, кто угас, а кто жив остался, брат мой…

– А с теми, кто на Устюрте?

– Э, наворочали они дел… Развратилась молодежь, покой кладбищенский нарушает, духов гневит. Мечети, богом проклятые, громит. Вот и попортилась жизнь. Бог за святотатство голод наслал, мышей народ ест… Хорошо бы сами молодые за грехи свои ответ держали, так нет же – через них на всех кара пала...

– Эх-хе-е, – вздохнул Пахраддин. Голову на грудь уронил. Опечаленный, почти вдвое сложился, так низко к земле он пригнулся. Забубнил: – Э-э-э... щуки на дерево перебрались... воробьи в соколы подались... вот-вот. Чего было ждать от народа, который Курен и Сур Жекей... Ждахай и Козбагар возглавили?.. Народ без достойного мужа-правителя не народ, вырождается он... Вырождаются мужчины, соратников достойных не находя. Злополучие корни пустило. О создатель, чем видеть это, уж лучше умереть! Чем видеть это, лучше в могиле гнить... Или помучить меня хочешь, боже, до такого дня довел? Но ведь и это смерть... не один, а два раза убить хочешь... не убив, в адовом огне жаришь. И смерти, значит, для меня жалко? А того, что Пахраддин шестьдесят лет на адовом огне жарится, мало? Шестьдесят лет с дьяволами-искусителями и оборотнями в облике человеческом сражается... мало? Ты бы, всемогущий, меня прибирая, хоть конец бы мне не омрачал...

Еще через какое-то время очнулся Пахраддин – ползет он куда-то, что-то бормочет. Приостановился – запамятовал вдруг, куда ползет. Вспомнил тут Пахраддин, куда ползет. Сырга ведь там, на бархане, к ней он и ползет, увидеть ее хочет.

Такая уж пора в пустыне, когда солнце садится и тени вокруг начинают сливаться в одну сплошную темь. Ползет Пахраддин. Две луковинки у него в кармане. Намеренно прихватил. Пытается мыслями на Сырге сосредоточиться. Может быть... может быть... она умерла? А он... он... не был с ней перед кончиной. Как скверно-то получается!.. Собачья участь, собачья судьба...

Адовых усилий стоил ему бархан, едва влез. Сырга на спине лежала. Под столетником. Не шелохнется.

Малиновое шелковое платье на ней, ее любимое, голова и шея повязаны жаулыком.

– Сырга! – окликнул он ее, беря за тонкую, высохшую кисть.

Жива Сырга, дрогнули ресницы. Открыла глаза, печаль, невыразимая печаль тонула в ее угасающих зрачках. Взгляд усталый, безжизненный, скользнул по лицу Пахраддина, пополз вниз. На кармане остановился. Вложил ей в руку луковинки, обе. Поддержал голову. Не осталось веса в Сырге. Как перекати-поле легка.

Держит лук тонюсенькими пальчиками, а ко рту поднести не может. Пахраддин сам затолкал ей луковинку в рот. Не спеша, тихо постанывая, начала жевать Сырга. Двое соединенных общей долей людей темнели на безвестном бархане в безводной пустыне...

Черно-синее небо с серебряными звездами, раскинув широко крыла, опускалось куполом на землю, отдыхавшую от дневного зноя. Потемнел, сузился в границах далекий горизонт, скопились в оврагах тени. Великая, подавляющая дух тишь окутывала вселенную. Вместе с темью расползался по окрестности, захватывая ее целиком, страх. Как волк, осторожно, без единого шороха, хоронясь за кустами, ближе и ближе подбирался он к двоим.

Звонкую бьющую в уши тишину нарушили слезливые причитания козодоя. Сырга на коленях Пахраддина покоилась, вздрогнула она. И Пахраддин холодок в сердце ощутил. Не к добру прилетает козодой, зловещая ночная птица. Смерть чью-то чует. Сырга, собравшаяся в комочек, как зайчонок, что-то ему шепнула. Прислушался он, склонившись. Показалось:

– Сокол...

Еще ниже он склонился. Сырга с усилием подняла веки. Издалека смотрит, из Далекого далека. Из другого мира будто. Глазами, похоже, то сказать хочет, что не в состоянии выразить словами. Мучается, видя, что это ей не удается. Прощается никак, как знать... С навернувшимися на глаза слезами Пахраддин всматривается неотрывно в осунувшееся овальное личико жены. И Сырга смотрит немо, с мольбой. Не хочет она с ним расставаться. Он стал гладить своими широкими ладонями крохотное

личико, ее шею. Капелька вытекла из уголка ее глаза. Горячая, обожгла руку Пахраддину.

Козодой голосил без устали – он сидел одиноко на шапке карликовой акации. Стенания птицы заполнили пустынное пространство, они усиливали ощущение опасности. Они звали беду...

Обнявшись, лежали на бархане двое – он и она. Внизу, под ними, земля, сокрытая мраком; вверху – купол неба, прошитый звездами. Мир как большая юрта, купол которой слился с небом.

Ночная птица, захлопав крыльями, сорвалась с ветки, полетела неведомо куда...

1985г.

КНИГА ВТОРАЯ

МОЛИТВА

ГОД ДЬЯВОЛА

1

К часу саске[1], когда солнце поднялось выше, степные просторы стали ощутимо наливаться зноем. Над голубой дымкой горизонта повисли трепетные миражи. Привлекая взор, вдали взвился пыльный смерч и, приплясывая, вращаясь, понесся куда-то за холмы. Длинные туши серых увалов, лежавшие в пустыне, заметно осели в волнах голубых мерцающих миражей.

Шеге стоял на вершине сухого холма, всматриваясь в панораму родной степи. С горба этой возвышенности все близлежащие окрестности видны, как на ладони. Вон отара, киша потоком, втягивается в лощину, заросшую кустарником. Время от времени из низины доносится приглушенный звук бубенца на шее козла. Иные звуки не смеют нарушать долгую, отстоявшуюся тишину этих мест. Вверху светилось высокое небо с перистыми облаками. Внизу простирались во все стороны солончаки, песчанные бугры и желтые пустоши.

Там на севере, в стенах тюремной камеры, пиявкой сосали сердце не сколько мысли о сроке, тянувшемся резиной, сколько тоска по родной степи. Чем бы ни занимался в лагере, рубил ли лес, таскал ли кирпичи, копал ли арыки, все сохла и томилась душа тоской по этим необъятным просторам?

[1]*Саске* – полдень.

И все же думается теперь, что грешно сожалеть о тех годах, канувших во тьму. Разве те пропащие два года не пробудили постоянно живущее теперь в душе чувство дивной красоты этого мира? Да, как бы то ни было, надо признать, что годы неволи изменили его спящее сознание. Из тех мест Шеге вернулся ощутимо возмужавшим, не в пример некоторым, опустившимся за это время. Среди аульчан, большинство из которых и на версту не отходило от аула, Шеге теперь человек – видевший мир и кое-что познавший. Поэтому с ним считаются. Если что, первым делом бегут советоваться с ним.

На краю ближнего солончака воздушной тканью колыхнулась поросль ковыля. Его белые опушенные метелки закачались, зашептались на ветру, отливая серебром.

Наблюдая за движением отары по склону холма, Шеге вновь мысленно вернулся к своему дому в Тущыбулаке. Что сейчас делает Хансулу?

2

Содержать дом, беречь очаг как зеницу ока – это заботы Хансулу. Не может она по-другому. Вот и сегодня весь день занималась уборкой жилища. Не оставив ни единой соринки, дочиста подмела землю возле очага. К обеду расхлопоталась во дворе под навесом, готовя в котле куырдак.

– Мама, смотри, смотри! – вдруг зашумели ребята, игравшие у лужи воды. Хансулу взглянула туда, куда показывали дети, и увидела всадника, черневшего под косыми лучами солнца. Признала в нем Ждахая, ехавшего на белолобом гнедом жеребце. Что ж, начальник возвращается домой, объездив отгоны окрестных чабанов.

После конфискации скота Хансулу невзлюбила Ждахая, а ведь с малых лет росли вместе. К сожалению, не отличался гордостью и самоуважением этот детина. Всегда объявлялся незваный, как снег средь ясного неба, со своей глупой прибауткой: “Ну-ка, хозяйка-зазнайка, завари-ка нам чай!” Не удивляйся, дескать, я – в дружбе и товариществе с Шеге. Помнит, знает, конечно, прохиндей, свою вину перед Хансулу, особенно в том злом деле, когда власти признали Пахраддина кулаком.

Пошучивая и глупо ерничая, пытается прикинуться невинным, сделать вид, что ничего особенного не произошло. Из кожи вон лезет, чтобы задобрить Шеге и Хансулу, снабжая их чаем или мукой. Так что мнится им порой, что помогает Ждахай от всей души. И думается ей тогда в невольно: “Все-таки старый друг, он. Куда от него денешься?”

Однако Шеге сторонился Ждахая, стараясь лишний раз не встречаться с ним. Узнав же, как обошелся Ждахай с его родителями во время голодомора, чуть ли не за версту стал обходить дом сверстника. В те окаянные дни Хансулу, едва живую от голода, перекати-полем несло и кувыркало по пескам Каракумов и берегам Аму Дарьи. Не знал Шеге, что творилось тогда в Жанажоле? Оказывается, с первых же дней голода рыщущие по аулам Ждахай, Нурила, Суржекей, Калашников, стервятниками накинулись на народ. Ссылаясь на план поставки мяса, вчистую подмели у людей остатки скота. Не оставили, как говорится, ни рогов, ни копыт. В конце лютой зимы эти самые Ждахай и Суржекей, обшаривая дома, отбирали даже мясо, варившееся в казанах аульчан. Таких, как Шарип, отца Шеге, посмевших было пикнуть, заставили молчать кнутами. Мясо, отобранное у народа, привезли в райцентр и свалили в огромную кучу. Целый месяц ждали машину из области, тем временем нагрянула оттепель, и мясо протухло. Делать было нечего – собрали школьников, заставили их облить мясо соляркой и подожгли. После чего начался страшный мор. Люди в ужасе кинулись в города. Поскольку село “Жанажол” находилось на отшибе от дорог, население оставалось в своих домах. Люди превозмогали лихо, добывая барсуков, ловили мышей. Бедолага Шарип, едва живой под тяжестью капканов, с утра до позднего вечера бродил по пустыне. В такие дни и вернулся в аул Шеге. Это было время, когда вместо Калашникова, снятого с должности за допущенную разруху и гибель людей, первым секретарем райкома партии был поставлен Афанасьев, а в села начали завозить кое-какие продукты.

Шеге вернулся в аул не с пустыми руками, привез целую арбу зерна. Это была помощь Афанасьева аульчанам, он же подарил Шеге пару сапог. Дома Шеге нашел своего

отца Шарипа, обессиленного от длительного голода. Худющий! Остались от него одна кожа да кости. Все же он узнал сына. Жестом подозвал к себе. От слабости еле шевелил губами. Из глаз сочились слезы. В этот же вечер с первыми звездами он испустил дух.

В эти самые дни, когда аул корчился в смертных муках, едва успевая провожать на погост умерших, отец Ждахая, аульный старшина Жорга, на жизнь не жаловался, дом его был – полная чаша.

– Ох-хо-хой… красотка ты моя, степная! Пламенный привет от всего сердца! – с этими словами Ждахай грузно спрыгнул с коня у самого столба.

– Начальнику наш салем! – Хансулу изобразила подобие улыбки. И в самом деле, попробуй не ответить на приветствие такого господина, как завфермой. С потерей большинства работников село Жанажол превратилось в ферму колхоза Амангельды. С тех пор Ждахай – полновластный хозяин отделения с единственной фермой. Сам себе пан, сам себе судья! По отношению к Шеге и Хансулу Ждахай особенно не изменился, демонстрировал простецкую щедрость и душевную открытость. И это Хансулу нравилось. Другой начальник закусил бы удила, начал показывать норов, доставая и так и эдак. Этот, вроде бы, сознает, что перегибать нельзя.

– Оу, Хаке, ты одна? Где твой муженек?

– С отарой. Где же еще. Завтра будет, – улыбнулась Хансулу.

– Молодец, – Ждахай со стуком водрузил мешок у самого порога дома. Судя по глухому звуку, хорджун был отнюдь не легковесный.

– Ждахай, как дела в ауле? Новости есть? – Хансулу внесла пыхтящий самовар и принялась накрывать дастархан.

– Что и говорить, новостей много, – Ждахай, засунув руку в хорджун[1], вытащил два-три свертка и небрежно бросил перед Хансулу. – Три метра ткани. А это чай, сахар.

– Да?.. И что это за новости? – голос женщины прозвучал как-то светло и мелодично.

Не хотелось ему наводить тень на плетень в этот благословенный час, когда так приятно накрывается

---

[1] *Хорджун* – сума, связанная из шерстяных ниток.

дастархан. Поэтому Ждахай выжидал, не спешил с речью. Затем, взъерошив свои торчащие волосы, ухмыльнулся.

– Чтобы ему пусто было, – Афанасий оказался шпионом, – сказал он, оглушив ее этой новостью.

Хансулу, вздрогнув, уставилась на Ждахая, в ее иссиня-черных глазах мелькнул испуг. Недобрая весть ошеломила ее. Она слышала, что Сталин призвал беспощадно бороться со шпионами, вражескими агентами, которых стало слишком много. Но какое отношение имеет Афанасий к ним, она этого никак понять не могла. Ждахай же выжидал с важным видом.

–Да, это так… вчера арестовали. Оказался платным турецким агентом. НКВД, возглавляемое товарищем Суржекеем, раскрыло это преступление. Арестовали его, убедительно доказав предательство, - он выговорил это с явным удовольствием, выделяя каждое слово.

Хансулу, вся бледная, смотрела на двигающийся рот Ждахая. Тот продолжал говорить все громче.

– Будь они прокляты предками, разве мало сейчас их, предателей, чьи грязные дела выплывают на свет. К примеру, Кулымбетов, который возглавлял наш Казахстан. Он, как выяснилось, наймит – японо-германский агент. Или – далеко ходить не надо – наш поэт Сакен, на которого мы молились, как на бога… – Ждахай взял томик с красной обложкой. – Дорогой наш товарищ Ежов взялся наводить порядок в стране… Всех этих предателей, врагов народа… Газеты переполнены разоблачительными материалами о них, правду не утаишь. Так что все это правильно… Не стоит жалеть их…

Ждахай закончил речь с интонацией праведного гнева. Хансулу понимающе кивнула головой. Хотя душу так и обдало холодом при словах “враг”, “пойман”, тем не менее, она не могла не согласиться с тем, что власти с “предателями” поступили правильно. Ее длинные ресницы дрогнули, затеняя взор, и она о чем-то задумалась, глядя на томик опального поэта в руках гостя.

Сокровенные мысли Ждахая, конечно, не о книге, а о прелестнице, разливающей чай. Хансулу глубоко задумалась, она была так привлекательна сейчас, сережки сверкали в ее маленьких ушах, белое горло подрагивало чуткими струнами. И сидит она так изящно, изогнув свои

тонкие брови. В своих страстных грезах Ждахай обнял и изо всех сил прижал ее к себе.

– Сыграй на домбре, – попросил он охрипшим голосом. Но Хансулу отнюдь не проявила особого желания взять в руки домбру.

Ждахай засиделся с разговорами. Поведал, что едет в район по вызову, по дороге решил навестить друзей. Весьма довольный, что повидался с Хансулу, да еще отведал из ее рук чай, Ждахай отправился в путь-дорогу в далекий центр.

3

Ждахай на белолобом гнедом легкой рысью поспешал в Наркамыс, размышляя о том, что же было причиной того, что начальник НКВД Суржекей вызвал его к себе.

С этими мыслями въехал во двор НКВД. Знакомое место, был здесь не раз. Большой серый дом с окнами, забранными в решетку, стены сложены из сырцового кирпича.

Навстречу вразвалку вышел Козбагар. Одет в военную форму, на голове буденовка с большой пятиконечной звездой. Косолапит себе неспешно. И не подумаешь, глядя на форму, что это прежний Козбагар.

– Малый, как дела? – спросил Ждахай с ухмылкой.

– Ассаламалейкум, Жаке! Жекей Калиевич вас ждет ... с самого утра, – ответил Козбагар, почесывая плечо и переминаясь с ноги на ногу.

– С самого утра, – повторил он угрюмо.

Ждахай был в коротких отношениях с Суржекеем. Скаля зубы в улыбке, Ждахай с уважением взирал на здание учреждения, которое смогло в два счета свалить такого кита, как Афанасий. Стены у домища толстенные.

Открыв дверь кабинета Суржекея, переступил порог. Не раз гостил у него Суржекей, угощался сытно и щедро.

– Ассаламалейкум! – протянул обе руки.

Суржекей, выше среднего роста, сухощавый, жилистый, сутулясь, стоял у окна, деловито скручивая цигарку. Его большой, обложенный складками рот приоткрылся:

– А-а-а, – произнес он, изогнув бровь. Протянул кончики пальцев, и вновь стал вертеть цигарку. На нем были серый китель, штаны – галифе, на ногах блестящие хромовые

сапоги. "Ох, не прост", – подумал Ждахай, суровый вид Суржекея навел на него оторопь. Словно ледяной водой облитый, Ждахай стоял со смурным видом, теребя в руках кепку. Ощущал он в атмосфере этой комнаты знобящие пары гнетущего величия. Это, конечно, веяние власти, силы, тайны. На стене портрет любимого вождя Сталина. Великий вождь, простоволосый, в белом кителе, приподняв подбородок, задумчиво смотрит куда-то в пространство. Ждахай с умилением воззрился на лучезарный образ вождя.

– Та-ак... садись!.. – Суржекей зашагал в сторону стола, где красовался телефон, при этом хромовые сапоги весело заскрипели. Суржекей жадно затянулся. С наслаждением выдул клуб кудрявого дыма. Все с тем же пронзительным скрипом хрома подошел к табуретке и уселся. Тяжело вздохнул.

– Та-ак... – сказал Суржекей, раздумывая, с какого бока подступиться к этому аульному простаку. Каким приёмом свалить его? А перед глазами то самое событие, которое накануне произошло в Актюбинске. Краснощекий полковник, чрезвычайный уполномоченный, прибывший из Москвы, поставив его навытяжку, как какого-нибудь курсанта, начал учить уму-разуму. "Почему не работаем?" – сначала оглушил оголтелым криком. "Если не хочешь работать, как следует, положи на стол партбилет!" – затем грохнул пухлым кулаком по столу. "Или ты хочешь сказать, что в твоем районе, кроме Гринина, других врагов народа нет? Почему в Москве есть, в Ленинграде есть, в Алма-Ате есть, а в твоем районе нет?! Может, ты укрываешь их? Или, по-твоему, в подведомственном районе нет ни прихвостней Кулымбетова, ни марионеток Гринина?" – орал он, тыча толстым пальцем в грудь Суржекея. У того мигом душа в пятки ушла. То, что он поймал Афанасия Гринина, выслеживая его столько лет, полковник и за грош не посчитал. Тем не менее Суржекей понял краснощекого полковника. Понял и политику сталинского наркома Ежова. За Ежовым стоит великий вождь Сталин. Правильно сказал уполномоченный, что в такой опасной обстановке, когда кругом враги плетут свои козни, нужно теснее сомкнуть ряды вокруг вождя. Следует, не жалея сил, защищать

социализм от внутренних врагов. “Нужно работать изо всех сил, прекратить панибратство, преодолеть родовые пережитки!” – с таким твердым намерением Суржекей вернулся из области к себе в район.

– Так, товарищ Ждахай! Враги народа есть в Москве… В Ленинграде!.. В Алма-Ате… Почему их нет в Жанажоле?

Ждахай захлопал ресницами, глотая воздух, словно рыба, выброшенная на сушу.

– Что?.. Не понял моего вопроса? Те самые Рыскуловы, Кулымбетовы, Сакены Сейфуллины, и этот Гринин были не одни. Уяснил?.. Так… Спрашиваю, где их прихвостни, единомышленники? Везде они есть, почему нет прихвостней в Жанажоле? – голос Суржекея металлически звенел.

– Жаке-ау… Я…

– Стоп! Думай хорошенько!.. Не спеши с ответом! К политическим преступникам можно отнести и таких руководителей, которые укрывали врагов.

Сумрачный Суржекей вновь затянулся самокруткой. Тяжело вздохнув, поднялся с табуретки. Зашагал туда-сюда, выдавливая нудный скрип из хрома. Прохаживаясь, на минуту задерживался возле окна, зажав цигарку в пальцах. Бросал куда-то в даль пронзительные, задумчивые взгляды. Затем все с той же нелегкой думой шагал к порогу под тот же жалобный визг хромовой кожи. Оттуда возвращался от двери к столу неспешно, степенно.

– Подумал?

– О чем вы, Жаке?

– Вчера, – протянул Суржекей, – пришел к выводу, что прихвостнем Кулымбетова в Жанажоле, является, без всякого сомнения, не кто иной как сам завфермой, то есть ты…

Ждахай подпрыгнул на месте.

– Ойбай, Жаке… что вы говорите?! – волосы дыбом встали на голове.

Суржекей нажал кнопку на столе. Испуганный Козбагар тут же появился в кабинете.

– Этого запри отдельно! – сказал Суржекей, шевельнув тараканьим усом.

– Это что? Арест? – спросил Ждахай, задыхаясь, хватая ртом воздух.

– Уведи его! – отрубил Суржекей.

Ждахай жался с плачущим видом, его ошалелый взгляд метался по комнате, ища поддержки у давних товарищей.

– Жде-ке! – подал голос Козбагар.

Ждахай сник и обреченно зашагал впереди Козбагара. А что ему оставалось делать? Врагом, оказывается, стать проще простого.

Ночью, прикорнув на земле возле отары, Шеге оказался во власти глубокого сна. И этот зловещий сон сильно напугал его. В этом видении он вместе со своим семилетним сыном Тугелханом пас овец в непроницаемых потемках. Как будто в пустыне они были. Овцы под слабый звон бубенца брели в темные заросли. Тугелхан шел вместе с ними. Вдруг он обнаружил, что сынишка исчез. С истошным криком: "Тугелхан!" – он заметался туда-сюда. Вверху ползло чугунное небо. Внизу земля, потонувшая во тьме. Сам он исходил криком, зовя пропавшего сына. Ночь, словно каменный утес, не шелохнется в ответ. Ошалелый Шеге кинулся бежать со всех ног. Пока тьма не поглотила остатки лунного света, он должен найти сына. В конце концов нашел. Вернее – наткнулся. Лежит отрок на земле с разбросанными крыльями. Поднял он чадо дорогое с земли, прижал к груди. И тут с ужасом обнаружил, что живот ребенка разорван зубами волков. В отчаянном вопле Шеге обнял бездыханное тельце…

Очнулся он от собственного крика. Близились рассветные сумерки, край неба на востоке слабо светился. Овцы, выжидая, глазели на пастуха. С недоверием осмотрел себя, лежащего на земле в старой брезентовой накидке. Кошмар, увиденный во сне, все еще знобящим туманом клубился в голове, сердце билось с перебоями, вызывая темноту в глазах и дрожь во всем теле.

Серый козел, глухо звякнув колокольчиком, повел отару. Шеге навьючил хорджун на спину черного верблюда с надменным выражением на морде, елозящей вечную жвачку. Отара нехотя потянулась вслед за вожаком в сторону взгорья к роднику.

Верблюд шагает величественно, неспешно, бережно переставляя ноги с толстыми подошвами. Шеге, укачанный плавной походкой животного, незаметно углубился в

воспоминания. Перед глазами лицо отца, Шарипа, лежащего на смертном одре. С последним вздохом, прощаясь с этой собачьей жизнью, – что он хотел сказать, увидев сына? Шевельнул только непослушным языком, и пара слезинок выкатилась из углов глаз, да и только. Ох, как сейчас он понимает отцовскую душу! Горемычный отец, видимо, и не чаял увидеть своего сына живым. Мучился, пытаясь сказать костенеющим языком, как соскучился по сыну, пропавшему в безвестности тюремного заключения.

Брызнули первые лучи солнца. И тогда начали проясняться вершины далеких косогоров, высветляться углубления и распадки обширных впадин. И перед глазами Шеге миражом всплыли картины прошлого. Вот в самом центре прозрачного неба кружит черная птица с распростертыми крыльями. А на вершине круглого холма, размытый маревом, дрожит, колыхается каменный столп, поставленный когда-то людьми Мажана. Конечно, в радужном свете видел эти окрестности юный Шеге. Все эти края были заполонены скотом Мажана, косяками упитанных лошадей, несметными отарами овец, стадами отборных верблюдов с вожаками-нарами. В те времена эти лощины и долины не были безлюдными, как ныне. У каждого увала-хребта виднелся аул. Летом стоял шум-гам бесконечных тоев, скачек отборных коней, свадебных кавалькад и караванов. Житие-бытие народа кипело азартной ярмаркой. Теперь всего этого нет и в помине. После голощекинского разбоя степь опустела, одни бежали за тридевять земель, многие костьми легли от голодомора, другие, выжившие после этого лиха, до сих пор приходят в себя.

Шеге был одним из тех, кто бился за новую жизнь, за коллективизацию и оседлость, не жалея живота своего. В итоге же, надрываясь на лесоповалах России, он был всецело погружен в думы о родичах, тужил-недужил именно по прежнему аулу. Нет, он тосковал не по глинобитному, оседлому Жанажолу, а по своему войлочному, вольному, кочевому аулу Таскудык. Это был аул, к уничтожению которого приложил руку он сам, как и вся активная комсомольская молодежь.

Когда солнце доползло до зенита, воздух накалился зноем. Одна и та же картина – серый козел с завлекательным бубенцом и понуро поспешающая отара. Что-то мелькнуло на бугре, заросшем густой полынью. Сердце кольнуло и тотчас сорвалось в стук. Он узнал сына в застиранных белесых штанах, бежавшего неровно, прихрамывая. Что с ним? Поймал занозу? Тугелхан, спустившись в низину, присел, сильно наклонившись. Он то и дело бросал на отца взгляды исподлобья. Шеге подстегнул верблюда. Сын сидел, ковыряя подошву.

– Что случилось, Тугелхан?

– Да так, колючка...

Подойдя к сыну, погладил его растрепанную шевелюру, всей грудью вдохнул терпкий запах пота и пыли.

– Ну-ка, покажи? – наклонился, всматриваясь. Мальчонок все лето проходил босой, из-за этого шершавые подошвы замозолились темными наплывами. Занозы не было видно.

– Сильно болит?

– Когда наступаешь.

– Ну что ж, садись на верблюда. Если что, дома иголкой вытащим.

Тугелхан подчинился. Выпрямился с гримасой боли на лице. Шеге, приподняв его, посадил на круп верблюда. Сам уселся меж горбов.

Вскоре показались окрестности Тущыбулака. У ручья, притягивая взгляд, округлой сферой возвышается юрта. Первым затрусил к воде козел с колокольчиком, за ним толпой ринулись овцы. Огибая отару, со всех ног бежит, семенит дочурка в красном платьце.

Подсадив и ее рядом с сыном, неторопливо спешился, направил верблюда к ручью. Сам, шаркая по грунту сапогами, зашагал к дому.

Во дворе возле самовара, раздувая в нем огонь, суетится жена, тонкая в талии, ладная телом. На ней белое платье с оборочками внизу, по краям, черная бархатная безрукавка – наряд, который она надевает редко, разве что по праздникам.

Шеге почувствовал, как жар разлился по груди. И тянет все время посмотреть на юрту, одинокий серый купол в степи. По мере приближения к дому огонек разгорался,

стремясь вырваться из груди. Вокруг дома земля была тщательно подметена, полита свежей водой. Все находится на своих местах, прибрано заботливой женской рукой. Ну, как не любить Хансулу?

Хансулу только что вошла в юрту. Шеге сбросил хоржун возле порога, засунул камчу за поясной ремень и шагнул к двери. В открытый проем в помещение ярким потоком струилось солнце. Почудилось, будто светлый силуэт так и поджидал его появления. Она подошла и повисла на шее. Белый узорчатый платок скользнул и потек вниз по спине. Шеге изо всех сил обнял и прижал ее к себе. Хансулу была на голову ниже его. Неизъяснимый аромат от волос, аккуратно расчесанных и заплетенных в две косы, пахнул ему в лицо, и он жадно втянул всей грудью этот запах. Черными плотно-густыми ручейками вьются ее косы, достигая чуть ли не до лодыжек. Если расплести их, зальют шелковым потоком спину, поясницу. Руки Шеге, обхватив тонкую талию женщины, мнут и гладят ее.

– Устал? – тихо спросила Хансулу.

Он промолчал. Нагнулся и поднял ее на руки. В глазах Хансулу туман, жар захлестывает ее волной, длинное белое платье обвисает крылами, безмолвно никнет она в его объятиях. Положил ее на корпешки в укромном месте юрты. Она шепнула:

– Закрой дверь.

Шеге в два шага достиг порога. Выглянул – дети игрались возле ручья, приглядывая за овцами. Слышатся их тонкие веселые голоса. Набросил крючок на дужку. Внутри дома темно. Хансулу ждет его, приоткрыв в истоме губы, белая шея подрагивает. И он потонул в ее нежности, неге рук и ласке губ, заблудился среди горячего лепета, порхающего тучей бабочек.

Хансулу разливает чай, на ее щеках играет румянец, ее темные зрачки как бы опалены искорками недавнего жара. Шеге, облокотившись, отдыхает на пышных подушках. За этим тихим дастарханом у них, у обоих, конечно, нет и тени мысли, что их безмятежная жизнь внезапно сорвется и ринется шальным колесом с крутой кручи. Конечно, хотел бы Шеге, чтобы их бытие было сладким, как этот ее чай, обильным, как сметана, которую замешивает она.

На этом столе у нее есть сахар, курт, иримщик, пахучий табанан, чего еще большего им желать? Неторопливо со знанием дела, как учила мать, наливает она чай с лепестками гвоздики для Шеге. Под кумганом[1] в чугунной подставе попыхивает искристый рой – это древесный уголь. И распространяя на весь дом запах гвоздики, кипит-бурлит вода в кумгане. Полог юрты открыт. Сквозь отверстия кереге веет упоительный степной ветерок.

Этот удивительный чай, выгнав обильный пот, растворил телесную усталость, и Шеге от души улыбнулся. Переполненный благостью, он следил за каждым движением Хансулу. И он видел, как начали тихо багроветь, угасая, угли в чугунной подставе, затем присела махонькая пеночка на колышек во дворе и залилась песней, вертя головкой по сторонам и прозрачно булькая горлышком; потом он увидел в открытую дверь, как начал разбредаться сытый скот в разные стороны от ручья, как сынишка и дочка повели верблюда в загон, как осунулся и покойно посоловел мир под неустанным давлением полуденного зноя.

Хансулу сообщила о вчерашнем визите Ждахая, но больше старалась она занять внимание Шеге незначительными новостями и событиями аула, решив пока не говорить об аресте Афанасия. “Пусть Шеге отдохнет, потом извещу”, – подумала она. Тем не менее у нее невольно вырвалось:

– Правда это или нет, не знаю... Говорят, в Алма-Ате задержали группу очень значительных, влиятельных людей.

Шеге нахмурился. Задумавшись о чем-то, он двумя-тремя глотками допил чай, оставшийся на донышке пиалы. Затем отодвинул посудину. Болезненно ссутулился он, глядя невесело в проем юрты на бескрайние степные просторы, изнывающие под голубым маревом.

– Да-а-а-а, – лишь невнятно протянул он.

Хансулу поняла, что у Шеге испортилось настроение. Супруги погрузились в грустные думы о нынешних, беспокойных временах. Внезапно, издали донесся стук приближающихся копыт, приглушенный звон уздечек.

---

[1] *Кумган* – металлический кувшин, чайник.

Затем кто-то грузно спрыгнул с коня. Хансулу и Шеге тревожно переглянулись. На кого так злобно лает пес? Шеге подошел к двери и осторожно выглянул. Два незнакомца привязывали коней к столбу. Не похоже, что они аульчане. Судя по одежде – явно служивые люди.

– Кто там? – спросила Хансулу. Шеге без лишних слов быстро оделся, натянул сапоги, вышел наружу. Вышел как есть, мокрый от пота, с непокрытой головой. Ветер обдал сквозящей прохладой спину. Настороженно глядя на незнакомых парней, русского и казаха, привязывавших коней к столбу, приблизился к ним. Плащи обоих джигитов ощутимо оттопыривались с правой стороны – это были кобуры.

Джигиты, заметив хозяина дома, с тревогой глядящего на них, поздоровались.

– Это вы, Каспаков Шеге? – спросил крепко сбитый, коренастый казах, мотнув лобастой головой.

– Да, это я, – ответил Шеге.

Дюжий джигит открыл планшетку на боку, достал лист бумаги. У Шеге похолодело на сердце.

– Вот ордер... – сунул бумагу в ладонь Шеге. – Следуйте за нами.

Шеге вернул ордер джигиту. Веки внезапно болезненно отяжелели, перед глазами зарябила муть. Тущыбулак попрежнему был перед глазами, но его глаза ничего не различали, словно средь бела дня их забило пылью. Лобастый парень что-то пробубнил невнятным, жестким голосом. Среди обрывков слов донеслось: “Будем обыскивать”. Двигаясь как во сне, он машинально кивнул головой и повел приезжих в юрту. В это время показался Тугелхан, он тянул верблюда на поводу.

Шеге все еще заторможенный, шагнул к двери. Маленькая Умит с порога радостно улыбалась гостям, затем юркнула внутрь.

Шеге обогнал служивых, чтобы оказаться впереди. Хансулу, ни живая ни мертвая, замерла на пороге.

– Будут обыскивать юрту, – отрывисто сказал ей Шеге не своим голосом. Затем дал дорогу джигитам. Русский парень остался стоять у входа, лобастый здоровяк шагнул внутрь.

Хансулу беспомощно взглянула на мужа, ее лицо было увядшим, словно осенний лист.

– Чай поставить? – вдруг встрепенулась она.

– Не беспокойтесь, женгей,[1] мы спешим, – откликнулся детина.

– Я должен идти с ними… – с трудом выдавил из себя Шеге. Хансулу померкшими глазами уставилась на него, не понимая смысла сказанного: – “Что?”

– Приготовь мою одежду, – сказал Шеге.

В это время лобастый джигит уже проводил обыск. Сначала он осмотрел книги. Переворошил томики романов Сабита Муканова “Заблудившиеся”, Сакена Сейфуллина “Тернистый путь”, поэм Ильяса Джансугурова, рассказов Беймбета Майлина. Отложил в сторону роман “Заблудившиеся”, остальные книги засунул в сумку.

– Уберите эти вещи, – сказал служивый Хансулу.

Она стояла в полной растерянности. До Шеге же никак не доходил смысл сказанного. Раздраженный джигит стал швырять одеяла и корпешки[2], сложенные на сундуке. Хансулу сдвинула в сторону тюк, развязала ленту, стягивающую ее косы, нашла ключ и открыла замок на сундуке. Лобастый детина запустил обе руки в сундук, сопя, разбросал одежду.

Хансулу развязала тесемку тюка и вытащила зимнюю одежду.

Шеге стоял молча. Хранил молчание и лобастый, заглядывая во всякие щели и скрытые места. Хансулу не выдержала:

– Эй, браток! Вы агая-то сколько будете держать?

– Ничего не могу сказать. Это зависит от его преступления! – ответил парень, глядя в сторону.

– Какое такое преступление? – испугалась Хансулу.

– Товарищ Каспаков, где те самые сапоги, которые вам подарил Афанасий Гринин? – спросил лобастый.

Шеге недоуменно посмотрел на него.

– Отвечайте на вопрос!

Шеге глянул на свои ноги. Одетые на босую ногу, старые хромовые сапоги вроде бы на месте.

---

[1] *Женгей* – обращение к жене старшего родича.

[2] *Корпешка* – одеяло, сшитое из лоскутков.

– Вот они…

Все, кто был дома, внимательно воззрились на пыльные сапоги Шеге.

– Раз так, прямо сейчас… идете с нами! – приказал лобастый.

– Ладно, пусть будет по-вашему, – выдохнул Шеге. Он сел на порог, снял сапоги, обмотал ноги портянками и вновь натянул обувь. В это время подошел Тугелхан, замер возле двери, во все глаза глядя на происходящее. Отец и мать стояли как потерянные, непохожие на себя. Эти двое, военные, вроде бы не гости… Шеге накинул на себя старый облезлый пиджак, взял в руки свернутые ватные штаны, тяжело сутулясь, шагнул к двери. Уже у порога он обернулся и глянул на домашних. Хотелось ему, если лобастый выйдет первым, перекинуться с женой парой словечек. Однако тот, как будто прочитав его мысли, стоял, сверля его нелюдимым взглядом.

Тогда Шеге, ни слова не говоря, шагнул через порог.

– Что это за произвол?! – донесся крик Хансулу из-за спины армейца, вышедшего следом. В глазах Шеге свет померк, вглядываясь, он ничего не мог различить – долину Тущыбулака словно темной пеленой накрыло. Перед глазами Шеге – миражная рябь, мутные пятна. Словно разом ослеп он.

Нет, не ослеп. Вот сынок, застыв стрункой, вперился глазами в него. В зрачках семилетнего сына бьется немой вопрос… и еще страх. Да, как же мог забыть!.. Заноза у Тугелхана в пятке. Отрешенно глядя на грязные ноги сына, сказал Хансулу:

– Дай-ка иголку.

Погладив сына по голове, Шеге сел на колени, искоса бросил взгляд на лобастого. По закаменевшим скулам военного поплыли пятна. Шеге стало не по себе, однако он ничем не выдал своих чувств.

– Потерпите минутку! Сейчас… Только вытащу занозу у ребенка.

Лобастый парень стал терять терпение. Что-то сердито буркнул. Русский джигит со всех ног кинулся к коновязи.

Едва переставляя ноги, Хансулу вышла наружу. Лобастый нервно шагал из стороны в сторону.

Шеге принялся ковырять иголкой в пятке мальчонки, стараясь зацепить острием занозу. Жена подошла и присела рядом, лицо бледное, как мел.

– Не бойтесь. Что они мне сделаю? – сказал ей Шеге. – Расследуют, допросят, да и отпустят. Афанасий-то арестован. Видимо, вызывают в связи с этим...

– Коке, ты поедешь в город? – тоненьким голоском пролепетала маленькая Умит, заглядывая в лицо отцу. Хансулу не выдержала:

– Замолчи, не приставай к коке!

– Дай знать соседу – Серикбаю, пусть известит аул. Может быть, пришлют кого-нибудь на подмогу пасти овец. Пока меня не освободят.

– Не спускай глаз с детей.

Русский парень подошел, ведя на поводу коней. Шеге тем временем выудил занозу из пятки сына.

– Тугел, еду в район. Помогай матери, будь ей опорой.

Сын потупился, шмыгнув носом. Шеге поцеловал мальчишку в лоб.

Тугелхан, хотя и чувствовал, что в их жизни произошла недобрая перемена, однако не мог уразуметь происходящее. Родители как будто скрывают от него правду. Он не отрывал глаз от отца, ловя каждое движение. Заметил слезы в глазах матери, которые она украдкой вытирала. Нет, видно, неспроста эти двое уводят коке. Он стал догадываться, для чего чужие дяди вооружены наганами. Если отец попытается бежать, они будут стрелять.

Двое сели на коней.

– Коке, когда вернешься? – спросил у отца.

– Скоро... скоро буду.

Что-то скороговоркой пробормотала мать, вытирая глаза.

Отец надвинул на глаза помятую серую кепку, взял у матери приготовленный узелок. Он побрел впереди всадников. Шагая, все время оглядывался назад.

В эту минуту Тугелхан почувствовал, как защемило у него на сердце. Отец шел впереди всадников, сидевших на неспокойных черных конях, зло грызущих удила и порывающихся в намет. Слезы закипели в глазах Тугелхана, мир неудержимо зарябил, осыпаясь прахом. В

следующую минуту степь накренилась, понеслась на него, и он понял, что опрометью бежит за всадниками. Что-то истошно кричала вслед ему мать. Однако он ничего не слышал из-за своего рева. Вся степь сейчас исходила слезами и бежала со всех ног за этими неумолимыми дяденьками. Один из всадников развернул коня, готовясь перерезать путь мальчику. Коке же, не меняя шаг, повернул голову, кивнул сыну, мол, оставайся, не беги. Тугелхан застыл на месте.

Один стоит мальчик. Сотрясается всем телом, захлебываясь в горьком плаче. Всадники удаляются, все меньше фигура отца впереди них. Вот-вот миражи поглотят его. Тугелхан не выдержал. Вновь кинулся бежать. Слезы и пыль смешались на лице. Все же побоялся догонять тех, что восседали на конях. Решил идти за отцом до тех пор, пока хватит мочи. Так он то бегом, то шагом следовал за ними, пока не перевалил через желтый песчаный косогор. Отец стал все чаще оглядываться на него. Затем остановился и о чем-то заговорил с всадниками. Те резко взмахнули руками, и отец опять послушно запылил впереди них, низко опустив голову.

В это время прискакала на верблюдице мать. Глаза у нее были опухшие. Тугелхан, боясь, что мать заругает, попятился в сторону.

– Садись на верблюда! – приказала она, заставив животное лечь на колени.

– Чу! – верблюд рывком поднялся. Мальчик ожидал, что мать повернет животное к дому. Нет, она, нещадно полосуя верблюда камчой, погнала его вперед. Тугелхан обрадовался. Надежда светом ворвалась в его душу – сейчас они догонят всадников и отобьют у них коке. А у его надежды, доброго черного верблюда, широкая спина, и плавный уверенный бег. Выбрасывает он свои мощные ноги. У края белесого такыра они настигли всадников. Они остановились, оглядываясь. Отец, сняв кепку, вытирал ею потное лицо.

– Эй, браток! – крикнула мать, не слезая с верблюда. – Если вы будете гнать беднягу пешком до самого Наркамыса, то что от него останется? Почему один из вас не подсадит его? Неужели он такой враг, что нужно издеваться над ним?

– Женгей, это наше дело!

– Поворачивай назад! – зло процедил крепыш-казах.

– Мы хотим на верблюде подвезти его.

– Он не на гулянку едет! – заорал лобастый, потеряв терпение.

Отец все также вытирал распаленную потом голову, неотрывно глядя на свою семью. Помолчав, коротко бросил матери:

– Возвращайтесь…

Всадники тронулись. Отец, закинув узелок на плечо, зашагал впереди них.

– Береги детей! – крикнул он напоследок.

Они стоят и провожают его взглядом. Слышно хрипливое сопение верблюда. Мать не удержалась от слез. Безмолвным неотрывным взглядом следит она за удаляющейся процессией. Черный верблюд, воспользовавшись передышкой, обильно полил такыр под собой.

…Палящий такыр и серый увал на дальнем его краю скрыли от взора армейцев и их пленника. Вокруг воцарилась звенящая тишина. Слышно только, как заливаются многоголосым скрипом кузнечики средь пыльных былинок.

Безысходная тоска тенью легла на лицо матери. Грудь ее судорожно подрагивала. Затем она повернула голову черного верблюда, с криком "Чу!" погнала в сторону стойбища.

День все также зноен. Горячий воздух веет в лицо. Тугелхан, обернувшись, еще раз посмотрел назад, ища отца. Край земли, опаленный маревом, безлюден. Лишь бродячие смерчи крутят вдалеке свой жуткий танец.

4

Переправившись по броду через Жем[1], всадники и Шеге приблизились к Наркамысу. Была ночь, густая, как черный бархат. На улицах пустынно. Лишь изредка взлаивают псы. Чего только не видел Шеге в своей скитальческой жизни, однако он до сих пор такой дикой,

---

[1] *Жем* – старое название реки Эмбы.

собачьей усталости не изведывал. От самого Тущыбулака до Наркамыса прошагал он шестьдесят километров. Ноги тяжелые, словно из свинца. Сейчас рухнуть бы на землю и забыться. Или добраться бы до тюремной камеры... Увидев забор НКВД, вздохнул облегченно: "Теперь скорее бы на нары".

Когда те двое, что пригнали его, привязывали коней, к нему в темноте, маяча тенью, кто-то подошел.

– Иди за мной!

Это был долговязый военный. Шеге последовал за ним. Вошел в сени глинобитного дома. В коридоре теплилась керосиновая лампа. Огонек бросал скорее не свет, а размазанные тени. В коридоре было тихо. Долговязый повернулся к нему, протянул руку. Это же Козбагар! Да на нем лица нет!

– Заведи меня скорее в камеру! – изнемогая, попросил Шеге.

– Этот... следователь должен допросить тебя, – замялся Козбагар, забирая из рук арестованного узелок. – Острых железных предметов в карманах нет? Я должен проверить...

– Обыщи! – выдохнул Шеге, прислонившись к стене.

Козбагар ощупал снаружи штаны и пиджак Шеге. Одежда арестованного была мокрая от пота.

Те двое, гремя сапогами, вошли внутрь.

– Веди! – приказал лобастый джигит, открывая боковую дверь.

– Шагай! – буркнул Козбагар, показывая в сторону двери, где скрылся следователь. Шеге с трудом встал. Едва волоча опухшие ноги, потащился к боковой двери.

Маленькая, тесная комната. Одно окно. У подоконника небольшой стол. На столе безжизненно чадила керосиновая лампа. По обе стороны стола – по табуретке.

– Садись! – сказал следователь. О чем-то коротко переговорил с русским парнем. Тот быстро вышел.

Не в силах стоять на подгибающихся ногах, Шеге плюхнулся на табуретку. Дверь со скрипом закрылась. Лобастый снял головной убор, нагнулся, что-то искал под столом.

Половые доски старые, выщербленные. Стены комнаты побеленные.

– Фамилия? Имя? – исподлобья взглянул следователь, вытащив откуда-то бумагу, ручку и изготовившись писать.

– Каспаков Шеге.

– Год рождения?

– 1909 год.

– Национальность?

– Казах.

– Социальное происхождение?

– Из бедняков.

– Член партии?

– Был, однако, в 1930 году исключен.

– По какой причине?

– Сидел в тюрьме.

– За что был осужден?

– В моем доме было найдено золото тестя Пахраддина.

– Когда вернулся из заключения?

– В апреле 1933.

– Где трудился после этого?

– Два года работал в колхозе счетоводом. Потом устроился чабаном.

– За границей был?

– Нет.

– В других партиях пребывал?

– Нет.

– Члены семьи?

– Жена, двое детей.

– Имя, фамилия жены.

– Хансулу Пахраддинова.

– Год рождения?

– 1910.

– Дети?

– Сын Тугелхан Каспаков – семь лет. Дочь Умит Каспакова – три годика.

– Отец и мать живы?

– Отец Шарип Каспаков умер в 1933 году. Мать жива. Проживает в Жанажоле. Возраст – шестьдесят три. Фамилия – Жайбаскан Турайкызы.

Следователь, скрипя ручкой, строчил по бумаге. В это время дверь открылась, тихо ступая, вошел Суржекей. На плечах свободно наброшенная солдатская шинель. Во рту самокрутка. Лобастый вскочил с места. Шеге тоже встал.

– Ассаламалейкум… – пробормотал Шеге. Суржекей промолчал. "Сидите", – слегка шевельнул кончиками пальцев. Следователь сел. Шеге тоже. Суржекей выглядел, словно только с пожарища вышел, лицо потемневшее, суровое, на скулах желваки.

Лобастый протянул Шеге только что заполненную бумагу:

– Подтверди подписью сказанное.

Шеге поставил подпись. "Может, сегодня на этом все закончится?" – с надеждой подумал он. Однако следователь и не думал заканчивать дело, он вытащил новый лист бумаги. Похоже, главное начинается только теперь.

– С какого года знаете Гринина Афанасия Васильевича?

– Впервые увидел в 1928 году. С тех пор знаю.

– Какие у вас отношения?

– Хорошие. Когда преследовали откочевников, в отряде погони был и я. С тех пор знаю.

– У него дома был?

– Был…

Следователь записывал. Суржекей, краем уха прислушиваясь к диалогу, прохаживался по тесной комнате туда-сюда. Доски страдальчески поскрипывали.

– Правда, что когда ты вернулся из тюрьмы, Гринин подарил тебе свои сапоги?

– Да. Вот они! – Шеге, нагнувшись, показал на свою обувь. Суржекей, повернувшись, спросил:

– Как ты думаешь, какой человек Гринин?

С этого момента он вмешался в допрос. Серое скуластое лицо было неподвижно, он стоял прямо, словно шест проглотил. Шеге ждал этого вопроса. Он был готов к ответу.

– Афанасий в царское время был арестован и сослан в Казахстан. Он был не по нутру царской власти. Революцию приветствовал. Учил грамоте детей на станции Темир, сам тоже выучился говорить по-казахски.

– Стоп!.. – Суржекей резко мотнул цигаркой, зажатой в пальцах. – Биографию этого человека мы знаем хорошо. Ты лучше выскажи свою точку зрения на него!

– Мое мнение о нем самое хорошее. Он честный коммунист. Казахи назвали его "Афанас", потому что очень хорошо относятся к нему.

– Понятно, – протянул Суржекей, нахмурившись, приподнял ладонь, дескать, хватит тараторить ерунду. – Покажи ему! Пусть почитает!

Следователь, порывшись в ящике стола, выудил какую-то бумагу и положил перед Шеге. Текст был напечатан на машинке. В конце синими чернилами подпись Афанасия.

– Читай! Читай! – настаивал Суржекей.

На этот небольшой лист бумаги Шеге воззрился с бьющимся сердцем. Вчитывался, и до него с трудом доходило, что многие годы Афанасий был связан с турецкой разведкой, был платным агентом турецкого паши Ануара, действовавшим на территории Советов, многие годы занимался подрывной деятельностью против Советской власти в Казахстане, с этой целью научился языку местного населения. Занимая должность первого руководителя района, настраивал трудящиеся массы против дела социализма. Он повинился в том, что с 1918 года являлся шпионом турецких служб. Подписал эти признания собственноручно.

Узнав подпись Афанасия, Шеге был ошеломлен, словно увидел страшный сон. Казалось, земля покачнулась под ногами и мир перевернулся вверх тормашками.

– Не может быть! Он не может быть шпионом. Да чтобы Афанасий?.. – Он вскочил.

– Сядь! – рявкнул Суржекей, ощерив рот и рубанув воздух рукой. Его глаза налились кровью. Шеге сел. Начальник НКВД приблизился к столу. Взял пальцами зловещую бумагу. И перед лицом Шеге помотал ею в воздухе.

– По твоему, мы, НКВД, занимаемся подлогом? Это ты хочешь сказать? Встать!

Шеге опять подскочил. Он уставился на вытаращенные зрачки Суржекея.

– Оу, Жаке[1]! Я всего-навсего хочу сказать, что мне не верится в то, что Афанасий вражеский агент!

– Сядь! – заорал Суржекей, метнув глазами черный огонь, и трахнул кулаком по столу. – Сидеть, сволочь, лизавшая зад врагу народа! Нам известно все… Ты начал действовать против Советской власти, сразу, вернувшись

[1] *Жаке* – сокращение имени Суржекей, уважительная традиция в речевом этикете казахов.

из тюрьмы. Твои корни надо было вырвать без всякой жалости... как только ты взял кулацкую дочь и по-воровски упрятал байское золото.

Суржекей повернулся к следователю:

– Кулберген! Запереть этого в одиночку.

– Жекей Калиевич, – в приоткрытую дверь просунулось широкое лицо Козбагара. В его голосе звучала радость. Суржекей развернул принесенный лист.

– Молодец! – в улыбке Казбагар обнажил крупные зубы. – Этот визгливый хорек... все-таки поставил подпись.

Суржекей буркнув это из-под носа, зло осклабившись, косо взглянул на Шеге. Тараканьи усы встопорщились.

– Поручаю, вместе с Кулбергеном займитесь этой контрой. Он тебе то ли племянник, то ли дядя со стороны матери? Это же он когда-то оттяпал у тебя дочь Пахраддина, так что изрядно задолжал тебе. Как следует работай! И долго не тяните! Область ждет от нас отчета.

Суржекей ткнул окурок цигарки в пепельницу и принялся давить его. И из-под носа прогудел:

– Принимайтесь!

И, веся вокруг себя холодом, вальяжно зашагал к двери. Пока Суржекей не вышел из помещения, все трое неотрывно смотрели в сторону двери. Дверь притворилась. Трое хранили молчание. Шеге глянул на следователя. Лобастый нехотя шевельнулся. Протянув руку, открыл форточку.

– Товарищ Каспаков! – заговорил следователь. – Нами выявлены подлинные факты, что вы высказывались против Советской власти, также критиковали партийную линию нашего великого вождя и учителя – Сталина.

Шеге предвидел, что разговор начнется с этой темы. Он даже с нетерпением ждал, когда против него выдвинут главное обвинение. За какие-то несколько минут поведение и облик Кулбергена заметно изменились. Подражая своему спесивому начальнику, он заложил обе руки за спину, начал важно прогуливаться по комнате из угла в угол. Одним только отличался он от Суржекея – не нацепил себе на губу слюнявую цигарку. Однако походку все-таки скопировал. И еще интонацию воспроизвел, с этакой бархатной ленцой, с характерным носовым гудением.

– К примеру, вот такие факты: вы, вернувшись из тюрьмы, в последние годы не раз повторяли среди аульчан: "В тюрьме мне все время снился старый аул. Сильно скучал по прежнему аулу, по тем временам, когда мы вволю доили кобыл, верблюдиц, устраивали той за тоем" – говорили такие слова или нет?

Шеге кивнул:

– Ну, говорил…

– Та-ак. Это, во-первых. Второй факт. В апреле 1933 года, вернувшись из тюрьмы, увидев, как умирают земляки от голода, вы стали вовсю хаять Советскую власть. Если точнее, вы сказали: "Чем так, пусть пропадет пропадом колхоз, пропадет пропадом Голощекин!"

– Сказать то сказал. Однако я не хаял власть, а критиковал перегибы. Разве сам великий вождь Сталин не осудил чрезмерные перегибы на местах?

– Оставьте в покое товарища Сталина! Лучше отвечайте на вопросы! – резко сказал Кулберген.

Козбагар старательно вел протокол допроса. Кулберген, остановившись за спиной Шеге, продолжал.

– Третий факт! В тот год вам подарил свои сапоги тогдашний первый секретарь районного комитета партии, ныне разоблаченный органами НКВД наемный турецкий агент Гринин, презренный наймит, прозванный вами – Афанас. Эти сапоги сейчас на ваших ногах. Правда, это?

– Да.

– Четвертый факт… – плотно сбитый, кряжистый джигит, все также держа руки за спиной, сделал еще несколько шагов, пытая подошвами стонущий пол. – Сегодня мы, обыскивая ваш дом, нашли книгу буржуазного националиста – писателя Сакена Сейфуллина. Так ли это?

– Так… – Шеге шевельнулся, пытаясь что-то сказать. Кулберген резко поднял правую руку, дескать, "Стоп!". Шеге тотчас сник. Козбагар продолжал строчить. Его крупный и кривой почерк так и лился на лист, напоминая верблюжий размашистый бег.

– Вам еще слова не давали. Поставьте подпись, подтверждающую эти факты! – сказал Кулберген неторопливо, внимательно пробегая глазами то, что записал Козбагар. Шеге поставил подпись.

– Правильно. Теперь, товарищ Каспаков, дадим слово вам. Вы объясните, как это вы, тщательно скрывая ваше преступление, ступили на путь предательства Родины посредством шпионажа? Или как это вы содействовали шпионажу Гринина, скажите об этом! Когда, при каких обстоятельствах, в каком месте и каким образом вы передавали турецкой стороне собранные сведения? Поясните это! – Кулберген остановился у окна, нахмурив бугристую переносицу.

Шеге ошеломленно уставился на него, в испуге пытаясь понять, шутит следователь, или нет. Следователь же стоял с непроницаемым, сумрачным лицом. Его змеиные мерцающие зрачки все так же неподвижно взирают во мрак из-под густых, мохнатых бровей. Нет, он вовсе не похож на человека, настроенного шутить. В комнате сгустилась тишина. До этого рокового дня Шеге не раз слышал о людях, арестованных по обвинению в шпионаже. Иногда он даже внутренне радовался вестям о своевременном разоблачении таких выродков. Затем из Алма-Аты пришли вести о задержании очень известных людей. Когда же он услышал об аресте Сакена Сейфуллина, якобы японского шпиона, в его душе шевельнулось сомнение. Затем оказалось, что Афанас тоже шпион. Что на это скажешь? Нет, он в это не поверит!

– Почему молчите, товарищ Каспаков?! Мы ждем вашего ответа, – сказал следователь. – Кстати, ваше место там в углу. Пойдите туда и стойте там!

Шеге повиновался.

– Я не знаю, что сказать, настолько я поражен услышанным. Какие турки? Какая разведка? Какой шпионаж? Я не верю, что Афанас – вражеский агент! То, что вы говорите о нем – это чушь и галиматья! – с трудом выговорил Шеге.

– Вы... Опять на НКВД наговариваете! Мы разве не показали вам протокол, подписанный Грининым?

– Показали... однако, это... невозможно! – встрепенулся Шеге, порываясь вперед.

– Эй, что ты хочешь сказать? Что Турция, германский фашизм, японский империализм ходят у нас в друзьях?

– Нет, я не думаю, что они друзья. Наоборот, известно всем, что они – давние враги революции.

– Верно… Раз это так, неужели ты думаешь, что у этих внешних врагов внутри нашей страны нет пособников – шпионов?

– Почему, вполне возможно.

– Так вот, такие люди, как Гринин, став их агентами, наймитами, лелея мечту свалить Советскую власть, внутри нашей страны занимаются подрывной работой. Они взрывают заводы, устраивают диверсии на железных дорогах. Их пособники, буржуазные националисты, такие, как Кулымбетов, Ескараев, Рыскулов, Сейфуллин, Асфандияров, стремятся отделить Казахстан от советской страны, чтобы превратить в колонию японского империализма. Они хотят, чтобы казахский народ, который добился долгожданной свободы с помощью Советской власти, великого Октября, с помощью Сталина, стал послушным рабом зарубежного империализма. Эти шпионы вынуждены были признаться в своих злобных и предательских намерениях. Благодаря деятельности НКВД, неусыпным заботам Сталина и наркома Ежова эти опаснейшие для Родины оборотни вовремя разоблачены. Сейчас в каждом ауле, в каждом районе обнаруживаются их прихвостни. Ты, Каспаков, не дури нам голову, а быстрей выкладывай, кто ты есть такой на самом деле! Для тебя же лучше – быстрее признаться. Вот наш добрый совет тебе. Разве не так, Козбагар Уапиевич?

– Так, так…Кулберген Каденович, – спохватился тот, застигнутый врасплох.

– Мы знаем, что Козбагар Уапиевич друг тебе с детства. Учитывая это, мы хотим помочь тебе сделать правильный шаг. Наш начальник, Жекей Калиевич, не очень жалует тех, кто стремится запутать органы НКВД ложными сведениями. Не одному такому умнику он обломал рога. И тебе упрямство никакой пользы не принесет. Все мы выиграем от того, если ты сознаешься, что давно был прихвостнем Гринина.

Кулберген, как всегда, начав с угрожающей нотки, перешел на мягкую интонацию, намекая, что это акт доброй воли с его стороны.

Шеге понял, что у следователя на уме. Ему нужно представить Шеге вражеским шпионом. В свои двадцать семь лет Шеге успел многое повидать. Но с такой

беспринципной, извращенной логикой сталкивался впервые. Сердце, заколотилось, не умещаясь в груди.

– Вы хотите из меня сделать вражеского шпиона? – не своим голосом спросил Шеге.

– Если все знакомые Апанаса шпионы, тогда вам надо посадить в тюрьму весь район. Апанас для меня не сват, не свояк… всего-навсего – старый знакомый. Был у него дома… наверное, один или два раза. И что, это моя вина? – У Шеге перехватило дыхание. Он часто задышал, хватая ртом воздух. В полубредовом состоянии, он понес какую-то околесицу. И эти два шустряка, пытающиеся без огня поджарить его, эти настропаленные шакалы на минуту притихли. Как будто потеряли уверенность. Как будто почувствовали правоту Шеге. Незаметно для себя он оказался в самом центре помещения. Под влиянием речи Шеге Кулберген исподволь наливался недоброй тяжестью. В какую-то неуловимую минуту службисты оказались по обе стороны Шеге. И он с запозданием вспомнил, что находится в кабинете НКВД. У Шеге, который в тюрьме перевидал немало драк, зачесались кулаки, но здесь он и шелохнуться не посмел. То ли не успел изготовиться для отпора. То ли не хватило духу показать кое-что из армейской закалки этим наглецам, что заломили ему руки за спину. Или побоялся усугубить приписываемую ему вину. Не успел он собраться с мыслями, как удар в висок оглушил его. В глазах потемнело, затем брызнули искры. Шеге пошатнулся, нашел взглядом лобастого.

– У, пес!

– Убить тебя мало! Шакал, продавший Родину! – следователь рванулся вперед. Козбагар успел вовремя вклиниться между ними.

– Эй, ты что?! Песка наглотался? Объясни этой бешеной собаке, кто я! – заорал Шеге Козбагару. Тот ни слова в ответ.

– Это я что ли, предатель? Если так, то застрелите меня без суда и следствия! Почему вы шьете мне это дело? Эй, Козбагар, почему молчишь?

– Коке! Шеге! Успокойтесь! – талдычил растерянный Козбагар.

В это время следователь, похожий на задиристого пацана-забияку приказал Козбагару увести Шеге в камеру:

– Не давай ему воды, чтобы сушняком донимало его. И не давай спать! Сидеть тоже не давай.

– Есть, товарищ старшина! – откликнулся Козбагар, подталкивая Шеге к двери.

Громыхая по доскам пола, они вышли в коридор. Шеге всей грудью вздохнул прохладный воздух. В ушах стоял звон, голову ломило от боли, как будто только что в той душной комнатенке его едва не перепилили пополам. Потное лицо было охвачено лихорадочным жаром. По мускулам тела вверх и вниз пробегала молниеносная, нервная дрожь. В этом состоянии он не чувствовал, как болят ноги, опухшие после недавнего затяжного бега. Зубы его выбивали частую дробь, в заплывших глазах тлела ненависть. Как бы желая выказать ему сочувствие, Козбагар, невзирая на неповоротливость тела, поспешал сноровисто.

– Этот старшина-то твой, бешенный, оказывается, – выдавил Шеге.

– Ой!.. – вскрикнул Козбагар и быстро оглянулся назад.

Во дворе было темно, хоть глаза выколи. Село беспробудно спало. Было уже близко к полночи.

– Сюда! Сюда! – твердил Козбагар, проворно топая где-то впереди. Шеге не мог надышаться чистого воздуха. Ветерок высушил горячий лоб. “Не до жиру, быть бы живу”, – подумал он.

– Что? – Козбагар заметно растерялся, не решаясь выполнить просьбу Шеге. – Потерпи немного.

Длинный одноэтажный дом. Козбагар, звякнув ключами, подошел к узкой двери с круглым отверстием. Дверь отворилась. Шеге вошел в темный, похожий на яму, проем. В камере было ощутимо тепло. По звуку чувствовалось, что пол каменный.

– Будешь сидеть здесь, – сказал Козбагар. – Матраца, постели не жди.

– К черту постель! Воды, хоть глоток!

– Потерпи! Пусть тот уберется, – прошептал Козбагар.

Когда глаза немного пообвыклись в темноте, осмотрел маленький закуток. “Ну, и дыра!” От двери до крохотного оконца пару шагов. Внутри нет ни одной приступки, некуда положить узелок, принесенный с собой. Шеге всем телом рухнул на пол. Неужели дождался минуты, когда можно дать отдых ногам?

В эту минуту Козбагар запричитал:

– Ойбай, Шеге, вставай! Ойбай, старшина увидит – мы пропали! Я пропал!

Шеге и не шелохнулся, подумав: “Это хорошо, что Козбагар стоит на страже; что ни говори, это все тот же простак – Козбагар; бывало, не раз колачивал его в детстве, поэтому с Шеге ведет себя, как шелковый”.

– Если боишься этого пса, стой на стреме за дверью. Как только появится, дашь знать, – сказал ему Шеге.

– Пропал я! Пропал! – прошептал Козбагар. Он вышел, дверь оставил приоткрытой.

Каменный пол показался Шеге чем-то вроде мягкой пуховой постели. События прошедшего дня побежали перед глазами. Сколько ни силился не думать о случившемся – не мог. Давило сердце. “Это дело не простое”, – думал он. Чувствует он, что истоки этого поветрия уходят далеко на Запад, что чреваты они гибельной бурей. Корни этих событий находятся не в этих степных краях. Далеко уходят они. Едва дохнуло темной стужей в этих местах, как один за другим полетели горемычные головушки, закувыркались безвинные души, словно осенние листья. И попробуй различить, где белое, а где черное в этой смуте. И мнится ему – вращается над степью зимний вихрь, и дрожат, и несутся по воле лиха крохотные живые твари, унесенные ветром.

В дверь постучали. Шеге вскочил.

– Идет! – прошептал Козбагар, шмыгнув в камеру. В голосе неподдельный испуг. Шеге шагнул к стене с оконцем и замер, глядя на дверь. В ночной тишине ясно слышался скрип сапогов. Открылось отверстие в двери, кто-то внимательно заглянул в дыру. Козбагар застыл по стойке “смирно”.

– Козбагар Уапиевич! С преступника глаз не спускать!

– Товарищ старшина, я стоял, как было приказано, следил, чтобы все было так, как вы сказали.

– Продолжай! Я вернусь в семь часов. Глаз с него не спускай!

– Есть, товарищ старшина!

Лобастый следователь, нагнувшись, еще раз глянул во тьму камеры, поправил папку, зажатую подмышкой, повернулся и ушел. Скрип подошв удалялся и таял. В это

время где-то сбоку за перегородкой что-то глухо грохнуло, истошный крик прорезал тишину. Козбагар запер дверь и, тяжело топая, побежал через двор. Шеге снял сапоги, бросил их к ногам. Сжимая виски, превозмогая боль, сполз на пол. Жажда томила и мучила немилосердно. Воспаленный язык не помещался во рту. Некогда в детстве Шеге сильно простыл, поэтому ночами ни с того ни с сего подошвы ног начинало обдавать внутренним жаром. Вот и сейчас занялись они, не в силах унять лихорадку, Шеге прижал подошвы сначала к холодной глине, потом к грубо выпирающим кирпичам стены. Немного помогло, прохлада слегка остудила ноги. Подложив под голову узелок, Шеге задремал, тяжелея телом, отдаваясь сну. Звякнул запор двери. Горбатой тенью скользнул в камеру Козбагар, что-то сжимая в руках.

– Шеге!.. На!

Вот это да! Не что нибудь – целая бутыль воды! Шеге запрокинул посудину и из горлышка мигом выглотал холодную воду. Все его воспаленное, жаждущее нутро дрожью отозвалось долгожданной влаге. Шеге почувствовал прилив горячей благодарности старому другу. “Ух!” – громко выдохнул он. Козбагар взял бутыль, ушел куда-то, вскоре вернулся.

– Шеге! – зашептал Козбагар, приблизившись. – Я тебе кое-что скажу. Однако, если тот узнает, голову мне оторвет. Все же мой долг – предупредить тебя. Завтра следователь принесет заранее заготовленную бумагу, якобы от твоего имени. Это заявление ни за что не подписывай. Подпишешь – считай, пропала твоя головушка, пойдешь под расстрел. Жди вторую бумагу. Он принесет смягченный вариант. Если будет невмоготу, этот лист можешь подписать. Вот то, что я хотел тебе сказать. Положение очень тяжелое, Шеге. Те, кто наверху, прижали Суржекея, мол проявляешь мягкотелость в борьбе с врагами народа. Суржекей в свою очередь давит на нас. Понял?

Шеге, слушая сумбурную речь Козбагара, лежал безмолвной глыбой. Помолчав, буркнул:

– Вообще ничего не подпишу... И тяжелый, и смягченные варианты.

– Это не поможет...

– Я не преступник?

– Приведенные в протоколе факты, которые ты сам признал? Они уже тянут на 58-ю статью.

– Что это за статья?

– Близко к той же формулировке: "Подрыв Советской власти". Ох, пропала моя голова!

– Чего испугался? – спросил Шеге.

– Ойбай, Суржекей чует все за версту, – зашептал Козбагар, оглядываясь по сторонам. – От него ничего не скроешь. Глядя в твои глаза, он читает то, что у тебя в душе. Если узнает – я пропал. Живьем схрумкает. Пока я здесь, ты лучше отдохни. Завтра сам увидишь, что судьба тебе приготовила.

– Ух! – сокрушенно вздохнул Шеге. Поддерживать разговор дальше не было сил.

5

...Из тьмы вырвали его чьи-то голоса. Открыл глаза, какое-то время лежал, бессмысленно вращая глазами, не в силах понять, почему он лежит в тесной, как щель, комнатенке.

– Шеге! В смотровом отверстии блеснул выкаченный глаз Козбагара. И только в эту минуту вспомнил Шеге где он находится.

– Шеге! Чай принес. Подкрепись скорее!.. Скоро следователь заявится.

Шеге вскочил, взял из рук Козбагара исходящую паром кружку горячего чая, ломоть черного хлеба.

– Ешь быстрее! Не наешься, еще принесу, – шептал, озираясь, Козбагар.

Шеге кивнул головой. Он поставил жестяную кружку на пол. Вспомнилось, как на днях точно из такой же кружки пивал чай у холма, усевшись на белый камень. Мелкими глотками прихлебывал чай, ел мягкий хлеб. Конечно, не напился чаю, не насытился куском хлеба. Лоб сильно вспотел. Шеге то и дело поглядывал на дверь. Бухая сапожищами, прибежал Козбагар. В руках у него тот же закопченный чайник.

– Давай кружку! – сказал торопливо. Налил полную кружку чая, сунул руку в карман, вытащил ломоть хлеба.

– На!

Шеге накинулся на еду. Забрав чайник, Козбагар потопал куда-то через двор.

...С восходом солнца заявился Кулберген. Шеге, подкрепившись скудным завтраком, чувствовал себя сносно. Он мерил тесную камеру неспешными шагами. Кулберген холодно взглянул на заключенного, не поздоровался. Шеге тоже молчал. Стрельнув в следователя острым взглядом, он вновь принялся шагать туда-сюда.

– Ну, Каспаков? Одумался?

Шеге не ответил. Его мысли тянулись все той же нитью. Он понял, – его упорство сильно досаждает следователю. С другой стороны, почему он должен пособлять сыщику в его мерзком деле? Ясно, что этот здоровяк не собирается жалеть его. Как бы то ни было, лучше умереть человеком, чем ползать дворняжкой на брюхе под ногами этого кабана.

– Чего молчишь? – с угрозой спросил Кулберген.

"Достало-таки тебя. А ты что думал, мол, в два счета обломаю рога этому жалкому, зачуханному пастуху? Однако, этот никудышный чабан – революционер, воевавший с бандитами, ни за что ни про что отбухавший два года в тюрьме. Он борец, не сломавшийся и не скурвившийся. Знай это! Пусть его выпнули из партии, но душой он чист, и стоит выше, чем такая сволочь, как ты!"

– Не упрямься, как осел! Ты у меня еще заговоришь, запоешь, как соловей! Таких подонков, как ты, за копейку продавших Родину, шакалов проклятых, мы делаем шелковыми и заставляем соловьем заливаться!..

Шеге не выдержал:

– Придержи ты язык! Я шакал, или ты, – время покажет! – сказал – словно иглу вонзил в оледеневшего от ярости следователя.

Сейчас в гневе Шеге был страшен. Этот худой, черноусый джигит напоминал взметнувшийся клинок. Лобастый следователь заметно стушевался. По его смущенному лицу плыли темные пятна. Шеге как будто нащупал почву под ногами. Эх, жаль, что он заключенный. Иначе сейчас бы одними голыми руками придушил этого вонючего гаденыша.

Примчался переполошенный Козбагар, мокрый от пота.
– Веди этого! – приказал Кулберген, посеревший от гнева.

– Есть!

Следователь взял папку подмышку, шагнул в сторону двери, окрашенной в голубую краску. Козбагар бросил на Шеге испуганный взгляд, мол, что ты еще натворил?

Во дворе НКВД, окруженном высоким глинобитным дувалом, Шеге поднял голову и взглянул на небо. В просторах озаренной выси застыло распластанным гусем одинокое обагренное облако. Пока шли к голубой двери, следователь не раз обшарил двор цепким взглядом. Длинный одноэтажный дом, темные прямоугольники железных дверей. Из-за этих дверей доносятся приглушенные голоса арестованных. Возле ворот НКВД на табуретке сидит солдат, скрестив руки на груди. Шеге признал в нем вчерашнего русского джигита.

Шеге вошел в открытые двери. Вчерашний коридор. В нос ударила гарь масляной лампы. Козбагар бочком пробрался вперед.

– Подожди здесь! – он шмыгнул в кабинет. Через минуту выскочил оттуда.

– Входи! – посторонился, пропуская Шеге. За столом нахохленным филином громоздился лобастый детина. Сидел туча-тучей. Ну, чем не хищник, поджидающий очередную жертву? Выстукивал карандашом по столу жесткую дробь, не отрывая тяжелого взгляда от сапог Шеге. Тот нарочито медлил. Вместо того, чтобы поспешать угодливо, шагал размеренно, солидно. Наподобие Суржекею, протяжно скрипя сапогами, прошел во вчерашний угол, остановился там. Козбагар, торчавший у двери, что-то спросил у следователя.

– Заведи старуху, – коротко сказал Кулберген. Дверь затворилась. И вот они вдвоем в кабинете, белом до рези в глазах, стены ниже под чертой окрашены голубой краской. Постукивая карандашом по столу, в хмурой задумчивости сидит следователь, взгляд его прикован к окну. Маленькие змеиные глаза заметно налиты кровью. Видать, не выспался. За зарешеченным окном видны аульчане, дети и женщины, погоняющие коров, слышны их голоса.

– Когда мы обыскивали дом турецкого наймита, вражеского агента Гринина, в шкафу нашли запрещенные

книги – “Киссасул-анбия”, “Шежире-и, турк”. Ты видел эти книги?

Шеге помедлил, делая вид, что не понял вопроса:

– И что? Что я должен сказать, где я видел эти книги?

– Отвечай!

– В детстве, когда учился в медресе, видел эти книги на столе у Лабак-ахуна. Лабак-ахун зачитывал нам разные отрывки из этих книг, в некоторые мы и сами заглядывали. У ахуна книг было много. Среди них были и эти самые, “Киссасул-анбия”, “Шежире-и, турк”.

– Ты хранил у себя дома эти книги?

– Нет.

– У твоего тестя, кулака Пахраддина, были эти книги?

– Пахраддин и Лабак-ахун были друзьями. Они обычно обменивались книгами. Сейчас уже не помню, видел ли эти самые книги в руках Пахраддина.

– Как оказались они в руках Гринина?

– Этого я не знаю.

– Хочу ясно напомнить тебе, что сопротивление следствию, попытки увести дело в сторону только усугубят твою вину, – исподлобья взглянул Кулберген, старательно записывая на бумагу ответы Шеге.

– Распишись здесь под своими пояснениями.

Шеге расписался.

Следователь протянул Шеге какую-то бумагу:

– Читай!

Шеге взял листок, перед глазами зарябило черно-белое крошево. “Объяснительная” – бросился в глаза заголовок. В это время со скрипом отворилась дверь. В проем заглянула худосочная старушка в белом жаулыке[1].

– Войдите! Войдите! – сказал Кулберген настойчиво. Старуха нерешительно переступила порог. В руках у нее дымился горячий чайник. Она просеменила к столу, поставила чайник на пол, и, горбясь, скользнула обратно.

Шеге начал читать “Объяснительную”.

“Враждебные умыслы Афанасия Гринина, направленные против Советской власти, я заметил давно. Летом 1929 года мы возвращались через Каракумы, ведя аул, отбитый у банды. В условиях трудного похода

---

[1]*Жаулык* – головной убор замужней женщины, платок.

Афанасий Гринин, остановив кочевье, дал возможность Лабак-ахуну совершить намаз. Этим самым показал, что он никакой не коммунист, что его истинная сущность тяготеет к прошлому. После этого он освободил из тюрьмы заклятого врага Советской власти кулака Пахраддина, помог ему бежать в Каракалпакию. Действуя таким образом, он спас от законного возмездия матерого буржуазного националиста и алашордынца, Пахраддина. Для того чтобы без помех проводить среди населения свою шпионскую работу, он научился казахскому языку. Пребывавший в свое время в рядах комсомола, потом партии большевиков, однако, исключенный из партии за связи с бандитами, работник фермы Жанажол Шеге Каспаков – послушный помощник А.Гринина. Дружба между ними, единомышленниками, поставленная на службу шпионским целям, длилась много лет. На мой взгляд, Шеге всегда стремился встречаться со своим хозяином, платным агентом турецкого паши, в скрытном, уединенном месте. Мне самому не приходилось быть свидетелем встреч Шеге Каспакова и Афанасия Гринина в дневное время. Судя по всему, встречались они для обсуждения своих зловещих шпионских планов в глухое ночное время. Если задаться вопросом, каким образом политически опасные книги из дома буржуазного националиста, алашордынца Пахраддина попали в руки Гринина, то можно предположить, что здесь ясно выявляется роль Шеге, как связного. Гринин получил защищающую феодальный мир литературу от своего платного агента Шеге. Далее эти книги распространялись среди населения. В дополнение к этому могу сообщить, что Шеге после освобождения из тюрьмы в 1933 году неоднократно допускал открытые враждебные высказывания против Советской власти. В голодные годы, увидев в какое обстоятельство попал аул, он выступил с резкой критикой Калашникова, Голощекина, председателя аульного совета Курена, дескать, пропади пропадом ваше дело! Эти провокационные выпады я слышал собственными ушами. Ведь за Калашниковым, Голощекиным стоит наш любимый вождь, руководитель партии и Советской власти товарищ Сталин. В результате нетрудно прийти к выводу, что Шеге Каспаков – враг

Сталинской партийной политики, убежденный троцкист. Подтверждаю сказанное своей подписью - *Куренулы Ждахай. 13 августа 1937 года*".

Шеге с трудом дочитал написанное, ощутив, как что-то оборвалось у него внутри. Он не верил собственным глазам – донос был написан Ждахаем, старым другом, с которым у него отношения были – не разлей вода. В ушах зазвенело, перед глазами поплыл красноватый туман.

– Ну, что на это скажешь? – спросил Кулберген, прохаживаясь меж столом и дверью. Руки у него были заложены за спину. Подражая своему патрону, Суржекею, значительно насупил брови, переставлял ноги неспешно, с вальяжной осанкой. Лицо суровое, как бы задымленное.

– Чтоб провалиться мне на месте! Он, что, спятил? Мелет, что в голову придет! – Шеге хватал воздух воспаленным ртом. Злость распирала грудь.

– Нет, он в полном порядке. Товарищ Ждахай сейчас в ауле, занят производственным трудом.

– Это слова далеко не здорового человека! Он не в своем уме!

– Ты, товарищ, не кипятись! Шила в мешке не утаишь. Сколько веревочке ни виться, все равно конец придет. Ты почему уклоняешься от прямой встречи с правдой? Чем ближе к истине, тем больше изворачиваешься? Все преступники так себя ведут. Все поначалу выставляют себя патриотами, преданными Советской власти, стремятся одурачить нас. А как схватят вас за руки, начинаете юлить, верещать. Мало того, кое-кто кидается на нас. Или начинают вовсю хаять НКВД. А как докажут вину, принимаетесь заливаться соловьем. Нам известны ваши повадки! Ты лучше без лишних слов подпиши эту бумагу. Сними маску, признайся, кто ты есть на самом деле, – выговорив это, Кулберген пододвинул Шеге тот самый исписанный лист.

Шеге молчал. Если сейчас он заговорит, то изо рта вырвется крик... Накатил приступ безумия. Он стоит бледный, по скулам ходят желваки, зубы скрипят.

Трясущимися руками взял пододвинутую бумагу.

"Я, Каспаков Шеге Шарипулы, работник фермы Жанажол отделения аульного совета Жанаоткил, знаю Гринина Афанасия Васильевича, платного агента Турции,

ярого врага Советской власти с 1928 года. С целью ослабления Советской власти в районе проживания осуществил немало вредительских и диверсионных действий. После разоблачения одной такой акции в 1931 году был осужден на два года. Однако враждебные действия не прекратил, а возобновил после освобождения из мест заключения в 1933 году. Пользуясь любой возможностью в местах сбора людей, как бы вспоминая судьбы умерших голодной смертью отца Шарипа, тестя Пахраддина, буржуазного националиста, чьи кости затерялись в пустыне, тещи Сыргы, разделившей ту же участь, я не упускал случая заразить слушателей антисоветской пропагандой. Я порочил сталинскую партийную политику коллективизации, критиковал Голощекина, открывшего казахскому народу путь к счастью и процветанию. Таким способом я сеял семена сомнения в сердцах людей. Все эти антисоветские действия я осуществлял по прямой указке турецкого шпиона Гринина. Обычно мы с ним встречались по ночам в безлюдных местах. Наши беседы проводили в густых тугайных чащах вдали от человеческих глаз. На каждой такой встрече мы обсуждали троцкистские планы уничтожения Советской власти. Гринин на пути осуществления этих враждебных планов сомкнулся с линией Рыскулова, Кулымбетова, Ескараева, Жургенева, Сейфуллина, Асфандиярова и других буржуазных националистов, которые стремились реализовать порочные мечты алашордынцев заставить казахский народ служить заграничным империалистам. От них он получал тайные указания. Я признаю в полной мере свое преступление, которое заключалось в антисоветской деятельности. Я готов понести заслуженное наказание за то, что бездумно выполнял волю вражеского агента Гринина. *Шеге Каспаков. 19 августа 1937 года*".

– Распишись в конце графы! От тебя требуется всего лишь это! – сказал Кулберген. Он продолжал расхаживать взад-вперед, заложив руки за спину.

Шеге сосредоточенно смотрел на лобастого, и его все сильнее охватывало отвращение. Он требует, чтобы я поставил подпись под этим бредом, записанным рукой идиота? Двуногий пес! Откуда такое рвение? Какая же

выгода от этого ему, что ни с того ни с сего хочет выставить Шеге шпионом? Понять бы это! Как будто Шеге повинен в смерти его отца. А ведь, даже в страшном 32 году, когда голод косил людей, а безмозглый Ждахай мотался по заготовкам, отбирая у народа последний кусок, Шеге ему даже слова лишнего не сказал. Единственное, на что оказался способным тогда Шеге, – показал Ждахаю спину и круп погоняемого коня. Чем он досадил Суржекею, который отдал его на растерзание этому псу?

– Почему молчишь? Я жду!

– Товарищ следователь! – сказал Шеге, сглотнув ком. – Товарищ следователь!

Шеге как бы задохнулся, спазмы перехватили горло, он дергал головой, хватая ртом воздух. Сердце лезло к гортани, и он в жару беспамятства рванулся вперед.

–...Тот, кто написал эти слова... Тот, кто выдумал эту подлость... Тот пусть сам подпишет! Вот что я скажу!

Следователь изменился в лице, в одно мгновение оказался рядом. Мотая головой, багровый от ярости, прошипел:

– Язык твой поганый!.. Сволочь! Признайся, предатель! – откуда-то вылетел его свинцовый кулак и ударил в челюсть Шеге.

– Подпиши! – второй кулак попал в левый глаз. Мир разлетелся снопом искр, потом со звоном рухнула на него тьма. Шеге пошатнулся, закрыл глаза руками, едва удержавшись на ногах.

Следователь подбежал к столу, схватил чайник. Налил в кружку чай, подул на кипяток. Шеге ничего не понимал. Лицо его пылало огнем, в висках колотилась кровь. Мир распался на осколки, смысл жизни исчез, вместо него зияла жестокая сила.

– На, выпей! – позвал его тот же голос. Увидел лобастого, который стоял рядом, широко расставив ноги. Рукава закачены, пятерня у него толстая, как у мясника. Шеге глянул на кружку, перевел взгляд на злое, плывущее пятами лицо следователя. Все еще в ступоре, он не мог понять, для чего ему протягивают кружку. В глазах энкэвэдэшника плясали бесноватые огоньки. И Шеге впервые не выдержал прямого, сверлящего давления

льдистых зрачков. Он отвел взгляд в сторону, не в силах смотреть в глаза этому волкодаву.

– Пей! – приказал следователь. Шеге, ничего не понимая, невольно подался вперед. Дрожащая рука сама потянулась к кружке. В это мгновение лобастый качнулся назад, резко отвел руку и затем изо всей силы плеснул в лицо Шеге. Тот едва успел закрыть глаза. Лицо обожгло пламенем. Стоял, нагнувшись, закрыв лицо руками, вода капала на пол. Кожа горела, плавилась под ладонью. Молчал. Палач тоже как будто язык проглотил. Смотрит, наверное, ест глазами, наслаждается его несчастным видом. Шеге немного пришел в себя, начал отряхивать рубашку. Гнев куда-то улетучился, одна только горечь разъедала нутро, яд и тьма. Постукивали капли по полу. Постукивали.

6

Когда Шеге исчез за косогором, Хансулу и сын остались одни в пустынных просторах.

Вразвалку брел черный верблюд, хрипливо раззевая пенную пасть. Налитые горькой тьмой глаза Хансулу бесцельно обшаривали дали, останавливаясь то на одинокой юрте, то на отаре, лежащей на лужайке у берега ручья, то на отбившемся сером козле-вожаке. Некоторые овцы начали подниматься по склону холма. Едкое пламя пылало в душе Хансулу, ей нестерпимо хотелось остаться одной, и она, не выдержав, шепнула сыну: “Сынок, езжай домой, я пойду посмотрю, где овцы”. Не доехав до дома, она слезла с верблюда. И вот она одна, лицом к лицу со своей новой бедой – одиночеством. И тянула тяжело, сосала сердце душевная боль, невмоготу было ей. Травянистые балки и увалы тянулись беспредельно все дальше и дальше на север от дома. Запасное пастбище и за день не объедешь. Эти угодья Шеге берег от скота особенно тщательно. Заросшие белым ковылем и дикой рожью, тучные долы колыхались зрелыми верхушками, напоминая ветровое море. Часть отары потянулась в сторону нетронутого пастбища. Хансулу, сама не своя от горя, побрела одинешенька туда же. Одна шла по степи Хансулу, роняя крупные слезы на бегущие серебристые волны ковыля и шелковистую рябь дикой ржи. Издавна

появилась у нее такая привычка – уходить в степь, когда горе начинало с лютой силой терзать и кручинить сердце. Сейчас точно так же. Слезы кипели у нее на душе, и тоска из сердца изливалась печальным кюем прямо в степь. И гудел и зудил в ушах скорбной дудочкой ветерок, и песней своей грустной осыпал в прах вечное небо. И эта мелодия, выматывающая душу, казалась исповедью самой жизни. Неверной, бренной жизни, не имеющей смысла.

И качался в колыбели пространства младенец-солнце, и скользили, словно ртутные капли, отблески по длинным увядающим стеблям поздних трав. И безутешно колыхались бледно-серые волны, догоняли друг друга, катились валами живого серебра. Бескрайним морем плескалась, дышала, овевала лицо и грудь матушка-степь.

Глядя на эту картину, Хансулу надолго погрузилась в задумчивость. Печаль затопила ее душу. Она стояла, как немой призрак, готовый упасть на землю и слиться с тенью. Не в состоянии найти хотя бы малейший просвет во мраке, в котором находилась ее душа, она с трепетной мольбой обратилась к всевышнему: "Всесильный творец, аллах, в чем же моя вина, что средь белого дня я стала жертвой?"

Безвинная Хансулу. И мухи зря пальцем не тронет. Так в чем же она провинилась вместе с Шеге? За какие грехи им проливать горькие слезы? Всесильный и всевидящий творец, разве мало мук изведали они до этих самых страшных дней?

Не ведала она, сколько прошло времени, только вдруг с гулом ветра послышался ей призрачный зов: "Хансулу!" Подняла она голову, огляделась. Далеко на пастбище пасущиеся овцы. Вытерла глаза краем платка. Вновь донеслось уже более отчетливо: "Невестка!" Голос свекрови? Откуда она здесь? Дрожь охватила Хансулу, словно ее пронзило ледяным ветром. Преодолевая оцепенение, с трудом обернулась. Над верхушками трав чернела фигура женщины, едущей на сером осле. Потом показался рысивший за ней верховой. Похоже, это сосед – чабан Серикбай.

– Ойбай[1], Шеге! Где мой Шеге? – запричитала свекровь, как только различила заплаканное, осунувшееся лицо Хансулу. Хансулу подавленно молчала, не зная, что

---

[1] *Ойбай* – междометие, возглас испуга, горя, удивления.

сказать. Она прикрыла краем платка лицо, и ее плечи судорожно задрожали.

– Ойбой! Значит, это правда... что люди говорят?! Ойбой, чем мы прогневили Аллаха! В чем наша вина?! – Жайбаскан, раскачиваясь на спине осла, запричитала еще сильнее.

Серикбай, понуро внимавший ей, немного помедлив, принялся утешать ее:

– Эй, что с вами? Что это вы средь белого дня принялись оплакивать живого человека? Или хотите накликать беду? Хватит лить слезы! Отпустят его. Подержат, расспросят, разберутся что к чему, и отпустят. Быть может, уже завтра он вернется. Прекратите! Детей напугаете. Вон, дети сюда идут.

7

Прошло немало времени с тех пор, как Шеге оказался в застенках НКВД. Дни тянулись, словно волокна темного ила. Бесконечные дни и ночи морозили душу. Весь мир теперь свелся к постылой, мрачной камере. Он уже не помнил, когда в последний раз видел солнце. Тусклого цвета стены камеры мозолили глаза. Рябая морда Кулбергена, словно припорошенный пеплом лед. Его собачий лай мозжит и терзает слух. От его кулаков синяки не сходят с лица Шеге. Одно только и слышит от него: "Подонок! Предатель! Ты – враг с черной душонкой! Ты своим сопротивлением служишь не социализму, а империализму! Ты – блядь, которая не хочет продавать своих закордонных хозяев! Все равно заставим тебя говорить! Соловьем еще запоешь! Крепче тебя шпионы соловьями распевались здесь! Принуждали врагов к откровению, и будем принуждать!" – удары кулаком по столу. "Поставь подпись на этой бумаге, и избавишься от всяких допросов! Иначе, подохнешь, как голодный пес, окоченеешь, чурбан деревенский!"

Пытки изощренные. Шеге не дают ни сесть, ни согнуть колени. Стоит задремать немного, пинком приводят в чувство. Измаялся он от постоянной жажды. Оказывается, самое мучительное в жизни – это сон. Стоит только немного задремать, и перед глазами возникают ведра,

полные воды. А еще маняще вспыхивают голубым светом чистые озера с прохладной водой. Истово приникает он к заводям тех озер. У воды такой запах! Погрузив в озеро все лицо, он глотает и глотает воду, никак не может напиться досыта. "Каспаков!" – резкий крик вырывает его из грез. Шеге с трудом разлепляет веки. Перед глазами пляска черных точек, сеется, мельтешит муть. Сквозь эту рябь и туман почти не различить красные петлицы и серую форму дежурного. Эта нечистая сила – посмертный провожатый его души. Он бдит, не дает ни спать, ни присесть. Не дает ни капли воды. Вместо еды приносит залежалую селедку. Едва живой от голода Шеге жадно ест рыбу, высасывает даже косточки. А затем вновь жажда адским огнем вспыхивает внутри.

Чаще он видит Кулбергена, сидящего на стуле перед ним. На столе красуется графин, полный воды. Шеге стоит ни живой, ни мертвый, с опухшими ногами. Облизывает пересохшие губы… взгляд впивается в графин с чистой водой. "Хочешь пить?" – спрашивает Кулберген. Какой у него участливый голос! Конечно, он хочет пить! Сделать хотя бы глоточек. Один глоток!.. Что за чудо – вода. Нет ничего на свете вкуснее воды. Она слаще всех соков. Люди не знают истинную цену воде. Это же самая драгоценная вещь! И самое большое богатство!

Время капает, минута за минутой. Шеге все ниже клонит голову. Рот пересох, губы словно старые тряпичные лоскутки. Язык распух, кажется, что не вмещается во рту. И слюну не сглотнуть.

Кулберген нарочито медленно льет воду в кружку. У Шеге голова идет кругом. Вода! Чистая питьевая вода! На расстоянии вытянутой руки. Сейчас ему дадут, сейчас… Вода булькает, льется в кружку. Шеге протянул руку. "Постой! – усмехается Кулберген. – Сначала поставь подпись на этой бумаге! Вот кружка. Напьешься вволю!"

Шеге в смятении. Его шатает из стороны в сторону. Потом он видит в своих пальцах ручку. Белеет на столе простой лист бумаги. Это протокол. Сколько бумаг видели глаза Шеге. И расползаются, словно отвратительные скорпионы, черные буковки, сороконожками – слова. Они колдуют и превращают Шеге в "предателя", "шпиона", "агента турецкой разведки".

И внезапно Шеге приходит в себя. Пятится, качает головой. В душе вопль: “Нет! Шеге не враг народа! Он умрет, но не подпишет. Никогда!” Дрожа, трясясь от слабости, пятится от стола, от проклятого графина с водой. А нутро объято огнем. Гнев на мучителя и порывы уязвленной гордости сшибаются пенными волнами. Нет, не угасло в нем сознание, не увяла душа! Он не забыл, что называется человеком. “Сволочь!” – шипит ему вослед следователь, ни дать ни взять – ядовитый змей. Черт с тобой, говори что хочешь, – Шеге не сдастся. Лучше убей, разруби на кусочки. Он не сдастся. Не сломается. Пес кровавый, не надейся, что битьем принудишь его. Палачи! Вы еще не встречались с настоящим человеком. Думали, что поймали робкого, пугливого зайца, замирающего от любого шороха? Вы хотите выставить Шеге врагом народа, тем самым обмануть государство. Так вы хотите выполнить кондовый план? Не выйдет!

А по ночам его донимали жалобные крики, мучительные стоны. Жуткие звуки впивались в самое сердце. Он лежал без сна безжизненной колодой. Этот высокий серый дувал отделил их от внешнего мира, замкнул капканом. Там за стеной люди, народ, Родина, а по эту сторону – враги этого самого народа. По этой причине нет никакого сочувствия ни к крикам, ни к стону замученных, закрытых глухим дувалом. Так и слышатся голоса осуждения: “Пусть подохнут шпионы! Пусть пропадут пропадом изверги!” Разве не проклинают они их последними словами? Ведь за серым дувалом отпетые враги. И народ за стеной верует в эту сермяжную правду. Когда Шеге был там, за стеной, он тоже так думал.

Как ему согласиться с навязываемой клеветой? Суд впереди. Дадут еще ему слово. И тогда перед высоким справедливым судом Шеге разоблачит, выведет на чистую воду Кулбергена, Суржекея. Только бы не попасть в их обманные ловушки, коварные силки. Надо бороться, пока он дышит. Бороться ради Умит и Тугелхана, ради матери, вскормившей и вырастившей его, ради родной Хансулу.

Вошел Суржекей с суровым, ледяным видом. Кулберген угодливо вскочил. В пальцах Суржекея дымится цигарка, ступает он по-кошачьи мягко, бережно ставя ноги. Хромовые сапоги недовольно скрипят, словно жалуются

невесть на что. Тишина, царившая в комнате, раскромсана этим визгом. Размеренно прохаживается туда-сюда безмолвно-угрюмый Суржекей. Кулберген стоит ни живой, ни мертвый, застыл столбом.

– Что-то вы тянете, тянете, – молвил Суржекей раздраженно. И опять принялся мерить кабинет нервными шагами, посасывая цигарку. От этих немногих слов начальника Кулбергену становится не по себе, он то бледнеет, то краснеет.

Суржекей направился к двери. Опять застенали хромовые сапоги. Но теперь в этом звуке слышится новая интонация. Взявшись за ручку, начальник нехотя буркнул из-под носа:

– Мест не хватает для новых арестованных. Этих срочно отправить на станцию Темир!

Стоило ему услышать этот приказ, как Кулберген тут же собрал свои бумаги, отвел Шеге в камеру и запер его. В крохотной камере были двое незнакомцев. Один из них – помятый, павший духом старик. Постелив под себя чапан, он забился в темный угол. Второй – безусый паренек, босоногий, простоволосый. Старик, скорчившись в три погибели, лежал, уставившись на дверь. Оба они настороженно всматривались в вошедшего. У Шеге правая бровь рассечена, под глазами здоровенные синяки. Разбитый нос сочится кровью. На лице нет ни единого живого места. Новички были поражены.

Ступив в камеру, Шеге рухнул на пол. Поскорей бы заснуть. Провалиться в забытье. Даже если заявится сам Азраиль, чтобы забрать душу, он не поднимется. Нет сил даже шевельнуться. Мозг кажется разбит вдребезги, ноет, наливается болью. Уснуть, чтобы забыть о боли, забыть обо всем на свете. Или умереть.

И вновь заплескалось озеро перед ним. Кристально чистое озеро, вобравшее воду родников. На берегу стоит одинокий дом. Хансулу подметает двор. Дети играют на берегу озера. Шеге припал к воде, жадно пьет, пьет…

– Каспаков!

В полубредовом состоянии Шеге поднял голову, дверь в камеру была открыта. Какое время суток? Окошко витало тенью. Поспешно вошел Козбагар:

– Одевайся!

Шеге попытался встать. Казалось, что у него размозжены все кости, а ноги какие-то чужие. Его качнуло в одну сторону, затем в другую. Козбагар подбежал, подхватил его за поясницу. Шеге выпрямился. Осмотрелся. В этой норе их уже четверо. Лежат почти друг на дружке. Все аульчане.

Шеге вышел наружу. И впервые за много дней увидел ночное звездное небо. Затем взгляд упал на арбу, запряженного вола, стоявшего в центре двора НКВД. Вереница солдат, чернеют стволы винтовок. В стороне – группа арестантов, таких же, как Шеге бедолаг. Стояли без единого звука, в темноте напоминая частокол обгорелых головешек. Человек двадцать их было. За дувалом послышались голоса. Этот шум напоминал воскресный, базарный гул. Ближе прозвучал железом голос Суржекея:

– Отгоните этих подальше от ворот. Подальше!

Топая, побежали двое солдат. Вскоре перед воротами раздались крики. Теперь можно было различить: шумели женщины.

– Эй, отойдите дальше! Дальше, говорю!

– Ты что, задавить хочешь? Ребенка задавил, дьявол!

– Эй, не толкайся! Будь ты проклят! Хотя бы краем глаза взглянуть! – кричали, умоляли женщины.

– Двадцать человек, Жекей Калиевич! – доложил один из солдат Суржекею.

– Ну что ж, давай вперед!

Кто-то подбежал и налег на высокие ворота, распахивая их. Козбагар, восседавший на арбе, взмахнул кнутом: "Чу!" Вол зашагал вперед, заскрипела телега.

– Шагом марш! – скомандовал солдат понуро переминавшимся арестантам. Они нестройной толпой двинулись вслед за арбой. В открытые ворота ворвался свежий утренний ветерок. Густой запах травы заполнил ноздри. И защипало в гортани ощущением прохладной речной воды. Вода! Вода! В глазах Шеге потемнело. На телеге чернела деревянная бочка. Было слышно, как плещется внутри вода. Шеге подошел поближе к повозке.

Стоило только толпе арестантов вслед за телегой выдвинуться за пределы двора, как женщины и дети, стоявшие невдалеке в густых сумерках, разразились истошными криками:

– Ебейсин! Ебейсин!

– Кулжабай, где ты?

– Ыбыраш Битанов есть?

– Отец! Отец!

– Жоламан! Жоламан! – Женщины в белых платках побежали гурьбой вдоль солдатской вереницы, разрывая их строй. С отчаянным криком и плачем бежали среди них и малые дети. Вой, плач, стоны. В вихре смятенных голосов Шеге услышал знакомый голос:

– Шеге! Шеге!

У Шеге левый глаз заплыл. Почти не видел он этим глазом. И правым тоже. Всматривался он... Среди толпы бегущих женщин различил неясный силуэт Хансулу. Ее белый жаулык мелькал, развевался. Шеге попытался окликнуть ее. Однако из пересохшего горла вместо крика вырвался хрип. И опять попытался. Но только шипение и хрип вместо голоса. Для крика сил нет. Глаза черными щелями устремлены на жену. Шеге был едва живой. Плелся за арбой кое-как, босоногий, простоволосый. А вокруг бушевал, качался лес голосов. Плескалось море человеческого горя.

Двое вооруженных солдат, сопровождающих замыкающую часть колонны, изо всех сил пытались сдержать натиск женщин.

– В сторону! Дальше!

– Не приближайтесь!

– Токсеит, Танатар, где вы? Кулдановы?

– Каршыга? Алиев Каршыга? Каршыга, где ты?

– Не шумите! Прочь! Соблюдайте порядок!

Арестантов двадцать человек, бегущих женщин и детей с полсотни – все это казалось несметной толпой.

– Шеге! – с криком наперерез колонне выбежала Хансулу.

– Шеге, где ты?

Люди начали находить родственников, плач и рыдания над смятенной толпой усилились. Другие продолжали искать.

Шеге, уцепившись за арбу, тащился кое-как, повернув синее, распухшее лицо, смотрел неотрывно на Хансулу. Кто-то из солдат изо всех сил оттолкнул Хансулу в сторону. Однако она не сдавалась, с ожесточением

пробивалась к арбе. Под покровом сумерек со стоном и плачем толпа вышла на восточную окраину аула, где начинались пески.

– Шеге, что с тобой? Шеге! – взвивается звенящий крик Хансулу. – Ответь! Хоть словечко…

У Шеге не было сил, чтобы ответить ей. Он помахал руками Козбагару, который восседал на телеге, дескать, дай глоток воды, чтобы смочить горло! Но Козбагар был нем, как камень. И головы не поворачивал. Подгоняя вола, махал и махал плеткой. Не оборачивался он назад. И Шеге вновь поискал глазами Хансулу, мотая распухшим лицом, хотел спросить, как там дети. Однако вместо голоса вырвался сплошной хрип.

Над смутной долиной, над дальним косогором забрезжил рассвет. По правую руку среди бескрайних пустошей блестел тусклым серебром Жем. Река, родимый Жем!..

Когда колонна поднялась на склон песчаного холма, солдаты оттеснили вниз женщин. "Останьтесь здесь!" – решительно приказали им.

Согбенная толпа арестантов влеклась, понуро тащилась за телегой. Беспрестанно оглядываясь назад, шагали бедолаги. Прощаясь с родными, шептали слова молитвы, вручали себя на милость бога. Женщины еще выше подняли прощальный плач. Впереди них, сотрясаясь от рыданий, стояла, никла Хансулу…

Шеге, наловчившись, прижался к мокрому боку бочки и слизнул капельку влаги. Вода внутри бочки плескалась, приглушенно шлепала. И от этого звука кружилась голова…

Впереди – неизвестность судьбы, позади – толпа плачущих женщин, среди них Хансулу.

Брел, пошатываясь Шеге, цепляясь за арбу.

СУРЖЕКЕЙ

1

Крепко запомнил Суржекей краснощекого полковника и его слова: "Учти, загремишь под трибунал!". Образ начальника, настойчиво стучавшего жестким пальцем прямо ему в грудь, стоял перед глазами. Вроде бы давно

привык Суржекей к крику и ору всякого начальства. Принимая угрозы полковника, прикомандированного из центра, за привычный организационный шум, Суржекей безропотно выслушал нагоняй. Все-таки костяной стук пальца краснощекого потряс все его существо. Место, куда бил палец, словно туда попала пуля, ныло все это время.

В юности и батраческие годы хлебнул Суржекей немало горя, тем не менее, поднявшись на ноги, возмужав, зажал в ежовых рукавицах народ целого района, да так, что ни один человек не смел пикнуть. С той поры и привык к почтительному обращению – "Жекей Калиевич", зная, что за глаза прозывают его "Суржекеем". Он знал, что такого природного отпрыска Советской власти, как он, Суржекей, выросшего из батраков, пока на дворе диктатура пролетариата, ни одна живая душа не осмелится хоть как-то принизить. Разве не наступило время таких, как Суржекей и Козбагар? Если это так, если Ленин и Сталин дали ему нынешнее положение, какое право имел этот краснощекий горлопан стукать ему в грудь? Разве сам Ежов, будучи в Актюбинске, не обратился к нему со словами: "товарищ Тунгатаров", – а Зелин уважительно не приветствовал его обращением "Жекей Калиевич"? А этот напористый полковник даже по имени его не назвал. В кабинете, заполненном чекистами разных рангов, поставив Суржекея навытяжку, начал тыкать ему в грудь своим корявым пальцем. Надо признать, он не имел никакой возможности противиться суровой критике и жестким указаниям чрезвычайного уполномоченного, приехавшего из самой Москвы. Ему казалось, что тот готов съесть его с потрохами за то, что во всем районе не нашел других шпионов и вражеских агентов, кроме одного Гринина. Таким образом, Суржекей, заслуженный борец с контрой, с баями и кулаками, Суржекей, неоднократно награжденный грамотами, – в августе 1937 года на виду у всех был опозорен и унижен за то, что свой район не смог очистить от врагов. Уполномоченный его едва с землей не сравнял. Авторитет, достоинство Суржекея, заработанные многолетним неустанным трудом, за одну минуту были уничтожены в пыль и прах. Жекей Тунгатаров оказался самым плохим

районным руководителем НКВД во всей области. "Если ситуацию не исправишь скоро в лучшую сторону, то я исправлю тебя", – так заключил краснощекий полковник. Вернувшись после чрезвычайного совещания в Актюбинске, Суржекей тотчас собрал всех подчиненных. Был он весьма не в духе. Грохнул кулаком по столу: "Вы подводите меня, волыните! Даю месяц. Если за этот срок не очистите район от врагов народа, я вычищу органы НКВД от вас!" Вот так кричал он, эпилептически дрожа, поводя своими тараканьими усами.

Кулберген, Борис и другие молодые работники, недавно приехавшие на службу в район, не узнавали своего спокойного, степенного и сдержанного начальника. Многие тогда испугались не на шутку. Они почувствовали, что в жизни НКВД начались чрезвычайные перемены. Суржекей пригласил секретаря комсомольской организации Нурилю, жестко критиковавшую НКВД на последнем районном активе, и о чем-то долго с ней беседовал. Нуриля на этом активе выступила с такой речью: "В нашем районе НКВД работает с прохладцей. Они, наверное, полагают, что у нас нет тайных прихвостней Бухарина, Рыкова, Косарева, Татишева, Рыскулова, Кулымбетова? По всей стране проводится политика чистки партии, комсомола от чуждых элементов, проклятых убийц. Или вы думаете, что в наших краях их мало, отщепенцев и подонков, ненавидящих социализм, лучезарного вождя – Сталина, скрытых пособников буржуазии и байства, стремящихся разложить наши ряды? Немало! Их только наше НКВД, возглавляемое товарищем Тунгатаровым, не видит. Но мы то их знаем!" После районного актива и встречи Суржекея с Нурилей работники НКВД увидели протокол, подписанный рукой секретаря комсомольской организации. В протоколе Нуриля назвала по именам и негативно охарактеризовала целую кучу людей, жителей района, враждебно настроенных к ленинскому комсомолу, к вождю Сталину. Суржекей составил документ, к которому добавились письма бдительных людей, донесения агентов НКВД, и с этого дня в районе, сначала в Наркамысе, начались аресты врагов народа. Районный прокурор Суранышев без лишних вопросов подписывал санкции на задержание

лиц, указанных Суржекеем. Не просто подписывал, а с большой готовностью, горячо одобряя действия начальника НКВД. Первым делом были задержаны люди, сотрудничавшие или дружившие с Афанасием. Вскоре в этот список попал и Шеге. После этих акций район стал напоминать потревоженный муравейник. На партийных, колхозных и комсомольских собраниях народ услышал имена своих врагов. Громче всех звучали голоса таких настропаленных ораторов, как Нуриля. Изо дня в день нарастал пафос их праведного гнева против раскольников и уклонистов, пытающихся помешать приближению светлого будущего, бросить тень на мирную жизнь советского общества. Выступающие громко требовали не щадить разоблаченных врагов народа. Они не жалели похвалы в адрес зоркого, как орел, сталинского наркома Ежова, вычищавшего страну от этих злобных псов. Авторитет Суржекея взлетел до небес. Хвала обрушилась на него. Теперь Суржекей, в заботах не знающий ни сна, ни покоя, готовый бороться до последней капли крови за Советскую власть, взялся за работу засучив рукава. Возглавив внутреннюю, классовую борьбу за дело Сталина, который был ему дороже отца родного, в битве с кровососами, облепившими тело молодого государства рабочих и крестьян, Суржекей был готов пожертвовать жизнь ради Советской власти. Он считал своим святым долгом шагать в первых рядах великого авангарда, чтобы не оказаться в хвосте. Без сна и отдыха он весь август сражался с пойманными врагами народа. Взялся до конца выполнять свой гражданский долг перед Отечеством. Хотелось ему еще раз, как во времена коллективизации, оказаться на виду, получить заслуженные почести и награды. В этом деле самым трудным для НКВД оказалось сломать сопротивление и выбить признание вины у этих презренных подонков. Чтобы вывести на чистую воду лисиц, пытающихся ввести в заблуждение НКВД, разоблачить закордонных агентов и внутренних предателей, он применил самые разные способы и уловки. Цель была одна – скорое признание врагов народа в их злодеяниях. Для этого арестованным не давали спать, доводя до животного состояния, не разрешали садиться, и несчастные сутками стояли на ногах, их изнуряли

жаждой, обливали кипятком лицо, свалив на пол, пинали, запугивали, угрожая арестовать жену и детей, или выстреливали в грудь холостым зарядом из нагана, были и другие не менее изощренные приемы пытки. Джигитам Суржекея все это далось не просто так. Порой они уставали не меньше заключенных. Тем не менее рано или поздно выбивали из жертвы необходимое признание. Время от времени им попадались упрямые, как Шеге, матерые враги, презревшие страх смерти. Такие обычно упорствовали, сцепив зубы, держали язык за зубами до тех пор, пока душа не выйдет вон. Они сопротивлялись до последней возможности. Изворачивались. Вместо того, чтобы с помощью НКВД прийти к истине, они всячески стремились запутать следствие, даже будучи арестованными, продолжали вредить советской власти своим ожесточенным сопротивлением. Однако, таких все-таки было немного. Даже если попадались подобные выродки, как Шеге, они все равно не могли сбить с толку Суржекея. Они не могли выскользнуть из железной хватки Суржекея. На их упорство начальник НКВД отвечал усилением физического воздействия. По отношению к таким не знал никакой пощады.

Весь август районный НКВД проводил масштабные операции, с какими раньше сталкиваться не приходилось. В этой горячке чекисты забывали про сон и отдых, по многу дней их головы не прикасались к подушке. Жизнь НКВД кипела бурной деятельностью. Вскоре камеры НКВД оказались битком набитыми врагами народа, мест уже не хватало. Однако народ требовал решительной борьбы с враждебными элементами. И долго искать их не пришлось. В органы потоком сыпались доносы. НКВД теперь в изобилии имел подробную информацию о чуждых элементах, затесавшихся в каждый колхоз, на каждую ферму. Суржекею пришлось обратиться в областное отделение НКВД с просьбой об увеличении штатов. Вскоре узнал, что сотрудников НКВД не хватает по всей области. Из центра пришел ответ с рекомендацией использовать для оперативных мероприятий любого работника из аппарата исполнительного комитета райсовета, вплоть до самого председателя. Возглавлял райсовет недоумок Токташев Битемир, особенно не

разумеющий в тонкостях директивных документов. Его Суржекей использовал на всю катушку, вызывая через день. Бедняга безропотно мчался по любым поручениям. Действуя таким образом, Суржекей подмял под себя исполнительный комитет. В районе более или менее независимо держались двое. Одним из них был Суранышев – прокурор. Этот хитрец был себе на уме. Успокоительно похлопывая Суржекея по плечу, прокурор вроде бы одобрял его. Но в душе был далек от него. Вне влияния Суржекея был Койлыбаев, занявший место первого секретаря райкома после ареста Афанасия. Этот ходил с горделивым видом. Раньше он в Темире был вторым секретарем. С первого дня работы в районе через каждое слово только и слышишь от него угрозы: "Сотру в порошок! Упеку!" Правда, на Суржекея пока не смел повысить голос, однако, на заседаниях бюро приходится видеть, как других он ест чуть ли не живьем. Чувствуется, что это такие прозрачные намеки в адрес начальника НКВД, дескать, чтобы другим было неповадно, а тебе – урок. Так и веет от его атак на подчиненных ледяным ветерком, и сквознячок этот со смыслом, мол, если не подчинишься мне, схрумкаю тебя за здорово живешь. Суржекей – тертый калач, в жизни повидал всяких секретарей, и на маневры нового *первого* отреагировал хладнокровно, не собираясь угодничать ему. Как бы подчеркивая верность характеру своей профессии, он продемонстрировал невозмутимость. "Ладно, поживем, увидим" – читалось в глазах секретаря. "Что же, гляди, мы тоже посмотрим" – дал ему знать своим поведением Суржекей. Между ним и новым *первым* возникла межа зыбкой независимости и опасливой настороженности. Суржекей как бы ощетинился: "Ну и что, что ты первый секретарь, видали мы таких, и Афанасий был первым, в смутное время, когда и не таких быков валят, я бы на твоем месте не важничал".

Как только первая партия арестованных была отправлена в тюрьму на станцию Темир, набив планшет доносами, Суржекей выехал с Козбагаром проведать житье-бытье народа. Побывал в местечках Кемерши, Булактыкол, Оймауыт, Донызтау. Заехал в колхозы

Культура, Буденный, Таскабак, Калинин. Переговорил со многими людьми. По ходу дела собирал информацию, присматривался к людям. И вот теперь прямым путем из Донызтау он ехал в Жанажол.

Под ними сытые сильные кони. Кругом бескрайняя степь. Близился полдень. Куда ни посмотришь, всюду простирается безлюдная пустыня. Воздух чист и звонок. Небо привольное, глубокое. День был не жаркий, пригожий, ясный. Мягкая, щедрая осень ласкала взор приглушенными тонами. Бедняга Козбагар не блистает умением поддержать разговор, а еще зовется джигитом. Едет на смирной гнедой кобыле с раздутым брюхом, дремлет, кивает носом. Нахохлился сонным вороном. Впрочем, это даже лучше, что он помалкивает, что он такой бесхитростный, – слова лишнего из него не вытащишь. Что хорошо, в своем начальнике души не чает. Если что надо, носится, не чуя ног. Из тридцати с лишним работников районного НКВД в поездки Суржекей берет с собой обычно Козбагара. Доверяет он ему. В эти последние дни, рыская по аулам, они с Козбагаром почувствовали, как неимоверно устали за два месяца ожесточенной борьбы с врагами народа. И вот на благостно тихом просторе степи они ощутили, как покидает их тела напряжение долгого ожесточения, как накатывает расслабление, проникая до самого позвоночника, вовлекая в неодолимую, вкрадчивую дрему. Не раз и не два пришлось ему, укачанному мерным шагом коня, схватиться за узду, чтобы не свалиться на землю. Козбагар же, напротив, оказался выносливей. Сычом громоздясь на спине лошади, он исхитрялся выспаться на ходу. Суржекей же едва разлеплял веки – его бросало в сон даже от свиста сусликов, перекликавшихся по склонам косогоров.

И скромная песчаная трава ебелек, серая, увядшая, рассеивает взор, а туши холмов, громоздящиеся один за другим, так и тянут к себе, манят, будто валы пухлой постели. Они зовут лечь в их лоно и забыться. И вспомнились Суржекею годы юности, когда он пас верблюдов бая Есенея, был он в ту пору молод, силен, бесхитростен. Легко жилось, бездумно.

Вдруг, Суржекей резко натянул узду. Черно-игреневый конь застриг ушами и замер.

– Пропади все пропадом – надо выспаться! Сон донимает, мочи нет, прилягу куда-нибудь. Козбагар, посмотри за конями.

– Хорошо, Жаке, – откликнулся Козбагар. Он спрыгнул с лошади, развязал тюк, вытащил корпешку, побежал на луговину с чистой травой.

– Нет, подальше, – Суржекей поднял голову и махнул рукой в сторону, где приметил местечко с желтеющей ровной травой. Козбагар на ходу повернулся и расторопно засеменил туда, куда ему показал Суржекей. Он расстелил корпешку на траве и тут же без лишнего напоминания неуклюже побежал к черно-игреневому коню. Здесь он ловко снял ватную подстилку с седла, прибежал на луговину, сделал скрутку и положил ее у изголовья постели.

– Принеси шинель, – буркнул Суржекей. Козбагар все так же сноровисто сбегал к своей лошади, вытащил из тюка серую шинель с красно окантованным воротником, вернулся и осторожно положил на край постели. Так по-военному быстро было оборудовано место отдыха для начальника. Суржекей, будто надломившись в пояснице, со вздохом опустился на лежанку. "Ух" – вздох облегчения вырвался у него из груди. За эту уйму лет, носясь, как угорелый, по неотложным служебным делам, позабыл он о простых человеческих утехах , ей-ей – это на самом деле так! И теперь, словно очнувшись от тумана, он будто впервые зрит эту тихую, ясную золотую осень. Как будто с далеких детских лет был в сером облаке забвения, и вот пришел в себя и увидел эту красоту. Способность к восприятию словно пробудилась от спячки и открыла глаза. С небесной выси лились неустанные молитвенные трели жаворонков, они пробуждали затаенные ощущения. Дремлющая память начала оживать, пронизывая все существо трепетом. Истомой оплетали сердце воспоминания молодости. Нужно сделать усилие, отринуть все и, растянувшись на груди матушки-земли, отключиться, забыть обо всем тягостном. Захотелось освободить и ноги от влажных портянок, от тесных

объятий тяжелых сапог. Сапоги снять тоже непросто. Кряхтя, потянулся к ногам, а Козбагар тут как тут – предложил свою помощь.

– Давайте, я потяну, – с неожиданной ловкостью он присел, схватился за правый сапог. "У кого есть брат меньшой, у того в кармане алтын золотой" – подумал Суржекей. Козбагар стянул оба сапога, тряхнув их пару раз, поставил в сторонке на траву. Портянки аккуратно свернул и засунул в голенища.

– Теперь ты...пойди к коням, посторожи...Меня не буди, – сказав это, Суржекей прилег, кутаясь с головой в шинель.

2

В эти минуты под протяжным синим небом, наверное, нет человека более счастливого, чем Козбагар. Благостно для него видеть, как на привольном лугу спит себе покойно Жекей Калиевич, начальник его, столько дней и ночей не знавший ни сна, ни отдыха. Стреножив коней, пустив их пастись, он бросил на землю шинель и растянулся. Слушая, как с хрустом рвут траву кони, не заметил, как с головой ушел в думы. Образ сухощаво-жилистого, невысокого Суржекея не уходил из его мыслей. И все время мерещился его морщинистый большой рот, словно приклеенные, щетинисто торчащие усы. У Суржекея неизменная привычка – смотреть искоса на собеседника, слегка выпятив губы. В гневе выпуклые глаза, лезущие из орбит, наводят на людей ужас. Чаще начальник бывает спокойно-хмурым, лицо неулыбчивое. Суров он и сумрачно холоден. Поэтому и прозвал его народ Суржекеем. И не прихоти ради так его назвали, а от неприязни и страха. В поговорку вошло у некоторых: "Если сказать плачущему в колыбели младенцу – Суржекей пришел, он тотчас прекратит хныкать". Однако Козбагару, привыкшему близко общаться с ним, Суржекей не кажется таким демоническим. Самое главное – он честный азамат, словно отлитый из цельной стали. Он словно для того и народился на свет, чтобы горой стать на защиту таких сирых, униженных и оскорбленных, как Козбагар, бедняков, едва заявивших свои права на достойную жизнь. И с другой

стороны – он самый непримиримый враг для баев, мулл. Таких господ он, и глазом не моргнув, готов отправить на тот свет несметными косяками. И не поморщившись, пустил бы в ход нож мясника. Причем Суржекей искал встречи не с какой-то мелочью, а с матерыми врагами. Природа наградила его сильной и широкой натурой, поэтому он не мелочится на всякую шушеру. Если бы вместо него на этой должности был кто-нибудь другой, то в тяжелые годы смуты немало людей сложило бы голову в застенках. Суржекей закрыл глаза на ворохи всяких клеветнических доносов и наветов. Взамен этого он занялся осиным гнездом самых махровых шпионов в районе. По правде говоря, дело Гринина – это заслуга только Суржекея и больше никого. Он сам занимался этим делом. Другие работники НКВД узнали об этом, когда прокурор дал санкцию на арест Гринина. Тогда у многих джигитов открылись глаза на то, кто такой Суржекей. Авторитет начальника тогда значительно вырос в глазах чекистов.

Если бы не поддержка такого влиятельного начальника, как Суржекей, бедная головушка неграмотного Козбагара, получившего азы грамоты в медресе, в тисках окаянного времени давно сгинула бы в каком-нибудь зиндане. По-русски необразован, но в жизни удачлив Козбагар. Сам бог привел его к Суржекею. Они стали как старший и младший братья. Расторопным шустряком он мотался туда-сюда по поручениям Суржекея, ухватистым, ловким посыльным был в побегушках у него. И воду носил, и дрова рубил. Баранов резал и разделывал. Что и говорить, овечки в сумерках как бы сами забегали во двор начальника. Глухими непроглядными ночами нет-нет, а наведывались булактыкольские, кемершинские, жанажольские верховые казахи, как бы между делом забывая во дворе Суржекея пару-другую овечек. Затеплив лампу в сарае, в два счета управлялся Козбагар с дармовыми животными. Пока он разделывал мясо, жена Козбагара чистила кишки, потрошила требуху. Все эти незнакомцы порой встречались ему или в кабинете Суржекея, или в аулах во время поездок. Суржекей, выпятив губы, встопорщив тараканьи усы, выслушивал их молча. На разговоры время не тратил, только на прощание,

шевельнув усами, ронял хмурое: “Ладно, ступай себе”. Человек, подаривший овечку, терялся от такой фразы, не зная, как ему быть, не решаясь ни шагнуть к двери, ни оставаться на том же месте, с трепетом поглядывая на сурового Суржекея. “Ступай!” – произносил Суржекей громче, уже с оттенком злости. Человек в смятении пятился, едва не падая при этом, выскакивал в коридор ни живой, ни мертвый от страха. Суржекей же, источая холод каменного истукана, катнув выпяченными губами цигарку, втягивал в себя порцию дыма и, буркнув: “Идиот”, – вставал с места. Расправив занемогшую поясницу, потянувшись суставов ради, он принимался вальяжно расхаживать по кабинету, мерно вышагивать туда-сюда под жалобный скрип и стон хромовых сапог. И погружался в думы наподобие великого Сталина.

Порой он останавливался и, глядя подолгу на портрет вождя, посасывая неизменную цигарку, озарялся неведомо какой мыслью. И только когда табак догорал в самокрутке, как бы очнувшись от наваждения, он качал головой и ронял безотчетно: “Гений”, – и с этим придя в себя от транса, кидал остаток цигарки в пепельницу, затем ногтем мял и ворошил темный пепел.

Он пользовался любым случаем, чтобы на собраниях упомянуть о своей любви к великому вождю. Не раз приходилось становиться свидетелем, как, вытерев платком взмокревший от чая лоб, произносил от души: “Рождался ли когда-нибудь на свет такой выдающийся человек? Не знаю, по-моему, нет”. Таким образом, Суржекей показывал, что в любую минуту готов встать на защиту чести и достоинства имени Сталина. Если доводилось ему слышать, что где-то кто-то неуважительно отозвался о Сталине, он становился мрачным, усы его угрожающе топорщились.

Бывая в гостях у товарищей, на веселых посиделках, Суржекей пользовался случаем, чтобы поднять тост в честь великого вождя. Суржекей не был любителем произносить долгие и пышные речи. “Товарищи! Сталин – глаза, уши, ум молодой Советской страны, окруженной мировым империализмом... Давайте пожелаем великому вождю Сталину здоровья и долгой жизни! Пока есть

Сталин, есть и мы! Не будет его, не будет и нас! Сталин – наше солнце. Пусть это солнце никогда не погаснет!”

Люди вскакивали с мест и дружно кричали: “Да здравствует!” Их рукоплескания напоминали шум зарослей, по которым ударил ветер. Затем присутствующие переключали внимание на Суржекея. Они рьяно уверяли его в том, что в этих краях войдет в историю один только Суржекей, потому что Суржекей – единственная опора Советской власти в районе. Слегка пьяный Суржекей внимал сладким речам. Козбагар тоже любил такие минуты, он широко улыбался, хохотал, как ребенок, не забывая опрокинуть в рот пару другую стаканов вина. А что ему оставалось делать: начальник доволен жизнью, он – вдвойне. Задумывался ли Козбагар в юности, что он, чуть ли не ежедневно получающий тумаки от аульных пацанов, когда-то выйдет в большие люди, что станет носить серую милицейскую форму, будет окружен почетом людей? Предполагал ли, что станет важным человеком, которого будут побаиваться. Такое ему и присниться не могло. И, конечно, немного найдется таких молодцев, которые, как и он, с наганом на поясе, с шашкой на боку рыщут нынче по путям-дорогам Оймаумта и Доныэтау.

3

Какое здесь высокое небо! И хрустально чистая синева. На небе нет ни облачка. Разливая мягкое сияние, солнце клонится к западу. Отстоявшаяся долгая тишина. С подножий холмов доносится пересвист сусликов.

Суржекей, лежал на спине, широко разбросав руки, смотрел вверх, его голову опять заполонили мысли. Бескрайняя земля и бездонное небо как бы в оцепенении нескончаемой дремы. Откуда такая безмятежность? Что за непостижимо величественный покой? И когда, с каких пор он оторвался от этой сокровенности природы? С тех пор, как начал работать в органах, его голова забыла о подушке, вертится как белка в колесе, отринув отдых. Особенно в этот год, в эти два последних месяца он совсем запамятовал про сон и семейный очаг. Как засучил рукава, так и потонул в суете, в дыму и чаду круговерти. Или он

вынырнет из этого омута сухим, или свернет себе шею на крутом повороте. Его ждет либо то или другое. Чует это Суржекей, повидавший в жизни всякое и хлебнувший полную чашу лиха. И назад пути для него нет. Будь они прокляты! Приказали, мол найди врага народа, и он нашел. И продолжает отыскивать. Один аллах знает, сколько среди них невинных, сколько действительно виноватых. Никто не даст Суржекею ни права, ни времени разбираться, кто есть кто, отделять белое от черного. Те, кто наверху, не дадут ему такой возможности. Приказ сверху – он выполнил. Есть ли здесь вина Суржекея? Нутром чувствует он, что оказался среди двух огней. Как говорится, потянешь туда – арба сломается, потянешь сюда – конь сдохнет. Разве Суржекей затеял скопом загонять народ в темницы? Это инициатива центра, государственная затея.

Эти мероприятия, по мнению Суржекея, – событие историческое, еще одно свидетельство гения Сталина, признак великой стратегии по сбережению первого в истории народного государства. Если не предпринимать чрезвычайные меры, не успеешь оглянуться, как внутренние и внешние враги окажутся у тебя на шее. Иначе каким способом удержать вчерашних убийц Кирова, чтобы они сегодня не занесли руку над самим Сталиным? И тогда что станет с советским народом?

Как бы то ни было, началось дело, которое игнорировать невозможно. Наркомат, возглавляемый товарищем Ежовым, взял метлу и принялся вычищать страну от всякого мусора.

Суржекей понимает это, тем не менее его удивило, что этого *мусора* оказалось через край даже в его районе, органы НКВД в считанные дни завалили доносами и подметными письмами. Теперь ему придется "брать" врагов народа не пачками, как в первые дни, но привередливо снимая "сливки", иначе в этих аулах вскоре останутся одни старики и дети, некому будет трудиться на благо народа.

В период обострения классовой борьбы не может быть никакой пощады к человеку, который окажется в стальных тисках чистки, не будет снисхождения и к тем, кто является винтиками этого механизма. Особенно в органах

НКВД. Судьбе чекистов, которых заподозрили в мягкотелости и жалости по отношению к арестованным, теперь не позавидуешь. Одному за другим откручивают головы. За примерами далеко ходить не надо; случай, который произошел четыре дня тому назад, запомнился всем. Язык не поворачивается озвучить такое. Был арестован Сериккали Жакыпов – известный чекист. Один из тех, кто своими руками устанавливал Советскую власть в степи. Заместитель наркома НКВД Казахстана был взят за то, что отказался арестовать Сакена Сейфуллина. В прошлом году Жакыпов был проездом в Наркамысе. Местные, как говорится, чуть ли не с ног падали, пытаясь услужить известному чекисту. Вместе они были, ели, пили, общались. Их удивило то, что Сериккали оказался простой, обходительный и очень эрудированный человек. Между тем, Суржекей подумывал при случае шепнуть ему на ухо о своем давнем желании перевестись на работу в центр. И вот этот покровитель сам оказался низвергнутым в прах. Желая помочь Сакену, сам свалился в яму и, кажется, безвозвратно. Припоминается сейчас, в тот приезд он что-то странное говорил о Сакене.

Козбагар привел отдохнувших коней.

Тем временем Суржекей, посасывая цигарку, в задумчивости расхаживал по желтой луговине. Козбагар видел, что начальник с головой погрузился в свои непонятные думы. Козбагар, конечно, не сомневался, что это мысли весьма важные, государственного значения, то, что является тайной за семью печатями для него, подручного. Он с уважением взглянул на сумрачно вышагивающего Жекея Калиевича, сутуло-сухощавого, чуть выше среднего роста, человека отнюдь не с самыми широкими плечами, но взвалившего на себя недюжинный груз. И боясь ненароком потревожить своего начальника, спугнуть его мысли, он пошел дальше, ступая бережно и чутко. Пусть шеф размышляет себе. Он же важнейшая опора, на которой держится жизнь целого района. Его же мысли на вес золота. Некоторые из его дум равноценны жизни человека.

– Парень, отдохнул? – спросил Суржекей, взглянув искоса.

– Конечно, Жекей Калиевич! Прикорнул малость…

– Да, покемарили мы немного. Все же не сон это. О сне мы давно забыли…

Суржекей, произнеся это, выпятил губы, и как бы опечалился. И показалось Козбагару, что и он причастен к этой грусти большого человека. И разве не избран он судьбой стать свидетелем минутной человеческой слабости своего начальника. И обрадовавшись этой мысли, от души пожалел начальника, потерявшего сон, измаявшегося и отощавшего в денных и нощных заботах о государстве.

– Доберемся до Жанажола, Жаке. Там и отдохнем… – мягко сказал Козбагар, выказывая свое сочувствие.

Суржекей искоса взглянул на своего коневода:

– И что? Там они нас ждут?..

– Дал знать я Ждахаю, – неловко пробормотал Козбагар.

Суржекей все также взглядом искоса пытливо обвел Козбагара с головы до ног. Козбагар погладил себя по плечу и значительно хмыкнул.

– А ты молодец! – Суржекей шевельнул усами. Качнул головой, как бы дивясь находчивости этого расторопного малого. "Смотри у меня", – добавил с неопределенной интонацией. И сел на черно-игреневого жеребца, подведенного к нему Козбагаром.

Оба верховых рысью тронулись с места, погоняя плетками коней.

4

Каждый принимает водку по-своему. Когда "огненная вода" попадает в глотку, у некоторых людей вдруг проявляется скрытая сущность. У одних развязывается язык, и их безудержную болтовню тогда не остановить. Другие, напротив, словно язык проглотив, превращаются в непроницаемых молчунов. Ну а то, как ведет себя Суржекей, изрядно приняв на душу – это особый разговор. Поначалу начальник выказывает желание выслушать кюй[1]. Возможно, от водки становилось легче его сердцу, тяжело и густо обложенному пеплом и тьмой. Слушая музыку, он переполнялся странным беспокойством. "Но!", "Но!" – вырывался из его груди глухой возглас, он мотал головой, махая в ритм рукой, то и дело вскакивал с места, сжигаемый непонятной внутренней лихорадкой.

Завфермой Жанажола Ждахай, который не понаслышке знал эту черту характера Жекей Калиевича, получив весть

---

[1]*Кюй* – жанр домбровой музыки.

о его выезде, приказал поставить юрту на берегу речки в живописной лощине недалеко от своего аула. Рядом с юртой привязали упитанную овечку. Сам он поехал навстречу и остановился ждать гостей у подножия холмов Огизолгена.

Путники, утомленные долгой ездой в бескрайней степи, увидев впереди у подножия округлого увала серую юрту, поставленную для них, заметно повеселели. Это была ладная, как яйцо, юрта, расположенная на дне чистой сухой лощины с выкошенной травой. Недалеко от входа некий подросток, засучив рукава, сноровисто разделывал тушу овцы. "Молодец!" – подумал Суржекей. Он качнул головой. Ждахай, заметив, как потеплело лицо почитаемого гостя, заспешил навстречу:

– Все будет, как вы пожелаете, Жаке! И домбра, и домбристка... Мы поставили юрту специально для вас, чтобы вы хорошенько отдохнули, – затараторил Ждахай.

– Сначала работа! – сурово сказал Суржекей. – Закончим сначала с работой...

Работа Суржекея – встретиться с людьми, подавшими донос, также с теми, на кого написали они. Ждахай продумал и это обстоятельство. С этим можно справиться сразу после чая. Аул недалеко, на той стороне холма. Они мигом доставят любого человека, кого запросит Суржекей.

– Все будет как надо, Жаке! Не беспокойтесь! Любого нужного человека доставим сюда. Здесь в уединении и поговорите.

– Молодец! – одобрил Суржекей, шевельнув усами.

Жена Ждахая, Наркыз, с утра приводившая в порядок юрту, готовая услужить любой прихоти гостя, подхватила самовар и юркнула наружу. На ней красовалось красное платье. Черный бархатный камзол. На голове новый белый платок. Крупная телом, Наркыз заметно похудела. Лицо осунулось, на щеках желтизна.

У самой коновязи Ждахай и Козбагар первыми скатились на землю и подбежали к коню начальника, чтобы принять его. Они подхватили под локти явно медлящего Суржекея и помогли ему спешиться. Однако знающий себе цену начальник не спешил входить в юрту. Расторопный малый, потрошивший тушу, шустро подбежал, чтобы

приветствовать гостя. Суржекей милостиво кивнул невестке, которая низко склонилась перед ним. Затем вперил задумчивый взгляд на запад, куда уже клонилось солнце, прогибая трепетное марево. Обе руки были заложены за спину. На нем серая армейская форма с красным воротником, на петлицах красные звезды.

– Надо бы переговорить с главой аульного совета.

– Сейчас… сию минуту… доставим! – кивнул Ждахай, чеканя слова, показывая, что он бывалый служака. И рванулся к коню.

– Мигом доставим, Жаке! – Ждахай наметом поскакал в сторону холма, поросшего голубой полынью.

Козбагар в это время расседлывал игреневого жеребца. Суржекей, искоса наблюдая за ним, принялся неспешно набивать махоркой мундштук. Надо признаться, когда он увидел плечистую, долговязую жену Ждахая, настроение у него заметно испортилось. А ведь ранее, когда в глаза попалась эта отдельно поставленная, уединенная юрта, он ощутил в груди некое радостное оживление. Чего греха таить, он и в самом деле подсознательно ожидал, что для такой значительной фигуры, как он, перед которой трепещут все, должны приготовить, по крайней мере, нарядную юрту, где его учтиво встретила бы привлекательная молодка. Чтобы такая молодка крутилась бы и увивалась вокруг него. А они, недотепы, оказывается…

Крутанул в губах мундштук и вдохнул горьковатый дым. Все это – мелочи жизни! Старания Козбагара и Ждахая, чтобы угодить ему, и копейки не стоят. Можно подумать, что его обносят водкой, или не угощают досыта бешпармаком? Что ни говори, со временем уходит понятие настоящего отдыха. Переговорит он с нужными людьми и завалится себе на боковую.

Суржекей, сцепив обе руки за спиной, задумчиво расхаживал взад-вперед за юртой у подножия сухого холма, изрытого дождевыми потоками. Хромовые сапоги недовольно скрипели. И эти стенания хрома были по душе Суржекею. Для него это привычная и ладная мелодия. Что ж, выходит, эти парни не смогли угадать заветное желание своего гостя. Они не захотели подыскать для Суржекея, покровителя местных людишек, какую-нибудь смазливую,

приглядную молодку, которая смогла бы услужить гостю, наливая ему чай. Видно, они и в подметки не годятся баям и кулакам, с которыми нещадно сражался Суржекей в недавнем прошлом. Когда его красноармейский отряд, вооруженный до зубов, внезапно врывался в какой-нибудь тихий, уединенный аул, толстяки-баи с ног сбивались, чтобы угодить ему. Они посылали к Суржекею на услужение – разливать и подносить чай – самых красивых, холеных молодок. Кто знает, с каким намерением они посылали тех красавиц? Но Суржекей умел держать себя в руках. Он не позволял так легко запятнать высокое звание коммуниста. Конечно, среди красных командиров были и особо прыткие; опьяненные вседозволенностью и своей властью, припугнув баев оружием, беззастенчиво домогались ласк их жен и дочерей. На таких шустряков он давно таил гнев. Именно такие пройдохи позорили власть в глазах народа. Надо признать, и Суржекей не остался в накладе, кое-что от меда байских дочерей и ему досталось. Не один высокий байский шанырак пал к его ногам. Чего греха таить, немало было их, белолицых красоток, которые с плачем и мольбой льнули к его ногам, чего только не было в те смутные годы!

Пологие склоны лощины густо заросли густой полынью. Суржекей по пояс зашел в заросли и остановился там, стоял, окутанный табачным дымом, расслабленный, в благодушном настроении. Ступая осторожно и мягко, подошел Козбагар.

– Ну, и … кто домбристка? – спросил Суржекей, не отрывая взгляда от багрового вечернего солнца.

– Хансулу, кто же еще, – произнес Козбагар еле слышно.

Солнце с неспешным величием погружалось в трепетные заводи марева, косые лучи окрашивали степь в карминовый оттенок. В этот благостный вечерний час пустыня похожа на чудесный сказочный мир. И мнится, солнце – красавица, кутающаяся в темные шелка, чтобы скрыть свою красоту.

Как и обещал, Ждахай очень скоро вернулся с отцом – главой аульного совета. Не успел Суржекей оглянуться на топот копыт, как увидел впопыхах торопящегося к нему толстяка в черном развевающемся чапане, в темном

борике[1]. Кажется, в народе его прозвали Рысак. И совсем не зря, ишь, как колобком катится. Чапан на нем новехонький. Черный плюшевый воротник оторочен белым мехом. По виду ни дать ни взять – один из вчерашних баев, с которыми воевал Суржекей. Летит с умиленной улыбкой.

– Жекейжан, как здоровье, дорогой! – пухляк семенит, расплываясь в теплой улыбке.

Уважение к старшим в крови у казахов. Конечно, Суржекей – большой начальник, тем не менее он инстинктивно шагнул навстречу Жорга Курену, приближающемуся с распростертыми объятиями.

– Ассаламалейкум! – протянул он руку. Жорга схватил его ладонь и принялся тискать, мять, рассыпаясь в приветствиях.

– Дорогой Жекейжан, как здоровье семьи? Как здоровье невестки? Благополучно ли твое хозяйство?

– Шукур[2]... Шукур... Коке!

... Перестал у нас показываться. И нам некогда наведаться, до центра далеко. К тому же агашка твой уже немолод, немочь донимает, кости скрипят, ноют...

Суржекей вопросительно изогнул бровь, дескать, что еще там?

– Поясница... Радикулит мучал меня давно, а в последнее время – хватает за поясницу, да так – хоть стой, хоть падай, – объяснял Жорга Курен, поглаживая правой рукой ляжку, как бы намекая, как ему бывает трудно порой разогнуться. Затем, сменив тему, пробубнил:

– Поговорим, наверное, дома...

Встопорщив черные усы, Суржекей молча выжидал, глядя на холмистые дали на востоке. Какой-то подросток пешком гнал табун верблюдов в сторону Жанажола. Бог ты мой! Разве вот таким босоногим сорванцом не бегал он сам когда-то по степи? Дни и ночи напролет следовал за скотом. Осиротел очень рано. Пас табуны Есенея. Что за времена были! И кто думал, что так все повернется? Несметное богатство Есенея разлетелось в пух и прах. Его горделивая невестка Гульбарша, когда-то воротившая нос от Жекея, неприкаянного сироты, следуя по этапу в

---

[1] *Борик* – круглая меховая шапка.

[2] *Шукур* – мусульманское выражение: “Слава богу”.

Темирскую тюрьму, ночью пришла к нему, легла и обняла ему ноги.

Жорга Курен вздохнул, напоминая о себе. И Суржекей вспомнил, что тот ожидает его ответа.

– Наверное, лучше переговорить у ручья, – сказал Суржекей, по обыкновению выпятив губы.

Жорга Курен воровато оглянулся по сторонам:

– Давайте спустимся ниже в лощину! – пыхтя и отдуваясь, засеменил вперед. Суржекей молча последовал за ним. Жорга набрел на небольшую песчаную площадку, там он остановился и сел на колени. По его виду было понятно, что предстоит серьезный разговор. Уединившись в сумеречном уголке лощины, они приступили к беседе. Жорга, осторожничая, вытягивал шею, поглядывал по сторонам.

– Слышал я, браток, слышал про твои успехи... Твое имя теперь гремит по всей степи.

– ...Хватит! – прервал его Суржекей, махнув рукой. – Хватит... Давайте выкладывайте. Получил ваше письмо... Вот об этом речь.

– Ну, тогда... Все, что сказано в письме – правда... Правда, что в доме Серикбая нашелся тот самый портрет Сталина. Я принес его...

Жорга Курен сунул руку в карман вельветового бешмета. Вытащил свернутый платок, развернул и показал сложенные листы.

– Это мои документы... Ношу с собой. В наше время никому доверять нельзя, ни одному человеку.

Разложил на коленях платок, вытащил газетный обрывок и подал Суржекею.

– Вот, продырявил гвоздем лоб, не пожалел...

Суржекей бережно разгладил газету, на которой был напечатан лик любимого вождя, внимательно вгляделся. И в самом деле, на маленьком, всего с ладонь, портрете чернела дырка. Было видно, что гвоздь продырявил прическу вождю, а не лоб, как было извещено в письме.

– Гм-гм, – Суржекей поморщился, словно от зубной боли.

– Убедился? – подался вперед Жорга.

– Сюда... Посмотри сюда, на обратную сторону, Жекейжан. Здесь есть роспись. В тот день у Серикбая был его тринадцатилетний сын, это его роспись.

И в самом деле, на оборотной стороне газеты в уголке виднелся размазанный росчерк. Коряво написано рукой подростка: “Осербаев”.

– Где сейчас Серикбай?

– На отгоне... Пасет скот. Кстати, он самый ближний сосед Шеге, прихвостня Афанасия, шпиона. Они старые друзья.

– Ладно, пусть газета будет у меня, – сказал Суржекей, сложив портрет вождя вчетверо, спрятал в нагрудной карман. – Что еще у тебя?

– Говорят, с тех пор, как этот прихвостень Шеге был арестован, его мать и жена Хансулу чуть ли каждый день проливают слезы, проклиная Советскую власть.

Суржекей косо взглянул на него, помолчал немного.

– Вы это сами слышали?

– Женщины говорят, они все знают...

Суржекей недовольно произнес:

– Нам не нужны бабские сплетни... – повторил он громче.

– Жекейжан, голубчик... Говорят, без дыма огня не бывает.

– Если верить каждой бабской сплетне, то вскоре в этом ауле не останется ни чабанов, чтобы пасти скот, ни дехкан, чтобы сеять пшеницу, поняли, товарищ глава аульного совета? – возвысил голос Суржекей, чеканя слова. И хотя было довольно-таки темно, показалось Жорга Курену, что лицо Суржекея оледенело в гневе. Жорга не ожидал такого поворота дел. Суржекей прежде не оставлял без внимания любое слово Жорга Курена. Что это с ним? Стоило только ему услышать “враг народа”, как ястребом нацеливался на жертву он. Где тот твердый, как кремень, жестокосердный Суржекей? Пропади пропадом этот день, и что это он так взъерепенился?

– И на вас тоже мы получили заявление! – бухнул без всякой жалости Суржекей. Сказал и скосил глаза на темно-рябое, с как бы навечно приклеенной заискивающей улыбкой лицо Жорга Курена. Однако Жорга Курен и глазом не моргнул. Все также строит келейную улыбочку его физиономия. И показалось тогда Суржекею, что он впервые видит истинное лицо Жорга Курена. Суржекей едва не задохнулся от волны возмущения. Он с усилием

подавил приступ темной злости. И до боли захотелось ему содрать с физиономии Жорга Курена эту деланную усмешку, сорвать маску лицедея. С трудом совладел с гневом, но крик так и вырвался из груди.

– Ваша жена… на глазах всего народа, всего Жанажола самыми последними словами проклинала вашего сына Мэлса, – выдавил Суржекей. Сказал и скосил глаза на Жоргу. Думал, что тот сидит бледный от страха. Нет, оказывается, как ни в чем не бывало Жорга улыбается.

– Да, да, я вас слушаю, – повторяет он исключительно вежливо.

– "Чтоб смешался ты с глиной, Мэлс![1] Чтоб могила проглотила тебя, Мэлс!" – вот так орала ваша байбише. Вы понимаете… кого задевало проклятие женщины? Поэтому за эти слова вас с женой можно закатать в Сибирь аж до самой Колымы! – Суржекей последние слова выкрикнул с хрипом. Как будто со всего маха хлестнул по темно-пестрому лицу Жорга Курена. С этим порывом встал, трясясь от злости. Начал шарить по карманам галифе, ища чем бы зажечь потухший мундштук. Жорга Курен заметно изменился в лице, так повлиял на него окрик Суржекея. Приторная улыбочка сползла с физиономии подонка.

Суржекей почувствовал, что его самолюбие удовлетворено тем, что он едва не стер в порошок этого негодяя. Наконец правая рука нащупала кремень в кармане галифе и он, чиркнув пару раз, прикурил.

Курен сидел с несчастным видом, насупившись, словно ворон с подбитым крылом. Ну, улыбайся… Трави свою усмешечку. Захотелось тебе поиграть с Суржекеем. Небось, уже думал, Суржекей у меня в кармане, с Суржекеем у меня все на мази. Извините – подвиньтесь, Суржекей вам не заводная игрушка. Не погоняло в руках таких невежд и тупиц, как Жорга Курен! Было сказано – каждый сверчок, знай свой шесток! Кто ты такой? Тварь! Даже если он будет каждый день давить своими хромовыми сапогами таких слизняков, никто не одернет, дескать, что ты делаешь? И гроша не поставит на кон за

---

[1]*Мэлс* – казахское имя, аббревиатура из имен: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

таких, как вы, Суржекей! Так что, знайте, с кем связались. Захотелось вам потрепать льва за гриву. Вот так, товарищ Жорга Курен! Мне твоя клейкая ухмылочка не по нраву. Не забывай, кто такой Суржекей! Не протягивай руку к гриве льва. Съест заживо... Сидишь? Так сиди на месте, словно слабоумный пацан, пустивший под себя... Захотелось тебе поиграть с НКВД? Чекистов утопить в бабской сплетне...

Суржекей глотнул порцию горьковатого дыма, затянулся всей грудью... Зашагал туда-сюда, прохаживаясь под стенание кожи... Удалился в степь, и вскоре вернулся оттуда твердой поступью человека с армейской выправкой.

В это время Жорга Курен поднялся, понурый, подавленный. Молчал он.

Неспешно приблизился Суржекей. В темноте не разглядеть лица Жорги. Однако Суржекей зрит как бы сквозь сумерки и видит его истинное лицо. Оно, конечно, не в лучшем виде.

– Так...Товарищ глава аульного совета, какие у вас еще новости есть?

Жорга Курен замялся, с трудом выдавил из себя:

– Жекейжан, что еще я могу сказать...

– Ну, тогда за информацию спасибо. Проверим, изучим, оценим, так сказать ваш вклад... – кивнул головой Суржекей. Он повернулся и двинулся в сторону юрты, возле которой трещал, рассыпая искры, костер. Жорга Курен молча засеменил за ним.

– Проверим и факты о близких Шеге... Спросим как следует у жены... Если факты подтвердятся, заберем и ее, поместим рядом с мужем. Не будет никакой пощады к врагам народа.

– Жекейжан... я тоже хотел сказать о том же самом. Я только хотел назвать приспешников Троцкого и Кулымбетова, замаскировавшихся среди народа. Упаси меня бог, написать хулу на безвинного... Напраслину на кого-нибудь... Да что я, из ума выжил?

Суржекей понял, что хватил лишку.

– Ладно... Хватит тебе, – похлопал по спине Жорга Курена.

– Хорошо, браток Жекейжан... Я вернусь в аул. Ты отдыхай. Угощайся. Этого черного ягненка, которого

зарезали для тебя, я откармливал все лето. Пригодился-таки, как будто поджидал тебя. Вот так... Приезжай почаще! – схватив руку Суржекея обеими ладонями, Жорга долго тряс ее, не желая выпускать.

– Хорошо... Будьте здоровы! – сказал Суржекей, отвернувшись.

– Не забывай, что у тебя какой-никакой, но есть брат. Хотел я в такое трудное время хотя бы чем-нибудь помочь стране.

Он еще какое-то время кивал головой и махал рукой спине удаляющегося Суржекея.

Увидев Суржекея, распрощавшегося с Жорга Куреном, Козбагар и Ждахай, сидевшие у очага, разом подскочили и побежали навстречу дорогому гостю.

– Жеке, просим вас в юрту! – Ждахай выскочил вперед и ловко распахнул дверь. Суржекей медлил, остановился у двери, и как бы раздумывая, заходить или нет, изучал лица парней испытующим взглядом. Кроме радушия на этих простодушных лицах других чувств как будто нет. Внутри юрта ярко освещена. В центре на чугунной подставе переливаются огоньками угли. Кумган с теплой водой для омовения рядом. Разливает желтый свет керосиновая лампа. Круглый низкий стол завален всякой всячиной. Чего только тут нет – и баурсаки, и иримшик, и джент, и курт[1], и конфеты. Возле порога застыла в поклоне невестка.

Суржекей перешагнул через порог. Аромат свежезаваренного чая ударил в ноздри.

5

После чая подоспел и куырдак[2]. Ждахай как бы невзначай выставил на стол бутылку водки. Не успел он это сделать, как гость, возлежавший на почетном месте на подушках, принялся укоризненно качать головой. Таким образом выяснилась, что Козбагар был прав со своим предупреждением. Козбагар, хорошо знавший повадки начальника, заранее шепнул Ждахаю, что *он* при

---

[1]*Баурсаки, иримшик, джент, курт* – сладости и лакомства в национальной кухне.

[2]*Куырдак* – жаренное мясо с картошкой.

чужих людях к водке не притронется. Однако тертый калач Ждахай нимало не смутился. Под предлогом, что надо покормить грудного младенца, немедля отправил в аул Наркыз.

Гостю оставалось только дивиться мастерским уловкам Ждахая. Теперь, когда в юрте остались только они трое, и бутылка водки вновь вынырнула, заняв видное место на дастархане, благодушная усмешка тронула губы Суржекея.

– Но! Но! Но! – вроде бы предостерег он. На самом деле он не мог скрыть радости, ибо жизнь поворачивалась к нему самой приятной стороной. И под куполом юрты как бы засиял невидимый свет, это разгладилось хмурое лицо всесильного начальника. Он, Ждахай и Козбагар без лишних слов в единодушном порыве подняли вверх свои наполненные фарфоровые кружки. Затем снова...

– Ну-ка налей!.. – сказал Ждахаю. Ждахай тотчас метнулся к нему с бутылкой в руках.

– Ждахай, браток, полагаю, ты не держишь обиды на нас за тот самый случай... На это дело мы были вынуждены пойти... Сам знаешь, политическая обстановка в стране... обостряется... Враги социализма подняли головы... В такое время поневоле приходится быть строгим.

– Правильно... Все было правильно, Жаке. Никакой обиды у меня нет, кроме понимания и сочувствия к вам, – сказал Ждахай.

– Давайте выпьем за здоровье таких сознательных товарищей, как Ждакай! – Суржекей поднял свою кружку.

– Рахмет, Жаке! Мы никогда не забудем, какую честь вы нам оказали! Каждое ваше слово для нас – откровение! Рахмет, Жаке!

Суржекей, одним махом запрокинул фарфоровую кружку, затем резко качнулся вперед, низко уронив сморщенное лицо, одной рукой потянул головку очищенного лука, жадно вгрызся в нее, облегченно переводя дух. Через минуту, пару раз мотнув головой, он пришел в себя. Лицо, словно распаренное, порозовело.

– Ух! – выдохнул всей грудью, как бы выкидывая из головы всю смуту, затем, позабыв обо всем, накинулся на горячий куырдак. Парни, обрадованные тем, что настроение почитаемого гостя на высоте, заметно

оживились. Ждакай поближе пододвинул блюдо с куырдаком к гостю.

А для Суржекея мир становился все лучше и лучше. Он только теперь начал входить во вкус застолья. Отдых душевно распахивал ему свои объятия. И новая надежда озарила лучами своды поставленной для него юрты. И как будто засиял сокровенный свет жизни. И словно подлинный вкус куырдака только открылся ему. И огненные змейки побежали по жилам и суставам его тела, возрождая для новой жизни. И как будто его увядшее, снулое сердце разом пробудилось к неизведанным ощущениям.

– Молодец! – твердо подытожил он. И это слово только приоткрыло край чувств, которые щедро переполняли его душу. Доволен был он. В груди била ключом благодарность, особенно этому расторопному малому со смуглым, рябым лицом, круглой головой, постриженной ежиком, парню с душой нараспашку, расточающему широкие улыбки, Ждакаю. Пусть будет здоров этот человек, который смог заглянуть ему в душу и понять его! Хотя и отсидел в камере, понимает Суржекея, не таит обиды. Ну, как не умиляться таким джигитам!

– Ну, как, Жеке? Привезти домбристку, Хансулу? – азартно спросил Ждахай.

– Погоди малость, – Суржекей откинулся назад, взглянул на карманные часы. – Через полчаса можно будет послушать концерт.

Ждахай вновь потянулся к наполовину опорожненной бутылке. Бутылка приятно забулькала.

– Ну, Ждахай, браток, тебе слово! – сказал Суржекей, не заставив себя ждать. – Я, пожалуй, свою норму принял, бутылку спрячь подальше от глаз. – Оу, Жеке?!

– Нет, нет... Я сказал, хватит! Ну, говори!

Ждахай сел поудобней, выпрямился. Левой ладонью провел по жесткому ежику на голове. Правой поднял пиалу повыше.

– Жеке, я парень простой, скажу прямо без обиняков... Для меня вождь – это вы!

Суржекей оторвал голову от такой удобной мягкой подушки, взглянул косо:

– Но!.. Но!.. Но!.. – он покачал головой, грозя указательным пальцем.

– Конечно, для нас всех… для всего народа… *он* – отец… здесь спора нет… вождь всего угнетенного класса. А вы… вождь… здесь для всего района. Мы других не знаем…

– Гм-гм, – произнес Суржекей, как бы успокаиваясь.

– Будьте здоровы, ага! Главное… чтобы вы были здоровы! – Ждахай разволновался, голос его заметно дрогнул. В глазах показались слезы.

– Спасибо, браток, – кивнул гость. Затем все они трое молча поднесли к губам свои кружки.

Суржекей первым поставил на стол перевернутую посуду. Указательным пальцем ткнул в сторону бутылки, дескать, уберите подальше. Козбагар ловким движением запустил бутылку в сторону двери.

То ли от жара искрящихся углей на чугунной подставе, то ли от порции принятой на душу "огненной воды", гость почувствовал, как стал мягчеть застарелый ком в его груди. Он вытер платком пот, выступивший на лбу. Пару раз глотнул горячий чай со сливками. И эта уединенная юрта, изобильный дастархан, роящаяся жаркими углями чугунка, бесконечные просторы, лежащие за порогом, безмолвие степи – все это щемило сердце, напоминая о далеком детстве. И в самом деле, эта "огненная вода" хотя бы на малое время, но вроде бы избавила его от назойливых мыслей, подобно червю-паразиту вот уже столько дней и ночей грызущих и рвущих на части его воспаленный мозг. Он и врагу не пожелал бы такого зуда. Не было ему ни сна, ни покоя. О беззаботном смехе давно забыл. Ело и глодало душу ожидание чего-то неотвратимого, будто он какой-нибудь преступник, совершивший злодеяние. "Грех на тебе за безвинно погубленных" – эта мысль и есть тот червь, который жестоко терзает его душу. А другая сторона его сознания тотчас вступает в жаркий спор. Она начинает сопротивляться, приводить разные доводы, оправдывать арест каждого обвиняемого. Проклятый червь на некоторое время как будто затихает. Вроде бы успокаивается и он сам. Но стоит только ему забыться, оставшись наедине с самим собой, как голос вновь оживает, зачитывая черный список его деяний. Он без всякой жалости смешивает Суржекея с грязью, втаптывает в тину с головой. И в такие минуты

он не рад жизни. С трудом удерживается от жгучего желания взять винтовку, приставить дуло к голове и выстрелить в червя-живоглота.

И вот эта "огненная вода", пламенем прошедшая через глотку, только она – дурная вода смогла приглушить шепот червя. В прежние годы Суржекея нисколько не тянуло к зелью. Без особого повода не прикасался к ней, разве что только на тоях, и еще когда случалось загоститься у него дома почетному гостю. И вот теперь, на пороге сорокалетия он, открыл для себя еще одну заманчивую грань жизни.

Спустя некоторое время, очнувшись от дум, он увидел, что остался в юрте один. Те двое, видимо, ушли, чтобы не отягощать Суржекея своим присутствием.

И опять горечь принялась щемить еговстрепенувшееся было сердце. И вновь хладно остывает душа, прося чего-то. Кстати, где же обещанная домбристка? Сейчас ему ой как нужен кюй, музыка, чтобы закачала она душу волнами ритма. Встал, маетно заходил туда-сюда. Увидел темную домбру, висевшую на кереге[1] юрты. Взял ее в руки. Это был сработанный из сосны звучный инструмент. Подкрутил ушки. Сейчас бы ударить по тугим струнам, уйти в забытье в рокоте музыки, однако душевный порыв тут же погас. Домбра издала только жалобный стон.

– Но! Но! Но! – с досадой покачал он головой. Повесил домбру на место. В раздражении пошарил в карманах, ища мундштук. В это время открылась дверь. "Входи! Входи!" – уговаривал кого-то голос Ждахая. Суржекей уставился на вход. Сначала мелькнули подол красного атласного платья, загнутые носки черных сафьяновых сапожек. Затем показалась и сама женщина, тонкая в талии, она была в черном камзоле с золотой узорчатой канвой вдоль краев, голова покрыта белым платком, ее нежное личико было застенчиво и немного бледно. На мочках ушей покачивались удлиненные серебряные сережки. Они тонко и мелодично звенели, словно празднуя то, что их хозяйка пересекла сей порог. Они как будто излучали невидимый свет, озаривший юрту. Хансулу,

[1]*Кереге* – опорная решетка юрты.

перешагнув порог, слегка присела на правое колено, обозначая весьма учтивый поклон.

– Живи долго! – сказал Суржекей, моментально приосанившись, поправил воротник кителя, застегнув его на все пуговицы. Заметив, что изрядно смущенная молодка попятилась назад к двери, он вскочил с места:

– Проходите сюда! Присаживайтесь! – сделал он попытку услужить ей.

Свет лампы отразился в грустных, непроглядных, как ночь, глазах Хансулу, она прошла по краю текемета[1] и осторожно присела в скромном отдалении от стола.

– Но! Но! Пройдите чуть повыше!

– Мне достаточно и здесь, – едва слышно произнесла Хансулу, поправляя подол платья.

– Но! Но! – энергично покачал головой Суржекей, направляясь к своему прежнему месту. Затем он бросил взгляд в сторону двери:

– Эй, где вы ходите! – сердито позвал он парней.

– Мы здесь! – Ждахай и Козбагар тотчас вместе вошли в юрту.

– Садитесь! – приказал Суржекей, грозно шевельнув усами. – Ну-ка, услужите гостье.

– Гость у нас – это вы, Жеке, – робко возразил Ждахай.

– Хватит! – отрезал властным голосом Суржекей.

– Хорошо, хорошо, Жеке! – зачастил Ждахай, засуетился, затоптался рядом с Хансулу, стараясь пододвинуть к ней край дастархана. Козбагар шмыгнул в сторону, вернулся с кумганом и принялся наливать из кувшина на подставленные ладони Хансулу. Ждахай подскочил с полотенцем. Козбагар же уже раскладывал перед Хансулу ложки.

– Пейте чай, угощайтесь! – исподлобья глянул Суржекей, выпятив толстые губы.

– Нет… Спасибо! – сказала Хансулу.

– Но! Но! Не пойдет! Хотя бы попробуйте!

Хансулу взяла щепотку изюма и поднесла ко рту. Она смело взяла домбру в руки. Трое мужчин в юрте не сводили с нее глаз. Минуту назад, когда входила в юрту, на ее щеках горел румянец смущения, теперь же, похоже, она

---

[1]*Текемет* – тонкая войлочная подстилка.

освоилась, лицо выглядело естественно. В черных, как смородина, глазах вспыхнул шальной огонек. Ее пальцы пару раз ударили по струнам, затем она начала подкручивать ушки домбры. Мужчины притихли, глядя на эти движения домбристки. Сейчас они как будто ожидали чего-то от Хансулу, сидели, как заговоренные, не смея шевельнуться.

В ее руках небольшая темная домбра, ее собственная домбра. Накануне Ждахай забрал ее, сославшись на приезд Суржекея. Он сказал: "Если ты хочешь узнать что-нибудь о Шеге, нет более удобного случая". И она поняла, что небезызвестный Суржекей, которого аульчане боялись, словно Азраила – ангела смерти, желает насладиться музыкой за дастарханом. И она подумала: "Кто как не Суржекей может сообщить ей вести о Шеге, томящегося в тюрьме?" И Ждахай еще шепнул ей как-то странно на ухо: "...если придешься по нраву Суржекею, то, глядишь, и пособит освобождению Шеге, для него это как пару раз плюнуть, в удобный момент напомни ему об этом". Поэтому Хансулу, оставив при отаре свекровь, заранее приехала в Жанажол. И до самого вечера маялась, не сводя глаз с двери, ожидая от Ждахая приказа.

Настроенная для кюя, широкая и круглая в нижней части, черная домбра начала подрагивать в ее руках, словно застоявшийся скакун, просящийся в стремительный намет. И теребит, и рвется разлиться потоком, гудит горловым, гортанным голосом. И давняя тоска, черной желчью палящая нутро, бьется теперь, чтобы вырваться кюем, клокочет, чтобы ударить родником, нашедшим ход в каменной теснине. Но кто знает, отчего голос черной домбры, подруги ее души, на сей раз вырвался плачем верблюжонка, ищущего потерянную мать. И обида, сжимавшая грудь, пробила путь и вырвалась глухим стоном струн, гулким кюем, в котором ее мятущаяся душа теперь стремилась сбросить оковы. Она, затаенная во хмари, и хоронилась бы там, будто напуганная змеиным холодом суровой души, но... домбра позвала... кликнула властным голосом кюя. Недавно, войдя в юрту, увидев черноусого человека, бросившего на нее змеино-гипнотический взгляд, Хансулу вся сжалась, будто в каменной щели оказалась, чувствуя себя так, будто ее начали душить. Но теперь, когда забурлила волнами

музыка, ее душа воспрянула вместе с кюем, и она вздохнула полной грудью.

И мелодия черной домбры, заливаясь стенаниями дитя по потерянной матери, обдавая просторы рыданиями, затрепетала порывистым ветром, она распахивала перед слушателями другой мир, поднимая их души из мрачных и душных темниц в дивный мир могучей красоты.

Вот музыка оборвалась, но трое мужчин продолжали уныло сидеть, словно придавленные свинцовой тяжестью. Тараканьи усы Суржекея обвисли. Он сидел молча, с печальным видом глядя вниз. И, словно уяснив нечто из случившегося, продолжал кивать головой. Похоже, он был полностью захвачен ворвавшимися в душу чувствами.

... Сизо-черная буранная ночь с рыданием и стоном хлещет по каньону сурового времени, и печалится и бьется в сердце объемный ритм безмерного плача... с пепельным шелестом и шуршанием поднимает голову древний напев, разбуженный силой черной домбры. Это был кюй "Кишкентай". Кюй яростный, неукротимый. Спустя некоторое время, музыка сгустилась на одной ноте, мрачной осенней тучей зависла в воздухе. Вдруг, оглушая мир свистом, она понеслась, завихрилась. И затем беснующаяся многоголосая буря безудержно хлынула на вибрирующую, словно струна, плоскость пространства и с ревом и стоном покатила вдаль. Февральской разлохмаченной вьюгой полетела над миром, постепенно ослабевая в глуши.

– Но! Но! – вскочив, вдруг, закричал весь всклокоченный Суржекей, мотая головой. Он пошатнулся и едва не упал, к счастью рядом оказался Козбагар, который успел поддержать его. Ждахай подхватил под руку едва держащегося на ногах гостя.

– Но! Но! Пустите меня! Что это вы? – Суржекей, покачиваясь, вперил мутный взгляд в джигитов. – Пустите! Курить... Покурить мне надо... Вы... мне еще чашку налейте!

– Сейчас, Жаке, в один момент! – Ждахай присел на колени у стенки и сунул руку за какой-то тюк. Непочатая бутылка рыбиной сверкнула в его руках. Козбагар стоял рядом с покачивающимся начальником, бережно придерживая его. Суржекей полез во внутренний карман

кителя и вытащил оттуда кисет и мундштук. Разлохмаченные волосы косо легли на лоб, закрыв ему глаза. Козбагар неуловимо быстрым движением взял кисет, не мешкая, принялся развязывать узелок. Начальник подставил мундштук. Козбагар взял щепотку мелкого табака и принялся набивать трубку.

Пьяный гость искоса взглянул на Хансулу, понуро сидевшую на своем месте, обняв домбру.

– Невестка… ты… извини… мы сейчас!

Угли, играющие искорками на чугунке, как будто заворожили ее, Хансулу, глубоко ушедшая в свои думы, испуганно вздрогнула и подалась назад.

Ждахай все еще с той же ловкостью разливал водку в четыре кружки. “Он что, в своем уме, почему он наливает и мне?” Хансулу перевела взгляд на жарко алеющую кучку углей на подставе, в ее непроницаемо черных глазах сверкнул огонек.

Рядом грузно упал на колени Суржекей, он наклонился, пытаясь прикурить от углей. Однако Козбагар опередил его, он шмыгнул вперед, выхватив дымящуюся головешку. С той же быстротой повернулся к начальнику и помог ему прикурить. В воздухе поплыл дурманный дым.

– Ну, Жаке, присаживайтесь! – Ждахай опять оказался тут как тут.

Суржекей с наслаждением втянул в себя дым и, подняв голову, выдохнул несколько сизых колечек в сторону открытого тундука[1]. В отверстии были видны звезды, которые как бы лукаво перемигивались меж собой в пучине тьмы. И почудилось, что звезды чем-то возбуждены. Мир качнулся под ногами. Суржекей непонятно от чего прыснул в невольной усмешке. И чего это его расслабило от двух-трех глотков водки?

– Ну, – сказал Суржекей, тяжело плюхнувшись назад у самого края текемета.

– Ой, Жаке, проходите на тор!..

– Стоп! – Суржекей взял кружку.

– Этот тост мы должны поднять за… сестренку… то есть невестку, которая сыграла кюй… за ее здоровье!

– Правильно!

---

[1]*Тундук* – отверстие в куполе юрты.

– Правильно! За здоровье Хансулу! – наперебой затараторили Ждахай и Козбагар.

– Ну, Хансулу, держи!.. – Ждахай схватил кружку и подбежал к Хансулу.

Хансулу в испуге попятилась назад, словно Ждахай поднес ей не водку, а ядовитого скорпиона.

– Ты в своем уме… не буду я пить! – прикрикнула она на Ждахая.

– Ладно тебе противиться, красавица! Не умрешь же от одного глотка, держи! – суетился Ждахай, протягивая кесе[1].

– Не буду пить, – повысила голос Хансулу, съежившись, пятясь к тюку.

– Черт, испортит все, – с досадой сказал Ждахай.

– Стоп!– поднял указательный палец Суржекей, метнув взгляд из-под волос, упавших на глаза. – Невестка не будет пить… мы выпьем за здоровье невестки. Ну, айналайын, за тебя! Будь здорова, будь счастлива!

Выпив, Суржекей перевернул кесе. Ждахай тотчас сунул сморщившемуся начальнику очищенную головку лука. Тот куснул лук.

– Ух! – с удовольствием тряхнул головой.

Мир был полон сил, перекатывался волнами. И видел Суржекей в окоеме только свою трубку. Вдыхал, упивался клубами ароматного дыма. Голубой дымок щекотал носоглотку, томительно кружил голову. Земля плыла, качалась. Гулкие невнятные звуки доносились, словно из-за стенки. Женский голос повторял: “Пустите, я уйду!” И мужской голос умолял, настаивал: “Погоди немного! Потерпи! Пусть он разрешит уйти!”

Попытался найти он источник этих перекатывающихся звуков, оглянулся, с трудом повернув тяжелую, непослушную голову. И узрел замершую у порога изящную прелестную молодку в длинном малиново-красном платье, в узко приталенном камзоле-безрукавке. У смуглянки этой удлиненное красивое лицо, стройная шея, гибкое зрелое тело. “Кто это?” – с изумлением вопросил Суржекей. Никогда он доселе не видел такой красивой девушки. Да, правильно делают парни, – не

---

[1]*Кесе* – пиала, посуда.

уступая ей, крепко держат двери, не пускают на улицу эту райскую птицу. На ней белый, словно первый снег, платок. И будто струйка свежей крови, тянется по краям красный шитый узор. И из-под платка две косы легли на круглые бедра. Как будто точеная, стройная, чуть выше среднего роста, худощавая фигурка. И почему такой райский цветок оказался в руках недотепы – Шеге, а не такого нойона, как он, попирающего народ целого района? Что это за прихоти судьбы? Чтоб ее, эту судьбу, если на то пошло, он и ее может через колено... Если на то пошло, он и эту строптивую, гибкую, как ива, молодку прижмет, придавит, так что... Попробует брыкнуться, оседлает он ее враз, даже шевельнуться не сможет! Будет брыкаться – не видать ей детей, как стаявшую соль. Поэтому, если он захочет... то на торе этой уединенной юрты... эта молодка будет красоваться нагая, как новорожденное дитя. Если он пожелает, станет послушной токал[1] Суржекея. Чтобы принимать его коня, когда он будет наезжать время от времени, чтобы поваляться в ее постели. Если он пожелает... сегодня... нет ничего невозможного для него...

Суржекей, шатаясь, поднялся. Подошел к тем, что спорили у двери.

– Что это вы тут? – взъерошенные волосы мешали ему видеть. Встопорщив усы, мутными зрачками вперился в женщину. Молодка смущенно потупилась.

– Гостья наша что-то заторопилась...

– Не пускаем ее, Жаке, – наперебой затараторили парни.

– Но! Но! Но! – Суржекей схватил Хансулу за руку. Схватил крепко, будто клещами, и потянул к тору. Боясь обидеть его, Хансулу не стала противиться. Возможно, если бы она оказала сопротивление, Суржекей ударил бы ее по лицу со словами: “Сучка! Кулацкий выродок! Вы... паразиты, сосавшие кровь трудового, рабоче-крестьянского народа!.. Теперь вы брезгуете дастарханом простого народа, нос воротите, а?.. Не хотите с сынами вчерашних батраков? Да они покажут вам кузькину мать!” – и в самом деле, казалось, уже закипал злостью он. Однако, к ее счастью, она не противилась... послушно следовала за ним.

---

[1]*Токал* – младшая жена.

– Садись! – толкнул ее на текемет. Ни живая, ни мертвая от страха, без кровиночки на лице, она плюхнулась на подстилку.

– Держи! – протянул домбру Суржекей. Хансулу взяла дрожащей рукой домбру.

– Айналайын, играй! Не оглядывайся… Хоть весь мир треснет и провалится в тартары… играй! Сегодня ты… рядом с твоим дядей… ничего не бойся! Играй кюи казахов! Сегодня твоему дяде море по колено… сам черт не брат!

– Правильно!

– Правильно говорит, Жакен! Ну, Хансулу! Еще один кюй… ну-ка, понеслась, чтобы чертям стало тошно!.. Не каждый же день тебя просит удалой Ждахай!

На щеках Хансулу вспыхнул румянец, возбужденно расширились ноздри. Бездонные черные глаза заискрились смоляным огнем. Едва пальцы прикоснулись к струнам, как гулко отозвалась домбра. Черная домбра не заставила себя ждать, она затрепетала, запела, зарыдала. И вновь глубоко залегшая печаль всколыхнулась тяжелой волной, вспенилась, и, не вмещаясь в берега, забурлила, зашумела иссиня-черным морем. И над этим глухо стонущим морем печаль-тоска полетела серым гусем, безутешно зовущим подругу. Это был скорбный кюй "Заман-ай". Степных людей постижение о грани между жизнью и смертью, кюй, сложенный в лихую годину, бессмертная музыка, жгучее пламя, вырвавшееся из народного сердца. Печаль-тоска народа, черная кручина, родившаяся на тернистых путях, когда лихолетье гибельным смерчем вилось над степью.

Сжав ладонями виски, закачался, задрожал Суржекей. Обхватил судорожными кистями ноющий лоб. Затрепетал в ритм музыки. Зажмурив глаза, низко понурился Суржекей. Мчался, разростался между небом и землей неистовый смерч.

Слезы обожгли глаза, Суржекей вскочил и бросился к двери… споткнулся, растянулся всем телом, уцепившись руками за порог. И слезы хлынули неудержимым потоком. Толчками рвались из груди спазмы, разрывая сердце. Шатаясь, он бросился наружу. Непроглядная ночь кружила омутом, была тьма тьмущая. Он оказался в

густых зарослях дикой ржи, здесь запнулся, упал, растянулся, обнимая землю руками. И только теперь дал волю рыданиям, которые с неистовой силой били и раздирали грудь. С тех пор как стал джигитом, сел на коня возмужания, в первый раз жизнь взяла его в такой оборот. Ручьем текли слезы. Плечи его сотрясались от судорожных рыданий. Те двое, что остались в юрте, не могли понять, что стряслось с Суржекеем, так и не дослушавшим кюй.

"Наверное, сдавило сердце, вот и вышел на чистый воздух, чтобы вздохнуть", – недоумевали они. Подождали, надеясь, что он вернется сам. Однако, Суржекей что-то задерживался. Тогда Козбагар и Ждахай вышли наружу. Они принялись искать гостя.

"Бедная моя головушка, и еще от них ждала помощи" – оставшись одна, Хансулу с тоской огляделась, подождала немного, взяла домбру и вышла из юрты. Козбагар и Ждакай в поисках пропавшего гостя перекликались где-то в отдалении.

Хансулу, не раздумывая, поспешила домой. В сплошной темноте она шла по подножию холма, интуитивно находя тропу в аул.

ХАНСУЛУ

1

Затем... после этого случая Хансулу оказалась как бы одна в своей пустыне, брошенная всеми. Теперь аульчане все как один избегали посещать ее сиротливый, стоявший на отшибе, дом. Только и осталось ей одно – следовать днем и ночью все за той же отарой. Пожилая свекровь томилась своим горем, сокрушаясь по поводу судьбы сына и невестки. И еще маленькая Умит была с ней. Подросший Тугелхан пропадал на учебе в ауле. Очередной осенний день тянулся, как нескончаемая лента, изматывая однообразием Хансулу, которая, по обыкновению, сидела рядом с пасущейся отарой, вперив тусклый взгляд на дрожащее марево над горизонтом. Глядела она на запад в сторону Жанажола, не попадется ли в глаза черное пятнышко, но расстилающаяся степь была безжизненна. Вдруг покажется какой-нибудь прохожий, и тогда, возможно, она услышит какую-нибудь весточку о Шеге.

После того злосчастного случая решила – лучше умру, чем увижусь еще раз с нечестивым Ждахаем. Поначалу исходила злостью на Козбагара и Ждахая за их выходку. Сожалела горько и все на свете проклинала.

В последний раз, когда была в ауле, услышала она от младшей сестры Шеге кое-какие новости. Маленький, всего в тридцать домов, аул судачил о неправдоподобном. Из сказанного она поняла, что у многих "врагов народа" были арестованы их жены, дети, братья, даже соседи и друзья-товарищи. Всюду и везде, даже в больших городах, похоже, события происходили по одной и той же схеме. Говорили, что арестованные не вмещаются в тюрьмы. Поэтому кое-где часть задержанных темными ночами вывозят за город и там без суда и следствия расстреливают. Якобы власть не щадит даже тех, кто проявляет жалость к родственникам врагов народа. Якобы народ не связывается с ними, боясь Жорга Курена. Давно уже среди людей ходили слухи, что Жорга Курен – сексот, агент НКВД. Дескать, у людей на это открылись глаза, особенно после последнего приезда Суржекея, когда Жорга Курен, Ждахай и Козбагар обхаживали службиста. Дескать, хотя аульчане и на дух не переносят Ждахая и Жоргу Курена, тем не менее при встрече с ними или их домочадцами не забывают лебезить перед этими подлецами.

Так народ потерял лицо. Особенно в последние два месяца люди дошли до того, что начали пугаться чуть ли не своей тени. Человек перестал верить человеку. Люди жили, ожидая подвоха или предательской подножки.

Погоняя медлительно ступающего верблюда, она обогнула отару и вышла на тропу, вьющуюся в зарослях полыни. И сразу взгляд зацепился за купол одинокой юрты, возвышающейся на берегу Тущибулака. Затем она увидела всадника, едущего через степь к ее дому. Сердце так и застучало. Астапыралла[1]! Этот всадник гнал перед собой скопление каких-то мелких животных. Кто это?

Сердце колотилось, не вмещаясь в груди. Она натянула поводья, остановила верблюда, вглядываясь. Кто же это?

---

[1] *Астапыралла* – казахская транскрипция коранического выражения "Спаси, бог".

2

Это был Ждахай. Перед собой он гнал с десяток баранов. Одну часть небольшой отары он оставил в загоне Серикбая. Другую часть вместе с Тугелханом теперь перегонял в Тущибулак. Из аула он выехал утром часов в девять. Тугелхана забрал из школы, отпросив с занятий. Для этого была своя причина. Ждахай вчера был в Наркамысе. Там он услышал от Козбагара интересную новость. Оказывается, Шеге, по решению суда, был по статье 58-й отправлен по этапу в Сибирь. На сколько лет – неизвестно. "Самое малое – лет на восемь", – предположил Козбагар. В следующую среду с актюбинского вокзала Шеге уйдет с этапом в Сибирь. "Если Хансулу приедет, я буду в Актюбинске" – передал весточку Козбагар. При этом он просил, чтобы об этом знали только они трое. Эта новость пришлась Ждахаю весьма по душе. И он сильно обрадовался. Его ободрила весть, что Шеге надолго исчезнет за тридевять земель. Конечно, от Шеге он ничего плохого не видел. Однако если Шеге будет в ауле, Ждахаю такого авторитета, как нынче, конечно, не видать. Это ясно как божий день. Если Шеге, как раньше, будет хозяйничать в ауле, Ждахаю большим человеком не быть, тем более – не править аульчанами. Кто сейчас в силе и почете в Жанажоле? Ждахай в почете и силе! У всех на устах имя Ждахая. Внимание людей приковано к Ждахаю. И он понял: в этом ауле должен остаться либо Шеге, либо Ждахай – двоим нет места. Он узрел эту грубую правду в те давние дни, когда в сундуке Хансулу было найдено золото, и Шеге арестовали в первый раз. Когда, отсидев два года Шеге вернулся, Ждахай затаился в страхе, что с помощью Афанасия Шеге приберет власть в ауле. Однако непонятно почему Шеге ушел в чабаны пасти скот на отгоне. Тем не менее Ждахай не мог успокоиться. Его стало сильно тяготить присутствие Шеге, подчиненного ему чабана; вынужденный встречаться с ним на тоях или вечеринках, он всегда ощущал себя не в своей тарелке. Рядом с этим парнем надо было быть начеку. Принимая порой для храбрости порцию зелья, развязывающего язык, он не раз становился посмешищем для людей. Постепенно он стал

считать виновником своих унижений именно Шеге. Это он связывал с непонятным превосходством Шеге. Заметил и особое уважение, которым тот пользовался у аульчан. Не говоря о другом, усмотрел причину своих бед и в том, что у Шеге была красавица-жена. Кто из мужчин в этом крае имел такую жену? Даже у такого начальника, как Суржекей, держащего целый район в кулаке, нет такой красивой женщины. Нет-нет, а посещала его такая догадка: не благодаря ли жене-умнице сделался Шеге вот таким азаматом. Когда ходил в таких заботах-хлопотах, опять, как снег на голову, упала весточка: Шеге – враг народа, прихвостень Афанасия. Да, надо признать, Ждахай поставил подпись на какой-то бумаге. Когда НКВД прижало его к стенке, он вынужден был подтвердить, что Шеге затаил в душе вражду к Советской власти. Таким образом, он выступил не на стороне Шеге, предавшего свой народ, а на стороне трудовых масс, Советской власти. Ждахай – истинный сын Советской власти, поддерживающий сталинскую политику, не как Шеге – шпион и предатель Родины. Все – отечество, партия, Сталин – на стороне Ждахая. Пришло время справедливости. Сгинуло время таких критиканов Советской власти и лживых попутчиков, как Шеге. Сама эпоха вывела вперед Ждахая. Поэтому он до последней капли крови будет преданно служить великому вождю Сталину. Теперь стоит задача вытравить из памяти народа имена таких предателей-ревизионистов, как Шеге, подвергнувших сомнению дело социализма.

Так он избавился от Шеге. Отправили человека в Сибирь – считай, что солнце закатилось для него. Однако изюминка замысла заключалась в другом. Смысл в том, что, избавившись от Шеге, Ждахай отнюдь не был намерен отдаляться от его жены. Когда он услышал от Козбагара, что Шеге осужден, он был на седьмом небе от счастья. Подвернулся удобный случай повидаться с Хансулу, тем самым загладить вину за тот самый казус. Как раз наступило время случки овец, он отобрал из отары Каукаша несколько десятков баранов, их то и перегонял в Тущибулак.

В былые годы Хансулу не посчитала его за достойного джигита. Наверняка эта горделивая красотка уразумела

теперь, кто есть кто. Вот так, неудачник Ждахай все-таки показал, кто он такой на самом деле! Наконец-то наступило его время! Иные красотки, заносчивее Хансулу, не только в одном этом ауле, считают за честь послужить ему. Все они упрямицы поначалу, но потом, позабыв обо всем, играют в его объятиях. До строптивости ли этим вдовам при живых мужьях, если для них нет большей радости, чем внимание такого молодца, как Ждахай, когда, плюнув на то, что имеет дело с супругой врага народа, он навещает запретную постель.

Этот день Ждахай ждал с особым нетерпением. И душа и тело его томились в предвкушении этих медовых дней.

Вот и показалась одинокая серая юрта на берегу Тущибулака. Из юрты вышла Жайбаскан, она застыла у двери, пристально вглядываясь из-под ладони на наездника, видимо, не узнавая его.

Ждахай спешился у столба, привязал коня.

– Салем, апа! – с громким приветствием направился к ней.

– Ойбу, неужто это ты, Ждахай? – всполошилась Жайбаскан, неловко переваливаясь, заторопилась к нему.

– Ойбу, что-то давно не было видно тебя, здоров ли ты, светик мой? Все ли живы-здоровы в ауле? Как чувствуют себя твои почтенные родители? – чуть ли не на цыпочках подплыла она, схватила его за руку и начала часто-часто пожимать ладонь.

Ждахай замялся, тем не менее в таком же духе ответил на ее приветствие.

– Проходи в дом, – Жайбаскан повернулась и проворно засеменила впереди. Невысокая и полная старуха, тучной гусыней переваливающаяся при ходьбе, рысила сейчас перед ним с неожиданным проворством. Ждахай усмехнулся, едва не прыснув от смеха.

После того самого случая страсть Ждахая к Хансулу только усилилась. А ведь эта молодка, оказавшись лицом к лицу с самим железным Суржекеем, без обиняков дала решительный от ворот поворот азамату, держащему в ежовых рукавицах целый район. Она не упала к его ногам ласковой собачонкой, дескать, передо мной не кто иной, как сам повелитель, рыкающий львом. Ни на йоту не изменила своему прежнему гордому нраву. Пай-пай, вот

это женщина! А что потеряла бы она, дав желаемое Суржекею? Ничего не потеряла бы. Наоборот, может, тем самым помогла бы своему несчастному муженьку высвободиться из неволи. Во-вторых, если бы она стала любовницей Суржекея, в этом крае не нашелся бы такой смельчак, который осмелился бы пойти поперек ее воли. Нечего и говорить, даже сам Ждахай во главе всего Жанажола плясал бы под ее дудочку. Зная это, она не перешагнула через черту... Пай, пай, что за женщина!

– Ну, сынок, входи в дом! – чуть ли не упрашивала Жайбаскан, распахнув дверь юрты.

– Хансулу где, с отарой? – Ждахай, нагнувшись, перешагнул через порог, бросил коржун у входа.

– Да, сноха в степи, пасет овец. Должна уже вернуться! – старуха грузно опустилась на корпе. – Тугелхан, сынок, сбегай за матерью, пусть идет домой.

Ждахай вольготно разлегся на текемете.

3

Раскинув руки, Хансулу обняла, прижала к груди подбежавшего ненаглядного сыночка. Из глаз закапали слезы.

Перешагнув порог, она первым делом заметила дастархан, расстеленный в центре юрты. И чай тоже был уже заварен и налит в кесешки. Ждахай, вольготно лежавший на подушках на самом торе[1], увидев ее, живо поднял голову.

– Хансулу, здорова ли ты? – осклабился в улыбке, поглаживая коротко подстриженную голову. Краска бросилась в темно-рябое лицо растерявшегося парня. Предчувствие сжало сердце Хансулу, и она уже поняла, что дальше последует. Ясно, он привез ей отнюдь не радостные вести. Но вот обмен приветствиями закончился, Хансулу, сполоснув руки, присела у края дастархана, и тотчас в доме воцарилась напряженная тишина.

– Раз вы собрались все вместе, я должен кое-что сообщить вам, – Ждахай, волнуясь, начал с дрожью в голосе. – Вчера в райцентре встретил Козбагара...

---

[1]*Тор* – почетное место в юрте.

Ждахай пригладил свой ежик. Он был в замешательстве, не зная с чего начать, как бы сделать так, чтобы не обрушивать сразу тяжелую весть на голову хозяйки юрты. Он почувствовал нечто похожее на жалость к Хансулу и старухе, женщинам, которые с трепетом взирали на него. Они просто окаменели в ожидании продолжения речи.

– Козбагар передал вам такой салем: "Если хотите попрощаться с Шеге, я жду вас в среду в Актобе, арестованных этапом отправят оттуда", – Ждахай замолчал, выжидая, что будет дальше.

Горестно замершие женщины с трудом пришли в себя:

– Что такое этап?

– Скажи яснее, – чуть ли не хором попросили обе женщины.

– Этап означает отправку в далекий путь.

– Значит, дали срок?

– Что он говорит, ойбай! Всемогущий бог!.. – запричитала Жайбаскан.

– Я ничего не знаю… Козбагар так передал вам. Он не знает также, сколько лет дали.

Побледневшая Хансулу сидела молча с неподвижным выражением на лице.

– О, бог, всемогущий бог! – раскачивалась в плаче Жайбаскан.

– Я спешу, мне надо ехать! – Ждахай поднялся с места. – Мальчик пусть пока побудет с вами, поможет вам.

– Бог, всемогущий бог, в чем моя вина?!

Ждахай быстро вышел, сел на коня и поспешил уехать подальше от этого места, где горькие вопли резали ему слух.

– Всемогущий бог… в чем вина ненаглядного моего сыночка?! Не разошлись тучи над его головой… Жеребенок мой… в чем твоя вина перед всевышним?! – заходилась в плаче Жайбаскан, перегибаясь в пояснице. Она прижимала пожелтевший платок к глазам и сокрушенно, тяжко вздыхала.

Хансулу сидела все в той же позе, застыв ледяной статуей. На ее лице не было ни кровиночки. В эти окаянные дни, как ни подкашивало душу отчаяние, Хансулу не теряла надежды, что справедливость

восторжествует, что белое останется белым, что усилия оклеветать ее мужа будут напрасными, что невиновность Шеге будет доказана. Одна только эта надежда и поддерживала ее душевные силы все эти месяцы. Но вот и эта опора рухнула. И она разом лишилась стержня, которым крепился ее дух. Как теперь ей быть, как жить дальше на этой земле? Как она сможет поддерживать существование этой несчастной старухи, малых деток своих? Какая же из нее опора для семьи, если она не знает, куда ей теперь приклонить бедную голову свою?

Старуха, словно потеряв рассудок, качалась из стороны в сторону, платок сполз с головы, белые волосы дико разлохматились. На нее смотреть было страшно, Хансулу безмолвно поднялась, неживой тенью двинулась к выходу. Взяла за руку маленькую Умит, стоявшую у входа и во все глаза глядевшую на происходящее. Вышла наружу...

Направилась к рассыпавшейся отаре, овцы в косых разливах заката медленно продвигались по степи в сторону аула. Сейчас для нее не существовало другого способа, который хоть как-то помог бы ей забыть об услышанном. Казалось, яд распространялся по всему организму. Проклятая судьба вновь схватила за горло костлявыми кистями. Внезапно она судорожно задышала, хватая воздух набухшим ртом.

...Сумерки опускались темным пологом. Степь накрылась слоями мглы. Лай собаки бухал в глуши. В стороне загона слышался треск рогов сталкивающихся баранов. Тугелхан и Умит о чем-то перешептывались где-то рядом, они не решались подойти к горестно насупленной матери.

Хансулу осознала, что видит железную печку, из зева которой вырывалось красное пламя. И она поймала себя на том, что безвольно сидит рядом с печкой и неотрывно, бездумно смотрит на огонь. То ли от шального ветерка, то ли от силы пламени, труба жалобно гудела, постанывала.

– Крепись, дочка, – сокрушенно вздохнула Жайбаскан, как бы продолжая недавно прерванный разговор, – Слезами горю не поможешь! Остается только затянуть поясницу, мужаться. На все воля бога! На семь бед,

говорят, один ответ. Непосильная ноша, говорят, ломает слабый позвоночник. Соберемся с духом, другого выхода нет. Крепись! Утром с Тугелханом отправляйтесь в путь. Даст бог, через две ночевки в степи доберетесь до Актобе.

– Если заберу с собой Тугелхана, кто за овцами смотреть будет? – спросила Хансулу.

– С божьей помощью мы с Умит управимся.

– Нет, лучше заберу Умит, а Тугелхан останется пасти отару.

На рассвете, положив в коржун хлеб, вареное мясо, взяв теплую одежду, Хансулу и Умит сели на черного верблюда.

Темноликая старуха вновь прослезилась.

– Вот немного денег, что копила на черный день. Если получится, если повезет, отдай Шеге, – она подала ветхий узелок.

– В городе бывают воры, грабители, будь осторожна, дочка, спрячь деньги под одеждой.

Черный верблюд с недовольным ревом поднялся на ноги. Жайбаскан отчаянно взмолилась:

– Господь, творец всемогущий, защити! Кыдыр-ата да будет вам поддержкой! О духи предков, помогите!

Черный верблюд, ступая важно и мягко, начал отдаляться от одинокой юрты в степи. И пока они не скрылись за горизонтом, старуха все стояла у дома, глядела из-под ладони, провожая их неотрывным взглядом.

4

У их верного верблюда шаг неспешен и величав. Качает он своих наездников, словно убаюкивает, переваливается, ступает пружинисто. Куда ни посмотришь – всюду стелется выжженная, безлюдная, суровая степь. А ведь этот край некогда был густо и разнообразно населен. У каждого холма или косогора располагался какой-нибудь аул, а по склонам пасся многочисленный разномастный скот. Бывало, едешь по степи, и считаешь – вот аул такого-то паленщебая[1], вот аул такого-то тугенщебая, и за этим делом не замечаешь, как укорачивается дорога до Жема.

---

[1]*Паленщебай, тугенщебай* – нарицательные слова, означают – любой человек.

Ныне же признаков того многолюдья нет. Осиротели, разбрелись люди, разбежались куда глаза глядят. Лишь печально темнеют могилы и мазары на сутулых горбах косогоров. И громоздятся развалины некогда многолюдных мечетей. Былого населения давно нет. Многие аулы откочевали. Разметала их судьба по степям и пустыням. Кто был состоятельней, ушли в Иран и Афганистан. Те, кто не смог этого сделать, остались в теплых краях узбеков, туркмен, каракалпаков. Других же, кому это было недоступно, ждала страшная участь мора – их кости остались лежать по оврагам, балкам и лощинам бескрайней степи. Не все легли костьми на этой земле. Немногие из тех, кто остался в глухих местах, выжили в жуткие 32-33 годы. Голодающие ловили и ели мышей и сусликов, варили траву. Смерть настигла родителей Хансулу в диких распадках меж барханами, такая же судьба ждала многих других. Мор косил людей несчетными толпами.

Печаль скребет душу Хансулу. Черный верблюд все так же бредет и усыпляет своим размеренным шагом. Умит сидит, прижавшись к ее спине. Похоже, дочь уснула. Когда они перевалили восточный отрог Космуруна, на западной стороне завиднелась небольшая темная юрта. В отдалении от дома пасся малый табун лошадей.

Рыся полегоньку, наездница к обеду добралась до реки Жем. Обогнув по верховьям Наркамыс, переправилась по броду у подножья горы Караул. Река сильно обмелела, вода не доходила и до колена верблюда. На расстоянии одного перехода виднелись дома Наркамыса, рассыпанные по высокому берегу, однако Хансулу проехала на изрядном отдалении от села. И сквозь слезы мнилось ей, что ее провожают невидимыми взглядами те незабвенные денечки, когда они с Шеге были счастливы вон в том дому над обрывом.

Оставив позади Наркамыс, затем станцию Темир, она выехала на караванную тропу, ведущую в сторону Актобе. Теперь она знала, что не заблудится в степи. Остановив верблюда среди небольших барханов, поросших жузгеном, устроившись в тени под кустарником, они с Умит подкрепились едой, прихваченной из дому. Отдохнув малость, размяв суставы, вновь сели на верблюда.

Привычные родовые кочевья остались позади, впереди начинался край совершенно незнакомый. Затейливая караванная тропа вела их то по лощинам, то по склонам холмов.

Навалились сумерки. Хансулу стала высматривать место, подходящее для ночлега. Дорога нырнула вниз – впереди была обширная темная впадина. По мере того как тропа уходила в глубь урочища, все ощутимей становилась тишина, разливающаяся неподвижной тьмой. На дне лощины трава оказалась рослой и свежей. Черный верблюд, вытягивая долговязую шею, стал с силой рвать и хрумкать солончаковую растительность, источающую терпкие запахи. Хансулу одобрительно потрепала животное. "Привяжу длинным арканом, пусть пасется всю ночь", – решила Хансулу, следуя правилам скотоводов. Когда-то по дну этого глубокого сая прошло половодье, теперь низина была устлана песком вперемешку с мелкой галькой. Она остановила верблюда на ровной площадке, затем заставила опуститься на колени.

– Апа, мы уже в Актобе? – очнулась от дремы дочурка.

– Нет, милая, до Актобе еще далеко. Придется нам заночевать в этом месте.

Слезла с верблюда. Умит последовала за ней.

– Огонь разожгем, апа?

– Нет... Что, замерзла?

– Нет.

– Тогда зачем нам огонь? Мы лучше найдем укромное местечко, ляжем, закутаемся в тулуп и уснем, – сказала Хансулу нарочито твердым голосом.

На самом деле, эта отдаленная от населенных мест, дикая, накрытая грозными сумерками лощина не только на ребенка, но и на нее навевала нешуточный страх. Однако ни в коем случае нельзя показывать ребенку свое состояние.

– Апа, а мы ляжем спать, не поев?

– Нет... почему? Ну-ка, я загляну в корджун, что у нас там есть? – вот так, громко переговариваясь с маленькой Умит, Хансулу чувствовала, что тем самым немного отодвигает от сердца жутковатое ощущение, навеваемое безлюдным ночным урочищем, страх, который завладевал всем ее существом.

Она нашла подходящую вымоину, образованную когда-то дождевым потоком. Подветренная сторона была защищена обрывом, дно выстилали гравий и песок, место казалось удобным для ночной лежанки. Запалив пучок травы, она внимательно осмотрела углубление. Ничего опасного вроде бы не заметила. Тогда она ногой разровняла песок, расширив площадку для двоих.

Она накинула на себя большой ветхий тулуп, который Шеге обычно надевал зимой, когда пас скот. Если прижать Умит к себе и укутать тулупом, она не должна простудиться от холодного воздуха.

– Апа, а волк нас не заест? – вдруг спросила Умит.

– Цыц! – толкнула ее Хансулу. – Не произноси имени проклятого.

Запахнувшись в большой тулуп, прижав к себе дочурку, Хансулу устроилась поудобнее. Какое-то время она лежала, разглядывая редкие крупные звезды, мерцающие в холодном ночном небе.

Черный верблюд, клокоча зевом, время от времени глухо выревывая, рвал траву, кружа на привязи.

Давно уже сонно сопит маленькая Умит, пригревшаяся в объятиях матери.

Устремив взгляд к звездам, перемигивающимся в ночной пучине, Хансулу погрузилась в нескончаемые думы. Этот бренный мир такой же бездонный, как и это черное провальное небо. Грешные сыны Адама также бесцельно, без всякого смысла раскиданы по лону обманного мира, как рассыпаны по лицу неба бесчисленной рябью и оспинками эти звезды. Под вечными звездами кружит-пылит человеческое житие-бытие со своим нескончаемым торжищем, непонятным шумом-гамом.

5

Оставив позади еще два дня езды и две ночевки в пустыне, к третьему вечеру Хансулу приблизилась к большому городу, и тут ее одолел неожиданный страх.

Город для нее был всегда миром таинственным, загадочным, сплошной неизвестностью. Она страшилась города, как некоей коварной ловушки, из которой выхода нет. Помнится, в годы мора, когда они с Дау-апа, убегая

от гибели, попали в каракалпакский город Конырат, ее точно так же нещадно томила похожая боязнь.

И она, охваченная робостью при виде города, стала невольно придерживать верблюда, хотя тот и без того неспешно переставлял свои мосластые ноги. В кармане лежал свернутый адрес Битемира, ее дальнего родича, раньше ей не приходилось встречаться с ним. Их связывало родство с зятем Битемира. Она слыхивала, что Битемир работает начальником отделения связи. Сейчас ее сильно смущало, что придется заявиться к нему средь ночи. Но куда ей деваться? Другого выхода нет. Она вновь заглянула в адрес: улица Амангельды, дом 55.

Чем ближе к городу, тем сильнее веяло чем-то неизвестным, чуждым. Эти запахи пробудили в ней брезгливость. Словно чувствуя ее настроение, верблюд тоже шагал настороженно, раздувая ноздрями, прядая ушами. Одна только Умит обрадовалась, завидев город. Она оживилась, принялась засыпать мать вопросами, пока раздосадованная Хансулу не прикрикнула на нее.

На окраине города повернули к маленькому низкому дому, стоявшему на отшибе, окна которого призывно манили желтым светом. Подъехав к мазанке, Хансулу остановила верблюда и спешилась. Однако во дворе дома не было видно ни души. Только сердито залаяла собака. Хансулу взяла веревку и повела верблюда, обошла дом и вышла на улицу. На этом проулке домов было много, они лепились друг к другу, все были однообразно низкие, с плоскими крышами. Эта сторона города была похожа на самый обычный аул.

Во дворе одного дома под небольшим навесом увидела сутулую фигуру пожилого человека. В свете фонаря разглядела, что это был старик, одетый в полушубок.

Человек, заметив ее, шевельнулся. Прижимая ружье к груди, словно младенца, вышел из-под навеса на улицу.

– Ассаламалейкум, ата! Подскажите, пожалуйста, я ищу улицу Амангельды, – обратилась Хансулу к нему.

Старик помедлил, внимательно разглядывая ее.

– Это следующая улица. Вон за тем домом поворот, там и выйдешь на Амангельды.

– Дом Битемира знаете, ата?

– Это почтальона Битемира?

Ведя верблюда, Хансулу темными переулками двинулась в ту сторону, куда показал старик. Неожиданно она вышла к группе парней, которые, перекуривая, стояли плотной толпой. “Хулиганы! Пропала моя головушка!” – похолодела она. Отступать назад или сворачивать в сторону было слишком поздно. Улица чересчур узкая. Будь что будет! И она зашагала прямо. Парни, рассыпая табачную искру, расступились, пропустили ее. “Ия, Бараката, поддержи меня!” – взмолилась Хансулу, безмолвно проходя сквозь мужской строй, стараясь не смотреть на лица крепких джигитов.

– Вот это да!.. Да это же аульная красотка! – восхищенно цокнул языком кто-то из них.

– Ну и попробуй прицепиться! – ответил ему стоявший рядом. Остальные дружно загоготали.

Хансулу ощутила, как холодный пот капельками заструился на спине. Пройдя дальше по улице, она сноровисто зашагала, шла в таком темпе до тех пор, пока толпа не осталась далеко позади.

Битемир был маленьким, худым, черным человеком. Сам открыл дверь, взял поводок, завел верблюда во двор и привязал под навесом рядом с коровой. Он оказался скупым на слова, цигарка все время торчала в углу его запавшего рта. Выслушав Хансулу, задумался, попыхивая окурком. Об аресте Шеге, как выяснилось, он был осведомлен.

Его байбише, толстая, болезненно желтая женщина, охая, с трудом двигаясь, постелила Хансулу на торе тесной комнатенки. Во второй комнате спали дети. Все так же ковыляя, квелая байбише растопила печку, поставила чай. Битемир, наморщив лицо, продолжал сосать свой окурок. Расспросил Хансулу о новостях. Задумчиво покачивал головой. Затем погрузился в тяжелое раздумье. От печки доносился сухой кашель его жены. Наконец накрыли дастархан. Глава семьи и за чаем был немногословен, все время хмурил седые брови, при каждом движении хватаясь за поясницу, видимо его мучил застарелый радикулит. Кивал головой на любое услышанное слово. Узнав от Хансулу, что она должна встретиться с земляком по имени Козбагар, работающим

в НКВД, он встрепенулся, хотел что-то сказать, но почему-то сдержался. Когда она повторила, что ей во чтобы бы то ни стало надо найти Козбагара, иначе ей с Шеге не увидеться, он буркнул нехотя: "Ну, тогда надо искать областное НКВД". Ночной разговор на этом закончился.

Утром, оставив Умит дома, Хансулу вместе с Битемиром отправилась в город. Битемир мало изменился после прошедшей ночи. Потихоньку шаркал, искоса посматривал по сторонам. Помалкивала и Хансулу. Так они прошли три или четыре улицы. Начался более или менее многолюдный район города. В центре чаще стали встречаться двухэтажные дома. Вскоре Битемир остановился.

– Вон, видишь на той стороне улицы двухэтажный кирпичный дом, перед которым собралась толпа. Это НКВД. По дороге обратно не заблудись, иди той же дорогой, – сказал Битемир. Наморщив лоб, нерешительно добавил:

– Сватья, ты, конечно, понимаешь, в какое время живем, никому не говори, у кого в городе остановилась.

– Упаси бог, кому я скажу! – всполошилась Хансулу.

Битемир повернул в сторону своей службы. Хансулу направилась к зданию НКВД. Вид серого кирпичного здания вызывал у нее ознобное сердцебиение. И этот чужой город с холодной, продуваемой улицей казался ей чем-то вроде чудовища, проглотившего ее Шеге. А этот серый дом мнился ей пастью жуткой ведьмы. И по мере приближения к зданию все ее нутро увядало точно опалило его дыханием бездны. Перед серым домищем толпились в основном женщины и дети. В большинстве своем это были русские женщины, обвязанные пуховыми платками. Среди них там и сям стояли и казашки, туго перетянутые белыми полушалками, такие же, как сама Хансулу. И ее сердце заныло, она поняла, что эти бедняжки – ее сестры по несчастью, с изъязвленными, кровоточащими душами. Переглядываясь, они о чем-то перешептывались. Хансулу подошла поближе. Слова громко говорившей русской женщины она не поняла. Постояв немного, Хансулу спросила у одной казашки, одетой по городской моде:

– Где здесь можно хоть что-то узнать?

Женщина показала в сторону железной двери. Хансулу подошла к двери, робея, ступила в коридор.

– Куда идешь! – остановил ее голос. И тут она в правой стороне коридора увидела красноармейца, который сидел за столом, уперев о края руки. Смуглолицый суровый казах.

– Хотела кое-что узнать! – повернулась к нему Хансулу.

– Спрашивайте!

– У вас есть человек, арестованный…

– Фамилия! Из какого района?

– Имя Шеге. Фамилия… фамилия… Имя его отца не смею произнести.

– Понятно… Вот карандаш, напиши.

Хансулу взяла красный карандаш и старательно написала на бумажке – Каспаков.

– Каспаков, говорите? Каспаков… – смуглолицый красноармеец начал листать какую-то пухлую тетрадь. – Каспаков Шеге. Так? Осужден на семь лет по 58 статье, пункт… Без права переписки.

–Увидеть… увидеть можно? – голос Хансулу дрогнул.

– Никак нельзя! – красноармеец захлопнул журнал и грозно нахмурил брови.

– Когда начнут сажать на поезд?

– Нельзя говорить! Запрещено!

Хансулу в полной растерянности, с пылающими щеками, едва волоча ноги, вышла на улицу.

– Ну как, нашла своего человека? – спросила ее городская казашка, Хансулу расслышала ее вопрос, но душа была в смятении, и она будто ослепла на минуту, ничего не видела перед собой. Незнакомка взяла ее под руку и, поддерживая, отвела подальше от двери.

– Сестренка, ты еще молодая… если он жив, благодари бога. Я, например, уже три месяца сюда хожу, и никак не могу узнать, жив или мертв мой человек, – участливо сказала она.

– Осудили на семь лет… – из глаз Хансулу хлынули слезы. Незнакомка тоже прослезилась.

– Был бы только мой живой… и семь лет вытерпела бы, – всхлипывала женщина. Обе они, взявшись за руки, еще какое-то время сердечно утешали друг друга. Внезапно послышалось: “Хансулу!” Это был мужской голос.

Хансулу подняла голову и стала озираться кругом, но слезы мешали ей видеть. И ее сердце словно иглой пронзило, когда рядом возникла фигура высокого, грузного красноармейца.

– Салем! – произнес армеец. Козбагар! “Ох!” – вздохнула Хансулу, ощущая, как самообладание возвращается к ней. Козбагар торопливо сообщил:

– Либо сегодня ночью, либо завтра будь на станции! – сказал он и двинулся дальше, делая вид, что проходил мимо. Серая шинель на его рослом теле топорщилась, полы развевались, он быстро удалялся. Она беспомощно смотрела вслед, не в состоянии собраться с мыслями.

– Кто это, невестка? Что он сказал? – спросила незнакомка, не зная, радоваться ей или горевать.

6

Новую знакомую звали Бубитай. Вечером они вновь встретились на железнодорожной станции, перепруженной людьми, похожей на муравейник. Бубитай была родом со станции Темир. Обеих женщин сблизила судьба, теперь их томила одна забота – увидеть мужей. Хансулу уже знала, что ждет ее Шеге, бедная Бубитай даже не ведала, жив ее муж или нет. Ее привел в Актобе случайный слух, что арестованных этой ночью должны отправить этапом из города.

Вся прилегающая к станции площадь заполнена народом. Некуда было яблоку упасть. Огромная толпа бурлила половодьем. Женщины не нашли куда приткнуться и в зале ожидания. Один угол зала был занят цыганами. Сплошь одетые в пестрое рванье женщины, старухи. Черноглазые, вихрастые детишки громко галдели. Грязная одежда на них висела лохмотьями. Цыгане заняли весь угол вокзала, разбросавшись на полу, словно у себя дома. Воздух в переполненном зале ожидания был спертый и зловонный. Хансулу замутило. Со вчерашнего дня она была сама не своя от запахов города, от вони туалета, однако, эта станция ей показалась чадным преддверием ада.

– Пропади все пропадом… давай выйдем наружу!

Она бросилась к выходу, увлекая за собой Бубитай. Расталкивая людей, они пробрались к двери, и уже на улице, глотнув чистого воздуха, облегченно вздохнули.

Был уже поздний вечер, сумерки слоями сгустились над городом. Сквозь тьму там и сям посверкивали огни кварталов. Куда бы ни взглянули – со всех сторон на женщин тускло-желтыми окнами взирали скопища темных домов. Шумная станция… Множество людей… "Бог ты мой, – озиралась Хансулу. – И откуда столько людей, астапыралла. Оказывается, ты еще не видела свет". Как будто совершенно в другом мире очутилась. Со вчерашнего дня она словно в бесконечном сне блуждает. Будто по воле колдуна оказалась одна в чуждом, непонятном пространстве. Заплутала она одинокой, беззащитной сироткой. Бог знает, если бы не Бубитай, лежать бы ей сейчас в подворотне, став добычей тех самых грабителей, на которых вчера наткнулась.

Вдвоем с Бубитай, неразлучные, словно близняшки, они коротали вечер, то заходя в здание вокзала, чтобы согреться, то вновь выбегая наружу. И обеих не покидала трепетная надежда, что удастся увидеться с мужьями, перекинуться парой-другой словечек. И та и другая успели поведать друг другу свои горькие истории. Ближе к полночи в освещенном зале полусонный народ вдруг воспрянул, загудел, как всполошенный гурт, и бросился к дверям. "Ведут!" – послышались голоса. Бубитай и Хансулу, не долго думая, тоже кинулись к дверям. В проходе образовалась толчея, кричали женщины, замелькали воздетые руки. Отчаянно визжали придавленные дети. Эти люди, еще минуту назад клевавшие носом, сонные, безобидные, сейчас словно взбесились. Задние изо всех сил напирали на передних, казалось, если им не удастся поскорей выскочить, они потеряют все на свете, или, по крайней мере, – лишатся своей души. А за дверями накатил новый вал шума-гама, криков. Бухал гулкий собачий лай. Вдруг хлестко ударил выстрел. Крики, вопли, столпотворение. Наконец, толкая других, подталкиваемые сами, в полуобморочном состоянии, они выскочили наружу. Толпа, хлынувшая из вокзала, натолкнулась на сплошной ряд солдат в коротких армейских полушубках. За плечами чернели стволы винтовок. Десятки охранников с трудом удерживали на поводках яростно рвущихся овчарок. Оглушающий лай. Пронзительный ветер, обжигающий лицо. Веера

разлетающегося снега. На рельсах уже стоял, тяжело отдуваясь дымными клубами, паровоз, за ним уходили вдаль вагоны. Хансулу впервые увидела железную дорогу – две стальные, туго натянутые полоски, которые рассекали землю с востока на запад, уходя в бесконечность. С западной стороны площади, откуда бил в лицо жгучий ветер, зачернела колонна идущих. Люди устремили взоры туда. Солдаты, перегородившие спинами путь толпе, смотрели на приближающуюся колонну. Огромные, похожие на волков, псы дыбились, свирепо рыча. К поезду вели арестованных. Казалось, даже ощетинившиеся, задыхающиеся от лая, псы понимали, что к этим людям пощады не должно быть, что это идут враги народа.

– Назад, вашу мать! Назад! – надрывался в крике какой-то военный. Наверное, командир. Строй солдат начал оттеснять разрозненную гурьбу женщин, угрожающе замахиваясь винтовками. Многие растерянно отступали назад. Передний ряд людей, испуганный видом разъяренного офицера, пятился, давя на остальных. Толпа сгрудилась неподалеку от вереницы солдат. Бубитай и Хансулу оказались в середине движущейся массы. Боясь потеряться, они мертвой хваткой держались за руки. Все внимание было устремлено на колонну, которая лавой надвигалась с запада. Спустя минуту стало видно, что арестованные беспорядочными кучками бегут к поезду, замедляя бег, вытягивая шеи, надеясь в толпе увидеть близких. Все арестанты были мужчины. Грохот сапог оглушал, темные согбенные фигуры, мнилось, падали во тьму. На головы были нахлобучены малахаи, шапки-ушанки, тымаки, кто одет в фуфайки, кто в шинели, кто в чапаны. За плечами болтались узелки с вещами. По обеим сторонам и сзади колонна арестованных была оцеплена вереницей вооруженных солдат с собаками на поводках. Пронзительный крик ударил плетью:

– Стой!

Сотни две арестованных разом остановились.

– На колени!

В четыре ряда понуро стоявшие мужчины один за другим начали падать на колени. Тех же, кто не успел это сделать, задние сдергивали вниз.

Взгляд Хансулу метался по склоненным фигурам, в тщетной попытке найти среди плохо различимых, белесых пятен лицо Шеге. От лая собак наливалась болью голова. Над оттесненной толпой поднялся крик и плач. Люди начали узнавать в арестованных своих.

– Коспамбет! Ты ли это?

– Малгажар! Коке, здоров ли ты?

– Гриша!

Когда родственники, разделенные солдатами, начали окликать друг друга, толпа, теснившаяся плотно, заколыхалась, зашумела, словно тростниковые заросли, по которым ударил шквал

– Назад! Назад! – заорал офицер, свирепо глядя на толпу. Погрозил кулаком. Люди поутихли, немного подались назад.

Солдаты, как подхлестнутые, забегали по перрону, ветер трепал и развевал полы полушубков, будто стремясь сбросить их. С железным грохотом и лязгом отодвинули двери вагонов. Один из солдат, укрывая ладонью лампу, осветил бумагу, которую командир держал в руках. Быстро перемещаясь по перрону, военные энергично перебрасывались словами.

Начальник, глядя на бумагу, возвысив голос, зачитывал список. Свистящий ветер поднимал снежную порошу, обметая желто освещенную бумажную полосу, над которой склонился военный.

– Потапов Геннадий Иванович! – прокричал он. Тот, которого назвали Потапов, наклонив голову, побежал к вагону. И до самого вагона он все никак не мог оторвать взгляда от провожающих.

– Живее! – рявкнул на него охранник.

– Айткалиев Булдыбай!

Понуро поднялся громадного роста пожилой казах в куфи[1] из овечьих шкур, в лисьем тымаке на голове. Он не стал бежать. Обвел холодным взглядом женщин, стоявших за солдатской вереницей, неспешно зашагал к вагону.

– Бегом, гад! – солдат, стоявший у двери, грязно выматерился. Старик нарочито медленно шел к вагону. Перекатывался лай собак. Оголтелые крики оглашали

[1] *Куфи* – осенняя одежда вроде фуфайки.

пространство. Ветер закручивал снежные вихри и гнал их по перрону. Женский плач.

Поезд, как прожорливое чудовище, все заглатывал и заглатывал арестованных, чудовище никак не могло насытиться жертвами. Метались и рвались с поводков овчарки, готовые растерзать любого, если их натравят вожатые. Ночь низко обвисла над городом. Чудилось, спящий город отверг людей, заблокированных у поезда. И бросил на произвол судьбы, на съедение палачам и псам-убийцам. Дескать, пусть их съедят живьем! И никому из горожан нет никакого дела ни до Хансулу и Бубитай, разлученных с мужьями, ни до арестованных, гуртом загоняемых в чрево поезда. Потому что это враги народа. Для охранников что люди – что скот – никакой разницы нет. И мчатся, летят гонцами беды снежные смерчи.

Мнилось Хансулу, что она оказалась в самом аду. Особенно больно били по нервам Хансулу, заставляя ее трепетать, стонущие крики аульных казашек. Она была уже на грани помрачения от этого плача. И уже не в силах различать, явь ли это, или кошмар, приснившийся ненароком, или наваждение, поймавшее душу в смертельную паутину, словно ночного мотылька. Душа ее зависла на пределе отчаяния. Солдаты отталкивали толпу назад, та вновь подавалась вперед, увлекая Хансулу за собой. Несколько женщин упали в обморок. Их оттащили куда-то в сторону. Бубитай внезапно исчезла. Искать ее было некогда, потому что привели новую колонну арестованных. В рядах заключенных она увидела мужа. “Шеге!” – вырвался у нее истошный крик. Валом прошедшие звуки без следа поглотили ее зов. Шеге не услышал ее. Вновь зачитывают список. Вновь бездонное чрево поезда глотает арестованных. Бьющий по вискам металлический голос:

– Мулкаманов!

– Ахметшин!

– Сидоров!

Женщины вновь устремились вперед, солдаты нажали, оттеснили назад. Страж кого-то ударил. Отборный мат по-русски. Женщины, особенно дюжие русские бабы, – не отступали. Нещадно сцеплялись с охранниками. Жалили их словами. Один из арестованных, заходя в вагон, кивнул

жене и метнул в ее сторону какой-то предмет. Видимо, это было письмо. Верзила-солдат подбежал к русской женщине, свалил ее на землю, начал пинать, затем отнял письмо. Хансулу, глядя на это, поняла, что солдаты не ведают жалости. Если Шеге вздумает кинуть ей письмо, эти изверги свалят Хансулу на землю и пинками выбьют из нее душу. Потому что для них она – жена врага народа. Это люди без сердца! Эти мысли хлестали ее сознание. "Шеге!" Взгляд мужа упал на нее. Он был в самом центре сидевшей на коленях колонны. Шеге поднял голову. Махнул рукой. В эту минуту весь мир со всем этим оголтелым криком, шумом-гамом, свернувшись, мгновенно исчез, словно в пучину провалился, и они остались в пустоте наедине. И все голоса тотчас отступили, стерлись, как будто только для того, чтобы слышны были слова этих горемычных супругов, связанных трепетной сердечной нитью.

– Шеге! – прошептала Хансулу. Шеге как будто услышал. И она более не могла сдерживаться. Из глаз хлынули горячие слезы. В ушах зазвенело, и она как будто оглохла. В следующее мгновение увидела: Шеге идет к ней. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Затем она уже не осознавала, что происходит. Вот она рванулась вперед. Солдат выставил руки, но она отбилась от него. Собака кинулась на нее. Уже у вагона она догнала Шеге, входившего в проем. Шеге с испугом обернулся к ней. Лицо его заросло щетиной. Правая щека разодрана. Значит, били! Шакалы! Палачи! Шеге мой! Не дам его! Умру в ваших лапах! Пустите! Хансулу казалось, что она мечется в языках бушующего пламени. Вырвалась вновь, подбежала к Шеге и заключила его в объятия. Как он пропах потом, табаком!

– Шеге! – всхлипнула она, содрогаясь. В это мгновение чья-то железная пятерня вцепилась в ее плечо.

– Семь лет! Берегите себя! Без права переписки! – успел сказать Шеге под градом обрушившихся кулаков. Какая-то неодолимая сила оторвала ее от Шеге. И потащила за собой, словно невесомую куклу, словно перекати-поле. Схватив подмышки, ее тянули, волочили, дергали. Сейчас бросят на землю и забьют пинками. Насмерть!

– Береги детей! Родная!.. – послышался сдавленный крик Шеге. Затем его голос исчез в волне гвалта, шума-

крика толпы. Нахлынули истошный лай собак, буря голосов. Ветер нес снежную секущую порошу. "Сука!" – ударили ее кулаком по шее. Хансулу кувырком полетела в сугроб.

...Придя в себя, она осознала, что лежит пластом в объятиях рыдающей Бубитай. Та смачивала ее лицо мокрым платком.

– Очнулась! Жива? – поднесла чашку с водой. Хансулу с трудом подняла онемевшую голову, глотнула воды. Кругом незнакомые люди. Уже рассвело. Солнце поднялось над горизонтом.

Весь этот день она лежала в доме Битемира, собираясь с силами. На следующий день, сев с Умит на черного верблюда, отправилась домой в свой аул.

КОЗБАГАР

1

Десять дней назад, после ареста, Козбагар понял: его песенка спета, свободы ему не видать еще долго, однако, о том, что приближаются последние часы жизни и скоро его расстреляют – помыслить не мог. В течение этих десяти дней он сполна познал такие муки, которые отродясь не приходилось изведывать. Избивали его жестоко и расчетливо, пока тело не превратилось в кровавое месиво, дни и ночи напролет заставляли стоять на распухших ногах, морили жаждой так, что распухший язык не вмещался во рту. В конце концов, не выдержав пыток, он подчинился давлению следователя. Молча подписал приготовленную бумагу с обвинением. Прошло уже два дня, как треклятый змей-следователь не показывался на глаза. В камере-одиночке, лежа на стареньком матрасе, брошенном на каменный пол, Козбагар вволю насладился долгожданным отдыхом. Конец наркому Ежову нагрянул сверху. Выяснилось, что именно он – главный виновник диверсий и провокаций, потрясших страну в недавние годы. Теперь все, что было связано с ним, стали называть ежовщиной. Настало время чисток внутри органов НКВД. Повсеместно арестовывались люди Ежова. Одним из них стал Козбагар.

Тесная камера-одиночка. Из маленького зарешеченного оконца, расположенного высоко, сочится скупой дневной свет. Это не камера – могила. В круглую прорезь двери заглядывает дежурный надзиратель. На расстоянии Козбагар ощущает сверлящий взгляд Кулбергена, колдуна-змея, криком и битьем заморочившего свою жертву.

Оказывается, его желанной целью было – чтобы ему подписали бумагу. Сил не осталось противостоять колдовскому напору змея. Махнув рукой на все, Козбагар подписал, а когда его оставили в покое, всей душой ринулся в царство сна. Понял, самая свирепая пытка на свете – это когда не дают спать. Тот, кому первому пришло в голову таким способом мучить человека, чтобы добиться от него желаемого, был непревзойденным злодеем. Опырмай[1] ,какой же это был подлец! Козбагар это уяснил, когда его лишили сна. Он подписал признание, что состоял в подпольной группе Ежова, занимавшейся антипартийной деятельностью, преступной антинародной пропагандой. Козбагар теперь желал только одного – чтобы его оставили в покое. И как будто его желание услышали, – последние сутки ему не мешали спать беспробудно.

2

Так с чего же началась эта беда? Козбагару думается, что с того самого времени, когда он, покинув аул, приехал на станцию Темир, чтобы пройти курс обучения милиционера. Лелеял бедняга мечту со временем стать акимом. Запало ему в голову в одночасье сделаться большим человеком, вроде Суржекея, чем он хуже других? Мечта эта как будто исполнилась, он стал правой рукой начальника, Суржекея. Однако на самом деле в глубине души он оставался прежним, простоватым, наивным Козбагаром. Как-то раз Суржекей вызвал его и кратко оповестил: “Завтра со мной поедешь в сторону Оймауыта”.

Было начало лета, снег уже сошел с почвы, степь дышала пряными ароматами, окрестности окрасились свежей зеленью. Из Наркамыса выехали рано, направляясь

---

[1]*Ойпырмай* – междометие, возглас крайнего удивления.

на юг. Цель была – через перевал Ханторткиль достичь Оймауытского нагорья. В эту поездку он своими глазами увидел, каким гипнотическим влиянием на людей пользуется Суржекей. В какой бы аул ни приехали, везде его встречали как хана. "Ассаламалейкум, Жеке!", "Проходите, Жеке" – не чуя ног, бегали, суетились людишки, путались в поводьях его коня. Поддерживая под руки, с предельной учтивостью ссаживали с жеребца. Одни мчались впопыхах поздороваться, другие, сломя голову, неслись, чтобы услужить чем-нибудь, хотя бы привязав коня. Такое же уважение оказывали и Козбагару.

В сгущающихся сумерках путники увидели впереди мигающий огонек. Помнится, Козбагар заметно воодушевился. Оно и понятно, как не радоваться усталому путнику в пустынной безлюдной ночи при виде манящего света жилища. Подъехав поближе, всадники узрели, что перед ними одинокий дом. И тотчас припомнилось им, что с давних лет на берегу ручья Акбулак бытовал жатак[1] по имени Кулантай. Уже немало лет проживал он у полноводного ручья, сеял рожь, ячмень, здесь же поставил саманную мазанку. Перед ними возвышался именно его дом. Это была длинная мазанка с маленькими подслеповатыми оконцами, теплящимися слабым светом. С северной стороны лепился к жилищу загон, изгородь представляла собой плетень из жынгыла и ивняка. За изгородью темнел сарай для скота. На отшибе виднелась еще одна изгородь с сарайчиком, это были посевы Кулантая. Навстречу всадникам с грозным лаем выскочили два-три пса. Показался и сам хозяин дома. Признав Суржекея, с громким криком принялся разгонять освирепевших собак. Отогнав их подальше, бегом вернулся назад, подскочил и схватил поводья коня Суржекея.

– Я сам привяжу коня, Жаке! – мокрый от пота, отдуваясь, он повел игреневого жеребца в сторону сарая.

Суржекей, прочищая горло, натужно откашлялся. Вытащил из кармана мундштук. Затянулся дымом. Дверь скрипнула, на крылечко вышла привлекательная молодка.

---

[1]*Жатак* – крестьянин, землепашец.

Увидев гостей, гибко вильнула бедром. Хозяин дома как будто ждал ее появления.

– Турымтай! А, Турымтай! – зачастил он высоким голосом. – Жеке приехал! Стели постель! Да поскорее!

Молодка прищурилась и метнула в сторону гостей заинтересованный взгляд. В сумерках Козбагару показалось, что она именно так посмотрела на них. В то же время Козбагар не на шутку задумался, почему хозяин окликнул женщину по имени? "Жена, что ли она старику? Нет, погоди, это же токал! Нежная лицом, белотелая чаровница!"

Конь давно был на привязи в сарае, Козбагар, раскинувшись на корпешках, продолжал беспокойно размышлять: "Кулатай – старый плут, оставивший позади шесть десятков лет. Так в чем же тут дело?" И тут его осенило. В 30-е памятные годы повального мора Кулатай в этих краях весьма благоденствовал. Люди, оказавшиеся на краю гибели, бегущие в центральные районы с нагорий Оймаута, никак не могли миновать зимовку Кулатая. Застигнутые сумерками беженцы обычно останавливались на ночевку у него. Не зря в те годы Кулатай прослыл скупердяем, переплюнувшим в жадности легендарного Шигай бая. Кулатаю даже ломтя черного хлеба было жалко для голодных путников, угощал же их пустой похлебкой на воде, и если случайно разбирало его щедростью, провожал изнеможенных пеших родичей с их детьми горсточкой талкана[1] и той же похлебкой. Один из отощавших доходяг, еле добравшись до дома Кулатая, оставил у него свою совершеннолетнюю дочь, якобы пожить, на самом деле, обменяв ее на кое-какие продукты. С тем бедняга и пустился догонять ушедших вперед аульчан. Сейчас никто не помнит его имени. Говорят, где-то по дороге помер с голоду. Вот эта незатейливая история и всплыла разом в его памяти. Значит, это правда, и не зря люди поговаривали... Что эту осиротевшую девушку и сделал своей токал Кулатай. Такая беленькая, как яичко, молодка, в приталенном камзоле, на голове нарядный светлый платок... Неужели, та самая сирота?

Пока Суржекей, не торопясь, перекуривал, молодая женщина еще раз показалась гостям. На этот раз она

---

[1] *Талкан* – толченное просо.

вышла из другой двери. Значит, у каждой женушки хозяина в доме своя половина с отдельным выходом.

– Ну, коке, заходите! – расторопно подскочил хозяин и широко распахнул дверь перед главным гостем. Стоявшая на крылечке молодка, глядя на Суржекея, шевельнула крутым бедром, губы слегка приоткрылись, большие, черные глаза блеснули смущенной улыбкой. Похоже, она была знакома с Суржекеем.

– Ну, что ж, салем вам, красавица-женеше! – Суржекей, радушно осклабившись, подал молодке руку. И задержал ее ладонь в своей пятерне.

– Здоровы ли вы сами? – томно ответила она. И как бы невзначай потянулась всем тонким станом. Карминово-красный, с золотой канвой камзол, длинное белое платье со струящимся вниз орнаментом делали без того привлекательную молодку с ее цветущей прелестью особенно яркой. Накануне, когда она в первый раз показалась на крылечке, на ней было не это ослепительно белое платье, а нечто другое, то ли коричневое, то ли бардовое. И вот она, в одну минуту нарядившись в белое платье, явилась, сияя красотой, перед гостями. В ее ушах позвякивали длинные серебряные сережки, на запястьях поблескивали массивные браслеты, на пальцах – сакина[1]. Козбагар, бедняга, разинув рот, растерянно уставился на нее. Хозяин затараторил:

– Входи! Входи же!

Если бы не он, Козбагар все еще стоял бы с открытым ртом. Ну и чаровница красуется перед ним, ну чем не пышная лисица, эта чертовка, а? Ее сочные губы и Козбагару дарили манящую улыбку, от души приветствуя гостя.

Он прошел мимо нее в комнату. И уже внутри дома почувствовал, как сердце обожгло пламенем зависти и горечи. От досады, что ему никогда не обнять и не поцеловать в губы эту белотелую, нежную красотку. Зато этот черный старик с козлиной бородкой, наверное, каждый день чмокает ее. А Козбагару даже руки ее не подержать.

Еще какое-то время Козбагар не мог прийти в себя. Развалившись на корпешках, подмяв под себя атласные подушки с кисточками, он прихлебывал чай, поглядывая

---

[1]*Сакина* – колечко.

то на Суржекея, то на подобострастно таращащего глазенки хозяина, который явно был вне себя. Мыслями Козбагар был далеко, и рассеянно в полуха внимал их беседе. Бедняга, старый Кулатай, как он сейчас похож на озерную лягушку со своими выкаченными, замершими зрачками. Зато Суржекей, длинно разлегшийся на торе, напоминает серую гадюку. Вот-вот наловчится и в один миг проглотит рассевшуюся нараскоряк лягушку. Не захочет, так повременит, гипнотизируя свою жертву. По правде говоря, то, что квакушка еще жива – это милость гадюки. Это и дураку ясно! Козбагар, краем уха отсеивая их разговор, без труда уловил эту истину. Суржекей вроде бы искренне поддерживает старика. А Козбагару в диковинку созерцать человеческую душу, которой Суржекей милосердно оказывает помощь. По интонации ощущается, что эти двое давно знают друг друга, может, в отношениях они даже накоротке. Гостиная, в которой возлежали гости, имела еще два входа в другие комнаты, и одна из них, судя по всему, принадлежала Турымтай, писаной красавице. Эта же просторная комната, похоже, обеденная, но боковая комната, напоминающая прибранное гнездышко, это, конечно, убежище Турымтай. Постель молодки укрыта от взгляда красной ширмочкой. Тем не менее сквозь тонкую ткань видны слой за слоем уложенные корпешки, подушки. Красные и зеленые, они так и притягивают взгляд.

Гости напились чая, им принесли бешпармак и бутылку водки. После обильного ужина пришло время отдыха. Мужчины, возглавляемые Суржекеем, дымящим мундштуком, дабы размяться перед сном, вышли наружу. Турымтай принялась прибираться в комнате, чтобы постелить приезжим. Мелодично позвякивающие украшения как бы сигнализировали об ее движениях.

Во дворе было темно. Небо было заволочено низкими тучами. Пахло дождем. Тонкий терпкий аромат завладел всем существом Козбагара. Запах весны, пряные испарения цветущей полыни заполнили носоглотку, ударили в голову. Через какое-то время в дверях опять показалась Турымтай.

Мужчины вошли в дом. В комнатах висел густой полумрак. Масляный светильник робко горел. В верхней

части гостиной были устроены две постели, пышные, взбитые. Когда они вошли в помещение, Турымтай, звеня своими сережками, прохаживалась во дворе. Хозяин все суетился, подлаживался, не зная, как еще угодить гостям:

– Отдохните, выспитесь, Жаке! – как только головы гостей коснулись подушек, он потушил светильник, на цыпочках заторопился наружу.

В комнатах было темно, сквозь мрак едва различались смутно желтеющие бычьи пузыри, натянутые на окнах.

– Ну что, парень, пора спать, – сказал Суржекей.

– Да… – полусонным голосом откликнулся Козбагар.

И, тем не менее, перед сомкнутыми веками джигита брезжил светолик. Никак не уходило из взора сияющее белое лицо молодой красотки. И трогал, щекотал сердце ее чудный, переливчатый смех. Какая сила скрывается в женском смехе, она может уничтожить человека, или возродить из пепла. И перелив ее голоса превращался в огонь, опалявший сознание джигита. И трогал и проникал в горящую душу этот мелодичный звук, тянул, неудержимо манил к себе. Колдовской силой обладала эта молодка.

И вот в огне этой сжигающей борьбы с самим собой, объятый наваждением, он почувствовал, как открылась внешняя дверь. Козбагар тотчас закаменел, прислушиваясь в темноте. Опять рассыпается в воздухе серебряный звон. И нет никакого другого звука. Что-то нежно-шелковое проскользнуло мимо, унося звон сережек, провеяло облачно. Только чарующий аромат остался в воздухе и начал оседать в ноздрях, проникая в мозг.

Сердце джигита затрепетало. Почудилось ему, что небесная пери просквозила призраком рядом с ним.

Раздираемый смутой и телесными влечениями, Козбагар лежал неподвижно. Ночной дождик трогал бычий пузырь на окне и шептал о чем-то тайном. В эту минуту Суржекей кашлянул несколько раз. Козбагар от неожиданности перепугался, затаил дыхание и замер в безмолвии. Суржекей шевельнулся. Поднял голову. Кажется, встал. Козбагар прислушался, но внешняя дверь не скрипнула. Суржекей в темноте продвигался в сторону женской половины. Козбагару показалось, что его сердце вот-вот выскочит из груди. “Вот это да, – подумал он, –

Ну и дает!”. Сердце так сильно билось, что он некоторое время ничего не слышал, кроме гула в груди. Боялся шевельнуться, чтобы Суржекей не догадался, что он не спит. Пылающая чувственность унялась с трудом, и тогда он навострил уши, прислушиваясь к тому, что происходило во внутренней комнате. В приглушенных звуках угадывались движения льнущих друг к другу, стосковавшихся по объятиям любовников. И опять шепот, вздохи. Звуки поцелуев.

И Козбагару неудержимо захотелось встать и выскочить из темной комнаты наружу, чтобы бежать куда глаза глядят. Однако какая-то дьявольская сила придавила непосильной тяжестью, не давала ему и шевельнуться. А женский стон становился все сильнее.

Козбагар с головой закутался в одеяло, зарылся в подушки. Все же соблазнительные звуки все равно догоняли, проникали сквозь все преграды, переворачивали и жгли душу нечистым огнем.

3

После этой поездки Суржекей по-особенному тепло стал относиться к Козбагару. Видимо, убедился, что Козбагар безропотный, совершенно честный и преданный ему человек. И в самом деле, тот был честен перед своим непосредственным начальником. И как не быть преданным ему, ведь Суржекей олицетворял для него самую Советскую власть в округе. Кто без сна и отдыха, головы не прикладывая к подушке, денно и нощно сражался с баями и кулаками за Советскую власть в тревожные годы обострения классовой борьбы? Суржекей! Кто погонял плеткой несметные толпы толстяков-баев? Суржекей! Кто знает, как сложилась бы судьба этого края, если бы не Суржекей? Надо сказать правду – нерушимая опора Советской власти в этом округе – это Суржекей. Он здесь – правая рука самого товарища Сталина, его зоркие и бдительные очи.

Суржекей стал посылать Козбагара по разным домашним делам. Если надо зарезать овечку и разделать тушку, или нарубить дрова, или вычистить скотный двор – всюду поспешал Козбагар, услуживая своему

начальнику. Впрочем, Козбагару это было даже по нраву. Чем сиднем сидеть в кабинете НКВД, заполняя головоломные бумаги, ему было сподручнее вот так проводить служебное время. Его жена – безропотная Бибижар – и слова поперек не могла ему сказать, дескать, превратился в слугу своего начальника, мало того, сама засучив рукава впрягалась в суржекеевские домашние дела-заботы. Когда муж резал овцу для начальника, она чистила и потрошила требуху. Убирала в доме и выносила золу из печки.

Козбагару взгрустнулось, он лежал навзничь на старом матраце. Снаружи слоилась тускло долгая ночь. В камере тяжелый, затхлый воздух. Два дня и две ночи подряд Козбагар, не вставая, не притрагиваясь к еде, беспробудно отсыпался, теперь он чувствовал себя более или менее сносно.

И вот теперь, когда самообладание вернулось к нему, он стал казнить себя за слабость: подписал бумагу, обвиняющую его в сотрудничестве с Жекей Калиевичем, начальником районного НКВД, по указанию которого он, проникнув в ряды чекистов, занимался преступной диверсионной и подрывной деятельностью против Советской власти. Когда тело и душа были доведены до крайних мучений, он не выдержал – подписал. Теперь поздно. Какая польза от сожалений? Что сделано, то сделано. Дадут ему, наверное, лет десять. Странные слова сказал ему как-то Суржекей в начале лета: "Что судьбой написано быку, то ждет и телка". И добавил: "Парень, наши дела неважны, начался пожар, который мы никак не можем потушить. Не надрывайся, сынок, подумай о своей семье. Может быть, пора тебе оставить органы?" И тогда Козбагар так расчувствовался, даже слезы на глаза выступили: "Что вы такое говорите, Жекей Калиевич? Буду до конца вместе с вами, разделю с вами любую вашу участь!" Выпалил, не задумываясь. Суржекей ничего не ответил, задымил своей трубкой, задумчиво выпятив губы. Ох, и мудрец он: за версту чуял перемены.

Чего не скажешь о Козбагаре, оказавшемся круглым дураком. Рассчитывал только на Суржекея, дескать, пока он на коне, я не пропаду. Ему и в голову не приходило, что Суржекея могут свалить в два счета, что его дни сочтены. Такие мысли его и не посещали.

И вот 14 июня все его упования и надежды рухнули в один миг. В этот день они вдвоем с Суржекеем после двухдневной, утомительной езды от Наркамыса до самого Актобе, усталые, прибыли в областное управление НКВД. Пройдя темный коридор, начальник повернул в сторону кабинета Петрушенко. В эту минуту четыре здоровенных джигита вышли навстречу, перегородили им дорогу, один из них, постарше, коротко приказал: "Сдайте оружие! Вы арестованы!" Все четверо были незнакомы Козбагару. До этого он слышал, что в аппарате областного НКВД началась чистка, что многие из прежних работников арестованы, им на смену пришли новые люди. Эти четверо, похоже, были из новичков. "Я должен увидеть Павла Дмитриевича", – нахмурился Суржекей, он был спокоен. "Мы выполняем приказ Павла Дмитриевича! Выполняйте команду!" – отрубил тот, кто был постарше. Суржекей нахмурился, молча снял поясной ремень, наган в кобуре вручил одному из джигитов. Козбагар поступил так же. Затем их повели в разные камеры. Прямиком по темному коридору отконвоировали во двор, где находилась тюрьма НКВД, и запихнули в тесные камеры-одиночки. Козбагару казалось, что он видит сон. Раньше он сам арестовывал людей, теперь взяли его самого. Однако самым тяжелым оказалось для него видеть, как арестовали Суржекея, имя которого гремело по краю столько лет. Перед глазами стояло: он безропотно снимает ремень, кобуру… Бог ты мой! Оказывается, Козбагар многого еще не видел в своей жизни! И никак не мог взять в толк, как такое могло случиться? Раздумывал и так и этак, в конце концов у него разболелась голова.

Следователь не стал морочить ему голову всякими вопросами, требованиями заполнить анкету. Как только они остались одни в кабинете, энкэвэдэшник подскочил к нему и без лишних слов врезал в челюсть. Следователем был не кто иной, как сам Кулберген. Несколькими месяцами раньше он перевелся в областной НКВД, пойдя на повышение.

– Я давно подозревал, кто ты такой на самом деле, знаю это как свои пять пальцев! – сказал он, мотая головой, точно гадюка, изготавливаясь для удара. Козбагар,

рухнувший ничком после первой оплеухи, трясясь, поднимался с красным пылающим лицом. Он испуганно отпрянул в сторону. Плотный, весь какой-то багрово-темный службист-здоровяк, не спуская с Козбагара покрасневших глаз, отошел к столу, поглаживая кулак. Налил из графина в стакан и залпом выпил. Затем зло выдохнув: "Мать твою…" – еще раз со всей силы огрел Козбагара своим свинцовым кулаком, и, подойдя к табуретке, тяжело плюхнулся на нее и вперил в арестованного сверлящий взгляд:

– Вы! – ударил он кулаком по столу. – Вы! Взбаламутили все на свете! Вы развели кумовство в органах, делали что хотели! Превратили районное НКВД в частное хозяйство! Занялись ежовщиной! Вступили на путь борьбы против Советской власти! Заполнили тюрьмы безвинными людьми!

Вот так начал гвоздить Козбагара следователь. Кулберген принялся сыпать словами, безжалостно хлестал обвинениями, словно камчой бичевал арестованного, пускал в ход кулаки, не разбирая, где голова, где живот…

Приподнявшись, по-бычьи мотая головой, Козбагар выдохнул:

– Клевета! Все, что сказал – клевета!

Эти слова вырвались из него ненароком, но этого было достаточно, чтобы глаза Кулбергена полезли из орбит, будто его ужалил скорпион. Он дернул головой, словно ему не хватило воздуха, затем без лишних слов, вновь заработал кулаками. Козбагар, согнувшись, закрыл лицо руками. Всего год служил Кулберген в Наркамысе, и за это время прослыл жестоким, не знающим жалости существом. И почему таким везет, почему перед ними открываются все двери? Всего за два месяца до этого, получив повышение в чине, Кулберген перевелся в область. А сколько раз с ним вместе угощались за дастарханом, чаевали, ели, пили, теперь, выходит, таким образом возвращает он должок? Зверь! Шакал, не забывающий малейшей обиды! А что ему оставалось делать, кроме как проклинать его? Следователь избил его так, что распухло лицо, из носа хлестала кровь.

– Пока не признаешь свою вину, будешь торчать, как чурбан, на ногах, – сказал Кулберген после долгих побоев. Утомился, наверное. Сел отдыхать, вяло опустив плечи.

Козбагар угрюмо молчал.

– Не думай, что легко выпутаешься! Отсюда дорога только в одну сторону. Сам знаешь! Скорее признавшись в совершенном преступлении, ты облегчишь себе наказание. Упрямством ничего не выиграешь! – напомнил Кулберген.

И подумалось невольно: "Да, теперь эти не отпустят его. Принудят, так или иначе. Молотя и давя, они добьются своего. Уверены, когда жертва дойдет до предела страдания, – сломается. И подпишет что надо. Козбагар тоже это знает. Знать то знает, да уж очень тяжело брать напраслину на себя".

На третий день допросов приволокли Суржекея, вид его ужаснул, лицо – сплошной синяк. Суржекей был уже не прежним Суржекеем, ноги не держали шатающееся тело. Он не мог даже разомкнуть веки. Держа с обеих сторон подмышки, заволокли, посадили на стул.

– Вот твой бог Суржекей, теперь выслушай, что он скажет, – усмехнулся Кулберген.

– Говори! – кивнул он Суржекею. Тот, словно всмерть пьяный человек, начал что-то бормотать заплетающимся языком:

– Я… Жекей К… работал в районном НКВД… занимался… занимался ежовщиной. Подтверждаю, что выполнял приказы Ежова… Арестовывал безвинных людей… Я признаю свою вину… свои преступления… моей вины много…

Выдавив это, Суржекей поднял трясущуюся голову, глянул заплывшими щелочками-глазами.

– Выслушал, сучий выродок?! – пуще прежнего взбеленился Кулберген, метнув взгляд в Козбагара.

– И это твой бог? Он сам во всем признался. А ты?.. Кто ты рядом с ним?

Козбагар молчал. Кто поверит, что этот бедняга с кровоточащим лицом, мотающейся головой, сидящий напротив него – вчерашний Суржекей? Нет, не Суржекей, а тень, завладевшая его обликом. Козбагар был подавлен, потрясен до глубины души сценой постыдного падения человека, которому еще вчера поклонялся, как кумиру. Он чувствовал себя вдребезги разбитым и уничтоженным. Кулберген же, видя его состояние, напротив, очень даже воодушевился.

– Теперь слушай, ты… Подтверждаешь ли то, что сказал твой начальник или будешь отпираться? Отвечай!

Козбагар переступал с ноги на ногу.

– Не могу подтвердить… – сказал тусклым голосом.

– Так! Значит, не можешь? Значит, ты считаешь себя чище воды, белее молока?

– Я не изменник.

– Тогда сам скажи, что нужно сделать с человеком, совершившим преступление против социализма, против товарища Сталина?

– Не жалеть.

– Правильно… А если докажем, что ты преступник?

– Тогда… нельзя щадить и меня…

– Можешь доказать свою преданность Сталину?

– Могу …

– Как докажешь?

– Я… Я… – вырвалось невнятно у Козбагара. Он молитвенно протянул вперед руками. Глядя на портрет Сталина, висящий на стене, стал бормотать, словно в бреду:

– Я не виноват… Товарищ Сталин! Я почитаю вас больше, чем бога! – затрясся в рыданиях, упал на колени перед вождем. Уткнулся лбом в каменный пол. Кто-то подбежал сзади и подхватил его подмышки. Судорожный плач сотрясал тело. Оказывается, придерживал его Кулберген. Он рывком поставил на ноги допрашиваемого, затем повернулся к Суржекею:

– Он продал товарища Сталина! Он продал нас всех! Если на самом деле любишь Сталина, то покажи на него, как на главного виновника! Ну! – бешено заорал Кулберген и сильно толкнул Козбагара прямо на Суржекея.

– Бей предателя! – завопил он. Козбагар по инерции упал на Суржекея, вытянул руки вперед, чтобы опереться о него, но бедняга Суржекей квело надломился в пояснице и трупом рухнул на пол. Козбагар оказался на нем сверху.

А дальше произошло нечто совсем неожиданное: придя в себя, он осознал, что лежит на Суржекее и вовсю молотит его кулаками. Причитает и колошматит: “Продажный пес! Предатель!” Вот с таким же азартом загорался и сам Кулберген, как бы теряя рассудок, когда избивал Козбагара. Теперь и Козбагар помрачен этим безумством.

Как будто с каждой оплеухой в лицо "врага народа" он все больше и больше очищался перед Сталиным. И еще кое-что, доселе неизведанное, испытал при этом Козбагар. В кровь избивая Суржекея, он ощущал странное облегчение, даже что-то вроде удовольствия. Тайное, глубоко скрытое удовольствие от того, что поверг в прах и растоптал вчерашнего повелителя, выбив при этом из него и дух, и показное величие, тем самым как бы став ангелом мести. Чудилось ему, что свидетели происходящего от души рукоплещут ему, восклицая: "Молодец!"

Он сгоряча обрушил на Суржекея целый град ударов, но месить кулаками человека, не оказывающего никакого сопротивления, муторно. Козбагар утихомирился. Лицо его было замызгано слезами. Всхлипывая и дрожа, он поднялся на ноги. Оглянувшись, увидел троих джигитов... Они стояли в разных углах комнаты, схватившись за животы, корчились в неудержимом смехе...

Козбагар понял, что бесповоротно опозорился. От невыносимого животного унижения у него тотчас высохли слезы на лице. Он похолодел. Стало до тошноты отвратно ему от жизни такой. Будто шелудивый пес, покусанный стаей, стоял в центре кабинета, дрожа и потерянно озираясь. Сейчас он окончательно понял, что ему ни за что не вырваться из лап этих шакалов. Он потерял всякую надежду.

– Несите! – выговорил он, – подпишу!

– Вот молодец! Ай да, джигит!

Козбагар подписал протокол.

С этой минуты следователи оставили его в покое, с этой минуты душа его обрела хрупкое равновесие. В маленькой одиночной камере он тонет в безвременье.

4

Положение Суржекея было еще более тяжелым. Не зря говорят в народе: "Вырастил щенка, а он укусил хозяина" – выпестованный им самим Кулберген показал ему, где раки зимуют. Суржекей считал, что, сиротствуя с малых лет, хлебнул он горя немало. Оказывается, это было наивное понятие. Прославившийся бессердечностью к

людям, Суржекей не ведал, что встречаются бирюки более лютые, чем он сам. Проморгал он, что Кулберген – прирожденный палач. Да, работая начальником районного НКВД, он заметил, что подчиненный Кулберген бывает жесток с арестованными. Иных упрямцев, которые не поддавались давлению других следователей, Кулберген обламывал за два-три дня. Суржекей решил, что в этом проявляется преданность Кулбергена службе, его незаурядная ответственность. И он поддержал ученика. Ставил его в пример другим. С чего начались интриги этого оперуполномоченного, лобастого чернявого парня, присланного на помощь областным НКВД? Кажется, всему причиной то самое письмо...

Был конец ноября. Шел наиболее активный период зачистки вражеских элементов. Донос поступил из Жанажола. Письмо было написано рукой человека, понаторевшего в таких делах и хорошо разбирающегося в тонкостях политики. В письме вновь извещалось о Дау-апа, матери небезызвестного мергена Булыша, возглавлявшего банду в памятные годы коллективизации. Автор кратко излагал историю восстания Булыша и его людей против Советской власти. Далее подчеркивал, что зловредная старуха-доходяга под предлогом того, что выпасает скот, удаляется за окраину аула, и там на открытом пространстве принимается плакать-причитать по своему сыну бандиту, воевавшего против Советской власти. Упрямая старуха не только оплакивала своего сына, а, выйдя в степь, во весь голос проклинала нынешний режим. Преданные Советской власти пионеры Жанажола не раз становились свидетелями того, как Дау-апа, пася коз в Шилисае, во всеуслышание горько причитала по бандиту Булышу. Таким образом, нет никаких сомнений, что Дау-апа – отъявленный враг Советской власти в Жанажоле.

Суржекей, прочитав письмо, принесенное Кулбергеном, шевельнув усами, угрюмо нахохлился. Незадолго до этого из областного НКВД пришла секретная разнарядка на дополнительный арест еще 20 человек по району. Все они должны были быть старше шестидесяти лет, люди, пользующиеся немалым влиянием среди аульчан. Вернувшись из Актобе, Суржекей собрал в своем кабинете

доверенных чекистов и ознакомил их с секретным приказом. Центр есть центр, разнарядка есть разнарядка – надо было приступать к делу. С этого дня начались аресты аульных стариков. По мысли Суржекея, аресты аксакалов, пользующихся авторитетом, придерживающихся старых взглядов, должны пресечь любые поползновения в сторону буржуазного национализма. Суржекей именно так понял подноготную этой политики. И своим подчиненным объяснил ту же идею. Среди присутствующих был и Кулберген.

Полученное письмо странным образом отвечало духу пришедшей разнарядки. Изучив донос, Суржекей ни с того ни с сего разозлился. Каким бы железным чекистом он ни был, каким бы твердолобым ни прослыл, он не хотел пятнать свою честь, губя старых женщин. Вспомнил, что с давних времен казахи-охотники никогда не стреляли в косуль, если видели рядом с ними самца. Убивали только самцов, и эта традиция соблюдалась не только по отношению к животным, но и к людям. И этот подонок в самом деле поверил, что несчастная старуха – вражеский агент?

– Клевета это… без всякого сомнения, – буркнул он, проглотив часть фразы.

– Мы обязаны проверить… в любом случае… – возразил Кулберген. По его виду было ясно, что он не желает уступать, будет настаивать на своем.

– Ну и проверь, – неохотно произнес Суржекей. Тогда как надо было грохнуть кулаком по столу, наорать на Кулбергена! Суржекей не смог этого сделать. Настоящий казах в такую минуту мигом заткнул бы горло такому треплу, как Кулберген. "Сучий выродок! Что ты мелешь?! Что, нам ничего не осталось делать, как сгноить в тюрьме своих матерей?! Хватит, скотина! Смотрите-ка на этого воина! Лучше не показывайся на глаза народу!" – и с этими словами загнал бы ублюдка туда, где зимой на собаках ездят. Опозорил бы перед народом и прогнал бы к чертям собачим. Настоящий казах сделал бы так. Но Суржекей не решился так поступить. "Проверьте!" – коротко сказал он и отвернулся в сторону, хмурясь, не скрывая, что Кулберген неприятен ему. Кулберген проверил дело. Привез из Жанажола целую пачку протоколов,

подтверждающих факты, указанные в письме. Суржекей понял, что приперт к стенке.

– Опозоримся!.. Не надо трогать старуху! – попробовал было урезонить Кулбергена.

– Вот ордер прокурора! – сказал Кулберген. Суржекей моментально пришел в ярость.

– Чего распоясался?! Кто дал тебе право просить санкции прокурора?

– Право мне дала... честность! – отрезал лобастый, набычившись, готовый стоять на своем до конца.

И тогда Суржекей почувствовал, что этот Кулберген далеко не прост, как выглядит. Уже тогда у него появилось предчувствие, что об этой стычке рано или поздно кое-где узнают. Кулберген сделал свое дело и затих. Он вызвал Дау-апа в Наркамыс под предлогом, что ее вызывает РИК, обманом завел во двор НКВД и запер в камере.

С мужскими чертами лица, громадная черная старуха, Дау-апа все поняла и обронила такие слова: "Наконец-то, уяснила твое намерение, сынок. Удивилась я, что это за начальник, который решил проявить уважение ко мне, вызвав меня для беседы. Не начальник, а тюрьма приглашает меня, оказывается. Пропадите вы пропадом, когда-то не смогли поймать бандита Булыша, так решили отыграться на его матери, так? Молодцы, ничего не скажешь! А, все равно скоро умирать, пусть будет по-вашему!" Не сказала, а пригвоздила к позорному столбу. Услышав это, Суржекей изменился в лице. Некогда он сказал самому себе: пока я начальник НКВД в этом районе, не дам сажать в тюрьму женщин и детей. Теперь, когда это неслыханное событие произошло у него под боком, он почувствовал себя полностью выбитым из колеи. Да, большая чистка должна проводиться без оглядки на возраст и пол людей. Политика – дело общее. Поэтому сейчас подвергают репрессии не только тех, кто пошел против Сталина, партии, встав на путь контрреволюции, но и нередко их жен и детей. Это, конечно, правильно. Раз взялись чистить, нужно потрошить до конца. Дабы построить в конце концов общество социальной справедливости, нужно решительно избавиться от любого мусора. Нужно не только избавляться от хлама, но и уничтожать его. Тем не менее надо понимать, что аул есть

аул. Здесь обстоятельства другие. Если порубим не только мужчин, но и стариков, как будут выживать потом женщины и дети, откуда у них появятся силы? Куда погонишь их, туда и пойдут толпой, словно отара. До седьмого колена лишатся памяти они... Этот народ станет толпой безмозглых рабов, которым можно будет все приказать, и они станут исполнять, холуйски кланяясь, пятясь назад... А разве политика не преследует именно такую цель? Иначе, зачем опасаться нынешних женщин и детей, стариков?

Так думал Суржекей. Думая так, Суржекей поступал таким образом, что до сих пор во всем районе ни одна женщина, и ни один мало-мальски зрелый подросток не были посажены в тюрьму.

Арест Дау-апа нарушил эту установившуюся традицию.

"Где этот ваш Суржекей?! Позовите его, посмотрю я на него! Это он, сев на коня, преследовал Булыша, словно тот был должником его отца. Лишив его сна, отдыха, словно зверя гонял в пустыне, не давал пристать к людям, и не успокоился, пока не накинул на него петлю и не удавил. Красноглазый шайтан! Теперь решил отомстить матери за то, что не дался ему в руки мой Булыш! Палач – безбожник! Позовите его сюда, вашего ЕНКВД, пусть он будет даже плотью от пуповины вашего усатого бога – Сталина, плюну я ему в рожу, этому грешнику!" – подняла крик на всю тюрьму старуха.

"Ойбай, апа, потише! Не трогайте имя товарища Сталина!" – переполошился Козбагар, но сварливая старуха и не думала угомониться.

"Пропади ты пропадом, сопливый выродок Уапа! Что, Сталин тебе дороже матери? Дороже отца родного?! Покажи мне этого усатого бога, посмотрю я, откуда он народился на свет! Плевать я хотела на этого грязного палача, не материнской грудью, а сосцами албасты[1] вскормленного!" – так ругалась и в ярости выходила из себя Дау-апа. Козбагар попробовал было дать ей воды. "Убирайся прочь, чтобы грязные лапы нечестивцев мне что-то подавали – этого мне еще не хватало! Убирайся!" – обрушилась на него Дау-апа.

Суржекей не осмелился встретиться с Дау-апа. Не долго думая, он оседлал коня и под предлогом: "Я должен объехать район" – канул в степь. Он нахлестывал коня до

---

[1]*Албасты* – демоница.

тех пор, пока Наркамыс не исчез за горизонтом. И пока не перевалил через песчаные косогоры, догонял и хлестал ему в спину крик Дау-апа.

Отсутствовал он неделю, проверяя в разных местах района сведения, полученные в заявлениях и письмах бдительных трудящихся. Когда вернулся в Наркамыс, выехавшие навстречу джигиты сообщили, что только вчера похоронили Дау-апа. Дау-апа, так и не принимая из рук энкэвэдэшников ни капли воды, ни кусочка хлеба, отвернувшись к стене, лежала все дни, и на шестой день умерла. Джигиты ночью в темноте отнесли тело на кладбище и зарыли на самом краю. С некоторых пор повелось у чекистов хоронить умерших в тюрьме НКВД таким образом в темноте неприметно для жителей.

Что на это сказал Суржекей. Промолчал. Замкнулся в себе, стал набивать трубку табаком. Дрожащие пальцы не подчинялись, табак сыпался. Когда трубка была набита, подошел к окну. И опять томительно заскрипели, застенали сапоги из заграничного хрома. Подражая походке Сталина, важно заложил руки за спину. Это сходство внутренне нравилось ему. Душа его в этом находила какую-то невыразимую сладость, какую-то поддержку в этом неверном мире.

Конечно, он был огорчен смертью Дау-апа, однако, спустя некоторое время, расхаживая по своему кабинету взад-вперед, внимая всей душой музыке хромовых сапог, он почувствовал что-то вроде успокоения. Тайной сладостью подпитывалось его сердце ощущением своей власти, он еще в силе, еще энергичен, полностью контролирует ситуацию. Как бы то ни было, надо осознать, что значение этого исторического периода для будущего трудно переоценить. Данная историческая ситуация, особенно 37-й год, по своему значению равны самой революции. Общество получило возможность разом избавиться от разлагающих враждебных элементов, троцкистов, зиновьевцев, буржуазных националистов, всякой контры. Народ очистился от шлака. Народ, нашедший силы сбросить ненужный балласт, теперь заживет свободно, вздохнет полной грудью и широкой трудовой поступью зашагает к светлому будущему.

Суржекей подошел к окну, бросил задумчивый взгляд на сплошное серое скопище глинобитных мазанок, на мазары, темнеющие на склоне холма, на пластающуюся тусклым серебром гладь реки, лениво текущую из-за косогора. Весь мир виден как на ладони. Как будто Суржекей с небывалой возвышенности все это разом озирает. А сам он сейчас словно средоточие нечеловеческой силы. Неразумными муравьями копошатся людишки внизу. Суетятся у его ног, бессмысленно возятся. Если он пожелает, в один миг раздавит их подошвами своих сапог. Народ знает про его безграничную мощь. И ни одна душа не смеет показаться перед ним. Мужчина это, или женщина, не имеет значения, – все они готовы пасть ниц перед ним. По его воле и прихоти галопом носятся они. Готовы рабски служить ему. Готовы они быть слугами и наложницами. Немало было их, смазливых молодок, которых он сделал своими токал. Не счесть красоток, которые льнут к его ногам, вчерашнего сирого сироты, батрака, на которого раньше и не посмотрели бы.

Суржекей – преданный солдат партии, готовый умереть ради Сталина и возродиться из пепла, если Сталину нужно будет. Вот такого Суржекея теперь арестовали и обвинили. И в чем? В том, что был ломовой дубинкой в руках Ежова, врага народа, вредоносной деятельностью изнутри разлагавшего Советскую власть. Якобы, ненасытным стервятником истреблял народ. Если виновником 37-го года наверху был Ежов, то исполнителем внизу – Суржекей. И что на это ответить, как отвести обвинения, что послушно выполнял указы Ежова? Приходили приказы, разнарядка, дескать, арестовать столько-то человек, Суржекей арестовывал. Сто человек арестовать – арестовывал сто. Он не сомневался в том, что приказы Ежова – это приказы самого Сталина. Каким образом ведал бы Суржекей, что на уме Ежова было совсем другое? В конце-концов вышло, что он слепо следовал курсу Ежова, а не курсу Сталина. Сталин-то не ошибается... А сам он оказался железной дубинкой в руках Ежова. Поэтому он признал свою вину перед Родиной. Его жестоко били. Катали пинками, пытали. И он подчинился всему, во всем повинился. Одного только он не признал, когда его

обвинили в том, что пошел против курса Сталина, – он встал на дыбы, ни за что не соглашаясь с этим. "Хорошо, расстреляйте меня! Я Сталина не предавал. Перед Сталиным моя совесть чиста!" Беспощадные избиения продолжились, и он хлебнул страданий по самые ноздри.

Теперь ни живой, ни мертвый, в полубессознательном состоянии лежит в камере. И рядом с теми пытками, которые он перенес, побои плачущего, бедного Козбагара были все равно, что прикосновение пушинки. Получая тумаки от Козбагара, он понял его состояние и пожалел: "Бедняга, несчастный ты!"

5

Столько дней не поднимался с матраца, на спине стали набухать синяки. Не выдержав, он поднялся и принялся мерить беспокойными шагами, тесную камеру. Оказывается, лежать мертвецки на одном месте также мучительно, как и выстаивать столбом и день, и два. Однажды он услышал звуки. В дальнем конце длинного коридора лязгнули открываемые двери. Кто-то затопал по бетонному полу. И эти шаги не принадлежали дежурному. С приближением странных звуков его сердце сильно забилось. Он различил, что шаги принадлежат не одному человеку, а нескольким. Звякая ключами, открыли дверь соседней камеры. Все это происходило в середине ночи. Свет лампы упал на дверь камеры Козбагара. Они приглушенно переговаривались. Мысли Козбагара понеслись вразброд: "Кто это? Что они делают? Уйдут с этого места или направятся к его камере?" Он прижался лбом к холодной, как лед, двери, ловя малейшие звуки. И как будто они только этого и ждали... двинулись к его двери. Свет лампы прыгал, метался по коридору. Совсем близко зазвенел ключ.

Ноги у Козбагара подкосились, он рухнул на матрац, прижавшись спиной к кирпичной стене, на лбу выступил ледяной пот. Кто-то шнырял длинным ключом в устье отверстия и никак не мог попасть. Ключ впустую гремел и скрежетал. Перед глазами все потемнело. Он и не заметил, как отворилась дверь. "Уапов! – окликнули его. – Выходи!" Перед входом чернели силуэты двух или трех

человек. Козбагар поднялся. В камере из его вещей был только узелок, который он клал под голову вместо подушки. В нем была его одежда. Он нагнулся, чтобы взять узелок. "Оставь! – сказали ему. – Ты вернешься". Козбагар растерялся. Сказали, что он вернется... Вышел в коридор. "Шагай!" И он, волоча ноги, двинулся за незнакомым человеком. Вышли из коридора во двор. Во дворе рядом с дежурным темнела угловатая фигура. Это был Суржекей. Козбагара вели двое в длинных плащах. С правой стороны их плащи оттопыривались, выдавая кобуры! "Вставай!" – сказали Суржекею. Тот с трудом поднялся. Один из тех, кто был в плаще, взял его под руки. Суржекей еле двигался. Чуть ли не волоком потащили его к машине, которая стояла у ворот. Во дворе было темно. Козбагар посмотрел на небо. Звезд не видно. Дул легкий ветерок. Небо было обложено тучами. "Садитесь!" – приказали военные. Сначала помогли взобраться Суржекею. В кузове был человек. Он помог Суржекею вскарабкаться на борт машины. Козбагар, напрягшись, залез сам. Под ногами что-то загремело. Это были лопаты. " Зачем лопаты?" – похолодел он. Как будто прочитав его мысли, сопровождающий сказал: "В соседнем колхозе прорвало пруд. Едем помогать".

Машина тронулась с места.

В кузове их было шестеро. Двое в плащах сидели у заднего борта, не спуская глаз с заключенных. У кабины жались друг к другу четверо арестованных, включая Козбагара, они теснились под небольшим брезентовым тентом. Суржекей сидел с правой стороны. При каждом толчке машины он мешком валился вперед, поэтому Козбагар старался придерживать его своим плечом. Поддерживать рукой боялся, – чего доброго обвинят, что пособничал "врагу народа".

Машина в полной темноте пробиралась по безлюдным улицам. Не видно ни единого огонька, ни одной живой души. Пустынные улицы навевали мрачные мысли. Казалось, эти угрюмые переулки шептали: "Мы знаем, куда вас везут – на расстрел". Козбагар понимал язык улиц. Их везут на казнь. "Едем помогать" – это предлог. Обман. Ловкий маневр. Работая в органах НКВД, Козбагар навиделся всевозможных уловок, которые применялись

для того, чтобы запугать и обмануть людей. Он стал свидетелем всевозможных методов насилия человека над человеком. Оказывается, насилию предела не бывает. Если кто-то попытается сохранить человечность, доброту, захочет противостоять злу, тем самым сделает себе еще хуже. Не успеет протянуть руку оклеветанному, как сам окажется в силках. Наоборот, нужно стремиться оговоренного очернить еще сильнее. И тогда ты, подобно Кулбергену, пойдешь в рост. Поэтому Козбагар подчинился правилам игры. Носился галопом, выполняя любые приказы начальства. И вот за это его хотят расстрелять. Если бы Козбагар хоть что-нибудь сделал по своей воле. Если бы он наломал дров по своей воле. Нет же, делал, что ему велели. И тогда в чем вина бедняги? Вина в том, что безропотно выполнял приказы?

Выехали на окраину города, повернули к станции Темир и села Наркамыс. При мысли, что машина направляется в сторону его родного аула, по которому он так истосковался, в душе Козбагара шевельнулась надежда.

В эту минуту Суржекей, казалось бы ни живой, ни мертвый, безвольно мотавшийся от толчков, с правой стороны толкнул его в бок. Он повернул голову. В темноте трудно было разглядеть лицо Суржекея. Суржекей наклонился к нему:

– Расстреляют! – свистящим шепотом дохнул ему в ухо Суржекей. Козбагар кивнул головой, дескать, знаю. Притулившиеся у заднего борта охранники подняли голову и настороженно уставились на них. Козбагар тотчас притворился сонным. Суржекей тоже принялся клевать носом и безжизненно мотать головой туда-сюда. Ветер был крепок, к тому же работал мотор, надзиратели не должны были услышать их шепот. Если даже услышали, что они могут сделать? В конце концов – все равно их расстреляют. Толчки, качки кузова, рев мотора усилились. Пользуясь этим, Суржекей вновь ткнул его в бок. На этот раз для скрытности Козбагар не стал поворачивать к нему лицо. Слегка наклонил голову в бок, подставил ухо.

– Твоей вины нет, – прошептал Суржекей. В это мгновение машина подскочила, и они стукнулись головами.

– Прекратить разговорчики! – заорал один из охранников. Однако Козбагар остался хладнокровным. Прежний страх исчез. Напротив, появилась

необъяснимая храбрость перед лицом близкой гибели. Едва не бросил им с вызовом: “Ну и что, разговариваем, что сделаете?!”

– Беги! – буркнул Суржекей, с новым толчком качнувшись к нему. Козбагар ничего не ответил. Однако сердце неистово забилось, запрыгало в груди. Суржекей подзуживает его не зря. Конечно, бежать надо. Однако как это сделать? Как вырваться из лап охранников? В кабине сидит еще один. Да и водитель, конечно, служит в НКВД. На четверых арестованных приходится четыре палача. И все четверо вооружены. Попробуй бежать – застрелят без раздумий.

Машина опять подскочила. Суржекея вновь шатнуло к нему.

– Все равно умирать! – прошептал он.

– А вы? – невольно вырвалось у него. И голос его слился с гулом мотора и воем ветра.

– Я конченный человек, – ответил Суржекей.

Машина, свернув с наезженного тракта, резко взяла вправо. С ревом пробиралась по ухабам, кочкам. Густая пыль зависла над кузовом.

– Я отвлеку этих... и тогда прыгай!

Козбагар уже не соображал, что поисходило вокруг него и что он сам делает. Все случившееся смешалось в отрывочных, невнятных впечатлениях. Пот разом проступил на лбу, обильно заструился подмышками, по спине. Жизнь висела на волоске, а душа уже заглянула в пучину. Кровь молотом стучала в виски. Что делать, как ему быть, бежать или ждать, чем все кончится? Одно ясно, прыгнет – в него будут стрелять, останется – ждет тот же конец. А если удастся бежать, где ему спрятаться? Как ему спастись от неминуемой погони? А если уйти в пустыню, где не ступала нога человека? В дикие края, путая следы, хоронясь зверем? Там его не найдут. Пешком, правда, далеко не уйти. Если бы было на чем ехать, перебрался бы через Устюрт. Канул бы в Каракумы. В прежние годы немало людей так спаслось от властей. Что расстреляют его – ясно. Дьяволы, глазом не сморгнув, соврали, что везут чинить пруд. Кого они хотят обмануть? Быть может, вы обвели вокруг носа этих простачков, но только не Суржекея и Козбагара.

В это время в нос ударил густой кисловатый запах жынгыла[1]. С истомой вдохнул полной грудью. И понял ясно, что надо уходить в заросли жынгыла. В тугаи! В тугаи! Вот подходящий момент для бегства. Что может быть более надежным для беглеца, чем тугаи?

Машина замедлила ход, натужно ревя, тяжело пошла на подъем. Козбагар перевалился через борт и нырнул в темноту.

– Стой! – истошный крик ударил в спину, когда Козбагар поднялся и побежал прочь от машины. Ломая и круша пышные соцветья кустарника, опрометью кинулся в густые заросли жынгыла. Кубарем скатился в песчаную впадину меж кустами. Вскочил и понесся в сплошной темноте. Листья и кисти жынгыла хлестали по лицу. Сзади грохнули раскатистые выстрелы. Пуля провизжала у самого виска. Кубарем покатился вниз. Кто-то, топая, бежал следом. Оттуда, где осталась машина, доносились шум, крики. Казалось, небо пошло громовыми кругами, сотрясаясь от выстрелов. Как будто началась война. Ветер свистел, сипло задыхался и бил порывами в лицо. Ночь дико вздыбилась и понеслась вскачь. Под ногами ничего не различить. Он побежал медленнее, чтобы не было слышно звука шагов, пружинил ноги. Пули жужжали шершнями. Вспомнились повадки лисы, убегающей от гончей. Козбагар принялся петлять. Начал делать круги. Потом залег под кустом, затаил дыхание. Тьма была – хоть руками разводи. Преследователи прогромыхали мимо, стреляя наугад. И тогда Козбагар на четвереньках пополз... не зная куда. Прокрался по песку метров тридцать-сорок, добрался до сплошных зарослей, нырнул в чащу и затих. В зарослях посвистывал ветерок, шебуршали кусты, лохмотьями висела тьма. Те двое далеко не ушли, вскоре они вернулись к кусту, где потеряли Козбагара. Ругаясь, стали обшаривать кусты. Затем все стихло. Прислушался. Почувствовав наитием, что пришло время уходить, поднялся и на цыпочках стал углубляться в чащу. Козбагару, конечно, понятен язык пустыни, шепот ветра, знаки кустов, не в пример тем двоим. Невероятно, но, кажется, ему удалось вырваться из западни. И до рассвета подобру-поздорову надо убираться отсюда дальше. Пока ему удалось оторваться

[1]*Жынгыл* – вид кустарника.

от этих псов, которые гнались по пятам. Теперь цель – уйти подальше. Уйти из этого края в безлюдье. Другого просто не дано. Ветер дул в спину, словно соревнуясь с ним, Козбагар ходко пробирался среди кустов. Шагал и шагал. Свет от фар машины и голоса переругивающихся остались далеко позади. В широкой лощине, сплошь заросшей жынгылом, надсадно дыша, двигался Козбагар. Не раз, не два окатило его горячим потом. Он прокладывает путь к спасению. Аллах, да поддержит его! Покуда живой, надо унести ноги подальше от этих мест, кануть бесследно в пустыню. "О, Аллах! О, дух Барака, помогите, поддержите! С мольбой обращаюсь к вам!" – слезы струились по лицу Козбагара.

К рассвету гудящий пустынный ветер принес дождь. Однако дождило недолго. Поморосило слегка и стихло. И пространство внезапно затихло, словно шаман, утомившийся от буйной пляски. Безмолвие нависло над миром. Один только Козбагар брел себе, словно бесприютный дух. Не помнил он, сколько лощин пересек, сколько холмов перевалил. То шагал, то бежал трусцой, и так до первых проблесков на востоке. Оказался на совершенно незнакомой местности. Не было видно впереди и позади ни единой живой души. Дикая рожь, клевер, осока, покрывшие плоскую равнину, обвивали ноги. Он почувствовал, как вместе с тишиной безграничного неба успокоение стало проникать в тело. Бежать сил не было, тащился, еле переставляя заплетающиеся ноги. Шелковый, благоуханный ветерок овевал потное лицо, дышал участием. Ветер жалел его. И лелеял, утешал, с нежной материнской лаской. Трогал невидимыми перстами сердце. И тогда, раскинув руки, он всем телом упал в густую, пробрызнувшуюся серебристыми стебельками и нитями осоку. Терпкий запах травы щекотал носоглотку. Простонав, с трудом приподнял непослушное тело и перевернулся на спину. Лежа так, незаметно для себя задремал.

Очнулся от щекочущего прикосновения теплых лучей. Пришел в себя, лоб был горячий. Был уже полдень. Далекое марево преображалось в миражи.

Вновь тронулся в путь Козбагар. Наискосок поднялся по склону холма. В этот момент сердце его дрогнуло. Внизу у подножия холма медленно брели, выпасаясь, несколько верблюдов. Они постепенно приближались к Козбагару. Значит, неподалеку есть люди. Радоваться этому или бояться, Козбагар не знал. Он пошел к верблюдам с видом случайного прохожего.

Верблюды были безмятежны. Время от времени, отрывая морды от травы, поднимали головы, чтобы посмотреть на человека. Среди животных он разглядел дойную верблюдицу-инген[1], верхового атана, несколько крупных вожаков-наров. Двое-трое паслись даже с поводьями, обмотанными вокруг шеи. Наверное, хозяину и в голову не приходило, что на его верблюдов может набрести вор. "Ради выживания надо брать" – мелькнула мысль. Сомнений не было: надо... Так и поступил. Он поймал упитанного самца с веревкой, обмотанной вокруг шеи. Заставил опуститься на колени. Тот только пару раз реванул, когда незнакомый человек взобрался ему на спину. Стоило только ему дернуть веревкой и ударить пятками в бока, как верблюд понесся плавной рысью. Какой мягкий и широкий шаг у этого атана! Идет, будто качает на колыбели.

"Ия, Аллах, да будет спасение!" – шепнул Козбагар.

Рысит, несется атан прямо на юг. Козбагар безмятежно, радушно смотрит по сторонам, бросает взгляды то вперед, то назад. В самом деле он угнездился на спину такого ходкого рысака, или это ему только снится? Сам себе не верит. Да, если Аллах решил дать, одаряет он милостью щедро. Разве по такому поводу не было сказано: "Умирающему в песках рабу послал бог родник Зям-зям".

К обеду атан вышел к краю плоской равнины. Впереди – река Жем. Еще два-три дня пути. По берегам Жема – люди. Дальше – его родичи. Затем Оймауыт. Еще дальше – плато Устюрт. Еще дальше пески Туркмении.

Вперед, атан, не уставай, атан!

---

[1]*Инген* – дойная верблюдица, *атан* – взрослый самец, *нар* – вожак стада.

ЖЕНЩИНА ПОД ЛУНОЙ

1

С тех пор прошло еще четыре года. Вот уже второй год идет война. От Шеге никаких вестей нет. И Козбагар тоже точно в воду канул. Аульных джигитов толпами забирают на фронт. С этого года начали кое-где и девушек призывать в действующую армию. Нынче забрали обеих сестер Шеге, Айжан и Гульжан. Матери Шеге Жайбаскан сейчас особенно трудно. Как будто мало было ей скорби по Шеге, так добавилась тоска-печаль по двум дочерям, едва достигшим совершеннолетия. Одна-одинешенька со своим неописуемым горем осталась мать. Выбелило ей голову, словно снежной изморозью. Однако, несмотря на тяжелые испытания, свалившиеся на головы женщин, они не сдавались под ударами судьбы. Затянув пояс потуже, брались за любую мужскую работу. Дети тоже рано повзрослели. Стал помощником подросток Едыге, идущий сейчас следом за отарой.

Вспомнилась Хансулу последняя встреча с Козбагаром. И на этот раз она выпасала овец на отгоне. Под ней был все тот же черный верблюд. Кругом безлюдные, бескрайние просторы. Это был конец июля. Вдали что-то мелькнуло, потом явственно зачернело. Затем различила верхового, рысившего на верблюде. "Ия, Аллах, творец всемогущий", – забормотала Хансулу, чувствуя, как отчаянно заколотилось сердце. "А вдруг к ней едут с радостной вестью. А вдруг Шеге вернулся из Сибири?"

Наездник повернул верблюда на отдалении и стал объезжать Хансулу. "Кто-то едет в сторону Донызтау. Однако почему он не остановился и не переговорил с ней? Ведь, по обычаю степи, путник должен обменяться приветствием со встречным".

Человек, сидевший на атане, не сводил с Хансулу пристального взгляда. И она тоже наблюдала за одиноким путником. Сначала она не на шутку напугалась. Кто его знает… Что это за человек заблудший?

Вдруг, наездник повернул прямо к ней. Вскоре можно было различить темное от щетины, изможденное лицо мужчины в стареньком овечьем купи, сидевшего на атане. Голова была обернута тряпкой. Он ехал молча, мягко, но

уверенно направляя верблюда прямо к Хансулу. Движения выдавали в нем бывалого наездника. Хансулу замерла от испуга.

– Хансулу, здорова ли? – подъехал незнакомец. И только тогда опомнилась Хансулу. Козбагар! Она узнала этот голос.

– Астапыралла, ты откуда взялся? – спросила она, все еще дрожа.

– Есть что-нибудь попить? – Козбагар облизал пересохшие губы. У нее в торсыке еще оставался кымран[1]. Он взял бурдючок и разом опрокинул содержимое в глотку. По его виду можно догадаться, что он бежал из тюрьмы. Покончив с кымраном, кинул по сторонам настороженные взгляды.

– Беглец я, что и говорить. Один конец – рано или поздно умирать. Бегу я к туркменам, – пояснил нехотя Козбагар, как бы оправдывая свое положение. – Пропади все пропадом! Судьба Шеге и меня подстерегла. Провались ко всем дьяволам эта власть и этот народ, еду к чертям на кулички за тридевять земель.

Хансулу растерялась. Ей казалось, что она видит сон. Неужели этот заросший серой щетиной, пыльный и костлявый, будто вынутый из могилы, мужик – вчерашний Козбагар? Козбагар, души в ней не чаявший, сверстник, друг детства? Было время, когда он пас коз Пахраддина – отца Хансулу. В годы коллективизации и конфискации скота ему выпала везучая карта, поверив в удачу, он даже вознамерился накинуть хомут на шею Хансулу, то есть жениться на ней. Еще вчера он был на коне... Гремело его имя как энкэвэдэшника. А теперь он бежит сломя голову от своего НКВД, скитается, как бродяга-дервиш. Да, виноват он перед Хансулу. Став комсомольцем, возглавив аульную бедноту, попытался взять ее в жены. Действительно, в тот год она возненавидела Козбагара как лютого врага. Однако судьба все повернула в иное русло. У Козбагара ничего не получилось. Даже пожалела его Хансулу: "Бедняга, с малых лет был безобидным простофилей, тем же недотепой и остался, на том ты и погорел". Чтобы добраться до земель туркменов, ему

---

[1]*Торсык* – бурдючок, *кымран* – кислое верблюжье молоко.

нужны запасы еды, воды, хлеба, поэтому он завернул на пастбище, где надеялся встретить Хансулу. Вечером скрытно Хансулу вынесла из дому немного вареного мяса, хлеб, воду. Прятавшийся в лощине, Козбагар принял еду и сказал Хансулу: "Когда будешь в Наркамысе, найди мою жену и передай от меня весточку. Пусть переедет в Жанажол к свекрови. Скажи, что я жив. Пусть об этом знают только мои мать и жена". Сказав все это, Козбагар засобирался в дальний путь. В минуту прощания он в нерешительности замешкался, переминаясь с ноги на ногу, не осмеливаясь что-то выговорить. Хансулу поняла, что это смущение связано с ней. Ну, конечно, теперь, когда они вдвоем ночью в укромном месте, как не пробудиться старой сердечной ране Козбагара? Еще как воспалилась она... до самой смерти этот недотепа не забудет ту рану. Жалко стало Хансулу невезучего Козбагара. Но что ей делать? Тут, ни слова не говоря, Козбагар облапил ее и крепко прижал к себе. От него так и пахнуло застарелым потом. Хансулу сделала усилие, чтобы стерпеть, и не оттолкнула его. Козбагар отчаянно целовал ее в лицо, затем отвернулся в сторону и судорожно всхлипнул. Хансулу сочувственно сказала:

– Козбагар! Перестань, не растравляй себя. Что только не выпадает на долю мужчины от судьбы... Пройдет и эта черная полоса, как одна минута. Лишь бы ты был жив и здоров.

Козбагар вытер глаза, нехотя взобрался на спину верблюда.

– Прощай, Хансулу! Прощай! – обронил он печально.

– Удачи тебе, в добрый путь, – ответила Хансулу радушно, пожав руку другу детства. Она не скрывала сочувствия к бедному Козбагару, вынужденному искать спасения в далеких краях, бросив семью, родичей. Бедолага Козбагар, наверное, действительно чувствовал ее душевное расположение, погоняя ускоряющегося верблюда, он три раза оглянулся на Хансулу. Раньше она казалась ему такой гордой, недоступной.

Когда Хансулу осталась одна в безлюдной степи, черная тоска нещадно стиснула ее сердце. Ей до боли стало жалко уезжающего Козбагара, и себя жалко, мыкающуюся в одиночестве без мужа. Со слезами на

глазах думала она о горьких вдовах, осиротевших детях. Какая тяжелая участь выпала на долю маленького Едыге, единственного внука Дау-апы, умершей в тюрьме НКВД! Когда старуху закрыли в камере НКВД, мальчик по ее следам пешком прошел по безлюдным пустыням до самого Наркамыса. Этот случай потом превратился в легенду. Народ удивился: "Ойпырмай, как это подросток, едва достигший десяти лет, один прошел семьдесят километров по бездорожью?"

2

Едыге весьма смутно помнил своих родителей. Кое-кто в ауле вовсю нахваливал отца, Булыш-мергена[1], а кто-то нещадно хулил. Одни говорили: "Он был известным батыром, на расстоянии попадал из ружья в глаз косули". Другие: "Он был отъявленным главарем банды, активно боролся против Советской власти". Похвала в адрес отца радовала его, хула ввергала в уныние. Может быть, поэтому с окончанием учебного года, когда семиклассникам сказали: "Поедете в степь помогать Хансулу пасти овец", он сильно обрадовался. Как ему не радоваться! С одной стороны, он уйдет подальше от забавляющегося сплетнями аульного люда, с другой стороны, он будет с Хансулу, к которой давно был привязан. Еще одна причина радоваться – он будет подальше от крика и ругани бастыка – Ждахая. Вот так пятнадцатилетний Едыге прибыл в Сарыжазык на помощь Хансулу.

Хансулу действительно сильно нуждалась в подпаске, так как Тугелхан был в ауле на учебе, свекровь же сиднем сидела дома. Хансулу не скрывала радости, когда увидела подростка. Ее голос звучал особенно тепло. Едыге в Хансулу нравилось все, особенно ее нежный голосок. Ни у кого из женщин не было такого голоса!

Он постарается не ударить лицом в грязь перед человеком, которого почитает уже столько лет. Показать себя настоящим джигитом! Хансулу не должна смотреть на него свысока, как на юнца-недоростка. Пора ей понять, что он уже взрослый парень, она должна думать о нем как

---

[1]*Мерген* – меткий стрелок.

о защитнике, а не как недоростке. Едыге докажет, что во всем крае сейчас – он единственный стоящий мужчина.

Хансулу все понимала и была отнюдь не против такого настроения Едыге. Стоило ей, поручая какое-нибудь трудное дело, добавить: "Ты же джигит!", как он с удвоенной энергией принимался за работу. Ему очень нравилось, что Хансулу считала его мужчиной, сильным при этом, а свою женскую хрупкость всячески подчеркивала. Едыге от этого пуще прежнего проявлял свое рвение. Всю тяжелую работу он взял на себя, освободив Хансулу и Жайбаскан для других дел.

Сегодня Хансулу и Едыге гонят отару на дальнее пастбище, до которого нужно добираться с двумя ночевками по пути. Они вышли в дорогу еще в сумерках раннего рассвета, навьючив на верблюда тюки с одеждой, постелью, запасом еды. Как будто они никогда ранее не отправлялись в столь дальнюю дорогу, Жайбаскан со слезами на глазах благословила их, призывая всех святых, а потом осталась одна у серой юрты на берегу ручья, по мере того, как путники углублялись в просторы, она становилась все меньше и меньше.

Тихий безветренный вечер. В руках у Едыге посох, он идет, бредет себе со своими думами, следуя за отарой.

Хансулу где-то впереди на черном верблюде. Она далеко оторвалась от отары. Уже в сумерках, заметив это, она остановилась, чтобы подождать отставших. Забравшись на небольшой холм, издавна служивший для стоянки чабанов, разожгла костер.

В наливающейся темноте Едыге заметил мерцающий огонек. Это Хансулу на вершине холмика со своим сигнальным огнем. Вот и она, хлопочет, возится возле пылающего костра. Открыла хорджун, вытащила запасы еды. Едыге почувствовал, что сильно проголодался, да и жажда давала себя знать. А когда подумал он, что они вдвоем с Хансулу, одни, наедине, среди огромной безлюдной пустыни, сердце его облилось сладкой истомой. Днем на перегоне они не раз останавливались, чтобы попить, перекусить. Однако этот особенный вечер после долгой дороги, когда знаешь, что впереди еще две такие ночевки вдвоем под открытым звездным небом, навевал на душу Едыге радостное и жутковатое ощущение. Сердце его трепыхалось малой птахой.

– Едыге! – окликнула его Хансулу со склона холма.

– Ау! – отозвался Едыге, подгоняя отару к холму. Завернув овец к стоянке, Едыге неторопливым шагом подошел к костру. Женщина хлопотала у огня, готовя ужин для парня. Она подозвала его мягким заботливым голосом. Спешить к дастархану, позабыв обо всем, – поведение, недостойное для джигита. Едыге идет к месту отдыха с видом взрослого, бывалого человека, неторопливо, вразвалку. Костер уже догорал, над кучей жарко тлеющих углей плясал одинокий язычок пламени. Лишь небольшое пятно земли освещено возле костра. Хансулу сидела, задумчиво глядя на огонь, вновь уйдя в свои думы. На ней было старое красное платье, поношенный темно-коричневый камзол, на голове тоже видавший виды, но чистый, с кисточками платок. Едыге, подходя к костру, хорошо видит ее удлиненный, красивый профиль. Видно, что женщина успела помыться, освежиться. У нее это давняя привычка – быть всегда опрятно и чисто одетой. Даже в степи, будучи с отарой, она заглядывала в карманное зеркальце, тщательно расчесывалась гребешком. Это ее свойство проявлялось и по отношению к еде – она аккуратно накрыла дастархан, не забыв ничего, со вкусом разложив еду на подстилке.

– Подходи, садись! – еще раз пригласила она и сняла кумган с углей, налила Едыге чай. Он подошел к бурдюку, ополоснул водой руки, затем сел на корпешку. Действительно, небольшой дастархан был необыкновенно опрятен, накрыт со вкусом. Бурдюк с едой открыт. На подстилке аккуратно разложены комковой сахар, кучками жареное зерно, курт, иримшик.

– Устал, Едыге? – спросила Хансулу, тепло улыбаясь.

– Нет, нисколечко!..

– Вот и луна показалась, – задумчиво произнесла Хансулу, глядя на желтую, похожую на медную монету, большую луну, медленно плывущую по небосклону. – Если поднимемся рано и выйдем в путь с лунным светом, глядишь, иншалла[1], еще ночью доберемся до Есеколгена. А там от Есеколгена до песков Сарыбая рукой подать.

---

[1]*Иншалла* – суфийское выражение, означает “Великий Аллах”.

Дневная усталость, дававшая себя знать жаждой и томлением суставов, куда-то канула под этим дивным ночным небом, испарилась вместе с потом, выгнанным чаем. Жирный сочный куырдак придал новые силы Едыге. Он взял посох и приподнялся. Хансулу удивилась:

– Ты не сядешь на верблюда?

– Нет, лучше идти пешком.

– Но ты же устанешь!

– Ничего, – снисходительно качнул головой Едыге и пошел к овцам.

Хансулу, искренне жалея подростка, еще раз позвала его, чтобы тот сел на верблюда, в конце концов, вынуждена была сесть сама. "Эх, – сокрушенно вздохнула она. – Ну и характер у этого мальчика, зря устанет, бредя всю ночь за отарой!"

Думая о его родителях, Булыш-мергене и красавице Балкие, как и о самом Едыге, она не могла защититься от щемящей сердечной боли. Всякий раз, глядя на Едыге, она вспоминала его отца и мать, безвинных, рано ушедших из жизни, чьи имена стали легендой в этих краях. Белотелой трепетной красавицей была Балкия, с глазами, мерцающими, как у дикой камышовой серали. Затем лихолетье разлучило сироту и с бабушкой. Остался один Едыге в маленькой лачуге, наследником жалкого скарба, парой-другой коз и ягнят.

Когда началась война, все мужчины ушли на фронт, оставшиеся в ауле женщины, особенно кто помоложе, вынуждены были заняться выпасом скота. Тех же, кто остался не у дел, погнали на тяжелые черные работы. Даже школьных ребятишек снимали с занятий, привлекая к колхозному труду. Теперь на ее шее – отара колхозных овец, растеряешь или допустишь падеж – под суд. Разговор у властей короткий. И вот в пору, когда как рыба о лед билась она, чтобы выжить и сохранить отару, пришел на помощь этот мальчик. Как не радоваться Хансулу?

Под огромной луной идет, бредет серый вилорогий козел, бренчит бубенчиком, ведет отару. И за ним неохватным весенним потоком катит, разливается по степи многочисленная отара. И мечутся, мелькая под луной, неустанно кружа по краям бурлящей отары, собаки, борзая сука Акканшык и черный волкодав Кутжол.

Шлепает по пыли сапогами, поспешает храбрый Едыге, надеясь на сторожевых собак.

На переваливающемся длиннотелом верблюде едет Хансулу. Поглядывает на всевидящую луну. Топает, ступает мягко верблюд, плывет черная горбатая тень, чертит, метит землю тьмой.

3

Небо – перевернутый черный котел с яркой лунной дырой. Хансулу едет на верблюде, погруженная в думы. Прошло уже пять лет с тех пор, как был арестован Шеге. Не пять лет, а целых пять веков. От него нет ни писем, ни весточек. Неизвестно, жив ли, мертв? И утром, и вечером, и днем, и ночью она думает о Шеге, им бредит. Все время снится, значит, жив.

В позапрошлом году случилось это. Первые дни сентября – время, когда начинаются занятия в школе. Жайбаскан увезла на верблюде Тугелхана и Умит в аул, в школу, Хансулу же осталась одна с отарой. Поскольку за домом смотреть было некому, весь день она выпасала овец недалеко от двора, к вечеру пригнала отару к загону на отдых. Ночь наваливалась на землю быстро, но она успела справиться со всеми делами, даже разжечь огонь и вскипятить чай.

Сидя у дастархана, она смотрела в темноту, внезапно что-то ее насторожило, и она застыла, тревожно прислушиваясь к шороху во дворе. От испуга она даже изменилась в лице. "Он... он... – пронеслось у нее в голове, – Смотрите-ка на дьявола, не успела я остаться одна, а он тут как тут". В это время дверь открылась.

– Добрый вечер! – через порог довольно-таки бодро перешагнул Ждахай, за плечами увесистый хорджун. Дым от углей на чугунке потянулся к тору. Огонек лампы слабо закачался, едва не срываясь с фитиля. Отвечая на приветствие, Хансулу приподнялась на дрожащих, подкашивающихся ногах. Ждахай, краснощекий, упитанный, ухмыльнулся, обнажая крепкие зубы, снял кепку, погладил по коротко подстриженной голове.

– Здорова ли щеголиха-хозяйка этого дома? Приехал к самому столу, пай-пай, значит, я джигит, который по нраву

хозяйке! – ухмыляясь, Ждахай протянул обе руки для приветствия. Хотя Хансулу было неприятно, тем не менее, неловко улыбаясь, она сунула ему свою ладошку – ничего не поделаешь, гостя надо привечать. Толстые, широкие лапы тотчас стиснули длинные, тонкие пальчики Хансулу, они просто поглотили их. И не отпускали обратно. Изо рта гостя пахнуло перегаром. Ждахай принялся сыпать прибаутками, ссылаясь на то, что они ровесники, друзья с детства. Он нагнулся, чтобы снять сапоги, не забывая поддевать ее шуточками.

– Знаю… что ты… пренебрегаешь мною. Знаю, что ты не любишь меня… Однако когда рядом с тобой нет друга, как удалой Ждахай оставит тебя одну? Все равно шустряк Ждахай приедет… и хотя ты не пустишь к себе под бочок, он в дом твой заберется. Разве не так?

Хансулу из медного кумгана полила на руки Ждахая, тот шумно ополоснулся. Вытерся полотенцем.

– Ну, как твои дела? – покачиваясь, прошел на тор, плюхнулся на корпешки, постеленные хозяйкой. Хансулу кинула ему подушку. Продолжая бессвязно бормотать что-то свое, он подмял подушку под себя, вытянул ноги.

Хансулу поставила перед гостем блюдо с куырдаком. Налила чай. Сама же лихорадочно раздумывала, как вести себя рядом с этим изрядно охмелевшим Ждахаем. Сейчас, конечно, он чувствует себя этаким львом. А в другое время этот лис не осмелился бы прямо в глаза Хансулу посмотреть.

Внезапно он оборвал свою речь, сунул руку в открытый зев хорджуна. Вытащил горсть комкового сахара, плитку чая и протянул Хансулу. Хансулу, не выдержав, улыбнулась, румянец заиграл на ее щеках.

– Ну, как? Удалой Ждахай готов умереть за тебя! Умереть! А вы принимаете меня за врага! – он рассмеялся деревянно.

– Но это еще не все… еще кое-что есть! – мотая головой, он налег всем телом на хорджун и, сопя, выудил бумажный сверток. Словно пламя плеснуло в лицо Хансулу – шелковая ткань выпорхнула из рук мужчины. Хансулу испуганно отшатнулась, отстраняя сверток, она отнюдь не была рада подарку. Но Ждахай не давал ей и слова вымолвить.

– Это гостинцы тебе от Ждахая. Если сказать правду, такое платье и моя жена сроду не одевала. Тайком от нее тебе привез, – Ждахай бросил к ногам Хансулу наполовину разорванный сверток.

– Это подарок тебе… от меня!

– Нет, возьми деньги.

– Удалой Ждахай никогда не возьмет деньги. .У него своего богатства хватает.

– Ждахай, ты в своем уме? Держи деньги!

Ждахай начал отталкивать ее руки с деньгами, Хансулу попыталась сунуть их в карман пьяного гостя, на минуту их руки сплелись в борьбе. Ждакай одолевая, завернул ее руки назад за спину, попытался поцеловать, ворочая шеей и вытягивая губы.

– Айналайын, душа моя… подстилкой буду для тебя! Не отталкивай!

Хансулу, пряча лицо, наклонилась, Ждахай, потеряв опору, рухнул, едва успев опереться на руки.

– Ждахай, вставай! – гневно сказала Хансулу, метнув всполохи зрачков на мужчину. И это черное пламя, каким бы ни был толстокожим Ждахай, пронзило его сердце. Он замолчал, будто приходя в себя, на четвереньках добрался до своего места.

– Ждеке, сиди спокойно, пей чай, – Хансулу выговорила это вежливо, пытаясь подавить гнев, тем не менее ее голос дрогнул.

– Ладно… ладно… – уставился вниз обиженный Ждахай, и махнул рукой.

Глотнув остывший чай, опять потянулся к своему хорджуну. На этот раз вытащил бутылку водки. Со стуком поставил на край дастархана. Бутылка была наполовину опорожнена. С усилием вытащил пробку. Хансулу подала ему чистое кесе. С бульканьем налил в посуду Ждахай.

– Где… твое кесе? – в голосе злость.

– Я не буду… пей сам!

– Будешь! – брякнул Ждахай, пододвигая налитое кесе к Хансулу. Себе налил в другую пиалу. Хансулу поняла, что с Ждахаем сейчас спорить бесполезно. Хранила молчание. Бледная от злости, глотала остывший чай. В голове вертелось только одно: “Как избавиться от этого оболтуса?”

– Лук есть? – спросил Ждахай. Хансулу взяла из ящика луковицу и подала гостю. Неизвестно куда делась его кепка, Ждахай, наклонив простоволосую, круглую голову, сопя, поднял кесе и слегка стукнул о пиалу Хансулу. Чокнулся и, шумно дыша, уставился багровыми глазами на бледную, худощавую, особенно красивую в эту минуту женщину. Тонкие изогнутые брови похожи на крылья ласточки, бездонные глаза, длинные густые ресницы, верхняя губа чуть полнее нижней, стройная белая шея, полные груди, тонкая талия – Ждахаю чудилось, что перед ним сидит сама пери. Ждахай начал вскипать от собственного бессилия. Что ему делать, как поступить с этой гордячкой, которая не желает повиноваться ему?

– Хансулу! – вымолвил и замолчал, не зная, какое слово ему подобрать. Где его сила и напористость, чтобы подавить и размазать волю женщины, которая осмелилась сопротивляться ему? Ни в словах его, ни в действиях нет сейчас никакой силы.

– Хансулу! – повторил он. – Мы же не собаки. Друзья с детства... вместе росли. За это выпей!

– Нет! – отрезала Хансулу, отодвигая кесе. – Это нечистое зелье... Не буду!

– Ты мулла что ли, чтобы определять, что чисто, что греховно?

– Пусть так, и что с того?

Ждахай затрясся хриплым смехом.

– Брось ты, Хансулу!.. Не хочешь – не надо. Только глотни чуть-чуть.

– Я сказала, что не буду! Зря ты стараешься!

Ждахай заткнулся, сидел молча, тупо соображая. Затем разом опрокинул кесе, полное водки, в глотку.

Он зажмурился, выпил, занюхал луком. "Уф!" – вздохнул всей грудью, замотал головой. Затем, словно голодный волк, работая крепкими зубами, жадно накинулся на куырдак. За едой кое-что рассказал. Передавал в основном новости Жанажола. Хансулу особенно не вмешивалась в его сказ. Лучше быть подальше от болтовни пьяного человека. Отчужденно кивала головой. В голове вертелось: "Надо поскорей собрать дастархан, уложить гостя спать, затем самой подобру-поздорову убраться куда-нибудь подальше от юрты".

Ждахай, пошатываясь, вышел во двор покурить. Она мигом ему постелила. Ждахай затянул гнусавым голосом песню, затем прикрикнул на собак, пытаясь прогнать их со двора. Хансулу, воспользовавшись этим, собрала в тюк свою постель и шмыгнула во тьму в сторону от дома. Чтобы не попасться на глаза пьяному Ждахаю, обошла вокруг загона.

Возле стога сена бросила матрац на чистую траву и сверху соорудила себе постель. Та ночь была такой же чудесной, лунной, как и эта. Остерегаясь Ждахая, она ушла подальше в степь, таясь в густом полумраке. Безмятежная, тихая, мягкая, как шелк, чарующая безлюдная лунная ночь. Хансулу стояла в полном одиночестве, с бьющимся сердцем прислушиваясь к темноте. Плыла, тянулась, стелилась лунность. И свет этот обрисовывал, ретушировал волшебно изменившийся мир. И желтое призрачное молоко ночи струилось, проникало в сердце, усмиряя недавнюю горечь и гнев, исцеляло душу. И говорило и шептало что-то сокровенное. Эта дивная ночь, словно божественная мать, милостиво успокаивала, нежила свою земную дочь Хансулу.

Под венцом луны долго сидела Хансулу, обняв колени, сердце томила и жгла неистребимая горечь. Пьяный бред Ждахая, доносившийся со стороны дома, вроде бы смолк. Было слышно только перхание овец. Кажется, уснули и собаки. Конь Ждахая с фырканьем пасся где-то неподалеку. И весь усталый подлунный мир словно потягивался, маялся, отходя ко сну.

Хансулу осторожно, на цыпочках кралась к загону. Тень тянулась, волочилась за ней. Под лунным пологом горбился ее одинокий бессонный дом.

Она осторожно пробиралась к стогу, с краю которого была устроена ее постель. Бугорком возвышающаяся постель вдруг зашевелилась, послышался бесовской смех Ждахая. Он поднял голову, подбоченился, рассыпая издевательский смешок:

– Хе-хе-хе!

Дурной смех Ждахая понесся в ночное пространство. Темнота прянула прочь. Собаки переполошились, подняли лай. Часть отары загремела, в испуге вставая на ноги.

– О-хо-хо! Ехе-хе-хе! – исходил смехом Ждахай. – Не бойся! Иди сюда! Иди! Хи-хи-хи!

Хансулу обомлела от страха.

Ждахай, трясясь от неудержимого смеха, приближался. Простоволосый, в длинной рубашке и кальсонах, сапоги одеты на босые ноги.

Хансулу попятилась назад. Ей ничего не оставалось, как сломя голову кинуться в бегство.

– Убегаешь? Ну, беги, я буду догонять!

Топоча сапогами, резво помчался Ждахай. Хансулу ринулась прочь. Хорошо, что на ногах были легкие кебиси[1]. Одной рукой придерживая подол платья, наклонив голову, со всех ног летела Хансулу.

Чем попасть в лапы этого пьяного ублюдка, лучше умереть на месте! Не глядя под ноги, неслась Хансулу, белое платье, белый платок развевались в порывах смутной лунной тьмы, трепетали язычками света.

– Лови! Лови! Ха-ха-ха!! – орал Ждахай. Поначалу Ждахай, надсадно дыша, ахая и охая на бегу, чуть было не догнал женщину. И Хансулу запоздало удивилась: – Оказывается, этот бес, шатаясь и запинаясь, только для виду притворялся пьяным, иначе, откуда такая прыть взялась у него? И, опасаясь за себя, прибавила ходу. Собаки с лаем, ничего не разумея в поведении хозяйки, бежали рядом, словно соревнуясь с ней. Природа одарила ее ростом и проворством, наверное, теперь ей это помогло. Она не дала себя поймать. Задыхаясь и хрипя, Ждахай отстал.

– Стой… отца твоего… Не съем же тебя… Стой! – выкрикивал он сзади.

В конце концов, схватившись за грудь, Ждахай остановился. Хансулу, отбежав подальше, тоже остановилась, перевела дыхание. Ждахай, по-прежнему прижимая обе руки к груди, рухнул на землю.

– Ой, чтоб отца твоего… глупая баба… и с чего так улепетывать? – Ждахай материл Хансулу на чем свет стоит.

– Чего ты убегаешь? Или ты никогда мужика не видела… или пречистая пери ты, степная?

---

[1]*Кебиси* – легкие сапожки из тонкой кожи.

И тогда пришел черед ей отвечать.

– А ты, почему преследуешь меня? Чего тебе надо… от чужой жены? Бога не боишься?! – со злостью вырвалось у Хансулу.

– Хе-хе-хе, – отвечал Ждахай, трясясь от смеха.

И тогда она в гневе жгучими словами прокляла Ждахая. И дрожа всем телом, в беспамятстве, тенью побрела подальше в степь. И великая мать-ночь приняла ее, вновь укрыла своим необъятным пологом. На сей раз не стал преследовать ее Ждахай. Остался сидеть на месте, бредя и неся околесицу. Пропади он пропадом! Чтоб никогда ей не видеть этого ублюдка! Горечь клокотала в груди и темным пламенем обжигала сердце.

– Чтоб мне никогда тебя не видеть! – и слезы закипели у нее в глазах.

Под сизой, усталой луной шла-брела одинокая Хансулу, тонула в желто-черных переливах пустынной ночи. Полночь. Безлюдье. Хансулу одна. И из черной пучины лился и бил неистощимый поток обиды на людей, на провидение – за то, что она оказалась в горе-кручине.

Так в отдалении от своего дома, окутанная ночным мраком, просидела до самого утра. На рассвете вернулась домой. По дороге ее встретили Акканшык и Кутжол, две недоумевающие собаки. Они затрусили рядом, помахивая хвостами. Ждахая не было видно ни в доме, ни во дворе. Ни духа, ни следа от него не осталось.

…И это переживание ушло далеко в прошлое. Да, под этой луной и под этим солнцем много есть такого, чего она еще не видела. И вот в объятиях другой ночи, восседая на черном верблюде, ни шатко-ни валко едет она, утопая вся в своих думах-воспоминаниях.

ЖДАХАЙ

По грунтовой дороге из Наркамыса в Жанажол рысил одинокий всадник. Отпустив поводья неутомимого черного жеребца, задумчиво покачивался, подремывал путник. Наездником был не кто иной как Ждахай. День был знойный. Время года – июль. Ждахай без настроения, солнце припекает загорелый бугристый затылок, прикрытый кепкой. Откуда быть настроению? В кармане

серая бумага – повестка военкомата о призыве в действующую армию. Что только не делал Ждахай, чтобы избежать призыва, – ничего не помогло. Зацепили его крючком. Поймали на третий год войны. Именно в то время, когда под Курском шло ужасающее побоище, солдаты гибли тысячами. Грустно ему, слов нет. Завтра погонят на бойню, где судьба приносит в жертву людей, словно овец. И он там, конечно, попадет под нож этой гигантской мясорубки. Кто знает, где он сложит голову. Одно ясно, где-нибудь его найдет шальная фашистская пуля, все равно найдет.

В ауле уже стало традицией по таким случаям устраивать проводы на фронт, резали скот, приглашали стариков, чтобы они благословили призываемого. А вечером зазывали молодежь, чтобы обмыть путь-дорогу, и это тоже стало обычаем. Как только отец услышал, что Ждахая призывают, он тотчас послал парня отобрать подходящую овечку.

– Зачем все это? – спросил недовольный Ждахай, не желая видеть своих проводов. Однако отец воспротивился. Он в последний год все больше прислушивался к мнению стариков. Наверное, признак дряхлости. Ждахаю то зачем эти проводы… слова стариков? Не позор ли это – будучи главой аульного совета – раздавать милостыню, кланяться в ноги аксакалам? Если узнают в районе, что скажут? Конечно, скажут: "Положи на стол партбилет!" Однако отец ни в какую, уперся, дескать: "Сам отвечу!" В общем, зарезали овцу, позвали стариков. Они пришли. Все дружно желали Ждахаю вернуться с фронта живым-здоровым. Однако Ждахай, с виду приветливый, учтивый, на самом деле внутренне остался холодным. Не стал сидеть вместе с ними. Решил, не стоит разводить панибратство с носителями религиозных предрассудков. Закрылся в передней комнате, где висел портрет Сталина, завалился на боковую, лежал недовольный, мрачный.

Все его мысли о предстоящей молодежной вечеринке. Он пригласил и Айжаркын, и Хансулу. И все думал об этом: "Придут они или нет?" К вечеру терпение лопнуло. Айжаркын – белолицая свежая молодка – последняя любовь Ждахая.

Единственный, большой дом в ауле, окруженный высоким дувалом, – это дом Ждахая. Аульчане давно забыли, когда в последний раз их угощали в этом доме, поэтому для большинства двор Ждахая – большая тайна. Любопытные сгорали от желания поглазеть на владения важного начальника Ждахая. Для жанажольцев это – редкая удача, равная разве что визиту в ханскую ставку.

С потемками молодежь собралась довольно-таки быстро. В доме бастыка многие были впервые, поэтому вели себя скромно, с удивлением озираясь вокруг. Молодежь – это в основном девушки и молодые женщины. Парней в ауле в нынешнее время почти не осталось. Из джигитов на вечеринку пришел только учитель Андалы. Он – зять Шеге, женившийся на его сестренке Балжан. Раньше Ждахай его недолюбливал. Однако этот сучий сын оказался ловкачом, ученый джигит сумел найти ключ к сердцу начальника. Что на это скажешь, язык-то у него подвешен, не зря учился. Обходительный, образованный. Поначалу именно за эти качества невзлюбил его Ждахай.

Айжаркын явилась, ведя за руку совою насупленную племянницу. Сердце Ждахая так и забилось… Однако он не вышел из внутренней комнаты навстречу молодежи, пусть понимают, кто есть кто. Конечно, девушки не обидятся на него за это. Ждахай – устроитель новой жизни в этих краях. Если Ждахай нарушит старые обычаи, принятые в этих краях с незапамятных времен, молодежь воспримет это как протест против старины, и его поступок может стать началом новой традиции. Нет ничего удивительного, если с этого начнется новаторский обычай.

Когда молодежь заполнила зал, усевшись вдоль четырех стен, во внутреннюю комнату, где Ждахай лежал в одежде на железной кровати, вошла его жена – Наркыз.

– Гости пришли… Они ждут тебя! – сообщила она, понизив голос.

Наркыз тоже нравилось, что муж ведет себя солидно, заставляя гостей ждать его появления. Это правильно, не то эти родичи могут запросто сесть тебе на шею.

Ждахай, важничая, поднялся. Погладил круглую коротко остриженную голову. Надел висевший в шкафу военный китель. Этот единственный китель подарил ему

четыре года назад бедный Козбагар, когда работал в НКВД. У Ждахая была тогда мечта – иметь такой китель, чтобы походить на Сталина. И он осуществил эту мечту. На каждое собрание надевал этот китель. Наряжался, когда ехал в райцентр. Не забывал облачиться в него и когда объезжал дальние аулы, где жили родичи. Эта форма придавала ему новые силы.

И вот теперь... на нем тот же, но уже старенький китель.И – галифе с раздутыми штанинами. Когда Ждахай, ничем не отличающийся от военкома, такой же плотный, квадратный телом, суровый в лице, осторожно, словно кошка, появился на пороге внутренней комнаты, народ, сидевший на скамейках вдоль стен, разом повскакивал с мест. Учитель Андалы подбежал к нему и со слезами на глазах обнял. Люди дружно сели на места – прямо как в школе ученики.

– Народ мой, родичи!.. Путь Ждахая таков! – начал официальную речь Ждахай. Рядом с ним, сложив руки на животе, стоял смирненько худощавый Андалы, при каждом его слове кивая головой.

– Родина зовет меня на войну, родичи мои! Идет жестокая схватка с проклятым фашистским врагом! На эту битву зовут и меня! Мать-Родина зовет! И мы под руководством вождя мирового пролетариата Сталина все равно одолеем и разгромим в пух и прах врага!

Учитель и все присутствующие разразились дружными рукоплесканиями.

– Наркыз, теперь накрывай дастархан! – сказал Ждахай и, сохраняя суровый облик, шагая прямо, направился к двери. Народ опять повскакивал с мест, приветствуя Ждахая и расступаясь перед ним. И он почувствовал благодарность к людям.

– Андалы, ты... послужи немного на моем месте гостям... я приду немного погодя! – понизив голос, значительно сказал он, но так, чтобы все услышали.

– Хорошо, Жаке, хорошо! – учитель послушно закивал головой. Когда Ждахай, все такой же прямой, словно на параде, подошел к выходу, кто-то услужливо подсунул ему обувь. Ждахай в самом деле считал ниже своего достоинства сидеть с этой толпой аульчан. Одно только досадно, что Айжаркын осталась дома. Как бы ее выманить

на улицу. Хансулу до сих пор нет, хотя отара ее недалеко от аула. Давно пора ей появиться.

В ауле обычная вечерняя суматоха, женщины возятся у очагов, готовя ужин.

В голове свинцовая тяжесть – это, конечно, от усталости. На душе – смута, как бы чад пожарища. Этот огонь можно потушить только одним способом – водкой. "Водка! – повторял и внушал внутренний голос, – другого средства нет!" Прокрался в сарай, нашел давно припрятанную бутылку, открыл в темноте и в два счета выглотал из горлышка. Ух, черт побери, водка действительно мигом устранила клубящуюся смуту. На лбу выступил обильный пот, лицо раскраснелось, и он вышел из сарая. Черная бархатная ночь накрыла аул. На небе играли, искрились миллионы звезд. Как только вышел со двора, зашагал в безлюдную степь. И хотя сумерки затушевали очертания далей, все равно ощущалось величие бескрайних просторов. В груди зашевелилось странное чувство. Впервые за много лет подумалось о величии и красоте существования. Небо, усыпанное острыми звездами, слегка покачнулось, сдвинулось.

Во мраке он услышал легкие шаги. Напрягся, прислушиваясь. Шла женщина в белом жаулыке. Рядом с ней кто-то был. Сердце заколотилось. Хансулу! Это ее гибкая изящная фигура! Шолпы[1] мерно позвякивали в такт шагам... будто с этой музыкой неся весть о призрачном дивном мире. Рядом с ней поспешал ребенок.

– Оу, Хансулу!.. Приветствую! – радушным голосом поздоровался Ждахай, делая вид, что между ними ничего не произошло. Однако на самом деле в его душе зашевелились сомнения. Он вновь с особой остротой почувствовал свою неизгладимую вину перед Хансулу, и это стало причиной новой внутренней неурядицы. Хансулу тоже растерянно замялась, засмущалась.

– Салем тебе! – ее ровные белые зубы обозначили смущенную улыбку. Ждахай тотчас почувствовал, что готов ради нее даже на смерть. Ради этой ее дивной, неповторимой застенчивой улыбки и нежно-мелодичного голоса... господи, боже ты мой, расположения такой редкой души он мог лишиться!

---

[1]*Шолпы* – длинные серебряные сережки.

– Идем! Идем домой! – он забежал вперед, показывая дорогу.

– Вот так... мы собираемся на войну! – сообщил он оживленным голосом.

– Пусть тебе поможет бог! – тотчас участливо отозвалась Хансулу.

– Рахмет, рахмет!.. – живо откликнулся Ждахай. Он скользнул вперед, чтобы открыть дверь. Такого уважения никогда ни к кому еще он не проявлял.

В качнувшемся отблеске огня он заметил, что на Хансулу красное шелковое платье. И тотчас вспомнил, что некогда подарил ей эту ткань. И у него на душе несказанно потеплело. Даже почудилось ненароком, что Хансулу – его собственная жена. Как будто такой человек, которому он всю жизнь делал только приятное, ни капельки зла не причинил. Словно он был для нее единственный покровитель и помощник во всем. Как будто в этом краю для такой благородной женщины... достойный мужчина только он – Ждахай. И сердце гулко забилось. Не зря же говорят: "Чем мертвый лев, лучше живая мышь", – Хансулу должна понять, что бессмысленно ждать пропавшего в безвестности Шеге, что единственная опора для нее – это Ждахай. Какая она умница, что надела это платье! В данную минуту Ждахай совсем забыл, что перед ним жена врага народа. Перед глазами сияло только одно – ее милая улыбка, да чаровал слух неповторимый серебристый смех.

Все же Ждахай быстро пришел в себя, уже в передней комнате он опомнился. Он вовремя осознал, что является крупным руководителем, которому подчиняется все население Жанажола. Затем вспомнил, что он коммунист и агент, получающий зарплату в НКВД. А ведь спьяну был уже готов, держа Хансулу под руку, ввести ее в зал, чтобы, подняв на ноги гостей, оказать ей почести. Он едва не допустил роковую ошибку, ведь Хансулу – жена врага народа. Этого ни в коем случае забывать нельзя! Очень опасно на глазах людей выказывать свое особое расположение к ней.

– Ты проходи в зал, а я еще немного задержусь, – сказал он и вышел во двор из прихожей комнаты. Затем он оказался на улице. Некоторое время бесцельно прогуливался в полной темноте. Хорошо, что все люди

собрались. Особенно здорово то, что пришли Хансулу и Айжаркын… Конечно, сегодня у него ничего не выйдет. Однако неплохо и то, что в один вечер увидел обеих женщин, которые запали ему в душу.

Погуляв какое-то время по темной улице, вернулся домой. Развеселившиеся в его отсутствие гости мигом притихли, когда он показался на пороге. Раскрасневшийся, оживленный Андалы пружинисто подскочил, чтобы уступить место Ждахаю, однако, тот сел рядом с Наркыз, разливавшей чай.

Учитель уже слегка был под хмельком, он жизнерадостно заговорил:

– Дорогой, Жаке… ожидая вас, мы измаялись. Мы уже подняли тост за то, чтобы вы живой и здоровый вернулись домой, покончив с фашистским врагом. Даже заставили выпить тех, кто не хотел… Хансулу… Айжаркын.

Люди, поддерживая Андалы, дружно захлопали в ладошки. Ждахай не верил собственным ушам. Что он такое говорит? Хансулу выпила?! Он с удивлением уставился на Хансулу, восседавшую на почетном месте. Ойбай, кажется, – правда! Обе щеки у нее разрумянились, Хансулу раздаривала улыбки. Чудилось, ее удлиненный профиль соткан из солнечных лучей. В девичьи годы это личико было точеным, легкого шафранового оттенка. Сейчас, в зрелые годы она худощавая, изящная смуглянка. Осталась писаной красавицей по происшествию стольких лет, она – все та же прелестница! Хансулу среди всех этих женщин и девушек, заполнивших зал, по-особенному притягивала взоры мужчин. Даже рядом с молоденькой, трепетной, как лань, Айжаркын, Хансулу блистала, как вечерняя немеркнущая звезда.

Он взял и высоко поднял свой стакан.

– Спасибо, что пришли! За Сталина! Товарищи, под мудрым руководством Сталина мы победим! За великого вождя Сталина! – крикнул он. Люди повскакивали с мест.

– За Сталина! За верного солдата товарища Сталина – за Ждахая! – заорал Андалы отчаянно диким голосом.

– За названных двоих… великих людей… выпьем до дна, товарищи! За них мы готовы выпить яд, отдать самую жизнь, – сжав кулаки, разгорячился Андалы, глаза его налились кровью, лицо стало бледным. Гости, напуганные

и смущенные одновременно, притихли. Все они разом встали и начали запрокидывать стаканы. Ждахай тотчас заметил, что никогда в жизни не прикасавшаяся к водке Хансулу, зажмурив глаза, выпила.

Ждахай с размаху хряпнул пустой стакан о пол:

– Пока варится мясо... на улицу!

Этот клич пришелся по душе подвыпившей молодежи. Со смехом, криком и шумом высыпали на улицу. Хмурая, взлохмаченная девочка, сопровождавшая Айжаркын, мирно спала, положив голову на край тюка. "Повезло мне", – подумал Ждахай.

Веселая толпа, с шумом вывалив из дому, тотчас растворилась в ночном мраке. Всюду были слышны женские голоса и смех. У Андалы острый язык. Женщины и девушки в основном собрались вокруг него, громким смехом реагируя на его шуточки. Пройдя дальше по улице, люди стали разбиваться на группки. Ждахай крепко держал Айжаркын за поясницу, не отпуская ее. Он думал, что она будет вырываться, однако Айжаркын тихонько-легонько шла рядом с ним и не думая противиться. Ждахаю это и было нужно. Он повлек ее в сторону, где не было людей. Дойдя до лужайки на берегу ручья, Айжаркын, будто обессилев, опустилась на траву. Ждахай тотчас накинулся на нее...

"Легко ли женщине ступить на невозвратную дорогу? Разве не была в самом соку спелая молодка – Айжаркын, чье ожерелье готово было вот-вот разорваться?"

И от этой мысли то истомное насыщение, которое он испытал в объятиях Айжаркын, начало бесследно таять, растворяться. Посмотрел на небо... не в силах понять, отчего свет в душе начал неумолимо увядать. А жгучая горечь уже садняще разливалась в груди. Сцепив зубы, он зажмурил глаза. Из памяти выплеснулась другая ночь, она была точно такой же, звездной, серебристо мерцающей. Как и сейчас звезды перемигивались, искрили с поднебесья. В туркменских Каракумах, на бархане он всадил нож в живот парню... Рысбеку. Несчастный Рысбек, что тебе нужно было?! Зачем последовал за Булышем, убегающим в Иран?! Что ты там, горемычный бедняга, потерял? И отец, и мать твои были на советской стороне?!

“Что тебе нужно было?!” – едва не вырвался из стесненной груди вопль, чтобы сотрясти ночной, безмятежный мир. В эту минуту его глаза, буравившие тьму, заметили фигуры двух прохожих, беспечно удалявшихся по берегу ручья. Одной из них была женщина в белеющем жаулыке. Другой – явно мужчина. Сердце его екнуло. И тотчас понеслось вскачь. Больно на Хансулу похожа эта женщина! “Чтоб отца твоего!.. а мужчина кто?” – кровь бросилась ему в голову. Он позабыл про Айжаркын, которая была рядом. Рванулся с места. Горечь и яд закипели в его жилах. Приблизившись, вгляделся – мужчина шел, обняв Хансулу за талию. Кто это... отца твоего!

Вновь ринулся в бег, в мгновение оказался рядом с ними.

– Оу, Жаке, Жаке! – всполошился учитель, шедший рядом с женщиной. – Мы вас ищем, обшарили все окрест! Вот!

Ошарашенный учитель высоко поднял руку, показывая бутылку. Ждахай уже стоял рядом, неотвратимо мрачнея, его правая рука крепко стиснула шею мугалима[1].

Он не успел осознать, что произошло. В нем яростно вздыбился джинн. Одной рукой он отбил ладонь Хансулу, другой со всей силы ударил по лицу учителя, все еще показывающего бутылку. Тот кубарем покатился по земле.

– Ойбай, Жаке!.. – плачущим голосом взмолился учитель, пытаясь подняться, но Ждахай со всей силы пнул его в зад.

– Отца твоего!

Свалив противника на землю, он принялся катать его пинками, однако кто-то вцепился в него, пытаясь оттащить за руку. Ждахай взбеленился пуще прежнего. Отбив руку, оглянулся – Хансулу. Неужели Хансулу разнимает их, чтобы отстоять Андалу? Люто возненавидев ее как паршивую собаку, он огрел хлесткой пощечиной эту суку. Ладонь точно попала в цель. Хансулу покатилась кубарем. И в следующую минуту все вокруг взорвалось шумом-

[1]*Мугалим* – учитель обычной школы.

гамом, завертелось кутерьмой, дикой круговертью. Кругом какие-то люди. Кого-то они ловили. Кто-то с кем-то сцепился. Ничего он не мог понять. Кто-то заламывал ему обе руки за спину. Он же сам, вырываясь, встряхиваясь, истошно орал:

– Убью! Порву! Уничтожу! – бился в припадке, точно бешенный верблюд. Какой-то мальчишка вцепился в него, трясясь от судорожного плача. “Кто это?” Оказался Тугелхан. О, отца твоего… Сын Хансулу! Он что, пришел на помощь матери? Наверное, хочет отомстить за отца, который гниет в тюрьме?

Ждахай рванулся из чьих-то рук, высвободился… и под покровом ночи ринулся бежать куда глаза глядят, топоча сапогами.

Отбежав куда-то далеко от аула, совершенно обессиленный, остановился, обида уже улетучилась. Повернулся и посмотрел в сторону аула, где в темноте слабо мерцали огоньки домов. Никто не преследовал его. Кругом царила чуткая тишина. Небо, усыпанное миллионами звезд, как будто стало больше. И эти, стаей летящие в вечность, звезды с высоты как будто заглядывали в душу Ждахая.

Ждахай сел на чистую траву, затем лег навзничь, глядя на плывущее ночное небо. Стало ему жалко себя. Он понял, что самый несчастный человек на свете – это он. Разве эти кочующие звездные караваны не намекают о том же самом?

Ждахай разрыдался, как малый ребенок. Никогда в сознательной жизни он не был в таком жалком положении. Конечно, в детском возрасте всякое бывало, лил слезы, как говорится, в три ручья. Однако с тех пор, как стал нынешним Ждахаем, в первый раз его положили на обе лопатки.

Незаметно для себя он уснул. Проснулся с рассветом. Понурившись, поплелся домой.

Ближе к обеду из Жанажола в сторону Наркамыса выехали двое конных.

Ждахай отправился на фронт.

ГОЛОС НЕБА

1

После той скандальной драки гости Ждахая в суматохе разбрелись кто куда. Хансулу, забрав сына, осмелившегося поднять руку на самого Ждахая, направилась домой, к берегу дальнего ручья. Шли пешком. Щека, по которой пришлась оплеуха Ждахая, до сих пор горела, и это ощущение отрезвило ее полностью. Тлеухан в потемках шел где-то рядом, смущенно помалкивая. "Уже стал джигитом", – невольно подумала она, и мысль эта нежила ее сердце. "Чтобы защитить мать, схватил полоумного Ждахая за шкирку. Ждахай безумец, ей богу, спятил! Если бы он был трезвым, разве затеял бы драку? Увидев, что она идет с Андалы, едва не лопнул от ревности. Ох, и безумец! Ну и дурак! Зря она пришла на проводы".

Как и раньше, когда ее пригласили в гости к Ждахаю, она надулась, хотела холодно отказать. Однако, подумав, решила все-таки пойти: "Человек собирается на войну. Пусть он и не в своем уме, но ведь идет на поле битвы, может и не вернуться". Зря она пожалела его. Вся беда началась с водки. Никогда в жизни она не пробовала этой дряни. Однако этот Андалы пристал как липучий репей: "Не обижай, ну хотя бы глоточек!" Когда кругом все женщины принимали на душу, дьявольский шепот просочился прямо в мозг: "Ты что, Хансулу, лучше других? Говорят же, на миру и смерть красна – не ставь себя выше людей". И она решилась – в первый раз в жизни попробовала "дурную воду". Зря она так поступила. Никогда раньше грязь не приставала к ней… И вот чем закончилась эта затея… Все словно взбесились. На глазах одурели. В конце концов, гулянка вылилась в общую свалку. И получила она поделом от Ждахая, ее достоинство словно в грязь втоптали. Попробуй теперь обижаться на Ждахая, ведь сама поддалась дьяволу, попробовав зелье.

Шла она, кляня себя на чем свет стоит.

Тугелхан вышагивал за матерью. Он был напуган. Чуть ли не трусцой бежал, сдерживая шаг. Ждахай есть Ждахай, он не забудет обиды, догонит и три шкуры спустит с него.

Наверняка, его ожидает та же участь, которая настигла в свое время Едыге. Ненароком подумал: “Может быть, и мне бежать вслед за Едыге?” Едыге, наверное, сейчас живет себе припеваючи где-то в Каракалпакии среди родичей жены Козбагара – Бибижар. Если бы не Бибижар, куда бы делся Едыге, полный сирота? У бедняги не было ни кола, ни двора, ни родичей. Однако Едыге был храбрый и волевой парень. Наверное, от того, что на целых два года был старше Тугелхана, он был гораздо самостоятельней. С одной стороны он был другом, с другой стороны – старшим братом. В один прекрасный день его позвали: “Тебя зовет Едыге”. Тугелхан нашел в степи ветхий шалаш, а внутри обнаружил Едыге, опухшего от синяков, он лежал на старенькой корпешке, изо всех сил пытаясь сдержать стоны. Тугелхан похолодел от страха. Во все глаза уставился на Едыге.

– Ждахай... Ждахай избил... – наконец, выговорил Едыге. Однако слез все же не показывал.

– ...Сегодня ночью я уйду из аула... Смотри, не проговорись! – сказал Едыге. Тугелхан, роняя слезы, закивал головой.

– Бибижар – женгей ... сейчас печет лепешки мне... Ночью сяду на верблюда – и в дорогу.

– Куда? – спросил Тугелхан, всхлипывая.

– Не могу сказать, – ответил Едыге.

А узнал он об этом потом, когда Едыге уже уехал. И этот его поступок напомнил ему героя из одноименной богатырской сказки. В тот день он все время был рядом с Едыге, не отлучаясь ни на минуту. Делал все, что просил друг.

Ночью они с Бибижар привели верблюда Кермая к юрте и заставили его опуститься на землю. Навьючили на атана хорджуны с едой, одеждой, бурдюк с водой. Поддерживая с обеих сторон, подсадили Едыге на спину животного.

Когда Кермая с надрывным стоном поднялся на ноги, все трое вдруг разразились слезами. Молча всхлипывали, боясь лишнего шума.

Вот так Едыге отправился в сторону Каракалпакии, до которой нужно было добираться пол-месяца. Собравшийся с духом Едыге канул в безвестность, именно так он избавился от побоев жестокого Ждахая.

2

В 1944 году в конце июля произошел случай, который остался навсегда в памяти Хансулу. Вот уже много лет она жила на берегу Тущыбулака. Отара, вернувшаяся с пастбища, после водопоя легла на отдых, овцы с раздутыми брюхами лежали по краю илистого речного бережка. Тугелхан, Умит, свекровь, она сама – все четверо были дома. Только приступили было к обеду, как снаружи послышался голос:

– Ау, есть кто дома? – голос взрослого мужчины.

– Мы дома! Входите! – откликнулась свекровь.

Дверь была распахнута, и в открытый вход виднелся степной окоем, дремавший под пологом миража. В дверях показался путник. На нем были старенький серый чапан, голова обернута чалмой, это был седобородый старик среднего роста. В руке он держал белый посох. По виду старик был благообразный, набожный. Им показалось, что у входа стоит сам святой Кыдыр-ата. Все они разом подскочили со своих мест.

– Здоровы ли вы? – спросил аксакал. Голос у него был ясный и мягкий.

– Слава богу, входите! – пригласила свекровь.

– Если будет угодно богу... – старик почему-то, прищурившись, посмотрел на Хансулу.

– Невестка, если найдется кумган, мне нужно совершить омовение.

Хансулу расторопно подошла и подала ему медный кумган.

– Да будет тебе удача! – сказал старик. Взяв кумган, ушел в сторону степи. Хансулу начала спешно подметать юрту – средь белого дня словно свалившийся им на голову божий человек ни в чем не должен быть стеснен. Жайбаскан заново прибрала и накрыла дастархан. Умит принялась помогать матери прибрать дом. Тугелхан, нагнувшись, выглядывал в дверь, наблюдая за каждым движением странного человека.

Жайбаскан положила в чайник свежую заварку, поставила таскумган на угли.

Тугелхан, следивший за стариком, резко обернулся.

– Идет! – почему-то с испугом сообщил он. Семья чинно расселась по местам. Гость неспешно шел, поминая

всех святых, перебирая четки. Он показался на пороге, белая борода развевалась на сквозняке.

– Проходите! – вновь пригласила Жайбаскан.

– Ия, дух-покровитель! – пробормотал гость и прошел внутрь юрты.

Сняв чапан, повесил на кереге. Длинная свободная рубаха свисала почти до колен, закрыв штаны. Прошел на тор. Сел, скрестив ноги, поглаживая бороду. Красивое благолепное лицо аксакала как бы светилось, он устремил взгляд на дали, видневшиеся в проходе. Затем молитвенно сложил ладони и прочел ясным голосом суру из Корана. На сгибе локтя висели четки. Домашние, понуро ссутулившись, отдались влекущей силе молитвы. Закончив суру, он стал речитативом поминать всех святых -покровителей. Попросил аруахов защищать и оберегать обитателей этого дома. Затем погладил ладонями лицо:

– Аминь! – повторили все его движение.

– Пейте чай, – тепло сказала Жайбаскан.

Старик повесил таспих[1] на шею. Внимание его было приковано к большому миру, светящемуся за порогом.

– Байбише, – сказал он, – в вашей семье есть одна душа, возлюбленная богом. Сияние этой души заметно видящему человеку. Приметив это, я завернул к вам. Я же – бедный странник, который уклоняется от всяких встреч.

– Е-е-е, – протянула Жайбаскан, внимательно глянув на усталое лицо путника, как будто только что его увидела.

– Биссмилла, – сказал старик, взяв пиалу с чаем.

– Значит, беглец, говорите? – качнула головой Жайбаскан, не отрывая взгляда от лица незнакомца. Дети и Хансулу во все глаза наблюдали за тем, как бедный старик жадно пьет горячий чай.

– Е, святой покровитель Бекет-ата! – повторял старик, частенько трогая-вытирая лоб полотенцем. Хансулу не решалась беспокоить вопросами человека, одинокого, голодного, к тому же уже престарелого.

– Е, святой покровитель Бекет-ата! – вновь сказал старик, напившись чаю, и перевернул пиалу. Немного отодвинулся от дастархана. Вытащил из кармана штанов небольшой мешочек. Развязал узелок и высыпал на корпешку горсть камешков, похожих на черный горох.

---

[1]*Таспих* – четки дервиша.

– Я, святой пир[1] мой! – сказал старик и начал щепотью делить камешки. Так он начал гадать на кумалаках[2].

Домашние все, как один, внимательно уставились на кумалаки, передвигаемые пальцами гостя. Теперь они не сомневались, что к их очагу забрел не кто-нибудь, а святой человек. Они поняли, что этот непростой человек, осененный божественной благодатью, сейчас с помощью кумалаков раскроет будущее этого дома. Что расскажут эти таинственные осведомленные камешки? "Хорошую весть мне ждать или плохую?" – у Хансулу сильно забилось сердце.

Святой старец некоторое время сидел, склонившись над черными камешками, похожими на угольки.

– Будет для вас одна радость и … будет одна обида… – сказал, наконец, он, смешав камешки и собрав их ладонью.

– Ия, пир мой, Бекет-ата! – старец зажмурил глаза. Его пальцы начали полегоньку делить горсточку. Вглядевшись на узор камешков, гость взволновался, задумался отчего-то. Некоторое время сидел молча.

– Дорога уперлась… во тьму… м-м-м, – забормотал он. – Кафир[3] не угомонится… Дети мои, выйдите на улицу, посмотрите-ка не идет ли кто-нибудь сюда с севера?

Дети дружно выбежали наружу. Воззрились в сторону севера.

– Едет какой-то всадник! – закричал Тугелхан.

– Он… тот самый кафир… – сказал старик, вздохнув. – Надо мне выйти навстречу… иначе вред падет на вас. За ваши хлеб и соль от Аллаха вам воздастся. Если смерть подстережет меня, не забудьте горсточку земли бросить на прах мой. Ну, что ж, примите мое благословление! Ия, Кыдыр-ата, поддержи, дух-супротивец, сгинь! – он молитвенно провел ладонями по лицу. Приготовился уходить. Вслед за ним вышли и все домашние.

– Оу, говорят, чем знать тысячи лиц, лучше знать одно имя, скажите, как вас звать-величать? – спросила Жайбаскан.

---

[1] *Пир* – властелин.

[2] *Кумалаки* – бобы или камешки для гадания.

[3] *Кафир* – неверный.

– Вопрос уместный, байбише![1] Я Анет-кожа из Темира. Три раза сбегал из тюрьмы, но власти свое не упустили. И вот в четвертый раз настигают. Ну, что ж… чувствую, что смерть моя пришла… не могу не выйти ей навстречу! – как-то по-особенному приподнято сказал старец. Он взял свой посох. И впопыхах торопко заковылял навстречу приближающемуся всаднику.

А они все стояли возле юрты, какие-то осоловевшие, будто сообща в одном сне вместе оказались. Уже можно было различить, что на коне едет человек в военной форме.

– А старик правду сказал… Похоже, это милиционер, – понизив голос, сказала Хансулу свекрови.

– Астапыралла!.. – удивленно взялась за ворот Жайбаскан. – Этот святой старец, сидя дома, предсказал, дескать, едет кафир… истинно святой он… В народе давно ходили слухи, что уже много лет он – баксы, святой. А еще говорили, что при Советской власти прекратил практиковать. Светик, скрывался, видимо, сколько мог… Да, разве власти успокоятся, пока в землю не вгонят окончательно. Эх, бедняга, скиталец, пусть бог тебя пожалеет!

В это время грохнул звук ружейного выстрела. Старик, уже приблизившийся к всаднику, рухнул ничком. Военный, усмирив вздыбившегося коня, подъехал вновь и выстрелил во второй раз в лежащего человека. Семья Хансулу в панике забежала в юрту.

Собаки, лежавшие в тени, вскочили и с лаем устремились в степь.

– Лежать! Лежать! – изо всех сил прокричал Тугелхан, но собаки не послушались. Они не знали страха. Семья, прижавшись к кереге, следила за происходящим. Свекровь тихо причитала: "Аллах! Аллах!", – крепко прижав к себе Умит. Тугелхан крикнул:

– Он сейчас застрелит Кутжола! – и рванулся к двери. Хансулу схватила его и прижала к себе:

– Ойбай, сиди тихо!

Вновь хлестко ударил выстрел, завизжала собака.

– Сиди! – шепнула бледная Хансулу трясущемуся сыну, обняв его, с силой повлекла внутрь дома. А сама косилась

[1] *Байбише* – старшая жена хозяина дома.

на вход. Не дай бог, примчится враг сюда и в помрачении перестреляет всю ее семью.

Акканшык, прижав хвост, со всех ног, поскуливая, мчалась к дому. Милиционер, борясь с порывающимся конем, еще раз объехал трупы распростертых на земле человека и собаки. Затем ударил ногами в боки жеребца и поскакал прочь.

И только тогда напряжение отпустило Хансулу, она разомкнула окостеневшие объятия, освобождая сына. А сама обессилено опустилась на пол.

Не веря себе, все поглядывала на скачущего всадника, в самом деле он уезжает, или, не дай бог, возвращается? Нет, черный наездник удалялся, уменьшаясь с каждой минутой.

– Тысячу милостыней во имя Аллаха! Хансулу? Тугелхан? Где вы, живы ли вы? – охая и ахая, наконец-то пришла в себя свекровь.

И пока на горизонте всадник не уменьшился до размера точки, женщин колотила нервная трясучка. Акканшык, все еще прижимаясь к дому, повернувшись в сторону степи, лаяла с подвизгом. Тугелхан решил сходить к трупам и посмотреть. Однако мать и бабушка с обеих сторон с руганью накинулись на него. В страхе, что жестокий палач вернется и примется за свое черное дело, женщины оглушили его криком: "Вернется и перебьет нас! Ничего ему это не стоит! Ойбай, с властью шутки плохи! Мать и бабушка в этой жизни чего только не видели!"

– Эй, Алла, сохрани и сбереги! Сохрани от кафира! Защити! – вздыхала, печалилась Жайбаскан. Не в силах успокоиться, она то выходила из юрты, то заходила вновь, внезапно она дала волю слезам и принялась причитать:

– Ой-бой, жеребенок мой, – затянула она, – ой. Шеге, ой-бой, если ты попадешь в руки такого палача, что с тобой будет?! Ой-бой, что будет?! Охо-хо-хой, бог ты мой, показал ты нам, что хотел показать! О, всесильный, гневный бог! А-а-ай!

После полудня отара, отдыхавшая на берегу ручья, поднялась и выпасаясь, рассыпалась по склону, постепенно удаляясь к холмам.

Взяв лопаты, оставив Умит дома, трое пришли на пятачок, где лежали остывшие трупы.

Вырыли могилу прямо рядом с телом Анета-бабы, теперь после гибели ставшего шеитом[1]. Завернули тело в чапан, лицо прикрыли белым платком. Похоронили старца в одежде. Прочитали поминальные молитвы. Затем, оттащив подальше труп Кутжола, зарыли пса в яме.

Все это, случившееся за пару обеденных часов, донельзя вымотало семью. До самого вечера они молчали, не в силах выговорить хотя бы слово. У свекрови было в обычае после ужина при свете лампы вновь послушать, как читает Тугелхан последнее письмо Гульжан с фронта. Сегодня она про это забыла. Однако война, вестником беды и горя навестившая многие дома аульчан, недолго обходила стороной юрту Жайбаскан. Пришло с фронта извещение о гибели Гульжан. Черное письмо привез из аула Жорга Курен. После отъезда Ждахая власть в ауле перешла к нему. Велеречивый Курен, черным коршуном усевшись на торе, сконцентрировав внимание семьи на себе, окольными словами передал им страшную весть.

– Ойбай, Курен, что ты говоришь? – вырвался горестный крик у Жайбаскан. Жорга Курен, конечно, знал, чем все это закончится. Он и не дрогнул, услышав плач. Пробормотал слова утешения и тотчас вышел из юрты, сел на коня и уехал. Семья осталась одна, потонув в горе.

И ветер, гудя, посвистывая над одиноким чабанским домом на берегу ручья Тушыбулак, превратился в тоскливый долгий плач человека. До самого вечера звучал скорбный безутешный жоктау[2] женщин одинокого серого дома. А на следующий день к юрте потянулась процессия родичей, соседей по аулу, желающих выразить соболезнование скорбящим.

3

Июль остался позади, зной вновь навалился на степь. Затем отступило и пекло, жалившее пламенными языками. Пришла пора мягким, благостным денечкам.

В один такой прекрасный день, ближе к полудню, на косогор Огизолген, с северной стороны плато Сарыжазык поднялся одинокий всадник. Он остановился на вершине низкого холма. На коне сидели два человека. Один из них

---

[1] *Шеит* – святой, мученик.

[2] *Жоктау* – поминальная заплачка.

спрыгнул на землю. Другой – наездник – подождал немного, затем повернул коня обратно. Чернеющий на солнце человек остался один на выжженном бугре.

Это был Шеге. Через семь лет после ареста в 37 году он вновь вернулся в свой родной Тущыбулак, откуда некогда его забрали энкэвэдэшники. Человеком на коне был Жорга Курен. Они встретились в Наркамысе вчера вечером. Жорга Курен так и всплеснул руками: "Шегежан! Шегежан!" Похоже, он искренне сочувствовал Шеге, которого не видел целых семь лет. Он даже замахал руками, услышав, что Шеге намеревается идти домой пешком: "Брось ты эту затею! Мой Тембелькок спокойно поднимет и двоих!" С этими словами он подсадил Шеге позади себя на круп коня. Шеге попросил Жорга Курена отвести его прямо в Тущыбулак, не заезжая в Жанажол. Вот так с помощью Жорга Курена Шеге добрался до косогора Огизолген.

Смотрел Шеге с холма на одинокий серый дом, куполом возвышающийся среди желтых равнин и покатых склонов, и сам не верил собственным глазам – правда это или мираж?

– О, провидение! – пробормотал он, ощущая, как с неудержимой дрожью слабеют ноги. – О, господи, правда или обман то, что я вижу?

Неужели Шеге вернулся домой? Неужели он видит свой незабвенный Тущыбулак? Неужели все осталось позади – семь лет каторги в Сибири? О провидение!

Он не мог поверить своим глазам. Неужели, это правда, что он стоит на родной земле, вдыхает ее терпкий полынный воздух? Его бедная душа, привыкшая к адским мучениям, выпавшим на его долю, никак не могла вновь сродниться с широкими объятиями родной земли. Да, действительно, за годы тюремного заключения он отвык и даже как-то отдалился от плывущих бесконечных земных просторов. Там, в тесных вонючих камерах, когда богом данная жизнь осыпалась крошевом бессмысленных дней, разве эти места, Тущыбулак, Сарыжазык, не казались ему недоступным обетованным раем?

И вот, качаясь, шел-брел Шеге по груди родной земли. Был он худой, изможденный, одни только мощи остались от него. На нем старый пиджак, выцветшие брюки, на

ногах заношенные кирзовые сапоги. На голове чья-то облезлая кепка. Когда освобождался из тюрьмы, завхоз выдал эту одежду. Хорошо, что голым не отпустили.

Шагал он, загребая сапогами пыль, с хрустом приминая белесую, словно волосы седой старухи, траву-ебелек, песчаную солянку. И все неуловимо клонило его в сторону, казалось, налетит широкий порывистый ветер – унесет его вдаль, словно шар перекати-поле. Некогда жилистого, плотного Шеге давно уже нет, время выело его, оставив только тень. Эти избиения в кабинетах НКВД, постоянные драки в лагере, на пересыльных пунктах сказались на его здоровье. С этой зимы стал он ни с того, ни с сего падать в обморок. Мог упасть без сознания в любом месте. Его положили в больницу. "Не было ли среди предков твоих людей, болевших эпилепсией", – выяснял лагерный врач. "Нет, не было", – неизменно отвечал он. Откуда было ему знать, никогда не слышал об этом. Три недели провалялся он в лазарете. В конце-концов, лечивший его невропатолог поставил заключение: "Эта болезнь от истощения организма, от депрессии".

С того времени Шеге уже никак не мог поправиться, стал неуклонно слабеть. Появилось у него обыкновение замыкаться в себе, ни с кем не разговаривать. Особенно тяжело дался ему из всех прошедших семи этот последний год. Лагерь стоял недалеко от Богучана на берегу Ангары. Вся работа зэков – валить деревья. Спиленные бревна волокли на лошадях к берегу. Там бревна рассортировывали, связывали в плоты и сплавляли по реке вниз. Когда Шеге выписался из больницы, бригадир поставил его на легкую работу счетоводом в приемном сортировочном пункте. Однако болезнь так и не оставила его. Депрессия усилилась. Стал он заговариваться с самим собой. Беседовал часами то с Тугелханом, то с матерью. Мнилось ему, что они рядом, днями бормотал, ведя диалог с ними. В такие часы он ничего кругом себя не видел. И только когда бригадир начинал истошно вопить: "Мать твою!" – приходил в себя, с недоумением озираясь. Стоял, кидая всполошенные взгляды, не в силах понять, где он и что с ним. То ли полоумный, то ли блаженный, все равно не от мира сего! Молчун, печальник.

В лагере был у него друг, образованный человек в летах, Молдабай Абдиров, который сочувствовал ему. Он был

лидером среди десяти казахов, попавших в лагерь. Если бы не его поддержка и помощь земляков, то немочь давно унесла бы его на тот свет.

К черту все, что осталось позади! Семь лет! Не семь лет, а семь веков. О чем он думал все это время – беспомощные малые крохи – дети. Все эти семь лет мысли о них точили душу, ни на минуту не оставляя в покое. Печаль свила гнездо в его сердце. Ходил по земле живой тенью, подобием самого себя.

И осталась у него одна только цель, одна мечта – увидеть свою семью. И днем и ночью молил бога об этом. Ему казалось, увидит родную землю, обнимет свою семью, особенно – детишек, – и без сожаления можно покинуть эту грешную землю. И не мудрено, ведь не раз друзья, найдя бесчувственного Шеге в тайге, связав из палок и веток носилки, приносили его в лагерь. Придя в себя, рано или поздно он присоединялся к товарищам. Вот так хворь вселилась в него, ведя своей унылой тропой. Стал он подумывать о смерти. И в то же время обращался к духам предков: "Помогите, мне бы только увидеть родную землю, семью мою!"

И вот мечта его исполнилась. Худой и легкий, словно прут, стоит он теперь перед своим родным урочищем, утопая в думах. И вдыхает, глотает всей грудью целительный воздух родины. Да, здешний воздух совсем другой, чем в иных краях. Шеге чувствует это. О, творец! Все стоит так же, как было некогда семь лет назад. И солнце на своем месте. И земля покоится своей немыслимой мощью. И плывут, качаются косогоры, холмы, вливаясь в урочища, лощины. Тущыбулак плещет в лицо живым серебром. И даже его старое жилище стоит на месте, призывно маня, щемя сердце видом купола.

Не обманывают ли его глаза? О, творец! Сколько всякого произошло за эти семь лет! Началась мировая война. Мир полетел вверх тормашками. Враг, перешедший границу, захвативший пол-страны, сейчас вновь отступает за ту же границу. А эта желтая мирная степь с увядающей травой лежит себе под солнцем, потягивается под голубым чистым небом, как будто ничего не произошло.

Дойдя до дна лощины, остановился. Весенние дожди основательно промыли ложе урочища. Тишина витает над землей. Лишь звонко пересвистываются суслики, издали окликая друг друга. Слезы на глазах Шеге.

Выходя из лощины, услышал звук. Вздрогнул и замер. Это был плачущий, скорбный напев – женский голос. Как будто поют песню, и в то же время похоже на поминальную заплачку. Сердце у него едва не перевернулось. Астапыралла! Как бы не оказался это голос его матери? Она причитала обрядовой песней. Мать!..

Шеге двинулся вперед. Затем пошел быстрее. Узелок бил по спине. И он побежал трусцой. Среди кустарника забелел женский платок. Кажется, она ломает хворост. Рядом с ней виднелась фигурка девочки, лет под десять-одиннадцать. Астапыралла! Умит! Это же Умит! Свет зарябил перед глазами Шеге. Однако, сцепив зубы, не издал ни звука. Нагнув голову, поспешил к ним. Мать собирала хворост в вязанку. Умит рвала свежую траву, помогая бабушке. Когда его забрали, дочь была четырехлетней малюткой. Как подросла!.. Ну-ка, скажи, что мир не меняется!

Мутная вода становится чистой,
Солнце, что взошло, уходит на покой,
Жеребенок мой, что убежал далеко,
Увижу ли я тебя вновь?

Мать тянула песню печальным голосом. И не оглядывалась по сторонам, погруженная в себя, она ничего не замечала, перетягивала веревкой собранный хворост. Дочь заметила бегущего Шеге. Испуг тронул ее личико. Метнулась к бабушке, принялась теребить поющую старуху. Тогда он крикнул со всей силы:

– Умит!

Он понял, что дочь не узнает его. И не удивительно – вид был у него, словно у ожившего покойника, лицо в щетине, борода разрослась. Девочка оглянулась, вытаращив глаза на незнакомца. На ней легкая безрукавка, голубое платье. Мать, оборвав песню, застыла в изумлении.

– Боже милостивый! – голос ее дрогнул. – Ия, творец! Ия! Это же Шеге!.. Ия, Барак-ата! Ия, Алла! Ия, Кудай.

В это время дочь с криком: “Коке!” – ринулась к нему. Шеге раскинул руки, наклонился и подхватил подбежавшую дочь. Из глаз брызнули слезы. Дочь исцеловала ему лицо, плача и повторяя: “Коке! Коке!” У матери подкосились ноги, покачнувшись, она плюхнулась на вязанку, вновь запричитала: “Ия, Алла! Ия, творец! Ия, Барак-ата!”[1] Совсем старухой стала она, голова снежно белела.

Трясясь от рыданий, обнимая Шеге, она исполнила поминальную заплачку по Гульжан:

Что за времена наступили для нас!
Сыновья наши стали рабами!
Девы чистые стали рабынями!
Невестки наши стали вдовами!
Что за жестокие времена царят кругом?
Кривда ходит теперь вместо правды.
Горные вершины рассыпались в прах.
Низкий холм стал высокой вершиной!
Когда тебя не было рядом, жеребенок мой,
Свет жизни стал не мил нам,
Печалью и горечью наполнился он.
Когда тебя не было рядом, жеребенок мой,
Война стала нам испытанием,
Война поглотила Гульжан.
Когда я состарилась, жеребенок мой,
Горести бессчетные окружили меня,
Вот такие денечки наступили, светик мой!
Не день, а ночь царит кругом!
У семидесятилетней матери твоей
Душа горит горьким пламенем,
Осыпается черным пеплом,
А-ах!

Ни слова не смог вымолвить Шеге. В слезах потонул он. Не сразу успокоилась мать, изливая сыну неизбывную тоску-печаль, вздрагивая все в новых и новых порывах неудержимого плача.

---

[1]*Барак* – святой покровитель, батыр.

4

Шеге взвалил на плечи вязанку и понес домой. Утомленное солнце, разливая косые лучи, уже клонилось к закату. Затем в глаза бросилось, что на берегу ручья не видно ни людей, ни скота, пустынно и сиротливо выглядела пойма ручья.

– Хансулу и Тугелхан с отарой, – сообщила мать, – вернутся в потемках.

Осмотрел дом. Юрта обветшала. Выцвела и потрепалась на степном ветру. Заглянул в открытый проход. Без Хансулу помещение казалось безрадостной, холодной пещеркой.

– Доченька, подмети и прибери в доме. Мы ушли, оставив дом неприбранным, – сказала мать, заметив, как болезненно наморщившись, оглядывал юрту Шеге. Умит побежала искать веник.

Что-то исподволь в нем собралось и выстроилось в прежнего Шеге, – наконец-то он дома! Бесконечные просторы кружили и лились к горизонту. Карминово-окрашенные лучи солнца падали косо. Пробежался взглядом по руслу Тущыбулака. Неужели это не сон! В эту щемящую правду до конца не верилось. Шеге направился к ручью, который то извивался в осоке серебристой косой, то разливался блещущими перекатами. И только сейчас он понял, как измаялся от давней жажды.

Мать скребла по дну казана, и этот звук казался музыкой.

Что за чудесные запахи витали в воздухе, кружа и томя голову! И запахи здесь особенные. Пары теплой земли, запахи кизяка и овечьей лежанки. Это запахи искони приятные его сердцу.

Вышел к роднику, откуда начинался ручей. Наклонился к похожей на казан впадине, окруженной сочной зеленью, откуда била толчками струя чистейшей, словно слеза, воды. Лег ничком и окунул лицо в воду. Ух, какая холодная вода, аж зубы ломит! Никогда и нигде он не пробовал такой вкусной, такой чудесной воды, как в Тущыбулаке!

Донесся звонкий, словно переливы колокольчика, голосок дочери.

– Коке! Коке! – летела она, словно на крыльях от дома. – Смотри, овцы идут! Мама едет!

Шеге выпрямился. Посмотрел на восток, куда показывала дочь. Отара медленно вытекала черной лавой, окрашиваясь под косыми малиновыми лучами закатного солнца. Чуть в стороне от овец двигался наездник на верблюде. На голове человека белел жаулык. Хансулу!

Сердце заколотилось в груди. И сразу вся окрестность вокруг Тущыбулака заиграла и озарилась особенным светом. На востоке над горизонтом повис круг луны.

Умит со всех ног помчалась навстречу овцам. Следом за дочерью зашагал и Шеге. Видимо, Хансулу заметила их, верблюд ускорил встречный шаг. Доехав до Умит, бежавшей навстречу и что-то кричавшей звонким голоском, она заставила верблюда остановиться и присесть на колени. И кинулась бегом к дочери. Обняв дочь, она обернулась в сторону отары и прокричала: "Отец твой вернулся! Отец!" И затем вдвоем с дочерью со всех ног побежали к идущему.

Хансулу... на ней черный приталенный бархатный камзол. На голове белый жаулык, перетянутый туго под мышками. Была она одета в шаровары, на ногах сапоги. Хансулу худощавая, тонкая в талии, выше среднего роста.

Перед глазами Шеге зарябили, понеслись черные круги. Колени слабея, задрожали, земля под ногами покачнулась.

– Ия, Алла! Ия, Барак ата! – прошептал он, боясь, что опять упадет в обморок. На лбу разом выступил холодный пот. В какую-то неуловимую минуту весь мир перед глазами оделся во тьму. И слышал он, как, задыхаясь, бежала Хансулу. Шеге открыл глаза. Мир вспыхнул перед глазами. Умит прибежала первой, обогнав мать, и кинулась в его объятия. Ладони его обхватили головку дочери и принялись ласкать, нежить. А глаза устремлены на Хансулу. Закрыв краем платка лицо, она как подкошенная качнулась к нему. А позади нее наперегонки с собакой бежал мальчик: "Бог ты мой, неужели это Тугелхан? Вот тебе и на, – уже джигит!"

Сердце готово вырваться из груди. Слезы вновь хлынули из глаз. Бог ты мой, неужели эта смуглая, дочерна загорелая женщина – Хансулу? И почудилось ему, что это не Хансулу, а другая женщина подбежала к нему и с рыданиями упала в его объятия. И в это мгновение странным образом как бы со стороны он увидел себя, обнявшегося с женой и сотрясающегося в плаче.

Затем он узрел собаку, с лаем кружившую вокруг них, – да это же Акканшык! Бедная собака, она ничего не могла понять, все носилась вокруг и исходила в отчаянном лае. Примчался Тугелхан. Это был уже не семилетний малец-голец, а вытянувшийся жилистый подросток. Только глаза – глаза остались прежними, они говорили, что перед ним все тот же, прежний Тугелхан.

Поцеловал сына в голову, пахнущую солнцем и потом. И слышался только судорожный плач Хансулу, и видел он только ее трясущиеся плечи. А дети стояли, всхлипывая, внимая горькому и радостному плачу матери.

...Луна поднималась все выше по небосклону, золотом заблестело русло ручья Тущыбулак. Только перхание и возня овец в загоне нарушала провальную, необъятную тишину, воцарившуюся над спящим миром. Шеге лежал на широкой постели во дворе под ночным небом. Один. Хансулу еще не подошла, чтобы лечь рядом. Минуту назад с кумганом в руках она ушла в темноту.

Мать с детьми дома. Ни звука не слышно. Наверное, уснули. Устали, конечно. То плача, то смеясь, засиделись они допоздна. Перед тем, как лечь в постель, Шеге вымылся. Хансулу вывела его за дом, там он сел в широкий таз, и Хансулу стала поливать теплой водой, купая его, как ребенка. На этом свете, наверное, нет более нежных и целительных рук, чем у Хансулу. И Шеге испытал прилив сил. До этого его уже томила изрядная усталость. Хансулу вначале полила двор водой, затем постелила алашу[1], на подстилку положила толстое одеяло, затем разложила удобную и широкую постель для двоих. Оказывается, он отвык от постели жены. И как-то в диковинку было ему ощущать запахи подушки, одеял. Сейчас подойдет Хансулу и ляжет рядом с ним, а ему странно это и чудно, как будто другая женщина она, как будто в первый раз между ними должно произойти это... И смотрел он на сокровенное ночное небо, не мог наглядеться. “Эй, Алла, шукир!” – повторял он, как заклинание. “Шукир за то, что добрался до дому!” И разливалась по жилам, лелея его измученное тело медовая благостная сладость как долгожданное воздаяние за те

[1]*Алаша* – домотканая дорожка.

страшные семь лет. И растворяла в пьянящей истоме... И дрожали и подмигивали сверху звезды, словно райские горлицы на ветвях тьмы.

И внимание его разрослось кустом ощущений... И билось, истончалось в нетерпении, в стуке-перестуке бедное, измученное сердце, торопило ее. И казалось ему, пока не обнимет жену, пока не укроет ее в своих жарких объятиях, не поверится в реальность происходящего, что наконец вернулся домой. Слух его уловил легкий шелест шагов. Повернул голову. Хансулу! Она поставила медный кумган с изогнутым длинным носком, осторожно ступая, подошла ближе. На голове широкий белый жаулык, украшенный затейливым орнаментом. На плечи свободно наброшен бардовый камзол. Бездонные черные глаза в свете луны блеснули улыбкой, вопрошая о чем-то. "О, тоба!"[1] – прошептал Шеге, – "о, провидение, сон это или явь?!"

Хансулу присела на край кровати. Сняла обувь. Затем сняла камзол. Затем повернула к Шеге лицо, нежно выбеленное луной, и ее сияющие глаза еще раз улыбнулись Шеге, бросив его душу в смятение, и затем она, тихонько смеясь, нырнула под одеяло.

Они замерли, крепко обнявшись. Их глаза встретились в долгом, проникающем взгляде, их души и тела сливались, обретая друг друга. Но Хансулу безмолвна. Из глаз Хансулу лились слезы, омывая лицо супруга. И долго он не мог успокоить ее, обнимая и лаская, целуя лицо.

Пролив немало слез, пришла в себя Хансулу. Приподнявшись с постели, ополоснула лицо из кумгана. Затем вновь улеглась рядом с Шеге. И они, прижавшись друг к другу, оба воззрились на усыпанное звездами вечное небо, плывущее черно-кипящей рекой.

– Похудел ты сильно, – сказала Хансулу, проглотив конец фразы. – Одни кости остались...

– Что-то со здоровьем, – обронил Шеге. Хансулу повернулась к нему.

– Как будто что-то с головой, – пояснил Шеге. Хансулу, приподняв голову, с испугом взглянула на Шеге: – Как это – "что-то с головой"?

---

[1]*Тоба* – мусульманское выражение, означает "Провидение".

– Думаю, из-за тюрьмы… Без драки там порой и дня не проходит, – сказал Шеге.

– Как болит…когда?

– Не болит… просто ни с того ни с сего падаю в обморок.

Хансулу внимательно разглядывала Шеге, ее зрачки расширились, поблескивая смоляным блеском. За этот вечер, наблюдая за мужем, она заметила некоторые изменения в его облике. Раньше Шеге был открытый характером, решительный, переполненный внутренней силой мужчина. А этот Шеге какой-то другой, тихий, молчаливый, словно чем-то придавленный. "Что это с ним?" – спрашивал внутренний голос, однако, Хансулу не решилась вынести какое-то суждение о муже. "Наверное, устал с дороги, никак не опомнится", – подумала она. И вот ее догадки подтверждались.

– Стал я молчаливым… Все время перед глазами вы … И с призраками я стал вести долгие беседы… Пришлось полежать и в больнице. Однако не помогло.

Хансулу склонилась над ним и прижала свое лицо к его лицу. Крепко обняла мужа.

– От дум и печали, наверное… не болезнь это, – сказала Хансулу, лаская мужа, как малого ребенка. – Ты же вернулся домой. На все воля бога … выздоровеешь. Уповай на Аллаха!

Шеге ничего не ответил. Душа растворялась в неге и тишине. На щеке ровное дыхание Хансулу. И чувствует он в ее жилах пульсацию сердца. Это биение всей его жизни, ее средоточия. Один ритм. И он едва не оторвался от этой пульсации… Все-таки зацепился за ниточку, и не оборвалась она. Однако, что будет завтра?

1992 г.

БРЕННЫЙ МИР

1

Хансулу жила с ощущением, что рано или поздно то, о чем временами говорило предчувствие, произойдет. Однако она не думала и не гадала, что оно случится именно в это лето…

“Где же он, треклятый теленок?” – Хансулу, прикрывая глаза ладонью, осматривала просторы Сарытаукума с вершины желтого песчаного бугра, что возвышался на окраине аула. Куда ни посмотри, всюду колыхалось сизое марево, сливающееся с небом. Время было малый бесин – послеполуденное. Июльское солнце клонилось к закату и еще не ослабило свой жар. Вдалеке одинокий аэроплан устало буравил тусклый небосклон. Великое небо кренилось над миром, одним крылом накрывая белеющие вершины хребтов Алатау, другим – увлекая за собой весь поднебесный мир, всю видимую вселенную. Астапыралла!..

Внезапно просторы поплыли перед затуманенными глазами Хансулу, и она обессиленно опустилась на песок. Перед глазами вспыхнуло зарево, и тут же длинное пламя пожаром охватило ее. И жар этого огня опалил ее. Сильно ударило в грудь, затем бросило в гущу огня и понесло, закрутило в бушующих клубах, в языках огня, словно горящий ворох травы, несомый ветром. Интуиция подсказала ей, что *это самое* началось, но только сознание

не поспевало за тем, что обрушилось на нее. Она почувствовала себя язычком необычайно легкого света, трепетного, струящегося, с гулом рвущегося вперед. Этот вибрирующий огонек все ускорялся. Она стремглав летела внутри протяженного туннеля, захватившего ее, извивающегося и подвижного. В конце длинной, гремящей пещеры, удлиняющейся словно живое чрево, показалось далекое белое пятно. Напрягая все силы, птицей неслась она, порываясь в сторону пятна. Крохотным пульсирующим комком света стремилась вперед, желая непременно достичь заветной цели.

Пока жива, она должна вырваться из мрачной темницы. И чует душа, что там, за тьмой – пространство свободы и ясного света. Поэтому рвется душа, машет крылами, чтобы скорее оказаться в голубом небесном сиянии. Как она хотела бы лететь свободно и мощно! Вдруг она почувствовала, что вырвалась из прохладного туннеля, сияющая беспредельность плеснула в глаза светом, и ее понесло к лазорево полыхающему Небу. Душа переполнилась несказанным блаженством. Воспарила, заливаясь ликованием, сладостным, озаряющим изнутри. Все выше возносилась она, поднимаясь над синим, переливающимся свечением, пронизанным карминовыми сполохами, – предвестием зари, встающей над пустыней. И чем глубже погружалась в необъятную синеву, тем сильнее становилось блаженство, растворяющее все существо. Всюду простирался безбрежный духовный свет, напоенный радостью. Лучезарная восхитительная синева, не имеющая ни конца, ни края, потоком обтекала острова золотого мягкого сияния с разливающимися чудесными радужными кругами. Душа сбросила с себя тяжесть земных забот и беспокойств, пушинкой неслась в потоке, то взмывая вверх, то опускаясь, кружась в упоении духовного счастья. Океан света, свободного, чистого божественного духа, придавал ей силы, наполняя немыслимым блаженством. Растворялась, трепетала в изначальной нежности душа, достигшая единства. И она все глубже погружалась в немыслимое, в могучие волны *сущего*. Остаться бы навсегда в этих волнах, в этой пронизывающей вибрации и кануть навеки…

Вдруг полет прервался. Хансулу пришла в себя от боли, чугунной тяжестью сдавившей голову. Что это – сон? Что за странное состояние пережила она? И почему лежит на земле, не в силах шевельнуть ресницами, свинцово-тяжелыми? А вверху роилось звездами бездонное небо. Крупные, лучистые звезды дрожали, готовые вот-вот сорваться и полететь вниз. Она не в состоянии была понять, что случилось с ней? И почему кругом ночь? Почему она лежит на песке? Живая или уже умерла и оказалась на том свете? Явь или сон это? О, Творец! Она продолжала лежать в полубессознательном состоянии. Вдруг услышала откуда-то снизу приглушенный зов.

– Апа-а-а! – искал ее голос. Да это же Умит! Откуда она здесь? Зачем? Кого зовёт?

Помраченное сознание не улавливало смысл в происходящем. Все же понемногу память возвращалась к Хансулу, навзничь лежащей на вершине холма. И она вспомнила, что накануне вечером поднялась на бугор в поисках пропавшего теленка. Неужели с тех пор она находится на этом холме, о, астапыралла? Неужели все время была без сознания? В голове провалы тьмы, там перетекала зыбкая влага. Тело не повиновалось. С каждой пульсацией боль уносила ее куда-то вниз.

С прошлого года Хансулу начали беспокоить приступы головной боли от повышенного давления. Под наблюдением врача Хансулу начала проходить курс лечения, но болезни не придала особого значения: дескать, у кого нет давления? Тем не менее, пришлось ей полежать в больнице – внезапные приступы валили с ног, раза два падала в обморок. И к этому недугу она привыкла, напоминая себе, что старый враг лучше вновь обретенного друга.

Она пыталась одолеть сумятицу в мыслях и провалы в памяти. В голове был полный хаос. Пылающие щеки и лоб поглаживал и нежил прохладный ветерок. А в глаза струйками вливалось горящее звездами небо. Неужели ее душа пронеслась через немыслимую небесную безбрежность? Да, то был сон! И все же, несмотря на немочь, она чувствовала, что загадочная сила промчалась рядом, едва затронув ее. Конечно, в таком беспомощном

состоянии она не в силах ни осознать, ни объяснить себе смысл увиденных образов.

В голове опять помутилось. Она пыталась собраться с мыслями, и вдруг ее озарило внезапной догадкой: “Это смерть!.. Она свалила меня с ног!” Как никогда в жизни ей стало страшно.

Из последних сил она хотела произнести немеющими губами спасительную молитву – калиму. Но губы не повиновались ей, они даже не шевельнулись. Казалось, вместо языка во рту сухой жухлый лист.

– Апа-а-а! – крик послышался снова. На этот раз зов прозвучал ближе, со склона холма.

– Апа-а-а! – да это же голос Тугелхана! Он бежал со всех ног, слышалось его рвущееся дыхание. И тогда она осознала смысл случившейся беды.

Рядом появились сын и дочь, они подняли ее, полубесчувственную, и, порой едва ли не на руках, порой осторожно поддерживая, довели до дома. Дочь заливалась слезами. А Хансулу вновь впала в забытьё. Под утро в доме появился парень, плотный и черный, будто его отлили из чугуна, – врач, вызванный из райцентра. Он долго прислушивался к пульсу, измерил давление, сделал укол. Отвел в сторону Умит и Тугелхана, что-то им втолковывал приглушенным голосом. Несмотря на сумятицу в голове, Хансулу поняла, что он требует положить ее в больницу, и покачала головой, глядя в глаза Умит. Дескать: “Не поеду! Помирать – так дома!” Врач-джигит стал успокаивать ее:

– Апа, не волнуйтесь! Я оставлю Умит-тате нужные лекарства, она будет делать уколы. Пройдет совсем немного времени, и вы подниметесь на ноги.

Хансулу кивнула головой. Через некоторое время и впрямь ей полегчало, боль отступила, видимо, сказалось действие лекарства. Тяжесть, свинцом давившая на веки, отступила. Хансулу как бы со стороны увидела, что лежит в своей постели. На ней белая ночная рубашка, и длинные косы, тронутые сединой, безжизненно протянулись вдоль тела. В переднем углу дома она лежала как живые мощи на сложенных корпешках. Аруах во плоти да и только! Ее точеный нос запал, отсвечивая меловой белизной, от него веером разбежались мелкие морщины. Не потерявшие

глубины и чистоты глаза, не мигая, уставились в потолок. Хансулу пыталась собраться с мыслями, согнать их как овец в одну отару.

Почему же она не рухнула тремя неделями раньше? Если бы это нагрянуло в то время, Хансулу безропотно, без сожаления приняла бы неизбежное, что всякому человеку написано на роду, дескать: "Аллах, благодарю за все, прими же мою душу!" Всего три недели назад жизнь Хансулу шла по иному руслу. Житьё-бытьё Хансулу в маленьком домике на краю аула с какой-никакой живностью, – ну там овечки, корова, – шло ни шатко ни валко на виду всего народа. К смерти в ту пору она вполне была готова. Подумаешь, смерть! Там, за гранью бытия, ее ждет Шеге. Да, да, Шеге, навсегда сомкнувший глаза лет сорок назад. Супруг, Богом данный, половинка ее души. Когда в 1943 году как враг народа он был арестован в третий раз, Тугелхану было тринадцать лет, Умит – восемь. И вот ненаглядные дети Шеге подросли, встали на ноги. Тугелхан с семьей живет в Алматы, имеет служебную машину, занимает солидную должность. Кто бы мог подумать, что сын Хансулу, сирой вдовы, достигнет такого положения? А вот Умит, любимая дочь, оказалась невезучей. Муж бедняжки погряз в беспробудном пьянстве. Маялся, маялся, всем душу мытарил, а потом взял да и с проклятьями повесился в сарае. Грусть запустила когти в душу Хансулу. Доводилось ли кому видеть такое несчастье? Не слыхивала она, чтобы в старые времена кто-то сам себя лишил жизни. А нынче в одном только ауле Аккум трое парней, как бы следуя примеру несчастного Токтасына, наложили на себя руки. Вот так Умит с маленькой дочкой на руках осталась вдовой. Но все же, слава Аллаху, у Хансулу трое внуков, двое от Тугелхана и один от Умит. И они уже выросли, на глазах вытянулись. Внучата – радость и утешение жизни. Что ещё желать перед кончиной? Зато после смерти, там, в ином мире, её встретит Шеге. Нет, не страшится она смерти: "Как с последним вздохом закрою глаза, первым делом увижу Шеге. Бедняга сразу спросит об Умит и Тугелхане, о детях своих, из-за них постоянно болело его сердце. Хансулу расскажет ему всё как есть. Изложит историю горькой вдовы, что мыкалась в лихие годы сорок

лет. Поведает все. Расскажет, как растила и лелеяла детей, не давая и пылинке сесть на них, не позволяя чужим обидеть их. И несмотря ни на что воспитала их настоящими людьми".

И вот с такими-то мыслями ходила она, думая о Шеге. Но тут случилось нечто странное, хотя для аула Аккум такие происшествия и не в новинку.

Так вот, стоял июльский вечер, раскаленное солнце клонилось к закату. Казахи такие вечера называют Узынсары. Аульчане обычно выходят на улицу, чтобы встретить скот, идущий с выпаса. Хансулу тоже прохаживалась по двору в ожидании коровы. А в то же самое время от шоссе Алматы–Караганда в сторону аула через пустырь шел человек с чемоданом в руке. Тут всё понятно: идет пассажир с автобуса. Когда солнце коснулось горизонта, он добрался до селения. А селение это – крохотный аул, отделение более крупного села. Здесь на единственной улице разбросаны по обе стороны два десятка домов. И дом Хансулу на отшибе, у кромки аула.

Путник меж тем направлялся к жилищу Хансулу. Она стояла во дворе возле каменного очага, помешивая черпалкой кипящее в казане молоко. Она всмотрелась пристальней: кто бы это мог быть? На сердце защемило: "Это же Тугелхан! Однако… почему он пешком? Он всегда приезжал на вместительной Волге!"

Она машинально помешивала молоко в казане и, ещё не веря глазам своим, всё вглядывалась в того, кто приближался в сумерках. Да-да, это он, Тугелхан! С чего бы это?..

В груди заныло от недобрых предчувствий.

Тугелхану недавно перевалило за пятьдесят, и с этой датой у него обозначился круглый живот. А в молодости он был сухопарым и рослым, точь-в-точь как Шеге. С тех пор как стал бастыком[1], завел обычай ходить в дорогом костюме с броским галстуком. Но в тот июльский вечер на нем не было ни костюма, ни галстука. Куцая рубашка с короткими рукавами, помятые брюки. Войдя во двор, широко улыбнулся, сверкнув золотыми зубами. Обнимая и целуя сына, Хансулу почувствовала запах спиртного. Так

[1]*Бастык* – начальник.

и есть: сын под хмельком. Он и раньше был не против опрокинуть рюмку-другую, однако меру знал и выпивкой особо не увлекался. Хансулу едва ли этому придавала значения, в наше время кто из мужчин не прикладывается к рюмке. Однако на сей раз запах водки почему-то ее насторожил.

Тугелхан грузно плюхнулся на тахту, стоявшую во дворе, вытащил платок и принялся вытирать обильный пот. Хансулу внимательней глянула на сына:

– Ну?.. Все живы-здоровы?..

Отчего-то возникла тревога, она не могла её унять.

– Апа, чай поставь, горло пересохло, – Тугелхан отвёл глаза в сторону, как бы уклоняясь от ответа.

Прибежала Умит, благо жила по соседству. Радуясь приезду брата, расторопно принялась накрывать на стол.

Когда собрались за дастарханом, Тугелхан поведал сестре и матери о случившемся. Но поначалу попросил дать ему выпить. Умит с готовностью вскочила, на минуту растаяла в сумерках, и – вот она, бутылка водки на столе. Тугелхан деловито налил стакан, махом опрокинул в глотку содержимое, привычно занюхал разрезанной луковицей. И без комментариев объявил:

– Развелись мы.

Вслушался, как водка проникает в межклетия. Пояснил:

– Распрощался я и с работой, и с партией.

Мать и сестра предчувствовали, что новость Тугелхана едва ли обрадует их. И все же услышанное ошеломило, они замерли, и на их лицах был испуг. Сидели побледневшие, не зная что сказать. Тугелхан был их единственной опорой. Преуспевающий азамат, руководитель, крепко стоящий на ногах… И вдруг – такой крах?.. Последние пять лет Тугелхан работал директором крупной авторемонтной станции. Как же так? Почему?..

Но разговор на этом завершился.

Тугелхан безвылазно залег в гостиной комнате, не выходил из дому семь дней. Он измучил мать и сестру единственной просьбой: достать водку. На восьмой день встал, ополоснул лицо, опухшее от пьянства, сгорбившись, вышел во двор. За эти дни он похудел. И живот как бы тоже уменьшился. Его грызла тоска. С наступлением сумерек он отправлялся в степь и бродил допоздна.

Хансулу и Умит решили не давать ему водки. Однако на поведение Тугелхана это не повлияло. Он ухитрялся где-то выпить и после ночных скитаний возвращался домой очень даже навеселе. Они понять не могли, где он находит спиртное. Стали следить за ним. И выяснили, что Тугелхан бывает на арбузной плантации Югая, это в нескольких верстах от аула. Там вместе с другими бедолагами, завзятыми алкашами, батрачит на корейца, а потом принимает на душу порцию горячительного. Однажды ночью вернулся пьяненький, в расхристанном виде. Рубашонка порвана, под правым глазом здоровенный синяк. Стоит, красавчик, в сумерках, как былинка на ветру. Хансулу запричитала:

– Куда же это годится, а?.. Один что ли ты в разводе? Таких хоть пруд пруди! И что – всем из-за этого прыгать в омут?..

Взяла его под руку, повела домой. Подбежала Умит, тоже стала поддерживать брата с другой стороны. Что же он так-то, не может выстоять в беде? Это ж позор перед всем аулом!.. К старым горестям добавилось новое…

И вот лежит в затемненной комнате обездвиженная Хансулу и молча заливается горючими слезами. И не выдох, а пламя порой вырывалось из ее груди. “За что мне такое наказание? Разве мало бед видела я в своей жизни?” И сердце трепетало на пределе. До этого Хансулу, чувствовала, что неотвратимо стареет, теряя силы с каждым днем. Нет-нет, а и возносила молитвы Богу. За то, что на свете есть первенец ее, Тугелхан, сын, носитель имени Шеге, судьбой ему предписано продолжить род, блюсти фамильную честь. И вот теперь эта единственная опора как будто надломилась. Да что там – обуглилась, сгорела, рассыпалась в прах. Неужели шанырак Шеге, который она годы и годы свято берегла, и сохранила нерушимым, прошла все испытания, голод, войну, сталинские репрессии – заветный кров хоть и трещал от жизненных бурь, но устоял. А теперь вот в мирное время все-таки рухнул? О, творец! Что этому причина? За что Бог явил ей такое? Как же теперь умереть с миром? Что скажет она Шеге, ожидающему ее там, куда уводит смерть?..

Взгляд ее остановился на фотографиях – за стеклом, в рамочках, что висят на передней стене. Она рассматривала лицо пухленькой улыбающейся внучки. Это Бопенай, она сдает приемные экзамены в институт в Алматы. А вот

другая фотография, на ней Бопенай, когда ей всего годик от роду, словно едва вылупившийся гусенок, дитя разглядывает мир удивленными глазами. Готовая ради нее разбиться в лепёшку, Хансулу души не чаяла в ребенке.

"Бедное дитя! – горевала Хансулу. – Опорой был для тебя дядя, а теперь – какая на него надежда?.. Не оказаться бы тебе, родная, в городе без присмотра и защиты! Если бы твоя бабушка знала, что станется с Тугелханом, поручила бы заботу о тебе Едыге. Как-никак, он единственный потомок Балкии и Булыша, а ныне, видишь ты, известный писатель. Эх, если бы знать, если бы знать!.."

И ещё пуще закручинилась Хансулу. "Доведется ли мне снова увидеть тебя?" Слёзы катились из глаз, рыдания перехватывали горло. Хорошо, дома никого не было, и дети не видят ее крайней слабости. В последнее время она именно так облегчала душу от груза накопившихся переживаний, где сплошь тупики и выхода не видно. Ну вот, подумала она, ну вот. Как-никак, а все-таки стало легче. И она вздохнула глубоко-глубоко, прерывисто переводя дыхание.

...Кто-то пробежал за окном. Всполошились куры, закудахтали. С окраины аула донеслось тарахтение трактора.

Хансулу повернула лицо в сторону окна, затянутого красной занавеской. Интересно, какой теперь час – утро ли, вечер? Но занавеска была плотно натянута и напрочь отделяла её от внешнего мира. Оказавшись прикованной к постели, Хансулу потеряла счет дням и ночам. Большой мир за окном стал другой вселенной, отгородился от нее, и Хансулу постепенно замыкалась в себе. Звуки, приходящие извне, притуплялись, воспринимались чуждыми и странными. Хансулу прислушивалась к новым ощущениям. На днях её навестили соседи-сверстники, чтобы узнать, как ей живётся-можется. Она распознала среди них Козбагара, его байбише Таттибалу, еще двоих-троих соседок. Не в состоянии шевельнуться, она не запомнила, о чем они говорили, в памяти остались только их взгляды, полные сочувствия к ней. Язык не повиновался ей, а так хотелось кое-что сказать старым подружкам. Она была как бы между мирами, – ни живая и ни мертвая, не в состоянии различить, во сне ли это происходит или

наяву? И она ощутила как бы призрачную ширмочку между нею и всеми остальными, принадлежащими земному миру. Сверстник Шонай и старушки, сидящие на расстоянии вытянутой руки, казалось, находились в недосягаемости. Когда они спрашивали ее о чем-либо, мнилось, что к ней обращаются звуками того света. И когда они со вниманием всматривались в нее, они казались ей духами.

Сейчас внутри дома витает мрачноватое беззвучие, наливающееся тяжестью. В ушах звенящая тишина. Все голоса и движения словно склеились в пустоте. И Хансулу, оставшись наедине с великой пучиной, безмолвно погружалась в изначальную колыбельную зыбь. Чья-то призрачная ладонь стала нежить, лелеять измученное давней тоской сердце, вовлекая в истому. Она манила в удивительный мир. Окутавшись маревом, звала в щемящее прошлое, к дням забытого детства. Вон завиднелся кочевой аул, по которому всю жизнь тосковала она, мечтая о возвращении в отчий дом. Обетованная родина, всегда жившая в памяти, сияла издали радугой, несказанно волнуя душу. На этот раз происходило это как бы наяву, не во сне, словно вернули ей незабвенную обитель. Вот маленькая Хансулу шагает помаленьку под необъятным кровом. Пошатываясь, шажочками приближается она к порогу большой юрты. Снаружи – полдень в полную силу. За порогом светится безмерный, залитый солнцем, мир. А за аулом в отдалении плещется, блестит водоем. Окаймленное пышной курчавой зеленью, бирюзовое, небесного цвета озеро. На его берегу, чернея мушками, пасутся лошади. Овцы лежат в тени кустарников. Поближе на окраине аула на лугу играет в асыки ребятня. Идет Хансулу, ступает заплетающимися ножками, спешит на шум играющей ребятни. Торопится она. Однако над ней все еще купол белой юрты, высокой и величественной, просторной, как небо, увешенной по краям красно-зелеными коврами. Под белым куполом с правой стороны сидела, умиленно улыбаясь ребенку, мать, Сырга. Незабвенная благодушная мать! На торе горой возвышался дородный отец, би[1] Пахраддин, лучась душевной улыбкой. Казалось, улыбается даже его большой нос.

---

[1]*Би* – трстейский судья у казахов.

Подумалось Хансулу: “В то время никому из аульчан и в голову не приходило, что их ждет в будущем. То было благословенное время, когда народ еще не знал кнута носителей красных петлиц, когда о конпеске[1] не слыхивали, не ведали”. О, Творец! О, чудо! Глядя на эту идиллию, она трепетно, всей душой молила Бога о том, чтобы мирная, безмятежная жизнь аульчан ничем не нарушалась, чтобы она продолжалась вечно. Потому что в памяти вернувшейся к отчему дому Хансулу навечно застрял страх перед страшной эпохой, которая перевернула вверх дном мир кочевников и понесла кувырком в пропасть.

Малышка подобралась поближе к порогу. Вот и дверной проём. Ух! Она с трудом переступила через высокий порог. И обрадовалась этому, смеясь собственной смелости. Она возликовала, радость распирала грудь. Вдохнула томящий душу, медовый запах родной земли. И осознавая, что стоит в центре аула, ушедшего в прошлое, она всем сердцем отдалась волне радостного удивления. “Неужели я в ауле, пропавшем в неизвестности, или это сон?” Она озиралась по сторонам, изучая панораму, знакомую с детства. Глядела, не в состоянии насмотреться. Вот оно, ясное летнее солнце, взобравшееся на небосвод, замерло прямо над аулом. Разливало оно щекочущие, трогающие сердце лучи. Аул все тот же. Юрты стояли в ряд, словно перевернутые белые чаши. Они похожи на стаю гусей, присевших на отдых на воды озера. И плыли и дрожали в волнах марева белые, как гусиные яйца, юрты. Возле каждого жилища курился дым очага, завивался кудряво. На отшибе от юрт лежали коричневыми валунами несколько верблюдов. Еще дальше от аула несся, качаясь, заблудившийся пыльный вихрь.

В душевной муке тоскливо смотрела Хансулу на чудесную картину летней стоянки аула. Вдруг она осознала, что взирает на родной аул глазами юной девушки. Теплый степной ветерок, пролетавший меж домами, начал играть подолом ее нарядного белого платья. Нет, это не ветерок, это вздохи родной земли, соскучившейся по дочери. Хансулу неспешно шла по аулу, мягко преодолевая сопротивление свежего ветра. И ветер понимал ее, он то забегал вперед, то шумно кидался назад,

[1]*Конпеске* – казахская транскрипция слова конфискация.

клоня переливающуюся изумрудную траву. И от души обнимал ее. Но почему женщины, у очагов пекущие хлеб на раскаленных сковородах, гончие псы, лениво раскинувшиеся в тени, не замечают ее? Она же, двигаясь призраком, обходя аул, все видела. В груди словно ожила птичка-невеличка, певчая горлица песков. А бедное сердце трепетало, его пронзила встреча с прошлым – со старым аулом, пропавшим без вести, давно канувшим в пучине бедствия. И плакала, причитала душа – птичка-невеличка, умоляла небо о том, чтобы эта удивительная минута продолжалась, чтобы хрупкая нить не оборвалась. Наверное, была услышана эта мольба, душа все еще плыла-блуждала в картинах детства.

Затем, выступая из марева, вышло нарядное кочевье, рассыпая звон колокольчиков, рассекая лоснящиеся заросли полыни, бело-шелковистого изена, направляясь на восток. Степенное кочевье, словно стая журавлей, строем двигалось по степи. Впереди кочевья на красно-буром наре ехала маленькая Хансулу, она покоилась на руках матери. Укачанная плавным верблюжьим ходом, она рассеянно взирала на пространство, расстилающееся под солнцем, на загадочное пустынное плоскогорье. Бурый нар-великан, вытягивая длинную словно курык[1] шею, с хрустом рвал и поедал изен-траву. Терпкий запах голубоватой полыни и изен-травы щекотал ноздри. Мягко вышагивая, шли нары и атаны. Женщины в белых жаулыках величественно восседали на спинах верблюдов. Звенели голоса детей. Впереди кочевья ехала группа конников, возглавляемых Пахраддином. Аул был такой же, как и прежде, аул, которого еще не коснулась катастрофа. Безмятежное, благодушное казахское кочевье, еще хранящее единство своих рядов. Не знало оно, где начало и где конец шествия. Главное для него – движение. С людским гомоном катило оно в неизвестность.

Вот уже взрослая Хансулу в одиночестве со стороны смотрит вслед каравану. Она – птица-подранок, выпавшая из строя летящих журавлей. Подтачивая сердце, глубоко ранит мелодия печали. Душа отставшей от каравана готова взвыть по-волчьи. Шаг за шагом все дальше уходит кочевье, скрываясь за горизонтом. И вот уж не видно его. Спазмы сжали грудь Хансулу…

---

[1]*Курык* – петля на шесте для ловли животных.

2

– Апа!

Хансулу, вздрогнув, открыла глаза. Некоторое время, не в силах понять, где находится, обводила затуманенными глазами комнату, освещенную светом. В помещении была одна Умит, она бесшумно на цыпочках ходила по комнате. Дастархан был уже накрыт, чай заварен. По воздуху плыл аромат индийского чая, настоянного на лепестках гвоздики.

– Апа! Уже стемнело, чай готов! – в голосе Умит ощущалась бодрость, а ведь недавно ходила как в воду опущенная.

Опечаленная Хансулу еще не очнулась от грез, из которых вырвал ее голос дочери. Стало досадно, оттого что разлучилась с видением, которое приняла за реальность, грустно, что волшебное ощущение покинуло ее, что оно было не более чем сном. Какое-то время не могла прийти в себя.

– Апа, ты выспалась?

Хансулу кивнула головой. Взгляд ее снова коснулся фотографии Бопенай. Глаза повлажнели, она не могла оторвать взгляда от лица девушки. Умит поняла, о чем думала мать.

– Апа! Дочь только что позвонила, – в ее голосе дрожала радостная нотка. Хансулу посмотрела на Умит.

Смуглая Умит в ответ улыбнулась, сверкнув зубами.

– Апа! Суйнши! Наша дочь сдала первый экзамен. На отлично! Ей помог Едыге-ага.

– Жеребеночек мой! – расплылась в улыбке Хансулу, что-то произнеся непослушными губами.

– Апа, Бопенай не из робких! Она нашла в Алма-Ате дом Едыге-ага! – сообщила Умит бодрым голосом.

Хансулу вновь шевельнула губами, глядя на фотографию, сердце облилось горячей волной, оно таяло от любви.

На улице прогудел мотор, нарушив тишину. Умит насторожилась, прислушиваясь к звукам извне. На крыльце раздался топот, затем внешняя дверь скрипнула.

– Кто-то приехал, – сказала Умит. Хансулу повернула голову. Дверь отворилась, вошел рослый, светлолицый

мужчина. Это был Едыге. Хансулу называла его, племянника-писателя, словом “палуан”[1]. Умит радостно сказала:

– Ага, салем! Астапыралла, не успели назвать ваше имя, как вы появились!

– Ассаламалейкум! – с этими словами он подошел к тору (почетное место), где на постели лежала Хансулу. С его плеча свисала дорожная сумка. От него веял тонкий аромат одеколона.

Хансулу повернула к гостю голову, показывая, что рада видеть городского родича.

– Женеше, что с вами, неужто слегли? – спросил он нарочито шутливым голосом и сел рядом. Слезы навернулись на глаза Хансулу. Шевельнулись ее губы. Однако произносимое было неразборчиво. Умит, зная, что мать не в состоянии поддержать разговор, вмешалась.

– Она все слышит, однако ей трудно говорить, – сказала она. Карие глаза Едыге дрогнули, он задумался.

– Да хранит ее Аллах, – озабоченно сказал он. – Женеше, вы еще встанете на ноги!

Хансулу посмотрела на него и с сомнением качнула головой. Поднесла уголок платка к глазам.

Едыге, поняв ее состояние, заметно погрустнел.

– Женеше, я хочу увезти вас в город, чтобы показать докторам! – сказал он громко и уверенно, чтобы поддержать аульных родичей. Умит, помолчав, сказала ему тихо:

– Она отказывается.

Едыге с удивлением посмотрел на Хансулу. В голове промелькнуло: “Истинную красоту и время не берет”. Ей было уже семьдесят, тем не менее тонкое, с запавшими глазницами лицо было красиво, оно излучало особенный духовный свет. Печально смотрели черные словно смородинки, от природы глубокие глаза. Будто провидя предстоящие события, она отрицательно качала головой. Это был ответ на предложение Едыге ехать в город лечиться. Едыге вновь попытался приободрить ее:

– Женеше! Это подарки, которые привез вам племянник из зарубежной поездки! – заявил он, как бы решительно отметая атмосферу грусти, царившую в доме. Вытащил

---

[1] *Палуан* – борец.

из сумки сверток голубой шелковой ткани и положил рядом с Хансулу. Затем повернулся к Умит.

– А это тебе, Умит! – протянул раскрасневшейся Умит сверток сверкающего алого шелка.

– Рахмет, ага, – промолвила Умит, нежно поглаживая поверхность лоснящегося шелка. – За границей побывали?

– В Чехословакии, – ответил Едыге.

Внешняя дверь скрипнула.

– Это брат, – сказала Умит.

Благодушно настроенный Едыге, сидевший рядом с постелью, встрепенулся и настороженно посмотрел на дверь. Он уже знал о беде, постигшей семью друга. Тугелхан, когда Едыге собирался в аул, позвонил и сообщил о случившемся. Для Едыге, с детства дружившего с Тугелханом, новость прозвучала громом с ясного неба. Не только Едыге, но и многие другие, кто общался с Тугелханом, обостренно воспринимали его положение богатого человека, женатого на красавице.

И вот Тугелхан стоит перед ним. Волосы свалялись на голове, глаза болезненно запали. Кто поверит, что этот человек, похожий на бродягу, вчерашний Тугелхан, бастык?

– О, кого я вижу! – Тугелхан, шагнул через порог.

– Салем, Туке! – ответил Едыге, изучая облик Тугелхана, изменившегося далеко не в лучшую сторону. Тугелхан пожал ему руку и тяжело плюхнулся на корпешку. От него так и пахнуло водочным перегаром, застарелым потом. В его глазах тлела злость.

– Как дела? – спросил он, глядя исподлобья. Вместо солидного презентабельного мужчины, каким знал его Едыге, перед ним сидел мужичок темный, помятый, с неприятным запахом.

– Слава богу, – Едыге отвел взгляд, ощущая себя дискомфортно. В доме повеяло холодком. Нужно было разрядить обстановку.

– Кстати, – бодро сказал он. – Бопенай сдала первый экзамен. Завтра сдаст второй. Она под опекой ректора института.

И тотчас в воздухе прошла теплая волна. Умит подскочила и побежала вытаскивать из сундука сладости, чтобы украсить дастархан.

– Ага, пусть вам воздастся за доброту! – повторяла она радостным голосом.

Хансулу полулежала, опираясь о несколько подушек, подложенных под спину, она тепло посмотрела на Едыге.

Она знала, что племянник много лет собирал материалы для книги, посвященной голомору тридцатых годов. Он встречался со свидетелями тех событий, стариками и старухами, подолгу беседовал с ними, занося услышанное в блокнот. В те времена он нередко появлялся в этом ауле. Всегда навещал Хансулу, выясняя в разговоре подробности кочевой жизни казахов прошлого, интересуясь деталями. Работая над материалом, он несколько раз побывал на родине, в Западном Казахстане. Берега Эмбы семья Хансулу покинула во времена, когда умер Сталин. Затем они переехали в Семиречье. С тех пор прошло уже 29 лет. В народе говорят: "Если в горах светит мирное солнце, зачем тау-теке бежать со скал?" Они же бросили родные места потому, что им не давали покоя, без конца напоминали, что они – родственники врага народа.

– Радио есть? – спросил вдруг Едыге.

– Да! – ответила Умит.

– Сделай звук громче!

Все встрепенулись, навострив уши. Умит поднялась, прошла в переднюю комнату и настроила приемник. Послышался голос, дикторша переводила на казахский язык речь первого секретаря компартии Казахстана. Тема доклада – доведение количества овец в Казахстане до 50 миллионов.

Едыге сказал:

– Я слышал весть – генсек тяжело болен.

Сидевший понуро Тугелхан вопросительно взглянул на Едыге. Перед глазами возник образ дородного, грузного генсека с полуотвисшей нижней челюстью, кустистыми бровями, с грудью, увешанной звездами, орденами и медалями. Умит же объясняла матери:

– Говорят, Брежнев тяжело болен.

Хансулу кивнула головой. В это время отворилась дверь, показался внук Козбагара. Он сообщил, что дед приглашает мужчин на бешпармак. Едыге накануне зашел к старику поздороваться, и жена Козбагара тотчас заложила мясо в котел.

Тугелхан буркнул обиженно:

– Эй, а где подарок мне?

Едыге улыбнулся. Он вытащил длинную коробку, подал Тугелхану. Тот взял нарядную коробку и залился довольным смешком:

– Эй, с водки начинал бы.

Тугелхан вертел бутылку “Праги”, восхищаясь ею. Едыге и Тугелхан поднялись, чтобы пойти к Козбагару, в это время дверь открылась, и порог переступил худенький сгорбленный старичок. Его звали Жакия, он был муллой этого аула. Услышав про приезд Едыге, он пришел, чтобы пригласить его на свадьбу сына.

Умит, поддерживая Хансулу, вывела ее на улицу.

Поздний вечер, луны еще нет. Безветренная, тихая летняя ночь. От Хансулу за последние дни кожа да кости остались, если бы не дочь, поддерживающая ее, она рухнула бы. Вокруг густые сумерки, ночь не вошла ещё в силу, а на небе жарко искрятся звезды. Сияют бесчисленными огоньками они. “О, Творец!” – вздохнула Хансулу, глядя вверх. Хотя бы на йоту изменилось небо! Все такое же, как когда-то много лет назад Хансулу с друзьями допоздна играла в ак суйек[1]. Было то же самое небо, тот же Млечный путь, созвездие Ковша. Они все также мерцают, лучатся, бросая в глаза чистый свет. Хотя бы чуть другим стало небо за эти годы! Нет, на своих местах звезды, не сдвинулись они ни чуть. Безбрежный звездный поток блестит, навевая жуть и восхищение.

О, Творец! Хансулу будто впервые видит окна жилищ, желтыми прорубями плывущие в ночном мраке, силуэты дальних деревьев, громоздящиеся в мерцании ночи, ей как бы внове лай собак. Трудно объяснить это, но Хансулу как будто впервые воспринимает это. Она, млея, всей душой, отдавалась созерцанию дивного необъяснимого разумом вселенского простора.

На окраине аула на вершине холма чернели силуэты двоих. Едыге и Тугелхан беседовали под пологом ночи.

---

[1] *Ак суйек* – белая кость, национальная игра.

3

– Как тебя понять? – спросил Едыге. Звездная ночь способствовала откровению.

– Едыге, – с тоской сказал Тугелхан, вздохнув, – ты ничего не понимаешь.

– Прекрати! – одёрнул его Едыге. – Как ты оставишь детей, Бакыта и Динару?

– Детей я не оставлю. Однако с Аидой я завязал.

– Брось! – сказал Едыге.

Тугелхан поднял голову и обвел внимательным взглядом слои залегшей тьмы, маленький аул, светящийся окнами, глубокое звездное небо. Далеко в степи трепыхалась пара огоньков, борющихся с мраком. Это одинокий дом на отшибе, во дворе которого горит еще не затушенный очаг. И померещились ему довольные друг другом супруги возле огня в окружении беспечных детишек. Затем перед взором возникли 15-летняя Дина и 17-летний Бакыт, дочь и сын. И глаза наполнились слезами. С той самой поры как, хлопнув дверью, ушел из дому, Тугелхан ходил, кипя раздражением. А сейчас совершенно неожиданно для себя размяк.

Едыге сидел на сыпучем песке, скрестив ноги. Он недавно вернулся из долгой поездки по Европе, и сейчас чувствовал, как сильно соскучился по степи с ее терпкими запахами. Порывистый ветерок волнами нес из далей аромат трав, шелест волнующегося ковыля, перекличку перепелок. Эти звуки создавали незримый объем пространства Сарытаукума. Едыге с наслаждением вдыхал воздух, подставляя лицо ветру. Он не спешил успокаивать Тугелхана. Решил – пусть выговорится, облегчит душу. Еще одно воспоминание занимало его ум. Всего пару недель назад со сценаристом Леушом, чехом, они точно так же сидели на вершине холма на окраине испанского городка Калела, разбросанного у подножья Периней, и любовались видом моря, ночного неба с бесчисленными звездами. Сейчас он не может отличить то небо от этого. Земля другая, народ другой. Однако небо наверху одно и то же.

– Ты хочешь знать, что случилось? – сказал Тугелхан, судорожно вздохнув. Едыге уклончиво кивнул головой.

Тугелхан поморщился как от зубной боли: – Сам знаешь, много раз прощал Аиду, дескать, молодая еще, баловал. Много ты видел мужиков, что добровольно отпускают жен одних на курорт, на разные увеселения?

И, резко махнув рукой, Тугелхан приумолк…

Тугелхан женился, когда было ему за тридцать. Аида была юной девушкой, нежной, как молозиво. Белотелая, розовощекая, она была прекрасна. Особенно броскими были пышные завитые волосы, потоком сбегавшие по её плечам. А стройные ноги!.. О, там было на что посмотреть.

Она была избалованной внучкой замминистра Жапекена. Тугелхан после института трудился под началом Жапекена, часто бывал у него дома, общался с семьей, где не было сыновей, и дело кончилось тем, что женился на Аиде. Тугелхан женился на Аиде, и, как в народе говорят, его асык стал чаще попадать в лунку. Его спешно приняли в партию. Став коммунистом, он устроился завотделом в управлении транспорта города. Некоторое время спустя он уже работал завсектором в Ленинском райкоме партии. Затем его карьера двинулась семимильными шагами. Импортные вещи, дефицитные продукты, большинству людей и не снившиеся, можно было найти именно в доме Тугелхана. Жена Едыге могла позволить себе отдых на Иссыкуле, тугелхановская же Аида пропадала в зоне отдыха на берегу Черного моря. Потом Тугелхан устроился на базе по продаже автомобилей, а затем начальником авторемонтной станции, и жизнь удачливых супругов покатилась как по маслу. Аида теперь воротила нос от берегов Черного моря, ей теперь подавай курорты Восточной Европы, куда она уже торила дорожку.

– Сам знаешь, все эти причуды и баловство я ей прощал. И прощал бы до сих пор.

– Разве я не говорил тебе?..

– Ай, говорил – не говорил… – Тугелхан скрипнул зубами, глядя в темноту. Солончаковая степь томилась, млела в объятиях долгой ночи. Под пологом темноты набирала силу глубокая тишина. Лишь несметный хор кузнечиков глухо перекатывался над землей.

– Тьфу! – Тугелхан сплюнул на песок. И по-русски матом прошелся в адрес Аиды. – Разное терпел я от Аиды, но вот измены от этой суки не ждал.

– Да ну! – воскликнул Едыге.

Тугелхан жадно затянулся сигаретой, рассыпая искры, искоса взглянул на Едыге. Казалось, остался доволен тем, что произвел сильное впечатление на друга.

– Не может быть! – повторил Едыге как бы в удивлении.

Однако на самом деле Едыге подивился тому, что подтвердилось его давнее подозрение. В этом мире все так устроено, что тварь божья, пытаясь скрыть кое-что от чужих глаз, обманывает только самую себя. Видимо, не существует штор, за которыми можно было бы утаить греховные помыслы человека.

– Ладно, – криво усмехнулся Тугелхан. – Слушай, как все было.

Едыге как бы в сомнении покачал головой. Тугелхан вновь затянулся сигаретой.

– В начале месяца я срочно должен был ехать в командировку, в Москву. Собрал вещи, попрощался с семьей, вечером приехал в аэропорт, там выяснилось, что рейс задерживается на полтора часа. Хотел сообщить домой о задержке рейса, набрал номер из телефона-автомата. Линия была занята, и я, сам того не желая, подслушал разговор двоих. Одним из собеседников была – Аида, второй – мужчина.

– Когда мы вернемся? – спросила она.

– Должны не позднее девяти вечера, – ответил мужской баритон. И тогда меня осенило, – я понял, кем был *он*? Это был голос Тастана Арыновича! Да, да – начальника республиканского управления Тастана Арыновича! Именно по его приказу я отправлялся в командировку в Москву. Представляешь? Я чуть не раздавил телефонную трубку в руке… Наверно, впервые в жизни в глазах потемнело.

Аида не очень-то раздумывала.

– Хорошо, – сказала. – На каком берегу озера будем?

– На берегу, где зона нашего управления! – ответил Тастан Арынович.

– Ладно, – сказала она.

– Ну что ж, в четырнадцать ноль-ноль. Буду ждать на углу Ленина и Калинина!

– Договорились!

– Вот так благодаря нарушению в телефонной связи, я кое-что узнал, – повернулся Тугелхан к Едыге и

презрительно сплюнул. Едыге промолчал, глядя вниз. Он вспомнил, что как-то раз приметил в доме Едыге человека, которого звали Тастан Арынович. Это был стройный, рослый джигит с длинными тщательно зачесанными волосами, немногословный, державшийся заносчиво. В последние годы завелась порода начальников-снобов, с посторонними держащих себя так, будто они являются хранителями сверхважных секретов. Бросилось в глаза как вел себя Тугелхан, лебезя, он чуть ли не стелился перед начальником. Даже Аида, знающая себе цену, в тот вечер носилась как угорелая. Чувствовалось, что Тугелхан после смерти отца Аиды не прочь опереться на Тастана Арыновича.

– Ну и ну… – только-то и нашёлся сказать Едыге. Тугелхан нахмурился:

– Какое-то время я в шоке был, перед глазами черные пятна, в ушах звон, хватаю ртом воздух. Затем выбежал на улицу. И тут у меня возник план. Я перерегистрировал билет на воскресенье. Водитель мой все еще ждал на стоянке. Я сдал чемодан в камеру хранения, сел в машину и поехал в Дорожник домой к Дариге. (Едыге усмехнулся. Он знал, что Дарига – токал Тугелхана). На следующий день в два часа дня мы с шофером были уже на Капчагае. Нашли дом отдыха управления, добрались до нужного пляжа, спрятали машину в кустах, какое-то время купались, ожидая появления *тех*. Мой водитель Виктор Иванович, сам знаешь, мужик что надо. Он так переживал за меня, что готов был наброситься на Тастана Арыновича и сделать из него лепешку. Где-то к четырем часам появилась “Волга”. Новенькая, белая… Подъехала к пляжу. Тастан Арынович повернул машину к полянке меж кустами карагача.

Лицо у меня, наверное, было страшное – водителю стало неловко, когда он взглянул на меня. Прошло каких-то десять-пятнадцать минут, и из зеленого домика вышел в одних плавках долговязый Тастан Арынович. В руке держал пластиковый пакет, глаза закрыты черными очками. Следом за ним появилась Аида в купальнике. Я не верил собственным глазам.

Тугелхан оборвал речь и принялся костерить жену отборным русским матом.

С тихим писком бесшумно порхала невысоко над землей ночная птица. На дальней стороне аула всполошенно залаяла собака. К ней тотчас присоединились другие псы.

Тугелхан закурил новую сигарету. Он жадно курил, истово затягиваясь.

– Мы с водителем прятались на песчаном бугре в густых зарослях жузгена, разросшегося по всему холму. Те двое, обнявшись, с беспечным видом шли мимо нас к берегу. Все было бы ничего… Но они шли, тесно обнявшись, чтоб отца вашего!.. Пять часов пополудни, на берегу ни души. Люди, купавшиеся и загоравшие днем, к этому часу в большинстве уехали в город.

Двое, словно Адам и Ева, в обнимку вольно прогуливались по пустынному берегу. Тастан Арынович, добравшись до воды, с шумом нырнул в волны. Аида устремилась за ним, умело рассекая голубые волны. Даже обогнала Тастана Арыновича. Солнце было над горизонтом. Спустя минуту я вновь посмотрел на них. Они стояли по грудь в воде и целовались. Суки! Видать, истомились! Долговязый Тастан Арынович наклонился и загреб в объятия женщину. Та изогнулась и повисла на шее этого кобеля. Вдруг они рухнули в воду, исчезли, затем, взбивая буруны, появились вновь. Бесовской смех несся над берегом. Шофер сделал большие глаза, спрашивая взглядом, дескать, как нам быть? Я же был готов провалиться сквозь землю, кровь закипала в жилах. Курил, ломая сигарету за сигаретой. Вроде бы цель достигнута, то, из-за чего я отстал от своего самолета, из-за чего битый час мы ползали на брюхе под кустами. Мы увидели достаточно. Можно было вернуться к машине, плюхнуться на сиденье и газануть подальше, прочь отсюда в город. Однако я и не пошевельнулся, обняв землю, все так же лежал мертвяком. Водитель молчал. Улучив минуту, он пробормотал:

– Пойду к машине.

Я кивнул головой. Сигареты у меня кончились, и я попросил у него пару штук. Глотая горький дым, хоронился в зарослях жузгена. В голове была звенящая пустота. Что мне делать, как быть, – не видел выхода? Мозг не в состоянии найти разумное решение. Мчаться туда, – в кровь избить своего начальника, схватить за волосы жену

и измолотить ее до потери сознания? Или дурак дураком лежать на месте и шпионить за любовниками? В жизни не поднимал руки на женщину, как мне теперь отлупить ее? Для меня Аида была все равно что ханская дочь, которую и пальцем трогать нельзя. Я даже голос не смел повысить на нее, боясь нарушить мир в семье.

Она росла под опекой деда, была избалованной, никому спуску не давала. Стоило заикнуться, как она сразу затыкала мне рот: "Кто сделал тебя человеком?" Давно понял я, что посадил себе на шею строптивую женщину, но изменить положение был не в силах. Там на холме пришел к выводу – коль она изменила мне, самое верное в такой ситуации – развестись без шума и скандала! Как только мысль о разводе пришла в голову, перед глазами возникли лица детей, Дины и Бакыта. Земля качнулась под ногами, в глазах потемнело и мир показался душной темницей. "Жена виновата, она изменила, есть только один выход из этого – развод!" – говорил мне один голос. Другой: "Ты же не видел сам факт измены!" И вот, когда я так раздирался на части, двое вышли на берег, постояли обнявшись, затем упали на землю. "Ну, теперь ты узришь то, чего еще не видел!" – шепнул мне голос. Этот кобель устроился верхом на Аиде. Он принялся тискать и мять ее в объятиях. Вдруг они вскочили, как будто под них подтекла вода. Видимо, они почувствовали, что за ними следят. Поднявшись, стали оглядываться по сторонам. Потом Тастан Арынович, отряхнув подстилку, направился прямо к бугру, на котором я прятался. Аида последовала за ним. Любовники шатаясь, будто пьяные, целовались на ходу. Истомились же от любовной жажды, сволочи!

Лежа в густом кустарнике, я пригнул голову ниже. Однако понял: даже если бы стали вглядываться, они не заметили бы меня. Вскоре они нашли песчаный бугорок, возвышающийся над травой. Сплетясь в объятиях, они опустились за ним. Горечь обжигала горло, сердце бешено колотилось, я весь дрожал. Я не мог видеть их. Чтобы рассмотреть их, надо было подняться на бугорок. Тогда я смог бы застать нечестивцев... Однако я так не поступил. Тихонько пробрался между кустами, обогнул холм, побрел восвояси словно тень. Волоча ноги, ни живой и ни мертвый добрался до машины. Уехал в Алма-Ату. Остановился у

Дариги. Ходил на службу из ее дома. Однажды, когда Аида была на работе, зашел домой, собрал одежду, документы, оставил записку о разводе, в тот же день отдал заявление в суд. Аида не стала выяснять, почему развожусь, тоже подала заявление. В один прекрасный день, когда я сидел у себя в кабинете, вошли два бойких джигита. Представились, что сотрудники ОБХС. Проверяя финансы нашей конторы, перевернули все. Не осталось документа, в который они не заглянули бы. В любом деле без греха не бывает, кое-что они нашли. В итоге я оказался преступником, нажившимся на продаже дефицитных запчастей. Дело должно было пойти в суд. Одновременно мое дело рассмотрели в районной парткомиссии. Оно было решено в течение десяти минут. Пришлось сдать партбилет. На следующий день Тастан Арынович подписал приказ о моем увольнении. И те самые прохиндеи вновь навестили меня. Я понял их замаскированный намек. Сунул каждому в лапу по тысяче рублей. Они тотчас закрыли дело. До суда не дошло. "Вот… коротко говоря… как все было", – заключил Тугелхан. Поглаживая карман, нащупал спички, снова закурил.

Прокладывавшая путь по небосклону, огромная, словно тарелка, луна достигла середины неба. Белая, как серебро, плыла она, тихо разливая молочный свет. Голые вершины дальних песчаных бугров и увалов заблестели меловым отливом. Под оком луны солончаковые пустоши запестрели завораживающей игрой света и тьмы. И удивительно было видеть это Едыге, истосковавшемуся по степи. Едыге, более восприимчивый к природе, нежели Тугелхан, глядел и никак не мог насытиться чудной картиной ночной пустыни, как бы истомно потягивающейся в объятиях тьмы, простирающихся вдаль равнин и впадин, смутных возвышенностей, белеющих солончаков. Тугелхан решил, что Едыге хранит молчание под впечатлением его рассказа. На самом же деле, Едыге с первого слова Тугелхана понял, чем закончится это повествование.

– Вот так! – сказал Тугелхан. – Что мне оставалось делать после этого?

– Понятно! – ответил Едыге.

– Вот так, Едыге!

– После этого вы не встречались?

– Нет, встречаться не хотелось.

– Да-а-а, – протянул Едыге, вставая. – Пора отдыхать!

Тугелхан молча встал с места. Он ожидал, что друг-писатель скажет что-нибудь такое, что разом развеяло бы сумерки, скопившиеся над его душой. Его измученная душа истосковалась по дружеской помощи. Это была первая исповедь Тугелхана о тяжелой беде.

– Все понял, – сказал Едыге, шутливо турнув Тугелхана в живот. Это был знак дружеского расположения и сочувствия.

– Вот так, – вздохнул грустно Тугелхан.

Едыге спустился с холма и в лунном свете зашагал в сторону от аула. Тугелхан вспомнил чьи-то слова, что писатели бывают довольно-таки странными существами. Оставшись один на холме, постоял какое-то время, затем, сгорбившись, побрел домой.

Пустынная величественная ночь. Луна набрала полную силу, она стояла в самом центре неба, и в заводях лунного света шагал Едыге. Под ногами шуршала песчаная трава-солянка. Чем дальше отдалялся он от аула, тем ощутимей становилась пространственная тишина, она расступалась, неумолимо поглощая идущего. Погруженная в сон неоглядная пучина, казалось, чутко прислушивается к биению сердца путника. Перевалив через песчаный косогор, спустившись во впадину, залитую глубоким, молочно-белым светом, Едыге остановился, прислушиваясь к безмолвию. Далекие и ближние увалы, кусты на холмах, задрапированные тенью, как бы затаили дыхание, вглядываясь в человека.

Едыге всем сердцем внимал пустынной хладной тишине. Три месяца назад чех-писатель Леуш и Едыге, договорившись о сотрудничестве, начали работать над сценарием о казахско-чешских отношениях. С этой целью они побывали в Праге, Москве, объездили пол-Европы. Изрядно утомленный суетой и тяготами дороги, оказавшись на родине, Едыге всей душой внимал целительному волшебству лунной тишины. Да, нервы его были на пределе, наверное, поэтому душа жадно впитывала пустынное безмолвие. Чудо космоса,

окутавшего планету пеленой непостижимой пустоты! И чем глубже погружался Едыге душой в безмолвие, тем ощутимей казался сокровенный смысл бездонности. Пространство, не имеющее ни конца, ни края, беззвучным голосом говорило о вездесущности времени. Только обостренная интуиция могла проникнуть в смысл этого сказа о силе, осыпающей горы, несущей на своих крыльях планету, словно степное перекати-поле. Подобно пыли, прилипшей к травяному шару, вместе с перекати-поле увлечено и человечество. Одна из малых пылинок – Едыге. И эта малая соринка – Едыге сейчас осознает свое движение вместе с уплывающей из-под ног великой Землей.

Едыге опустился на колени на чистый песок. Затем лег ничком, прижав кулаки ко лбу. Закрыл глаза, прислушиваясь к неуловимому течению тишины, нежащей сердце. Земля источала запахи. Не пробежаться ли босиком по теплому песку? Быть может, тогда немного утихнет тоска по далекому детству, мерцающему в памяти миражом? Ноги подростка Едыге оставили следы в далеком Устюрте, на берегах Жема, в туркменских Каракумах. Мнится ему порой, что подросток Едыге все еще бегает там, выпасая коз и ягнят, заворачивая овец от солончаков. И хотя после университета уж столько лет жизнь Едыге проходит в шумном городе, все же никак не может забыть он свое детство. Щемит сердце от тоски по тем невозвратным годам.

Едыге снял обувь и голыми ступнями стал ходить по сыпучему и зыбкому песку.

4

Умит знала, как любит мать чистоту, поэтому жарко истопила баню, вымыла Хансулу. Переодела ее в белое платье из хлопка. Расчесала волосы, подстригла ногти. Затем она тщательно вымыла прохладной водой дощатый пол, постелила матрац, положила сверху корпешки, затем уложила легкую, как перышко, мать. Чтобы комната продувалась свежим воздухом, раскрыла створки обоих окон.

Как только голова коснулась подушки, Хансулу принялась наговаривать калиму-молитву.

Голове как будто полегчало, наверное, давление понизилось. Удивительно, но сейчас, окутанная ночной тишиной, Хансулу чувствовала себя выздоровевшей и даже как будто бодрой.

От того ли, что недавно в бане хорошенько пропотела, тело казалось невесомым, почти готовое вспорхнуть легкой пушинкой. На сердце было светло, там будто певчая птица оперилась, готовая взлететь. Словно ожидал ее сказочный сад, трепыхалась и била в нетерпении младыми крылами. И порывалась в дальний путь. Неведомо откуда в грудь лилась благость. Чувствовала она: недолго осталось томиться в бренном мире. Не ощущала она никакого страха от того, что считанные вздохи отмерены ей на этой земле. Напротив, в нетерпеливом предвкушении стучало сердце, будто близилась не кончина, а таинство великого приобщения. Предчувствие говорило Хансулу, что навсегда расстанется она с адским страданием, преследовавшим ее на земле.

Серебряная чаша луны струила в открытое окно тихий свет. Дышала, веяла прохладой щедрая ночь. Умит, лежавшая неподалеку, давно уснула, слышалось ее ровное сопение. Стоило только подумать о дочери, как вспомнился и зять. Припомнились окаянные дни, когда Токтасын, словно почуяв смерть, безоглядно устремился ей навстречу. Бедный парень, слепо ринулся в пропасть! Почему он так сделал, у него же была жена, Умит, птичкой увивавшаяся рядом, нежный ребенок, Бопенай, вылитый он сам? Муторная загадка – этот случай. После одни говорили: “В армии дембеля избили его, и с головой что-то пошло не так”. Другие: “Он ел сайгаков, подохших от голода”. Однако в народе ходили слухи, что сайгаки те пали не от голода, а от последствий взрыва бомбы на севере. И в самом деле, Токтасын частенько привозил на грузовике туши сайгаков. Выезжая в дальнюю дорогу, брал с собой ружье, домой не возвращался без дичи. Если бы он один питался той сайгачатиной, в ауле же не найдешь человека, который не пробовал бы то мясо. Хансулу ела мясо сайгака, Умит тоже. Наверное, все дело в другом: пришел срок умирать, конца никак не избежать. Несчастный парень, из армии вернулся неузнаваемым. Друг и сослуживец его Жалгас, сын Айшы, выросший

среди тароватых, сноровистых сестер, утонул в реке вскоре после демобилизации. Гибель Жалгаса тяжелее всех переживал Токтасын. Он начал выпивать. Приняв на душу, частенько срывал злость на Умит. Хансулу, полагаясь на неизменное: "Молодо-зелено, стерпится-слюбится", – долго не вмешивалась в их отношения. Умит тоже была уж очень терпелива, ходит, бывало, туча тучей, но о горе своем словом не обмолвится. Хотя, конечно, Хансулу без всяких слов обо всем догадывалась.

У Токтасына была плохая черта – будучи в стельку пьяным, он не собирался отлеживаться тихо. У парня ум заходил за разум, начинали чесаться кулаки. Уговоров он не слушал, силе не поддавался. Как только хмель проходил, он снова превращался в застенчивого парня, этакого скромнягу. Видя это, Хансулу сокрушалась, дескать, кто придумал дьявольское зелье? Как же не печалиться? В ауле не найти такого мужика, который при виде водки не готов был бы отдать за нее саму душу. Хлебали сатанинское зелье так, будто на дне осталось наследство отца. После работы обычно собираются в одном доме, скидываются, пьют, играют в карты. Между тем всегда завидовали корейцу Югаю, дескать, деньги лопатой гребет. Так кто ж виноват? Пахали бы с утра до ночи, как Югай, тоже были бы не в убытке. Однако на это они не способны. Мужики аула считали для себя зазорным вкалывать до седьмого пота, хотя жили от зарплаты до зарплаты, частенько занимая у того же Югая.

Покойник Токтасын был одним из таких. Перед его кончиной вот что произошло. Была поздняя весна, кое-где еще лежал островками оплывший снег. Незадолго до этого Токтасын получил нагоняй от главного инженера автоколонны, и у него забрали грузовик. Слонялся по аулу без дела. В те дни приходил домой пьяным каждый вечер. И вот как-то в обеденное время Хансулу чистила сарай. Вдруг видит маленькую Бопенай, со всех ног летевшую с криком: "Аже! Аже!" Хансулу испугалась. Не помня себя, кинулась к ребенку, бледному как смерть, подхватила на руки, прижала к груди, приговаривая: "Бисмилла!"[1]

---

[1]*Бисмилла* – кораническое выражение, в контексте означает "Спаси нас бог от нечистой силы".

У крохотной Бопенай сердце сильно трепыхалось. Ребенок не в состоянии что-то произнести, повторял синими губами: “Ап! Ап!” – и показывал ручонкой назад. И Хансулу поняла жест дитя. Вдруг Бопенай рванулась и высвободилась. Хансулу, спотыкаясь, побежала следом к дому Умит. Бопенай привела ее к двери дома. Ребенок схватился за дверную ручку, однако силенок не хватило, и, повернувшись к Хансулу, вскрикнул: “Ап! Ап!” Хансулу дернула ручку, но дверь была заперта изнутри.

– Умит! – позвала она охрипшим голосом, толкая дверь. Ни звука в ответ.

– Есть кто-нибудь дома?! Открывайте! – принялась стучать. – Умит! Токтасын!

Дверь и не шелохнулась. Изнутри донесся слабый стон, он резанул по нервам Хансулу. Не зная как ей быть, в помрачении побежала к окну. Ноги, отказывая, подкашивались… Вот и окно спальни, прильнула к стеклу. Токтасын разлохмаченный, вздыбленный, стоял в центре комнаты. Он оглянулся в сторону окна. Багровые глаза его были словно ледяшки. У ног его лежала Умит с завязанными руками, ногами, во рту торчал кляп. Хансулу вмиг рассвирепела. “Открой дверь!” – завопила она и начала колотить по окну. Еще немного, и выбила бы стекла, ворвалась в дом. В ту же минуту Токтасын кинулся прочь, пинком распахнул дверь и опрометью побежал в степь. Подхватив Бопенай, вновь обежав дом, Хансулу влетела через проем внутрь. Подскочила и вырвала полотенце, которым был заткнут рот неподвижной Умит. Дочь лежала без сознания, голова болталась, лицо синюшное. Хансулу, проклиная Токтасына на чем свет стоит, развязала руки и ноги дочери. Та не приходила в сознание. “Бисмилла!” – Хансулу кинулась за водой, побрызгала на лицо Умит. Дочь пришла в себя, со стоном открыла глаза. Хансулу, обняв дочь, призывая всех аруахов, принялась причитать. К ней присоединилась Бопенай, вдвоем они подняли великий плач. Вскоре собрались соседи, испуганные, недоумевающие. Событие это стало вестью, всполошившей аул, все окрестные села. А когда Хансулу вновь услышала известие, обошедшее весь район, – волосы на голове встали дыбом. По новой версии, Токтасын, связав руки и ноги Умит ремнем, взяв в руку нож,

приготовился зарезать ее. В это время Хансулу, взломав дверь, ворвалась в дом. В руках Токтасына нож, Хансулу с топором, они кинулись друг на друга. В жестокой схватке Хансулу взяла верх, она выгнала из дому Токтасына. Так слух превратился в поражающее воображение легенду.

Токтасын домой не вернулся. Никто не искал его. Родители Токтасына, чабаны, были далеко на отгоне. На следующий день аул ошеломила новая весть о беде. Моторбай привез тело Токтасына на прицепе трактора. Моторбай был дружком и собутыльником Токтасына. С истошным воем "Ой-бой, брат мой!" – прибыл он в аул

Оказывается, в тот день Токтасын, убежав из дому, прятался у Моторбая. С плачем поведал о случившемся, дескать, все у меня внутри пылает огнем. "Жарас меня зовет, приходит покойник и манит", – лил слезы он, вспоминая друга. Моторбай предложил: "Садись в трактор, поедем на кладбище, помянем Жараса!" "Нет, я должен идти один, иначе с Жарасом не перемолвимся", – ответил Токтасын. Он был вне себя от испуга, как безумный возбужденно оглядывался по сторонам. Моторбай весь день ждал его, ждал вечером, всю ночь до утра. Однако Токтасына и след простыл. Тогда Моторбай, предчувствуя недоброе, сел за руль, поехал к кладбищу. Заехав на увал, нашел могилу Жараса. Увидев издали синюю рубашку Токтасына, брошенную на надгробный камень, он похолодел от страха. "Токтасын!" – заметался в поисках по кладбищу. Друга нигде не было. Моторбай испугался еще сильнее. Вдруг в глаза бросилась мазанка, стоявшая на краю кладбища. Когда-то домик выстроили всем народом для могильщиков, мастеров по камню, чтобы было где укрыться от дождя и зноя. На дрожащих ногах (сердце готово вырваться из грудной клетки) Моторбай приблизился к мазанке. Однако никак не решался открыть дверь, руки тряслись, перед глазами было темно. Едва живой от страха потянул на себя дверь. Первое, что увидел – босые ноги висящего человека. Истошно завопив, Моторбай бросился прочь.

Через час, взяв себя в руки, вернулся. Повесившимся оказался Токтасын.

5

Лунный свет, разливавшийся в комнате, коснулся лица Хансулу. Она повернула голову, глядя на окно. Луна, светило! Хотя бы чуть изменилась, все такая же она. В белые лунные ночи детвора в Сарыбае любила затевать игру в аксуйек. Косточка – овечья лопатка – со свистом взмывала в воздух и исчезала в полумраке, и дети толпой кидались искать ее. Среди них носилась, как угорелая, босоногая Хансулу. Ах, жизнь, моя жизнь!.. Детство – счастливая пора! Она тогда этого не понимала? Если бы поняла чуток, не стала бы торопиться вырасти. В детстве так хотелось быстрее стать взрослой, чтобы как подобает девушкам на выданье, хаживать на вечеринки-тои, подбоченившись, кокетничать с джигитами. Однако не успела Хансулу стать девушкой, жизнь на песчаных косогорах круто изменилась, житьё-бытьё кочевников беда взбаламутила, будто прокисший кымран.

Лето 1932 года до сих пор перед глазами. Вот большак, петляющий по каракалпакским степям. Среди барханов там и сям возвышаются прохудившиеся серые юрты казахов. Этот день Хансулу никогда не забудет. Ради куска хлеба, бросив родное жилище, побрели они к городу Конырат, находившемуся на берегу Аму Дарьи. Поднявшись на холм, долго глядели на белую юрту, оставшуюся без присмотра среди опалено-красных бугров, не могли насмотреться, всхлипывали. На следующий день, не поспевая за спешащей толпой, обессиленные отец и мать остались посреди дороги на желтом кряже. Эту сцену она не может забыть. Отец беспомощно вытянулся на склоне бархана, рядом сидела мать, поддерживая ему голову. Дау-апа вела за руку Едыге, Хансулу несла на спине Тугелхана. Они шли, то и дело со слезами на глазах оглядываясь. Они не смели не уйти. Отец жестко приказал: “Вы идите! Мы вас догоним”. Однако судьба решила иначе, им не суждено было встретиться.

Хансулу с трудом подняла голову. Было далеко за полночь, однако сон не шел. Комната казалась тесной, темной расщелиной. Легким не хватало воздуха. Хотелось на улицу, чтобы покоиться под просторным небом, большой желтой луной и звездным покрывалом.

– Апа, – спросила Умит. – Что с тобой?

Хотя сознание было ясным, Хансулу не смогла произнести желание. Она только кивнула в сторону двери, показывая, что ей надо во двор.

– Сейчас, – встрепенулась Умит. Хансулу вновь мимикой объяснила, что постель нужно вынести во двор. А там на единственном настиле спали Едыге и Тугелхан.

Умит взяла матрац, корпешки, вынесла во двор, устроила постель себе и матери. И они легли.

После душной комнаты Хансулу с облегчением чувствовала, как наполняется грудь свежим воздухом. "Ух!" – вздохнула она, глотая воздух. Ночное звездное пространство зависло над ней, не умещаясь в окоёме. Разваливая пучину на две части, полыхал огненной полосой Млечный путь. Почему она неотрывно смотрит на небо, разве такое было в ее привычках прежде? Почему ночное мироздание кажется дивной загадкой, навевающей ощущение сокровенной тайны? Нет, наверное, мир все тот же, но что-то изменилось в ней самой? Вновь под сердцем запульсировал световой очажок, чутко и пугливо колыхнулось вокруг тела облачко, легкое, как пух. Астапыралла! Хансулу уже много лет, но она впервые чувствует пробуждение странных необъяснимых ощущений. Все ли в порядке у нее с головой? Нормальный человек покоился бы беспробудным сном в столь поздний час. Сомлел во сне весь аульный люд. Не слышно ни звука, ни шороха! Даже собаки притихли. Витающая, густая тишина. Чистая, молочной белизны тишина. Лишь одна Хансулу мается бессонно, бродя душой по прошлому и бредя невозвратным. Она словно путник, томящийся нервной лихорадкой перед дальней дорогой. Она сейчас лицом к лицу со всем вселенским небом наедине. Однако в эту лунную ночь томилась бессонницей не одна Хансулу. В эту светлую ночь маялась беспокойно еще одна человеческая душа.

Это Маусымжан, супруга Едыге, нынче перевалило ей за пятьдесят. Балкон четвертого этажа городского дома: худощавая, белолицая Маусымжан, глядя на луну, припоминала прошлое, годы, прожитые вместе с Едыге. Маусымжан задумывалась об этом и раньше, однако сегодня ее мысли были особенными.

Маусымжан всегда считала, что явилась в мир для счастливой судьбы. Для этого были свои причины. С малых лет она росла среди довольства и благополучия, ни в чем не нуждалась, благодаря отцу, который всю жизнь работал на ответственных, руководящих должностях. Маусымжан никогда и в голову не приходило, что могут наступить дни, когда придется потуже затянуть поясок? Она полагала, главное – удачно выйти замуж за джигита, что по нраву, а дальше жизнь покатится, как сыр по маслу. “Самое главное – любовь” – думала она. И всякое кино, любая книга, все, что она самостоятельно усвоила, только подтверждали эту мысль. Однако жизнь пошла не так, как ожидала Маусымжан.

Казалось бы, когда нашла свою половинку, удача не отвернулась от нее. Когда она привела домой Едыге, отец, секретарь райкома партии, не стал возражать ей. Многозначительно сказал: “Будь счастлива”. Тем не менее вскоре отец заметно охладел к Едыге. После свадьбы он вывел зятя за аул в уединенное место, и они откровенно поговорили. Он попросил Едыге, выпускника университета, журналиста, о двух вещах. Первая просьба была, чтобы Едыге укоротил свои буйные волосы, лежащие на плечах.

Едыге тактично промолчал, не желая отвечать на неуместную просьбу тестя. Второй вопрос касался будущей работы Едыге.

– Я хочу, чтобы ты поступил в высшую партийную школу! Надо оставить нынешнюю твою работу! – сказал тесть внушительно, властно.

– Почему? – спросил Едыге.

– Надо серьезно думать о завтрашнем дне, о реальной жизни, а не о словесности.

– Рахмет! – отрезал Едыге.

Тесть исподлобья неприязненно взглянул на Едыге:

– Как это понимать?

– Спасибо за предложение! – повторил Едыге.

После этого у зятя и тестя разговор уже не получался. Они некоторое время прогуливались молча по опушке рощи. Умудренный жизнью отец вновь поинтересовался планами Едыге на будущее. Едыге сказал, что ожидает выхода в свет первого сборника рассказов, затем кое-что пояснил о задуманных произведениях.

– Правильно, – подумав, сказал тесть. – Что ж, профессию можешь не менять. Однако в ряды партии вступить надо. Я твоему редактору кое-что шепну на ухо.

– Нет, – взвился Едыге. – Рахмет!

Седовласый тесть помрачнел, остановился, отступил на шаг и внимательно глянул в лицо зятю. С тех пор как занял кресло первого руководителя и стал называться Айтан Айжарыковичем, он впервые столкнулся с тем, что ему так безапелляционно и резко возражают.

Да и Едыге тоже изрядно смутился тому, что столь категорично отказал тестю. И кому? Самому *первому*, повелевавшему народом целого района. Несколько минут прошло в полном молчании. Затем тесть вновь спросил:

– Что ж, выходит, партбилет тебе не нужен? – голос его похолодел, лицо посуровело, брови сошлись в тяжелую линию.

Едыге тоскливо молчал? Тесть, словно догадавшись о чем-то, значительно протянул:

– М-да-а…

На этом разговоры о будущем Едыге прекратились. Тесть впоследствии никогда не возвращался к теме карьеры Едыге.

В ту ночь он сказал супруге: "Этот парень – безнадежный человек!" Опечаленная мать, сокрушенно вздыхая, поведала дочери об этом разговоре. Маусымжан недолго думала об том случае. Едыге сам живописно, без утайки все изложил жене. У него от природы был отменный дар рассказчика, а в тот вечер он был в ударе. Ранее своим искусством красноречия он вскружил голову Маусымжан. Дружа с Едыге, она дивилась одному: как в столь молодые годы он исхитрился изведать столько невзгод?

Едыге не успел прийти в жизнь, как попал в переплет. Жестокая судьба унесла на тот свет родителей, Булыша и Балкию. Власти ополчились против родителей Едыге, дескать это банда басмачей. Солдаты по пятам преследовали Булыша и Балкию, загнав их в безжизненные пески, словно диких сайгаков. Сколько ни старались "красные петлицы", беглецы так и не дались им в руки. Булыш был прославленным на весь Западный Казахстан охотником. Не из простых людей была и мать Булыша, Дау апа, огромная ростом с мужским характером женщина.

Даже Едыге не знал подлинное имя бабушки. Когда Едыге было три годика, отец погиб, попав в руки басмачей, а мать, не вынеся горя, тронулась умом. Их аул, кочуя по пескам Каракалпакии, стал жертвой мора. Многие погибли в песках, кто остался жив, вернулись на родину на берега Эмбы. Среди вернувшихся были Едыге и Дау-апа. Однако судьба не пощадила их и на этом перепутье. В 1937 году НКВД упрятал бабушку в тюрьму. Не перенеся такого унижения, гордая Дау апа объявила голодовку и через неделю умерла в камере. Так в возрасте восьми лет начались мытарства Едыге, оставшегося круглым сиротой.

В девичьи годы Маусымжан не думала и не гадала, что встретит на своем пути такого мученика. Поэтому ей, наслушавшейся от Едыге историй, казалось, что проживает она с героем романа. В восприятии молоденькой Маусымжан сформировался романтический образ героя – Едыге.

Едыге был цельный человек с ясной задачей – стать исследователем жизни – писателем. У него была мечта – в большом полотне описать бедствие, обрушившееся на голову казахов в тридцатых годах, – голод. Однако на пути к этой цели стояло препятствие – советская цензура. До сорока лет Едыге пробавлялся небольшими рассказами и повестями, затем приступил к написанию большой книги. До этого он совершил странствие по дорогам, по которым некогда его родной аул бежал от конфискации с берегов Эмбы до Каракалпакии через плато Устюрт. В те годы он часто встречался со свидетелями бедствия. Возвращаясь из этих поездок, Едыге всегда привозил какой-нибудь новый материал. В итоге он пришел к выводу, что катастрофа произошла в результате системной политики руководства компартии по отношению к Казахстану, а не в результате случайных ошибок или перегибов на местах, как писали в учебниках. Когда Маусымжан услышала такие обвинения, она не на шутку перепугалась. А если его речи дойдут до органов КГБ? Разве Едыге не выроет тем самым могилу себе? Маусымжан как жена антисоветчика разве не распрощается с партией и с институтом?

В этих страхах прошли еще 3-4 года. Едыге поставил юрту в одном из ущелий в предгорьях Алма-Аты и принялся писать задуманную книгу. Маусымжан

попробовала было заикнуться, дескать, когда же вылезем из бедности, но Едыге охладил ее ответом: “Немного подожди!”

– До каких пор будем ждать? – не выдержала она.

– Погоди немного! – повысив голос, ответил Едыге. В голосе ощущались уверенность в своих силах и надежда на осуществление планов. Говорят: “Без надежды один только шайтан”. Что оставалось делать Маусымжан, кроме того как терпеть? Но жизнь не могла ждать! Первый ощутимый удар судьбы они почувствовали в прошлом году. По их расчетам, книга, созданная за последние три года, должна была выйти в свет в прошлом году. На гонорар они планировали устроить свадьбу Багдагуль, сделать все сопутствующие расходы. День свадьбы был обговорен со сватами именно с расчетом на гонорар книги. Неожиданно для них выпуск книги был отложен на следующий год. Они оказались в положении, отчаяннее не придумаешь. К тому же не было в живых отца Маусымжан, у него можно было бы занять нужную сумму, сославшись на обстоятельства. Едыге долго сидел, подсчитывая: выходило, что предоплаты за сценарий, написанный вместе с чехом Леушем, хватит только на свадьбу. Едыге задумался не на шутку. “Найди деньги и на подарки сватам, и на свадьбу, и на приданное!” – категорически потребовала жена. Едыге, обойдя всех друзей и знакомых в Алматы, под разными предлогами собрал две тысячи рублей. Это было в прошлом году. С тех пор минул год. Пришло время возвращать долги. В эти дни неожиданно беременная Багдагуль вернулась домой. Едыге про это не знал, – он был в командировке за рубежом. Новость обрушилась на него, когда он вернулся домой. Бедняга, он очень, очень переживал. Но беда никогда не приходит одна. Выход книги под названием “32-й год”, выпавшей из темплана прошлого года, был снова отодвинут на неопределенный срок. Едыге же рассчитывал вернуть долги людям с гонорара. Кредиторы в поисках должника начали звонить домой, беспокоить семью. Стыд и позор! Кто думал, что они с Едыге, когда им будет за пятьдесят, станут бегать, скрываясь от кредиторов?

Когда Едыге услышал, что книга не выйдет в этом году, он схватился за голову, лицо посерело. В день возвращения

Едыге, не отдохнув после дороги, принялся ходить по инстанциям: в издательство, комитет по печати, ЦК - и на этот марафон ушло три дня. На третий день вопрос должны были решить на самом высоком уровне – в ЦК. В тот день Маусымжан, отпросившись с работы, пораньше вернулась домой. Она увидела такую картину: Едыге пластом лежал на диване, мертвым взглядом уставившись на какую-то точку в стене. Маусымжан, не отрывая взгляда от мужа, какое-то время стояла на пороге. Едыге не повернулся к ней. Маусымжан ни слова не говоря, прошла в свою комнату. Эта неудача черной молнией пронзила их всех, всю семью. Дрожащие ноги заплетались, подойдя к кровати, она обессилено рухнула на постель. Долг! Две тысячи рублей! Что им делать?

Сгорбившись, она сидела на кровати, оглушенная отчаянием. Она рассчитывала выплатить с гонорара долги, затем прикупить кое-что для дома: импортную мебель, хрусталь, посуду, ковер – все ее планы обратились в пыль и прах. При мысли о мебели и посуде перед глазами всплывала квартира Аиды. О такой мебели и посуде, которые она видела у Аиды, лучше, конечно, не мечтать, на роду ей это не написано. Чтобы у Маусымжан было такое богатство, Едыге должен стать другим человеком. Боже ты мой, как Едыге задирал нос при словах богатство, престиж, дескать, не это главное в жизни. Лучше бы оглянулся на свой голый зад! О, Творец! Бывают же такие люди! Ему и четырех чистых стен достаточно, больше ничего не нужно. "Зачем все это? – неизменно говорил он. – Все эти дорогие тряпки, стремление к ним – вещизм, мещанство!"

В молодости Маусымжан хлесткие максимы Едыге: "вещизм", "мещанство", "карьеризм", "скопидомство", – к чертям собачьим посылающие накопительство, воспринимала как радикальную философию. Для ее слуха эти слова звучали странно и привлекательно. Его суждения отрицали "карьеризм", "скопидомство", противопоставляя им высокие идеалы, они выглядели жизненным принципом и кредом грядущего поколения. В те годы Маусымжан сознанием была далеко от презренных мещан и накопителей, она была довольна тем, что произвела на свет божий живое существо, наслаждалась жизнью и

молодостью. Она свято верила в Едыге, в его талант, не сомневаясь в том, что круглый сирота, неимущий Едыге пробьет себе путь в жизни. Под влиянием Едыге она так же свысока взирала на обывателей и мещан. С возрастом взгляды Маусымжан стали меняться. Когда-то она считала весьма романтичным жить вместе с человеком искусства и служить ему, но время от этих взглядов оставило только пепел. Она поняла, что кроме кропотливой писанины – ежедневной работы за столом, Едыге больше ничего не умеет, и ждать от бедняги больше нечего. Взглянув окрест, нетрудно убедиться, что нормальные мужики проводят время в хлопотах о родных, и им удается оснастить семейный корабль. Один из его друзей – начальник, другой – крутой, третий – богач. Некоторые так заважничали, что от спеси едва снисходят до беседы с тобой. Тем не менее, судьба как будто каждого поставила на свое место по заслугам и способностям. И она ясно показала, кто такой Едыге, не признающий ничего, кроме искусства. Она доказала, что он – ничтожество, слепой упрямец, глухой к аргументам тысяч, к голосу самой жизни. Действительно, Едыге упрямый, своенравный человек. Об этом говорит такой случай, потрясший их, это произошло, когда они отдавали своего первенца, любимую дочь Багдагуль в школу. Как говорится: “Не было печали, так черти накачали”, – надумал Едыге отдать Багдагуль в казахскую школу, уперся на своем, и все. Маусымжан решила, что муж шутит, однако выяснилось, что он всерьез. Тогда она не выдержала: “Ты в своем уме? Посмотри, кто из казахов в Алма-Ате отдал своего ребенка в казахскую школу? Если знаешь, назови!” Светлолицый, кареглазый Едыге наморщил покатый лоб, не зная, что сказать на это, он то багровел, то бледнел от ярости. “Если нет таких, мы будем первыми”, – заявил он, не желая уступать. И тогда Маусымжан выпалила, глядя ему в глаза: “Даже если весь мир будет говорить одно, ты, упрямец, будешь стоять на своем!” И принялась приводить аргументы в пользу русской школы, говоря то на русском, то на казахском языке. Она не дала Едыге и рта раскрыть, бомбя его словами. Обычно раньше Маусымжан уступала Едыге, зная его вспыльчивый характер, однако, когда речь зашла о судьбе ребенка, она не собиралась сдаваться.

Она и в грош не посчитала доводы в пользу патриотизма, приведенные мужем, разбушевалась: “Говори что хочешь, не дам погубить дочь!”. “Человек сначала должен знать родной язык!” – повысил голос Едыге. “Кто против? Ты же сидишь дома, вот и учи ее родному языку!” – отрезала она. В конце концов Едыге сдался. Когда же пришло время отдавать в школу сына, Камбара, у Маусымжан не хватило духу противостоять Едыге. Он сам отвел сына в казахскую школу и посадил за парту.

– Если писатель-казах не может отдать своего сына в казахскую школу, считай, что народ подошел к последней черте, – сказал Едыге.

– Да брось ты! – поморщилась Маусымжан. – Один ты, оказывается, подпираешь плечами небосвод, другие – олухи и недотепы. Есть люди и умнее, и зорче тебя! Кто из них обучает своих детей в казахской школе? Что это ты из мухи делаешь слона? Сейчас и в городе, и в деревнях люди обучают детей в русских школах. От этого они ничего не потеряли. И язык казахский остался на своем месте, и народ не пропал!

Раньше Маусымжан всей душой была против “вещизма”, “скопидомства”, отдавая предпочтение интеллекту, искусству, со временем у нее словно открылись глаза, и она поняла, что Едыге – самый настоящий реакционер. Как иначе объяснить то, что он стал выступать против коммунистической партии, проливавшей кровь за народ и Ленина? Будто ничего больше ему не оставалось делать, как бороться с партией! “Коммунистическая партия устроила настоящий геноцид казахского народа в 30-х годах”, – утверждал он. Наверное, со стороны партии были какие-то перегибы. Однако как принять следующее его заявление: “Советская власть проводила политику уничтожения целого народа!” В этот бред Маусымжан ни за что не поверит! Нет и еще раз нет! Кто сделал нынешними казахами толпы невежд и неучей, бродивших за овцами по степи? Кто за каких-то 10-20 лет дал народу образование, науку и культуру? Если хочешь знать, – коммунистическая партия, Советская власть, товарищ Едыге! Почему ты не хочешь признать, Едыге, огромные заслуги коммунистической партии и

Советской власти перед народом? Кто не хочет видеть, тот и верблюда в упор не заметит, – говорят люди. Если бы не Советская власть, как бы ты стал человеком, ты, круглый сирота, Едыге? Стал бы ты писателем, получил бы высшее образование? Нет, остался бы с пастушьим посохом в руке! Едыге, ты не прав! Ты не прав, когда бросаешь прах и пепел в лицо партии, народа, идя против эпохи. Не прав, собирая недостоверные материалы, создавая очерняющие Советскую власть книги. Был бы ты справедливым человеком, не стал бы этого делать. Разве мало вышло в свет твоих книг и фильмов? Знаешь ли ты, благодаря чему стало это возможным? Благодаря Советской власти! Ты упрямец со стервозным характером! Самодур, не умеющий жить! Если бы ты был умным человеком, разве отказался бы от предложения начальника, когда он подсказал: "Сними фильм про *первого* человека". Не стал бы по-глупому спорить! Твой отказ – не поступок ли дурака, в то время как люди готовы в лепешку разбиться перед *первым*? Ты сам спугнул счастье, которое стучалось к тебе. Нормальный человек с головой на плечах так не поступает? Следуя за своим скверным характером, ты сделал заложницей неудач ни в чем не повинную семью. Оставшаяся жизнь наша теперь пройдет в бедности, унизительном попрошайничестве.

Маусымжан не знала, сколько она так просидела с опущенной головой, утопая в горечи. Когда она взглянула на окно, на улице было уже темно. Поднялась, расправила ноющую поясницу. Вошла в зал, где на диване лежал Едыге. Он лежал все так же, устремив потухший взгляд вверх.

– Ну? – спросила она. Лежавший безжизненным чурбаном Едыге вздрогнул. Однако на жену не посмотрел. А что ему оставалось делать? Какими глазами на нее смотрел бы? Маусымжан, воспользовавшись отсутствием детей, решила дать хорошую взбучку мужу.

– Ну, что произошло? – спросила она, зная, какой будет ответ.

– Получилось то, что получилось, – ответил Едыге, не глядя на Маусымжан. Она с неприязнью рассматривала мужа, будто впервые видя его всклокоченные волосы, копной упавшие на плечи, крупный мясистый нос, широкий лоб, бледно-розовые щеки, сейчас казавшиеся

серыми. В ту минуту для нее на всем белом свете не было более несчастного человека, чем Едыге. Ну и замысел же был у Бога, соединившего ее с таким беспомощным человеком!

– Люди просят отдать долги!

– Знаю, – сказал Едыге.

Маусымжан стояла, вперив в него смолой кипящий взгляд.

– Ах, ты знаешь! Ни черта ты не знаешь!

Едыге промолчал. Лишь кровь бросилась ему в лицо, затем щеки вновь уныло побледнели. Маусымжан заметила, что широкий лоб мужа темно повлажнел, выдавая внутренний жар.

У Едыге было свойство, когда ему становилось тяжело, он полностью уходил в себя, отчужденно замыкаясь. Маусымжан решила оставить в покое мужа, без того травмированного неудачным разговором с высоким начальством. С трудом подавив приступ гнева, она тихо и размеренно сказала:

– Когда-то я сильно обиделась на отца за его слова: "Этот парень человеком не станет", – дескать, почему почтенный человек загадывает наперед. Теперь я понимаю, что отец как в воду глядел, когда произносил те самые слова...

В тоске она замолчала, горло пересохло от горечи.

Едыге хранил молчание. Через некоторое время встал и вышел на балкон. В ту же минуту зазвенел телефон. Кажется, это был Тугелхан. Он кратко сообщил какую-то новость. Едыге отреагировал на это испуганным вопросом:

– Что ты говоришь?!.

Связь прервалась, Едыге постоял, не зная, как ему поступить, потом положил трубку. Качая головой, он вышел на балкон.

Маусымжан не стала интересоваться вестью Тугелхана. Зачем ей проблемы других людей, когда своих забот хватает?

Уединившись на балконе, залитом лунным светом, Маусымжан перебирала в памяти детали того дня, вновь обдумывала разговор с мужем. После той тяжелой разборки дела у супругов разладились. На рассвете Маусымжан торопилась к себе в институт. Едыге тоже

куда-то уходил. Кто знает, где он пропадал? С прошлого года у него завязались отношения с девушкой по имени Назыкен. Та девушка несколько раз звонила, когда Едыге был в командировке. Возможно, Едыге встречается со своей новой любовью? Маусымжан не понаслышке знала, что люди искусства бывают падки на любовные увлечения. Поэтому она не удивилась, когда Едыге через год после свадьбы под разными предлогами стал допоздна задерживаться по вечерам. Одному богу ведомо, которая по счету у пятидесятилетнего Едыге эта Назыкен! Жизнь научила Маусымжан снисходительно смотреть на причуды мужа-писателя, считая его увлечения ребячеством. Она сочла излишним следить за каждым шагом Едыге, тем более – устраивать сцены ревности. Замужняя женщина от этого ничего не выиграет. "Надежно привязанный конь рано или поздно вернется к колышку". Достоинство мужчины не в том, как он развлекается, а в том, сколько он зарабатывает, какой у него авторитет. И сердилась порой на него не из-за того, что он пропадает где-то, а за то, что не зарабатывает как следует.

После жаркой перепалки с женой Едыге, не долго думая, сел в красный жигуленок и уехал в аул.

6

Облетев подлунный мир, томящийся под звездами, душа умирающей Хансулу вернулась к телу – своему временному приюту. Хотя разум был утомлен все теми же мыслями, восприятие сиюминутной реальности было все еще обостренно чутким. Ночной ветерок веял необъятным шелковым пологом. Она ощущала дыхание остывающих от ночной прохлады солончаков, как бы расправляющих пространственное тело под широким дуновением ночи. Перед глазами мерцали протяжные глуби лунного мира, сизо-черные слои неба. Она глядела на эту красоту и никак не могла насмотреться.

Вдруг Хансулу заметила согбенную фигуру старика, присевшего рядом. Это был сероглазый колченогий старик с осунувшимся, костлявым лицом, на голове темная тюбетейка, на плечах поношенный чапан. Ждахай! И сразу поняла, зачем явился Ждахай. Опять приехал просить

прощения. О, прохиндей! Продажный подлец, погубивший Шеге. Злодей и негодяй, загнавший Шеге в Сибирь, да не единожды. Подонок, превративший жизнь Хансулу в ад. Когда в 1943 году его призвали в действующую армию, Хансулу предрекла, что этого изверга даже вражеские пули обойдут стороной. Сказала – как в воду глядела. Из всех мужчин аула, призванных на фронт, живым и невредимым вернулся только Ждахай. На этого стукача и подлеца, по вине которого не один десяток голов скатился на землю, не хватило немецкой пули. Однако Ждахай вернулся с фронта заметно изменившимся. Стал носить тюбетейку, чапан, в руках всегда Коран, ни дать ни взять – заправский мулла. Возможно, кто-то из людей, арестованных по доносу Ждахая в 30-х годах, поверил в такое превращение лиса, но только не Хансулу. Быть может, поэтому при виде Хансулу Ждахаю становилось не по себе. Не зная как себя вести, он начинал суетиться. Этот святоша Ждахай походил на тень прежнего шумного Ждахая, всегда готового схватить тебя за шкирку. В середине пятидесятых, когда Хансулу готовилась к переезду в Жетысу, в ее дом неожиданно нагрянул Ждахай. Дверь открылась, показался Ждахай, ни слова не говоря, он юркнул через порог, и она разглядела его темное лицо с козлиной бородкой, чапан с подвернутыми рукавами. Хансулу, не ожидавшая, что Ждахай осмелится отворить дверь ее дома, холодно оцепенела. Она не верила собственным глазам. Да, не зря говорят: “Яблоко от яблони далеко не падает”. Ей почудилось, что перед ней стоит не Ждахай, а его отец – небезызвестный Жорга Курен. Непрошенный гость бочком прокрался к тору и плюхнулся на корпешку.

Глядя вниз с постным и сокрушенным видом, он некоторое время молчал, поглаживая куцую бородку.

– Хансулу! – сказал он, не поднимая глаз. – Грешен я перед тобой, несу груз величиной с гору. Не знаю, увидимся мы на этом свете еще или нет. Если сможешь, прости меня!

Хансулу не знала, что ей сказать. Гнев обжигал сердце, она с трудом сдерживалась.

– Ждахай! – медленно произнесла она. – Какая тебе польза, прощу тебя или нет, что сделано, того не

исправить… Свой ответ ты дашь Аллаху! Рано или поздно все мы окажемся там!

Она неподвижно сидела, сумрачно глядя мимо Ждахая на стену. Она и не собиралась накрывать стол, в соответствии с обычаем угощать гостя. Разговор на этом закончился.

Жена "врага народа" – Хансулу, покинув родичей, с детьми переехала в дальние края, в Семиречье. С тех пор прошло ни много, ни мало – тридцать лет. Воспоминания о тех годах все еще преследуют Хансулу. И вот к ней, одной ногой ступившей уже в могилу, вновь притащился темный призрак Ждахая. Смотрит вниз на землю и все поглаживает куцую бородку. Открывает рот и ничего не может сказать. Она понимает, зачем он пришел. Просить прощения. Боится, что за содеянное не сможет предстать пред ликом Аллаха. В этой жизни Хансулу многих прощала. Однако… Слышишь, Ждахай, она не сможет простить предательства друзей, Шеге и Хансулу, сызмальства росших вместе с тобой, твоих сверстников. Не сможет простить ни в этом, ни в том мире! Прочь, дьявол!

Призрак исчез. После этого Хансулу смогла вздохнуть полной грудью. И все же непосильная тяжесть продолжала давить тело. Чугунная тяжесть росла, увеличивалась. И раньше у нее болезненно ныли руки, ноги, однако сырая земля не тянула так ощутимо тело к себе, как сейчас. Не было сил и головой шевельнуть, виски наливались свинцом. Из всего мертвеющего существа живыми оставались только ноющее сердце и изнемогающее сознание. И еще мерцал свет ее глаз. Этими глазами не уставала впитывать сияние мира. Все внимание устремилось на восток, где небосвод постепенно светлел. Редеющие звезды еще посверкивали на небе, перемигивались издали. Побледневшая луна клонилась к горизонту. Внезапно она ощутила, что веки смыкаются. Она хотела осмыслить это странное состояние между сном и явью. Вдруг показался Шеге, он шел к ней. Худой, словно ивовый прут, был он одет в старенькое куфи, то самое, в котором ушел, когда его арестовали в третий раз. Шеге смотрел на нее с недовольством, как бы недоверчиво. Босоногий, он был подобен тени. С опущенной головой приближался, сквозя через полумрак. "Ойпырмай, он же живой!" – сердце

Хансулу затрепыхалось. Почему идет, не поднимая головы, ведь через столько лет вернулся домой? “Шеге!” – шевельнула губами Хансулу. Однако ни звука не сорвалось с ее губ. Астапыралла! Почему Шеге повернулся и уходит прочь? Почему не идет на ее зов? Сон или явь – то, увиденное? Хансулу была в смятении, она ничего не понимала.

Выйдя на окраину, призрак двинулся в сторону луны, постепенно тая.

На самом деле это был не призрак покойника, а Едыге, вышедший со двора. До рассвета бессонно ворочался на матраце, постеленном на настиле во дворе, однако так и не смог сомкнуть глаза, в конце концов встал, оделся и вышел на улицу.

Помнится, Тугелхан, лежавший рядом, спал крепким сном. Перед тем как лечь Едыге выпил таблетку снотворного, затем, сомневаясь, проглотил еще одну. По расчетам, минут через пятнадцать должен был объят мертвым сном. Однако вышло иначе, сон не шел на глаза. Все те же старые мысли гнусом роились в голове, воспаляли сознание. В голове гудело, в глазницах ломило, в нервной лихорадке лежал до утра, и с первыми проблесками зари, поднялся на ноги. Измучила его одна сцена, всю ночь маячившая перед глазами. Кабинет ЦК, за широким неоглядным столом, положив руки на край, прямо и неподвижно, будто кол проглотил, сидел щекастый секретарь. Едыге не раз приходилось видеть на пленумах и заседаниях, как монументально восседает секретарь. Он считал, что идеологический руководитель республики должен держать себя перед массами именно так. Он же – правая рука партии, ее бдительное око, поэтому не может позволить себе вольности. Наверное, секретарь таким образом демонстрирует бдительность партийных органов. Оказывается, *большой человек* и в своем кабинете сидит точно так же. Секретарь смотрел не на Едыге, а куда-то в притолоку. Через некоторое время произнес:

– Есть госзаказ на фильм о Балхашском комбинате. Ваш директор был оповещен.

Едыге вспомнил, что директор поручил ему написать сценарий про Балхашский комбинат, в сюжете главным героем должен был выступать сам *первый*.

– Да, знаю, – сказал Едыге. Его одолевали сомнения из-за того, что секретарь начал разговор с совершенно другой темы. Секретарь повернулся к нему всем своим внушительным телом.

– Ну, тогда вы должны знать, что эта тема не терпит отлагательств. Нужно ускорить работу над сценарием.

Секретарь вперил в Едыге маленькие жесткие глаза. Этот взгляд давил с ощутимостью свинцовых дробинок.

– Нужно ускорить работу! – повторил он баритоном. Едыге закашлялся, пытаясь прочистить горло.

– Да, понимаю. Вы все о той же книге, – сказал секретарь.

Едыге невольно кивнул головой.

Секретарь, сидя все так же прямо, снова уставился в притолоку. И это холодное молчание, сворачивая в ничтожную точку годы мучительного ожидания Едыге, уничтожало последние его надежды. Потяжелевший лоб покрылся испариной пота.

– Слышал о твоей рукописи. Во-первых, она о лихих годах нашего народа. Не пришло время об этом говорить – это, во-вторых, – сказал он, едва роняя слова сквозь сжатые губы. И опять он уставился на притолоку, погружаясь в безмолвие. Разговор на этом закончился.

– Рахмет! – встрепенулся Едыге, вставая.

Секретарь на прощание сунул ему широкую вялую ладонь.

Вот так за минуту решилась судьба большой книги, которую Едыге днями и ночами писал пять лет.

Он предчувствовал, что судьба этой книги сложится примерно так. Однако питал надежду, что его труд все-таки проскочит цензуру. Чтобы обмануть бдительных, как лесные сороки, цензоров, прибегнул к разным приемам и хитросплетениям, известным писателям. В одной главе, чтобы усыпить око цензоров, устами героев пышно восхвалил Ленина. Он надеялся: поймавшись на эту уловку с Лениным, редакторы проморгают остальное. Это была шаткая зацепочка – расчет на то, что *они* пойдут баш на баш, по другим раскладам трудно было надеяться, что в данное время скандальная книга о голоде тридцатых годов будет опубликована. Едыге же не ребенок, чтобы не знать о реальном положении вещей. Однако, как и

боялся Едыге, редактор, изучивший книгу, оказался далеко не простачком.

Под пологом мягкой бархатной темноты сторожко шел по кромке ночи Едыге. Над ранним рассветом протянулась длинная, свинцово темная туча, похожая на меч. В этот час люди, лелеемые чистым воздухом и глубокой тишиной, спят обычно беспробудным сном. Едыге же не мог обрести покой. На поле литературной борьбы, которую выбрал и к которой всю жизнь осознанно готовился, судьба поставила ему подножку и безжалостно опрокинула навзничь. Теперь не определить, где произошла ошибка в расчетах. Чей это промах – Едыге, взявшего негодное оружие, или партии, выбившей из его рук меч? Товарищи по литературе, заглядывавшие в рукопись книги "32-й год", предупреждали о политических просчетах, переполнявших сей опус. Они говорили без обиняков: "Зачем надрываешься, есть же немало других тем!" Едыге не прислушался к их предостережениям. Потратив пять трудных лет, создал произведение, не дававшее ему покоя. И вот сегодня сбылось предупреждение сочувствовавших друзей. Они предостерегали: "Надорвешься"! Теперь это происходит. В глазах жены, перед всем народом он выступил в роли безрассудного диуаны[1], не осознающего свои действия, бегущего вслед за демонами воображения. Не простой он диуана, а юродивый, такой не опомнится, пока не расшибет себе башку. "Ну что, нашла коса на камень? Так тебе и нужно!" – немало таких, кто злорадствует, видя его провал. Одна из злорадствующих – его собственная жена. Она ест его поедом за то, что потратил целых пять лет на бесполезную, ничего не стоящую книгу, вместо того, чтобы зарабатывать деньги.

Как ей не переживать, если суженый, Богом данный супруг, не оправдал надежд? Сама жизнь доказала, что Едыге – слепец, упрямо стоящий на своем. Как всегда большинство взяло верх. Упрямец повержен. И это Едыге, он брошен под ноги толпе, безжалостно растоптан, и вряд ли можно надеяться, что в ближайшем обретет силы и вновь возьмется за писательский труд. Нет, он не возьмет в руки перо! Это ясно!..

---

[1] *Диуана* – отшельник, юродивый.

Вдруг приступ удушения сдавил горло. Он стал хватать воздух широко раскрытым ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Затем приступ повторился. На лбу каплями выступил холодный пот. Перед глазами чернел провал обрыва.

Перед рассветом Хансулу одолел внезапно глубокий сон. Во сне она увидела внучку Бопенай, будто бы та уже студентка. Кругом сумерки. И будто бы она в городе. Народ собрался на какой-то праздник, на площади гудело, ширилось торжество. В основном шумела и праздновала молодежь. Среди них была и Бопенай. Девушку увлекла чья-то рука, и она танцевала в хороводе, куда ее затянули. Сердце Хансулу затрепетало от радости: "О, Творец! Наконец-то увидела своими глазами, как прибилось к людям ее чадо, цветик ее, птенчик! Теперь она счастлива, и у нее больше никакой мечты нет!"

Сердце млело в благости. Слезы залили все лицо. Однако радость длилась ненадолго. Откуда ни возьмись в толпу веселящейся молодежи ворвался черный вихрь, опрокидывая торжество. Серые колонны то ли солдат, то ли милиции врезались в ряды студентов, погнали их, решительно деля на маленькие группы. Хватали молодых людей одного за другим, тащили, волокли, заламывая руки за спину. Ужас потряс душу Хансулу. Прямо перед ее глазами солдаты гоняли по площади разрозненные группы молодежи. В голове Хансулу металась мысль – Бопенай. "Ой-бай!" – запричитала она. И смятенная душа ринулась в круговерть. Вновь увидела Бопенай. Внучка стояла в центре беспорядочно бегущей толпы, растерянно оглядываясь по сторонам. На ней то самое белое платье, которое надевала на выпускной вечер в школе. Стояла она одиноко и смеялась, хохотала, как безумная. "О, несчастный мой ребенок, беги! Спасайся!" – кинулась к ней Хансулу.

– Беги! – завопила снова. Голоса же не было, вместо звука выходил сплошной мык. Тут на ее глазах милиционеры схватили Бопенай за руки и поволокли к машине, как бездушную куклу. Девушка отчаянно вырывалась. Хансулу услышала истошный крик внучки: "Аже!"

– Ай! Ай-яй! – вне себя рванулась Хансулу. Однако на самом деле не выговорила ни слова, только слабый хрип сорвался с губ. Вытянув обе руки, мотая ими, она приподнялась над постелью и со стуком упала ничком. Перед глазами вспыхнуло ослепительное пламя. Что случилось, что с ней происходит? Душа влетела в извилистый туннель и помчалась внутри пещеры, вскоре она превратилась в язычок стремительного огня. Далеко впереди возник круглый проблеск, похожий на серебристую монету. Капелькой живой ртути стремглав понеслась туда. Однако черный зев не хотел отпускать, он тянулся, преследовал ее. Внезапно душа выскользнула из полости и окунулась в слепящую синеву другого неба. Она растворялась в зыби, тонула в блаженстве.

Сверху увидела свое распластанное тело, обнимающее землю, плоть, охваченную огнем страдания, неимоверной муки прощания с земной жизнью.

Освобожденная душа-птица, заливаясь ликованием, поднималась все выше в сияющие просторы. Оставив внизу сумерки, душа воспаряла к карминово-золотым лучам океана света, дивно полыхающего впереди.

Неописуемая сладость, восхищение затопили ее. Такую легкость, такой восторг на Земле она не испытывала. С начала сотворения ни одна душа не изведывала такого упоения, такой радости, – сбросившая бренные оковы, она воспаряла с песней к *сущему*. Не задавалась вопросом она: “Что за чудо?” Знала душа, что так и должно быть. Человеческая душа, выявив Истину бытия, *светом* должна вернуться к вечности.

7

Когда солнечные лучи окрасили окрестности, еще не слившиеся с разливами света, на окраине аула показался Едыге. Он шел домой. Аул все еще крепко спал. Природа по-прежнему утопала в густой тишине. В безмолвии слышалось только сопение коров в сараях. Позавидовал всей душой Едыге нерушимой безмятежности аульного жития-бытия, несомого течением времени. Воистину счастлива душа, которая может покойно спать-дремать, далекая от тревог, злых мыслей. Если бы однажды не

устремился Едыге в город за образованием, быть может, сейчас пребывал бы в таком ауле в окружении домочадцев. Тракторист Едыге, конечно, был бы удачливее писателя Едыге. Вечером, усталый от дневного труда, соскучившись по очагу и постели, тракторист Едыге возвращался бы домой. А перед сном в окружении щебечущей семьи насладился бы чаем, благодушно вытирая пот со лба. Не было бы ему никакого дела до мировых проблем, не болела бы душа мировой скорбью. И как только голова касалась подушки, с благостным храпом отчаливал бы в мир сна.

Не успел Едыге подумать о счастье, как грусть проникла в душу. Перед глазами возник образ Назыкен. Его последняя любовь. Молодая девушка неполных двадцати пяти лет. Она все еще ждет от него ответа. Своими черными бездонными глазами смотрит прямо ему в душу. Как будто хочет сказать: "Твое счастье только со мной!"

Войдя во двор, испуганно замер. Взгляд его устремился к Хансулу, лежавшей ничком, тело ее наполовину свесилось с постели на текемет. Подбежал к Хансулу, взял за руку. Рука была холодная и безжизненная. Увидев лежавшего на тахте Тугелхана, подбежал к нему и начал трясти его, однако тот не желал просыпаться.

– Тугелхан! – тихо сказал ему на ухо Едыге. Тугелхан простонал и повернулся на другой бок.

Умит проснулась. Увидев лежавшую ничком мать, закричала:

– Апа! Апа! – она метнулась к матери. Едыге перехватил ее, придерживая, сказал:

– Умит! Возьми себя в руки. Будь спокойнее! Сначала положим ее на место! Помоги мне.

Едыге и плачущая Умит уложили покойную на постель, расправили руки вдоль тела, лицо закрыли белым платком. Затем убрали сырмаки[1] и текеметы с пола передней комнаты, обернули Хансулу белой тканью и занесли ее в подготовленное помещение.

Спустя некоторое время во дворе начали собираться аульчане. Их возглавлял Козбагар. Приковыляли, опираясь на палки, сгорбленные старухи и согбенные старики. Они заходили в дом, выражая соболезнование плачущей Умит,

---

[1]*Сырмак* – войлочный ковер с аппликациями.

потом рассаживались на скамейках во дворе. Парни выволокли из загона овечку, увели на задний двор, и там повалили животное на землю. Молодые женщины принесли кереге и уыки[1] и начали сооружать юрту во дворе. Мальчишки принялись рубить дрова под навесом возле казандыка[2]. Перед входом дома собрались ребята постарше, вполголоса о чем-то переговаривались. Сидя на табуретках, Едыге и Тугелхан наблюдали за всем этим со стороны. У Тугелхана лицо было опухшее, глаза заметно покраснели.

– У покойной душа была чистая, – сказал Едыге, напоминая другу, что смерть Хансулу была легкой. Тугелхан кивнул головой.

Толпа людей возле дома постепенно увеличивалась, соболезнующие подходили к Едыге и Тугелхану, подавали руки, произносили положенные слова.

Козбагар осторожно выяснил, где лежала Хансулу до часа кончины. Он сказал:

– Оказывается, покойная последнюю ночь провела под кровом своего дома. В таком случае похороны можно провести сегодня.

Старики решили похоронить Хансулу в полдень. Из близких родственников вдали от дома находилась только Бопенай, вспомнив это, поручили срочно сообщить ей в Алма-Аты.

Наблюдая за всем этим со стороны, Едыге вновь отдался волне мыслей. "Хансулу умерла тихо и спокойно, когда весь аул еще спал. Что за чистая душа была, – сказал внутренний голос. – Однако как понять то, что в последний миг она рванулась вон и упала ничком?" Накрывая ее платком, он задержал внимание на пожелтевшем лице. В смертном томлении Хансулу сомкнула глаза, сильно нахмурив брови. Что увидели эти глаза, что стало причиной ее гнева? Прощаясь с бренным миром, испуская последний вздох, отчего взволновалась святая душа? Впрочем, стоит ли удивляться и задавать вопросы, посмотри на Тугелхана, единственного сына, опору ее, ныне еле держащегося на ногах после запоя. Затем вспомни те годы, когда она называлась *жена врага*

[1]*Уыки* – опорные дуги юрты.

[2] *Казандык* – очаг с вмазанным котлом.

народа, когда хлебнула горя через край. Перед глазами Едыге пронеслась жизнь Хансулу, некогда прозванной людьми красавица-невестка, завернутой ныне в смертный саван. В тридцатых годах ее отец преследовался как бай, загнанный в песках он умер с женой от голода. Мужа Хансулу – Шеге власти сгноили в тюрьме. В годы войны на ее плечи легли заботы о старой свекрови и малых детях. Чтобы прокормить их, она взяла в руки пастуший посох, годами ходила за отарой, выпасая скот. Аульный лжеактивист Ждахай, упрятав в тюрьму Шеге, всячески домогался ее, не давая проходу. Подросток Едыге был в те годы вроде почтальона для Ждахая, таская его письма молодкам. Однажды за то, что плохо исполнял обязанности, до потери сознания был избит Ждахаем. В 14 лет, сев на верблюда, Едыге бежал в Каракалпакию. Хансулу при жизни прошла через ад, жестокое время нещадно топтало ее, – почему она должна была распрощаться с бренным миром благодарно? Если ее измученная душа и обрела покой, то только там, на том свете.

Собравшийся на похороны Хансулу народ выбрал пятерых молодых джигитов и отправил на кладбище рыть могилу. Тугелхан пошел вместе с ними, старики напомнили ему, что в обед должен вернуться в аул на выносную молитву-жаназу.

На лицах людей, собравшихся на жаназу, читалась почтительная робость и беспокойство, которую ощущает каждый человек рядом с мертвым телом. Старики и старухи сидели с мрачным видом, насупив брови. Особенно грустный вид был у Козбагара, который с детских лет был рядом с Хансулу.

Понятно, почему в таких случаях человек невольно погружается в размышления о смысле бренной жизни. Едыге вспомнил кое-что из прочитанного. По его представлению, душа Хансулу находится все еще где-то недалеко. Нет ничего удивительного в том, что душа покойницы понимает многое из того, что происходит рядом с ее телом. Как только ее спина коснется глины, два ангела с дубинками в руках, посланные Аллахом, Мункир и Нанкир, явятся допрашивать о прошедшей жизни. Они должны выяснить, куда пойдет душа

умершего человека, в рай или в ад? По представлению мусульман, если уста Хансулу запнутся с ответом, дубинка опустится на ее голову. Вес этой дубинки таков: на кого она падет, тот не сможет устоять – обратится в прах. Ангелы оживят душу, чтобы снова допросить. Суд на этом не кончится. Испытываемая душа должна пройти через мост, толщиной с волосок. Этот мост Мустаким окончательно выяснит, велика ли вина души перед Аллахом. Если вины нет, легко пройдя через мост, душа, радуясь велико, вступит в пределы рая Жаннат. Сияющие ангелы явятся, чтобы сопроводить тебя в благословенное место. Если при жизни ты не исполнил законы ислама, и ты грешник, – проходя через мост, с криком низвергнешься в огонь ада. Однако нельзя тешить себя надеждой, что, будучи поджаренным на огне, заслужишь прощение и найдешь вечное упокоение. Твоя душа с неистовым воплем вечно будет гореть в том пекле. Самое тяжелое это. Душа богобоязненного человека больше всего боится того, что придется до скончания Срока вопить, подобно закланному ягненку. Поэтому понимающий человек бьет поклоны Богу, ходит, опустив чело. Почему человек становится размышляющим только под давлением страха? Возможно, Творец в ранние времена творения заметил эту роковую черту человека. Наверное, кроме устрашения нет других средств привести двуногую тварь к чистоте и честности? Почему Творец, создавший семь небес, семь адских миров, поместивший между ними тварей земных, не определил для человека возможности жить честно, благородно и чисто без страха ужасного адского огня?

Ближе к обеду приехали Бопенай, Бакыт, Дина. Полная, смуглая Бопенай с окраины подняла плач-причитание: "Аже!" Сын и дочь Тугелхана ничем не выказали своего горя. Тугелхан, обняв, расцеловав детей, прослезился. Он немного был под хмельком. Едыге поразился, когда и как успел принять на душу Тугелхан? Понаблюдав, понял: тот выпил с ребятами, копавшими могилу на кладбище. Аульное кладбище находилось на вершине высокого пологого холма. Вокруг холма простиралась желтая, пропеченная солнцем, солончаковая степь, поросшая светло-серым ковылем. Прошло немного времени, и тело

Хансулу было предано земле. Народ дружно кидал глину. Очень скоро свежий могильный холмик вырос на краю кладбища. Перед глазами Едыге вновь прошла жизнь Хансулу. Этот небольшой желтый холмик похож на точку, поставленную в конце истории, растянувшейся на семь десятков лет. Это конечная точка, к которой рано или поздно приходит всякий человек.

Аульный мулла Жакия, накинув на покатые плечи чапан, сутуло присев на подстилку, витиеватым голосом пропел суру из Корана. Под звенящим полуденным зноем люди, сидя на коленях, корточках, выслушали молитву, уставившись вниз. Посвистывал, назойливо гудел степной ветерок. Он словно повествовал сказы бренного мира. Предостерегал о суровой Истине, о тяжелой доле смерти. А этой Истине все равно. Взрослый ты или молодой, вождь или рядовой, богатый или бедный, – она не разбирает, кого призвала к ответу. В какой-нибудь заварушке находит момент и валит тебя в яму. Пусть ты гений, все равно упадешь, раскинув крылья. И лежать тебе *там* очень долго. Никто еще не поднялся оттуда. Любому человеку не по себе при встрече с этой правдой. Услышав зов смерти, кидается он прочь, позабыв про пожитки. Никто и никогда по своей воле не хотел расставаться с прихотями бренного мира. Не слышали мы, чтобы кто-нибудь перед смертью произнес такие слова: “С лихвой пожил на свете, теперь пора в могилу”. Все люди жаждут жить вечно. Выставляя смерть в черном виде, человек вечно бегает от нее, петляя, словно лис. Неужели смерть так демонически страшна, как представляют люди? Воображая ее ужасным монстром, разве мы не ропщем тем самым против воли Аллаха? Творец не создавал в этом мире ничего лишнего. Он не ошибался!

Приход человека в мир – непреложный закон, но и уход из мира – такой же закон. Человеку не написана на роду вечная жизнь, понимая это, как можем мы не восхищаться мудростью творца? Если бы Всевышний, вняв слезам людей, дал им вечную жизнь, что получилось бы из этого? Представив такое, невозможно не ужаснуться увиденной картине! Вы сразу поняли бы, что вечная жизнь на Земле – ни что иное, как суровейшее наказание человеку. Не остается другого, как признать мудрость Бога, не склонного внимать мольбам людей, не желающих умирать.

Милость Всевышнего с самого начала была с человеком. Было дано людям сознание, в нем было отказано другим тварям. Пользуясь преимуществом, двуногое создание устроило бойню четвероногим тварям: сбивало с полета крылатых существ, в погоне настигало земных животных, вылавливало сетью водных обитателей, – ради своего выживания достигло победы во всех стихиях. Однако сознание стало не только силой человека, но и его бедой. Чем острее становился разум отпрыска Адама, тем тяжелее вершилась его судьба. Четвероногая тварь, не осознающая временности своего существования, удачливей создания, знающего, что дни его сочтены. Животное пребывает в неведении, не беспокоясь о завтрашнем дне. Оно берет от природы ровно столько, сколько ему нужно для сиюминутного пропитания. Но есть ли предел алчности человеческого существа, намеренного брать от жизни все про запас? Нет, утробу человека наполнить невозможно. Поэтому очень трудно сделать его счастливым. Дашь человеку сто лет жизни – он возрыдает, дескать, не дали мне тысячу лет. Дадут тысячу лет – он возропщет, мол, не дали вечность. Сделают его богатым – упрекнет, мол, не сделали божеством. Человек не знает меры, ненасытен и неудовлетворен. С другой стороны, эта неудовлетворенность толкает его вперед, к совершенству, к искусствам, к цивилизации. Ждет ли его на этом пути страна обетованная, где жаворонки вьют гнезда на спинах овнов, это неизвестно! Так раб божий бытует и мытарствует в страстях, нескончаемых заботах и треволнениях, пока не закончится срок, отведенный ему.

Старец Жакия закончил петь суру из Корана, народ единодушно и поспешно провел ладонями по лицу. Так же дружно повставали с мест. Высоко в небе ярилось солнце. В ушах свистел степной, неуемный ветер. Это был голос необратимого времени. Печальная неисповедимая мелодия Срока.

Едыге, расправляя затекшие ноги, посмотрел по сторонам. Его внимание привлекло кургузое строение, темневшее в метрах пятидесяти от кладбища. Это была та самая мазанка, внутри которой повесился зять Хансулу – Токтасын. Народ торопливо рассаживался по машинам. Едыге подошел к небольшому, как бы угрюмо

нахохлившемуся строению. Дверь мазанки была подперта саксаульной жердью. Едыге убрал жердь, открыл дверь и заглянул в помещение. На полу в комнате лежал камышитовый мат, сверху прикрытый ветхой алашой. У стены на деревянной тахте возвышалась горка старых, выцветших корпешек. Посмотрел вверх, и в глаза бросилось бревно, проходящее под кровлей во всю ее длину, с середины которого свешивался обрывок тонкой проволоки. Невольно померещился силуэт парня, обвисшего на этой проволоке. Бедняга, Токтасын! Едыге был на его свадьбе. До сих пор перед глазами этот худощавый чернявый парень. Почудилась тогда Едыге в темных глазах Токтасына невысказанная, затаенная печаль.

Едыге закрыл дверь, подошел к машине. Рядом с красным жигуленком его ждали Тугелхан, Умит и мулла Жакия. Сел за руль и повез их в аул. По дороге Едыге почувствовал, как заныло, давая знать о себе, сердце.

8

Для измученного человека весь мир скукоживается в крепко сжатый кулак. Едыге был близок к нервному истощению. В течение пяти лет, как начал работать над романом, не знал ни сна, ни покоя, ни малейшего отдыха. Художественное творение – это особая забота-печаль писателя, как плод, вынашиваемый матерью в чреве. Неизданная книга подобна мертворожденному дитя. “32-й год” – эта писательская судьба Едыге. Что ж, выходит, судьба отвернулась от него?

Горечь жгла нутро. Бог знает, каких сил стоило ему высидеть рядом с людьми за дастарханом. Почему он сидит, почему не ушел бродить, обхватив виски ладонями? Почему он не может покинуть общество, которое заткнуло ему рот?

После обеда народ стал расходиться. В толпе Едыге увидел и Маусымжан, приехавшую из Алматы. В доме остались только друзья и родственники покойной. Едыге, стараясь быть незамеченным, вышел во двор. Он хотел переговорить с Маусымжан с глазу на глаз. На улице было солнечно, свет резал глаза, зной усиливался. Поблизости не было ни одного деревца, чтобы можно было присесть в

тенечке. Земля словно изнывала и корчилась от жары. За аулом играли миражи, размывая дали. Далекий холм над миражами казался островом, плывущим в тумане. На ясном небе не было ни единого облачка.

Все-таки эта панорама была по душе Едыге. В то время как общество, да и само время отчуждали его как неприкаянного, степные безмерные просторы баюкали и тешили сердце своего отпрыска. Щедрая, золотая степь! Подставив лицо дольнему ветерку, ненавязчиво и нежно овевавшему щеки, он вздохнул всей грудью. И подивился безмятежности желтых долин, простирающихся под небом, неуловимой осмысленности бытия. Почему бы не превратиться ему в часть этого бесконечного мироздания? Почему он не улетит, как ветер, обуревая светло-серые солончаки, палые впадины, протяженные увалы? Почему не упокоится холмом, обтекаемым солоноватым степным воздухом?

– Ну? – к нему подошла, закрывая глаза газетой, Маусымжан, красивая, светлолицая. – Когда собираешься домой?

Едыге молчал, уставившись на дали, замутненные вереницами пыльных вихрей. Затем сказал:

– Останусь ещё на день. А что?

– Тебя ищут многие, – в голосе жены промелькнул оттенок осуждения. Едыге покосился на нее.

– Санат требует вернуть деньги. Накануне, когда просила у него машину и шофера, напомнил мне. Оказывается, у него сын женится.

– Хорошо, поеду завтра! – Едыге резко повернулся и пошел прочь. И запоздало понял, что поступил жестко. Однако не остановился. Огнем полыхнувший взгляд жены жег спину. Шел все дальше, не в силах остановиться. После ссоры отношения между супругами были натянутыми, теперь они становились еще более холодными.

– Я сейчас уеду! – крикнула вслед Маусымжан.

– Поезжай! – он повернулся и махнул правой рукой. И в эту минуту сердце защемило от сочувствия к жене, она была в белом платье, длинном до щиколоток, стройная и беззащитно одинокая. “Бедняжка, в чем же твоя вина, кроме того что стала моей женой? Вышла бы замуж за другого, кто знает, не нуждалась бы в деньгах?”

Обойдя по кругу двор, Едыге вышел на окраину аула. Душа, изнемогающая от дикой усталости, не знала, куда ей приткнуться. Покой! Только одно нужно измученной душе – покой. Не упасть ли ему в тенечек под кустом дузгена, что колышется на песчаном бугре на краю аула? Может, на время забудется в беспробудном сне? Нет, он не сможет так поступить. Как на это посмотрят аульчане, ведь он в их глазах солидный азамат, писатель? Дали бы ему волю, как в детстве забрел бы в тень под кустами, растянулся бы и отчалил беспечально в мир сна. Окраина аула выходила на песчаную впадину, тихую, безветренную. И здесь легким не хватило воздуха. Не задерживаясь, повернул обратно. Он не спал уже две ночи, ему было трудно даже переставлять ноги. Сознание истерзано, оно словно шкура, разодранная псами. Если найдется прохладная комната, он рухнет ничком и забудется.

В доме Умит передняя комната была свободна. После уличного пекла комната, затененная занавеской, с ее полумраком показалась благоуханным раем. Добравшись до постеленных корпешек, упал на них: "Ух!"

Сон, трое суток убегавший от него, теперь, когда он достиг предела, приблизился и, щемя-томя душу, начал просачиваться в него. В блаженство увлекал его сон. Растворялся он в абсолютном *ничто*. Не чаяла душа, торопилась исчезнуть бесследно в пучине. Словно свинцом налитые ресницы тихо сомкнулись. Клетки его тела, столько дней и ночей не знавшие покоя, стали расслабляться, теряя чувствительность.

Приснилось ему: босоногим, вихрастым мальцом бродит по пескам. Он вернулся в свое детство, канувшее в Лету далеко на Западе. Дивная сказочная жизнь уносила его рекой. Бежал он по красным, бархатно-мелким пескам, словно пропущенным через жернова. Несся Едыге, сердце колотилось о грудь – вихрем летел. Как он мечтал вернуться в детство, оказаться в днях безмятежности! Тоскуя, столько лет ждал этого. Эх, незабвенное детство! Счастье ребенка – видеть небо, радость – ступать ногами по земле, беспечная пора! Неужели, вернулся в те дни? Что за чудо! Почему отроку Едыге не суждено было вечно

бегать среди атласно светлых песков, пушисто белого ковыля, дузгена и жынгыла, увенчанных облачным соцветьем, обретаться среди барханов, почему?

А пока он бежит сломя голову. Удивительно, что выпадает на долю человека такое счастье. И все-таки в глубине души, давно отвыкший от детской радости, не верил он до конца в реальность происходящего. Зародилась боязнь, – не пропадет ли внезапно чудесное видение?

Кружили, плыли барханы, петляли завитки песка? Земля, где Едыге вступил в жизнь. Среди песков распахнулся для него многоцветный мир, клубящийся розово-зелеными тонами. Подошвы ощущали нежные поцелуи бархатного песка. От этого несказанно хорошо и сладостно было на сердце. Вот он стоит на гребне протяженно раскинувшегося бархана с сыпучим песком. Упал ничком и обнял барханный песок. Неужели он встретился с миром своего детства? И млело сладостно, таяло сердце в упоении обретенного счастья. Осыпались барьеры. Спазмы перехватили грудь, но слез не было. Простоволосый, босой, в длинной серой рубашке, он лежал, обняв землю, пока не почувствовал, как к нему подошли двое. Они остановились рядом, тихо присели на корточки. Он узнал их, хотя лица помнил смутно, это были отец и мать. Незабвенные родители, чьи кости затерялись в песках великой пустыни, Булыш и Балкия. Ему было тогда два или три годика от роду, и лица родителей остались в памяти как колеблемые миражные образы. Он всегда представлял их возвышенными людьми в световом ореоле с лучистыми глазами, как бы приподнятыми над землей. Два светозарных лика всегда являлись ему, они защищали его, ласкали, изливая нежную любовь. Когда они приближались, он ощущал несказанный аромат и едва уловимое тепло. И тогда отрок Едыге чувствовал за собой силу, надежно подпирающую его. Призраки-духи по истечению лет однажды взлетели певчими птицами и канули в синеве. Значительно повзрослев, он узнал, что родители стали жертвой жестокого лихолетья. Для ребенка в этом мире ничто и никогда не заменит отца и мать. Вот он вернулся в детство, лежит, обняв склон бархана, и они опять подошли к единственному сыну. Они прилетели из

немыслимого, невообразимого далека. Они прилетели, потому что почувствовали, какую рану нанесли здесь на земле их чаду. Все же почему они сидят в стороне? И на них белый саван? Сидят рядышком и смотрят в сторону? Они без слов мысленно что-то говорили ему. "Едыге!" – окликали его. И вздыхали тяжело, печально. И они – трое грустно, долго безмолвствовали. Отец и мать хотели разделить ношу, которая терзала и давила его душу. Они желали облегчить его участь. Едыге, всем сердцем откликаясь зову, млел душой.

Чья-то воля даже здесь в мире сна опасливо дергает ниточку, дескать, не слишком ли отвалила я этому человеку. Судьба подобна жадному Шигабаю, она щедро наградила его горестями и бедами, но чересчур поскупилась на счастье. Наверное, поэтому счастливые события нередко воспринимаются мимолетным сном. Чье недремлющее око бдительно следит за каждым твоим мгновением? Сейчас опять ощутилось действие этой силы. Радость, окутывавшая во сне, внезапно испарилась. Без всякой причины сладость от встречи с родителями улетучилась, растаяв облачком. Связь с ними пропала. Образы отца и матери исчезли. Едыге обнаружил себя стоящим посреди чужого аула, затерянного в пустыне. Он увидел толпу людей. Среди них была Назыкен. Она прижимала к груди младенца. Она искала Едыге. Он не захотел, чтобы его нашли, попятился назад, надеясь затеряться в толпе. Однако ему не удалось спрятаться от глаз ребенка. Малыш смотрел прямо на него, это был тугощекий пухляк. Назыкен, вытягивая шею, продолжала искать его, шаря взглядом, но младенец видел и не отрывал взгляда от него. Малыш глядел, не мигая. Едыге стало не по себе от этого взгляда. Он все пятился назад. Человек не в силах избежать встречи с тем, чего больше всего боялся при жизни. Не в состоянии удержаться, Едыге кинулся бежать, петляя зайцем. Он был так напуган, что не заметил, как запнулся и полетел вниз очертя голову. Кувырком понесся вниз в черную пучину.

Очнулся от собственного сдавленного крика. Поднял голову, огляделся, сердце бешено колотилось. В темной комнате сидел один, оглядываясь по сторонам. В голове стояли гул и звон. На улице была густая тьма, в передней

комнате светила лампа. Под впечатлением недавнего сна сокрушенно подумал: “Опырмай-а, не успел глаза сомкнуть после бессонницы, как сон в пух и прах разогнало!”

В передней комнате кто-то расхаживал. “Ух!” – с тоской вздохнул он. Это, конечно, Умит. Едыге вспомнил, что Хансулу больше нет. Палящая горечь разлилась под сердцем. Неужели человек, всю жизнь поддерживавший его, ушел в небытие? Где сейчас Хансулу? Или дух ее витает в небесах? Мы говорим: *тот мир* – но что это значит? Есть ли на самом деле *тот мир*? Или это пустая сказка? Если он есть, существует ли на земле человек, видевший тот мир собственными глазами? Если же нет такого человека, то как доказать, что тот мир существует? Мы беспечно расхаживаем по земле, веря, что *предвечный мир* существует, если окажется, что *его* нет, – как нам быть тогда? Если светлый земной мир, который дан человеку для существования, он и есть – бренный, единственный, а другого не дано, что нам делать тогда? В народе говорят: “Умер – равно как Мамай низвергнулся”, – если день твоей смерти есть день окончательного исчезновения, как нам быть с такой истиной? Кто может поручиться, что для провидения – бездушной творящей силы, человек и кишащий под ногами муравейник – не одно и то же? Однако человек не желает признавать очевидного. Даже умирая, исчезая с лица земли, он жаждет продлить пребывание, и не где-нибудь, а именно – в раю. Нет для него ни умиротворения, ни удовлетворения.

Умит заглянула в дверь.

– Ага, вас ждет Жакен.

Едыге ничего не понял: “Кто такой Жакен?” С трудом встал. В передней комнате сидел сухощавый Жахия, аульный мулла. На лбу тюбетейка, старик сидел с закрытыми глазами, сгорбившись, словно переломившись пополам. Одет в дешевый серый костюм. На кладбище, кажется, на нем был поношенный чапан. Увидев Едыге, начал было вставать.

– Сидите! – настоял Едыге.

– Едеке, жду вас! – поднялся старик, несмотря на то, что годами был старше Едыге. Из его слов выяснилось, что приглашает Едыге на свадьбу сына.

Помывшись, приведя себя в порядок, Едыге последовал за стариком. Дом Жакии находился на другой стороне улицы. Во дворе толпился народ. Столы для гостей были расставлены под открытым небом. Выждав, когда Едыге закончит здороваться с аульчанами, Жакия взял его под руку и провел в дом. Обогнав Едыге, сноровисто заковылял впереди, завел гостя в дальнюю комнату. Усадив его на стул, ловко накинул крючок на дверь, выудил из шифоньера бутылку и торжественно поставил на стол.

– Едеке, на глазах людей мне принимать на душу совестно, хочу по случаю торжества выпить с вами наедине. Это же свадьба моего сына-первенца. Сам Бог вас привел сюда. Держите! – старик ловко наполнил две рюмки, одну взял сам, другую вручил гостю. Едыге, когда Жакия отделил его от людей и завел в комнату, понял, что дело закончится выпивкой. Нисколько не удивляясь, он взял рюмку. С хитроватым видом Жакия начал поглаживать подбородок. Желтоватый язык так и мельтешил меж порченных зубов старика.

– Ради счастья детей… Ваш приезд… ради счастья, – повторял он. Внезапно он замолчал и повернул в сторону Едыге морщинистое ухо. Это означало, что он хочет услышать тост.

– Жаке! Поздравляю со свадьбой сына! Пусть ваши дети будут счастливы! – тост не надо было придумывать, слова давно заучены и их повторяют тысячи раз. Однако старик сильно обрадовался, засуетился, рванулся чокаться. Рюмки встретились с малиновым звоном, их содержимое было опрокинуто в горло, затем они были водружены на свое место на поверхность стола. Водка нещадно обожгла горло, Едыге зажмурил глаза, замотал головой, а когда он открыл глаза, увидел перед собой здоровенную порцию куырдака, вплывающую в рот. Чувство благодарности к Жакену за его находчивость растеклось в груди. Откуда появилась тарелка куырдака на столе?

– Рахмет! – от души сказал Едыге. Нежная ягнятина сама таяла во рту. Жакен вновь потянулся к бутылке. Едыге всполошился.

– Нет! – замахал он рукой. – Рахмет, Жаке! На улице жара!

Однако Жакен оказался ловкач на слова, он произнес речь, такую, которую говорят в последний раз. Пришлось поддержать хозяина и опрокинуть еще одну рюмку. Душистая, хорошо прожаренная ягнятина перебила горечь водки.

Вышли наружу. Народ, собравшийся на той, дружно запел ритуальную песню "Жар-жар". Как только молодые сели на свое место, Жакен провел Едыге к почетному столу и посадил рядом со смуглолицым человеком с блестящим черепом. Тот оказался зав. отделением, он расторопно вскочил, уступая место повыше, однако хозяин тоя Жакен заверещал:

– Маке, сидите на своем месте! Вы наш главный гость!

Свадьба началась со здравицы в честь партии, также в адрес того, кто является глазами и ушами партии в крае, то бишь – баскармы[1]. Смуглый, лобастый Маке сидел вразвалку, чувствовалось, что он привык к таким славословиям.

В это время Едыге сосредоточенно наблюдал за людьми. Пестрый разноликий народ. Здесь сидят почти все аульчане, и стар и млад. Среди сидящих выделил красивую девушку с челкой, взгляд задержался на ней, и он долго разглядывал ее.

Первая часть тоя прошумела-прокатила под тосты и крики: "Выпьем!". Ансамбль, приглашенный из райцентра, как только объявили перерыв, грянул громоподобную музыку. Словно этого и дожидалась, аульная молодежь выскочила на пятачок, освещенный электрическими лампочками, и пустилась в пляс, вертясь туда-сюда, подпрыгивая и топая. Разлохмаченный парень-певец, взяв микрофон, рванулся вперед, начал дергаться, вопя что-то неразборчивое. Лихо танцующая молодежь только прибавила тонус разгорающейся свадьбе. Веселящаяся молодежь показалась Едыге взметнувшейся пеной жизни, потоком несущейся в неизвестность. Не в силах найти пределов, летит она разогнавшейся волной, не знающей ни начала, ни конца. Этой буйной манифестации жизни все равно, кто встретится на пути, печальный одиночка Едыге, или сильные мира сего. Ей все равно, какой закон и

---

[1]*Баскарма* – начальник, руководитель.

на какое время хотят установить люди, несется потоком вперед, увлеченная своим торжеством, своей энергией, намеренная катиться вечно. Никто не сможет преградить ей путь.

Едыге попросил разрешения у хозяина и покинул свадьбу.

9

Едыге вышел на окраину аула, окинул взглядом опрокинутый звездный необъятный кров, и тотчас вспомнилось, как он в Праге впервые посмотрел на небо в окуляр телескопа. Оказывается, до этого ему ни разу не приходилось смотреть в телескоп. Не зря говорят: "То, что ты познал – это только одно, а то, что ты не знаешь, это оставшиеся девяносто девять". Узреть через телескоп горящее звездами бездонное небо, это похоже на то, как слепой человек внезапно прозрел, увидев залитый светом мир – так почувствовал себя Едыге, глядя в окуляр аппарата. У него захватило дух, – прямо перед его глазами возникла огромная серебристая сфера, напоминающая воздушный шар, это была луна. А ведь до той поры гигантский шар этот, усеянный темными пятнами, который называл луной, был для него величиной с лепешку. И еще что его поразило – это планета Венера. На небе Венера сияет маленькой звездочкой, в телескопе она предстала как лунный круг, и тогда в небе оказались две луны, одна огромная, другая обычная. Как правило, человеческое сознание видит то, что диктует восприятие. Если бы не Леуш, затащивший его в обсерваторию со словами: "Посмотри на ночное небо в телескоп", – наверное, представление Едыге о невообразимом космосе оставалось бы по-прежнему узким. Удивительным было для него слышать от Леуша, что кишащие звездами и планетами галактики с колоссальной скоростью удаляются в космической пустоте друг от друга. Ученые считают, что пятнадцать миллиардов лет назад все галактики были сжаты в невообразимо малую точку безграничной массы. Мир находился в спрессованном, вечно темном, непроявленном состоянии. В одно прекрасное мгновение этот великий покой нарушился. Сверхсжатая

сверхмассивная точка, подчиняясь какой-то немыслимой силе, быть может, воле Бога, вдруг взорвалась изнутри. Взорвалась безудержно, подобно сверхмощной ядерной бомбе. Во время взрыва выявилась безмерная, немыслимо разогретая температура, высеявшая первичные элементы. Вихрем разлетающаяся во все стороны масса, дробясь и крошась, рассыпалась во все края. Устремляясь по всем направлениям, эти осколки первичной материи превратились в бесчисленные элементарные частицы. Из их супа потом образовались вращающиеся галактики и звезды. Одной из этих несметных звезд является наше Солнце. С тех пор, как загорелось наше Солнце, прошло пять миллиардов лет. Ученые считают, что оно будет светить еще пять миллиардов лет. Потом Солнце должно погаснуть. Потухнуть навечно.

С тех пор как на земле появился сознательный вид человека, прошло 150000 лет. Если сравнить линию истории человечества с масштабом существования Земли, Солнца, космоса, со дня появления которых прошел невообразимый срок, то отрезок человеческого времени на этом фоне окажется крохотным делением.

Неожиданно мысли Едыге умчались прочь. Со стороны аула донесся гвалт голосов, крики. Встав на бугорок, приглядевшись, Едыге увидел, что на окраине аула, на освещенном пятачке, где танцевала молодежь, теперь бушует свалка.

– Держи его, мать-перемать!

– Пусти, сволочь! – ярились мужские голоса. К ним примешался женский визг:

– Ой-бай, убьют собаки!

Шум и крик. В центре толпы яростная стычка. Мелькают кулаки, бьют кого-то.

– Пусти, чтоб отца твоего! Убью! – кто-то рвался с неистовой злостью из рук удерживающих. Заверещал плачущий ребенок. Клубящая пыль, свалка тел, ожесточенная грохочущая драка.

– Бей! Убей! Дави! Пинай!

– Ой-бай! Ой-бай! – запричитал кто-то с истошным воплем, подобно курице, терзаемой лисой. Несколько парней сломя голову ринулись куда-то в темноту, за ним кинулась гурьба преследователей.

Едыге, постояв немного, зашагал в темноте в сторону песчаной низины. В голове копошились мысли о двуногих тварях божьих, одуревших от водки и гоняющихся друг за другом. Надо полагать, корни этих бедолаг тоже уходят вглубь первичного взрыва, случившегося пятнадцать миллиардов лет тому назад? Да, истина заключается именно в этом. Не было бы этого великого взрыва с начала времен, не было бы ни Луны, ни Солнца, ни Земли, не было бы и маленького аула и этих двуногих созданий, преследующих себе подобных.

Как избавиться от этих мыслей, роящихся, словно злые москиты? Покачал головой, посмотрел вверх. Вот небесный свод, обильно усыпанный звездами, Млечный путь, созвездие Семи разбойников, Красная звезда, Полярная звезда, созвездие Пегаса, Кентавр – одно звездное скопление затмевает другое. И опять подумалось, – уже пятнадцать миллиардов лет эти миры удаляются друг от друга.

Дорога вела вниз в песчаную лощину, уходящую вдаль. Эта грунтовая дорога, петляя среди лощин и увалов, вела к берегу Балхаша, где находились верблюжьи пастбища Сарытаукума, заросшие саксаулом. Ему захотелось идти все дальше по колее, пробитой колесами машин. По обе стороны колеи раскинулись заросшие колючками, безлюдные бескрайние пустоши. Картины, приятные сердцу Едыге. Позади аул Аккум. Еще дальше в двух часах езды Алма-Ата. Столица Казахстана. Когда-то, закончив в Каракалпакии среднюю школу, Едыге приехал в столицу. Его поразил город, запруженный машинами, кипящий людскими толпами. Для тогдашнего Едыге казалось большим подвигом – приехать в Алма-Ату, пытаться поступить в главный университет республики. Получив в отрочестве немало тумаков, Едыге больше не хотел быть мальчиком для битья. Поступив в университет, записался в секцию вольной борьбы. Увлекся спортом. Он мечтал стать крутым человеком, чтобы никто не осмелился обижать его. Нет более унизительной доли, чем быть беззащитным слюнтяем. Этот страх загнал его в спортивный зал на борцовские маты. С тем же упорством Едыге кинулся в омут книжного мира. Книги повели его в мир духа, приключений и подвига. Бесконечные недели

провел он в библиотеках Алма-Аты. Была заветная цель – выжить в этом мире сумасшедшей гонки, не отстать от других. Все же в нем жил комплекс пасынка своего аула, отставшего от каравана. Чтобы скрыть этот комплекс, отрастил длинные волосы, оделся по городской моде. Подражая некоторым франтам, нацепил импозантные черные очки. Ущемляя себя в еде, всю стипендию тратил на одежду и книги. По сути, эта гонка с вызовами жизни никогда не прекращалась. С той поры прошло почти треть века. Ему уже за пятьдесят. Главным результатом борьбы, затянувшейся на тридцать лет, должна была стать книга “32-й год”. Однако эпоха и общество опрокинули его упования. Более того, он получил новый сокрушительный удар.

Теперь ему ясно: если прежде получал оплеухи от людей, то сейчас на него сыплются удары времени. Устремился он вверх, высь не пустила его, устремился в глубь, пучина отбросила его. В итоге он остался совершенно один, и жизнь зашвырнула его на безлюдную дорогу в дикой пустыне.

Густая тишина окружала его. Народилась луна. Верхушки барханов побелели и стали видны в полумраке. Шел по дну распадка, исполосованного длинными тенями. Вдруг схватился за грудь, замедлил шаг, рукой нащупал ствол лежавшего саксаула, сел. Резко кольнуло в сердце. Последовала одна спазма, потом другая. Сколько времени осталось бедному сердцу? В последние годы оно не раз давало о себе знать. Случалось, грудь пронзала такая боль, словно шило воткнули. Пока же Бог миловал от инфаркта. В ушах отдавался беспорядочный стук сердца. Насколько его хватит? В прошлом году ушел из жизни давний товарищ Акылбек, – после сауны потный прыгнул в бассейн, и на том пришел ему конец.

Внезапно осознал, что глухой порой один сидит в безлюдной лощине возле пучка высокого ковыля.

Посмотрел на дорогу. На бархатной песчаной дорожке виднелись чьи-то следы. Да это же прошёл только что! Где только он не наследил? Следы Едыге остались лежать на плато Устюрт, в распадках и барханах Каракума, на равнинах Каракалпакии. Потом следы достигли Алма-Аты, закружили по Казахстану. Недавно они вырвались на

просторы Европы. Вот уже полвека эти следы кружат, вьют узоры по земле, наконец они приткнулись к этому одинокому кусту ковыля. Что будет дальше? Будут ли дальше петлять или оборвутся под этим седым пучком?

Когда его следы впервые проступили на земле? Покойная Дау-апа говаривала: “Балкия родила тебя в песках, где-то на склоне бархана”. Отец и мать одинокой семьей кочевали в пустыне. В один прекрасный день в мир пришел Едыге. Был он долгожданный первенец. “Пусть наш сын, как батыр Едыге, будет защитником народа”, – так нарекли сына счастливые родители. Они верили в его большое и славное будущее. Откуда беднягам было знать, какое будущее ждет их первенца?

Тот самый Едыге сидит в затерянном месте, у него усталый изнуренный вид, он испуганно схватился за грудь. Под самое сердце снова вонзилась раскаленная игла. От боли перехватило дыхание. Сознание потяжелело, померкло. Невольно вспомнились слова Леонида Андреева: “Проклинаю тебя, судьбу, написанную мне на роду! Проклинаю день, в который родился, день, в который уйду. И пусть будет проклята моя жизнь, все мои горести-радости тоже будут прокляты! Судьба! Все твои дары, собранные щедро для меня, возвращаю с пощечиной тебе, судьба!”

Сгорбившись, сидит Едыге, прижимая ладонь к груди, как бы удерживая ниточку, на которой зависла жизнь. В оглохших ушах звенело. Все вокруг превратилось в сплошную беззвучную толщу. Прошло немало времени с тех пор, как начался приступ. Время тоже как будто замерло. Душа бабочкой трепетала на кончике раскаленной иглы. Нет, пока Бог ее не заберет, она не нужна Творцу. Зачем ему забирать Едыге, чтобы освободить от земной юдоли? Нет, его еще нужно мучить, чтобы хлебнул горя как следует. Иначе, разве это будет судьбой? Если человек не выпьет полной чаши страдания, разве будет судьба человека судьбой?

Спустя минуту жжение под сердцем стало ослабевать. Едыге, словно рыба, выброшенная на берег, стал жадно хватать ртом воздух. Именно тогда он понял святую ценность воздуха. Что может быть ценнее воздуха? Спасибо, Всевышний, за то, что сотворил много воздуха! Тотчас ожил Повелительный голос.

– Да, Едыге! Ты только что бросил прах в лицо Всевышнего, давшего тебе бесценную жизнь! Как же ты, не познав и горсточки страдания, возроптал так сильно? На минуту не хватило дыхания, и ты так судорожно уцепился за жизнь! Словно лягушка, разинув рот, начал вопить, прося хотя бы глоточек воздуха? Развел философию, что нет ничего ценнее, чем глоток воздуха для легких? Этот самый воздух всю жизнь поглощал безмерно! Не лучше ли тебе за это всемерно благодарить Творца! Никто не ставит тебе в вину, что не читаешь намаз, не держишь пост. Однако должен быть благодарным за то, что вдыхаешь воздух, что под твоими ногами расстилается щедрая земля, кругом текут чистые воды, что тебя вскормили материнским молоком, дали жену, потомство! Если все подсчитать, выяснится, что тебе было дано немало! Однако ты не ценишь этого, не хочешь быть благодарным! Был бы удовлетворенным, не стал бы роптать средь белого дня, отвращенный от жизни, в то время когда твой народ жив и здоров. Хорошенько размыслив над тем, что такое довольство, ты был бы счастлив, ощущал бы себя среди молочных рек и медовых берегов? Или тебе подавай большее?..

Едыге молчал, не зная, что ответить. Ссутулившись, нехотя брел по грунтовой дороге к аулу. В душе осознавал свою вину перед судьбой. Среди кустов заливался хор кузнечиков. Смутно-молочный свет луны выбелил солончаки, словно набросив на них шелковую вуаль. Дорога под ногами виднелась ясно.

Повелительный голос вовсе насел на него.

– Оу, Едеке, разве не числился ты среди тех, кто пылал от любви и восторга к жизни?

– Не слишком ли – называть меня влюбленным в жизнь?

– Нет, не слишком! Не был влюбленным в жизнь, – но по какой такой причине, завидев красивую молодку, всякий раз обмирал всем существом, забывая обо всем на свете. Совсем недавно на свадьбе, заметив девчонку с челкой, ты таращился на нее, едва ли не пожирая глазами!

Едыге невольно улыбнулся. “Это правда”, – пришлось согласиться.

Повелительный голос не отступал.

– Разве ястребом не цеплялся к каждой манящей женской юбке? Ладно, не будем перечислять твои

любовные приключения, они известны. Вспомним только одну историю. Перескажем один любовный сказ, где главная героиня – Назыкен.

Едыге грустно улыбнулся.

– Давай, – сказал он, – вспомним и эту историю.

10

– Впервые ты увидел Назыкен, когда с киногруппой приехал в Мангыстау на съемки, не правда ли?

– Да, – согласился Едыге.

– Группа приехала раньше тебя, она устроилась в лагере из десяти юрт, поставленных на безлюдном, песчаном берегу Каспия. По твоему сценарию, события, изображаемые в фильме, проходят на западе Казахстана в 20-х годах. Якобы, в казахском ауле остановилась агитационная, красная юрта большевиков. В этом фильме главным героем выступал красный комиссар. Комиссар, принесший искры новой жизни в отсталую степь, должен быть железным человеком, не тонущим в воде, не горящим в огне. Противники – отъявленные бандиты. Борьба, вспыхнувшая между врагами, принципиальная, бескомпромиссная, но в итоге победа должна достаться революционерам. Твой сценарий ни на йоту не отступал от этой канвы, не так ли?

– Да, – кивнул Едыге.

– Вечером, когда ты прилетел из Алматы и объявился в лагере, вечером, после заката тебя пригласил в юрту режиссер фильма, устроивший дастархан для тебя. Собрались оператор, художник, директор и артисты, играющие в главных ролях. Незнакомые, привлекательные девушки обслуживали дастархан. Одна из них, в джинсах, обтягивающих бедра, стройная, гибкая, представляясь, назвалась: “Назыкен”. Она тебе сразу пришлась по душе. Весь вечер разглядывал ее, щеки девушки горели румянцем смущения, ей можно было дать лет двадцать, самое большее; юная, она была изящна, как газель, густые черные волосы обрезаны на уровне плеч, короткая блузка обтягивала полные груди. Голос у нее был застенчивый и нежный, жесты и походка гармоничны, – она все больше нравилась тебе. Киногруппа, не боясь обжечься (куырдак

был горячий!), жадно налегала на еду, дружно поглощала водку. Полог над входом был свернут, дверь распахнута. Луна тихо двигалась по небосклону, чистый белый свет через вход разливался заводью, обещая удачу.

Со стороны моря веял вечерний бриз, неся свежий запах соленой воды. Все это придавало особое очарование вечеринке. Твое настроение заметно поднялось, ты чувствовал волнение. К этим ощущениям добавилось воздействие водки, от нее горело горло, и уже слегка кружило голову; все вокруг стало ярче, и ты, обычно сдержанный в эмоциях, отдался радостному возбуждению. Считавшийся в кругу друзей скрытным человеком, в тот вечер ты неожиданно разговорился, веселил людей остроумными шутками, приковывая внимание людей.

Помнишь ли это? Конечно! Человек не может забыть такой чудесный момент своей жизни. Ты стал замечать, что девушка обворожительно улыбается, обнажая белые ровные зубы. Затем ты поймал себя на том, что разливаешься соловьем именно для нее. Отметил, что каждую ее улыбку, мелодичный смех твое сердце воспринимает как поощрение, как некий дар тебе. Ты уже томился желанием как можно скорее остаться с девушкой наедине. Наитием понял, что девушка желает того же. Тебе было за пятьдесят, однако ты волновался, как мальчишка, дав волю вспыхнувшим чувствам. Ты забыл об осторожности, не задумывался о последствиях. С затуманенной головой кинулся навстречу пылкой душе, не думая, что в конце концов врежешься в каменную стену…

Застолье завершалось, народ торопился наружу, чтобы развеяться на воздухе. Режиссер как будто прочитал твои затаенные мысли.

– Назыкен, не покажешь ли гостю побережье?

Назыкен со смехом ответила:

– Хорошо, агай.

Твое желание исполнилось, через несколько минут вы с Назыкен отдалились от аула. Вы повернули в сторону плавно громоздящихся песчаных валов. Все так же светила большая луна. Желанное светило – луна! Ты верная собеседница одинокого и обездоленного! Ты печальная воздыхательница, с давних лет делившая с Едыге его

горькие ночи! В тот вечер светило без сожаления лило на землю волшебные мерцающие световые потоки. Ты неторопливо вел девушку к вершине белого песчаного холма, возвышавшегося над всем берегом. На гребне девушка остановилась, наклонилась, сняла туфли, взяв их в руки. Тебе тоже захотелось пойти босиком по чистому сыпучему песку. Вот бы побежать по дюнам! Однако это странно выглядело бы с твоей стороны рядом с юной девушкой. Надо было выглядеть степенным мужчиной. Ты шел и развлекал девушку байками, которые она внимательно выслушивала, сам же не сводил глаз с ее точенного абриса.

Вы сидели на вершине холма, созерцая луну. Под ровным и мягким светом луны словно плыли, догоняя друг друга, округлые песчаные валы. Кругом простиралась пустыня, затаившая невыразимый смысл. Ты глядел и не мог насытиться волшебной панорамой. Хотя сидел боком к ней, тем не менее, хорошо видел ее вспыхивающие смоляным блеском глаза, точеный нос, копну ее волос, касающихся плеч, когда она наклонялась. Тебе так хотелось погладить ее густые волосы, вздохнуть их запах.

– Агай! – сказала Назыкен. Она то и дело задавала вопросы, путая казахские и русские слова, например: “Когда вы писали сценарий для фильма, откуда брали факты?” Девушка оказалась родом с Алтая. Она закончила русскую школу, стиль ее речи был смешанный. Было ясно, что в казахском языке она не сильна, говорила больше по-русски.

И ты вспомнил: когда впервые приехал в Алма-Ату, тебе на улице встретились именно такие казахи, вернее, по языку не совсем казахи, и это сильно удивило тебя. Ты поражался этому. Помнишь, как ты переживал, словно подглядел нечто постыдное у человека, которого свято почитал; терялся в попытках найти общий язык с ребятами, которых нельзя было назвать ни казахами, ни русскими. Ты весь ощетинивался изнутри, чуждаясь этих людей. Множество вопросов раздирали сознание на части. Однако, простаку, только что приехавшему из аула, найти ответ на такие вопросы было трудно.

А в тот вечер ты оказался в руках такого молодого существа, и вся твоя воинственность улетучилась. Хотя

Назыкен кое-как говорила на родном языке, душа у нее была светлая, как родник, и она просто лучилась красотой. Она казалась небесной пери[1]. Этот вечер ты воспринимал как особенное, еще не понятое тобой, послание судьбы. Весь окоем: луна, небо, космос, кишащий крупными искристыми звездами, – казался тебе какой-то невысказанной тайной; сидящая рядом прелестная Назыкен воспринималась воплощением природной тайны. В ту ночь ты был подобен астроному, нашедшему на небосводе неизвестную планету и радующемуся этому, словно ребенок. Ты был готов молиться на луну на небе и на Назыкен на земле рядом с тобой. Для тебя Назыкен и луна были тогда неистощимыми источниками магической красоты. Это ощущение полностью захватило тебя. По той причине, что ты был охоч до этой сладости. И сколько бы ты ни вкушал пьянящий сок, твоя душа не могла удовлетвориться. Всю жизнь в тебе горела тоска именно по этим чарам. Луна и женщина – два воедино связанных явления природы были для тебя неразрешимой загадкой бытия.

Вы сидели на вершине холма, окутанные смутным переменчивым светом луны, отрешенно глядя на словно убегающие вершины дюн. Под воздействием выпитого, боясь напугать ее, осторожно прижал напряженную словно газель, девушку, принялся обнимать ее. Вдохнул запах ее душистых волос. Целовал мочки маленьких изящных ушей. В свете луны еще глубже засияла чернота ее зрачков, стыдливо смотрящих в сторону. Всякий раз, когда твои губы касались ее щек, она обрывала вопрос, на время потерянно глядя вниз. Один Бог знает, о чем вы тогда говорили, оживленный разговор шел как-то сам по себе.

Была поздняя ночь. Прижавшись друг к другу, вы шли к аулу киношников, спящему в песках. Под утомленной луной утопал в тенях аул. Ребята спали крепким сном. Ты проводил Назыкен до юрты, и, прощаясь, долго целовал ее в пылающие щеки. Ты был две недели с киногруппой, снимавшей фильм. За этот период чередой произошли незабываемые события. Перед отъездом в Алма-Ату с помощью Назыкен организовал небольшой дастархан.

[1] В казахской мифологии небесное существо, покровитель искусств.

Веселое застолье длилось до самых сумерек. К этому времени люди уже привыкли видеть тебя с Назыкен вместе. Поэтому твой дастархан полностью накрыла сама Назыкен. Весь вечер она сидела рядом, слегка прижимаясь к тебе. Привлекательные девушки расположились рядом с режиссером, оператором. Однако они и в подметки не годились Назыкен с ее яркой красотой. Ты гордился этим обстоятельством. В тот вечер ты изрядно выпил. Посиделки надолго не затянулись, вскоре вы с Назыкен уже направлялись к бархану, на котором сидели в вечер вашего знакомства. После заката солнца небосвод красно светился, там и сям разбросанные тучи тускнели, окрашенные волшебной краской. Этот багровый оттенок, излучаемый облаками, лежал и на склонах барханов, на ряби и завитках песков. Ведя Назыкен к распадку между красными холмами, ты не придал значения тому, что был уже изрядно навеселе. На твое настроение влиял фантастический вид багряных песков, также то, что рядом идет красивая девушка. Увлекая девушку все дальше к укромному месту меж барханами, ты был далек от мысли, что эти шаги рано или поздно приведут к смерти человека. Не правда ли?

– Правда, – сказал подавленный Едыге. Спорить с Повелительным голосом было невозможно.

– Ты не предвидел, к каким последствиям приведут твои действия. По той причине, что тогда ты был опьянен счастьем. Не хотелось осложнять предосторожностями прекрасные и редко случающиеся минуты жизни. Ты не желал поддаваться угрызениям совести, когда в груди пылает разбуженное чувство, и вы обнимаетесь с Назыкен. От огня страсти еще могла спастись невинная девушка, но не ты, матерый кобель. Ты и не пытался остановить события. На вершине бархана не задержались, а сразу спустились в укрытую песчаную ложбинку. Все так же обнимаясь, подошли к кусту дузгена с пышными соцветиями, опустились на чистый, словно мука, песок. Ты притянул к себе девушку, сжимая ее в объятиях. Целовал ее в раскрасневшиеся, словно бутоны, щеки, целовал сквозь ресницы бездонные черные глаза, ласкал губами подрагивающее тугое белое горло. От запаха юного тела голова шла кругом. Затем впился губами в ее

раскрывшиеся горячие губы. На минуту вы как бы отключились, рухнув в звенящую тьму, не ведая, есть ли вы еще на свете или нет. Вы словно искали в любовных объятиях спасения от жестокого и долгого преследования. Как будто после мучительных поисков изнуренные жаждой обрели друг друга в безводной дикой пустыне. Словно сироты-печальники, измученные одиночеством, израненные душой, наконец-то нашедшие обетованное укрытие от всех бурь мира.

Девушка опрокинулась на спину, ты снял рубашку и постелил под ее голову. Другая твоя ладонь начала расстегивать тонкую блузку, натянутую на груди девушки, раздвигать ткань, украшенную красными цветами. Расслабленные пальцы девушки нехотя боролись с твоей рукой, пытаясь помешать им расстегивать пуговицы, но они скорее ласкали твою ладонь. Шаг за шагом, подчиняя себе обессиленную красоту, ты, старый жук, невольно припоминал навыки телесной схватки, ты же был мастером спорта по вольной борьбе. Снял с нее цветную блузку, кинул поближе на песок. Потом стал ласкать и мять обнаженные груди девушки. И целовал, упивался ее губами. Правая рука неустанно шарила, нащупывала молнию на серых брюках девушки, отодвигала вниз застежку. Ее пальцы на этот раз не мешали тебе. Она плотно сжала пересохшие губы, сомкнув веки, отвернулась от тебя. И в эту минуту перед глазами промелькнула сцена, увиденная по телевизору. Гепард весь в перекатывающихся мускульных буграх распластался в беге над зеленой травой. Зверь по пятам преследовал детеныша лани. Вот подцепил его лапой, и козленок покатился кувырком. Затем крупным планом показали гепарда, душащего лань. Глаза зверя были налиты кровью. Затем гепард принялся елозить, трепать жертву за горло. Бедняжка лань, еще живая, начала отчаянно трепыхаться. Она билась в судорогах, пытаясь вырваться. Однако ей не удалось высвободиться из пасти хищника. Гепард взрычал, завернул голову жертвы и впился клыками в яремную жилу. Лань заверещала, забила ногами. Голодный зверь, свирепея от толчков добычи, мял и терзал ее. Моменты борения жизни и смерти, яростного сретения тел, когда отдается и берется жизнь – вот что увидел ты. В судорожной толкотне ног,

безуспешно вырываясь из пасти, лань затихла в объятиях гепарда. Когда улеглась злость, победитель принялся вылизывать мордочку добычи, словно выказывая безмерную, любовную нежность. Он ласкал языком глаза и губы безжизненной лани, замершей под его лапами.

Под покровом темноты, под кустом косматого дузгена ты гладил, ласкал обнаженное тело девушки, словно поверженную лань, даря ей неспешную нежность. Тугие, упругие бедра девушки, икры ног на ощупь напоминали шелковистый прохладный песок. Не мог оторвать глаз от красоты нагой, распростертой девушки, округлых грудей. Для тебя в ту минуту не было более сильной, бьющей по нервам сцены. Что за наваждение, сколько бы ни смотрел – все мало! Верно было сказано: “Человек – триумф природы!” Чтобы появилась на свете такая красивая девушка, какие муки созидания понадобились матери-природе? Уму непостижимо!

Ты стряхнул песок, прилипший к плечам девушки, немного приподнял голову. Назыкен лежала все так же неподвижно, как-то сонно, повернув голову в сторону. Она вся будто обмерла. А ты был захвачен потоком какого-то иррационального, темного звука... Он продолжался, тянулся, увлекая тебя в глубину запредельного. Накрытая потемками пустыня лежала как бы в прострации под впечатлением этого звука. Окинул окрестности вдохновенным взглядом. Эта минута показалась восхитительной.

Над восточным горизонтом тихо выплыла луна, огромная, красная, похожая на глаз верблюда, двинулась вверх. Неспешно поднималась к своему трону ночная спутница влюбленных, сокровенная луна. Необычно большая, похожая на надутый красный шар. Разливая всепроникающую и необъятную тишину, поднималась над слоями облаков, внимательно всматриваясь в пучину. Ночная пустыня, затаив дыхание, как бы томно потягивалась под смутным, шелковым пологом полумрака. Не ощущалось ничего, кроме биения твоего и ее сердца. Нарастало тяжелеющее с каждой минутой безмолвие. Ни шороха, ни движения. На склонах барханов притулились темные силуэты дузгена и карагана. Все-таки твое обостренное чувство уловило на лике сумрачных пустошей что-то вроде едва уловимого недовольства. Это был оттенок печали...

33-1928

11

Вот что приходит на память! Что это за колдовская сила такая была, что взяла тебя, пятидесятилетнего мужчину, и бросила без оглядки в объятия юной девы? В последние годы, припоминая слова Абая: “Умиротворись, душа моя, умиротворись”, – говорил себе не раз: “Хватит бегать за каждой юбкой!”, – и это было сказано серьезно. Пытался умерить себя: “Для каждого возраста хорошо свое поведение, и не годится в таких летах подвизаться на любовном ристалище”. Все же ты не смог придерживаться этих правил, – не оставил привычку брать в оборот встречную красотку. Судьба постоянно сталкивала тебя с какой-нибудь беспечной молодкой. Возможно, до самой смерти не избавиться тебе от этого. Все же ты должен кое-что признать. В самые тяжелые дни своей жизни ты находил утешение только в объятиях женщины. Если бы не прекрасные девы, что стало бы с твоим измученным сердцем? Как бы ты выстоял в этой бесконечной бытийной гонке, где, как в народе говорят: “И сокол утомится махать крыльями, и тулпар собьет себе копыта”? Было бы такое существование истинной жизнью? Эй, не знаю.

– Но… – Едыге не хотел сдаваться. – Каждая такая прелестница принесла свою головную боль, не так ли?

Конечно, и этой боли хватило бы не на одну голову. Помимо светлых и приятных впечатлений, оставленных этими интрижками, неизменно следовали и темные полосы с их проблемами. Почему счастье не бывает чистым, как горный ручей? Нет, не бывает. Сам он никогда не встречал примеры такой безупречной, незапятнанной любви. И зная это, не ждал от жизни такого подарка. Жизнь, даруя мед, неизменно добавит капельку яда. Если ты настроен брать от жизни только ягодки и цветочки, считай, что стоишь на краю пропасти. Своенравная судьба с расчетами людей не считается. Чем закончилась любовь с Назыкен, начинавшаяся как чудесный дуэт? Не превратилась ли в омут, затягивающий вниз? Зная неумолимые законы жизни, ты не смог вовремя отступить от Назыкен.

Уехал в Алма-Ату, однако не прошло и недели, как тебя с невыносимой силой потянуло в Мангыстау, как будто главный интерес жизни остался там в пустыне. Ты ходил

потерянный, не зная, что предпринять. В это время в Казахстан приехал чех-сценарист Леуш, приглашенный киностудией. Он был твоего возраста, голубоглазый, розовощекий, худощавый мужчина при сивой бороде. Вы легко поняли друг друга на почве знакомого вам дела – вы оба были сценаристами. К тому же Леуш хорошо говорил по-русски. Вы приступили к обсуждению плана сценария, посвященного казахско-чешской дружбе. Леуш высказал одну просьбу. Ему хотелось съездить в Самарканд. “Хорошо”, – согласился ты, хотя все твои помыслы были обращены в сторону Мангыстау. Ты все время думал о Назыкен, оставшейся с киногруппой на берегу моря. Если бы не эта затея с Леушом, ты с возгласом: “Мангыстау, где ты?” – бросил бы все и уехал на запад.

Твоя душа раздиралась на части, но, пересилив себя, ты сел за руль красного жигуленка, и вы с Леушом отправились в Самарканд.

С тех пор прошел год. Ты все еще обретаешься на земле. Под покровом ночи в песках Сарытаукума бредешь себе по солончакам, словно сомнамбула. Недавно, усевшись на стволе саксаула в лощине, ты предался воспоминаниям о своей прошедшей жизни. Добравшись в ретроспекциях до образа ковыля, ты кое-как сконцентрировался на идее о следах невезучего человека, как символе неудачной судьбы. И не на шутку задумался, не пора ли прервать тропку хронического неудачника? Иначе этот корявый след все еще будет плутать, виться, говоря о бессмысленном пути пропащего человека. Какой прок в продолжении стези? Ради того, чтобы однажды хозяин следов разбил себе голову о каменную стену?

Едыге вновь остановился. Запрокинулся, расправляя поясницу. И опять взгляд остановился на звездном небе. Долго глядел на небо, густо усыпанное космато-светлыми звездами, высвечивающими безмерные глуби. Пространство говорит с тобой языком молчания. Из неизмеримой глубины звезды загадочно подмигивают, что-то говоря твоей душе. Быть может, они хотят открыть тебе тайну мироздания? Хотя, конечно, ты ничего не поймешь. “Для слепой курицы все камешки – зерно”. Не зря так говорят. Задумывался ли ты, что каждая

мерцающая точка света – это мир. И любой из этих миров намного больше Луны, спутника этой планеты под названием Земля, но ведь ты этого не знаешь! Тебе неведомо также, какая жизнь на тех планетах. И не только тебе, но и всему человечеству неведомо это.

Всевышний Творец! Чем давать пространный взгляд, охватывающий все мироздание, сильное воображение и сознание, не лучше ли было дать внутреннее знание о космосе, верную информацию о Пути? Едыге терзали такие вопросы. Что пользы озирать безграничное пространство, если не знаешь, как познать его?

– Эй, браток! Оставив земные проблемы, ты решил взяться за небесные дела? – усмехнулся Повелительный голос.

Едыге не знал, как ответить на этот вопрос. Помедлив немного, он всё же решился сказать: "Всевышний дал своему рабу сознание, и тот чего только не вообразил. Почему бы ему не устремляться ввысь? Разве будет человек человеком без этого? Вся сила бедняги-человека в его сознании. И несчастье тоже".

Из глубины песков донесся мелодичный девичий смех. Едыге оцепенел. Настолько далеко витал в своем воображении, что первое время ничего не мог понять. Что это за смех в ночной тьме? Испуганному Едыге почудилось, что он услышал смех именно Назыкен. Голосок такой же, как у Назыкен. Астапыралла![1] Точно также смеялась Назыкен, когда однажды вместе коротали ночь на берегу речки под названием Каскеленка…

Едыге стоял, настороженно прислушиваясь к тишине, надеясь услышать тот же смех. Однако из-за небольшого песчаного бугра ничего не послышалось. Вспомнилось, что это молодежь возвращается со свадьбы. Нет ничего удивительного, если этот смех принадлежал той самой девушке с челкой.

Он глядел на луну, уже достигшую зенита. Вдруг светило стремглав крутанулось, перебросив сознание Едыге в прошлогоднюю ночь в Аксае. Огромная луна, словно посеребренная тарелка, медленно плыла над громадным хребтом Алатау, похожим на горбы великанов-

---

[1]*Спаси меня бог* – кораническое выражение.

наров. Одинокая юрта Едыге стояла у входа в ущелье, уходящего в глубь гор. В этой юрте, уединившись на три года, Едыге завершил роман “32-й год”. В тот вечер Едыге встретил в аэропорту Назыкен, прилетевшую из Мангыстау.

Как было всё это? В обед зазвонил телефон. Трубку подняла Маусымжан. Звонила из Шевченко Назыкен. Маусымжан, хмурясь, подала трубку Едыге: “Тебе!” Едыге взял аппарат, прижал к уху. “Агай!” – послышался мелодичный голосок Назыкен. После возвращения из Самарканда он ждал этот звонок? “Ну, как у вас дела?” – нарочито безразличным голосом спросил Едыге. Назыкен сообщила номер рейса, которым должна была вылететь. “Ну, как, успели отснять материал?” – спросил он, имея в виду фильм. Этот вопрос должен был успокоить Маусымжан, нервно гремящей посудой в кухне. “Кто это?” – спросила жена, когда он трубку положил на место. “Киногруппа возвращается в Алматы”, – откликнулся Едыге, усаживаясь в кресло. Маусымжан искоса бросила на него злой взгляд, дескать, ври да не завирайся. Вечером сел в жигуленок и погнал на всех парах сначала в аэропорт, потом в Аксайское ущелье.

Встретив в аэропорту Назыкен, на обратной дороге заехал в магазин, накупил продуктов, и затем, не останавливаясь, по кольцевому тракту помчался к горам. За три летних месяца ты привык к своей одинокой юрте у подножия хребта. У самой юрты со звоном плескался чистый горный ручей. Юрта стояла у входа в протяженное ущелье. Горная сторона ущелья за юртой была безлюдна, а ниже юрты, в направлении города, находилась зона отдыха. Из малого ущелья ближе к вечеру начинал сквозить прохладный чистый ветерок. Всю ночь гудел он, пел свою горловую песню. Для понимающего человека после духоты и зноя городских кварталов прохлада ветра – самое блаженство. После утомительного труда над рукописью любил ты вечером пройтись по склонам горы, подставляя грудь ветру. Часами стоял в одиночестве на склоне, наблюдал за тем, как медленно погружается солнце в красное закатное пламя, похожее на глаз, окидывающий прощальным взглядом долину. Вверху небо, внизу – холмы, увалы, впереди – равнина. Долго сидел на камне

один, погружаясь в думы, отдаваясь тишине и покою. Когда же твой одинокий дом посещали гости, жизнь сразу менялась. Так произошло и с приездом Назыкен. В тот вечер некогда было подниматься на склон холма, чтобы проводить солнце на закат. Целый месяц ожидавший приезда Назыкен, от радости ты не знал, куда ее усадить. Когда Назыкен, одетая в синие джинсы, белую кофту, стройная как газель, перешагнула порог пустого жилища, все внутри него так и заулыбалось, посветлело. За порогом сразу притянул девушку к себе, и крепко обнял ее, поначалу она слегка уклонялась, но потом сдалась. Вы долго стояли молча, прижавшись друг к другу. Затем ты кинулся стелить корпешку на тор. Посадил Назыкен на корпешку. Девушка сидела, смущенно улыбаясь, сияя своими потупленными черными глазами. Из прежних бесед она знала, для чего ты возвёл юрту у входа в уединенное ущелье.

Поставил чайник на газ. За дастарханом вы особенно не следили за темой беспорядочной беседы. Ты запомнил одно, о чем бы ни заговаривал, девушка выслушивала с улыбкой, ее щеки неизменно вспыхивали краской смущения. И о чем бы ни говорила она, так же все отзывалось в твоей душе звенящей музыкой. Если бы ты попытался восстановить тот разговор с Назыкен, – на бумагу легли бы одни короткие бессвязные слова. Все же в памяти осталась фраза, сказанная Назыкен: "Я и не думала встречаться с вами, мне это и в голову не приходило! После того, как прочла повесть, сильно захотела увидеть вас". И опять румянец вспыхнул на ее щеках. А для тебя признание Назыкен стало загадкой. Невольно почувс-твовал благодарность к повести "Женщина в пустыне", пробудившей желание в душе Назыкен. В тот вечер ты опьянел скорее не от вина, действительно хорошего, а по той причине, что дева, расположенная к тебе, покоилась в твоих объятиях. Обнимая ее, дивился тому, что на склоне лет в обглоданной ветром суровой пустыне нежданно-негаданно на жизненном пути тебе встретилось такое чудесное создание – она. Словно жаждущий путник, нашедший в безводных солончаках оазис с прохладным родником, ты возносил благодарные молитвы за

спасительный дар. Странник теперь намеревался, отдохнув как следует, дальше продолжить путь через пустыню. Как бы ни было заманчиво остаться в оазисе, он должен продолжить свой одинокий путь.

Встреча с ней для тебя была равносильна возвращению канувшей молодости. Разве не присуще рабу божьему спохватываться и горько сожалеть о днях молодости? Едыге – такой же. До последних лет он не задумывался о старости, считая, что это далеко от него. Он не хотел думать о смерти. Почему сегодня все по-иному? Сегодня ты признаешь, что оставил позади зеленые луга молодости, что впереди тебя ждет спуск в холодные, заснеженные низины. Место, ныне достигнутое Едыге, – начало осени, задуваемое хладными ветрами. Беспечным юнцам, занятым только собой, не понять Едыге, захваченного осенним увяданием. Им не понять, что такое – осень жизни, тем более – что такое зима. *Пятьдесят три* уже видят зимнюю поземку. Однако, что это ему даёт? Что, кроме страха, он обрел в итоге этих раздумий? Цветущие *двадцать пять*, которые рядом с ним, и ведать не ведают об этих ощущениях. Выходит, неодолимая сила, загнавшая его в объятия Назыкен, ни что иное, как страх перед увяданием, напугавший тебя? Разве это не попытка убежать назад к буйной ярмарке жизни? Невольно вспомнились горестные раздумья Хайдеггера. Этот философ провел немало лет в попытках решить неразрешимые вопросы жизни и смерти.

Было загадкой, какие мысли и ощущения владели душой Назыкен, ластившейся к нему, словно зайчонок. Она все время поглядывала на него, краской смущения заливались щеки, глаза то и дело вспыхивали удивительным сиянием. Невысказанная мысль таилась в задумчивых глазах девушки. И это настораживало Едыге: "О, создатель, что это такое? Возможно ли, чтобы молодая девушка без памяти влюбилась в пожилого человека?" Вид-то какой у Едыге: он ниже среднего роста, приплюснутый нос, кожа бледно желтая, блескучие залысины – словом, мужчина далеко не первой свежести. Нет, это невозможно! В наше время не встречается то, что называют любовью тургеневских девушек... Хотя – как сказать? Назыкен, было дело, поведала ему, что однажды, отвергнутая

парнем, которого любила, она спрыгнула с утеса в реку и едва не погибла. Этот поступок показывал, что девушка безоглядно отдавалась любви. Услышав эту историю, ты стал опасаться, как бы ее увлечение не переросло в *истинную любовь*. С каждой встречей Назыкен все сильнее привязывалась к тебе. Предчувствие говорило, что отношения с такой женщиной к добру не приведут. Поэтому, улучив момент, во время очередной встречи в номере гостиницы "Казахстан", ты сказал:

– Тебе нужно выйти замуж!

Твои слова сильно подействовали на Назыкен. Плечи ее задрожали, она отвернулась к стенке. Ты погладил белое, атласно нежное плечо. Она отбросила твою руку.

– Я сама знаю, что мне делать! – сказала она, в ее голосе звенела обида. Почудилось тебе, что перед тобой малое дитя, способное обижаться по поводу и без повода. От жалости у тебя защемило сердце. Хотелось, во что бы то ни стало осчастливить девушку. Это было странное ощущение, близкое отцовскому чувству. Но как сделать ее счастливой? Ради нее ты должен оставить жену, детей, жениться на ней? Допустим, ты пойдешь на это. Будет ли она счастлива? Сможет ли сохранить свое чувство завтра, когда ты станешь неуклонно стареть? Прихотлива любая человеческая душа, она как ветренная весенняя погода, к любым изменениям готова, стоит только появиться искусам. Поймет ли она его мысли, не скажет ли: насытившись постельными утехами, решил бежать прочь от ответственности?

Повелительный голос тотчас вмешался:

– Погоди, Едыге! Ты отдаешь отчет себе в том, зачем понадобилась тебе Назыкен, и что нужно тебе в женской природе? Ладно, тебя не интересует ни богатство, ни власть. Сам ты не обладаешь ничем таким, отчего можно было бы позавидовать тебе. Как ты думаешь, что такого нашла в тебе молодая девушка? Если знаешь, то скажи!

– Знать не знаю, но предполагаю.

– Что именно?

– По-моему, – сказал Едыге, – ответ заключен в колдовской силе, загнавшей меня в объятия бедной девушки, она бросила и ее в мои объятия.

– А если попроще?

– Если попроще… Думаю, Назыкен устремилась ко мне не по легкомысленности. Назыкен от природы умная девушка, которая рано задумалась о смысле жизни. Таким молодым людям в конце концов грозит депрессия, даже безысходность. Они обречены на одиночество, способное привести к гибели. Они серьезно заняты поиском точки опоры. Их удел – постоянный самоанализ. Такая душа никогда не проснется, пока не хлебнет сполна яда бытия, не исхудает в тщетных попытках достичь горизонта существования. Врожденное чувство одиночества будет травмировать психику, беспокоя, словно осенний ветер, навевающий жуть. От этого проклятия не спастись. Не дай бог никому такой доли! Не думаю, что на земле есть хотя бы одна такая душа, которая смогла избежать ипохондрии. Назыкен именно такой человек, то есть душа, рано осознавшая свое одиночество и юдоль, на которую обречена.

Повелительный голос перебил его:

– Погоди! Ты опять запел свою песенку! Ты свернул на тропку, которую выведал, начитавшись буржуазных книг! Что это за одиночество, на которое якобы обречена молодая душа только что оперившегося человека, строителя коммунизма? Что это за печаль? Такого быть не может, товарищ писатель? Напротив, Назыкен должна быть полна оптимизма! Посмотри внимательно! Не толкуй превратно явления окружающей действительности! Не наводи тень на плетень, не громозди ложь о нашей комсомольской молодежи! Пессимизм ей чужд! Такое лихо может обитать за кордоном, в мире капитализма, а в среде советской молодежи такую болезнь не найти! Не надо лгать!

Знакомый голос… Такую отповедь он получил от одного профессора, секретаря партийной организации факультета, когда в студенческие годы опубликовал в стенгазете рассказ. Профессор поставил на уши весь факультетский актив, сорвал стенгазету и отправил ее соответствующим органам. Сотрудники из организации с грозной аббревиатурой на три буквы заявились на факультет, принялись собирать справки, тогда же и состоялось обсуждение рассказа Едыге. Товарищи не на шутку перепугались, они стали сторониться Едыге. Если

бы не речь Хрущева на 20 съезде о перегибах и ошибках партии, то неизвестно, к каким последствиям привели бы эти события.

12

Он вдруг спохватился, что слишком высоко поднялся на гребень холма. Когда перед глазами вновь замерцал песок, круговерть навязчивых мыслей развеялась. Он озирал с удивлением лунные дали. Благословенное светило, что за чудную ночь ты сотворило! Меркли под луной смутные барханы. Сняв обувь, Едыге пошел босиком. От прикосновения песка к горячим подошвам растекалась зыбь по телу. Время было уже за полночь. Аул утопал в безмолвии. Аульчане, отгулявшие на тое, давно разошлись по домам. Из глубины степи поддувал прохладный ветерок. Он придавал легким силу, расширял дыхание. После недавнего приступа тело казалось легким, как перышко, вот-вот вознесет его в воздух. Странная дрожь волной прокатывалась по телу. Внезапно силы оставили его, и он рухнул на колени. Зажмурив глаза, какое то время сидел неподвижно. Вдруг понял, что пережил еще один сердечный приступ. Едыге, всегда стремившийся на людях показать расторопность, оставшись один, как правило, отбрасывал напускное. И сейчас в его позе, когда он сидел на коленях, крепко зажмурив глаза, не было ничего искусственного. Это был облик усталого, разочарованного жизнью человека. Он вспомнил, что Леуш как-то предложил:

– Вышли мне перевод своей книги. Я постараюсь издать ее у нас в Чехословакии!

Едыге встрепенулся. А Леуш не мог скрыть усмешки:

– Но если после этого, как наш Вацлав Гавел, сядешь в тюрьму или, как Солженицын, будешь изгнан в эмиграцию, не обижайся!

Что на это сказать? Едыге рассмеялся. Он не был готов сесть в тюрьму или стать диссидентом.

В ушах зазвучал Повелительный голос:

– Едыге, ты кое-чего не знаешь!

– Куда уж мне!

– Когда разъезжал за рубежом, Партия спасла тебя от большой беды!

– Да ну! От какой?

– Так вот, слушай! Та самая партия, которую ты нещадно критиковал, обретаясь за границей, спасла тебя от тюрьмы, которая реально угрожала тебе.

Едыге поразился услышанному.

– Именно так, товарищ Едыге Булышулы! Ты многого не знаешь. Не только твой роман "32-й год", но каждое твое высказывание в адрес Советской власти и Ленинской партии попадали в дело, хранившееся в КГБ. Конечно, ты об этом не подозревал.

– Откуда мне было знать, никто мне не говорил об этом! Однако чувствовал…

– Правильно чувствовал! Вот теперь ты становишься человеком! Тогда внимай! Когда ты был за границей, твое дело было доставлено в ЦК. Оно легло на стол секретаря, человека, которого ты называл *большое лицо*. Секретарь познакомился с твоим делом, прочитал роман "32-й год". Он не просто просмотрел, но с интересом изучил. Если бы не секретарь, остановивший дело, начатое КГБ, сейчас ты сидел бы не на этом холме, а в камере. Чтобы посадить тебя туда, секретарю было достаточно сказать одно слово. Однако он так не поступил. Он проявил человечность по отношению к тебе. Он спас тебя. Более того, не только спас, предложил госзаказ на сценарий про *первого* в республике человека. Был бы на твоем месте другой человек, стал бы от счастья метать колпак в небо. А ты! Эй, Едыге! Вместо того, чтобы благодарить партию, ты принялся проклинать ее на чем свет стоит.

Едыге задумался. И возмутился:

– А катились бы вы со своей добротой подальше! Уж лучше бы меня расстреляли, чем закрывать "32-й год"!

– Ну-у, ты неизлечим! Ты и впрямь заклятый враг Советской власти! Антисоветчик, которого без раздумий надо устранить!

Едыге покоробило такое резкое обвинение. Если он против народной Советской власти, тогда он действительно – враг народа? Выходит, Едыге всю сознательную жизнь посвятил не отстаиванию народных интересов, а борьбе с ними?.. Бредятина. А что ещё можно ожидать от этого общества, кроме вульгарной оценки? И во что же ты верил тогда? И во что веришь? В справедливость?

Говорят: "Дурная голова ногам покоя не дает". Ты десять лет потратил на книгу во имя мифической справедливости! Кого, если не тебя, мы должны называть полоумным? Получив образование в советской школе, ты всюду заявлял, что Советская власть – самая справедливая. В молодости ты считал, что борьба отца против Советской власти была следствием невежества и безграмотности. В последние же годы, собирая материал и работая над книгой, ты стал терять веру в Советскую власть. Даже на этом этапе считал, что в 32-м году Сталин совершил ошибку, послав в Казахстан радикала-большевика Филиппа Голощекина, что экстремист Голощекин отошел от правильного ленинского курса. Ты пришел к выводу: если бы Сталин командировал в Казахстан более умеренного, трезво мыслящего человека, казахи не попали бы в катастрофу мора. Ну, и скажи: недоумок ты после таких выводов, или как?

Повелительный голос заговорил:

– Какой толк крепить к поясу булаву, которую руки не в силах поднять? На какой черт тебе нужно было схватиться с Советской властью, ей нипочем заткнуть под пояс полмира? Была бы тема 32-го года такой легкой, стали бы бежать от нее, закрыв глаза, матерые писатели? Или их патриотизм был слабее, чем твой?.. Тогда почему их пример не стал для тебя уроком? Почему ты не стал учиться у них?

– Если бы я раньше понял, что Советская власть насквозь двулична, так и поступил бы, не стал бы трогать эту тему. Но, к сожалению, я верил: в мире есть справедливость, ну хотя бы зачатки ее. Школа учила нас быть правдивыми. Мы не сомневались, что живем в самом справедливом обществе. Я взялся за эту тему из убеждения, что правда не должна оставаться в забвении. Решил: если Советская власть такая справедливая, почему должен замалчиваться факт гибели миллионов людей? В чем вина несчастных людей, погубленных толпами, – родные не смогли даже горсть земли положить на их могилы? Они же не были скотами, чтобы их не оплакать, не прочитать поминальную молитву, чтобы их кости остались не погребенными? До каких пор будем лгать, изворачиваться? Нельзя вечно так жить и поступать?

– Не предупредил ли тебя когда-то: “Собравшийся умирать, бежит к могиле?”

– Да, это так, но лучше смерть, чем…

– Что ж, это пожелание да исполнится!

– Спасибо!

– Это не шутка!

– Я тоже не шучу!

– Посмотрим, когда придет черед!

Едыге задумался.

Почувствовав свою правоту, он обвел взглядом мир. Ему казалось: он смотрит на происходящее глазами другого человека. Даже вялое, обескровленное приступом сердце забилось сильнее. Повелительный голос язвительно усмехнулся:

– Эй, да что с тобой?

Опомнившись, он осознал, что возбужденно шагает по пескам. Лоб сильно вспотел. Обдумывал новость, сказанную Повелительным голосом. Тот не был склонен шутить с ним. Оказывается, психика по-настоящему встряхивается только в ситуации опасности. Как бы он поступил, приди *сверху* приказ: “Собирай манатки!” Будто кадры из кинофильма, перед глазами полетели сцены жизни. Оказывается, в памяти остаются только те эпизоды, с которыми душа не хочет расставаться. Вот эти картины! Пестрый, розово-зеленый мир. Горы, пустыня, города и степи, родственники, друзья, знакомые – ландшафты и лица плыли перед глазами. Было ощущение, что поток видений совершенно не зависит от него, он отрешенно катится мимо. Бескрайняя манифестация жизни текла мимо, оставляя его в стороне.

В глаза бросилась тень какого-то существа. “Кто это?” – уставился он в сторону идущего.

– Едыге? – окликнули его.

– Тугелхан?

– Эй, где ты ходишь?

– Гуляю, просто так.

– Я ищу тебя.

– А я прогуливаюсь. Вспоминаю прошедшее.

– Я крепко спал, меня разбудила Умит: дескать, Едыге нет.

– Зря беспокоились.

Они возвращались в аул, обсуждая недавние события. Едыге занимала одна мысль: все-таки интересно устроен раб божий – не перестает дивиться очевидному. Они с Тугелханом выросли в одном ауле, друзья с детства. Несмотря на это, они совершенно разные люди. Вот идут вместе и обсуждают посторонние вещи, почему бы, отбросив ложную гордость, не распахнуть им душу друг перед другом? Разве не очистит это их сердца? Разве не для этого нужен друг? Судя по всему, они поступить так не смогут.

Едыге не сможет ему сказать о сердечном приступе, потому как считает: кому это нужно? Точно так Тугелхан не настроен изливать душу. Вчера он кое-что рассказал о разводе с женой. Но сделал это под давлением Едыге. Насколько он знает друга, тот больше не вернется к этой теме. Едыге тоже не намерен ворошить старое, чтобы не травмировать Тугелхана. Вот так получается, – каждый намерен зализывать раны сам.

– Той закончился дракой, – сказал Тугелхан. – Разбили голову внуку Козбагара. Его увезли в Акчи.

– Какой из внуков?

– Не запомнил имя.

Задумался о старике Козбагаре. Подростком, будучи жестоко избитым Ждахаем, Едыге не долго думая, сел на верблюда и через плато Устюрт ударился в бегство. В Каракалпакии он нашел Козбагара и приютился у него. Козбагар, вырвавшись из лап актюбинского НКВД, скрывался у родственников матери. Там под опекой Козбагара Едыге стал пасти овец в каракумских песках. Под присмотром Козбагара закончил сельскую школу. Да, Козбагар ему тогда заменил отца. Неискупимый долг у него перед этим и другими людьми. Если нагрянет *срок*, обещанный Повелительным голосом, как быть, столько долгов у него перед людьми!

Аул, окутанный прохладной тишиной, покоился во сне. Одна только луна, плывущая по небу, не знала покоя. Да еще дальние звезды не могли угомониться, перемигивались, словно насмешники.

Голова коснулась подушки, однако сон никак не желал нисходить на него. Сон-изменник бросил его на съедение тем же беспокойным мыслям. Перед тем как лечь, выпил

пару таблеток снотворного, но они не оказывали воздействия.

Лежал на тахте, уставившись на звездное небо. Бедняга Тугелхан давным-давно уснул, посапывая носом. Казалось, бессонница должна была одолеть именно Тугелхана! Что может быть более тяжелым для мужчины, чем потеря семьи? Наверное, переживает, но не как Едыге: ночью сон не бежит от него, днем улыбка не сходит лица. Выносливость Тугелхана поражает: "Не джигит, а нар![1]" Потерял работу, из партии исключили, оставил жену и детей. Накануне Едыге бездумно едва не брякнул: "Когда вернешься домой в Алматы?" Позабыл, что в столице у Тугелхана дома больше нет. По его мнению, Тугелхан надолго не задержится в ауле. Скорее всего, найдет приют и утешение у своей Дариги в Дорожнике. Опираясь на помощь друзей, знакомых, потихоньку окрепнет, встанет на ноги, заимеет должность какого-нибудь начальника, закрутит дела, как в былые времена, а там, глядишь, – забудет Аиду.

13

Тугелхан, может быть, и забудет Аиду. Но как Едыге забыть Назыкен? Если разобраться, в чем вина Назыкен, что она остается одна без него? Да, дело идет именно к этому. Похоже, Назыкен придется оплакивать его. Помимо законной супруги и детей, если суждено тебе скоро преставиться, найдутся ли среди друзей и родичей такие, кто будет искренне горевать о тебе? Именно Назыкен будет по-настоящему оплакивать тебя. Посмотри-ка на прихоть судьбы! Когда твои земные дела начали приближаться к завершению, судьба связала тебя с Назыкен. В этой собачьей жизни провидение встретило его с истинной возлюбленной! Словно ты возвращался с торгов, плетясь из последних сил, и неожиданно встретился с красавицей. Она взяла тебя за руку и вновь вернула на ярмарку жизни. Девушка влекла тебя вперед, ты же тащил ее назад. Вспомнился в связи с этим один случай. Это событие обрушилось на твою голову, как гром с ясного

[1]*Нар* – вожак стада, могучий самец.

неба, – диалог состоялся майским вечером в номере гостиницы "Алма-Ата". Ты готовился к вылету в Москву, чтобы дальше лететь за рубеж. До этого вечера Назыкен воспринимала тебя неизменно благородным человеком. В этом суровом мире для Назыкен ты был единственным защитником и покровителем. После того разговора между вами возник холодок отчуждения. Как бы вы ни любили друг друга, как бы крепко ни обнимались после разлук, трещина в отношениях зигзагом времени приближалась к вам, и вот она возникла со всей очевидностью. В тот вечер, как всегда после затяжной разлуки, истосковавшиеся, вы обнимались со страстной нежностью.

– Агай, – неожиданно проговорила она застенчиво, – агай, знаете ли, я… я…

Девушка, лежавшая на кровати, кусая губы, отвела в сторону глаза, смотрела на стену. Не решаясь произнести слово, вертевшееся на языке, она боролась сама с собой. На сердце у тебя защемило, мысли разлетелись, ты почувствовал приближение новости, опасной для тебя. Не успела весть прозвучать в воздухе, как уже знал ты, в чем суть дела. Если для нее это было в новинку, с твоими прежними подружками такое случалось не раз. Назыкен по-русски сообщила тебе, что забеременела. Сказала и, повернувшись лицом к стенке, застыла в неподвижности.

Весть ошеломила тебя, словно на тебя вылили ушат холодной воды. Лицо вспыхнуло пламенем. Все же внешне никак не выказал своих чувств. Совершенно спокойный, словно ничего не случилось, обнял правой рукой возлюбленную, крепко прижал к себе. Девушка не ожидала такой реакции, она удивилась, робко и внимательно взглянула на тебя. Ты целовал большие, как у верблюжонка, испуганные глаза, ласкал ее. Ты умело скрыл свои чувства, обуревавшие тебя. Ты нежно целовал ее лицо, никакой сладости не ощущая, будто прикасался к холодному железу. А мысли хаотично скакали вразброд. Уже слышался издалека приближающийся на волнах времени плач дитя. Затем перед глазами возник силуэт сирого ребенка, хмурого, держащегося за руку матери-одиночки, дитя, обреченного на суровую школу жизни в условиях безотцовщины. На лице несчастного ребенка

была написана неистребимая обида на жизнь. Призрак смотрел искоса, непримиримо обвиняя тебя, своего отца. Он отнюдь не благодарил отца за дар жизни. “Нет! – сказал ты сам себе, придя к решению. – Нет!”

Назыкен лежала, ожидая от тебя ответа. По той причине, что ты был отцом дитяти, собравшегося явиться на свет. Время шло. Поэтому тебе нельзя было лежать чурбаном, как будто происходящее тебя вовсе не касалось. Такое молчание не красило тебя. Ты чувствовал, как тяжело воспринимает Назыкен безмолвие, оборачивающееся холодом. Чем дольше тянулось безмолвие, тем горше становилось на душе бедной девушки. Соловьем разливающийся перед ней, на сей раз ты хранил немоту, будто камень проглотил. Видавший виды человек, ты понимал: нельзя объяснить девушке самыми искусными словами, то, что смог бы довести до ее сознания особенным молчанием. Сподручнее было именно хранить безмолвие. Заговорил бы ты, – несомненно, наломал бы дров. Девушка и сама чувствовала это. Она лежала, глядя вверх, сжав губы. Однако всему бывает предел. Она вздохнула.

– Агай, я вас поняла, – сказала она.

– И?..

– Вы… в общем против.

Ты опять впал в невразумительную немоту, так как был в полной растерянности: не знал, каким способом втолковать ей, довести свои мысли. На этот раз твое молчание, безусловно, ранило девушку, ибо она воспринимала его как отступничество. Она заговорила:

– Я предчувствовала, что так будет. Так и получилось, – она шмыгнула носом. Ты повернул голову и увидел, как крупная слеза медленно покатилась по щеке девушки. Ты в первый раз видел слезы Назыкен. Что может быть более тяжелым на свете, чем видеть горький плач женщины? Ты всегда боялся плача женщины. И вот, чего ты больше всего боялся, на то, в конце концов, и нарвался!

Повелительный голос вцепился в него:

– Подлец! Любишь кататься, люби и саночки возить, насытился сладким, да и в кусты от горького, да? Глотай теперь яд и дерьмо!

Безжалостно хлестал голос. Ты думал не об этом. Что тебе лишняя порция яда? В тебе проснулось отеческое сочувствие к молодой девушке. Это было внезапно пробудившееся чувство.

– Отцовское чувство, говоришь? Ха-ха-ха, вот это да! Нашелся гуманист средь белого дня! Где было это чувство, когда ты в первый раз наложил свою лапу на лоно девушки?

– Пес его знает!

– Не пес, а народ знает! Мы знаем! Ты не увиливай от ответа, лучше признай свою вину перед девушкой, предатель! Ты, старый хрыч, чего только в жизни не видавший, обманом сграбастал молоденькую, свежую, словно молозиво, девушку, нет, не в лапы, а в сети! Как твой язык мог произнести в такой момент речь об отцовском чувстве?! Пропади ты пропадом с такими чувствами! Не было совести, даже намека на такие чувства не было у тебя! Понял? Эх, жаль ты беспартийный, а был бы членом партии, я за твою вину и грех перед Назыкен, загнал бы тебя туда, где Макар телят не пас! – гремел Повелительный голос.

– Действительно, когда впервые увидел девушку, во мне шевельнулось подобие отцовского чувства. Не знаю, отчего так было? Когда мы встретились в киногруппе, с той минуты словно потерял разум Мне и в голову не приходило, что нас разделяет возраст. Когда передо мной предстал точеный лик, будто изваянный рукой зодчего, лицо, озаренное блеском юности, я почувствовал себя джигитом. Все мои помыслы были только о Назыкен. Я уподобился мотыльку, летящему на огонь. Интересно, что и девушка не оттолкнула меня, а могла же, дескать: старый ты, поди прочь. Не посчитала это недостатком. Наоборот, с улыбкой стала привлекать и притягивать меня. Ее улыбающиеся глаза заронили огонь в мое сердце, и я сполна испил бальзам любви. Я оказался словно околдованным. Искрящееся свежестью нежное лицо обратило мою душу в пламя. Вот так средь белого дня я загорелся палым хворостом. Разве не говорят глаза о тайном голосе души? В ее глазах я увидел блеск, зовущий на поле любовной битвы. Нет, я не отрицаю своей вины.

Моя вина в том, что я не устоял, когда увидел в ее глазах могучий зов любви, на поле битвы между адом и раем. Я не должен был выходить на то поле. Я сделал это и все напортачил... Взял на себя ответственность за погубленную душу. Не одного человека, а двоих. Если присоединить к ним и себя, то троих сделал несчастными.

– Агай, я понимаю вас, – сказала Назыкен. – У вас большой авторитет перед людьми, у вас есть семья. Поэтому вам ничего лишнего не нужно. Прошу простить меня за то, что причинила вам боль. Я сама виновата... Во всем, во всем – сама...

Назыкен все-таки выразила свою мысль до конца, делая паузы между словами. Ты и тогда смолчал. То, что она взяла вину на себя, немного облегчило твое положение. Девушка произносила фразы, которые должен был ты сказать, и это было равносильно тому, что с твоих плеч снимали тяжелый груз.

– Почему вы молчите, агай?

– Что я скажу?

В комнате воцарилась тишина. С улицы доносился несмолкаемый, ровный гул машин. Безмолвие нарушила девушка:

– У меня к вам есть просьба!

Ты промолчал. Она повернула голову к тебе, ожидая ответа, ты кивнул, дескать, говори.

Девушка опять сильно всхлипнула. Ты нахмурился и тоскливо вздохнул. Она протянула руку, нашла платок и принялась вытирать нос.

– Прошу вас... Только не будьте против моего решения. Я не хочу делать аборт...

– Почему? – неожиданно со злостью вырвалось у тебя, и ты рывком поднял голову с подушки.

Однако девушка продолжала лежать, даже не шелохнувшись. Только локтем прикрыла глаза. Поэтому она не увидела твои вытаращенные глаза. И это было лучше для тебя. Если бы увидела твои переполошенные глаза, то, наверняка, ужаснулась бы.

Она отчужденно молчала, продолжая закрывать локтем лицо. Ты так разозлился на безмолвствующую девушку, что схватил ее за локоть и сильно дернул. Оказывается,

она плакала, глаза были опухшими. Она отбросила твою руку и с гневным вызовом посмотрела на тебя. И ты вместо ласково сияющих очей любви увидел брызжущие искрами зрачки дикой кошки. Ты не выдержал прямой гневной атаки, что-то надломилось в тебе, и ты растерянно отвернулся. Тебя неудержимо трясло от злости, то ли на судьбу, столкнувшую тебя и Назыкен, будто кошку и собаку, то ли на себя, создавшего роковую цепь событий, то ли на нее, не смогшую сберечь себя.

– Надо сделать аборт, – тихо произнес ты, взяв себя в руки. – Надо подумать о будущем. Ты же молода, должна создать семью.

– Я уже подумала об этом, – сказала Назыкен. Ты, ничего не понимая, уставился на бледное и поэтому очень похорошевшее лицо девушки. Назыкен же пристально глядела в сторону на что-то неведомое тебе.

– Я не хочу выходить замуж, – шевельнула она губами.

– Это слова ребенка!

– Правду говорю!

– И что ты намерена делать?

– Буду жить одна… с малышом.

Ты с тоскливым стоном вскочил с постели. Взял с маленького столика открытую бутылку, налил коньяк в рюмку, и, зажмурив глаза, разом опрокинул себе в глотку. Начал одеваться.

– Поехали! – сказал ей.

Девушка, с испугом глядя на твое хмурое лицо, протянула руки к одежде.

Одевшись, вы вышли из гостиницы. Со стороны ресторана доносились музыка, шум, крики. Гудел чей-то свадебный той. Майский вечер был празднично красив и весел. Вечерняя Алма-Ата, пышно украсив себя свежей листвой, напоминала невесту в подвенечном наряде. Она цвела карминово-зелеными красками. На этом празднике жизни по улице шли грустными, увядшими только вы вдвоем. Вот так молчаливо и печально вышагивая, ты проводил девушку до автобусной стоянки и простился с ней. Разговор, начатый в гостинице, продолжать не стали. А через неделю ты уехал за границу.

14

О, Создатель! В тот вечер я ничего не смог тебе сказать. Этому я удивляюсь! Мое молчание, ты, конечно, поняла по-своему. Взглянув пристально, ты увидела в ином свете человека, которого прежде боготворила. Тебе вдруг открылась искусная маскировка человека, который еще недавно уверял тебя в том, что умирает от любви к тебе. И в твоих глазах агай[1] выступил предателем, который в один миг продал свою любовь. Он оказался гнилым человеком, который еще в начале пути, не выдержав атаки реальности, бросил тебя одну на дороге. Он оказался малодушным. Коротко говоря, у тебя были все основания не прощать меня.

Через день я оказался в центре Европы, но даже там ощущал силу твоей обиды на меня. Сидя за сценарием в кабинете Леуша на западной стороне Праги, я продолжал думать о тебе: "Как она там? Сделала аборт или из упрямства решила родить ребенка?" Ее глаза, полные слез, возникли из темноты и застыли перед моим взором. "Ты испугался! – упрекали они. – Боишься стать отцом ребенку, тогда зачем ухлестывал за молодой девушкой, словно похотливый козел?" "Ой, Назыкен!" – вскрикивал я, не в силах что-либо сказать. Вот так мысленно мы вели диалог.

Не в силах усидеть в комнате, томимый удушьем от недостатка воздуха, вышел на улицу. Дабы без помех продолжить спор с тобой, удалялся все дальше. В километрах двух от дома Леуша на возвышенности была небольшая площадь. Дальше зеленел лес. За леском начиналась безлюдная лощина. Площадь находилась в уединенном месте. Медленным шагом пришел туда. С этой возвышенности, залитой асфальтом, бросил взгляд на восток, где зубчатыми вершинами красовалась великолепная Прага. А еще дальше у самого горизонта пестрели неровности обширного леса. Еще дальше простиралась Восточная Европа, великие равнины которой переходили в степи Азии. В дальнем уголке Азии, в Алма-Ате, находилась ты, и я воочию видел, как плакала ты, как катились слезы из прекрасных глаз. Видел я все

---

[1]*Ага* – старший человек, мужчина.

это. Ты же всматривалась в мою сторону, как бы прислушиваясь к моим словам.

"Боишься!" – сказала ты. Очень тяжелые слова! Если бы я по-настоящему боялся, сам бы признался в этом. Однако, дорогая, на самом деле я не из трусливых. Если бы я был из осторожных, то давно в этом переменчивом мире занял бы тепленькое доходное местечко, не так ли? Разве не пребывал бы я в толпе алчных преследователей, гоняющихся за добычей с кличем: "Лови! Хватай! Держи!" Однако я не смог так. Я не погнался за лакомой косточкой, брошенной стае псов. Я выбрал долю дикого степного волка. Поэтому, жаным[1], ты не должна называть меня трусом. Ты больше не произноси такого слова. Однако, правда и то, что я есть раб божий. В этом мире немало такого, чего я действительно боюсь. Боюсь потерять человечность. Было бы ужасно умереть, так и не выполнив свой человеческий долг. Страшусь, что жизнь пройдет бессмысленно. Не зная, что ждет в будущем мою семью, боюсь неопределенности. Опасаюсь увядания, которое ожидает мой литературный язык, с каждым годом теряющий краски и соки. Судьба мне вручила писательское перо. Человек, держащий в руке перо, оказывается, не может не думать о своей бедной головушке. Желает он этого или нет, человек, вручивший свою судьбу перу, со временем превращается в вещий язык, ноющее сердце, истомленное сознание своего народа. Хочет он этого или нет, писательская судьба толкает честного человека на тернистый путь служения народу. Вот такая судьба выпала мне на долю. Боли казахов стали моей болью. Поэтому, зная, что "32-й год" заведет меня на кручи трудной судьбы, не стал уклоняться от своей доли писателя. Зная, что могу потерять голову, решил описать геноцид Сталина и Голощекина против казахов, чтобы вывести правду на страницы истории.

– Агай, я все это понимаю. Я просто хотела узнать...

– Да, кстати, о ребенке.

– Да, агай.

Зеленый ветер бродил и шевелил вершины елей, а мне нужно было во чтобы то ни стало дать ответ тебе, сидящей в Алма-Ате.

---

[1]Ласковое обрашение к младшему – *душа моя*.

Назыкен! Ты же была такая понятливая, должна была сама все уяснить. Сколько раз мы встречались с тобой, сколько было бесед. Говорили о жизни, делились мыслями, не строя особых планов. Из этих диалогов я понял, что ты тоже обиженная судьбой горемыка-одиночка. Я увидел, что у тебя большое сердце. Нашелся бы другой человек, который так проникновенно понял твою израненную душу. Сомневаюсь! Однако в этом ничего удивительного нет. Чего я только не видел в своей жизни? Среди женщин, которые встречались мне на жизненном пути, не было ни одной, которую можно было бы назвать безусловно счастливой. Я видел, что за их цветущими улыбками и смехом, словно за маской, скрывается печаль, а то и грызущая тоска. Они же мастерицы навести макияж и все такое. Такие розовощекие красотки напоминали мне привлекательное яблоко, незаметно подточенное изнутри червем. Приглядываясь, понял, что ты тоже подобна такому плоду, давно подточенному червем. Не раз слышал от тебя горькую жалобу: "Я не нашла своего места в жизни. Дожив до такого возраста, не смогла стать ни певицей, ни артисткой", – сокрушалась ты. Поэтому во время съемок последнего фильма я упросил режиссера снять тебя в двух-трех эпизодах. Но от этого твоя печаль-забота не уменьшилась, напротив, увеличилась. Ты уже ни во что не ставила эти два-три эпизода, тебе хотелось сыграть в какой-нибудь главной роли. "Тебе хочется сниматься в кино, не лучше ли было завести отношения с режиссером?" – как-то высказался я. На это не обижайся! В жизни нет ничего бесплатного. Все продается. Жизнь есть ярмарка. Один из тех, кто вдоволь наторговался на этом базаре, это – я, среди них могла оказаться ты, Назыкен. Подумай, как мы пустили бы на это торжище невинного ангелочка, сделавшего первые шаги, на обменные ряды, где царствуют лукавство, лицедейство, бесчестие, где свирепствуют сила, деньги, подкуп, подлый механизм, где в мясорубке вращаются не винтики, а живые люди? Если для ангелочка все это – сплошная неизвестность, мы-то в неведении не были, мы-то знали, что его ждет. Ведая все это, могли ли мы утешаться наивным самообманом? Почему мы не должны заботиться о будущем невинного ребенка? Если не мы, кто должен

думать о будущем такого создания? Мы же не животные, озабоченные только телесным инстинктом, способные только на продолжение своего рода. Такого отрока надо оградить от опасностей, тревог, подрастить до определенного возраста. Можно ли назвать родителями таких людей, которые не в состоянии обеспечить все это? Какие они родители, если, пребывая на Земле, не могут ни приласкать ребенка, ни приголубить его, ни – быть постоянно рядом с ним? Это одна из причин, сковавших мою волю; как ты думаешь, можно ли назвать обществом, способным принять юную душу и обеспечить ей безопасную жизнь, коллектив, в котором существуем мы? Посмотри на окружающий мир! Как ты думаешь, кто из оказавшихся в самой гуще бытия, купается ныне в довольствии? Посмотри внимательно? К примеру, возьми себя… Ты окружена братьями, отец и мать живы, но ты стонешь в тоске, будто тебя поджаривают на чугунной сковороде. Ради чего обрекать на еще более крутые муки дитя, которое ты носишь в чреве и собираешься явить свету? Разве не обречен этот несчастный на юдоль сиротства и одиночества до тех пор, пока не окрепнут его члены, и он не научится добывать себе хлеб насущный? Он еще не явился с криком в мир, но посмотри, беднягу уже поджидают безотцовщина, лишения и унижения, бедность, заявляя свои права на него? Кто поручится, что этого несчастного не ждет такая горькая судьба?

– Ты поручишься! – возмущенно сказал Повелительный голос. – Ты порука! Ты отец ребенка, до самой смерти должен исполнять отцовский долг!

– Конечно, должен. До самой смерти! Однако кто поручится, что отец будет жив, пока ребенок не повзрослеет.

– Агай, вы, оказывается, не любите детей! – твой голос донесся из Алматы.

Стоя на окраине Праги, я чувствовал, как во мне вскипает праведный гнев:

– Назыкен, ты меня не поняла!

– И, очевидно, не пойму, агай. Я считала вас самым добрым, самым участливым человеком на Земле. К сожалению.

– Я тоже сожалею об одной вещи. Я сокрушаюсь о том, что Всевышний сотворил мужчину и женщину на острие противоречий. Нет на свете более неудачных созданий, печальников, которые не способны понять друг друга.

Повелительный голос снова вмешался в беседу.

– Не только ты, сам Аллах был раздосадован, сотворив Адама и Еву. Разве не прогнал он прародителей наших из рая, предварительно прокляв их за то, что поддались искусу змия-дьявола?

– Ты правильно сказал. Творец изгнал из рая Адама и Еву, подвергнув их громовому проклятию. Они опустились на землю. Их сыновья совершили первое роковое деяние, Абыл был убит Кабылом. С тех пор беды и несчастья до сегодняшнего дня преследуют род человеческий!

Едва мысли Едыге дошли до этого момента, они внезапно рассеялись. Оставив Прагу позади, шаровой молнией он пронесся по миру и очутился в песках Аккума.

Очнулся на тахте в аульном дворе. Сон словно корова языком слизнула. Оглянулся в поисках причины, разбудившей его. Оказалось, повинен в том бродяга-ветер, свежий и прохладный. Отзываясь его порывам, на крышах сараев шевелились стога сена, ныли провода на телеграфных столбах. Над восточным горизонтом алым сполохом вставала заря. Багровая луна тихо уходила в пределы Запада. Гасли редкие звезды. Аул мирно спал.

По возвращению в Алма-Ату я и не пытался искать тебя. Я был оглушен известием, что книга “32-й год” выпала из плана издательства. На всех парах помчался в ЦК. Но в конце концов, убедившись, что дело с “32-м годом” безнадежно, прекратил борьбу. Вернувшись из приемной секретаря ЦК, в полной прострации весь день лежал на диване. На следующий день немного пришел в себя. Внутри меня бушевало темное пламя, – не знал, куда деть себя от снедающей меня тоски. В таком состоянии человек избегает встреч с кем-либо. В депрессии он, если ищет кого-либо, то лишь единомышленника – спасительную опору. И я стал искать тебя. В тебе я чаял найти исцеление травмированной душе. Я должен был тебя увидеть.

Пробираясь среди нагромождения пестрых домиков, я брел по узкой улочке, стиснутой склонами кенсайских

холмов. Был ранний вечер, закат окрашивал деревья и дома в красный оттенок. Оставив машину внизу, неся в пакете бутылку виски, поднимался тропой вверх по склону. Ноги то и дело оскальзывались. Шел, не замечая, не слыша людей, проходящих мимо. Голова словно полыхающий жаром пустой казанок. Как я пережил эти три месяца командировки? Бог весть. Да и встреча с тобой не сулила мне облегчения, но и не увидеться было уже невмоготу. Бог знает, что ждало меня в твоей крохотной комнатенке? Если проливные слезы, то не лучше ли повернуться и бежать прочь, пока не поздно? Но куда я убегу от самого себя? Сколько бы ни убегал, рано или поздно неодолимая сила вернет меня к твоему порогу. Поднимаясь на гребень увала, подумал о себе: наверное, на свете нет души, более жалкой, увязнувшей в сетях рока. Разве не безумец ты, коли связался с молодой девчонкой, когда тебе перевалило за пятьдесят. Что за *путь* такой у тебя, что в тягость и тебе самому и ближнему твоему? Разве подобает такое стареющему человеку? Или мало тебе той головной боли, что замаяла тебя в собственном доме? Если у человека есть голова на плечах, окажется ли он между двумя свирепыми огнями? Ну что ж, хлебай кашу, которую сам заварил! Ешь досыта плоды своего легкомыслия!

Идя по узкой тропке, петляющей меж кургузых домиков по склонам кенсайских холмов, я был полностью погружен в свои мысли. Наконец, добрался до двери твоего жилища. Сдерживая дыхание, замедлил шаг. Посмотрел на окно, там чернела тьма. Не было заметно признаков жизни. Подождав немного, осторожно постучал в дверь. Ни звука изнутри. "Не переехала ли на другую квартиру?" – мелькнуло в голове. Однако во мне горела решимость непременно увидеть тебя сегодня, поэтому постучал в дверь сильнее. "Кто там?" – послышался твой голос. Я испугался и обрадовался одновременно, сердце застучало так, что в глазах потемнело. "Это я!" – ответил и слегка кашлянул.

Дверь со скрипом отворилась, на пороге появилась ты, в красном халате, лицо было бледное и осунувшееся. Ты уставилась на меня.

– Салем! – отвел взгляд я и, склонив голову, прошел в комнату. Ты какое-то время с немым удивлением глядела на меня. И вдруг в мгновение ока повисла на мне. Я стоял

ошеломлённый, измученный и счастливый. Я обнял тебя и оцепенел, не в силах произнести хотя бы слово. Ты первой пришла в себя и легонько отстранилась. Нет, ты слегка оттолкнула меня в грудь, повернулась и подошла к окну. Ты стояла спиной ко мне у окна, затянутого белой тюлевой занавеской, давая знать, что на меня обижена.

– Как твоё самочувствие? – сказал я, не найдя других слов. Ты молчала, колупая ногтем подоконник. И я вновь поразился красоте твоего тела, похожего на мраморную статуэтку, изваянную рукой гениального скульптора. Взгляд мой скользнул по плечам, затем полным бедрам. "Похоже, сделала аборт", – подумал я.

Сел на стул. Обвел взглядом единственную кровать, занимавшую большую часть крохотной комнатки. Знакомая, щемящая сердце картина.

Ты вытащила из кармашка платок, принялась вытирать глаза. В эту минуту я вспомнил, что у меня припрятан подарок, специально купленный для тебя. Это была золотая цепочка с кулоном. Нащупав цепочку и взяв ее, я подошел, осторожно соединил застежки на твоей шее. Твои нежные пальчики дрогнули, нашли цепочку и принялись гладить ее.

– Рахмет! – на твоем лице засветилась улыбка. До последней минуты ты не взглянула мне прямо в глаза. Ты глядела в зеркало, висевшее на стене, и продолжала ласкать цепочку.

– Тебе идет! – сказал я.

– Спасибо, – сказала ты и улыбнулась. Угу, понятно: перед моим приходом основательно проплакалась, теперь же смотрелась в зеркало и легонько массировала кожу вокруг глаз. Начала поправлять волосы. Я же стоял и возносил множество благодарностей Богу, за то, что Он создал женщин такими доверчивыми, отходчивыми, подобно малым детям. Благодаря легкому женскому нраву, черные тучи, недавно громоздившиеся над моим горизонтом, разошлись, и мир радужно засветился.

Я почувствовал, что свинцовый груз свалился с моих плеч. Затем, двигаясь раскованно, вытащил из пакета бутылку шотландского виски, поставил на стол. Ты повернула голову, тепло взглянула на меня:

– Когда вы вернулись?..

Я не выдержал, рванулся, схватил тебя за талию, изо всей силы притянул к себе, обнимая, целуя в шею. Железные пружины застонали под нами, когда мы двоем рухнули на кровать. Я обнимал тебя, зарываясь лицом в твои волосы. На этот раз ты не оттолкнула меня.

– Прости меня! – шепнул я, вдыхая терпкий запах твоей шеи. – Когда ты сделала это?

– Прошло два месяца!

– Прости! Прости!

Ты опять безмолвно запечалилась. Увидев это, я виновато уставился вниз. Помолчав, ты сказала:

– Это был мальчик...

Кровь бросилась в лицо, оно запылало огнем, меня будто оглушили пощечиной. Я тяжело вздохнул. Рука, обнимавшая тебя, сама собой безвольно упала. Ты тоже встала с места. Двигаясь тихо, принялась готовить чай. Потом бесшумно накрывала на стол. Мы обменивались малозначащими фразами, но при этом ясно читали мысли друг друга. "Мы убили его! Мы умертвили его!" – вот какие это были мысли. Ты ходила по комнате, ставя на стол посуду. Мои глаза блуждали по комнате в поисках рюмок, чтобы скорее выпить и заглушить чадный огонь, опаляющий душу. Мои пальцы нащупали колпачок бутылки и стали откручивать. Не выдержав, сорвал колпачок с горлышка. Ты поставила на стол два стакана. Я налил. Не дожидаясь, пока закипит чай, поднял полный стакан и опрокинул себе в рот. Обжигающая жидкость как будто немного притушила бурлящий внутри темный огонь. Не в силах дождаться чая, я отправил следом еще один стакан виски. Наверное, ты впервые видела такое с моей стороны. Я расправлялся с виски, словно в зелье воплотился неискупимый долг отца. Ты смотрела на меня с испугом. Я отломил ломоть черного хлеба и начал жадно запихивать в рот. Пока не выпил полную пиалу горячего чая, я не в силах был оторвать взгляд от пола. Голова была словно свинцом налита. Молчал. Ты тоже безмолвствовала. Когда протянул руку за второй пиалой, ты нарушила молчание:

– Что с вами, агай?

Я снова взял бутылку и налил виски в пустой стакан.

– Прости!

– А что там? – спросила Назыкен, неприязненно покосившись на бутылку.

– Западная водка!

На этот раз ты немного отпила. Наморщила нос и поставила стакан на стол. Я почувствовал, как поднимается настроение. Лоб немного взмок.

– Сколько прошло дней, как вы приехали, агай?

– Пять дней.

Она с удивлением посмотрела на меня. "И с тех пор не искали меня?" – спрашивали ее глаза. О, Боже! Я не видел на свете ничего чудесней ее взгляда, сияющего искристой бездонностью, я тонул в его лучистом смородиновом блеске. Мы оба вдруг улыбнулись. И эта маленькая комнатенка, похожая на птичье гнездышко, тотчас преобразилась, заиграв особенным светом, превратившись в райский уголок. Я взял твои тонкие пальцы в свои ладони.

– Причина моего опоздания... – помолчал немного, ибо речь зашла о судьбе книги. – Дело в том, что "32-й год" не будет опубликован, Назыкен!

– Почему? – вырвалось у тебя, глаза стали большими. Пальцы, покоившиеся в моих ладонях, вздрогнули, словно по ним прошелся удар тока.

– Цензура, – уклончиво ответил я.

– Как же так! А друзья?.. А знакомые – они же есть во всех инстанциях? – ты не могла скрыть своей горечи. Пришлось объяснить:

– Они-то как раз и выступили против книги. По их мнению, я совершил политическую ошибку, поднимая тему голода. Один мой товарищ, работающий в издательстве, отругал меня: "В наше время думающий человек не стал бы тратить время на такую книгу".

Ты с грустью опустила голову. И я понял, что ты близко к сердцу приняла беду, которая обрушилась на мою голову. Ты была готова разделить со мной тяжесть этой ноши. И мое сердце растаяло. В груди вспыхнул жар признательности. Я прижал тебя, печально поникшую, нежно обнял. Стал истово ласкать. Со всей силой соскучившегося чувства принялся целовать сомкнутые веки, дрожащие губы. Обнимая тебя, всем сердцем

чувствовал твое тепло. Умри я в ту минуту в твоих объятиях, была бы то сладкая смерть. Но своенравная смерть не приходит, когда ее призывают. Она приходит, когда ее не ждут. Она выслеживает, идет по пятам и наносит неожиданный удар, когда жертва беззащитна...

– Теперь ты поняла? – спросил я после паузы.

Ты сидела, положив голову мне на плечо, твои смеженные ресницы приоткрылись, и тьма зрачков вопросительно полыхнула:

– О чем ты?

– Почему я был против.

– Нет.

– Не хотел увеличивать ряды несчастных людей, таких, как я сам.

– Агай, не говорите так!

– Я сюда пришел неживым человеком, Назыкен!

– Агай, не говорите так – я боюсь!

– Назыкен, это общество убило твоего агая! – сказав это, я вновь протянул руку к бутылке виски.

– Агай! – твои руки успели раньше моей и убрали бутылку в сторону. Ты смотрела на меня сердито и испуганно. Этот твой поступок пришелся мне по душе. Я полностью подчинился твоей воле. Я уставился в пол, ты пристально глядела на меня. Так некоторое время сидели молча.

– Нынешний строй не только духовно убивает тебя. Он прибегает к тысяче методов, чтобы не дать тебе воспрянуть. В Праге я жил в доме Леуша. Не дом, а дворец. Он сказал: это наследство, доставшееся от отца, особняк, построенный еще до войны. Этого богатства хватит не только Леушу, но и его детям, внукам. Я же к этому возрасту со всеми своими домочадцами до сих пор не могу выбраться из трехкомнатной квартиры. Эта квартира к тому же принадлежит не мне, а государству. Если завтра на свет явится с криком младенец, к тому же сирота, какая у него будет жизнь? Если у него даже самого малого – крыши над головой нет, что за существование будет у бедняги? Видя это собственными глазами, как я смогу жить на свете?

Ты молчала, ты не смела мне возражать.

15

В тот день я так и не смог объяснить тебе всю глубину своей мысли. Я, кажется, нес какую-то детскую чепуху. Не зря ведь сказано: “Мысль изречённая есть ложь”. Сокровенное, переходя в слова, превращается в банальность. Не получилось высказать все, что хотелось. Даже само это стремление было ошибкой. Разве не бывают в жизни людей невыразимые ощущения и состояния? Их можно понять лишь интуицией.

Судьба сегодня как будто приготовила для меня те самые откровения, что, прокручивая в уме, я хотел довести до твоего сознания. Повелительный голос шепнул мне: “Сегодня день твоей исповеди!” Верь или не верь, – так оно и было. Говорят: “Без надежды остается один только шайтан”. Человек до последней своей минуты, до последнего вздоха надеется на лучшее. Живет он безоглядно и беспечно, словно для него уготована вечность. Даже если ему скажут: “Завтра ты умрешь”, – не поверит. Я был одним из таких. Головоломные проблемы бытия для меня, стопроцентного пессимиста, едва ли будут исчерпаны в ближайшее время. Я думаю, они будут висеть надо мной даже тогда, когда мне перевалит за семьдесят, за восемьдесят. Почему так? Не знаю. Кто познал до конца природу человека? Я в магию случайности не верил. Я знал: все подчинено неумолимой логике, а потому всегда полагался на разум. А исходя из этого, понял, что Повелительный голос не случайно шепнул мне кое-что на ухо. Никак пронюхал что-то, прохиндей! При всём при том он был предельно краток:

– Отбрось наконец-то фантазии, Едиге, и обратись к своей совести!

Ну, что на это скажешь?..

Просыпающийся аул подавал признаки жизни. По улице мел холодок сквозного ветра. Верхушки кустов шелестели, пристраиваясь к ветру и качая кронами, старались так же уныло свистеть, вплетая свой голос в печальную мелодию стихии.

Я сбросил с себя остатки сна. Был мрачен и сосредоточен. Горизонт заволокли слои багровых, длинных облаков, сквозь которые мелькали лучистые

просветы. На солнце словно бы наброшена тонкая темно-пепельная вуаль. Окраиной аула и далеко в степи, крутясь, бежали взлохмаченные пыльные вихри, вспучивая серые клубы песка. Похоже, начиналась буря. Где-то в дальнем конце аула тонко верещал верблюжонок, и плач его терялся в заунывном вое ветра. Эти безумства пустыни мне были не в новинку. На Бозое такие бури свирепствуют все лето и осень. Стоит только ветру набрать силу, и он будет яриться двое-трое суток, пока не поднимутся в исполинский рост ревущие смерчи. Темная пелена, затянувшая горизонт, и несущиеся вскачь пыльные вихри – верные гонцы взбеленившейся непогоды.

По улице брели, со стуком переставляя копыта, коровы. По дворам, обуреваемым порывами, там и сям перемещались темные фигуры. Брезентовая палатка, поставленная вчера для свадебного тоя, дрожала, словно грешная душа, хлопая развязавшимися углами. Над домами летели, мелькая, обрывки бумаги. Приближался свирепый шквал, что с гулом вот-вот обрушится на аул. По логике вещей, пока не начался этот сущий хаос, загодя сел бы я в красный жигуленок, и со словами: “Пока жив, найди свой очаг”, – помчался бы в сторону Алма-Аты. Но именно сегодня – что там буря, пусть даже небо обрушится на землю, – я не хочу, я не готов вернуться в город.

Махнув рукой: “Алма-Ата... куда она денется?” – я вышел на окраину аула и зашагал в глубь степи. Свистящий ветер, будто вращающееся красное солнце, именно сейчас странно и необъяснимо нравились мне. Вчерашний душный и недобрый зной – о, какой разительный контраст в сравнении с упругой громадой прохладного воздуха, несущего свежесть и блаженство, пронизывающего легкие и все поры тела. На душе полегчало.

Меня влекли широкие просторы, начинающиеся сразу же за аулом. Я шел, посматривая на выжженное, бугристое полотно степи, с начала лета не видевшее ни капли дождя, оно вконец изныло от жары, и теперь растрескавшимися губами жадно глотает прохладу и свежесть. Не видно ничего, за что зацепился бы взгляд. Тем не менее, внимание то и дело притягивали сгрудившиеся по склону

Сарыжагала темные мазары и могилы, встопорщившиеся на них полумесяцы.

Он шагал, подставляя лицо ветру и погруженный в думы. Мнилось: в механически двигающемся теле нет ни капельки души. Может, оно и лучше, что души нет? Если бы она была на месте, какой болью исходило бы тело? Возвращаться домой не хотелось. Вот покажусь я в городе – и что?.. Неизбежные встречи с друзьями, знакомыми. Они слышали, знают, что книга, забравшая у меня все силы, – труд, над которым нещадно корпел я годы и годы, загублен на корню. Конечно, событие это стало предметом пересудов. Возможно, таким образом хотели выразить сочувствие бедному писателю Едыге Булышову. Ещё бы! Разом перечеркнуть книгу, которой он отдал всего себя, это же равносильно убийству человека!

Но если бы пострадал только он, если бы вся махина этого горя обрушилась бы лишь на его забубённую голову, всё бы оно ничего. Однако самое горькое в этом то, что вместе с ним все непомерные тяготы несет ни в чем не повинная семья. Получается, что я сделал заложником беды всех своих близких. Вместе со мной они пали духом, со мною они оказались во мраке. Они тоже отравлены моей депрессией. Во всем ты виноват, Едыге! Ты не захотел жить по законам времени и пошел против течения.

При этой мысли сердце крутанулось, словно обожженное огнем. Оно неровно, аритмично забилось, вызывая слабость. Лицо вспыхнуло жаром, словно по нему прошла раскаленная волна. От этого жара заныли кончики пальцев. Но тут же следом его пробрал холодный озноб. Душа не унималась, не знала, куда деть себя. Ноги, бедные ноги… Они вышагивали сами по себе, неся хозяина куда-то в неизвестность. По обеим сторонам дороги топорщились сухие кусты дузгена, с жестяным шорохом шевелились, поскрипывали. Этот царапающий нервы звук навевал еще большее уныние, ввергал в печаль. Тонкий скрежет и посвист жухлой растительности вплетали свой голос в низкий, словно идущий из пропасти, гул ветра.

Полосы и пятна яркого света смешались с тенями на земле. От ширящейся пыльной завесы солнце побагровело, погружаясь в мутную пелену.

Я шел среди кустов дузгена и карагана, беспорядочно разбросанные по склонам холма. Душа скорбела. А мрачная, пыльная какофония опрокидывала душу в щемящий и безвыходный минор. Казалось, пространство и душа сошлись в этом заупокойном дуэте. Дали сдвинулись с мест, неслись в пыли, словно дикие кони, весь мир встал на дыбы…

А знаешь, в детстве ты любил в такую непогоду, съежившись зайчонком, прятаться где-нибудь под гудящим кустом жынгыла. Если буря застигала далеко от аула, собрав отару, ты забирался под кустарник, и там, закутавшись в старый чапан, утомленный, отчаливал в мир сна. В туркменских пустынях, на Устюрте и берегах Эмбы голос ветра как будто иной. Настоящая буря показывает свой нрав именно там. И сейчас этот ветер, бегущие по пескам вихри при всей своей жути напоминают тебе дни пастушеского детства. Как будто из далекого прошлого знакомый голос подал тебе весточку. Всей душой ты внимал стенанию кустарников. То и дело останавливался. Свистящий ветер разбудил спящий мир. Все великое поднебесье, поверхность земли, все видимое пришло в движение, с шипением и шорохом, воем и гулом двинулось в общем потоке.

Куда он сейчас идет? Что им движет? Бог весть! Ничего не может он понять. Но если вникнуть глубже, само бытие разве не таково? Всю свою недолгую жизнь ты непрестанно рвался куда-то, карабкался, и суета была твоим уделом. Все стремились учиться, ты тоже вместе со всеми. У всех была своя цель, и у тебя тоже своя. Однако ты не отдавал себе отчета, есть смысл в этой цели или нет? Ты был уверен, что, одолев все преграды, принесешь пользу своему народу. Все годы сознательной жизни ты жил как одержимый. “32-й год” – тому доказательство. И что в результате?.. Ну был ты подвижником, старался не обидеть ближнего, мухе зла не причинить, лишь бы правду сказать. Большую, сокровенную, горькую правду о судьбе своего народа. И чего ты добился? Стал жертвой собственной судьбы. Другие преуспели во всем. Они в седле, они верхом, они рвутся к призам и славе. А ты?.. Почему ты не вместе с ними? В чем же вина твоя, Едыге, в чем ошибка, чтобы вот так унизительно пасть перед всеми?

Повелительный голос вцепился в него:

– Ах, в чем твоя ошибка? – то был тон прокурора. – Твой просчет в том, что ты взялся за перо. А взявшись за перо, принялся чернить трудовой народ, Советскую власть! Так что не надо есть себя поедом и сокрушаться, что “32-й год” выброшен из планов!

– Что ж, я должен праздновать?

– Нет, ты должен был хорошенько подумать. “32-й год”, даже если бы увидел свет, был обречен на погибель!

– Кто знает…

– Ты знаешь! Именно ты! Разве не помнишь, как с жаром доказывал: “Если казахский язык будет продолжать деградировать, то самое большее через пятьдесят лет его придется заносить в Красную книгу”.

– Но это правда!

– Конечно. Ты словно в воду глядел! Действительно, лет через пятьдесят этому языку придет конец.

– Чтобы у тебя треснула челюсть!..

– Кричи не кричи, переживай не переживай, – так будет. Это закономерность истории! Через пятьдесят лет в Советской стране забудут слова казах, кыргыз. Вместо них займет свое законное место одна нация – советский народ. У нового народа будет свой язык – русский! Такова политика партии. Вот так, братишка! Уяснил? В политике этой причина того, что твои статьи, защищавшие казахский язык, не были опубликованы! Они шли вразрез с линией партии.

– Эй, чтоб твоей партии!..

– Придержи свой язык!

– Вот так-то.

– Языковая проблема была одной из причин твоего нежелания возвращаться в Алма-Ату. При виде того, как с каждым днем прибавляются на улицах Алматы толпы “новых казахов”, забывших родной язык, твое настроение портилось, на душе становилось скверно, хоть на край света беги. Стоит выйти на улицу, всюду натыкаешься на молодежь, говорящую по-русски. Видишь стариков, балагурящих с внуками по-русски, мать, перешептывающуюся с дочерью на этом языке. И становится не по себе. Солнце и луна на месте, но что стало с казахами? Ни с того, ни с сего злость охватывала тебя, ты начинал

тонуть в черном раздражении. Едва удерживался от того, чтобы не наговорить резкостей этим глухонемым людям. С трудом сдерживал вопль души. И все же ни звука не выходило из твоего рта. Шел себе по улице, кипя гневом, отравляясь собственной горечью. Стоит подать голос, как окажется, что ты нарушаешь развитие интернациональных отношений народов, мирно строящих социализм. Тотчас предстанешь в глазах граждан хулиганом, националистом, вносящим разлад в спокойную жизнь нового общества, шагающего к светлому будущему. И погонят тебя в тюрьму, но сначала охают – все равно что посадят на осла лицом назад, вымажут черной сажей. Зная это, не лучше ли тебе вместо общения с толпами манкуртов на улицах Алма-Аты, воздеть руки вверх и бежать прочь, куда глаза глядят?

Шквальный порыв ветра, обрушившийся могучим валом, воя и шипя, едва не сбил тебя с ног, едва не унес в эту гулкую жуть. Ты выбросил из головы мысли, широко открыв глаза, оглядел окрестности. Однако горизонтальный ветер, несший песок, не давал возможности осмотреться. Ревущие вихри, выстроившиеся в беснующийся ряд, крутясь, клубясь, летели мимо, лишая ориентиров.

Пошатнувшись, ты едва устоял на ногах. Весь мир, придя в хаотическое движение, катился прочь, соревнуясь с косматыми смерчами. Под ударами ветра кустарники дружно клонились в одну сторону, издавали зловещий, многоголосый свист. Как будто именно этого ты ждал, потому что сказал одобрительно: “Барекельды[1]! День, когда Едыге покинет мир, должен быть необычным”. Начались изменения, которые ты так долго ждал. Как необычно выглядит лик разбушевавшейся природы! Эта свирепая буря словно неотъемлемая часть, малая толика необъятным, необозримым валом вздыбившейся земной природы. Ах, степь моя, заменившая мне отца и мать! Золотая моя, чистая, бесценная колыбель! Поверит ли кто-нибудь, что единственное чудо, виденное мною на земле, – именно твой лик! Кто поверит, что только в пространственном природном существе нашел я

[1] Возглас одобрения, языковой субстрат.

обетованную истинную красоту. Не хватило мне времени как следует воспеть ее. Нет для меня другой такой земли, которую можно было бы сравнить с этими сухими, изнывающими без влаги, полынными увалами, желтыми, протяженными лощинами и балками. Нигде больше не найти такие беспредельные, божественно осмысленные, крылами раскинутые долы, источающие чистые мелодии, звучащие под сердцем. И если в своей короткой, словно рукоять камчи, судьбе, не смог я насытиться панорамой божественного мира, – все равно благодарен ему за одну вещь. Я благодарен Богу за то, что видел и любил тебя, моя степь! Одному Творцу известно, что ждет меня на том свете. Даже если поместят меня в раю, все равно буду искать встречи с тобой, степь моя!

Пыльная буря заволокла все пространство. Едыге посмотрел на небо. Солнце, приблизившееся к зениту, прояснилось, оно висело багряным шаром. Кинул взгляд назад. Аула среди мутных бурунов не видно. Прищуренные глаза могли различить только небольшой участок взбаламученного окоема. Нашпингованный песком и пылью, гудящий воздух не давал возможность открыть глаза. Волосы хлестали по лицу, заворачивались космами, пришлось снять майку и обмотать ею голову. Рубашку оставил не застегнутой. Тотчас ветер принялся греметь, махать, словно крыльями, полами рубашки. Когда в последний раз ты подставлял так ветру обнаженную грудь? Этого в памяти не было. Как хорошо!

Присел на колени среди темно-серых кустов. Сидел какое-то время с зажмуренными глазами среди отчаянно мотающих верхушками, завывающих кустов карагана. Вдруг послышался грохот и скрежет кувыркающегося ведра. Ржавое жестяное ведро, соревнуясь с перекати-поле, помчалось по солончакам.

Ты зажмурил глаза и отдался борению мыслей:

"Почему ты сидишь? Откуда пришел и куда идешь? Откуда ты взялся на лице земли? Какой смысл в том, что ты куда-то идешь?" На эти вопросы не смогла бы ответить ни одна живая человеческая душа. Сознание! Все беды от тебя, сознание! Наступит ли такой день, когда ты замолчишь навсегда и завяжется узлом твой язык? Ты не давало мне ни минуты, ни часа, ни дня покоя. Я устал

следить по твоей воле за бессмысленным бегом мыслей, словами, суетой окружающих людей. Из наследия раба божия Адама, самый неудачный дар – это ты? Вот уже третьи сутки без устали, без сна и покоя гложешь, сосешь мои мозги! Идешь по пятам, преследуешь. И признаков не видно, что хочешь отступиться. Чем быть разнесчастным человеком, не лучше ли обратиться зверем, рыщущим по холмам, не лучше ли снова народиться деревом, но с глубокими корнями?

– Ты опять ошибаешься, Едыге! – вмешался Повелительный голос. – Чтобы жить в мире без забот и печали не обязательно быть "рыщущим зверем" или "укорененным деревом". Достаточно быть простым мирным строителем коммунизма. Оглянись вокруг себя! Посмотри на чабана, заворачивающего отару, на механизатора, едущего по лугу за рулем сенокосилки. Ни один из них не находится в состоянии "беснования ума". Они не знают даже, что такое печаль. Правду говорю, не знают. В свое время ты не захотел понять это. Хотя я вовремя тебя предупредил. Предостерег, когда ты начал пропадать в библиотеках, тайком собирать попавшиеся в руки буржуазные книги и зачитываться ими. Сказал: это к добру не приведет! И вот сегодня ясно вижу, что буржуазные авторы, которыми от тебя на версту несет, нанесли тебе огромный вред. Если бы ты вовремя прислушался ко мне и выбрал прямую стезю комсомольца, сегодня не уперся бы в эту проклятую непреодолимую стену. Не стал бы тратить время на написание вредной книжонки "32-й год", идущей вразрез с линией партии, не пошел бы по неверной тропе. Посмотри на своих сверстников-сокурсников! Большинство из них сегодня на солидных партийных должностях, они ступают по жизни уверенно. По крайней мере сидят в креслах заведующего редакцией или директора издательства и в ус себе не дуют. И сами с усами, и окружающие довольны. Сами они и их семьи весьма удовлетворены, что имеют изрядно от судьбы: есть что намазать на краюху хлеба. А что еще нужно человеку? Скажи! Разве не есть это то самое счастье?

– Пусть они подавятся твоим счастьем! Мне его даром не надо…

– А что – что тебе надо?
– Ты этого не поймешь, Повелительный голос!
– Объясни! Может быть, я смогу помочь тебе!
– Нужна справедливость, и больше ничего.

Повелительный голос что-то хотел сказать, но ты уже не слушал его. Махнул рукой, встал с места. Ветер с остервенением трепал полы твоей рубахи. Пыльная буря превратилась в ревущий шквал. Окрестности уже не различить. С трудом виднелся лишь небольшой пятачок земли возле ног. Взметая хвосты пыли и песка, воющий ветер со всей силы толкал тебя в грудь. Пошатываясь, ты с трудом удерживался на ногах. Однако буря не хотела отступать, она словно озлилась на тебя. И все же ты, сжав зубы, шел. Было ясно, что ты заблудился. Однако, даже плутая, куда ты уйдешь? Поэтому ты шел все дальше, дальше, повинуясь неясному импульсу. Не лучше ли идти по просторам, отдавшись воле взбушевавшейся стихии, чем терзаться безысходными мыслями, загнивая в дебрях черной депрессии. Для Едыге, соскучившегося по темной мелодии степного дузгена, лучшей доли быть не может. И ты шептал воющему ветру, словно натравливая его: "Безумствуй! Бей наотмашь! Не жалей! Злись!" В общем гуле послышалась какая-то особенная высокая и протяжная мелодия. Этот звук взметнулся тонами выше рева бури. Ты поднял голову, пытаясь нечто различить в верхней мути через прищуренные веки. Ты увидел белые телеграфные изоляторы, которые то возникали из круговерти пыли, то вновь пропадали из виду. Ты понял, что надрывный звук – это стон телеграфных проводов. Ты сразу направился к столбам. Ветер накинулся на тебя со всех сторон, пытаясь повалить, прижать к земле. Он вырывал из-под ног буруны пыли, крутя, мчал вдаль. Стенание телеграфных столбов казалось голосом самого неба, это был ни на что не похожий звук. Тебе хотелось сблизиться с источником этого звука. Пройдя несколько шагов, поднял голову. Вибрирующие над головой провода исторгали жалобную, хватающую за душу мелодию. Казалось, в нечеловеческом стоне они изливали свою душу. Чудилось, что это плач необъятно плывущего темного неба, его голос, печальная песня. То был реквием безмерного, вечного пространства. Телеграфные провода,

заливисто плача и рыдая низкими руладами, пели о беспредельном и немыслимом существовании. Низко плывущее, поющее горловую песню, безмерное пространство отрешенно вглядывалось в маленькое двуногое существо – в Едыге. Оно таким образом как бы давало знать о своей жизни, масштабной, неизмеримой, выходящей за пределы времени. Дескать, эй, бедняга, слушай! Даже эта великая необъятная земля, на которой ты стоишь обеими ногами, ничтожная частица моей беспредельности. Не только ты сам, но и судьба всей планеты, в сравнении с беспредельностью, которая не имеет ни начала, ни конца, ни края – все равно, что взмах ресниц. Твоей бедной головушке с ее малыми возможностями не понять голос, подобный рыку бесконечности? Не только твоего интеллекта, но соединенных умов всех живущих на земле людей будет недостаточно, чтобы понять этот смысл. Конечно, тебе трудно воспринять такое. Не потеряешь ли ты, бедняга, свою суть, без конца поднимая голову к небу при звуке этой истины? Безвольный, ты увидишь, насколько ничтожна и бессмысленна человеческая жизнь. Увидишь и будешь ошеломлен. Устрашишься и впадешь в отчаяние. Затоскуешь и станешь чахнуть. Завянешь ты и ударишься в сардонический смех. Вот так, бедняга! Бытие таково! Рано открывать тебе сокрытые планы бытия. У тебя недостаточно сил и разума, чтобы воспринять, усвоить эту сверхглобальную истину. Ты убедишься, что ум, слух, зрение, все, что ты называешь своим восприятием, не приспособлены для уловления голоса вечности. Подобно тому, как умишка муравья, прытко бегающего по земле, недостаточно для понимания бытия человека, мало и твоих сил, чтобы понять сложность вечного космоса. Любой устремившийся постичь тайну жизни космоса рано или поздно упрется в непреодолимую стену, либо низвергнется в пучину. Однако, будучи сознательным существом, ты не можешь не задумываться. Будешь размышлять. Строя умозаключения, не можешь не углубиться в тайну бытия. В этом твое достоинство и твое несчастье, человек. В этом и есть все существо человека! Мечетесь, растекаетесь, силясь понять тайну мироздания.

Вот и сейчас твой ум пытается углубиться в бездну или вознестись в недостижимые высоты. Инстинкт совершенствования постегивает тебя, гоня к вершинам. И будет толкать в безмерные глубины. До поры до времени будешь от этого получать удовольствие, благость. Однако на этом пути тебя не ждет удача. Рано или поздно ты бросишь взгляд назад, чтобы оценить свое прошлое. Оглянешься на свою короткую, словно рукоять камчи, жизнь, и ужаснешься. Вчера, казалось бы, ты сделал первые шаги в жизни, только начал осознавать существование, как перед тобой зачернел предел. Увидев это, ты остановишься и задумаешься. Задумавшись, поразишься: "Какой смысл в таком существовании?" На этот заклятый вопрос ты не найдешь ответа нигде и никогда! И от того еще сильнее удивишься и, растерявшись, падешь духом, сын мой.

Телеграфные провода на всем своем протяжении пели словно тростниковые свирели, присоединяя заунывные ноты к воющему ветру. Странный, завораживающий глас провидения. Хотелось без конца внимать ему. Однако тут вмешался Повелительный голос:

– Не переживай! На эту загадку мы дадим ответ!

– Нет! – махнул рукой ты и зашагал дальше. Ты брел, подталкиваемый ветром, не желая уступать ему, упорно шагал, увлекаемый зовущим голосом проводов.

– Эй, оказывается, ты до сих пор не понял смысла бытия! Ха-ха-ха! – Повелительный голос издевался над тобой.

– Да, действительно, не понял. Если знаешь, поделись.

– Смысл жизни, братишка, нам давно известен. Во-первых, он в служении социалистической отчизне. Во-вторых, в честном труде; в-третьих, в заботах о семье. Быть достойным высокого звания человека – вот в чем смысл жизни. Что еще нужно человеку, помимо этого?..

– Выходит, ты доволен жизнью?

– А почему бы мне ни быть довольным? У меня есть все. Народ спокоен, здоров. Как говорится: "Живот полон и рубашка цела!" Что еще нужно, помимо этого? Я представитель поколения, которое прошло через военное лихолетье. Мы тоже вдоволь нахлебались сиротства, нужды, холода, голода. А теперь посмотри кругом. В каждом дворе по машине. Каждую неделю в аулах и

городах гудят тои. Когда, Едыге, казахский народ жил в таком довольстве, скажи, не лукавь! Каждый, что говорится, сыт, пьян и нос в табаке. Разве это не обетованное время, о котором мечтали твои предки, – мир, где на спинах овец жаворонки вьют гнезда? Я за это благодарен жизни! Спасибо партии! Спасибо Леониду Ильичу! Слышал, что он попал в больницу, пусть скорее выздоровеет мой герой! Он заботится о Казахстане, о казахах. Пусть будет здоров. Но теперь, обратившись к тебе, мы не можем не указать на твой серьезный недостаток. Если не обидишься, скажу в лицо!

– Говори! Осталось ли что-нибудь такое, что ты еще не сказал?

– Вот что я скажу тебе: ты эгоист, последователь и поклонник буржуазного индивидуализма! Ты и раньше не отличался идеологической стойкостью, теперь, пробыв три месяца за рубежом, и вовсе остался без руля и ветрил. В былые годы, Едыге, ты за это лишился бы головы! Ты должен спасибо сказать партии и правительству за то, что еще ходишь свободным по земле.

– Повелительный голос!

– Оу?

– Ты не знаешь одной вещи.

– Чего?

– Ты не знаешь, кто погубил наш народ.

– И кто же?

– Ни кто иной, как ты!

– Да ну? Вот так вот взял и погубил?..

– Теперь ты хочешь добраться до меня!

– Эй, ты, буржуйское отродье, что ты мелешь?

– Прочь! – вдруг заорал Едыге. Его взвинченный голос поднялся над гулом бури: – Пропади ты пропадом!

– Хорошо, пропаду, – ответил Повелительный голос и в самом деле исчез. Едыге снова обмотал голову белой майкой. Рубашка на торсе хлопала свободными полами. Стоял, проклиная кого-то, обнаженная грудь была подставлена шквальному ветру. Порывы подхватывали и тотчас уносили его отчаянный крик.

Едыге вдруг едва не разревелся. Он стоял, мотая головой. Однако ни одна слезинка не выступила из глаз. Судорожные спазмы одна за другой перехватывали грудь.

“Вы ели и пили, как хотели! Вы, на корню губившие народ! Говорят издавна: счастлив волостной, что похлопал его по плечу уездный начальник, – вы подобны курам, что рады клевать просо, рассыпанное рукой хозяина. Разве Арал, задушенный вашим арканом, единственная жертва? Казахский язык идет туда же следом! Народ, не успев стать нацией, превращен в толпу. Разве сознательный народ станет вопить с колониальной удавкой на шее: “Спасибо партии и правительству!” Разве зрелая интеллигенция станет баюкать свой народ ложной идеологией? Что можно ожидать от таких сынов народа, как вы, ублажающих себя мыслью, что и волки сыты и овцы целы? Вы можете и не мечтать о свободе, те, кто мечтал, давно спят в сырой земле, они расстреляны. Вы хотя бы сделали попытку увидеть удавку, затянутую на ваших шеях! Ведь у каждой вещи есть свое имя! Что можно ожидать от вождей народа, которые кричат на весь мир, что петля на шее – это божий дар?”

Повелительный голос ожил:

– Нет! Постой! Я не согласен!

– Известно, что ты скажешь!

– Нет! Не известно! Ты не убегай от критики! Твое слово “вы” задело меня за живое. Теперь ты выслушай!

– Хорошо, слушаю!

– Ты ходишь и уверяешь всех, что пострадал на пути справедливости, не так ли?

– Так.

– Ну что ж, если заговорил о справедливости, будем справедливы!

– Хорошо.

– “Тот, кто боится правды, не должен брать в руки перо”, – это твои слова?

– Да.

– Ну, в таком случае, братишка, будь справедливым! Сначала посмотри на себя критическим взглядом! Ироническим “вы” не марай лицо всей интеллигенции. Те, кого ты назвал “вы”, это не просто безличные души, а личности посильнее тебя. Они отвечали запросам своего времени и оставили народу гору трудов. Вот так! Так что, дорогой, ты не с неба свалился на грешную землю!

Ты рос, идя по следам предшественников. Учился искусству у них. И благодаря кому? Ты, парень, вчера еще приехавший из аула, разве плоть не от плоти их? Кто раскрыл твои глаза на положение вещей, если не они, лучшие сыны народа?

– С этим я не спорю!

– Постой! Не перебивай меня! Ты задел нас, сказав: "Вы подобны квохчущим курицам, что рады клевать просо, рассыпанное рукой хозяина". А ты, дорогой, разве сам не клевал зерно, подобно курице? Вот в чём загвоздка! Если бы ты знал, как квохтать, быть может, к сей поре достиг бы какой-нибудь цели. Однако ты не знал, что делать, так какой же прок обвинять кого-то?

– Все, хватит! Я сам во всем виноват!

– Ну, тогда и я прекращаю. Будь здоров! Кстати, чем талдычить "народ", "народ", не лучше ли тебе подумать о своей душе? Не забудь очистить дух свой!

– В самом деле?

– Ну, если не веришь, что мне делать? Будь здоров!

Повелительный голос пропал. Ты очень обрадовался, что легко отделался от него. С задором оглядел бушующее поднебесье. Астапыралла, во что превратился этот мир! Телеграфные провода надрывно стонали и плакали. Небо не давало земле опомниться, закрыв солнце серо-черными волокнами, крутя в вышине мутные омуты, вороша пепельные облака, оно гнало вихри табунами и мчалось все быстрее и быстрее. Подчиняясь этому всесильному потоку, все поднебесье, вся земная поверхность стремились к востоку. В этом же течении, подобно малой былинке, сорванной с места, трясясь, лавируя телом, двигался и ты. Порывы воющего ветра, внезапно умножая мощь, едва не уносили тебя в полет. Внутри тебя клубилась такая же буря – в душе нарастало смятение.

Петляя под ударами ветра, ты шел, согнувшись, нередко переходя на бег. Скорее это было не движение, а бегство. Видимо, время было уже полуденное. Небо окрашено бурей в зловещий серо-оранжевый цвет. Шальные вихри, мечась и рыская по сторонам, били и толкали в спину, как бы погоняя взашей. Из-под ног вырывались струи песка и пыли. Поверхность земли кипела, словно кишащий муравейник.

Едыге бежал трусцой. Бежать по воле ветра, толкающего в спину, совсем нетрудно. Едыге удалялся все дальше в неизвестность. Не было у него никакого желания возвращаться. Вот так убежит он от этого времени, от общества, от адского существования. Да, Едыге, конечно, спасется бегством. Он скроется вдали, там, где безвестность. Он пасынок своего времени, этого общества, чего ему еще ждать? Он исчезнет, и этим решится еще одна проблема человеческого треволнения. Разве не сказал Сталин: "Есть человек, есть проблема, нет человека, нет и проблемы!" А жизнь Едыге с самого начала была проблемой. Сначала он был проблемой для себя, потом для общества. Хватит ему разрываться на разные стороны! Он канет вместе со своей тенью. Воздев руки вверх, ринется опрометью, куда глаза глядят. Так сама собой решится проблема. И он навсегда освободится от этого хаоса и безумия. Достигнет вечной свободы. Жестокое время, в какое выпало жить, повернулось к нему спиной. Почему же он не может показать этому времени спину? Эпоха, схватившаяся с Едыге, оскалившаяся на него, – жестокая эпоха! Я проиграл! Ты победила! Я – один, вас – тьма тьмущая! Ты остаешься! Я ухожу! Сгину прочь! Прощай!

Клацая зубами, Едыге бежал среди клубов пыли, углубляясь в пустыню. Никто, конечно, не будет рад тому, что он пропал, но и плакать о нем не станут. Это суровое, безжалостное бытие всегда с готовностью обрушивалось против одиночек, и сейчас оно вздыбилось зверем над бегущим Едыге, готовое бросить его в какой-нибудь овраг и замести следы. Только это и осталось стихии, и ради этого она беснуется сейчас.

В беспросветной мути все слилось в поток, один только Едыге несся неприкаянной черной тенью. Взбаламученное поднебесье, неистовствующая земная поверхность сшиблись ради одной цели, – чтобы уничтожить человека, стереть его с лица земли. Бег Едыге, открытого всем ветрам, несущегося в серой пороше – как вызов злым смерчам, причина, уязвляющая их гордость. Он, этот вызов, разбудил всех джинов и бесов стихии. Но одиноко бегущий человек пока и не думал сдаваться. Он не желал падать, не хотел слиться с прахом. Он еще виден на поверхности земли, мозоля глаза силам зла.

Внезапно он заметил, что оказался у подножия желтых увалов Сарыжагала, уходящих горбами в поднебесье. Эти холмы сплошь были затянуты пыльной, бурлящей пеленой. С левой стороны среди белесых хвостов вихрей чернели угрюмые мазары, то возникая, то пропадая из виду. Ничего себе, неужели он так далеко ушел от аула!

Едыге двинулся в сторону скопища больших и малых мазаров, взметнувших ввысь жестяные полумесяцы, словно летящие над белесым холмом. Ему почудилось: там кто-то его поджидает. Подумалось: обойти кладбище нельзя. Стоило только взглянуть с увала на бушующий шторм пыли и песка, накрывший мир, как становилось ясно, что кладбище не угрожает, а предлагает укрытие и спасение от непогоды. Дрожа от пронизывающего ветра, окутанный клубящимся крошевом, Едыге приближался к могилам. Все выше поднимался по склону. С каждым его шагом мазары и могилы все ощутимей вырастали в размерах, как бы спеша навстречу. В крутящихся серых омутах купола и полумесяцы будто бы тянулись к нему, маня к себе одинокого путника.

На голой темени громадного косогора буря воспринималась иначе. Разъятые полумесяцы на куполах под порывами ветра протяжно гудели, то и дело переходя на жестяной звон. Засохшие карагачи в центре кладбища, издавая безумолчный скрежет, отчаянно мотались туда и сюда, словно горюющие плакальщицы. Этот душераздирающий звук придавал неистовому гулу бури запредельно дикий оттенок. Внимая этим звукам, смятенная душа еще глубже погружалась в темный транс. Казалось, в прощальной симфонии струна кобыза вибрирует заунывно и мрачно, заходится тонким стенанием сырнай[1]. Они исполняли хватающий душу кюй о безысходной трагичности существования. Едыге замер. Он обводил кладбище безумным взглядом, не узнавая местность. Почему он здесь оказался, кто и как завел его на кладбище? Вездесущий вещий ветер, неустанно толкающий в спину, загнал-таки его в теснины меж мазарами. Нет, он не успокоится, пока не проводит человека в могилу. Полыхающий многоголосый плач бури томил, не давал стоять на месте. Он гнал и гнал дальше. Он ярился, тянул

[1]Музыкальный интрумент, дудочка.

и рвал рубашку с плеч. Плотного сложения, тяжелый в костях, Едыге, всегда ощущавший свой вес, на сей раз как бы превратился в невесомое перекати-поле.

Он нашел натоптанную тропу меж мазарами и двинулся по ней, круша подошвами вылизанную корочку глины. Вокруг теснились ряды могил, последнего приюта тех, кто навсегда оставил земную юдоль, покинул в горести сей бренный мир. Здесь, под землей, лежат без разницы старые и младые, нашедшие вечный покой. Некоторых Едыге знавал при их жизни. Тропа, извиваясь между могил, привела на другую сторону кладбища, где он увидел темный бугор еще свежей земли. Здесь лежит Хансулу! Порывистый ветер, люто завывая, срывал комочки глины то с одного, то с другого края могилы. Белая тряпица, привязанная к доске, вкопанной у могилы, отчаянно трепыхалась. И он как бы воочию увидел тело покойной, вытянутое в длину, обернутое саваном. Эх, бренный мир!..

Едыге опустился на колени. Склонившись под ударами голосящей бури, прочитал молитву, адресуя душе Хансулу. Помянул всех аруахов[1], лежавших поблизости. И взгляд его упал на мазанку, одиноко стоявшую в стороне. Он вспомнил про несчастного Токтасына. Проведя ладонями по лицу, помянул душу бедного парня.

Стоило ему встать, как налетевший ветер толкнул в грудь и едва не сбил с ног. Качнувшись, еле удержался на ногах. Еще раз бросил взгляд на свежую могилу, повернулся и пошел прочь.

Мир по-прежнему был объят шабашом стихии. Стонало и ныло заволоченное небо. Перед глазами стояло лицо Хансулу. Нет, перед взором маячили два образа. Один из них – обернутое в саван тело, лежащее в земле, другой – витающий вверху дух Хансулу. Из этих двух образов – какой является реальностью, какой плодом воображения? Нет, он не в силах ответить на этот вопрос. Для него потустороннее существование – туманная и зыбкая проблема. Он не дошел до ясности ни в чем. Одни только предположения, догадки, рождающие сомнения и смуту, – прожив полвека, он так и не определился в понимании мира. Где ныне Хансулу, которая еще вчера сидела перед ним, будучи утешением взора? И что такое смерть? Как

[1]Души давно умерших людей, известных заслугами при жизни.

понять слово *умер*? Полное исчезновение в никуда или превращение в нетленный дух? Одно только ясно для него: Хансулу нет в этом мире, – остался от нее лишь ускользающий в памяти облик. Кто знает, есть ли в том мире ее дух? А может быть, она и не умирала, а, претерпев некую трансформацию, находится теперь в раю? Или правы сонмы тех, кто ставит под сомнение потусторонний мир, полагая, что это лишь сказки, фантазии религиозных ортодоксов, чтобы держать в повиновении наивных, набожных людей? Едыге терялся в догадках…

А на него обрушилась новая атака вздыбившейся стихии. О, создатель! Как все это понять? Что случилось с погодой? Что это за невиданный бедлам и хаос? Он повернулся боком к ветру, остановившись, искоса взглянул на небо. Прежних, протяженно плывущих небес, не было. Там была свалка багрово раскаленных, дико несущихся облаков. Летели они грязными льдинами бескрайнего половодья. А что им делать? Куда велит всевластный вихрь, туда кувырком и несутся, будто клочки сухой травы. Нет для них никакой другой доли.

Повернувшись спиной к ветру, Едыге побрел вперед. Теперь никто и ничто не остановит его на этом пути. Так он намерен идти все дальше в безлюдье, в пределы, куда не ступала нога человека. Никогда больше он не вернется назад. Оставив позади безумный мир, он канет за горизонтом. Он прожил свое, прожил то, что ему суждено было прожить. Не он первый и не он последний. О сколько их, случайно приходящих в этот мир и незаметно уходящих? Несметные толпы, безвестность ухода и прихода. И ты один из них.

В клубящейся пороше перед ним зачернел силуэт приземистого сооружения. Дрожащий как в ознобе, не успел понять, как заплетающиеся ноги сами поднесли его к строению. Воющий ветер, толкая в спину, подогнал трясущегося Едыге к двери. Домик, обращенный входом в сторону кладбища, когда-то стал для Токтасына последним приютом перед смертью. Теперь голосами камышинок, торчащих с кровли, он заунывно пел об одиночестве. Заброшенный и нелюдимый, казался он каменным надгробием, угрюмо вздыбившимся перед воинством серых, беснующихся тварей. Свистящий ветер

цепкими щупальцами трепал и обгладывал стены. Площадка у порога обдута дочиста, она была голой и гладкой. Неистовый напор воздуха давно унес отсюда всю пыль и весь песок. Камышитовые плиты, накрывающие мазанку, выбелены засохшим птичьим пометом, белесые потеки виднелись и на стенах. Глиняная обмазка мат прохудилась, и теперь кое-где они просматривались насквозь. Дверь, обитая рваным войлоком, была подперта толстой жердью. Как только взгляд упал на дверь, ему нестерпимо захотелось войти внутрь. После бушующего безумства открытого мира уединенная темная комнатка показалась Едыге тихим, уютным гнездышком. Мнилось: былой покой и дремлющее безмолвие порушенного мира остались среди этих глиняных стен, таясь в затхлости. Он почувствовал желание скорее укрыться в многообещающем убежище, чтобы прилечь там, перевести дух и собраться с мыслями.

Едыге отодвинул саксаульную корягу в сторону. Потянул за конец ремня, прибитого к двери. Полумрак, царивший внутри помещения, нелюдимой тенью глянул на него. Перешагнув через порог, в нерешительности остановился. Внутри домика стыла темнота. Запах сырой глины взял его в прохладные объятия. Только теперь в тишине он понял, какой бедлам бушевал снаружи.

Крепко закрыл за собой дверь. Поначалу в темноте глаза плохо различали окружающее. Слух не терзали воющие звуки. Маленькое оконце было заткнуто старой овечьей шкурой. Оттуда сочилась слабая струйка света, размывая полумрак. Минуту назад, открывая дверь, заметил он ветхую дорожку, брошенную на пол. Осторожно шагнул вперед, опустился на колени и погладил ладонью пол. Пальцы нащупали край алаши[1]. Он снял рубаху, положил на дорожку и со вздохом растянулся во весь рост. Алаша, постеленная на глиняном полу, показалась ему мягче пуха. Только теперь он понял, насколько устал. И как только ноги выдержали такую нагрузку? Он почувствовал болезненный жар, разливающийся по ступням ног. Внутри помещения надрывный стон и вой бури над солончаками слышались глуше. Едыге лежал, крепко зажмурив глаза. Не было малейшего желания о чем-либо думать. Одного хотелось

[1]Домотканая дорожка.

ему, чтобы в этой маленькой, словно осиное гнездо, комнатке остановилось навсегда его болезненно воспаленное сознание. Чтобы много дней горевшие в битве бедная душа и утомленное тело прекратили изнурительную деятельность и окунулись в *ничто*. Это желание занимало его больше всего. Думалось: эта затянувшаяся жизнь – разве не сон, долгий и недобрый? В самом деле, чем отличается жизнь от сна? Едыге возник из ничего. Слонялся туда-сюда по земле, все было так себе, ни шатко, ни валко. В один прекрасный день он свалился с ног. На этом ему пришел конец. Вот и все! Но дальше простирается бесконечная, бездонная пучина. Человек давно назвал ее: *другой мир*. Он как будто параллельный и в то же время противоположный земному миру. Что за прихотливая фантазия! Какая причудливая игра воображения! Почему бы ей и далее не оставаться фантазией?

Затихая в дреме, он услышал биение своего сердца. Были слышны лишь монотонные удары: тук, тук, тук... Кажется, приближается финиш в этой гонке, не так ли, Повелительный голос? Наверное, дальше ему уже не дано времени. Он чувствовал: бороться за жизнь сил у него не осталось. В нем будто угас огонь, который всю жизнь толкал его и побуждал к действиям. Когда человек вступает в пожилой возраст, в нем затухают воля и интерес к жизни. Такое явление люди называют старением. По правде говоря, нужно признать, что старость, это – по-кошачьи подкрадывающаяся смерть. Но твоя смерть не подкралась, она предстала внезапно. И что ты понял в итоге? Что вынес, как главный вывод жизни? Нет, ты ничего не понял, не смог уяснить ни причин, ни следствий событий. Барахтался в предположениях и догадках. В итоге получилось, будто смотрел захватывающий долгий сон. Этот сон не смог ни запомнить, ни осмыслить как следует. Для тебя так и осталось загадкой, для чего ты явился на свет, и почему уходишь. И не встретился учитель, который смог бы объяснить тебе эту тайну. Конечно, ты хотел разгадать ее. Всю жизнь размышлял над высказываниями мудрецов, современных и древних. Чем больше думал, тем сильнее впадал в тоску, запутываясь в новых вопросах. Ты пришел в этот мир, пораженный величием бытия, с тем же удивлением уходишь.

Камышитовая кровля шуршала, гудела и пела ветхим голосом, убаюкивая тебя. Словно колыбельная старой бабки, выпеваемая дрожащим надтреснутым голосом. И баюкает, утешает душу эта мелодия, исподволь погружая в зыбь. Вдыхая сырой, особенный запах земли, ты задремал. И неведомо как очутился в странном, смутном мире, простоволосый, шел босиком, поднимаясь по склону серого увала. Повелительный голос нашел его:

– Оу, человечишка!

– Слушаю, господин!

– Почему ты так замучился, сын мой?

– Почему ты так замучил, создатель?

– Это даже не было испытанием, сын мой!

– Значит, я не прошел испытание!

– К тому же богохульствовал! Кощунствовал против творения Аллаха – самой жизни! Выразил недоверие против смысла бытия! Сын мой, ты взвалил на себя тяжкую вину!

– Разве это не плод сознания, которое ты мне дал? Из ничто сделал что-то! Сказал: глаголь – и дал язык, сказал: думай – и дал разум. Мы отделились от животных и стали адамами[1]. Однако от этого счастливыми не сделались. Ум стал причиной нашего несчастия.

– Ты опять принялся обвинять нас! Мы дали сознание, чтобы ты стал мудрым! Мы хотели, чтобы ты объял мыслью бескрайность, глубину мироздания, почувствовал величие творения! Кто смог ощутить это, осмыслить должным образом, принял мир таким, какой он есть! Ты же не смог это сделать. Ты совершил большую ошибку, сын мой!

– Это так, творец милосердный! Я весь с головы до ног обвешан грехами, на мне живого места нет.

Не успел это вымолвить, – глянул под ноги, твердь уже закончилась под ним, дальше разверзалась зияющая, непроглядная пучина! Сердце так и прыгнуло к глотке. Повернулся, чтобы не упасть в пропасть, начал карабкаться обратно. Одна нога зацепилась за край обрыва, другая повисла над бездной. Промелькнуло в голове: нужно рвануться изо всех сил, – однако под тяжестью тела низринулся во тьму. Головой вниз метеором понесся во мрак. В панике махал руками, ногами, рот

[1] По понятиям казахов – это любой человек.

исторг истошный вопль. Летя очертя голову, тяжело ударился лбом о что-то твердое. Не в силах понять, сон это или явь, открыл глаза и увидел, что лежит в темном углу. Тесная, словно могила, яма, в ноздри бьет запах сырой глины. Подумал: "Я пропал, навечно останусь в этой жуткой яме!" Крик снова вырвался из глотки. Дико глянул вокруг. Поблизости виднелся слабый свет, он словно луч надежды манил к себе. Изо всех сил рванулся туда. С истошным воплем, выворачивающим душу, кинулся туда, ударом плеча вышиб дверь и выскочил наружу, будто гнался за ним ангел смерти. Не в силах остановиться, помчался дальше. Рубашка осталась брошенной где-то на земле, на нем были только серые брюки. Свистящий ветер разлохматил волосы. Едыге бежал со всех ног, будто на соревновании.

Вдруг почувствовал: что-то пронеслось с левой стороны, затем ощутил, что объят пламенем, словно в него попала фосфорная пуля. Мир стремительно свернулся клубком, и его окружила звенящая огромная тишина. Интуиция подсказывала: случилось немыслимое. Однако не было возможности понять, что же произошло, что донельзя ужаснуло его. В темноте Едыге несся куда-то напропалую, будто падающая капля ртути. Внезапно рухнул вниз и правым виском пропахал мягкую почву. В одно невероятное, неуловимое мгновение узрел картину, врезавшуюся в сознание: содрогающаяся равнина, накрытая косматой бурей, втягивала глоткой клокочущую пыль. Среди круговерти металась, словно дьявольская тень, фигура человека. Человек изо всех сил махал руками. Он кричал, вопил что-то. Это был Тугелхан. Не смог различить зова. В минуту помрачения увидел немыслимое: небо, сворачивающееся тканью, бурое, неузнаваемое, страшное. Это была последняя картина земного мира. Затем оказался в другом мире... Несся птицей в черном, извилистом туннеле. В дальнем конце этого протяженного чрева виднелось пятнышко света, туда мчался с умопомрачительной скоростью. Тело не чувствовало привычной тяжести. Он превратился в легкий язычок пламени, в точку сознания. И нисколько не удивился этому. Так должно быть по природе вещей. Пушинкой несся к манящему глазку света, пулей летел, стремясь скорее вырваться из темной пещеры.

Так покинул сей мир Едыге.

2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Смагул ЕЛУБАЙ
ОДИНОКАЯ ЮРТА
Перевод с казахского
Л. Космухамедовой, А.Жаксылыкова
(на русском языке)

Ответственный за выпуск
редакционный директор ***К.Назырбаев***

Редактор *М.Абдрахманова*
Технический редактор *С.Бейсенова*
Компьютерная верстка *Г.Сатыбалдиевой*
Дизайнер *А.Шарипова*



ИБ №246 .

Подписано в печать 25.11.2008 г. Формат 84x108 $^1/_{32}$.

Гарнитура . "KZ Times New Roman". Печать офсетная. Усл.-печ. л. 29,82.

Уч.-изд. л. 32,4. Тираж 3000 экз. Заказ №1928

Издательство "Аударма"

010000, г.Астана, ул. Б.Майлина, 9-145.

АО "Астана Полиграфия",

010000, г. Астана, ул. Брусиловского, 87.

-244-2

32440

ι 29,82.


"АУДАРМА" баспасы


магул Елубай
ОДИНОКАЯ ЮРТА